



Собрание сочинений в шести томах //Художественная литература, Москва, 1988
ISBN: 5-280-00058-2, 5-280-00055-8
FB2: "fb2design", 30 July 2012, version 2.0
UUID: 7D52013C-6B54-4C10-B1C0-7AB11E7B447A
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Иван Алексеевич Бунин

Том 6. Публицистика. Воспоминания

(Собрание сочинений в шести томах #6)

Имя Ивана Бунина (1870–1953) — одного из проникновенных, трагических классиков русской литературы, почетного академика изящной словесности, лауреата Нобелевской премии (1933) — известно во всем мире.

В шестой том включено философско-публицистическое сочинение писателя — «Освобождение Толстого», воспоминания о Чехове, мемуарные очерки из книги «Воспоминания». Впервые в советское время публикуется большой пласт Дневников Бунина. В том вошли также избранные статьи и выступления.

<http://ruslit.traumlibrary.net>

Содержание

Освобождение Толстого *	0007
I	0007
II	0010
III	0030
IV	0049
V	0067
VI	0090
VII	0113
VIII	0132
IX	0153
X	0163
XI	0186
XII	0203
XIII	0215
XIV	0226
XV	0238
XVI	0254
XVII	0275
XVIII	0294
XIX	0302
XX	0306
XXI	0315
О Чехове *	0321
I	0321
II	0340

III	0365
IV	0415
V	0428
VI	0436
VII	0441
Из части второй	0442
Из книги «Воспоминания» *	0473
Автобиографические заметки *	0473
Рахманинов *	0494
Репин	0496
Джером Джером *	0498
Шаляпин *	0500
Его высочество *	0518
Куприн *	0533
Семеновы и Бунины *	0559
Эртель *	0575
Волошин *	0592
«Третий Толстой» *	0611
Нобелевские дни *	0635
Дневники *	0653
Автобиографические заметки *	1180
Из предисловия к французскому изданию «Господина из Сан-Франциско» *	1180
Автобиографическая заметка *	1184
Из записей *	1212
Статьи и выступления	1269
Памяти сильного человека *	1269
Е.А. Баратынский * (По поводу столетия со дня	

рождения)	1277
Речь на юбилее «Русских Ведомостей» *	1312
На поучение молодым писателям *	1324
Думая о Пушкине *	1332
Публицистика — дневники — критика	1341
Комментарии	1396
Выходные данные	1573

Иван Алексеевич Бунин
Собрание сочинений в шести
томах
Том 6. Публицистика.
Воспоминания

Освобождение Толстого*

I

«**С**овершенный, монахи, не живет в до-вольстве. Совершенный, о монахи, есть святой Высочайший Будда. Отверзите уши ваши: освобождение от смерти найдено».

И вот и Толстой говорит об «освобождении»:

— Мало того, что пространство и время и причина суть формы мышления и что сущность жизни вне этих форм, но вся жизнь наша есть (все) большее и большее подчинение себя этим формам и потом опять освобождение от них...

В этих словах, еще никем никогда не отмеченных, главное указание к пониманию его всего.

Астапово — завершение «освобождения», которым была вся его жизнь, невзирая на всю великую силу «подчинения».

* * *

Помню, с каким восторгом сказал он одна-

жды словами Пифагора Самосского: «Нет у тебя, человек, ничего, кроме души!» Знаю, как часто повторял Марка Аврелия: «Высшее назначение наше — готовиться к смерти». Так он и сам писал: «Постоянно готовишься умирать. Учишься получше умирать».

«Я — Антонин, но я и человек; для Антонина град и отечество — Рим, для человека — мир».

Для Толстого не осталось в годы его высшей мудрости не только ни града, ни отечества, но даже мира; осталось одно: бог; осталось «освобождение», уход, возврат к богу, растворение — снова растворение — в нем.

* * *

Князь Андрей слушал пение Наташи:

— Страшная противоположность между чем-то бесконечно великим и неопределенным, бывшим в нем, и чем-то узким и телесным, чем был он сам и даже была она, — эта противоположность томила и радовала его во время ее пения...

Эта «противоположность» томила Толстого с рождения до последнего вздоха.

* * *

Как умирал князь Андрей?

«Чем больше он в те часы страдальческого уединения и бреда, которые он провел после своей раны, вдумывался в новое, открытое ему начало вечной любви, тем более, сам не чувствуя того, отрекался от земной жизни. *Все, всех любить, всегда жертвовать собой для любви значило — никого не любить, значило — не жить этой земной жизнью*».

* * *

«Отверзите уши ваши, монахи: освобождение от смерти найдено. Я поучаю вас, я проповедую Закон. Если вы будете поступать согласно поучениям, то через малое время получите то, ради чего благородные юноши уходят с родины на чужбину, получите высшее исполнение священного стремления; вы еще в этой жизни познаете истину и увидите ее воочию».

Христос тоже звал «с родины на чужбину»: «Враги человеку домашние его... Кто не оставит ради меня отца и матери, тот не идет за мной».

Их немало было, «благородных юношей, покинувших родину ради чужбины»: был ца-

ревич Готами, был Алексей Божий человек, был Юлиан Милостивый, был Франциск из Ассизи... К лику их сопричислился и старец Лев из Ясной Поляны.

II

— Родился я и провел первое детство в деревне Ясной Поляне...

Он начал этими словами свои неоконченные «Первые воспоминания», которые писал для своего друга и последователя Бирюкова, предпринявшего составление его биографии. Он разделил тогда свою жизнь на семилетия, говорил, что «соответственно семилетиям телесной жизни человека, признаваемым даже и некоторыми физиологами, можно установить и семилетия в развитии жизни духовной». Этих семилетий было с небольшим недочетом двенадцать.

Первое — детство:

Рождение и жизнь в Ясной Поляне. Родился (от графа Николая Ильича Толстого и графини Марии Николаевны Толстой, урожденной княжны Волконской) 28 августа 1828 года [1]. На втором году от рождения потерял мать,

умершую тридцати девяти лет. Учение начал дома, с гувернером-немцем, написанным в «Детстве» под именем Карла Ивановича.

Второе — отрочество:

Жизнь с семьей и продолжение учения в Москве. Там, на восьмом году от роду, потерял отца, внезапно умершего от разрыва сердца сорока двух лет.

Третье — юность:

Переезд сирот в Казань к бабушке по отцу, учение в казанском университете. Университетское учение, за малыми успехами[2] в науках и в силу собственного сознания «бесполезности всего того, чему эти науки учат», оставил со второго курса, чтобы воротиться в Ясную Поляну и посвятить себя сельскому хозяйству и заботам о своих крепостных. После разочарования и в этом, уехал в Москву, потом в Петербург, с намерением служить по гражданской службе.

Четвертое — от 21 года до 28 лет:

Разочарование в мечтах и о гражданской службе. Военная служба на Кавказе, потом в осажденном Севастополе. Начало писательства. Написал в это семилетие: «Детство», «От-

рочество» и «Юность», «Севастопольские рассказы», «Метель», «Два гусара», «Утро помещика»; начал «Кзаки».

Пятое — от 28 до 35 лет:

Выход из военной службы, заграничные путешествия для знакомства с постановкой школьного дела в Европе, педагогическая и судебная деятельность в Ясной Поляне — и женитьба на Софье Андреевне Берс. «Кзаки» и начало «Войны и мира». В это семилетие потерял брата Дмитрия, потом брата Николая.

Шестое — от 35 до 42 лет:

Семейная жизнь, уже четверо детей, хозяйство, писание и печатание «Войны и мира».

Седьмое — от 42 до 49 лет:

Поездки на лечение кумысом в Самарскую губернию. Там же работа на голоде. «Анна Каренина». Рождение еще четверых детей (из которых два мальчика умерли).

Восьмое — от 49 до 56 лет:

«Исповедь». Переезд в Москву для воспитания детей. Знакомство с Чертковым. «Чем люди живы», «В чем моя вера», «Так что же нам делать». Рождение еще одного сына и еще одной дочери (Александры).

Девятое — от 56 до 63 лет:

Жизнь в Москве. Рассказы для народа, «Смерть Ивана Ильича», «Власть тьмы», «Плоды просвещения», «Крейцера соната», начало писания «Воскресения». Рождение еще одного ребенка, Ванечки.

Десятое — от 63 до 70 лет:

Новая работа на голоде (в Тульской губернии). Отказ от авторских прав на все, что написано после 1881 года. «Царство божие внутри вас», «Хозяин и работник», «Об искусстве». Смерть Ванечки.

Одиннадцатое — от 70 до 77 лет:

Первая тяжелая болезнь. Появление в печати «Воскресения» Отлучение от церкви. Переезд всей семьи в Ясную Поляну. Зима в Крыму, где пережиты еще воспаление легких и брюшной тиф. Начало составления «Круга чтения». Писание писем и обращений: к духовным друзьям и последователям, к правительству, к военным, к церковнослужителям, к политическим и общественным деятелям...

И, наконец, двенадцатое, недожитое — от 77 до 83 лет:

Смерть наиболее любимой и близкой по

духу дочери Маши. Тайное составление завещания, в котором право на все его писания передавалось Александре Львовне, а распоряжение ими Черткову. Бегство в ночь с 27 на 28 октября 1910 года из Ясной Поляны; болезнь в пути и смерть на железнодорожной станции Астапово (7 ноября).

Эта смерть была его последним «освобождением».

Уйти, убежать он стремился давно. Еще в 1884 году писал в дневнике:

— Ужасно тяжело. Напрасно не уехал... Этого не миновать...

В 1897 году опять совсем было решил уйти, даже написал прощальное письмо Софье Андреевне — и опять не осуществил своего решения: ведь бросить семью — это, значит, думать только о себе, а каково будет семье, какой это будет для нее удар!

Он тогда писал:

— Как индусы под шестьдесят лет уходят в лес, как всякому религиозному человеку хочется последние годы жизни посвятить богу, а не шуткам, каламбурам, сплетням, теннису,

так и мне, вступая в свой семидесятый год, всеми силами души хочется этого спокойствия, уединения и хоть неполного согласия, но не кричащего разногласия со своими верованиями, со своей совестью...

То же писал и в ночь бегства:

— Я делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста. Уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и в тиши последние дни своей жизни...

К бегству подбивали его и со стороны. За месяц до бегства он писал:

«От Черткова письмо с упреками и обличением», — за то, что он, Толстой, все продолжает жить так, как живет. — «Они разрывают меня на части. Иногда думается уйти ото всех»[3].

Чертков впоследствии оправдывался, говорил, что не настаивал на его уходе. Нет, он только колебался, — например, так писал толстовцу болгарину Досеву:

— Если бы он ушел из дому, то, при его преклонных летах и старческих болезнях, он уже не смог бы жить физическим трудом. Не мог бы он также пойти с посохом по миру и

заболеть и умереть где-нибудь на большой дороге или прохожим странником в чужой избе... он не мог бы так поступить из простой любви к любящим его людям, к своим дочерям и друзьям, близким ему по сердцу и духу. Он не мог бы, не становясь жестоким...

Как бы там ни было, он решился наконец и на полную возможность «умереть где-нибудь на большой дороге» и на «жестокость». 28 октября он был уже в Оптиной Пустыни:

— 28 окт. 1910 г., Оптина Пустынь. Лег (вчера) в половине 12. Спал до третьего часа. Проснулся и опять, как прежние ночи, услышал отворяние дверей и шаги. В прежние ночи я не смотрел на свою дверь, нынче взглянул и вижу в щелях яркий свет в кабинете и шуршание. Это Софья Андреевна что-то разыскивает, вероятно, читает. Накануне она просила, требовала, чтобы я не запирал дверей. Ее обе двери отворены, так что малейшее движение слышно ей. И днем и ночью все мои движенья, слова должны быть известны ей и быть под ее контролем. Опять шаги, осторожное отпирание двери, и она проходит. Не знаю отчего, это вызвало во мне

неудержимое отвлечение, возмущение. Хотел заснуть, не могу, поворочался около часа, зажег свечу и сел. Отворяет дверь и входит Софья Андреевна, спрашивая «о здоровье» и удивляясь на свет у меня. Отвлечение и возмущение растет, задыхаюсь, считаю пульс: девяносто семь. Не могу лежать и вдруг принимаю окончательное решение уехать. Бужу Душана[4], потом Сашу, они помогают мне укладываться. Я дрожу при мысли, что она услышит, выйдет, — сцена, истерика, и уж впредь без сцены не уехать. В 6-м часу все кое-как уложено; я иду на конюшню велеть закладывать; Душан, Саша, Варя доканчивают укладку. Ночь — глаз выколи, сбиваюсь с дорожки к флигелю, попадаю в чашу, накалываюсь, стучаюсь об деревья, падаю, теряю шапку, не нахожу, насилу выбираюсь, иду домой, беру шапку и с фонариком добираюсь до конюшни, велю закладывать. Приходит Саша, Душан, Варя. Я дрожу, ожидая погони. Но вот уезжаем. В Щекине ждем час, и я всякую минуту жду ее появления. Но вот сидим в вагоне, трогаемся, и страх проходит, и поднимается жалость к ней, но не сомнение, сделал

ли то, что должно. Может быть, ошибаюсь, оправдывая себя, но кажется, что я спасал себя — не Льва Николаевича, а спасал то, что иногда и хоть чуть-чуть есть во мне. Доехали до Оптиной. Я здоров, хотя не спал и почти не ел. Путешествие от Горбачева в третьеклассном набитом рабочим народом вагоне очень поучительно и хорошо, хотя я и слабо воспринимал. Теперь 8 часов, мы в Оптине...

О том, куда ему направиться, после того как он убежит из Ясной Поляны, он думал нечто очень неопределенное: «Куда-нибудь за границу... например, в Болгарию... Или в Новочеркасск и дальше — куда-нибудь на Кавказ...» В последнюю минуту он выбрал как первую цель монастырь в селе Шамардине, где доживала свою жизнь его престарелая сестра, монахиня мать Мария.

— Ты останешься, Саша, — сказал он дочери в ночь бегства. — Я вызову тебя через несколько дней, когда решу окончательно, куда я поеду. А поеду я, по всей вероятности, к Машеньке в Шамардино...

«К Машеньке» — это значит: к той единственной, что осталась на свете от того беско-

нечно далекого времени, когда только что начиналась жизнь, когда «нам, братьям, было — мне 5, Митеньке 6, Сереже 7, и Николенька (которому было 11) объявил нам, что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми, не будет ни болезни, никаких неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться, и все будут любить друг друга, все сделаются „муравейными братьями“...»

Известно, что это было, эти муравейные братья:

— Вероятно, это были моравские братья, о которых Николенька слышал или читал. Я помню, что слово «муравейные» нам особенно нравилось, напоминая муравьев в кочке. Мы даже устроили игру в муравейные братья, которая состояла в том, что садились под стулья, загораживали их ящиками, завешивали платками и сидели там в темноте, прижимаясь друг к другу. Я, помню, испытывал особенное чувство любви и умиления и очень любил эту игру. Муравейные братья были открыты нам, но главная тайна о том, как сделать, чтобы все люди не знали никаких

несчастий, никогда не ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливы, эта тайна была, как он нам говорил, написана им на зеленой палочке, и палочка эта зарыта у дороги, на краю оврага старого Заказа, в том месте, в котором я, так как надо же где-нибудь зарыть мой труп, просил, в память Николаеньки, закопать меня...

Последние годы его жизни были несказанно трогательны и прекрасны. И вот в это время он ехал однажды с Александрой Львовной верхом мимо этого места:

«Мы возвращались с отцом домой, поравнялись с полянкой, где весной на бугорке цвели голубым полем незабудки, а летом росли бархатные с розовым корнем и коричневой подкладкой крепкие грибы боровики. Отец окликнул меня:

— Саша!

И, когда я, пришпорив лошадь, подъехала, он сказал:

— Вот тут, между этими дубами... — Он натянул повод и хлыстом, отчего лошадь нервно дернулась, указал мне место. — Тут схороните меня, когда я умру...»

Теперь, в эту последнюю свою ночь в том доме, где он провел почти весь свой век, он расставался даже и с этой мечтой — лежать в могиле среди тех родных дубов, место которых было связано с памятью Николеньки. «Иногда думается уйти ото всех». Мог бы прибавить: и ото всего.

Почему он бежал? Конечно, и потому, что «тесна жизнь в доме, место нечистоты есть дом», как говорил Будда. Конечно, и потому, что не стало больше сил выдерживать многолетние раздоры с Софьей Андреевной из-за Черткова, из-за имущества... Софья Андреевна, заболевшая в конце концов и душевно и умственно, довела уже до настоящего ужаса своими преследованиями, и уже крайних пределов достиг стыд — жить в безобразии этих раздоров и в той «роскоши», которой казалась ему жизнь всей семьи и в которой и сам был принужден жить. Но только ли эти причины побуждали к бегству?

— Мне очень тяжело в этом доме сумасшедших, — писал он в своем дневнике.

Но писал и другое, гораздо более важное:

— Хороша у Ж.-П. Рихтера сказка об отце,

воспитавшем детей под землей. Им надо умереть, чтобы выйти на свет. И они страшно желали смерти...

— Нет более распространенного суеверия, что человек с его телом есть нечто реальное.

— Хорошо думал о безумии личной жизни — не только личной жизни своей, но и жизни общей, временной.

— Что такое я? Отчего я?

— Пора проснуться, то есть умереть.

— Вещество и пространство, время и движение отделяют меня и всякое живое существо от всего бога.

— Все меньше понимаю мир вещественный и, напротив, все больше и больше сознаю то, что нельзя понимать, а можно только созавать.

— «Но как же род человеческий?» Не знаю. Знаю только, что закон совокупления не обязателен человеку.

— Подняться на точку, с которой видишь себя. Все в этом.

— Мой дух живет и будет продолжать жить. «Но это уже не твой будет дух», — говорят на это. *То-то и хорошо, что к этому то-*

му, что останется жить после меня, не будет примешана личность. отвечаю я. Личность есть то, что мешает слиянию моей души со Всем.

— Тело? Зачем тело? Зачем пространство, время, причинность?

Он бежал «куда-нибудь» и не мог не знать, что, по его годам и слабостям телесным, при тех обмороках, в которые он впадал дома при малейшем переутомлении, ждала его на пути только смерть. «Но это-то и хорошо». Лишь бы не умереть, как умирает человек этого мира, а умереть, как зверь, — по древнейшему закону природы: в той священной тайне, в которой умирает «где-то» всякий свободный зверь, всякая свободная птица, ибо никогда не находит человек ни свободного зверя, ни свободной птицы мертвыми ни в городе, ни в деревне, ни даже в чистом поле. И, умирая, в бреду, несвязно внешне, но совершенно точно внутренне, он сказал (в полном соответствии со всем тем, что цитировано выше) чисто индусские слова:

— *Все Я... все проявления... довольно проявлений...*

Есть в книге его секретаря Булгакова запись, поражающая всех: «Я разлюбил Евангелие, сказал мне Лев Николаевич за 4 месяца до своей смерти». Но ничего не будет в этих словах поразительного, если вспомнить, что он сказал о своей жизни, разделив ее «на три фазиса».

Сперва, деля ее на семилетия, он писал Бирюкову:

— Когда я подумал, чтобы написать всю истинную правду о себе, не скрывая ничего дурного моей жизни, я ужаснулся перед тем впечатлением, которое должна была бы произвести такая биография... Я записал у себя в дневнике 6 января 1903 года следующее: «Я теперь испытываю муки ада: вспоминаю всю мерзость моей прежней жизни, и воспоминация эти не оставляют меня и отравляют мне жизнь...»

Потом он разделил свою жизнь «на периоды» и суд себе вынес уже более милостивый:

— Вспоминая свою жизнь, то есть рассматривая ее с точки зрения добра и зла, которые я делал, я увидал, что вся моя длинная жизнь распадается на четыре периода: тот чудный,

в особенности в сравнении с последующим, невинный, радостный, поэтический период детства до четырнадцати лет, потом второй — ужасные двадцать лет грубой распущенности, служения честолюбию, тщеславию и, главное, похоти, потом третий — восемнадцатилетний период, то есть от женитьбы и до моего духовного рождения, который с мирской точки зрения можно бы назвать нравственным, так как в эти восемнадцать лет я жил правильной, честной, семейной жизнью, не предаваясь никаким осуждаемым общественным мнением порокам, но все интересы которого ограничивались эгоистическими заботами о семье, об увеличении состояния, о приобретении литературного успеха и всякого рода удовольствиями. И, наконец, четвертый — двадцатилетний период, в котором я живу теперь и в котором надеюсь умереть и с точки зрения которого я вижу все значение прошедшей жизни и которого я ни в чем не желал бы изменить, кроме как в тех привычках зла, которые усвоены мною в прошедшие периоды...

В последние годы он делил свою жизнь на

«фазисы».

— Человек переживает три фазиса, и я переживаю из них третий. В первый фазис человек живет только для своих страстей: еда, питье, охота, женщины, тщеславие, гордость — и жизнь полна. Так у меня было лет до тридцати четырех, потом начался интерес блага людей, всех людей, человечества (началось это резко с деятельности школ, хотя стремление это проявлялось кое-где, вплетаясь в жизнь личную, и прежде). Интерес этот затих было в первое время семейной жизни, но потом опять возник с новой и страшной силой, при сознании тщеты личной жизни. Все религиозное сознание мое сосредоточивалось в стремлении к благу людей, в деятельности для осуществления царства божьего. И стремление это было так же сильно, так же страстно, так же наполняло всю жизнь, как и стремление к личному благу. Теперь же я чувствую ослабление этого стремления: оно не наполняет мою жизнь, оно не влечет меня непосредственно; я должен рассудить, что эта деятельность хорошая, деятельность помощи людям материальной, борьбы с пьянством, с

суевериями правительства, церкви. Во мне, я чувствую, выделяется, высвобождается из покровов новая основа жизни, которая включает в себя стремление к благу людей так же, как стремление к благу людей включало в себя стремление к благу личному. Эта основа есть служение богу, исполнение его воли по отношению к той его сущности, которая во мне. Не самосовершенствование — нет. Это было прежде, и в самосовершенствовании много было любви к личности. Теперь другое. Это стремление к чистоте божеской. Стремление это начинает все больше и больше охватывать меня, и я вижу, как оно охватит меня всего и заменит прежние стремления, сделав жизнь столь же полною... Когда во мне исчез интерес к личной жизни и не вырос еще интерес религиозный, я ужаснулся, чувствуя, что мне нечем жить, но потом, когда возникло *религиозное чувство стремления к благу человечества*, я в этом стремлении нашел полное удовлетворение и стремление к благу личности; точно так же теперь, когда исчезает во мне прежнее страстное стремление к благу человечества, мне немножко жутко,

как будто пусто, но стремление к той жизни и приготовление себя к ней уже заменяет понемногу прежнее, вылупляется из прежнего и точно так же, как и стремление к личному благу, удовлетворяет вполне и лучше стремления к благу общему. Готовясь только к той жизни, я вернее достигаю служения благу человечества, чем когда я ставил себе целью это благо. Точно так же, как, стремясь к благу общему, я достигал своего личного блага вернее, чем когда я ставил себе целью личное благо. *Стремясь, как теперь, к богу, к чистоте божеской сущности во мне*, к той жизни, для которой она очищается здесь, я попутно достигаю вернее, точнее блага общего и своего личного блага как-то неторопливо, несомненно и радостно...

Древняя индусская мудрость говорит, что человек должен пройти два пути в жизни: Путь Выступления и Путь Возврата. На Пути Выступления человек чувствует себя сперва только своей «формой», своим временным телесным бытием, своим обособленным ото всего Я, находится в тех своих личных границах, куда заключена часть Единой Жизни, и

живет корыстью чисто личной; затем корысть его расширяется, он живет не только собой, но и жизнью своей семьи, своего племени, своего народа, и растет его совесть, то есть стыд корысти только личной, хотя все еще живет он жаждой «захвата», жаждой «брать» (для себя, для своей семьи, для своего племени, для своего народа). На Пути же Возврата теряются границы его личного и общественного Я, кончается жажда брать — и все более и более растет жажда «отдавать» (взятое у природы, у людей, у мира): так сливается сознание, жизнь человека с Единой Жизнью, с Единым Я — начинается его духовное существование.

«Человек переживает три фазиса...»

Из Ясной Поляны он выбрался между 4 и 5 часами утра (как записал Маковицкий, с удивительной точностью, много лет, изо дня в день, ведший свои записи о нем). Вез его в старой дышловой коляске старый кучер Адриан. Коляску сопровождал верхом, освещая путь факелом, конюх Филипп. Ехали на станцию Щекино Московско-Курской ж. д. (5 верст от Ясной Поляны). В дороге было холодно, и Маковицкий надел на него вторую шапку. На станции Щекино сели в товаро-пассажирский поезд, шедший от Тулы на Орел. На узловой станции Горбачево (105 верст от города Козельска Калужской губернии) пересели в смешанный поезд. В 4 ч. 50 вечера приехали в Козельск, в 5 верстах от которого находился древний мужской монастырь «Оптина Введенская Пустынь», а в четырнадцати верстах далее, в большом селе Шамардине, тот женский монастырь, где давно монашествовала Мария Николаевна.

Когда прибыли в Козельск, уже совсем смеркалось. Со станции поехали в монастырь

в ямщицкой тележке по речной низменности, отделяющей Козельск от монастыря. Дорога была ужасная, грязная, говорится в записях Маковицкого. Было очень темно. Месяц светил из-за облаков. Лошади шли шагом. «Лев Николаевич спрашивал еще в вагоне и теперь спросил (ямщика), какие есть старцы в Оптиной, и сказал, что пойдет к ним». Под монастырем переправлялись через реку на пароме. В монастыре остановились у гостинника-монаха о. Михаила. О. Михаил, с рыжими, почти красными волосами и бородой, приветливый, отвел просторную комнату с двумя кроватями и широким диваном. Внесли вещи. Лев Николаевич сказал: «Как здесь хорошо!» И сейчас же сел за писание. Написал довольно длинное письмо и телеграмму Александре Львовне. Потом пил чай с медом (ничего не ел), попросил яблоко на утро и стакан, куда на ночь ставил самопишущее перо. Потом стал писать дневник, спросил, какое сегодня число. В 10 часов лег спать... Пиша, больше обыкновенного торопился... Когда ложился спать, Маковицкий хотел помочь ему снять сапоги, и он рассердился: «Я хочу сам

себе служить!»

Никому до сих пор не известно: думал ли он остаться в Оптиной или Шамардине? Как там было остаться отлученному от церкви, не примирившись с нею? И вот предполагают: может быть, он хотел примириться. Для такого предположения есть некоторые основания.

Мой покойный друг Лопатина (сестра известного философа Льва Лопатина) рассказывала мне:

— Я была после смерти Толстого в Шамардине. Через широкую речку к монастырю перевозили на пароме монахи в белых подрясниках и белых скуфейках. Такие же монахи работали в полях. Кругом все радовало — тишиной, красотой, миром, был жаркий летний день. В чистеньком номере монастырской гостиницы, светлом, тесном и бедном, со странной маленькой деревянной кроватью, может быть, еще времен Бориса Годунова, за чаем с просфорами, монах много говорил о последнем посещении монастыря Толстым:

«Приехал, постучал и спрашивает: „Можно мне войти?“ Гостинник говорит: „Пожалуйста“. — „Ведь я Толстой, может, вы меня не

примете?“ — „Мы всех принимаем, — говорит гостинник, — всякого, кто желание имеет“. Они и остановились у нас. Потом пошли к настоятелю, потом ездили в Шамардино, к сестре своей монахине... Потом за ними приехали...»

Монах еще говорил, что перед крыльцом настоятеля Лев Николаевич стоял на холоде и сырости с шапкой в руках. Он опять не хотел входить прямо, опять просил служку доложить: «Скажите, что я Лев Толстой, может быть, мне нельзя?» Монах сам вышел к нему, раскрыв объятия, и сказал: «Брат мой!» Лев Николаевич бросился к нему на грудь и зарыдал...

Приехав в Шамардино, к Марии Николаевне, он радостно сказал ей: «Машенька, я остаюсь здесь!» Волнение ее было слишком сильно, чтобы сразу поверить этому счастью. Она сказала ему: «Подумай, отдохни...»

Он вернулся к ней утром, как было у словлено, но уже не один: вошли и те, что за ним приехали. Он был смущен и подавлен, не глядел на сестру. Ей сказали, что едут к духово-рам.

— Ловочка, зачем ты это делаешь? — воскликнула она. Он посмотрел на нее глазами, полными слез.

Ей сказали (Александра Львовна):

— Тетя Маша, ты всегда видишь все в мрачном свете и только расстраиваешь папа. Все будет хорошо, вот увидишь...

И отправились с ним в его последнюю дорогу...

Если бы были свидетельства только вроде вот этих, можно было бы не придавать им значения: и сама Лопатина, и подобные ей по духу, по правоверной, церковной религиозности, легко могли поддаться искушению создать легенду, будто он действительно стремился примириться с церковью. Но оказались и другие свидетельства.

Не случайно же все-таки поехал он в Шамардино. Заехал туда по пути? Но по пути куда? И зачем? Повидаться с сестрой? Но с какой целью? Просто с родственной? Но ведь, может быть, не только с родственной? Как бы там ни было, он поехал в Шамардино, ехал через Оптину Пустынь; по дороге туда от Козельска спрашивал ямщика о старцах, там но-

чевал и провел весь день в монастырской гостинице. Зачем? Известно, что много беседовал с о. Михаилом, — опять расспрашивал о старцах, спасающихся при монастыре в скиту, выражал желание повидаться с ними, а потом «вышел, бродил возле скита, дважды подходил к дому старца о. Варсонофия, стоял у его дверей, но не вошел»...

Это говорит, — то же, что и Лопатина, — известный журналист Ксюнин, посетивший Шамардино тотчас после его смерти. Он многое говорит в своей книге «Уход Толстого» со слов матери Марии и, между прочим, следующее: когда Толстой пришел к сестре, — он и в Шамардине остановился в монастырской гостинице, — они долго сидели, затворившись ото всех в ее спальне. Вышли только к обеду, и тогда Толстой сказал:

— Сестра, я был в Оптиной, как там хорошо! С какой радостью я жил бы там, исполняя самые низкие и трудные дела; только поставил бы условием не принуждать меня ходить в церковь.

— Это было бы прекрасно, — отвечала сестра, — но с тебя взяли бы условие ничего не

проповедовать и не учить.

Он задумался, опустил голову и оставался в таком положении довольно долго, пока ему не напомнили, что обед окончен.

— Виделся ты в Оптиной со старцами? — спросила сестра.

Он ответил:

— Нет... Разве ты думаешь, что они меня приняли бы? Ты забыла, что я отлучен...

Чем бы все это кончилось? Может быть, и состоялись бы его встречи с оптинскими старцами и, может быть, привели бы они к возвращению его в лоно церкви. Но на другой день в Шамардино приехала Александра Львовна и привезла страшные вести из Ясной Поляны, — о том, что Софья Андреевна, узнав утром 28 октября о его бегстве, дважды покушалась на самоубийство (два раза убежала на пруд и топилась), рыдала весь день, била себя в грудь то тяжелым пресс-папье, то молотком, колола себя ножами, ножницами, рвалась выброситься в окно и все кричала:

— Я его найду, я убегу из дому, побегу на станцию! Ах, только бы узнать, где он! Уж тогда-то я его не выпущу, день и ночь буду кара-

улить, спать буду у его двери!

Ее письмо к нему, которое привезла с собой Александра Львовна, было тоже совершенно ужасно по своему отчаянию. И вот, потрясенный и этим письмом, и всем тем, что было после его бегства в Ясной Поляне, охваченный ужасом, что, того гляди, Софья Андреевна узнает, где он, и бросится за ним в погоню, он побежал дальше.

— Я не могу вернуться, я не вернусь, — все повторял он в день приезда Александры Львовны.

— Я хотел здесь остаться, я даже избу ходил нанимать здесь на житье себе...

Но теперь остаться было невозможно. Он провел весь день 30 октября за тревожным писанием нового письма Софье Андреевне, писал, сидя в жарком номере под открытой форточкой, которую не позволил закрыть, лег спать в тревоге и тоске, разрываемый и жалостью к Софье Андреевне, и невозможностью вернуться домой, и опять вскочил еще в темноте, в 4 часа утра.

— В 4 часа он разбудил Душана Петровича, послал за ямщиками, — говорит Александра

Львовна. — Помня обещание, данное мною тете Маше непременно повидаться с ней в случае отъезда дальше, я тотчас же послала за ней. Было еще совсем темно. При свете свечи я торопливо собирала вещи, завязывала чемоданы. Пришел Душан Петрович. Козельские ямщики подали лошадей... Отец очень волновался, наконец решил ехать, не дождав-шись тети Маши и Оболенской, которым написал следующее письмо:

«Шамардинский монастырь. 31 октября 1910 года, 4 ч. утра. Милые друзья, Машенька и Лизанька. Не удивляйтесь и не осудите нас, меня за то, что мы уезжаем, не простившись хорошенько с вами. Не могу выразить вам обеим, особенно тебе, голубушка Машенька, моей благодарности за твою любовь и участие в моем испытании. Я не помню, чтобы, всегда любя тебя, испытывал бы к тебе такую нежность, какую я чувствовал эти дни и с которой уезжаю. Уезжаем мы так непредвиденно потому, что боюсь, что меня застанет здесь Софья Андреевна. А поезд только один, в восьмом часу. Целую вас, милые друзья, и так радостно люблю вас. Л. Т.»

Куда он бежал теперь? Решено было — пока в Новочеркасск. Но решали только его спутники — сам он, разбитый, шатающийся от усталости и пережитых волнений, только торопил бежать:

— Все равно куда... только ни в какую ни в толстовскую колонию, а просто в мужицкую избу...[5]

На станции Козельск едва успели попасть в поезд, шедший на юг, вскочили в вагон без билетов. На станции Волово взяли билеты до Ростова-на-Дону. Это было утром 31 октября, а 1 ноября Александра Львовна уже телеграфировала Черткову:

«Вчера слезли Астапово, сильный жар, забытье, утром температура нормальная, теперь снова озноб. Ехать невыносимо».

В это же утро, говорит она дальше, отец продиктовал мне следующие мысли в свою записную книжку:

«Бог есть неограниченное Все, человек есть только ограниченное проявление Бога».

Она записала это и ждала, что он будет диктовать дальше, но он сказал:

— Больше ничего.

Он полежал некоторое время молча, потом снова подзвал ее:

— Возьми записную книжку и перо и пиши:

«Или еще лучше так: бог есть то неограниченное Все, чего человек сознает себя ограниченной частью. Истинно существует только бог. Человек есть проявление его в веществе, времени и пространстве. Чем больше проявление бога в человеке (жизнь) соединяется с проявлением (жизнями) других существ, тем больше он существует. Соединение этой своей жизни с жизнями других существ совершается любовью.

Бог не есть любовь, но чем больше любви, тем больше человек проявляет бога, тем больше истинно существует.

Бога мы познаем только через сознание его проявления в нас. Все выводы из этого сознания и руководство жизни, основанное на нем, всегда вполне удовлетворяют человека и в познании самого бога и в руководстве в своей жизни, основанном на этом сознании».

Через некоторое время он снова позвал ее:
— Теперь я хочу написать Тане и Сереже.

Несколько раз он должен был прекращать диктовать из-за подступавших к горлу слез, и минутами она едва могла расслышать его тихий, тихий голос:

«Милые мои дети, Таня и Сережа!

Надеюсь и уверен, что вы не попрекнете меня за то, что я не призвал вас. Призвание вас одних без мамы было бы великим огорчением для нее, а также и для других братьев. Вы оба поймете, что Чертков, которого я призвал, находится в исключительном положении по отношению ко мне. Он посвятил свою жизнь на служение тому делу, которому я служил последние сорок лет моей жизни. Дело это не столько мне дорого, сколько я признаю — ошибаюсь или нет — его важность для всех людей и для вас в том числе.

Благодарю вас за ваше хорошее отношение ко мне. Не знаю, прощаюсь ли или нет, но почувствовал необходимость высказать то, что высказал.

Еще хотел прибавить тебе, Сережа, совет о том, чтобы ты подумал о своей жизни, о том, *кто ты, что ты*, в чем смысл человеческой жизни и как должен проживать ее всякий ра-

зумный человек. Те усвоенные тобой взгляды дарвинизма, эволюции и борьбы за существование не объяснят тебе смысл твоей жизни и не дадут руководства в поступках; а жизнь без объяснения ее значения и смысла и без вытекающего из нее неизменного руководства есть жалкое существование. Подумай об этом. Любя тебя, вероятно, накануне смерти, говорю это.

Прощайте, старайтесь успокоить мать, к которой я испытываю самое искреннее чувство сострадания и любви. Любящий вас отец Лев Толстой».

— Ты им передай это после моей смерти, — сказал он Александре Львовне и опять заплакал.

Утром 2 ноября приехал Чертков, и, взволнованный этим, он опять плакал. Положение же его становилось все серьезнее. Несколько раз он отхаркивал кровяную мокроту, жар у него все повышался, сердце работало слабо, с перебоями, и ему давали шампанское. Днем он сам несколько раз ставил себе градусник и смотрел температуру. К вечеру состояние его еще ухудшилось. Он громко стонал, дыханье

было частое и тяжелое... Он снова попросил градусник и, когда вынул его и увидал 39,2, громко сказал:

— Ну, мать, не обижайтесь!

В восемь часов вечера приехал Сергей Львович. Он опять очень взволновался, увидав его, когда же Сергей Львович вышел от него, позвал Александру Львовну:

— Сережа-то каков!

— А что, папаша?

— Как он меня нашел! Я очень рад, он мне приятен... Он мне руку поцеловал, — сквозь рыдания с трудом проговорил он.

Третьего ноября Чертков читал ему газеты и прочел четыре полученных на его имя письма. Он их внимательно выслушал и, как всегда это делал дома, просил пометить на конвертах, что с ними делать.

Ночь с 3 на 4 была одна из самых тяжелых. Вечером, когда оправляли его постель, он сказал:

— А мужики-то, мужики как умирают! — и опять заплакал.

Часов с одиннадцати начался бред. Он опять просил записывать за ним, но говорил

отрывочные, непонятные слова. Когда он просил прочитать записанное, терялись и не знали, что читать. А он все просил:

— Да прочтите же, прочтите!

Утро 4 ноября было тоже очень тревожно. Появился еще новый зловещий признак: он, не переставая, перебирал пальцами, брал руками один край одеяла и перебирал его пальцами до другого края, потом обратно, и так без конца. Иногда он старался что-то доказать, выразить какую-то свою неотвязную мысль.

— Ты не думай, — сказала ему Александра Львовна.

— Ах, как не думать, надо, надо думать!

Так весь день он старался сказать что-то, метался и страдал.

К вечеру снова начался бред, и он умолял понять его мысль, помочь ему.

— Саша, пойд*и*, *посмотри*, *чем это кончится*, — говорил он.

Она старалась отвлечь его:

— Может быть, ты хочешь пить?

— Ах, нет, нет... Как не понять... Это так просто!

И снова бредил:

— Пойдите сюда, чего вы боитесь, не хотите мне помочь, я всех прошу...

— *Искать, все время искать...*

В комнату вошла Варвара Михайловна. Он привстал на кровати, протянул руки и громким, радостным голосом, глядя на нее в упор, крикнул (приняв ее за умершую дочь):

— Маша, Маша!

Всю ночь Александра Львовна не отходила от него. Он все время метался, охал. Снова просил записывать. Записывать было нечего, а он все просил:

— Прочти, что я написал! Что же вы молчите? Что я написал?

Все время старались дежурить возле него по двое, но тут случилось, что Александра Львовна осталась одна. Казалось, он задремал. Но вдруг сильным движением он привстал и стал спускать ноги с постели. Она быстро подошла:

— Что тебе, папаша?

— *Пусти, пусти меня!*

И из всех сил рвался вперед:

— Пусти, пусти, ты не смеешь держать, пу-

сти!

В 10 часов утра 6 ноября приехали московские врачи.

Увидав их, он сказал:

— Я их помню...

В этот день он точно попрощался со всеми. Ласково посмотрел на Душана Петровича и с глубокой нежностью сказал:

— Милый Душан, милый Душан!

Меняли простыни, я поддерживала ему спину, — говорит Александра Львовна. — И вот я почувствовала, что его рука ищет мою руку. Я подумала, что он хочет опереться на меня, но он крепко пожал мне руку один раз, потом другой. Я сжала его руку и припала к ней губами, стараясь сдержать рыдания. В этот день отец сказал нам слова, которые заставили нас вспомнить, что жизнь для чего-то послана нам и что мы обязаны, независимо от каких-либо обстоятельств, продолжать эту жизнь, по мере слабых сил своих стараясь служить Пославшему нас и людям. Кровать стояла среди комнаты. Мы сидели около. Вдруг отец сильным движением привстал и почти сел. Я подошла:

— Поправить подушки?

— Нет, — сказал он, твердо и ясно выговаривая каждое слово. — нет. Только одно советую помнить, что на свете есть много людей, кроме Льва Толстого, а вы смотрите только на одного Льва.

Деятельность сердца у него очень ослабела, пульс едва прощупывался, губы, нос и руки посинели и лицо как-то сразу похудело, точно сжалось. Дыханье было едва слышно...

Вечером, когда все разошлись спать, я тоже заснула. Меня разбудили в десять часов. Отцу стало хуже. Он стал задыхаться. Его приподняли на подушки, и он, поддерживаемый нами, сидел, свесив ноги с кровати.

— Тяжело дышать, — хрипло, с трудом проговорил он.

Всех разбудили. Доктора давали ему дышать кислородом... После впрыскивания камфары ему как будто стало лучше. Он позвал брата Сережу:

— Сережа!

И когда Сережа подошел, сказал:

— Истина... Я люблю много... как они...

Это были его последние слова.

И вот еще что говорил он в бреду 6 ноября (по свидетельству Сергея Львовича), — то, на что я уже указывал:

— Все Я... все проявления... довольно проявлений... вот и все...

В этот день в Астапово приехал о. Варсонофий, старец из Оптиной Пустыни. Впоследствии говорили, будто этот приезд состоялся «по приказу из Петербурга». Говорили неправду. Приехав, о. Варсонофий просил допустить его к умирающему, получил отказ и написал Александре Львовне письмо: «Почтительно благодарю Ваше сиятельство за письмо Ваше, в котором пишете, что воля родителя Вашего для Вас и для всей семьи Вашей поставляется на первом плане. Но Вам, графиня, известно, что граф выражал сестре своей, а Вашей тетушке, монахине матери Марии, желание видеть нас и беседовать с нами». Приказ из Петербурга выходит, таким образом, выдумкой. Если бы он не выражал сестре желания видеть старцев, о. Варсонофий не мог бы ссылаться на нее. Но что было бы, если бы Александра Львовна допустила его к отцу? Можно предположить: примирение умираю-

щего с церковью. Но разве это уничтожило бы смысл его бредовых слов, слышанных Сергеем Львовичем?

Смысл этот слишком велик, уничтожить его не могло ничто.

«Слова умирающего особенно значительны», — как однажды сказал он в своем дневнике.

IV

До сих пор помню тот день, тот час, когда ударил мне в глаза крупный шрифт газетной телеграммы:

«Астапово, 7 ноября. В 6 часов 5 минут утра Лев Николаевич Толстой тихо скончался».

Газетный лист был в траурной раме. Посреди его чернел всему миру известный портрет старого мужика в мешковатой блузе, с горестно-сумрачными глазами и большой косой бородой. Был одиннадцатый час мокрого и темного петербургского дня. Я смотрел на портрет, а видел светлый, жаркий кавказский день, лес над Тереком и шагающего в

этом лесу худого загорелого юнкера «в белой папашке с опустившимся пожелтевшим курпеем, в белой, грязной, с широкими складками черкеске» и с винтовкой в руке:

— На другой день Оленин пошел один на то место, где он со стариком спугнул оленя... День был совершенно ясный, тихий, жаркий. Утренняя свежесть даже в лесу пересохла, и мириады комаров буквально облепляли лицо, спину и руки... Эти мириады насекомых так шли к этой дикой, до безобразия богатой растительности, к этой бездне зверей и птиц, наполняющих лес, к этой темной зелени, к этому пахучему, жаркому воздуху, к этим канавкам мутной воды, везде просасывающейся из Терека и бульбулькающей где-нибудь под нависшими листьями... Обойдя то место, где он вчера нашел зверя, и ничего не встретив, он захотел отдохнуть...

Он отыскал вчерашние следы оленя, подобрался под куст в чашу, в то самое место, где вчера лежал олень, и улегся у его логова... И вдруг на него нашло такое странное чувство беспричинного счастья и любви ко всему, что он, по старой детской привычке, стал кре-

ститься и благодарить кого-то. Ему вдруг с особенной ясностью пришло в голову, что вот я, Дмитрий Оленин, такое особенное ото всех существо, лежу теперь один, бог знает где, в том месте, где жил олень, старый олень, красивый, никогда, может быть, не выдавший человека... Около меня, пролетая между листьями, которые кажутся им огромными островами, стоят в воздухе и жужжат комары: один, два, три, четыре, сто, тысяча, миллион комаров, и каждый из них такой же особенный от всех Дмитрий Оленин, как и я сам... И ему ясно стало, что он несколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар или такой олень, которые живут теперь вокруг него.

«Так же, как они, как дядя Ерошка, поживу и умру. И правду он говорит: только трава вырастет». — «Да что же, что трава вырастет? — думал он дальше. — Все-таки надо жить, надо быть счастливым... Все равно, что бы я ни был: такой же зверь, как и все, на котором трава вырастет и больше ничего, или я рамка, в которой вставилась часть единого боже-

ства, все-таки надо жить наилучшим образом. Как же надо жить, чтобы быть счастливым, и отчего я не был счастлив прежде?»

И он стал вспоминать свою прошедшую жизнь, и ему стало гадко на самого себя... И вдруг ему как будто открылся новый свет. «Счастье, вот что, — сказал он себе, — счастье в том, чтобы жить для других... в человеке вложена потребность счастья; стало быть, оно законно. Удовлетворяя его эгоистически, то есть отыскивая для себя богатства, славы, удобства жизни, любви, может случиться, что обстоятельства так сложатся, что невозможно будет удовлетворить этому желанию. Следовательно, эти желания незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какие же желания всегда могут быть удовлетворены, несмотря на внешние условия? Какие? Любовь, самоотвержение!» Он так обрадовался и взволновался, открыв эту, как ему казалось, новую истину, что вскочил и в нетерпении стал искать, для кого бы ему поскорее пожертвовать собой, кому бы сделать добро, кого бы любить...

Софья Андреевна говорила:

— Сорок восемь лет прожила я с Львом Николаевичем, а так и не узнала, что он был за человек!

Многообразие этого человека всегда удивляло мир. Но вот тот образ, что вспомнился мне 7 ноября четверть века тому назад, — этот кавказский юнкер с его мыслями и чувствами среди «дикой, до безобразия богатой растительности» над Тереком, среди «бездны зверей и птиц», наполняющих эту растительность, и несметных комаров в воздухе, каждый из которых был будто бы «такой же особенный от всех», как и сам юнкер ото всего прочего: не основной ли это образ? Юнкер, думая о своей «особенности», с радостью терял чувство ее: «Ему ясно стало, что он несколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар или такой же олень, которые живут теперь возле него. Так же, как они, как дядя Ерошка, поживу и умру. И правду он говорит: только трава вырастет...»

Это стремление к потере «особенности» и тайная радость потери ее — основная толстовская черта. «Слова умирающих особенно

значительны». И, умирая, он, величайший из великих, говорил: «На свете много Львов, а вы думаете об одном Льве Толстом!» Разве это не то же, что чувствовал и говорил себе кавказский юнкер про свою «особенность»? Радовало его это и впоследствии — взять Наполеона, Пьера, князя Андрея и разоблачить мнимую высоту их положений и самооценок[6], лишить их «особенности», показать на них, что сущность жизни вне временных и пространственных форм, смешать их с комарами и оленями; сделать это и с самим собою. Ни один олень, ни один дядя Ерошка не защищал свою «особенность» так, как он, не утверждал ее с такой страстью и силой, — достаточно вспомнить хоть то, как зоологически ревнив он был в любви. И вместе с тем всю жизнь разрушал ее, и чем дальше, тем все страстнее, все сильнее. Как могло быть иначе? Как не разрушать, если все-таки не дано было кавказскому юнкеру в его дальнейшей долгой жизни идти к блаженному, звериному «поживу и умру, и только трава вырастет»? Как не разрушать, если то и дело становится «гадко на самого себя», если «счастье в том,

чтобы жить для других?»?

— Он так обрадовался и взволновался, открыв эту, как ему казалось, новую истину, что вскочил и в нетерпении стал искать, для кого бы ему поскорее пожертвовать собой...

Сколько раз в жизни открывал он «эту, как ему казалось, новую истину»? Истина же эта роковая. С ней нельзя быть оленем или дядей Брошкой. «Все равно, что бы я ни был: такой же зверь, как и все, или же я рамка, в которой вставилась часть единого божества...» Но в том и беда, что совсем не все равно, если уже сознаешь себя такой «рамкой». И олень, и дядя Брошка тоже «рамки», но думают ли они об этом! Олени и дяди Брошки, каждый в своей «особенности», в своей «самости», ничуть не стремятся искать, «для кого бы поскорей пожертвовать собой»[7]. И поэтому сугубо роковой путь жизни был уготован тому, кто был рожден и оленем и дядей Брошкой, а вместе с тем — Дмитрием Лениным, который никак не мог умереть так, чтобы только трава выросла. «Некоторые живут, не замечая своего существования». Не некоторые, — их столько же, сколько на земле комаров и оле-

ней. А сколько замечающих? Он же был из тех, что слишком замечают. И нельзя было ему умереть, как оленю. Надлежало умереть или как Ивану Ильичу, как князю Серпуховскому из «Холстомера», в лучшем случае, как самому Холстомеру — или же с совершенно несомненным чувством то ли слов Христа: «Царство мое не от мира сего, верующий в меня не увидит смерти вовек», то ли слов индийской мудрости: «Отверзите уши ваши, освобождение от смерти найдено! Освобождение — в разоблачении духа от его материального одеяния, в воссоединении Я временного с вечным Я». Чувство же это приобретается страшной ценой.

И вот в 6 часов 5 минут утра 7 ноября 1910 года кончилась на станции Астапово не только жизнь одного из самых необыкновенных людей, когда-либо живших на свете, — кончился еще и некий необыкновенный человеческий подвиг, необыкновенная по своей силе, долготе и трудности борьба за то, что есть «освобождение», есть исход из «Бывания в Вечное», говоря буддийскими словами, есть путь «в жизнь», говоря словами Евангелия, по

удивительному совпадению оказавшимися в сборнике «Мысли мудрых людей на каждый день», который он составлял в свои последние годы, как раз на странице, отведенной седьмому дню ноября:

— Входите тесными вратами: ибо широки врата и пространен путь, ведущие в погибель; и многие идут ими: ибо тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.

В этот сборник он включал наиболее трогавшие его, наиболее отвечавшие его уму и сердцу «мысли мудрых людей» разных стран, народов и времен, равно как и некоторые свои собственные. «Во все века лучшие, то есть настоящие люди думали об этом», — писал он в предисловии к нему. «Об этом», — это о том, о чем он и сам думал всю жизнь, даже и тогда, когда так страстно думал совсем о другом: о том, «чем все это кончится», что надо «искать, все время искать». Во всем и всегда удивительный, удивителен он был и той настойчивостью, с которой он начал говорить «об этом» с самых ранних лет, а впоследствии говорил с той одержимостью однообра-

зия, которую можно видеть или в житиях святых, или в историях душевнобольных. Есть предание, что Иоанн, любимый ученик Христа, неустанно говорил в старости только одно: «Дети, любите друг друга». Однообразие, с которым говорил Толстой, одно и то же во всех своих последних писаниях и записях, подобно тому однообразию, которое свойственно древним священным книгам Индии, книгам иудейских пророков, поучениям Будды, сурам Корана:

— Материя для меня самое непонятное, — то и дело повторял он на все лады.

— Что я такое? *Разум ничего не говорит на эти вопросы сердца. Отвечает на это только какое-то чувство в глубине сознания.* С тех пор, как существуют люди, они *отвечают на это не словами, то есть орудием разума, частью проявления жизни, а всей жизнью.*

— Избави бог жить только для этого мира. *Чтобы жизнь имела смысл, надо, чтобы, цель ее выходила за пределы постижимого умом человеческим.*

— Дорого и радостно общение с людьми, которые в этой жизни смотрят за пределы ее.

— Бог для меня есть то, к чему я стремлюсь, — то, в стремлении к чему и состоит моя жизнь. Бог поэтому есть для меня непременно такой, что я его понять и назвать не могу.

— Ехал наверху на конке, глядел на дома, вывески, лавки, извозчиков, прохожих, проезжих и вдруг так ясно стало, что весь этот мир с моей жизнью в нем есть только одна из бесчисленных возможностей других миров и других жизней и для меня есть только одна из бесчисленных стадий, через которую я прохожу (как мне кажется, во времени).

— Наши постоянные стремления к будущему не есть ли признак того, что жизнь есть расширение сознания? Постепенно сознаешь, что нет ни материального, ни духовного, а есть только мое прохождение через пределы вечного, бесконечного, которое есть Все само в себе и вместе с тем Ничто (Нирвана).

— Мое Я стремится расшириться и в стремлении сталкивается со своими пределами в пространстве... Кроме сознания пределов в пространстве, есть еще сознание себя — того, что сознает пределы. Что есть это сознание?

Если оно чувствует пределы, то это значит, что оно по существу своему беспредельно и стремится выйти из этих пределов.

— Жизнь, которую я сознаю, есть прохождение духовной и неограниченной (божественной) сущности через ограниченное пределами вещество.

— Жизнь человека выражается в отношении конечного к бесконечному.

— Бесконечное, которого человек сознает себя частью, и есть бог.

— Если иногда удастся забыть о людях, испытываешь какой-то экстаз свободы.

— Если бы я был один, я был бы юродивым, то есть ничем бы не дорожил в жизни...

— Надо и в писании быть юродивым...

Он с радостью говорил своей старшей дочери Татьяне Львовне незадолго до бегства из Ясной Поляны, что он мечтает поселиться в ее деревне, где его никто не знает: «Я там могу ходить и просить под окнами милостыню». Бесконечно знаменательны эти слова, — эта мечта быть юродивым, ничем не дорожающим в жизни и всеми презираемым, стать никому не известным, нищим, смиренно просящим с

сумой за плечами кусок хлеба под мужицкими окнами. Ужели и впрямь, как думают это еще и до сих пор, так долго стремился он убежать из Ясной Поляны только ради освобождения себя от ссор с детьми и женой? Ведь еще юнкером испытывал он этот «экстаз свободы», счастье думать, что нисколько он не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто «такой же комар или такой же олень». Юнкер Оленин восторженно терял свою «особенность». Восторженно мечтал и о том, чтобы прославить ее на весь мир. А чем кончил?

— Был человек в земле Уц, Иов имя его... И родилось у него семь сыновей и три дочери. И было скота у него семь тысяч мелкого скота, и три тысячи верблюдов, и пятьсот пар волов, и пятьсот ослиц, и прислуги весьма много; и был человек тот знатнее всех сынов Востока...

И вот, во всем был «разорен» тот человек; «и вот, ветер великий поднялся со стороны пустыни, и обхватил четыре угла дома, и тот упал на отроков, и они умерли...»

Толстой сам себя разорял целыми десятилетиями и наконец разорил полностью — и

самого себя, и весь «дом» свой, в крушении которого было нечто тоже библейское: словно и впрямь «ветер великий поднялся со стороны пустыни, и обхватил четыре угла дома, и тот упал на отроков» — и где они теперь, эти рассеянные по всему миру «отроки», из которых один (недавно умерший в Америке Илья Львович) погиб не только от болезни, но и от полной нищеты! Толстой сам призывал и наконец призвал на свой «дом» и на самого себя этот «великий ветер» тоже по воле того, покорность которому стала в некий срок альфой и омегой всей его жизни.

— Прости руку твою на раба твоего Иова и коснись всего, что у него. И простер и коснулся, — «всего, кроме души».

— И встал Иов, и разодрал верхнюю одежду свою, и остриг голову свою, и пал на землю, и поклонился, и сказал: наг вышел я из чрева матери моей, наг и возвращусь туда.

Наг, как во чреве матери, был и тот, кто «тихо скончался» под чьим-то чужим кровом, на какой-то дотоле никому не ведомой железнодорожной станции.

Думая о его столь долгой и столь во всем

удивительной жизни, высшую и все разъясняющую точку ее видишь как раз тут — в его бегстве из Ясной Поляны и в его кончине на этой станции. Думая об этом и о долгих годах великих страданий, этому предшествовавших, никак не избежешь мысли о путях Иова, Будды, даже самого сына человеческого.

— Паки и паки берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему: все это отдам тебе, если, падши, поклонисься мне. Но Иисус говорит ему: отойди от меня, Сатана.

Кто был так искушаем, как Толстой, кто так любил «царства мира и славу их»?

— Боже мой, — думал князь Андрей в ночь перед Аустерлицким сражением, — что же мне делать, ежели я ничего не люблю, как только славу, любовь людскую? Отец, сестра, жена, все самые дорогие мне люди — я всех их отдам за минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей, которых я не знаю!

«Врата, ведущие в погибель», были открыты перед Толстым сугубо широко, «торжества над людьми» он достиг величайшего. «Ну, и

что ж? Что потом?»[8] Достигнув, он «встал, и взял черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел *вне селения...*»

Так же, как Иов, — и как Екклезиаст, как Будда — Толстой был обречен на «разорение» с самого рождения своего. Вся жизнь таких людей идет в соответствии с их обреченностью: все «дела и труды» их, все богатства и вся слава их — «суета сует»; в соответствии и кончается: черепица, пепел, «вне селения», роца Уравеллы, Астапово... «Тот, кто все создает по замыслу своему», одаряет их тем щедрее, чем больше должно быть в некий срок их «разорение», заставляет трудиться и стяжать тем страстнее, чем отчаяннее будут их проклятия всем земным трудам и стяжаниям. Вот у одного семь сыновей, три дочери, сотни рабов и рабынь, тысячи скота и первенство среди всех сынов Востока; у другого — в жилах царская кровь, высшая родовитость, как телесная, так и духовная, высшая сила и ловкость и «четыре дворца по числу времен года»; третий — сын Давидов, царь над Израилем и великий «делатель»: «Я предпринял большие дела — построил дома себе, насадил

виноградники, устроил рощи и сады, сделал водоемы, собрал золота, серебра и драгоценностей от царей и областей...» И у всех общий конец: «Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?» — спрашивает один, столь много под солнцем потрудившийся. «Наг вышел я из чрева матери моей, наг и возвращусь туда», — говорит другой. «Царство мира сего и царство смерти — одно: это искуситель Мара, он же есть смерть», — говорит третий. И муки ада испытывает четвертый, вспоминая свою жизнь:

— Я испытываю муки ада: вспоминаю всю мерзость моей прежней жизни...

Какая «мерзость», какие смертные грехи числились за ним? *Только те, что называются «грехами святых»*, всегда считавших себя самыми страшными грешниками. Но все равно: сколько лет и с какой ожесточенностью скоблил он черепицей проказу своих грехов («не было ни одного самого страшного преступления, которого бы я не совершал») и трепетал, как Иов.

— Ужасное, чего я ужасался, постигло меня; и чего я боялся, приходит ко мне.

Толстой говорил почти теми же словами:

— Я качусь, качусь под гору смерти. А я не хочу смерти, я хочу и люблю бессмертие. Я люблю мою жизнь — семью, хозяйство, искусство...

— Как мне спастись? Я чувствую, что погибаю, люблю жизнь и умираю — как мне спастись?

«И счастливый семьянин, здоровый человек, Левин был несколько раз так близок к самоубийству, что прятал шнурок, чтобы не повеситься, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться».

Левин тоже погибал. «Но Левин не повесился, и не застрелился, и продолжал жить». Почему продолжал? Потому, что была на то воля Хозяина, которую он, невзирая ни на что, непрестанно чувствовал в себе так же сильно, как его работник Федор. Воля (стремление) к жизни (земной, временной) — в теле. И Левин уже и тогда остро ненавидел временами тело, — и свое и чужое, — отсюда и было ему искушение повеситься или застрелиться. Но уже и тогда чувствовал он, что не будет это спасением для него. Уже и тогда

слышал в себе «голос Высшего Я». Зачем надо было продолжать жить? Затем, что этот голос говорил, что нужно «спастись» при жизни. А в чем спасение? Не в убийстве тела, не в выходе из него «не готовым», а в преодолении его и в потере «всего, кроме души».

V

После его похорон Ясная Поляна быстро пустела.

В доме еще оставались некоторые родные и близкие, но и они уже разъезжались один за другим; и Софья Андреевна сказала Ксюнину про этот пустеющий дом, куда она вошла когда-то почти девочкой и где провела потом целых сорок восемь лет:

— Через три дня дом совсем мертвый будет...

Все уедут...

Тот, с кем она когда-то вошла в этот дом, был в ту пору во всем расцвете всех своих беспримерных сил и любил ее так, что говорил: «Я счастлив, как один из миллиона». Он писал тогда в своем дневнике:

— Люблю я ее, когда ночью или утром я

проснусь и вижу: она смотрит на меня и любит... Люблю я, когда она сидит близко ко мне, и мы знаем, что любим друг друга, как можем; и она скажет: «Левочка!» — и остановится: — «Отчего трубы в каминах проведены прямо?» или: «Почему лошади не умирают долго?» Люблю, когда мы долго одни — и «что нам делать?» — «Соня, что нам делать?» — Она смеется. Люблю, когда она рассердится на меня и вдруг, в мгновение ока у ней мысль и слово, иногда резкое: «Оставь! скучно!» Через минуту она уже робко улыбается мне. Люблю, когда она девочка в желтом платье и выставит нижнюю челюсть и язык; люблю, когда я вижу ее голову, закинутую назад, и серьезное, и испуганное, и детское, и страстное лицо...

Писал в письмах к друзьям:

— Пишу и слышу наверху голос жены, которую я люблю больше всего на свете. Я дождался до 34 лет и не знал, что можно так любить и быть так счастливым...

Вспоминая то время, когда он начал «Войну и мир», Софья Андреевна сказала:

— Приходит однажды ко мне в восторге, возбужденный, и говорит: «Какой великолеп-

ный тип дипломата я сейчас представляю себе!» А я спрашиваю его: «Левочка, а что такое дипломат?» Мне ведь было тогда всего двадцать лет...

— Я никогда никого, кроме тебя, не любил, говорил мне всю жизнь Лев Николаевич. Но ведь не так легко было сделать счастливым Толстого! Я помню, как однажды наш друг поэт Фет сказал про меня: «Софья Андреевна по ножу ходит». По ножу я и ходила всю жизнь...

Он был счастлив, «как один из миллиона». Что же, однако, начал он писать в своем дневнике вскоре после женитьбы и первого упоения хозяйством?

— Ужасно! Я игрок и пьяница. Я в запое хозяйства и погубил невозвратимые девять месяцев, которые я сделал чуть ли не худшими в своей жизни... Я за эти девять месяцев самый ничтожный, слабый, бессмысленный и пошлый человек...

Он заводит большой пчельник и просиживает там часами, наблюдая, изучая жизнь пчел, разводит племенных овец, уверяет себя, что «не может быть счастлив в жизни», если не достанет себе японских поросят, разбива-

ет плодовый сад, сажает леса елок, сажает в огромном до смешного количестве капусту, строит винокуренный завод, с необыкновенной страстью предается полевому хозяйству, каждую свободную минуту урывает лишь для своей охотничьей страсти, ломает себе однажды на бешеной скачке за зайцем руку и пишет жене из Москвы, где лечится: «Ты говоришь — я забуду (тебя). Ни на минуту, особенно с людьми. На охоте я забываю, помню об одном дупеле: но с людьми, при всяком столкновении, слове, я вспоминаю о тебе... Я тебя так сильно всеми любвями люблю...»

Он пишет своему другу Александре Андреевне Толстой: «Я никогда (как теперь) не чувствовал свои умственные и даже все нравственные силы столько свободными и столько способными к работе. И работа эта есть у меня. Работа эта — роман из времени 1810 и 20-х годов, которые занимают меня вполне... Я теперь писатель всеми силами своей души, и пишу и обдумываю, как еще никогда не писал и не обдумывал. Я счастливый и спокойный муж и отец, не имеющий ни перед кем тайны и никакого желания, кроме того, что-

бы все шло по-прежнему...»

В этом романе, — это была «Война и мир», — тоже прославляется семейное счастье, семейные добродетели, здоровые, простые человеческие устои; но точно ли, что не имел он в ту пору «ни перед кем никакой тайны»? В своих дневниках он пишет в эту пору нечто очень тайное:

— Ужасно, страшно, бессмысленно связать свое счастье с материальными условиями — жена, дети, здоровье, хозяйство, богатство...

— Где я, тот я, прежний, которого я сам любил и знал, который выходит иногда наружу весь и меня самого радует и пугает? Я маленький и ничтожный. И я такой с тех пор, как женился на женщине, которую люблю...

Эта «тайна» прорывается иногда и в жизни. Сестра Софьи Андреевны рассказывает в своих воспоминаниях, что произошло однажды с этим счастливым мужем и хозяином:

«Соня сидела наверху у себя в комнате на полу у ящика комода и перебирала узлы с лоскутьями. (Она была в интересном положении.) Лев Николаевич, войдя к ней, сказал:

— Зачем ты сидишь на полу? Встань!

— Сейчас, только уберу все.

— Я тебе говорю, встань сейчас, — громко закричал он и вышел к себе в кабинет.

Соня не понимала, за что он так рассердился. Это обидело ее, и она пошла в кабинет. Я слышала из своей комнаты их раздраженные голоса, прислушивалась и ничего не понимала. И вдруг я услышала падение чего-то, стук разбитого стекла и крик:

— Уйди, уйди!

Я отворила дверь. Сони уже не было. На полу лежали разбитая посуда и термометр, висевший всегда на стене. Лев Николаевич стоял посреди комнаты бледный, с трясущейся губой. Глаза его глядели в одну точку... Я побежала к Соне. Она была очень жалка. Прямо как безумная, все повторяла: „За что? Что с ним?“ Она рассказала мне уже немного погодя:

— Я пошла в кабинет и спросила его: „Левочка, что с тобой?“ — „Уйди, уйди!“ — злобно закричал он. — Я подошла к нему в страхе и недоумении, он рукой отвел меня, схватил поднос с кофе и чашкой и бросил на пол...

Так мы с Соней никогда и не могли понять,

что вызвало в нем такое бешенство...»

«Соня, что нам делать?» Это значило: слишком хорошо нам с тобой, слишком счастливы мы! А через сорок восемь лет после того «Соня» жила в вагоне на запасных путях на станции Астапово, и ее не пускали к тому, у кого она когда-то спрашивала про камин, про лошадей, и она, опираясь на руку кого-нибудь из сыновей, ходила под те завешанные окна, за которыми он умирал, приникала к ним, стараясь хоть что-нибудь рассмотреть за занавеской, потом тихо брела назад в свой вагон, чтобы опять сидеть и плакать о себе и о «Левочке»... Впоследствии она рассказывала:

— Пустили меня к нему, когда он уже едва дышал, неподвижно лежа навзничь, с закрытыми глазами. Я тихонько на ухо говорила ему с нежностью, надеясь, что он еще слышит, что я все время была тут, в Астапове, что любила его до конца... Не помню, что я ему говорила, но два глубоких вздоха, как бы вызванные страшным усилием, отвечали мне на мои слова, а затем все стихло...

Теперь наступали уже самые последние дни всей долгой прежней жизни Ясной Поля-

НЫ:

— Через три дня дом совсем мертвый будет... Все уедут...

Этот белый дом со стеклянной верандой и низким крыльцом уже начинал походить на музей, писал Ксюнин.

В опустевших комнатах смотрят со стен его проникающие в душу глаза.

В кабинете и в спальне все застыло с той ночи, когда он ушел, в полной неприкосновенности: подсвечник с догоревшей свечой и розеткой, окапанной стеарином, два яблока, подушка на диване, где он отдыхал, кресло, на котором около письменного стола любила сидеть Софья Андреевна, шахматы, три его карточки в разных возрастах и открытый на дне его смерти «Круг чтения».

— Седьмого ноября. «Смерть есть начало другой жизни». Монтень.

На постели в спальне его любимая подушечка, вышитая монахиней Марией. Рядом на столике звонок, круглые старинные часы, свеча, спички, несколько коробочек с лекарствами. Над постелью портрет Татьяны Львовны. В одном углу умывальник, в другом

круглый столик с графином воды, на полу седло. По стенам портреты — его отца в военной форме, его умершей дочери Марии и два портрета Софьи Андреевны; на одном она, еще совсем юная, удивительно хороша. В простенке между окнами зеркало, из окон, по широкой аллее, открывается вид в сад, направо на поляне видна ель... Эта комната особенно мертва, и в ней, около постели, большой лавровый венок с красными лентами и надпись:

— Огласившему пустыню жизни криком «Не могу молчать».

А в маленькой гостиной рядом с кабинетом лежит еще одна открытая книга — «Мысли мудрых людей на каждый день»:

— Седьмого ноября. «Входите тесными вратами: ибо широки врата и пространен путь, ведущие в погибель; и многие идут ими: ибо тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Матфея, VII.

В последние годы своей жизни Софья Андреевна казалась высокой, стала худа и немного сгорбилась, была тиха, слаба. И все-таки каждый день за версту ходила туда — на

могилу «Левочки», вечным сном покоившегося в парке на краю оврага, под старыми развесистыми деревьями: летом и осенью каждый день носила на могилу свежие цветы, подолгу сидела над ней на скамейке — и, может быть, вспоминала: «Соня, что нам делать!»

Она встретила меня, говорит один из посетивших ее в ту пору, устало и со спокойным достоинством, беседуя, не улыбалась, не повышала голоса. И это тогда сказала она:

— Сорок восемь лет прожила я со Львом Николаевичем, а так и не узнала, что он был за человек!

Теперь, когда со времени его смерти прошла уже целая четверть века, и ко всем прежним бесчисленным свидетельствам и суждениям о нем прибавилось еще великое множество новых, вопросы, «что он был за человек», почему Софья Андреевна «всю жизнь ходила по ножу» и что заставило его бежать, кажутся уже вполне разрешенными. Но это только так кажется.

— Странно и страшно подумать, что от рождения моего до трех лет, в то время, когда я кормился грудью, когда меня отняли от гру-

ди, когда я стал ползать, ходить, говорить, сколько бы я ни искал в своей памяти, я не могу найти ни одного впечатления... Когда же я начался? Когда начал жить? И почему мне радостно представлять себя тогда, а бывало страшно, как и теперь страшно многим, представлять себя тогда, когда я опять вступлю в то состояние смерти, от которого не будет воспоминаний, выразимых словами? Разве я не жил тогда, когда учился смотреть, слушать, понимать, говорить, когда спал, сосал грудь и целовал грудь и смеялся и радовал мою мать? Я жил, и блаженно жил. Разве не тогда я приобретал все то, чем я теперь живу, и приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь не приобрел и одной сотой того? От пятилетнего ребенка до меня — только шаг. От новорожденного до пятилетнего — страшное расстояние. От зародыша до новорожденного — пучина. А от несуществования до зародыша отделяет уже не пучина, а непостижимость. Мало того, что пространство, и время, и причина суть формы мышления, и что сущность жизни вне этих форм, но вся жизнь наша есть (все) большее и большее

подчинение себя этим формам и потом опять освобождение от них...

Это строки из его «Первых воспоминаний».

Как никто и никогда, за все эти двадцать пять лет, прошедшие со времени его смерти, не обратил никакого внимания на такие изумительные во всех отношениях строки, невозможно понять.

Никакого внимания не обратил никто и на дальнейшие строки из тех же «Первых воспоминаний»:

— При переводе меня вниз к Федору Ивановичу и мальчикам, я испытал в первый раз и потому сильнее, чем когда-либо после, то чувство, которое называют чувством долга, называют чувством креста, который призван нести каждый человек. Мне было жалко покинуть привычное (*привычное от вечности*), грустно было, поэтически грустно расставаться не столько с людьми, с сестрой, с няней, с теткой, сколько с кроваткой, с положком, с подушкой, и страшна была та новая жизнь, в которую я вступал. Я старался находить веселое в той новой жизни, которая предстояла мне: я старался верить ласковым речам, кото-

рыми заманивал меня к себе Федор Иванович, старался не видеть того презрения, с которым мальчики принимали меня, меньшого, к себе; старался думать, что стыдно было жить большому мальчику с девочками и что ничего хорошего не было в этой жизни наверху с няней; но на душе было страшно грустно, и я знал, что я безвозвратно терял невинность и счастье, и только чувство собственного достоинства, сознание того, что я исполняю свой долг, поддерживало меня. Много раз потом в жизни мне приходилось переживать такие минуты на распутьях жизни, вступая на новые дороги. Я испытывал тихое горе о безвозвратности утраченного. Я все не верил, что это будет... Но, помню, халат с подтяжкой, пришитой на спине, который на меня надели, как будто отрезал меня навсегда от верха, и я тут в первый раз заметил не всех тех, с кем я жил наверху, но главное лицо, с которым я жил и которое я не понимал прежде. Это была тетушка Татьяна Александровна. Помню невысокую, плотную, черноволосую, нежную, жалостливую. Она надевала на меня халат, обнимая, подпоясывала и целовала, и я ви-

дел, что она чувствовала то самое, что и я, что жалко, ужасно жалко, но должно. В первый раз я почувствовал, что жизнь не игрушка, а трудное дело, — не то ли я почувствую, когда буду умирать: я пойму, что смерть или будущая жизнь не игрушка, а трудное дело...

Во всей всемирной литературе нет ничего похожего на эти строки и нет ничего равного им.

— Подчинение и потом опять освобождение.

В чем главное отличие одной человеческой жизни от другой? Не в той ли или иной мере ее «подчинения» и «освобождения»? И вот рождается человек, который на всю жизнь запоминает боль, жалость, грусть, испытанную им на самом пороге «подчинения», при переходе «вниз», и вообще нечто такое, что недоступно обычной человеческой памяти:

— Вот первые мои воспоминания (которые я не умею поставить по порядку, не зная, что было прежде, что после, о некоторых даже не знаю, было ли то во сне или наяву). Вот они: я связан; мне хочется выпростать руки, и я не

могу этого сделать, и я кричу, плачу, и мне самому неприятен мой крик; но я не могу остановиться. Надо мной стоит, нагнувшись, кто-то. И все это в полутьме. Но я помню, что двое. Крик мой действует на них; они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу еще громче. Им кажется, что это нужно (то есть чтобы я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком, противным для самого себя, но не неудержимым. Я чувствую несправедливость и жестокость не людей, потому что они жалеют меня, но судьбы и жалость над самим собой. Я не знаю и никогда не узнаю, что это такое было: пеленали ли меня, когда я был грудной, и я выдираю руку, или это пеленали меня уже когда мне было больше года, чтобы я не расчесывал лишай; собрал ли я в одно это воспоминание, как то бывает во сне, много впечатлений, но верно то, что это было первое и самое сильное впечатление жизни. И памятно мне не крик мой, не страдание, но сложность, противоречивость впечатления. Мне хочется свободы, она никому не мешает, и я, кому си-

ла нужна, я слаб, а они сильны...

«Связывают». Впоследствии он будет неустанно все больше «развязываться», стремиться назад, к «привычному от вечности».

— Другое впечатление — радостное. Я сижу в корыте, и меня окружает новый, не неприятный запах какого-то вещества, которым трут мое маленькое тельце. Вероятно, это были отруби и, вероятно, в воде и в корыте, но новизна впечатления отрубей разбудила меня, и я в первый раз заметил и полюбил свое тельце с видимыми мне ребрами на груди и гладкое темное корыто, засученные руки няни, и теплую, парную, страшенную воду, и звук ее, и в особенности ощущение гладкости мокрых краев корыта, когда я водил по ним ручонками...

Что это такое? Многие дивились: «Какал необыкновенная память была у этого человека!» Но эти почти страшные строки говорят вовсе не о памяти в обычном значении этого слова. Если говорить о памяти так, как о ней обычно говорят, то тут ее нет: такой памяти на свете ни у кого не было и не может быть. Что же это такое? Нечто такое, с чем рожда-

ются только уже совсем «вырождающиеся» люди: «Я помню, что мириады лет тому назад я был козленком», — говорил Будда уже совсем страшными словами. И что означает наличие такой «памяти»?

Вскоре после смерти Толстого я был в индийских тропиках. Возвратясь в Россию, проводил лето на степных берегах Черного моря. И кое-что из того, что думал и чувствовал и в индийских тропиках, и в летние ночи на этих берегах, под немолчный звон ночных степных цикад, впоследствии написал:

— Некоторый род людей обладает способностью особенно сильно чувствовать не только свое время, но и чужое, прошлое, не только свою страну, свое племя, но и другие, чужие, не только самого себя, но и ближнего своего, то есть, как принято говорить, «способностью перевоплощаться», и особенно живой и особенно образной (чувственной) «памятью». Для того же, чтобы быть в числе таких людей, надо быть особью, прошедшей в цепи своих предков долгий путь многих, многих существований[9] и вдруг явившей в себе особенно полный образ своего дикого пращу-

ра со всей свежестью его ощущений, со всей образностью его мышления и с его огромной подсознательностью, а вместе с тем особью, безмерно обогащенной за свой долгий путь и уже с огромной сознательностью.

— Великий мученик или великий счастливец такой человек? И то и другое. Проклятие и счастье такого человека есть его особенно сильное Я, жажда вящего утверждения этого Я и вместе с тем вящее (в силу огромного опыта за время пребывания в огромной цепи существований) чувство тщеты этой жажды, обостренное ощущение Всебытия.

— И вот — поэты, художники, святые, мудрецы, Будда, Соломон, Толстой...

— Гориллы в молодости, в зрелости страшны своей телесной силой, безмерно чувственны в своем мироощущении, беспощадны во всяческом насыщении своей похоти, отличаются крайней непосредственностью, к старости же становятся нерешительны, задумчивы, скорбны, жалостливы... Сколько можно насчитать в царственном племени святых и гениев таких, которые вызывают на сравнение их с гориллами даже по наружности! Вся-

кий знает бровные дуги Толстого, гигантский рост и бугор на черепе Будды, падучую болезнь Магомета, те припадки ее, когда ангелы в молниях открывали ему «тайны и бездны неземные» и «в мановение ока» (то есть вне всяких законов времени и пространства) переносили из Медины в Иерусалим — на Камень Мориа, «непрестанно размахивающийся между небом и землей», как бы смешивающий землю с небом, преходящее с вечным.

— Все подобные им сперва с великой жадностью приемлют мир, затем с великой страстностью клянут его соблазны. Все они сперва великие грешники, потом великие враги греха, сперва великие стяжатели, потом великие расточители. Все они ненасытные рабы Майи — и все отличаются все возрастающим с годами чувством Всебытия и неминуемого в нем исчезновения...

— Есть два рода людей. В одном, огромном, — люди своего, определенного момента, житейского строительства, делания, люди как бы почти без прошлого, без предков, верные звенья той Цепи, о которой говорит мудрость Индии: что им до того, что так страшно

ускользают в безграничность и начало и конец этой Цепи? А в другом, малом, не только не делатели, не строители, а сущие разорители, уже познавшие тщету делания и строения, люди мечты, созерцания, удивления себе и миру, люди того «умствования», о котором говорит Екклезиаст, — люди, уже втайне откликнувшиеся на древний зов: «Выйди из Цепи!» — уже жаждущие раствориться, исчезнуть во Всеедином и вместе с тем еще люто страждущие, тоскующие о всех тех ликах, воплощениях, в коих пребывали они, особенно же о каждом миге своего настоящего. Это люди, одаренные великим богатством восприятий, полученных ими от своих бесчисленных предшественников, чувствующие бесконечно далекие звенья Цепи, существа, дивно (и не в последний ли раз?) воскресившие в своем лице силу и свежесть своего райского праотца, его телесности. Отсюда и великое их раздвоение: мука и ужас ухода из Цепи, разлука с нею, сознание тщеты ее — и сугубого очарования ею. И каждый из этих людей с полным правом может повторить древнее стенание: «Вечный и Всеобъемлющий! Ты некогда не

знал Желания, Жажды[10]. Ты пребывал в покое, но ты сам нарушил его: ты зачал и повел безмерную Цепь воплощений, из коих каждому надлежало быть все бесплотнее, все ближе к блаженному Началу. Ныне все громче звучит мне твой зов: „Выйди из Цепи! Выйди без следа, без наследства, без наследника! Возвратись ко мне!“»[11]

Будда был в миру царевичем и недаром «из рода тех, чья гордость вошла в поговорку»:[12] когда настала его брачная пора и со всего царства созваны были невесты достойнейшие и прекраснейшие, он пожелал избрать «наилучшую», а на состязании из-за нее с прочими юношами — оказаться «первейшим», как в силе, так и в ловкости; и все свои пожелания выполнил: превзошел всех и во всем, каковому превосходству есть пример хотя бы в том, что, пустив стрелу из лука, он так пустил ее, что она улетела за семь тысяч миль. И дано ему было и великое супружеское счастье и рождение сына, прекраснейшего в мире; а потом — три выезда в город и три встречи, затмившие все радости его, дотоле не подозревавшего, что есть в мире то, что

показали ему встречи: болезнь, старость, смерть; и тогда пришло ему в сердце решение оставить и жену и сына, порвать мирские «шелковые сети» и бежать и из родного дома, и из мира: «Тесна жизнь в доме, — сказал он себе, — место нечистоты есть дом, свобода вне дома! Не вернусь я к миру, не знал я прежде мира!» В темную, бурную ночь, достигнув большой реки, — переправы в полное отчуждение от мира, — царевич сошел с коня, снял с себя богатую одежду, обрезал свои длинные волосы, — знак своего высокого достоинства, — и, отдав коня конюху, сопровождавшему его до реки, ушел на поиски «священного спасения»; и испытал многие учения, оказавшиеся ложными, и многие самоистязания, не ведущие к познанию, и, дойдя до предела их, просветлен был в рощах Уравеллы дивным и внезапным прозрением, в чем есть истинное освобождение, спасение от страданий мира и от смертной гибели в нем, и благовествовал «как серебряный колокол, подвешенный к небесному своду»:

— Отверзите уши ваши: освобождение (спасение, избавление) от смерти найдено!

Он благовествовал, во многом следуя древней священной мудрости, говорившей так:

Царство мира сего и царство смерти — одно; это Искуситель Мара, он же смерть.

Освобождение — в разоблачении духа от его материального одеяния.

Освобождение — в самоотречении. Освобождение — в углублении духа в единое истинное бытие, оно же есть Брама-Атман, основа всякого бытия и истинная сущность человеческого духа. Брама есть свойственное человеку истинное Я, сущий во мраке телесного Атман, Единое, Целое, Вечное.

Освобождение — в стремлении лишь к Атману, к тому состоянию, что подобно сну, в котором не видишь сновидений и не чувствуешь никаких желаний.

Человеческое Я есть земное воплощение Атмана, земное проявление его.

Освобожденный, спасенный — тот, кто познал Атмана до конца и возвращается к нему, не желая никакого потомства.

VI

Мечтать о счастье видеть его я начал очень рано.

Мальчиком я уже имел некоторое представление о нем, но не из чтений его книг, а по разговорам у нас в доме. Между прочим, помню, что отец нередко смеялся, рассказывая, как читают «Войну и мир» наши соседи помещики: один читает только «Войну», а другой только «Мир», — один, читая, пропускает все, что касается войны, а другой — наоборот. И чувства к Толстому были у меня тогда уже не простые. Отец (в молодости участвовавший, как и Толстой, в обороне Севастополя) говорил:

— Я его немного знал. Во время севастопольской кампании встречал...

И я смотрел на него во все глаза: живого Толстого видел!

В ранней молодости я был совершенно влюблен в него, в тот мной самим созданный образ, который томил меня мечтой увидеть его наяву. Мечта эта была неотступная, но как я мог тогда осуществить ее? Поехать в Яс-

ную Поляну? Но с какой стати, с какими глазами? «Что вам угодно, молодой человек?» — спросят меня в Ясной Поляне. И что я отвечу тогда?

Раз я не выдержал: в один прекрасный летний день внезапно приказал оседлать своего верхового «киргиза» и поскакал в Ефремов, — уездный город Тульской губернии, — в сторону Ясной Поляны, до которой от нас было не более ста верст. Но, доскакав до Ефремова, испугался, решил обдумать дело серьезнее, переночевать в Ефремове — и всю ночь мучился от смены решений — ехать, не ехать, — скитался ночью по городу и так устал, что, зайдя на рассвете в городской сад, мертвым сном заснул на первой попавшейся скамейке, а проснувшись, и совсем протрезвился, подумал еще немного — и поскакал назад, домой.

Позднее, страстно мечтая о чистой, здоровой, «доброй» жизни среди природы, собственными трудами, в простой одежде, главное же, опять-таки от влюбленности в Толстого, как художника, я стал толстовцем, — конечно, не без тайной надежды, что это даст мне наконец уже как бы несколько законное

право увидеть его и даже, может быть, войти в число людей, приближенных к нему. И вот, началось мое толстовское «послушание».

Я жил тогда в Полтаве, где почему-то оказалось немало толстовцев, с которыми я вскоре и сблизился. Тут я узнал, каково было большинство учеников Толстого, — полтавские были типичны за некоторыми исключениями, это был совершенно несносный народ.

Я видел «самого» Черткова. Это был высокий, крупный, породистый человек с небольшой, очень гордой головой, с холодным и надменным лицом, с ястребиным, совсем небольшим и прекрасно сформированным носом и с ястребиными глазами. Софья Андреевна была очень талантлива художественно, — то ли от природы, то ли от того, что прожила три четверти жизни с Толстым. Часто она говорила с необыкновенной меткостью. Однажды сказала про какого-то революционера, посетившего Ясную Поляну: «Пришел, сел и сидит. Упорно молчит, неподвижное лицо, очень черный брюнет, синие очки и кривой глаз». А Черткова она называла «идолом». Я видел его всего раз или два и не

решаюсь судить точно, что он был за человек. Но впечатление от него у меня осталось такое, что лучше и не скажешь: «Идол». Очень идет к этому определенно и следующее воспоминание Александры Львовны:

— Какой задорный вид бывал у отца, когда он выходил из кабинета после удачной работы!

Поступь легкая, бодрая, лицо веселое, глаза смеются. Иногда вдруг повернется на одном каблуке или легко и быстро перекинёт ногу через спинку стула. Я думаю, всякий уважающий себя толстовец пришел бы в ужас от такого поведения учителя. Да такая резвость и не прощалась отцу. Я помню такой случай. На «председательском» месте, как оно у нас называлось, сидела мама. По правую сторону отец, рядом с ним Чертков. Обедали на террасе, было жарко, комары не давали покоя. Они носились в воздухе, пронзительно и нудно жужжа, жалили лицо, руки, ноги. Отец разговаривал с Чертковым, остальные слушали. Настроение было веселое, оживленное, острили, смеялись. Вдруг отец, взглянув на голову Черткова, быстрым, ловким движением хлоп-

нул его по лысине. От налившегося кровью, раздувшегося комара осталось кровавое пятнышко. Все расхохотались, засмеялся и отец. Но внезапно смех оборвался. Чертков, мрачно сдвинув красивые брови, с укоризной смотрел на отца:

— Что вы наделали? — проговорил он. — Что вы наделали, Лев Николаевич! Вы лишили жизни живое существо! Как вам не стыдно?

Отец смутился. Всем стало неловко...

Первый, кого я узнал в Полтаве, был некто Клопский, человек довольно известный в то время среди толстовцев и даже попавший в герои нашумевшей тогда повести Каронина «Учитель жизни». Это был высокий, худой человек в длинных сапогах и в блузе, с узким серым ликом и бирюзовыми глазами, хитрый нахал и плут, неутомимый болтун, вечно всех поучавший, наставлявший, любивший ошеломлять неожиданными выходками, дерзостями, словом, всей той манерой вести себя, при помощи которой он довольно сытно и весело шатался из города в город. К толстовцам принадлежал и полтавский доктор Алек-

сандр Александрович Волкенштейн, по происхождению и по натуре большой барин, кое в чем походивший на Стиву Облонского из «Анны Карениной». И вот, явившись в Полтаву, Клопский первым делом отправляется к Волкенштейну и очень скоро попадает через него в полтавские салоны, куда Волкенштейн проводит его и с «идейной» целью, как проповедника, и просто для забавы, как курьезную фигуру, и где Клопский говорит, например, так:

— Да, да, вижу, как вы живете: лжете да конфетами закусываете, да идолам своим по церквам, которые уже давно пора на воздух взорвать, молебны служите! И когда только вообще кончатся все те нелепости и мерзости, в которых тонет мир? Вот, скажем, ехал я сюда из Харькова. Приходит человек, называемый почему-то кондуктором, и говорит: «Ваш билет». Я его спрашиваю: «А что это значит, какой, собственно, билет?» Отвечает: «Но билет, по которому вы едете?» А я ему опять свое: «Позвольте я не по билету, а по рельсам еду». — «Значит, говорит, у вас билета нет?» — «Конечно, говорю, нету». — «В таком

случае мы вас на следующей станции высадим». — «Прекрасно, говорю, это ваше дело, а мое дело ехать». На следующей станции действительно являются: «Пожалуйста выходите». — «Но зачем же, говорю, выходить, мне и тут хорошо». — «Тогда мы вас выведем». — «Выведете? Но я не пойду». — «Тогда вытащим, вынесем». — «Что ж, выносите, это ваше дело». И вот, меня действительно тащат: несут на руках, на диво всей почтенной публике, два рослых бездельника, два мужика, которые с гораздо большей пользой могли бы землю пахать!

Таков был Клопский. Прочие были в другом роде, но тоже хороши. Это были братья Д., севшие на землю под Полтавой, люди необыкновенно скучные, тупые и самомнительные, хотя с виду весьма смиренные, затем некто Леонтьев, щуплый и маленький молодой человек, болезненной и редкой красоты, бывший паж, тоже мучивший себя мужицким трудом и тоже лгавший себе и другим, что он очень счастлив этим, затем громадный еврей, похожий на матерого русского мужика, ставший впоследствии известным

под именем журналиста Тенеромо, державшийся всегда с необыкновенной важностью и снисходительностью к простым смертным, нестерпимый ритор, софист, занимавшийся бондарным ремеслом. К нему-то под начало и попал я. Он-то и был мой главный наставник, как в «учении», так и в жизни трудами рук своих: я был у него подмастерьем, учился набивать обручи. Для чего мне нужны были эти обручи? Для того опять-таки, что они как-то соединяли меня с Толстым, давали мне тайную надежду когда-нибудь увидеть его, войти в близость с ним. И, к великому моему счастью, надежда эта вскоре совершенно неожиданно оправдалась. Вскоре вся «братия» смотрела на меня уже как на своего, и Волкенштейн — это было в самом конце девяносто третьего года — вдруг пригласил меня ехать с ним сперва к «братьям» в Харьковскую губернию, к мужикам села Хилково, — принадлежавшего известному толстовцу князю Хилкову, — а затем в Москву, к самому Толстому.

Трудное это было путешествие. Ехали мы в третьем классе, с пересадками, все норовя попадать в вагоны наиболее простонародные,

ели «безубойное», то есть черт знает что, хотя Волкенштейн иногда и не выдерживал, вдруг бежал к буфету и с страшной жадностью глотал одну за другой две-три рюмки водки, закусывая и обжигаясь пирожками с мясом, а потом пресерьезно говорил мне:

— Я опять дал волю своей похоти и очень страдаю от этого, но все же борюсь с собой и все же знаю, что не пирожки владеют мной, а я ими, я не раб их, хочу — ем, хочу — не ем...

Трудно было ехать потому больше всего, что я сторал от нетерпения поскорей попасть в Москву, нам же, видите ли, непременно надо было ехать с плохими поездами, а не скорыми, не с курьерскими, затем пожить с хилковскими «братьями», войти в личное общение с ними и «укрепить» и себя и их этим общением на путях «доброй» жизни. Мы так и сделали — пожили у хилковских мужиков, кажется, дня три или четыре, и я возненавидел за эти дни этих богатых, благочестивых, благих на вид мужиков, ночевки в их избах, их пироги с начинкой из картофеля, их псалмопение, их рассказы про их непрестанную и лютую борьбу «с попами и начальниками» и

буквоедские споры о Писании истинно всеми силами души. Наконец, первого января, мы тронулись дальше. Помню, я проснулся в тот день с такой радостью, что совсем забылся и брякнул: «С Новым годом, Александр Александрович!» — за что и получил от Александра Александровича жесточайший нагоняй: что это значит — Новый год, понимаю ли я, какую бессмыслицу повторяю я? Однако не до того мне было тогда. Я слушал и думал: прекрасно, прекрасно, все это сущий вздор, — завтра вечером мы будем в Москве, а послезавтра я увижу Толстого... И так оно и случилось.

Волкенштейн кровно обидел меня: поехал к Толстому сию же минуту после того, как мы добрались до московской гостиницы, а меня с собой не взял: «Нельзя, нельзя, надо предупредить Льва Николаевича, я предупрежу, предупрежу», — и убежал. Вернулся же домой очень поздно и даже ничего не рассказал о своем визите, только поспешно кинул мне: «Я точно живой воды напился!» — причем я совершенно безошибочно определил по запаху от него, что он, после живой воды, пил еще и

шамбертен, затем, очевидно, чтобы доказать, что не он раб шамбертена, а шамбертен его раб. Хорошо было только то, что Толстого он все-таки предупредил, хотя я даже и на это мало надеялся: очень милый, но уж очень легкомысленный человек был этот слегка женоподобный, полнеющий, красивый брюнет. На другой день вечером я, вне себя, побежал наконец в Хамовники...

Как рассказать все последующее?

Лунный морозный вечер. Добежал, стою и едва перевожу дыхание. Кругом глушь и тишина, пустой лунный переулочек. Передо мной ворота, раскрытая калитка, снежный двор. В глубине, налево, деревянный дом, некоторые окна которого красновато освещены. Еще левее, за домом, — сад, и над ним тихо играющие разноцветными лучами сказочно-прекрасные зимние звезды. Да и все вокруг сказочное. Какой особый сад, какой необыкновенный дом, как таинственны и полны значения эти освещенные окна: ведь за ними — Он! И такая тишина, что слышно, как колотится сердце — и от радости, и от страшной мысли: а не лучше ли поглядеть на этот дом и

бежать назад? Отчаянно кидаюсь наконец во двор, на крыльцо дома и звоню. Тотчас же отворяют — и я вижу лакея в плохоньком фраке и светлую прихожую, теплую, уютную, с шубками и шубами на вешалке, среди которых резко выделяется старый полушубок. Прямо передо мной крутая лестница, крытая красным сукном. Правее, под нею, запертая дверь, за которой слышны гитары и веселые молодые голоса, удивительно беззаботные к тому, что они раздаются в таком совершенно необыкновенном доме.

— Как прикажете доложить?

— Бунин.

— Как-с?

— Бунин.

— Слушаю-с.

И лакей убегает наверх и, к моему удивлению, тотчас же, вприпрыжку, бочком, перехватывая рукой по перилам, сбегает назад:

— Пожалуйста обождать наверх, в залу...

А в зале я удивляюсь еще больше: едва вхожу, как в глубине ее, налево, тотчас же, не заставляя меня ждать, открывается маленькая дверка, и из-за нее быстро, с неуклюжей лов-

костью выдергивает ноги, выныривает, — ибо за этой дверкой было две-три ступеньки в коридор, — кто-то большой, седобородый, слегка как будто кривоногий, в широкой, мешковато сшитой блузе из серой бумаги, в таких же штанах, больше похожих на шаровары, и в тупоносых башмаках. Быстрый, легкий, страшный, остроглазый, с насупленными бровями. И быстро идет прямо на меня, — меж тем как я все-таки успеваю заметить, что в его походке, вообще во всей посадке, есть какое-то сходство с моим отцом, — быстро (и немного приседая) подходит ко мне, протягивает, вернее, ладонью вверх бросает большую руку, забирает в нее всю мою, мягко жмет и неожиданно улыбается очаровательной улыбкой, ласковой и какой-то вместе с тем горестной, даже как бы слегка жалостной, и я вижу, что эти маленькие серо-голубые глаза вовсе не страшные и не острые, а только по-звериному зоркие. Легкие и жидкие остатки серых (на концах слегка завивающихся) волос по-крестьянски разделены на прямой пробор, очень большие уши сидят необычно высоко, бугры бровных дуг надви-

нуты на глаза, борода, сухая, легкая, неровная, сквозная, позволяет видеть слегка выступающую нижнюю челюсть...

— Бунин? Это с вашим батюшкой я встретился в Крыму? Вы что же, надолго в Москву? Зачем? Ко мне? Молодой писатель? Пишите, пишите, если очень хочется, только помните, что это никак не может быть целью жизни... Садитесь, пожалуйста, и расскажите о себе...

Он заговорил так же поспешно, как вошел, мгновенно сделав вид, будто не заметил моей потерянности, и торопясь вывести меня из нее, отвлечь от нее меня.

Что он еще говорил?

Все расспрашивал:

— Холосты? Женаты? С женщиной можно жить только как с женой и не оставлять ее никогда... Хотите жить простой, трудовой жизнью? Это хорошо, только не насилуйте себя, не делайте мундира из нее, во всякой жизни можно быть хорошим человеком...

Мы сидели возле маленького столика. Довольно высокая старинная фаянсовая лампа мягко горела под розовым абажуром. Лицо его было за лампой, в легкой тени, я видел

только мягкую серую материю его блузы, да его крупную руку, к которой мне хотелось припасть с восторженной, истинно сыновней нежностью, да слышал его старческий, слегка альтовый голос, с характерным звуком несколько выдающейся челюсти... Вдруг зашуршал шелк, я взглянул, вздрогнул, поднялся: из гостиной плавно шла крупная и нарядная, сияющая черным шелковым платьем, черными волосами и живыми, сплошь темными глазами дама:

— Леон, — сказала она, — ты забыл, что тебя ждут...

И он тоже поднялся и с извиняющейся, даже как бы виноватой улыбкой, глядя мне прямо в лицо своими маленькими глазами, в которых все была какая-то темная грусть, опять забрал мою руку в свою:

— Ну, до свидания, до свидания, дай вам бог, приходите ко мне, когда опять будете в Москве... Не ждите многого от жизни, лучшего времени, чем теперь у вас, не будет... Счастья в жизни нет, есть только зарницы его — цените их, живите ими...

И я ушел, убежал и провел вполне сума-

спешную ночь, непрерывно видел его во сне с разительной яркостью, в какой-то дикой путанице...

Возвратясь в Полтаву, я писал ему и получил от него несколько ласковых ответных писем. В одном из них он опять дал мне понять, что не стоит мне так уж стараться быть толстовцем, но я все-таки не унимался: обручи набивать бросил, но стал торговать книжками «Посредника», — московского толстовского издательства, — завел полтавское отделение его. Да, как это ни странно, я когда-то торговал: когда-то в Полтаве была лавочка, внутри которой очень хорошо пахло новыми тесовыми полками и лежащими на них новыми книжками и брошюрками, а над входом висела вывеска: «Книжный магазин Бунина». Я служил тогда в полтавской земской управе, был ее библиотекарем, сидел в сводчатом полуподвальном зале, в глубокие окна которого глядел старый сад управы. Там я, один, в тиши, читал, писал стихи, порой работал над составлением очерков (о борьбе с вредными насекомыми, об урожае хлебов и трав), которые мне заказывало статистическое бюро, быв-

шее при управе, и составил, кстати сказать, столько, что, если бы собрать их теперь, к сочинениям моим прибавилось бы еще три-четыре порядочных тома. Так я проводил время до обеда. А после обеда шел в свой книжный магазин и ждал там покупателей, жаждущих толстовского просвещения. Покупателей, однако, не было, и вот я, чтобы хоть как-нибудь способствовать распространению этого просвещения, стал бесплатно раздавать некоторые брошюры «Посредника» управским сторожам. Когда же и из этого не вышло ничего путного, — например, один сторож, которому я дал брошюрку о вреде курения, сказал мне вскоре после того, что вся брошюрка эта пошла у него на тютюн, на сигарки, — я решился на более смелое дело: стал иногда, пользуясь свободой своей службы, отправляться в странствия по губернии, торговать «Посредником» по ярмаркам, по базарам, где и был однажды задержан урядником «на предмет составления протокола за торговлю без законного на то разрешения», каковой протокол, конечно, повлек за собой через некоторое время судебное преследование. Преследо-

вание оказалось довольно сурово: меня приговорили к трем месяцам тюремного заключения, и я был, понятно, очень рад, что наконец-то и мне удастся «пострадать». Однако и тут преследовала меня неудача: сидеть в тюрьме мне не пришлось, — я попал под всемилостивейший манифест по случаю восшествия на престол нового императора и таким манером от страданий был насильственно избавлен.

Бросив торговлю (в которой я так запутал счета, несмотря на их малые размеры, что порою подумывал повеситься от стыда, от беспомощности), я переехал на жительство в Москву, но и там все еще пытался уверить себя, что я брат и единомышленник руководителей «Посредника» и тех, что постоянно торчали в его помещении, наставляя друг друга насчет «доброй жизни».

Там-то я и видел его еще несколько раз. Он туда иногда заходил, вернее, забегал (ибо он ходил удивительно легко и быстро) и, не снимая полушубка, сидел час или два, со всех сторон окруженный «братией», делавшей ему порою такие вопросы:

— Лев Николаевич, но что же я должен был бы делать, неужели убивать, если бы на меня напал, например, тигр?

Он в таких случаях только смущенно улыбался:

— Да какой же тигр, откуда тигр? Я вот за всю жизнь не встретил ни одного тигра...

Сыновей его я в ту пору еще никого не знал и не видал. Дочерей видел. Однажды вечером застал в «Посреднике» и его, и их, всех трех: Таню, старшую, Машу, среднюю, и Сашу, младшую. Он сидел возле большого деревянного стола, занимавшего середину комнаты и освещенного сверху висячей лампой, зябко ежился, запустив руки в рукава своего старого нагольного полушубка и положив их на стол, и слегка хмурился, слушая стоявших вокруг и что-то говоривших сотрудников «Посредника», из которых резко выделялись двое: один небольшой, широкоплечий, широкоскулый, похожий на сельского учителя, в серой блузе и в валенках, с острым, сумасшедшим взглядом за очками, другой высокий, стройный, страстно-мрачный красавец с черно-синими волосами и совершенно безум-

ным, экстатическим выражением смуглого, худого лица. А они все сидели на диване в углу и пристально смотрели оттуда блестящими молодыми глазами. Когда я присел к столу, они с любопытством стали смотреть на меня, начали что-то шептать друг другу и смеяться: живо и насмешливо взглянут на меня, что-то тихо скажут одна другой и покатаются со смеху. Я недоумевал: в чем дело, что смешного нашли они во мне? И стал краснеть, делать вид, что не замечаю их, как вдруг он быстро взглянул на меня, весело улыбнулся и, не оборачиваясь, строго и шутливо крикнул:

— Перестаньте смеяться!

Вспоминаю еще, как однажды я сказал ему, желая сказать приятное и даже слегка подольститься:

— Вот всюду возникают теперь эти общества трезвости...

Он сдвинул брови:

— Какие общества?

— Общества трезвости...

— То есть это когда собираются, чтобы водки не пить? Вздор. Чтобы не пить, незачем собираться. А уж если собираться, то надо пить.

Все вздор, ложь, подмена действия видимостью его...

А на дому я был у него еще только один раз. Меня провели через залу, где я когда-то впервые сидел с ним возле милой розовой лампы, потом в эту маленькую дверку, по ступенькам за ней и по узкому коридору, и я робко стукнул в дверь направо.

— Войдите, — ответил старческий альтерный голос.

И я вошел и увидел низкую, небольшую комнату, тонувшую в сумраке от железного щитка над старинным подсвечником в две свечи, кожаный диван возле стола, на котором стоял этот подсвечник, а потом и его самого, с книгой в руках. При моем входе он быстро поднялся и неловко, даже, как показалось мне, смущенно бросил ее в угол дивана. Но глаза у меня были меткие, и я увидел, что читал он, то есть перечитывал (и, вероятно, уже не в первый раз, как делаем это и мы, грешные) свое собственное произведение, только что напечатанное тогда, — «Хозяин и работник». Я, от восхищения перед этой вещью, имел бестактность издать восторжен-

ное восклицание. А он покраснел, замахал руками:

— Ах, не говорите! Это ужас, это так ничтожно, что мне по улицам ходить стыдно!

Лицо у него было в этот вечер худое, темное, строгое: незадолго перед тем умер его семилетний Ваня. И после «Хозяина и работника» он тотчас заговорил о нем:

— Да, да, милый, прелестный мальчик был. Но что это значит — умер? Смерти нет, он не умер, раз мы любим его, живем им!

Вскоре мы вышли и пошли в «Посредник».

Была черная мартовская ночь, дул весенний ветер, раздувая огни фонарей. Мы бежали наискось по снежному Девичьему Полю, он прыгал через канавы, так что я едва поспевал за ним, и опять говорил — отрывисто, строго, резко:

— Смерти нету, смерти нету!

Через несколько лет после этого я видел его еще раз. Как-то в страшно морозный вечер, среди огней за сверкающими, обледенелыми окнами магазинов, шел в Москве по Арбату — и неожиданно столкнулся с ним, бегущим своей пружинной походкой прямо на-

встречу мне. Я остановился и сдернул шапку. Он сразу узнал меня:

— Ах, это вы! Здравствуйте, здравствуйте, надевай-те, пожалуйста, шапку... Ну, как, что, где вы и что с вами?

Старческое лицо его так застыло, посинело, что имело совсем несчастный вид. Что-то вязаное из голубой песцовой шерсти, что было на его голове, было похоже на старушечий шлык. Большая рука, которую он вынул из песцовой перчатки, была совершенно ледяная. Поговорив, он крепко и ласково пожал мою, опять глядя мне в глаза горестно, с поднятыми бровями:

— Ну, Христос с вами, Христос с вами, до свидания...

VII

Не помню, в каком именно году видел я его в зимний вечер в Москве на Арбате. О чем мы говорили, тоже не помню. Помню только, что во время этого короткого разговора он спросил меня, пишу ли я что-нибудь? Я ответил:

— Нет, Лев Николаевич, почти не пишу. И все, что прежде писал, кажется теперь таким, что лучше и не вспоминать.

Он оживился:

— Ах, да, да, прекрасно знаю это!

— Да и нечего писать, — прибавил я.

Он посмотрел на меня как-то нерешительно, потом точно вспомнил что-то.

— Как же так нечего? — спросил он. — Если нечего, напишите тогда, что вам нечего писать и почему нечего. Подумайте, почему именно нечего, и напишите. Да, да, попробуйте сделать так, — сказал он твердо.

Так видел я его последний раз. Часто потом говорил себе: непременно надо хоть однажды увидеть еще, ведь, того гляди, это станет невозможно, — и все не решался искать

новой встречи. Все думал: зачем я ему? Когда разнеслась весть, что его уже нет на свете, я был в Петербурге. Тотчас подумал: ехать, увидеть его еще раз, хоть в гробу! — но удержало какое-то необъяснимое чувство: нет, этого не надо.

Я вскоре возвратился в Москву. Там только и было разговору, что о нем. Те, что были на его похоронах, рассказывали, «какое это было удивительно грандиозное зрелище, истинно народное, несмотря на все меры, предпринятые правительством, дабы помешать ему быть таким», как везли тело со станции Астапово на Козлову Засеку, как, в сопровождении огромной толпы, на руках несли гроб по полям к Ясной Поляне, и я рад был, что ничего этого не видел собственными глазами: хоронили его «благодарные крестьяне», хоронила «студенческая молодежь» и «вся русская передовая интеллигенция», — общественные деятели, адвокаты, доктора, журналисты, — люди, чуждые ему всячески, восхищавшиеся только его обличениями церкви и правительства и на похоронах испытывавшие в глубине душ даже счастье: тот экстаз театрально-

сти, что всегда охватывает «передовую» толпу на всяких «гражданских» похоронах, в которых всегда есть некоторый революционный вызов и это радостное сознание, что вот настал такой миг, когда никакая полиция не смеет ничего тебе сделать, когда чем больше этой полиции, принужденной терпеть «огромный общественный подъем», тем лучше...

В те дни нам уже стало известно с достаточной точностью, — от Сергея Львовича, старшего его сына, постоянно жившего в Москве и только что вернувшегося из Ясной Поляны, — что именно «переполнило чашу терпения Льва Николаевича» и как он бежал. Все это было то самое, что впоследствии столько раз описывали и что Сергей Львович узнал от Александры Львовны. И я помню, как я, слушая, минута за минутой переживал в воображении эту ночь с 27 на 28 октября: ведь эта ночь была еще так близка, ведь с этой ночи прошло тогда всего две недели...

Говорили общеизвестное теперь: бежал потому, что за последний год был особенно замучен женой и некоторыми сыновьями из-

за слухов, что написал завещание, в котором отказался от авторских прав уже на все свои сочинения. Говорили, что Софья Андреевна с психопатической настойчивостью добивалась узнать, правда ли, что существует такое завещание, — она уже давно чувствовала, что вокруг нее происходит что-то тайное, что Лев Николаевич с Александрой Львовной ведут какие-то сокровенные дела: имеют какие-то письменные и устные переговоры с Чертковым и его помощниками, где-то видятся с ними, прячут от нее какие-то бумаги и новые дневники Льва Николаевича... Целью ее жизни стала с тех пор слежка за ним, искание по дому этих бумаг и дневников...

Александра Львовна проснулась в ночь с 27 на 28 октября от его легкого стука в дверь и услышала его прерывающийся голос: «Саша, я сейчас уезжаю». Он стоял в своей серой блузе, со свечой в руке, и лицо у него («розовое») было «светло, прекрасно и полно решимости». Сергей Львович рассказывал: отец весь дрожал, как попало собираясь при помощи Александры Львовны в дорогу, — «только самое необходимое, Саша, да карандаши и перья, и

никаких лекарств!» — руки его прыгали, затягивая ремни чемодана... Потом он побежал на конюшню будить работников, велел запрягать лошадей. Ночь была сырая, холодная и непроглядная, он в темноте заблудился, попал в какие-то кусты, чуть не выколол глаз, потерял шапку... Вернувшись в дом и надев другую, опять побежал, светя себе электрическим фонариком, в конюшню, стал помогать запрягать и, все больше дрожа от страха, что вот-вот проснется Софья Андреевна, едва мог надеть на лошадь уздечку, потом обессилел: бросил помогать, отошел в угол каретного сарая, слабо освещенного огарком свечи, и в полном изнеможении сел на что-то в полутьме... На нем была в эту ночь старая вязаная шапка, — может быть, все та же самая, в которой я видел его на Арбате, — старая синяя поддевка, старые вязаные перчатки, старые калоши... А 7 ноября, уже на смертном ложе, — серая фланелевая блуза, серенькие штаны, серые шерстяные чулки и ночные туфли...

Ужасно было в то время читать газеты с их пошлой торжественностью:

— С 10 часов 7 ноября разрешили входить в ту комнату, где лежало тело великого старца, всем желавшим поклониться ему. Железнодорожники убрали его ложе ветками можжевельника и возложили первый венок с трогательной надписью: «Апостолу любви». Потом стали приходить крестьяне из соседних деревень, деревенские школьники; многие родители приводили детей, чтобы они видели и всю жизнь вспоминали потом лицо великого защитника всех трудящихся и обремененных...

— В полдень организовали первую гражданскую панихиду. Толпа пела «вечную память»...

— На другой день гроб поставили в товарный вагон, убранный соломенными венками и хвойными ветками, и поезд, переполненный родными и близкими, друзьями и поклонниками, представителями печати и обществности, медленно тронулся...

«Приехав в день похорон в Ясную Поляну с журналистом Поповым, — писал в „Русских ведомостях“ поэт Брюсов, — мы пошли к усадьбе пешком... Вот фруктовый сад, наса-

женный Толстым, вот крытая аллея, где он любил сидеть отдыхать, а вот и рощица, где вырыта для него могила... Дальше — типичная усадьба деревенских дворян, простой двухэтажный дом... Во дворе усадьбы — толпы народу, студенты, курсистки, фотографы... В парке повсюду конные стражники и конные казаки... Откуда-то издали уже слышится хоровое пение приближающегося кортежа:

— Несут!

Кортеж приближается. Впереди идут крестьяне, несущие на древках полотнище, на котором начертано: „Лев Николаевич, память о том добре, которое ты делал нам, никогда ее умрет в нас, осиротевших крестьянах Ясной Поляны“. За ними — простой дубовый гроб, который несут на руках открытым. Еще дальше три телеги с венками...»

Тем же тоном рассказывается и дальнейшее:

«В сумерки опять растворяются двери дома. И тихо, медленно выносят гроб.

Несут сыновья.

Кто-то начинает „вечную память“. Пение подхватывается всей толпой, даже теми, кто

никогда в жизни не пел.

В эту минуту этот хор — Россия.

— На колени!

И вся толпа, на всем пути гроба, опускается на колени...»

Попов, о котором упоминает Брюсов, был мне знаком. Возвратясь в Москву, он много рассказывал мне об этом «грандиозном зрелище». Рассказывал и некто Мертваго, тоже ездивший в Ясную Поляну. Он вечером после похорон сидел на деревне с яснополянскими мужиками, и мужики все спрашивали:

— Ну вот, мы несли эту самую вывеску. Что ж, будет нам за это какое-нибудь награждение от начальства или от графини? Ведь мы как старались! Целый день на ногах! Опять же на венок потратились.

Попов ужасно возмущался. Подумайте, как относился покойный к ним всю жизнь, сколько и впрямь добра сделал! А как было шестьдесят лет назад, когда он, еще юношей, еще до правительственного освобождения крестьян от крепостного права, сам предлагал им волю, и они не поверили бескорыстности его намерений, так и теперь осталось! Мертваго, ста-

рый помещик, хорошо знавший мужиков, только усмехался. Он рассказывал, как ядовито говорил один яснополянский мужик:

— Да, хороший был барин покойный граф! Все, говорит, бывало, теперь не мое, я давно все добро жене и детям отдал, мне это, мол, без надобности, я трудящий народ люблю... А выйдешь так-то на зорьке, еще солнце не показывалось, а уж он шмыг, шмыг по росе, по опушке своего леса, и так шныряет глазами по лесу: нет ли, значит, порубки где?

— Я его, — рассказывал Мертваго, — стыдить стал, уверять, что это он для здоровья гулял рано по утрам. Куда тебе! Мужик стоял на своем: «Знаем мы это здоровье! Нет, уж такие зоркие хозяйские глаза были!»

Это бегство из Ясной Поляны, эта смерть на захолустной железнодорожной станции и эти «гражданские» похороны примирили с ним уже все «передовое» русское общество и снова вызвали бесконечные толки о нем.

В пору моей ранней молодости о нем тоже очень много говорили, но совсем иначе. Тогда все еще поражались тем, что граф, аристократ, богач, знаменитый романист, вдруг на-

дел мужицкую одежду, стал пахать, шить сапоги, класть печи, обслуживать самого себя. Поражались «Крейцеровой сонатой» и особенно «Послесловием» к ней, где человек, произведший на свет тринадцать человек детей, вдруг восстал не только против любви между мужчиной и женщиной, но даже и против продолжения человеческого рода. Чаще всего говорили, что «Крейцера соната» объясняется очень просто — его старчеством и тем, что он «ненавидит жену». Еще тогда рассказывал мне Теноромо, будто Толстой сказал ему однажды:

— Ненавижу Софью Андреевну, да и всех женщин! Умру, положат в гроб, закроют крышкой, а я вдруг вскочу, скину ее и крикну Софье Андреевне: «Ненавижу!»

Тогда жил в толстовской семье в качестве учителя детей некто Лазурский, впоследствии профессор Новороссийского университета, который рассказывал мне, как однажды Софья Андреевна говорила с ним о «Крейцеровой сонате», когда вдруг вошел Толстой.

— О чем это вы? — сказал он. — О любви, о браке? Брак — гибель. Шел человек до по-

ры, до времени один, свободно, легко, потом взял и связал свою ногу с ногой бабы.

Софья Андреевна спросила:

— Зачем же ты сам женился?

— Глуп был, думал тогда иначе.

— Ну, да, ты ведь постоянно так: нынче одно, завтра другое, все меняешь свои убеждения.

— Всякий должен их менять, стремиться к лучшему. В браке люди сходятся только затем, чтобы друг другу мешать. Сходятся два чужих человека и на весь век остаются друг другу чужими. Говорят: муж и жена — параллельные линии. Вздор, — это пересекающиеся линии; как только пересеклись, так и пошли в разные стороны...

Без конца шли тогда страстные и раздраженные разговоры о его проповеди «неделания» и «непротивления злу». Те, что находились в оппозиции всему государственному устройству России и всем действиям правительства, целью своей жизни ставившие всяческую действительную политическую и общественную борьбу «за благо народа» и за новое государственное устройство, считали его то-

гда своим очень опасным, благодаря его имени, врагом: хорошее время выбрал его сиятельство для проповеди неделания и непротivления, для призывов «удалиться в келью под елью» ради спасения грешных душ и тел от всяких мирских дел и соблазнов! Сидит в лаптях в своем роскошном доме, кушает из рук лакея в белых перчатках — и проповедует святую нищету и «неделание»! Эти только тогда были на его стороне, когда он «обличал». А другие ненавидели его за его обличения, за борьбу с церковью, за его «глумления» над тем пониманием христианства, которое она имела спокон веков. И все рассказывали одно и то же — о его «чуждачествах», о резкости, нелепости или невежественности его мнений, суждений, о страстности его натуры, которую он должен бы был то и дело смирять, о тех противоречиях и слабостях, что были в нем:

— Кто так, как он, осуждал и все еще осуждает людей надменных, гордых, честолюбивых, чувственных, самонадеянных, самоуверенных? А сам во всех этих качествах всех превзошел. Вот уж кто истинно пресытился в

удовлетворении всяких своих пороков и страстей и как дьявол обуян гордыней!

— Наслушалась и я в своей молодости о нем, — рассказывала мне Лопатина. — Хорошо помню этот серый деревянный дом с большим старым садом возле Девичьего Поля, дом графа Льва Николаевича Толстого в Хамовническом переулке или, как выражались короче, в Хамовниках, много говорили тогда об этом доме, о его хозяине и о «темных»: так называл и сам Лев Николаевич и все его домашние толстовцев, появлявшихся в хамовническом доме в своих блузах и туфлях, — сапогов, то есть «кожу убитых животных» они не носили, — молча сидевших по углам, смотревших с вызывающим осуждением, людей угрюмых, нелюдимых, страшных на вид, заросших лохматыми бородами и волосами, — их называли еще «дремучими». Не было тогда дома в Москве, где бы не обсуждали проповедей Толстого, не бранились по поводу него, не рассказывали о том, как он, в своей бекешке, с седой бородой, с жесткими и умными глазами под нависшими бровями, пробегает то там, то здесь по московским улицам и бульва-

рам, как видят его иногда везущим бочку воды на обледенелых салазках... Мне тут вспоминаются отношения между ним и Владимиром Соловьевым.

— Было известно, что Лев Николаевич не любит Соловьева и что и Соловьев отзывается о нем без особого почтения. Когда по Москве читали в рукописи «В чем моя вера», Соловьев писал профессору Карееву: «Здесь Лев Толстой выпускает свою новую книгу под названием: „В чем моя вера“. Один мой приятель, прочитавши ее в корректуре, говорит, что ничего более наглого и глупого он никогда не читал. Сущность книги — в ожесточенной полемике против идеи бессмертия души, против церкви, государства и общественного порядка — все это во имя Евангелия. Апостол Павел называется там „полоумным кабалистом, совершенно исказившим христианство“. Конечно, эта книга будет запрещена, что не помешает ее распространению в публике, но сделает невозможным ее опровержение в печати».

Соловьев спорил с Н. Н. Страховым: «С тем, что вы пишете о Достоевском и о Толстом, я

решительно не согласен. Некоторая непрямота и неискренность, — так сказать, сугубость, — была в Достоевском лишь той шелухой, о которой вы так прекрасно говорите, но Достоевский был способен отбрасывать эту шелуху, и тогда под ней оказывалось много настоящего и хорошего. А у Толстого непрямота и неискренность более глубокие, но я не желаю об этом распространяться: во-первых, ввиду ваших чувств к нему, во-вторых, ввиду Великого Поста, в-третьих, ввиду заповеди „не судите“, которую я продолжаю понимать в нравственном, а не в юридическом смысле... Сегодня я у Фета виделся с самим Толстым, который, ссылаясь на одного немца, а также и на основании собственных соображений, доказывал, что земля не вращается вокруг солнца, а стоит неподвижно и есть единственное нам известное „твердое“ тело, солнце же и прочие светила суть лишь куски света, летающие над землей по той причине, что свет не имеет веса...»

Тут я так и слышу обычный неудержимо разнузданный смех Соловьева...

— Соловьев бывал в Хамовниках, ходил и

Лев Николаевич к нему. Соловьев однажды написал Страхову, что лично совсем помирился с Толстым: «Он пришел ко мне объяснить некоторые свои странные поступки, а затем я провел у него целый вечер с большим удовольствием, и если он всегда будет такой, то буду посещать его».

— Потом он изложил Толстому «главный пункт» своего разномыслия с ним. Пункт этот был воскресение Христа. Но сколько было между ними всяких других разномыслии и вообще различий! Эта прихожая, эта лестница и зал хамовнического дома, сад при этом доме, всегда шумный от говора и смеха молодых Толстых, эта блуза Толстого с ременным пояском, за который он засовывал руки, его хмурое лицо с незабываемыми глазами, бесконечные разговоры о том, можно ли есть мясо, жарить кофе и не безнравственно ли помогать людям деньгами, и большой чайный стол, над которым озабоченно хлопотал молодой лакей, всех называвший сиятельствами... И эти бездомные скитания Соловьева по номерам и по домам знакомых, его длинная фигура в длинном сюртуке и макферлане, его

подчеркнуто интеллигентский вид с отросшими по плечам волосами, его постоянные болезни, постоянные причастия и полное бесстрашие смерти... Все было слишком различно! Толстой утверждал, что вся религиозная система Соловьева, вся его вера была чисто головной. А Соловьев, сравнивая его с Достоевским, говорил о его непрямоте, о его неискренности...

Впоследствии я часто встречался и подружился с Ильей Львовичем. Это был веселый, жизнерадостный, очень беспутный и очень талантливый по натуре человек. Он любил говорить об отце, много рассказывал мне о нем. Один его рассказ был замечателен. Он еще застал в живых чуть не столетнюю няньку отца, жившую потом при отце в его молодости и в годы семейной жизни, — это она написана под именем Агафьи Михайловны, няньки и друга Левина, — и наконец доживавшую свои последние дни в яснополянском доме в полном одиночестве в какой-то каморке.

— Что за старуха была, ты даже и представить себе не можешь, — рассказывал Илья

Львович. — Лежу, говорит, в своем чуланчике, день и ночь одна-одинешенька, — только часы на перегородке постукивают. И все домогаются, все домогаются: «*Кто Ты — что ты? Кто ты — что ты?*» Лежишь, слушаешь и все думаешь, думаешь: кто ж ты, в самом деле, что ты такое есть на свете? Отец был в совершенном восторге: да, да, повторял он, вот в этом и вся штука: кто ты, что ты?

Но и Илья Львович часто говорил общеизвестное.

— Ты знаешь, — говорил он мне во время великой войны, — ты, верно, удивишься, что я тебе скажу, а я все-таки думаю, что отец, если бы он был жив теперь, был бы в глубине души горячим патриотом, желал бы нашей победы над немцами, раз уж начата эта война. Проклинал бы ее, а все-таки со страстью следил бы за ней. Ведь у него всегда было семь пятниц на неделе, его никогда нельзя было понять до конца.

— Ты, как все, тоже хочешь сказать, что он был так переменчив, неустойчив?

— Да нет, не то. Я хочу сказать, что его и до сих пор не понимают, как следует. Ведь он со-

стоял из Наташи Ростовой и Ерошки, из князя Андрея и Пьера, из старика Волконского и Каратаева, из княжны Марьи и Холстомера... Ты знаешь, конечно, что сказал ему Тургенев, прочитав «Холстомера»? «Лев Николаевич, теперь я вполне убежден, что вы были лошадь!» — Одним словом, его всегда надо было понимать как-то очень сложно...

— Он любил меня, — говорил Илья Львович. — И многое прощал. Знаешь, уехали мы, молодежь, однажды на охоту в отъезжее поле и до того допились, охотясь, что выдумали водку зелеными мерзлыми закусывать, а ходить на четвереньках, — будто мы волки... Ты не можешь себе представить, как отец хохотал, когда я ему это потом рассказывал!

Вспоминаю еще, как говорил в том же роде некто Сулержицкий, бывший в толстовском доме совсем своим:

— Да, Лев Николаевич непостижимый человек! Уж он ли не враг всякой военщины! А вернулся однажды в морозный зимний день с прогулки по Москве и еще из прихожей закричал мне своим старческим голосом: «Слушайте, каких я сейчас двух юнкеров на Куз-

нецком Мосту видел! Боже, что за молодцы! Что за фигуры! Какие литые шинели до самых пят, с разрезом сзади, до самого пояса! Какой рост, свежесть, сила — редкий молодой жеребец так прекрасен! И вдруг, как нарочно, навстречу им генерал... Если бы вы видели, как они вдруг, топнув и звякнув шпорами, мгновенно окаменели, как ударили руку к околышу и выкатили глаза! Ах, какое великолепие, какая прелесть!»

VIII

Лопатина была женщина в некоторых отношениях замечательная, но очень пристрастная. Воспроизвожу, однако, в полной точности то, что еще рассказывала она мне о нем, о его родных и близких и о той московской среде, к которой он принадлежал и в которой она выросла.

И я, как вы, узнала о Толстом очень рано, еще маленькой девочкой, — рассказывала она. — В нашей зале с роялью, стульями по стенам и висячими грустными лампами, — она так и сказала: «грустными лампами», — отец мой читал его новый роман в «Русском

вестнике» моей матери. Долетали отдельные фразы, и я чувствовала, как странно хороши они!

Об Анне Карениной все у нас говорили по целым дням. Наконец Миша Соловьев, брат Владимира, принес Леве известие: «А знаешь? Анна Каренина бросилась под поезд!» Об этом тоже говорили, говорили, спорили, — совсем как о знакомом человеке.

Потом однажды зимним солнечным днем нахожу в кабинете отца, на полу перед полками библиотеки, растрепанную книжку в синей обертке. Беру в руки и как будто не читаю, а совершенно вижу грязную, изрытую дорогу и солдата в серой шинели, бегущего с бастиона с двумя ружьями на плечах...

«Севастопольские рассказы»! Я не могла равнодушно слышать даже это название. И когда поехала в первый раз в Крым, как поэтичен казался Севастополь! Он еще весь был в развалинах. На площадях и улицах с остовами домов так и казалось, что солдат ведет под уздцы тройку лошадей, офицер Михайлов, натягивая белую перчатку, поднимается в гору и по розовому на закате морю разносятся зву-

ки штраусовского вальса, который оркестр играет на бульваре... От звуков склянок на судах сжималось сердце, и было жаль, что были ночью крупные звезды, а не медленно летящие и светящиеся на темном небе гранаты...

Еще когда Толстые жили в Ясной Поляне, о них у нас много говорили. Особенно московские дамы.

Сидишь, бывало, и слушаешь разговоры родителей с какой-нибудь гостьей про страдания и трудность жизни Софьи Андреевны, «бедной Сони», про то, как, сообразно сменявшимся взглядам Льва Николаевича, изменялась вся жизнь ее детей: то иностранцы-гувернеры и строго-английское воспитание, то вдруг русские рубашки, даже будто бы лапти, общество крестьянских ребят и полная распущенность, а потом опять все сначала — англичанки, голые икры и банты...

В это время в Москве проживала весьма интересная и даже замечательная семья графа Олсуфьева. Принадлежавшая по своему происхождению и положению (граф был генерал свиты государя) к высшей петербургской аристократии и ко двору, семья эта,

вследствие разных личных обстоятельств графини Анны Михайловны и перемены ее политических взглядов и умственных интересов, явилась в Москве одним из центров, объединявших ученую и профессорскую среду. Там всегда можно было встретить ученых позитивистического направления, художников, писателей. Там бывал и Толстой, которого графиня очень любила, — бывал не так, как прочие, а как друг, как человек, близкий по кругу и воспитанию.

В Мертвом переулке, в огромном особняке, снятом Олсуфьевыми для зимних приездов из подмосковной деревни, я и увидела его впервые.

В большой зале был накрыт длинный стол ослепительно белой скатертью, и два лакея, старый и молодой, во фраках, с хлопотливой озабоченностью расставляли на нем тарелочки с печеньями и тортами и раскладывали серебро. В гостиной играли маленькой компанией в карты. И вот он вдруг вошел своей легкой, молодой походкой, в мягких, беззвучных сапогах, в серой блузе с тонким ремешком-поясом, со своей большой бородой и непереда-

ваемым, резко-неправильным, совершенно незабываемым лицом, с пронзительно-острыми, умными глазами. И глаза эти сразу (и уже на всю жизнь) показались мне жесткими, недобрыми, — такими, как определял их мой отец: «волчьи глаза». Потом уже всегда, когда он вдруг входил, мне делалось не по себе и жутко: будто в яркий солнечный день открыли дверь в темный погреб. Меня ему представили просто: «Дочка», — и назвали моего отца. Он сказал: «Знаю», — и пожал мне руку. А я не верила себе, что вижу его, — того, кто мог написать небо над Аустерлицем, и Бородино, и мать в «Детстве», и свидание Анны с сыном.

Поздоровавшись с графиней и со всеми прочими, он тотчас же обратился к профессору (естественнику) Усову:

— Я вот все хотел спросить вас, Сергей Алексеевич, правда ли, что если укусит бешеная собака, то человек наверное умрет через шесть недель?

Усов ответил:

— Бывает, что умирают через шесть недель, бывает, что через несколько месяцев и через год, а говорят, и через много лет. Но

можно и совсем не умереть. Далеко не все укушенные умирают.

— Ах, как это жалко, — с упрямым оживлением сказал Толстой. — Мне ужасно нравилась мысль, что умирают, это удивительно хорошо. Укусит собака, и знаешь наверное, что через шесть недель непременно умрешь, и руби всем правду в глаза, делай, что хочешь... А вы наверное знаете, что это не так? — упрямо спрашивал он.

Сколько раз потом при разговорах и спорах Толстого я слышала этот упрямый тон, эту его манеру говорить быстрее собеседника и видела эти глаза!

У Олсуфьевых как раз в это лето был переполох: бегала бешеная собака. Собаку никак не могли поймать, — успокоились только тогда, когда, наконец, явился однажды урядник и, вытянувшись и взяв под козырек, отрапортовал: «Имею честь доложить вашему сиятельству, что собака проследовала к станции Подсолнечной». А до того олсуфьевские мужики оставались совершенно равнодушны к собаке и не думали о том, чтобы поймать и убить ее.

— И прекрасно делали! — сказал Толстой.

И вдруг стал просто, спокойно, ярко рассказывать, как в бытность его на Кавказе у него сбесился легавый щенок Булька, как он лизал и хватал зубами его сапог...

В нашем кругу постоянно говорили не только о Толстом, но и о всей толстовской семье. Например, первый выезд Тани Толстой, ее первый бал (кажется, у князей Щербатовых) был предметом разговора даже у нас, у моих братьев со мной, хоть я еще ее не знала. Рассказывали бывшие на этом балу о ее простом белом платье, восхитительной улыбке, своеобразных, немного резких манерах, не скрывавших милой застенчивости... Помнится, это был ее единственный бал. Скоро Лев Николаевич запретил ей выезды на балы. И когда потом был как-то бал у Беклемишевых, она забралась к ним в самом начале, в простом платье, — только посмотреть. Комнаты, еще холодные, ярко освещенные и полные запаха цветов, постепенно наполнялись огромным количеством московских барышень в воздушных платьях, в нарядных прическах и цветах, с меховыми накидками на обнажен-

ных плечах... Таня с любопытством разглядывала всех.

— Какие вы все смешные! — наконец сказала она совсем по-толстовски. — Голые и в цветах!

Я познакомилась с нею тоже у Олсуфьевых — мы вместе отъезжали на масленичной тройке от их особняка в Мертвом переулке, ехали в Покровское-Глебово, где в оранжерее был приготовлен чай и музыка для танцев. Опять неожиданно, в бекеше, с палкой, появился Лев Николаевич, с своими пронзительно-жесткими глазами под нависшими бровями, — проводить ехавших, посмотреть, с кем села Таня и как она ведет себя. И это всех очень тронуло, — «точно совсем обыкновенный человек».

Весной того года, — до сих пор помню, на Николу, — выдался удивительный день. После пыли и сухой весенней жары вдруг пролилась первая сильная гроза. Под водосточные желоба подставляли кувшины, чтобы умываться, а потом ослепительно заиграло солнце в нашем маленьком саду с разрушающейся беседкой, в доме у нас открыли окна,

мелкие почки на деревьях зазеленели, лужи засверкали, и старая наша няня с умилением сказала, вытирая подоконник: «Это Николай Угодник, для скотинки».

Я была тогда вся охвачена первым чувством любви, жизнь казалась мне необычайным, сделанным мною самой открытием, и я в этот день относилась с большим равнодушием к некоторому волнению в нашем доме: вечером у нас должен был быть Лев Николаевич.

Вечером он, в своей блузе, сидел в нашей чинной гостиной. Прочих гостей было немного. Говорили об искусстве, о том, что в то время писал он. Совестно сказать, но мне скоро сделалось скучно, я ушла в сад. Ночь была сырая и свежая, в саду резко пахло молодым тополем, небо было чистое и зеленое. Я никак не могла уйти из сада. То, что я чувствовала, казалось мне интереснее даже гениальных произведений Толстого.

Как он был скромн, серьезн, любезн в этот вечер! За ужином чувствовалось, что прерванный разговор был долгий, горячий, и все были сдержанно-грустны и будто даже

немножко чем-то обижены. Должно быть, перед ужином все убеждали Льва Николаевича писать художественное. Когда я пришла, один гость негромко, волнуясь, говорил:

— Боже мой, да сами ваши образы... ведь они сама истина и красота! Они открывают истину больше всех рассуждений и доказательств...

Толстой ответил совсем скромно:

— Покорно вас благодарю... это очень приятно... Но ведь это все так рассуждают. Это ведь и Немирович-Данченко думает, что спасает мир своими романами...

Я была дружна с Верочкой Толстой, дочерью графа Сергея Николаевича. С ней, кажется, и пришла в первый раз в Хамовники, в московский дом Толстых.

Дом Толстых был столь интересен, что бывать там было очень соблазнительно. Но то тяжелое, что было там, не искупалось для меня в то время этим интересом. Все или почти все Толстые были талантливы, своеобразны, остроумны. Но они ни на одну минуту не забывали, что они Толстые. Я никогда не слышала, чтобы молодые Толстые восхищались ка-

кими-нибудь литературными произведениями, кроме толстовских. Все и всех они осуждали, говорили, что Тургенева и Гоголя впоследствии никто и читать не будет: велик только Толстой. А меж тем, когда стали вспоминать «Севастопольские рассказы», Таня вдруг сказала: «Я, правду сказать, их не читала...»

Большой толстовский сад в Хамовниках весною звенел смехом, гитарами, цыганскими песнями. Толстые были все очень музыкальны. Главный интерес молодых и главный предмет их разговоров была любовь, и говорили они о ней очень вольно, а иногда и прямо грубо, с толстовской смелостью. Кроме того, попавший туда не всегда чувствовал себя на месте, — того и гляди, зададут какой-нибудь неприятный вопрос. Если, например, придет человек с кривым носом и забудет об этом своем недостатке, то молодые Толстые напомнят ему об этом как раз тогда, когда ему это будет особенно неприятно.

Более других хотелось простить все это Тане, которая очаровывала своей привлекательностью и талантливостью. Она отлично изображала, например, обезьян. Раз страшно ис-

пугала меня, неожиданно и судорожно вцепившись мне в волосы, но так смешно защелкала передними зубами и заморгала карими глазами, что нельзя было сердиться.

Софья Андреевна тоже говорила просто, живо и как бы искренне такие вещи, которых ни от кого другого услышать было нельзя. Говорили как-то о браке. Она сказала: «Брак, конечно, грех и падение, искупление его только дети». Однажды расспрашивала она меня об одной нашей общей знакомой. Я восхищалась ею. Софья Андреевна вдруг сказала: «Ну, да, да, я так и знала: восхитительная женщина! А меня вот прославили дурой по всей России. А кто ведет весь дом? Кто всех детей на ноги поставил?» Она не скрывала, что пишет роман, что-то вроде опровержения на «Крейцерову сонату». Таня, однако, без всякой почитительности заявила при ней: «Покуда мы живы, все, что пишет мама, напечатано не будет».

Один раз, когда два меньших Толстых ехали на переэкзаменовку, Лев Николаевич вышел к ним и сказал: «Пожалуйста, знайте, что вы мне доставите самое большое удоволь-

ствие, если оба провалитесь». Они не преминули доставить ему это удовольствие. А Софья Андреевна с раздражением говорила: «Господи, посмотришь, у самых обыкновенных людей дети и талантливые, и умные, и учатся. А мой-то гений каких народил!»

Софья Андреевна нравилась мне своей высокой, видной фигурой, черными, гладко зачесанными блестящими волосами, подвижным привлекательным лицом, выразительным крупным ртом, улыбкой и даже манерой присматриваться, щурить большие черные глаза. Настоящая женщина-мать, хлопотливая, задорная, постоянно защищающая свои семейные интересы, насадка! Дети нам рассказывали, как она ездила к императрице (хлопотать о снятии запрещения с «Крейцеровой сонаты») и как весь их разговор с императрицей сосредоточился на детях: каждая рассказывала о своих...

Кстати, еще о детях. Последний сын Софьи Андреевны, Ванечка, смерть которого она впоследствии так оплакивала, был прелестен. Живой, с умными толстовскими глазами, с типичной толстовской рожцей и милым

смехом. Я увидела его в первый раз, когда одна наша общая с Толстыми приятельница забавлялась тем, что бросала его огромную куклу Тане на руки. Зрелище было странное, — точно летит человек, раскинув руки, и все со смехом смотрели на это. Ванечка улучил минуту, схватил куклу. «А я не дам! — вдруг решительно заявил он, упрямо и задорно улыбаясь. — Ни за что не дам!» И смотрел на всех глазами волчонка...

Старое поколение Толстых все было очень интересно. И граф Сергей Николаевич — брат Льва Николаевича, и графиня Мария Николаевна — их сестра, носили отпечаток необыкновенно выраженного толстовского типа. Нельзя было их забыть, раз увидевши, и после встречи лица их так и вставали перед глазами.

Сергей Николаевич, — Володя в «Детстве, отрочестве и юности», — семья которого была мне очень близка, был когда-то замечательно красив, судя по портрету-дагерротипу в круглой рамке, где он, стройный, обольстительный, был изображен в мундире-кафтани стрелка императорской фамилии. Да и в мое

время он еще имел правильные черты, большие темные глаза, был худ и строен. У Марии Николаевны были те же резко толстовские черты, резкий рот с сильной челюстью, большие горячие глаза, умные и жесткие, в очках (и оттого даже страшные). Видна была в этих глазах и во всем ее живом лице и уме сильная духовность... и совершенно адовый характер.

Сергей Николаевич был женат на цыганке из хора, кажется, просто из табора: это была толстая, маленькая женщина, тихая, как бы забитая, привыкшая никогда не возражать мужу и тихо посмеиваться на его беспощадные шутки, религиозная и добрая, всегда с папироской.

У Сергея Николаевича было три дочери, все три последовательницы своего дяди, типа цыганского, настойчивые в своих поступках и взглядах, резвые и насмешливые. Со старшей, Верочкой, меня связывала долгая дружба.

В его усадьбе, в селе Пирогове, раскинувшимся на берегу реки, усыпанному избами на огромном пространстве, около старого дома и

старого, совершенно темного липового парка с черными аллеями, в крошечной мазанке, выстроенной толстовцами для того, чтобы на одной десятине сеять вику и проводить в жизнь веру Льва Николаевича, я встречала прятавшихся от Сергея Николаевича странных людей, здоровых, неуклюжих, читавших книжки «Посредника», резонеров, говоривших скучно, сбивчиво и так упрямо и долго, что всегда хотелось поскорей уйти от них. В Пирогове была и усадьба Марии Николаевны. Мы ездили и к ней, пили чай с крыжовником на ее балконе и говорили. Я любила ее за ум, и вера у нас была общая: она потом стала монахиней. Часто рассказывала она о себе, о братьях. У нее была какая-то пустошь с неудобным названием — Порточки. Она жаловалась, что в молодости любимым занятием ее братьев было при гостях деловито спрашивать ее:

— Как это, Машенька, пустошь эта у тебя? Как она называется?

Сергей Николаевич, несмотря на то, что отлично знал мои убеждения, говорил иногда при мне:

— Это все прекрасно, что Левочка внушает мужикам, что «Иже Херувимы» — глупости и что слушать попов не надо, это все прекрасно. А вот, что он говорит им, что надо им всю землю отдать, и натравливает их на помещиков, это преступно, я ему всегда это говорю. Хозяйство и так вести невозможно, нынешний народ и без того развращен ужасно.

В своем отношении к Верочке он мне напоминал старика Болконского из «Войны и мира». Та же любовь к дочери, почти обожание ее и то же безжалостное мучительство. Говорили они между собой всегда по-английски.

Лев Николаевич нежно любил Марию Николаевну. Но у них постоянно бывали споры и ссоры. Когда она приходила к нему, тотчас подымался крик, шум, — воображаю, какие делались лица, какие страшные толстовские глаза! Кончалось тем, что Мария Николаевна вскакивала и убегала, а он бежал за ней, крича:

— Машенька, прости меня, Христа ради!

Зато бывало и другое: как просто, мягко, серьезно говорил и спорил он порой, всецело

стараясь стать на точку зрения собеседника!

Как-то мы с Верочкой пустились рассуждать о любви и счастье, о жизни и морали. Он вошел в расстегнутом полушубке и валенках и стал расспрашивать, о чем мы говорим. Я, краснея, стала объяснять:

— Я говорю, что в жизни не имеет значения почти никакая проповедь. Только то, что человек сам переживает, переживает, переживает, может убедить его...

Он смотрел, присматривался, как бы примеряясь, стараясь что-то сообразить.

— Да, это главное, надо действовать примером, — сказал он наконец.

Раз в Хамовниках, среди множества гостей, он подошел ко мне.

— Вы исповедуетесь и причащаетесь? — вдруг спросил он.

Я знала, что все нас слушают, и вдвойне смутилась.

— Да, Лев Николаевич, исповедуюсь и причащаюсь.

Он пристально посмотрел на меня.

— А Михаил Николаевич, — спросил он про моего отца, — тоже верующий?

— Да, Лев Николаевич.

— И в церковь ходит?

— Да.

— И исповедуется и причащается?

— Каждый год.

Он вдруг задумался и ничего не сказал.

Однажды я имела смелость пуститься с ним в спор. Он возражал мне, вероятно, нарочно, но почему-то сердился. Я продолжала спорить, стала чувствовать, что путаюсь и делаю вообще глупость, побледнела и вдруг вижу знакомые гневные глаза и слышу его уже совсем запальчивый голос. Наконец я сказала, чтобы прекратить спор:

— Нет, я с вами не согласна.

Он вдруг замолчал и неприязненно посмотрел на меня.

— Вы ужасно похожи на великого князя

Владимира Александровича, — вдруг сказал он. — Да. Ему раз на заседании Академии художеств что-то доказали, как дважды два четыре, он все выслушал, потом взял звонок: «А я с вами все-таки не согласен. Закрываю заседание». И позвонил.

Кончив спор, я поспешила уйти. Когда я

была уже на площадке лестницы, он вдруг появился передо мной.

— Простите меня, Христа ради, — сказал он, кланяясь...

Отлучение его от церкви вызвало взрыв негодования и у людей, окружавших его, и у всех тех, совершенно равнодушных к вопросам церкви, которые видели в Толстом поддержку своим революционным настроениям.

Мне рассказывали, что в те дни весь дом в Хамовниках был полон выражениями сочувствия и подношениями и что сам Толстой будто бы «сидит весь в цветах и кощунствует так, что волосы дыбом становятся». Точно ли, однако, что это событие ничуть не задело его душевно? Все, что я узнала потом, доказывает другое. Про кощунственные места «Воскресения» он сам говорил впоследствии с краской стыда и боли: «Да, нехорошо, нехорошо я это сделал... не надо было...» Когда Сергей Николаевич мучительно умирал от рака щеки, он первый спросил его, не утешило ли бы его причастие? И сам пошел к священнику, звать его к брату. За новую вещь он, говорят, никогда не садился, не перекрестившись...

Время его ухода и смерти совпало со временем смерти нашей матери, И все-таки мы все горячо следили за известиями из Астапова и за тяжкими страданиями несчастной и больной Софьи Андреевны.

Один врач-психиатр сказал мне, что этот уход был началом воспаления в легких, что у стариков при этой болезни очень часто является потребность движения, стремления куда-то. Когда я рассказывала об этом, слушавшие, — «либералы», конечно, — ужасно возмущались:

— Низводить величие гения, бросившего жизнь, которая противоречила его убеждениям, на степень старческого заболевания — это непростительно!

— Простота и царственность, внутреннее изящество и утонченность манер сливались у Толстого воедино. В рукопожатии его, в полужесте, которым он просил собеседника сесть, в том, как он слушал, во всем было грансеньорство... Я имел случай видеть вблизи коронованного денди, внешне крайне изящного Эдуарда VII английского, чарующе вкрадчивого Абдул-Гамида II, железного Бисмарка, умевшего очаровывать... Все они, каждый по-своему, производили сильное впечатление. Но в их обращении, в их манерах чувствовалось что-то привитое. У Толстого его гран-сеньорство составляло органическую часть его самого, и если бы меня спросили, кто самый светский человек, встреченный мной в жизни, то я назвал бы Толстого. Таков он был в обыкновенной беседе. Но чуть дело касалось мало-мальски серьезного, как этот гран-сеньор давал чувствовать свою вулканическую душу. Глаза его, трудно определимого цвета, вдруг становились синими, черными, серыми, карими, переливались всеми цвета-

ми...

Так сказал о нем один весьма «светский» человек. А сам он всю жизнь говорил про себя (то прямо, то от лица своих героев), что он человек неловкий, бестактный, стыдливый и самолюбивый «до поту», «озлобленно-застенчивый, ленивый, бесхарактерный, раздражительный», поминутно что-нибудь или кого-нибудь остро ненавидящий:

— Левин с ненавистью вглядывался в руки Гриневича с белыми длинными пальцами, с длинными желтыми, загибавшимися в конце ногтями...

Тот круг, который он так жестоко изображал и к которому принадлежал по рождению, житейски был для него все-таки самым близким кругом. Когда я видел его в первый раз, я заметил, как он вдруг изменился, вспомнив моего отца, — то, что он встречался с ним в осажденном Севастополе, в этом «своем» кругу, — как оживленно стал расспрашивать: «Ведь вы, кажется, в родстве с такими-то? Такие-то вам тоже родственники?» Его секретарь Булгаков говорит: «Даже в старости Лев Николаевич был доступен сословным пред-

рассудкам... Когда у его дочерей случались „романы“ (невинные, конечно) с людьми „не нашего“ круга, он бывал очень огорчен и недоволен, боялся мезальянса для них». О Черткове, по словам Булгакова, он высказывался в последние годы «либо в ограниченном, либо в отрицательном смысле». Может быть, одной из причин его привязанности к Черткову было то, что среди толстовцев почти один Чертков принадлежал к настоящему «нашему» кругу? В этом кругу некоторые невавидели его (Толстого) с той же яростью, с которой крикнул однажды Андрей Львович: «Если бы я не был сыном его, я бы его повесил!» И все-таки этот круг считал его «своим». Впоследствии я встречался в Москве кое с кем из этого круга и видел, что там все-таки многие подчеркивали, что он «в сущности всегда был и остается барином», с гордостью говорили:

— Ах, все, кто знали его когда-то, иначе и не называют его, как бывший светский лев! Да он и теперь, несмотря на свои причуды, прежде всего светский человек и джентльмен с головы до ног, в обществе очарователен.

Лопатина без конца перечисляла эти «причуды».

— Вспоминая свою молодость, — говорила она, — то и дело вспоминаю его. Иду однажды по вашим переулкам, возле Староконюшенного, и встречаю его — идет с своей легавой собакой. Подходит, здоровается, идет со мной и тотчас начинает говорить о своем сыне Илюше: «Он поступает в Сумской полк вольноопределяющимся, а я ему говорю: иди в пехоту. Во-первых, если хочешь солдатского котла попробовать, это гораздо вернее будет; а потом — с его именем его там бы на руках носить». Подумайте, до чего было мне странно слышать от него такие речи! Все это казалось мне следствием его какой-то психической болезни. Хорошо сказал о нем ваш кучер. Я раз ехала зимой и встретила его везущим на салазках обледенелую бочку с водой, и ваш кучер, человек суровый и всегда пьяный, сказал мне: «Какой он черт граф! Он шальной». Да и правда. Как, например, проявлялось его безумие в его страсти к схватыванию всяких ужасных и гадких черт жизни! Помните эту светлую точку, которую видел

где-то впереди Иван Ильич, когда его, умирающего, будто бы впихивали в какой-то черный мешок? Ведь это взято из действительности: у одного из наших общих с Толстым знакомых умер брат, и вот рассказывали, что он тоже все твердил перед смертью в бреду, что его совали в этот страшный мешок. Это прекрасно, разумеется, что Иван Ильич все-таки видел впереди эту светлую точку, которая «все ширилась», но верил ли сам Толстой в нее? По-моему, он верил только в черный мешок.

«Левочка несчастный человек, — говорил про него его брат Сергей Николаевич. — Ведь как хорошо писал когда-то! Думаю, что лучше всех писал. А потом свихнулся. Недаром с самого детства помню его каким-то странным...»

То же с великим сокрушением говорила и Марья Николаевна: «Ведь Левочка какой человек-то был? Совершенно замечательный! И как интересно писал! А вот теперь, как засел за свои толкования Евангелий, сил никаких нет! Верно, всегда был в нем бес». И это она совершенно убежденно говорила и, конечно,

совершенно верно. Я-то в этом никогда не сомневалась.

Вспоминаю, например, такой случай. На какой-то свадьбе один известный в Москве приват-доцент, сын ученого богослова-священника, опять общий наш с Толстыми знакомый, был пьян, и в церкви, подписавшись под брачным документом как свидетель, вошел в алтарь и положил его на престол. Ему сказали, что этого делать нельзя, что это — престол, а он в ответ такое кощунство сказал, что у всех волосы на голове зашевелились. Толстой же, когда ему рассказали об этом, не только пришел в дикий восторг, но всех тащил разделить с ним этот восторг. «Нет, подите сюда! Вы слышали?» И покатывался со смеху, хлопая себя по ляжкам: «Вот великолепно ответил!» Для меня это было и есть совершенно несомненным присутствием в нем беса...

— Он очень любил моего покойного брата Володю, — продолжала она. — Помню, был однажды на Святках вечер у Толстых в их Хамовническом доме, наехало к ним множество ряженых, и на верхней площадке лестницы стоял сам Лев Николаевич, всех встречая

улыбками, запустив руку за ременный пояс блузы, и все ему низко кланялись, а потом что же оказалось? Каково было изумление всех, когда вдруг появился другой Толстой, настоящий, а в Володе все узнали загримированного Толстого! Больше всех был восхищен сам Лев Николаевич. Все повторял: «Это удивительно! Правда, вы, Владимир Михайлович, похожи на меня, но ведь я чуть не втрое старше вас, так что надо быть просто огромным талантом, чтобы изобразить меня так, как вы!» Потом в Ясной Поляне любители играли «Плоды просвещения», Володя играл «третьего мужика», и Лев Николаевич опять осыпал его самыми неумеренными похвалами на репетициях: «Ах, какой талант! Ах, как вы мне объяснили этого мужика, я только теперь его понял как следует!» — и все дополнял рукопись «Плодов просвещения». Вы Володю знали, он был и впрямь очень талантлив, — недаром попал на старости лет в Художественный театр, — но он был еще и очень умный, проницательный человек. Так вот он всегда говорил мне: «Как это никто не видит, что Толстой переживает и всегда переживал

ужасную трагедию, которая заключается прежде всего в том, что в нем сидит сто человек, совсем разных, и нет только одного: того, кто может верить в бога. В силу своего гения он хочет и должен верить, но органа, которым верят, ему не дано». Вы вот смеетесь над такими словами, а это суцая правда...

— Дети Толстые сначала ходили в церковь, а потом весело и легко (по крайней мере, с виду) оставляли и меняли свои верования. У Маши это было особенно заметно. Было у нее правило — ездить каждую субботу к одним знакомым, ночевать у них, чтобы утром идти вместе к обедне. Старшие уже смеялись над ней, но она упорно делала свое. Потом это вдруг пропало — с того времени, когда она вздумала было выйти замуж за одного из самых главных толстовцев. Что ж, все это было вполне понятно, все шло от отца. Смеяться над попами и называть Шекспира бездарностью стало как бы обязательным в толстовском доме, хотя тут надо оговориться. Однажды он сказал про Шекспира: «Мои дети его совсем не понимают, всего замечательного, что есть в Шекспире, они не могут, конечно,

понять, схватывают только мои бранные слова о нем». То же надо сказать и насчет религии. Однажды мы гостили с Татьяной Львовной у Олсуфьевых, жили наверху, где был коридор с рядом комнат, как в гостинице. Как-то ночью я, уже засыпая, вдруг спросила ее: «Таня, а ты веришь в будущую жизнь?» Она отвечала бодро, не задумываясь: «Конечно, нет. Кто ж в такие глупости верит?» Но вот Лев Николаевич стал говорить совсем другое: будущая жизнь несомненно существует, но только ее нужно заслужить, ее дают «как Георгиевский крест». И все молодые Толстые стали повторять эти слова.

— И еще вспоминаю. Однажды Соня Самарина, которую называли самой привлекательной девушкой Москвы, с негодованием говорила мне про него: «Лучше всего то, что, написав „Крейцерову сонату“, он недавно во всеуслышание сокрушался, что Таня и Маша не выходят замуж! Так и говорил: „Чем же они хуже других, что их никто не берет?“ Вполне сумасшедший человек. Семь пятниц на неделе».

— А то раз мы с Верочкой (дочерью Сергея

Николаевича) неожиданно приехали в Ясную Поляну. Там на балконе обедали, за столом, как всегда, сидело множество народа. Лев Николаевич через весь стол стал спрашивать Верочку: «Ну, что у вас? Что папа?» Верочка, застенчивая, милая, до глупости правдивая, смутилась и забормотала: «Да ничего... То есть папа очень волнуется... Священниковы свиньи пришли в сад и все яблони подрыли...» Весь стол захохотал, захохотали и все Толстые, все эти толстовские глаза, челюсти и зубы, один Лев Николаевич вдруг стал очень серьезен и сказал, грустно и раздраженно: «Да, да, вам всем это кажется, конечно, очень смешно, а на самом деле ничего нет в этом смешного, это — жизнь, а все, что мешает жизни, очень тяжело!» Вот и поймите его после этого... «Все эти толстовские глаза, челюсти и зубы». Совершенно замечательные слова.

Х

«Волчьи глаза» — это неверно, но это выражает резкость впечатления от его глаз: их необычностью он действовал на всех и всегда, с молодости до старости (равно как и особенностью своей улыбки). Кроме того, что-то волчье в них могло казаться, — он иногда смотрел исподлобья, упорно.

Только на последних его портретах стали появляться кротость, покорность, благоволение, порой даже улыбка, ласковое веселье. Все прочие портреты, чуть не с отрочества до старости, поражают силой, серьезностью, строгостью, недоверчивостью, холодной или вызывающей презрительностью, недоброжелательностью, недовольством, печалью... Какие сумрачные, пристально-пытливые глаза, твердо сжатые зубы!

«Проницательность злобы», сказал он однажды по какому-то поводу, о чем-то или о ком-то. Это к нему не приложимо. Справедливо говорил он о себе: «Зол я никогда не был; на совести два, три поступка, которые тогда мучили; а жесток я не был». И все-таки, глядя

на многие его портреты молодых и зрелых лет, невольно вспоминаешь эту «проницательность злобы». «Дух отрицанья, дух сомне- нья», как когда-то говорили о нем, цитируя Пушкина, «разрушитель общепризнанных истин»... Для таких определений он дал столько оснований, что их и не перечислить. Вот у меня на столе его швейцарский дневник 1857 г. Всюду он верен себе: «Странная вещь! *из-за духа ли противоречия или вкусы мои противоположны вкусам большинства, но в жизни моей ни одна знаменито прекрасная вещь мне не нравилась*».

В зависимости от настроений, от той или иной душевной полосы, в которой он находился, — причем эти полосы чередовались у него, как известно, очень часто и резко, — или в зависимости от среды, в которой он был в данную минуту, он был то одним, то другим, и это тотчас сказывалось на всей его внешности; он сам говорил: «Как много значат общество и книги. С хорошими и дурными я совсем другой человек». Все же в портретах его молодости, зрелости и первых лет старости всегда есть нечто преобладающее, та-

кое, что, во всяком случае, не назовешь добротой.

Вот портрет его студенческого, казанского времени: довольно плотный юноша, стриженный ежом, серьезное и недовольное лицо, в котором есть что-то бульдожье. Затем — офицерский портрет: стрижен тоже ежом, только более острым и высоким, лицо несколько удлинненное, с полубачками, взгляд холодный и надменный; на мундир накинута на плечи щегольская николаевская шинель со стоячим бобровым воротом. Полная противоположность Этому портрету — другой офицерский портрет, по-моему, один из самых замечательных его портретов; тут очень мало общего с вышеназванными; это то время, когда он приехал в Петербург из Севастополя и вошел в литературную среду, ему под тридцать лет, он в артиллерийском мундире совсем простого вида, худ и жирок в кости, снят до пояса, но легко угадываешь, что он высок, крепок и ловок; и красивое лицо, — красивое в своей сформированности, в своей солдатской простоте, тоже худое, с несколько выдающимися скулами и только с усами, редкими,

загибающимися над углами рта и с небольшими умными глазами, сумрачно и грустно смотрящими снизу вверх (от наклона головы).

Выйдя в отставку и живя в Петербурге и в Москве, он много времени отдавал светской жизни, балам, театрам, ночным кутежам, был франтом; тут опять нашла на него полоса вроде той, которую он пережил при вступлении в юность, когда он решил, что главное достоинство человека — быть человеком «*comme il faut*». Портрета этой поры я не видел, думаю, что его и не существует. Но есть портрет следующей поры — времени его первой поездки за границу, пребывания в Париже и в Швейцарии. Это опять портрет человека красивого (как ни странно это слово в применении к нему): он все еще худ и молод лицом, хотя уже обложился небольшой бородкой; еще очень приятная своей молодостью нижняя губа чуть-чуть выдается, глаза смотрят спокойно, несколько вопросительно, как бы выжидательно, заранее недоверчиво, и есть в них некоторая скорбность... Удивляет после этого портрета чтение его швейцарского дневника, одного из самых пленительных его произве-

дений: столько в этом дневнике свежести, смелости, счастливой, поэтической прелести. На Женевском озере весной того года жила его родственница Александра Андреевна Толстая, с которой его связывала после того многолетняя дружба, было большое русское светское общество, в котором он «всех очаровывал своей детской веселостью и беспрестанными смешными выходками».

Расставшись с этим обществом, он совершил двухнедельное пешее путешествие через горы до Фрибурга.

— Удивительно спокойное, гармоническое и христианское влияние здешней природы, — писал он в день выхода в это путешествие. — Погода была ясная, голубой, ярко-синий Леман с белыми и черными точками парусов и лодок почти с трех сторон сиял перед глазами; около Женевы, в дали яркого озера, дрожал и темнел жаркий воздух, на противоположном берегу круто поднимались зеленые Савойские горы с белыми домиками у подошвы, с расселинами скалы, имеющей вид громадной белой женщины в старинном костюме. Налево отчетливо и близко над рыжими

виноградниками, в темной зеленой гуще фруктовых садов, виднелись Монтре с своей прилепившейся на полускате грациозной церковью; Вильнев на самом берегу с ярко блестящим на полуденном солнце железом домов; таинственное ущелье Вале с нагроможденными друг на друга горами, белый холодный Шильон над самой водой и воспетый островок, выдуманно, но все-таки прекрасно торчащий против Вильнева. Озеро рябило, солнце прямо сверху ударяло на его голубую поверхность, и распушенные по озеру паруса, казалось, не двигались.

— Удивительное дело, я два месяца прожил в Clarens, но всякий раз, когда я утром или особенно перед вечером, после обеда, отворял ставни окна, на которое уже зашла тень, и взглядывал на озеро и на зеленые — и дальше синие — горы, отражавшиеся в нем, красота ослепляла меня и мгновенно с силой неожиданного действовала на меня. Тотчас же мне хотелось любить, я даже чувствовал в себе любовь к себе и жалел о прошедшем, надеялся на будущее, и жить мне становилось радостно, хотелось жить долго, долго, и

мысль о смерти получала детский поэтический ужас... Физическое впечатление, как красота, через глаза вливалось мне в душу...

— Я не умею говорить перед прощанием с людьми, которых я люблю[13]. Сказать, что я их люблю, — совестно, и отчего я не сказал этого прежде; говорить о пустяках тоже совестно... Наш милый кружок был расстроен и, верно, навсегда... Я почувствовал себя вдруг одиноким, и мне показалось так грустно, как будто это случилось со мной первый раз...

В этом дневнике, — где тут «волчьи глаза»? и почему даже и тут «мысль о смерти»? — он первый употребляет совсем новые для литературы того времени слова: «Вдруг нас поразила необыкновенный, счастливый, белый весенний запах...» «Все уже было черно кругом. Месяц светил на просторную поляну, потоки равномерно гудели в глубинах оврага, белый запах нарциссов одуряюще был разлит в воздухе...»

Далее идут портреты как бы другого человека. Став мужем, семьянином, мировым посредником, неутомимым и расчетливым хозяином, возведя в культ помещичье дворян-

ство, он принял барский вид той поры жизни, когда человек уже определился в семейном и общественном положении, находится в расцвете сил, живет деловито и самодовольно, в соответствии со своим привилегированным происхождением, увеличивающимся достатком, наследственными традициями: на этих портретах он опять отлично одет, на одном даже с цилиндром, позы у него непринужденные, гордо-красивые, глаза барски-презрительные, в небрежно брошенной руке папироса... Дивишься, глядя и на эти портреты: ведь в эти годы писалась «Война и мир» — Наташа и Петя Ростовы, Пьер и смерть «маленькой княгини», последняя встреча Наташи с князем Андреем, их любовь, его умирание... Дивишься и другому: всегда легко плакавший, он даже и в эти годы мог в любую минуту вдруг горячо и умиленно заплакать. Умиленность, нежность — слова опять будто странные в применении к нему. Но вот он пишет Софье Андреевне: «Ужасно люблю! Переношусь в прошедшее — Покровское, лиловое платье, чувство умиленности — и сердце бьется».

Пытливость, недоверчивость, строгость — откуда это?

— Чтобы быть приняту в число моих избранных читателей, я требую очень немного: чтобы вы (читатель) были чувствительны... были человек религиозный, чтобы вы, читая мою повесть, искали таких мест, которые задевают вас за сердце... Можно петь двояко: горлом или грудью. Горловой голос гораздо гибче грудного, но зато он не действует на душу... Ежели я даже в самой пустой мелодии услышу ноту, взятую полной грудью, у меня слезы невольно навертываются на глаза. То же самое и в литературе: можно писать из головы и из сердца... Я всегда останавливал себя, когда начинал писать из головы, и старался писать только из сердца...

Гете говорил: «Природа не допускает шуток, она всегда серьезна и строга, она всегда правда».

Толстой был как природа, был неизменно «серьезен» и, безмерно «правдив».

«Герой моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который

всегда был, есть и будет прекрасен, — правда».

Это было сказано им почти в самом начале его писательства, не раз было повторено и впоследствии, — «и в жизни и в искусстве нужно лишь одно — не лгать», — и совершенно приложимо ко всему творчеству и ко всей духовной жизни его. (Тут сказалось и наследство матери, от которой он вообще унаследовал очень многое. Он писал о ней: «Еще третья черта, выделявшая мою мать из ее среды, была правдивость и простота ее тона в письмах... В то время особенно были распространены в письмах выражения преувеличенных чувств».)

Гете говорил: «Людям нечего делать с мыслями и воззрениями. Они довольствуются тем, что есть слова. Это знал еще мой Мефистофель». И приводил слова Мефистофеля:

*Коль скоро надобность в поняти-
ях случится,
Их можно словом заменить...*

Шопенгауэр говорил, что большинство людей выдает слова за мысли, большинство пи-

сателей мыслит только ради писания. Это можно применить ко многим даже очень большим писателям. Но вот уж к кому никак не применишь: к Толстому.

В смысле правдивости удивителен был даже язык его произведений, выделяющийся во всей русской литературе отсутствием всяких стилистических приемов, условностей, поражающий смелостью, нужностью, точной находчивостью каждого слова. В том же роде были и письма его, неизменно деловитые, прямые, естественные, и его простая, меткая устная речь. (Известный русский музыкант Гольденвейзер, целых пятнадцать лет бывавший в его доме и ведший записи о нем, дал, между прочим, целый список некоторых ее особенностей. Он отметил, например, что букву «г» Толстой произносил простонародно, с придыханием, почти как «х»; немало слов произносил на старинный лад — например, говорил: Штокгольм; употреблял много местных, тульских слов; любил выражаться народными поговорками; с мужиками говорил их языком, никогда, однако, не подлаживаясь под них, всегда говорил им «ты»... Гольден-

вейзер прав, только я, как земляк Толстого и принадлежавший к тому же деревенски-помещичьему быту, что и он, должен сделать тут оговорку: все эти особенности — наши общие, в нашем быту и в нашей местности так говорили почти все отцы и деды наши. Оговорю и утверждение Гольденвейзера, будто Толстой никогда не употреблял «грубых», «народных» слов; употреблял и даже очень свободно — так же, как все его сыновья и даже дочери, так же вообще, как все деревенские люди, употребляющие их чаще всего просто по привычке, не придавая им никакого значения и веса. Это подтверждают многие из близко знавших его. Один из них говорит: «В биографии Толстого, написанной его секретарем Гусевым, сказано, со слов доктора Маковицкого, что „ругаться Толстой вообще не мог“. Но из дневников самого Льва Николаевича мы знаем, что в молодости, под сердитую руку, ему случалось побить крепостного человека. Неужели он мог делать это молча или приговаривая любезные елова? Это была бы уж не горячность, а несвойственная Толстому жестокость. Вообще Толстого нельзя было при-

числить к таким людям, у которых язык не поворачивается сказать грубое слово. Он и глубоким стариком, рассказывая какой-нибудь анекдот при дамах, способен был свободно произносить такие слова, которые обычно говорят только обиняком. Горький при первом знакомстве с Толстым даже обиделся, полагая, что это для него, для пролетария, Толстой говорил таким языком. Горький обиделся напрасно. Толстой, передавая, например, мужицкую речь, не стеснялся иногда самых грубых выражений и при всяких собеседниках».)

Возвращаясь к его внешности, повторяю то, что я сказал о своей первой встрече с ним:

«Едва я вхожу в залу, как в глубине ее, на лево, тотчас же открывается маленькая дверка и оттуда быстро, с неуклюжей ловкостью, выдергивает ноги, выныривает большой седобородый старик. Быстрый, легкий, страшный, остроглазый, с насупленными бровями... И быстро идет прямо на меня, быстро (и немного приседая) подходит ко мне, ладонью вверх бросает руку, забирает в нее всю мою...»

Про последнее хочется сказать: зоологиче-

ский жест. И дальше: «Он мягко жмет мою руку и неожиданно улыбается очаровательной улыбкой, ласковой и какой-то вместе с тем горестной, даже как бы жалостной, и я вижу, что эти маленькие серо-голубые глаза вовсе не страшные и не острые, а только по-звериному зоркие... Легкие и жидкие остатки серых, на концах слегка завивающихся волос, по-крестьянски разделены на прямой пробор, большие уши сидят необычно высоко, бугры бровных дуг надвинуты на глаза, борода, сухая, неровная, сквозная, позволяет видеть слегка выступающую нижнюю челюсть».

Это тоже надо отметить: нечто горестное, нечто жалостное в глазах и слегка выступающая челюсть.

Гольденвейзер сделал и другой список — перечень его физических особенностей. Отметил, между прочим, некоторый недостаток в его произношении: «Лев Николаевич пришепetyвал... Не знаю, было ли это следствием старческого отсутствия зубов или Лев Николаевич говорил так всегда».

Я спрашивал Илью Львовича:

— Может быть, некоторая особенность

произношения Льва Николаевича происходила от его несколько выступающей нижней челюсти?

— Вероятно. Это есть и у меня, и особенно у нашего старшего брата Сергея; мы с ним, мне кажется, вообще больше всего похожи с отцом физически. У Сергея нижняя челюсть выступает очень заметно. А наша походка? Ты прав, когда говоришь, что в отце было немножко гориллы. В нас этих черт, пожалуй, еще больше и выражаются они еще явственней. Я, совсем как отец, хожу быстро, почти бегаю и точно на пружинах, а Сергей приседает, пружинит уж совсем по-обезьяньи.

Гольденвейзер говорит: «Лев Николаевич ступал мягко, он широко расставлял в разные стороны носки и наступал сначала на пятку». Так ходила и мать Толстого (княжна Марья в «Войне и мире»): «Она вошла в комнату своей тяжелою походкой, ступая на пятки». Эта поступь тоже совсем не случайная толстовская особенность.

Когда я видел его в последний раз, в Москве на Арбате, он уже стал старчески ссыхаться, уменьшаться. Но от природы он был

выше среднего роста, — хорошо помню, что при первой нашей встрече я, пока он пожмал мне руку, глядел на него несколько снизу; а я среднего роста.

Он был широк в плечах и вообще в кости. Гольденвейзер говорит, что даже очень широк: «Когда мне однажды пришлось спать в его ночной рубашке, то плечи ее спускались мне почти до локтя». Но Гольденвейзер; был телом невелик и щупл.

Он был близорук, но до самой смерти читал и писал, без очков.

Говорил большею частью тихо, но, когда окликал кого-нибудь, всегда поражала звучность его голоса.

В молодости был очень силен. Силен и до старости. «Мы, — говорит Гольденвейзер, — раз пробовали, сидя за столом, опершись на стол локтями и взявшись рука в руку, пригнать к столу руку, — кто ниже пригнет чужую руку. Он одолел всех присутствующих». А это было всего за год до его смерти.

Руки у него были большие, деревенски-дворянские, «с крепкими, правильной формы ногтями», как правильно отметил

Гольденвейзер.

Ел он поспешно, часто даже жадно. Ел обычно немного, но когда что нравилось, ел так неумеренно, что часто хворал после того. Не любил молока и рыбы, не ел ни того и другого и тогда, когда не был еще вегетарианцем.

Захворав, он всегда начинал беспрестанно и очень громко на весь дом зевать.

«Когда дядя Сережа вспоминал что-нибудь неприятное или чувствовал себя не совсем здоровым, он начинал громко кричать у себя в кабинете: Ааааа!»

Это рассказывает Александра Львовна о Сергее Николаевиче. И то же об отце:

— Ооох, ооох, оох! — вдруг слышались страшные крики из кабинета отца.

— Что это? Кто кричит? Лев Николаевич? Ему плохо? — со страхом спрашивали необычные люди.

— Нет, — отвечали мы со смехом, — это Лев Николаевич зевает.

Известно, как любил он всякие физические упражнения. Очень любил купаться и купался до конца жизни. Помню, говорит Гольденвейзер, когда я в первый раз пошел с

ним купаться, я обратил внимание на очень большую родинку у него на правом боку. Плавал он как-то по-лягушечьи. Купался, как мужики, серьезно, не торопясь, деловито.

Он был в высшей степени смел, мужествен. «Я не могу представить себе его испуганным, — говорит Гольденвейзер. — Однажды зимой мы ехали с ним вдвоем в маленьких санках. Он правил. Начиналась метель, становилась все сильнее, так что наконец мы сбились с пути и ехали без дороги. Заметив вдалеке лесную сторожку, мы направились к ней, чтобы расспросить у лесника, как выбраться на дорогу. Когда мы подъехали к сторожке, на нас выскочили три или четыре огромных овчарки и с бешеным лаем окружили лошадь и сани. Он решительным движением передал мне вожжи, а сам встал, вышел из саней, громко гикнул и с пустыми руками пошел прямо на собак. И вдруг страшные собаки сразу стихли, расступились и дали ему дорогу, как власть имущему. Он спокойно прошел между ними и вошел в сторожку со своей развевающейся седой бородой».

В кавказских «делах» и в осажденном Сева-

стополе он всегда вел себя не только храбро, но порой даже отчаянно. Однако панически боялся крыс; сидя однажды в сева­стопольских ложе­ментах, вдруг выскочил наружу и кинулся на бастион, под ураганный обстрел неприятеля: увидал крысу.

Известно, какой он был страстный охотник[14], как любил лошадей и собак. От охоты он отказался только в старости, страсть же к верховой езде сохранил до самой смерти и ездил удивительно. Садясь на лошадь, он весь преображался, сразу делался моложе, бодрей и крепче; в лошадях знал толк, как истинный знаток, хвалил их без критики редко. Что до собак, то не выносил их лая. Когда вблизи лаяла собака, он испытывал настоящее страдание. Загадочная черта, бывшая и у Гете, который относился к лаю собак даже мистически.

— Лошади, верховая езда играли большую роль в нашей жизни, — говорит Александра Львовна.

«Если едешь с отцом верхом, так не растрепывайся! Ездил он оврагами, болотами, глухим лесом, по узеньким тропи­ночкам, не считаясь с препятствиями...

Если по дороге ручей, отец, не долго думая, посылает Делира, и он, как птица, перемахивает на другую сторону...

А то перемахнет ручей да в гору карьером. Тут деревья, кусты, того гляди, о ствол ударишься или веткой глаз выстегнешь.

— Ну? — кричит он, оглядываясь.

— Ничего, сажу.

— Держись крепче!

Один раз мы ехали с ним по Засеке. Подомной была ленивая, тяжелая кобыла. Отец остановился в лесу и стал разговаривать с пильщиками. Лошадей кусали мухи, овода. Кобыла отбивалась ногами, махала хвостом, головой и вдруг, сразу поджав ноги, легла. Отец громко закричал. Каким-то чудом я выкатилась из-под лошади, и не успела еще подняться, как отец молодым, сильным движением ударил ее так, что она немедленно вскочила...

Мне было лет пятнадцать, когда он учил меня ездить.

— Ну-ка Саша, брось стремя! А ну-ка попробуй рысью!

Раз он упал вместе с лошадьёю. Лошадь,

степная, горячая, испугалась, шарахнулась и упала. Отец, не выпуская поводьев, с страшной быстротой высвободил ногу из стремени и прежде лошади вскочил на ноги...»

И еще одна особенность, тоже значительная, — как он держал перо: не выставлял вперед ни одного пальца, держал их все горсточкой и быстро и кругло вертел пером, почти не отрывая его от бумаги и не делая нажимов. Опять нечто «зоологическое».

Как связать со всем этим его редкую склонность к слезам? Эту склонность отмечают многие, знавшие его, Он легко плакал всю жизнь, только всего чаще не от горя, а когда рассказывал, слышал или читал что-нибудь — трогавшее его; плакал, слушая музыку. «От природы музыкальный и в молодости увлекавшийся игрой на фортепьянах, Лев Николаевич ни в какой мере не был музыкантом, но чуткостью к музыке обладал выдающейся. Не нравилось ему и оставляло его равнодушным иногда то, что с моей точки зрения было прекрасно, например музыка Вагнера, но что ему нравилось, было всегда действительно хорошо. Когда ему в музыке что-

нибудь не нравилось особенно, например музыка Мусоргского, он говорил: „Стыдно слушать!“ Чрезвычайно любил русские народные песни, больше веселое, чем протяжное. Смеялся он довольно редко, но когда смеялся, то чаще всего тоже до слез».

Перечень его примет можно еще и еще пополнять. Но и этого достаточно, чтобы видеть, насколько первобытен был по своей физической и духовной основе тот, кто, при всей этой первобытности[15], носил в себе столь удивительную полноту, сосредоточенность самого тонкого и самого богатого развития всего того, что приобрело человечество за всю свою историю на путях духа и мысли. Когда-то суть европейского мнения о нем очень недурно (в смысле европейской невежественности и самоуверенности) выразил Золя. Мнение это было, в общем, такое: да, крупный талант, но достаточно варварский, истое дитя своего крайне эмоционального народа, человек наивно мудрствующий, открывающий давно открытые Америки, путающийся в том, что уже давно распутано... «Наивности» в нем было в самом деле немало, давно

открытые Америки он и правда открывал, — в чужие открытия плохо верил, — во многом, что людям, подобным Золя, казалось давно распутанным, он долго путался, эмоционален был чрезвычайно. Вот еще насчет музыки, — он про нее говорил так: «Если бы вся наша цивилизация полетела к чертовой матери, я не пожалел бы, а музыки мне было бы очень жаль... Я люблю Пушкина, Гоголя, но все-таки мне ни с одним искусством не было бы так жалко расстаться, умирая, как с музыкой...» От музыки он почти страдал, — «ощущения, вызываемые в нем музыкой, сопровождались бледностью лица и гримасой, выражавшей нечто похожее на ужас», — говорит в своих воспоминаниях Берс, брат Софьи Андреевны.

«Чтобы быть приняту в число моих избранных читателей, я требую, чтобы вы были чувствительны, были человек религиозный...»

«Было время, когда я тщеславился моим умом, моим именем, но теперь я знаю, что если есть во мне что-нибудь хорошего, то это доброе сердце, чувствительное и способное любить...»

«Я Дорку (собаку) полюбил за то, что она не эгоистка. Как бы выучиться так жить, чтобы всегда радоваться счастьем других?»

С годами его «чувствительность» возрастала все более и более, в конце жизни дошла до крайней степени.

— Подходя к Овсянникову, смотрел на прелестный солнечный закат. В нагроможденных облаках просвет, а там, как красный раскаленный уголь, солнце. И все это над лесом. Рожь. Радостно. И думал: нет, этот мир — не шутка, не юдоль испытания только и перехода в мир лучший, вечный, а это один из вечных миров, который прекрасен, радостен и

который мы не только можем, но должны сделать прекраснее для живущих с нами и для тех, которые после нас будут жить в нем...

— Ехал через лес Тургенева, вечерней зарей: свежая зелень в лесу под ногами, звезды в небе, запахи цветущей ракиты, вянущего березового листа, звуки соловьев, шум жуков, кукушка, — кукушка и уединение, и приятное под тобой, бодрое движение лошади, и физическое и душевное здоровье. И я думал, как думаю беспрестанно, о смерти. И так мне ясно стало, что так же хорошо, хотя по-другому, будет на той стороне смерти... Мне ясно было, что там будет так же хорошо, нет, лучше. *Я постарался вызвать в себе сомнение в той жизни, как бывало прежде, и не мог, как прежде, но мог вызвать в себе уверенность...*

«Мне казалось, — вспоминает Александра Львовна, — что обычное свойство отца — радоваться жизни, цветам, деревьям, детям, всему, всему, что окружало его, — усилилось в нем после болезней в Крыму. Как сейчас вижу, идет из леса. Белая блуза мешком сидит на похудевшем теле, воротник отстал, торчат ключицы, он идет без шляпы, пушатся на го-

лове мягкие волосы.

— Вот посмотри, что я принес, — говорит он, весело улыбаясь.

Я заглядываю в шляпу. Там аккуратно на лопушке положено несколько грибов.

— Ты понюхай, понюхай только, как пахнут!

Постепенно силы его прибывали... Помню, как в первый раз после болезни он поехал верхом на только что купленной мною лошади. Он с трудом поднял левую ногу в стремя, с усилием перекинул свое тело, лошадь загорачилась, и он скрылся по „пришпекту“. Я не находила себе места. Мне казалось, что отец не справится с молодой, горячей лошадью, я с нетерпением ждала его возвращения.

— А я на Козловке был! — весело крикнул он мне, подъезжая к дому.

И как только я увидела его, я поняла, что напрасно волновалась. Делир шел спокойным, ровным шагом...

Отец любил цветы, всегда собирал их без листьев, тесно прижимая один к другому. Когда я делала ему букеты по-своему, прибавляя в них зелени и свободно расставляя цветы,

ему не нравилось:

— Это ни к чему, надо проще...

Он первый приносил едва распустившиеся фиалки, незабудки, ландыши, радовался на них, давал всем нюхать. Особенно любил он незабудки и повилику, огорчился, что повилику неудобно ставить в воду — стебельки слишком коротки.

— Понюхай, как тонко пахнет, горьким миндалем, чувствуешь? А оттенки-то какие, ты посмотри!»

Повторяю: теперь, когда прошла целая четверть века со времени его смерти и, под влиянием множества всяких новых свидетельств о нем, образ его подвергся большому пересмотру, теперь всем кажется, что этот образ установлен уже точно, беспристрастно и полно, что не только все главные его черты, но и самая сущность определены, угаданы. Но нет, — некоторые новые черты этого образа, наконец-то замеченные и усвоенные, еще не поколебали прежнего представления о нем. Все те же «волчьи глаза», все тот же «великий грешник». «Апостол любви» — это только красноречие в торжественные дни поминове-

ний его. Да и то не всегда обязательное.

Вот, например, совсем недавняя статья Амфитеатрова, одного из старейших и образованнейших русских писателей. «Во всех странах и народах славен Толстой, — говорит он, — на всех языках, имеющих письменность, написано о нем видимо-невидимо...» Да, написано немало и все еще пишется, но что и как? Амфитеатров с восхищением излагает «огромный и превосходный труд», посвященный Толстому к двадцатипятилетию со времени его смерти известным итальянским беллетристом и поэтом Чинелли. Кто же такой, по мнению Чинелли, Толстой? Мнение это — типичный образец того, что и до сих пор думает о Толстом большинство просвещенных людей «во всех странах и народах».

— Толстой — не пророк, не святой, все в нем — человеческое, здоровое, нормальное...

— Когда продумываешь его пути, его Голгофу, все думаешь по контрасту о самом счастливом и самом святом из людей — Сан-Франческо д'Ассизи...

Если все в Толстом кажется Чинелли таким «человеческим, здоровым, нормальным»,

то почему он говорит о Голгофе? Проходят ли через Голгофу «здоровые, нормальные» люди? Если Толстой «не пророк, не святой», зачем Чинелли проводит параллели между Толстым и святым? Это тем более непонятно, что еще никто не канонизировал Толстого во святые. Да если бы и был он канонизирован, почему непременно надлежало бы ему быть похожим на Сан-Франческо д'Ассизи? Великое множество святых не похоже на святого Франческо. Понятно одно: святой Франческо понадобился Чинелли для хулы на Толстого. Начать с того, говорит он, что еще в юности и без всяких размышлений, колебаний бросил Франческо и родной дом, и семью, и все мирские блага, все прелести и соблазны земные, а Толстой «опростился» только в старости, ушел от той роскоши, в которой провел весь свой долгий век, только перед смертью... Да, начать хотя бы с этого. По всему свету еще держится убеждение, что, невзирая на все свои «опрощения», несмотря на все свои отказы от всякого барства и богатства, жил Толстой все-таки всегда в барстве, в богатстве. Но в легенде об этом барстве и богатстве, равно

как и в легенде о великой греховности Толстого, повинен прежде всего он сам: чего только не наговаривал он на себя![16] Никто не помнит этих скромных слов: «Зол я никогда не был; на совести два, три поступка, которые тогда мучили; но жесток я не был». Но как не помнить того страшного, что говорил он о годах своей молодости и средней поре жизни?

— Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспомнить об этих годах... Я убивал людей на войне, вызывал на дуэль, чтобы убить; проигрывал в карты, проедал труды мужиков; казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любодеяние всех родов, насилие, убийство... Не было преступления, которого бы я не совершал...

«Роскошь» и слабость к ней он приписывал себе тоже сам, собственной рукой: «Я покорился совершенно соблазнам судьбы и живу в роскоши...» Сколько раз писал он это? Без числа, без всякой меры. А меж тем есть ли и в этой фразе хоть одно точное слово? «Покорился» — неправда: мучился «роскошью» своей жизни ужасно, с мыслью бежать от нее не

расставался целые десятилетия и осуществить ее не мог единственно потому, что на этот, по его словам, эгоистический, бесчеловечный по отношению к семье шаг не хватало безжалостности. «Соблазны судьбы» — тоже неправда: кто мало-мальски, знает его жизненный обиход, тому слово «соблазны» просто смешно. «Весь век прожил в богатстве...» Но Толстые никогда не были богаты. Бабка Толстого по отцу была, как говорит он в своих воспоминаниях, дочь «скопившего большое состояние слепого князя Горчакова». Но дед (Илья Андреевич Толстой) промотал и свое, и то, что он взял в приданое за ней. Он был «не только щедрый, но бестолково-мотоватый, а главное, доверчивый... В его имении шло непрестанное пиршество, театры, балы, обеды, которые, в особенности, при страсти деда играть по большой в ломбер и вист, не умея играть, и при готовности давать всем, кто просил, и займы и без отдачи, кончилось тем, что большое имение его жены все было так запутано в долгах, что жить было нечем, и он должен был выхлопотать себе место губернатора в Казани». Дед по матери (Николай

Сергеевич Волконский) был весьма состоятелен, но большая часть того приданого, которое взял Николай Ильич за Марией Николаевны, ушла на покрытие долгов Ильи Андреевича. Из имений у Николая Ильича осталась только Ясная Поляна, но и Ясную Поляну унаследовал он не от отца, а взял в приданое за женой. Короче сказать, родился и вырос этот богач в бедности, молодым терпел настоящую нужду; в зрелые годы, когда уже считал себя довольно обеспеченным, в отчаяние приходил из-за какой-нибудь лишней грошовой траты, — как Левин, проевший и пропивший с Облонским в ресторане «целых» семь рублей, — а что за «роскошь» окружала его старость, видно, например из записей его друга Буланже, в 1901 году сопровождавшего его, больного, на поправку в Крым, где он был приглашен жить у графини Паниной: «Почти со страхом глядел на ее дом Лев Николаевич, привыкший к простой, скромной, чтобы не сказать бедной, обстановке Ясной Поляны, где полы были во многих комнатах некрашенные, рамы в окнах гнилые, с облезлой краской...» Те же чувства, что и отец, испытала в

этом доме и Александра Львовна, тоже сопровождавшая его в Крым: «Поразила роскошь дворца. Я никогда в таком доме не жила. Было неловко и неуютно: мраморные подоконники, резные двери, тяжелая дорогая мебель, большие высокие комнаты...»

Тут, кстати, надо сделать еще одну поправку — насчет его опрощения в одежде. Этому опрощению почему-то придали и теперь еще придают совсем незаслуженное значение. Как все деревенские дворяне, он и до опрощения носил зимой (даже иногда и в городе) тот самый полушубок, который впоследствии сделали столь знаменитым; носил и длинные сапоги, и блузу, и валенки; порой и косил, пахал. Но вот стали всему этому дивиться. Почему? Анатолий Франс в полушубке, Марсель Пруст с косой в руках, Бодлер за сохой, разумеется, были бы удивительны. Но Толстой? Впрочем, я понимаю, например, Мережковского, который в своей книге («Толстой и Достоевский») посвятил этому полушубку (и косе и пиле, стоявшим в рабочей комнате Толстого) столько наивных страниц: трудно найти даже среди нынешних русских писателей

более типичного городского человека, чем Мережковский, отроду никогда не выдавший, вероятно, собственными глазами ни косы, ни пилы, — недаром он называет пилу напильником...

— Франческо, — говорит Чинелли дальше, — был человек веселый, он пел, учил радости. А Лев...

А что «Лев»? «Лев» записал о дважды, уже в старости: «Слушал политические рассуждения, споры и вышел в другую комвату, где с гитарой играли и пели, и ясно почувствовал святость веселья».

— Лев маялся смертной мукой в своей расудочной борьбе с красотой и природой... Лев тоже имел от бога дар понимать природу. И он наслаждался ею. Но ему было мало того: в своей человеческой гордыне он не мог помириться на непосредственном восприятии наслаждения, хотел вникать и познавать... Оба, Франческо и Лев, любили животных. Но как разное! Лев, смолоду великий охотник, должен был наложить на себя зарок не убивать животных. А Франческо, — был «великий ловец» и тоже «должен был наложить на себя зарок

не убивать животных». И не один Евстафий: еще, например, Юлиан Милостивый...

Слово за словом повторяет Чинелли те злые и упорные в искажении действительности мнения о Толстом, на которых основана вражда и даже ненависть к нему еще очень, очень большого числа людей. «Мое истинное „я“ презираемо окружающими», — горько говорил он в старости, записывая свои «дни и дела» в Ясной Поляне. Это «я» было «презираемо» не только некоторыми из окружавших его в Ясной Поляне, но и тысячами тысяч из тех, которыми окружала его и Россия, и Европа, и Америка. «Презираемо» и до сих пор. Я не выбирал Чинелли — я случайно узнал о его «громадном и превосходном труде» от Амфитеатрова и увидал, сколь Чинелли не случаен, сколь он типичен. Вот хотя бы то, как сошлись на вражде к Толстому молодой итальянский писатель и старый русский. Русский писатель должен был бы знать и понимать Толстого во сто раз лучше всякого иностранного. Но вот — полное единодушие, такое, что чем дальше читаешь статью Амфитеатрова, тем все меньше понимаешь, кто гово-

рит: Амфитеатров или Чинелли?

Амфитеатров говорит:

— В любви к женщине и в бунте против этой любви — весь Толстой. Он так много любил, что перелюбил. И как он любил? Никто не любил более по-человечески, менее духовно, чем он. И как скоро ударил час его телесного упадка, он, в озлоблении, что теряет телесную силу, которая роднила его с матерью-землей, озлобился на целых тридцать лет, стал, грязно ругаясь, старчески бунтуя, — вспомните мрачную похоть о. Сергия, — проповедовать безусловное целомудрие.

То же говорит и Чинелли: «В устах Толстого проповедь чистоты, целомудрия есть только повелительное насилие, обличительная полемика, ругательное и самое непристойное издевательство над жизнью и природой...»

Никак не стоило бы цитировать эту клевету, будь она случайна, принадлежи она только какому-то Чинелли. Но разве один Чинелли забывает все те страстные, сердечные, с самой ранней молодости присущие Толстому стремления именно к чистоте, к целомудрию, то, с каким ужасом, — с ужасом даже как бы

мистики грехопадения, — всегда писал он о потере юношеской невинности? Он писал об этом в юности («Как гибнет любовь»), писал в годы мужества, — например, о том, как Николай Ростов, еще не знавший женщин, поехал с Денисовым к какой-то гречанке: «Он ехал как будто на совершение одного из самых преступных и безвозвратных поступков... Он чувствовал, что наступает та решительная минута, о которой он думал, колеблясь, тысячу раз... Он дрожал от страха, сердился на себя и чувствовал, что он делает безвозвратный шаг в жизни, что что-то преступное, ужасное совершается в эту минуту...» О чувствах Ростова после падения он писал еще мучительнее: «Он проснулся и все плакал и плакал слезами стыда и раскаяния о своем падении, навеки отделившем его от Сони», — точнее, от той женщины, которая представлялась ему идеалом его любви и которую нельзя было определить: «Была ли то мечта первой любви или воспоминание нежности матери, не знаю, — не знаю, кто была: эта женщина, но в ней было все, что любят, и к ней сладко и больно тянула непреодолимая сила...» Все эти

строки можно прочесть в набросках, не вошедших в «Войну и мир» по несоответствию их слишком лирического тона с общим тоном романа. Но эта лирика всегда жила в толстовской душе, — до глубокой старости:

— Еще думал нынче о прелести — именно прелести — зарождающейся любви. Это вроде того, как пахнет вдруг запах зацветающей липы или начинающая падать тень от луны...

И вот, после таких строк, читаешь: «В устах Толстого проповедь чистоты, целомудрия есть только повелительное насилие, обличительная полемика...» Однако можно ли строго судить всех этих Чинелли? Не сам ли человек вопиял так долго и отчаянно, что он почти всю свою жизнь совершал «любодеяние всех родов»? Да не отставали от него и его друзья, знакомые. Покойный Боборыкин рассказывал мне:

— Некрасов, которого, кстати сказать, Толстой считал одним из самых умных людей, каких он когда-либо встречал, Некрасов называл Толстого великий сладострастником, и я Толстому это не раз напоминал. Как только начнет он меня допекать, как мы все гадко

живем, как мало о душе думаем, я ему сейчас: это вам, Лев Николаевич, надо спасаться по великим грехам вашим, а мне что? Меня и так с распростертыми объятиями в рай примут: Петр Дмитриевич, дорогой, пожалуйста, вы за всю жизнь лишнего стакана вина не выпили, не то что Толстой! Я, Лев Николаевич, подобно вам и Будде, не отрекался ни от жены, ни от царства, зато, надеюсь, и не умру, как Будда, который, достигнув всяческой святости, восьмидесяти лет от роду, вдруг объелся однажды в жаркий день свининой у знакомого кожевника, а после того не удержался еще и от другого искушения, — искупался в речке, за что и отдал в тот же вечер богу душу...

«Великий сладострастник», «по великим грехам вашим...». Да, откуда все это? Великая страстность природы Толстого неоспорима, величайшая острота его чувствования всяческой плоти земной — тоже; но «сладострастие», если понимать это слово в обычном смысле? И где можно найти в жизни Толстого фактические доказательства проявления его «великой сладострастности»? Все в один го-

лос твердят еще и до сих пор, что он провел «очень бурную молодость». Но что же в ней было особенного, какие такие бури? О начале ее он писал так: «Я усвоил себе восторженное обожание идеала добродетели и убеждение в назначении человека постоянно совершенствоваться... Я ставил себе за правило: читать каждый день целый час Евангелие, отдавать одну десятую из всех своих денег бедным, отыскивать их... самому убирать свою комнату и держать ее в удивительной чистоте, человека же ничего для себя не заставляя делать: ведь он такой же, как и я... в университет ходить пешком... Вообще жить разумной, нравственной, безупречной жизнью...» Исчезло ли это «восторженное обожание добродетели» в последующие годы? Да, иногда азартно играл в карты, иногда ездил к цыганкам... потом имел две связи до женитьбы... был влюблен в Молоствову, в Арсеньеву... Но уже ли это «бури»!

Боборыкин, на вопрос о фактических доказательствах «великого сладострастия» Толстого, отвечал:

— Этих доказательств сколько угодно. И,

прежде всего, — в его собственных исповедях о своей молодости, ну, хотя бы в тех ужасных дневниках, которые он имел какую-то извращенную жестокость дать прочитать Софье Андреевне, несчастной девочке, накануне своей свадьбы с ней.

Исповеди, дневники... Все-таки надо уметь читать их. «Ложь, воровство, любодеяние всех родов, пьянство, насилие, убийство... не было преступления, которого я бы не совершал...» Баснословный злодей!

XII

Булгаков, последний секретарь Толстого, подчеркивает в одном месте своих записей о нем чрезвычайность его страсти узнавать душевные тайны людей: страсть эта всем известна, говорит он, но едва ли кто знает, что Лев Николаевич доходил в этой страсти даже до подслушивания под дверями.

Подчеркивает он и чрезвычайность его внимания и «его строгости ко всем явлениям» любви между мужчиной и женщиной. Он, говорит Булгаков, был сторонником полного целомудрия мужчины и женщины, видел в

их телесных отношениях, даже брачных, нечто нечистое, нечто унижающее человека. Один раз, говорит Булгаков, я прочел в только что написанном письме его к некоей Петровской такую фразу:

— Ни в одном грехе я не чувствую себя столь гадким и виноватым, как в этом, и потому, вероятно, ошибочно или нет, но считаю этот грех против целомудрия одним из самых губительных для жизни...

Запомнилось Булгакову и еще одно толстовское письмо:

— Вы говорите, что существо человеческое слагается из духовного и телесного начала. И это совершенно справедливо; но несправедливо то ваше предположение, что благо предназначено и духовному и телесному началу... Благо свойственно только духовному началу и состоит не в чем ином, как все в большем и большем освобождении от тела, обреченного на зло, единственно препятствующего достижению блага духовного начала...

Все убеждены, что так относился он к «телесному началу» только в старости. Повторяю, — от всякого можно услышать: «Все это

следствие всем известных причин: той бурной чувственности, в которой прошла его молодость, той редкой мужской страсти, результатом которой было рождение им тринадцати человек детей, той силы, с которой говорил он всегда обо всем телесном...»

Что до детей, то их было даже не тринадцать, а четырнадцать. Летом 1909 года он сам записал об этом:

— Посмотрел на босые ноги (женские), вспомнил Аксињу, то, что она жива, и, говорят, Ермил мой сын (от нее)...

Эта Аксиња вообще может быть большим козырем в руках тех, что убеждены в большой «греховности» его. Это Аксиња побудила его писать в старости «Дьявола» и некоторые строки в других произведениях той же поры с беспримерной для таких лет остротой телесно-любовных чувств. В том же 1909 году Софья Андреевна переписывала его новый рассказ «Кто убийцы?» и записала:

— Тема — революционеры, казни и происхождение всего этого. Могло быть интересно. Но все те же приемы — описание мужицкой жизни. Смакование *сильного* женского стана

с загорелыми ногами девки, то, что когда-то так сильно соблазнило его; та же Аксинья с блестящими глазами, почти бессознательно теперь, в 80 лет, снова поднявшаяся из глубины воспоминаний и ощущений прежних лет. Аксинья была баба яснополянская, последняя до женитьбы любовница Льва Николаевича...

Об этой Аксинье Софья Андреевна писала и в самом начале своей замужней жизни, через несколько месяцев после своей свадьбы. Аксинья вместе с другой яснополянской бабой мыла у Толстых полы, и вот Софья Андреевна писала: «Влюблен, как никогда! И просто баба, толстая, белая, — ужасно. Я с таким удовольствием смотрела на кинжал, ружья...» Аксинья была «последняя до женитьбы любовница Льва Николаевича». Значит, были и другие; он и сам об этом говорил: «В молодости я вел очень дурную жизнь, а два события этой жизни особенно и до сих пор мучают меня... Эти события были: связь с крестьянской женщиной из нашей деревни до моей женитьбы, — на это есть намек в моем рассказе „Дьявол“. Второе — это преступление, которое я совершил с горничной Гашей, жившей в до-

ме моей тетки. Она была невинна, я ее соблазнил, ее прогнали, и она погибла», — как Катюша Маслова в «Воскресении». Тут всякий может мне сказать: каких вам нужно еще доказательств его чувственности, раз он сам писал про Аксинью в пору своей связи с ней, что у него к ней «чувство оленя»? Он писал Черткову и еще об одной женщине: это была его кухарка Домна, страстью к которой он «страдал ужасно, боролся и чувствовал свое бессилие». И заметьте, скажут мне, какая необыкновенная память чувств, — на протяжении целых десятилетий, до самой глубокой старости, хранить в себе такую свежесть их, при которой только и возможно то «дьявольское» очарование, с которым написаны места и «Дьявол», и начало любви Нехлюдова и Катюши. Вспомните и все его прежние изумительные изображения всего материального, плотского — и в природе и в человеке: например, эту «бездну» зверей, птиц, насекомых в жарких лесах над Тереком, дядю Ерошку, Марианку, Лукашку, убитого им абрека... «мертвое, ходившее по свету тело» князя Серпуховского из «Холстомера», то, как Стива Об-

лонский, просыпаясь, поворачивал на диване свое холеное тело... тело жирного Васеньки Весловского... тело Анны, тело Вронского и их страшное телесное падение («как палач смотрит на тело своей жертвы», смотрел Вронский на Анну после этого падения)... А тело Элен? А «белая нога» раненого и вопящего при ампутации ее брата? А Трухачевский из «Крейцеровой сонаты», так плотоядно, жадно охватывающий своими красными губами баранью котлетку? Тело, тело, тело... Князя Андрея, смертельно раненного под Бородиным, приносят на перевязочный пункт, — и вот опять и опять оно: «Все, что он видел вокруг себя, слилось для него в одно общее впечатление обнаженного, окровавленного человеческого тела, которое, казалось, наполняло всю низкую палатку, как несколько недель тому назад, в этот жаркий августовский день, это же тело наполняло грязный пруд на смоленской дороге. Да, это было то самое тело, та самая chair a canon[17], вид которой еще тогда, как бы предсказывая теперешнее, возбудил в нем ужас».

Что возразить на это?

Еще могут сказать: «Толстой, конечно, преувеличивал свою сладострастность, свою греховность в своих покаянных исповедях; но как же все-таки отрицать и как объяснить его редкое внимание ко всяческой земной плоти и, в частности, к человеческому телу, — к женскому, может быть, в особенности?» Я не отрицаю, я даже готов опять привести эту записку:

— Ехал мимо закут. Вспомнил ночи, которые проводил там, и молодость, и красоту Дуняши (я никогда не был в связи с ней), сильное женское тело ее. Где оно?

Тут еще раз оно, это «сильное женское тело». Но ведь какая глубокая грусть в этом: «Где оно»! Что может сравниться с поэтической прелестью и грустью этой записки? В том-то и дело, что никому, может быть, во всей всемирной литературе не дано было чувствовать с такой остротой всякую плоть мира прежде всего потому, что никому не дано было в такой мере и другое: такая острота чувства обреченности, тленности всей плоти мира, — острота, с которой он был рожден и прожил всю жизнь. Chair а сапон, «мясо», обре-

ченное в военное время пушкам, а во все времена и века — смерти!

Умиравшему князю Андрею стало «уже близким, почти понятным и ощущаемым то грозное, вечное, неведомое, далекое, присутствие которого он не переставал ощущать в продолжение всей своей жизни». Всю свою жизнь ощущал и Толстой.

— Холодна ты, смерть, но я был твоим господином, — пел Хаджи-Мурат свою любимую песню... — Мое тело возьмет земля, мою душу примет небо.

Толстой «господином» смерти не был, весь свой век ужасался ей, не принимал ее: «Она придет, она — вот она, а ее не должно быть!» — и завистливый восторг испытывал перед звериностью Хаджи-Мурата, Ерошки. У них была райски сильна, бездумна, слепа, бессознательна «осуществленная в теле воля к жизни», — почти как у того боровшегося за свою жизнь на пашне татарника, которому он уподобил Хаджи-Мурата. Скотскую человеческую плоть, рая уже лишенную, это «мясо», уготованное грязной смерти, он всегда ненавидел. Другое дело — плоть звериная, «оле-

нья», «сильное женское тело». Но и от того «оленьего», что было в нем самом, содрогался он, оленем, Хаджи-Муратом, Брошкой все же не рожденный, отмеченный еще в утробе матери страшным знаком — всю жизнь ощущать это «грозное, вечное, неведомое», — содрогался с молодости, и чем дальше, тем все чаще и больше, чтобы в последние свои годы уже чуть не непрестанно молить бога: «Отец, избавь меня от этой жизни! Отец, покори, изгони, уничтожь мою поганую плоть! Помоги, отец!» — то есть: дай мне до конца победить смерть, властную над плотью, до конца изжить свою материальность — до конца «освободиться», слиться с тобой! Паки и паки искушает меня «дьявол» (Мара, Смерть) прелестью плотского мира и все новых и новых зачатий и рождений в нем, — помоги, отец, в борьбе с ним!

Когда-то он настойчиво приставал к профессору Усову:

— Я вот все хотел спросить вас, Сергей Алексеевич, правда ли, что если укусит бешеная собака, то человек наверное умрет через шесть недель? Мне ужасно нравится мысль,

что умрет. Укусит собака, и знаешь, что через шесть недель непременно умрешь, и руби всем правду в глаза, делай, что хочешь...

Да, приставал он к Усову недаром, «рубить» он любил: все в мире видел с той ясностью, зоркостью, с которой видела все вокруг себя и в самой себе Анна на пороге смерти, прозревшая от ее близости, разбуженная ею от сна жизни, и, как Анна, был беспощаден в минуты, подобные тем, которые Анна переживала по пути на станцию и на станции:

«Опять я понимаю все», — сказала себе Анна, как только коляска тронулась... «Да, о чем последнем я так хорошо думала», — старалась вспомнить она. «Да, про то, что говорит Яшвин: борьба за существование и ненависть — одно, что связывает людей. Нет, вы напрасно едете, — мысленно обратилась она к компании в коляске четверней, которая, очевидно, ехала веселиться за город. — И собака, которую вы везете с собой, не поможет вам. От себя не уйдете». Кинув взгляд на ту сторону, куда оборачивался Петр, она увидела полумертво пьяного фабричного с качающейся головой, которого вез куда-то городской...

«Мы с графом Вронским также не нашли этого удовольствия, хотя и много ожидали от него». И Анна обратила теперь в первый раз тот яркий свет, при котором она видела все, на свои отношения с ним...

На станции, «сидя на звездообразном диване в ожидании поезда, она с отвращением глядела на входивших и выходивших... Раздался звонок, прошли какие-то молодые мужчины, уродливые, и наглые, и торопливые, и вместе с тем внимательные к тому впечатлению, которое они производили; прошел и Петр через залу в своей ливрее и штиблетах с тупым, животным лицом, чтобы проводить ее до вагона. Шумные мужчины затихли, когда она проходила мимо них по платформе, и один что-то шепнул о ней другому, разумеется, что-нибудь гадкое. Она поднялась на высокую ступеньку и села одна в купе на пружинный, испачканный, когда-то белый диван... Петр с дурацкой улыбкой приподнял у окна в знак прощания свою шляпу с галуном, наглый кондуктор захлопнул дверь и щеколду. Дама, уродливая, с турнюром (Анна мысленно раздела эту женщину и ужаснулась на ее без-

образии), и девочки, ненатурально смеясь, пробежали внизу... Испачканный, уродливый мужик в фуражке, из-под которой торчали спутанные волосы, прошел мимо окна, нагибаясь к колесам вагона... Кондуктор отворял дверь, впуская мужа с женой... Чета села с противоположной стороны, внимательно, но скрыто оглядывая ее платье. И муж и жена казались отвратительны Анне... Анна ясно видела, как они надоели друг другу и как ненавидят друг друга. И нельзя было не ненавидеть таких жалких уродов...

„Да, на чем я остановилась? На том, что я не могу придумать положения, в котором жизнь не была бы мучением, что все мы созданы затем, чтобы мучиться, и что мы все знаем это, и все придумываем средства, как бы обмануть себя. А когда видишь правду, что же делать? Надо избавиться. Отчего же не потушить свечу, когда смотреть больше не на что, когда гадко смотреть на все это? Зачем они кричат, эти молодые люди в том вагоне? зачем они говорят? зачем они смеются? Все неправда, все ложь, все обман, все зло!“ — Когда поезд подошел к станции, Анна вышла в

толпе других пассажиров, как от прокаженных, сторонясь от них...»

Потом «свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла».

XIII

Софья Андреевна утверждала:

— Левочку никто не знает, знаю только я — он больной и ненормальный человек.

Он умер на восемьдесят третьем году жизни. Значит, должен быть причислен к высшему в смысле телесной «крепости» сорту людей («лет наших всего до семидесяти лет, а при большей крепости до восьмидесяти», по слову Библии). Кроме того, смерть его была случайностью: не проживи он жизнь в таком страшном и телесном и духовном напряжении, в такой «ненормальной» восприимчивости, в таком непрестанном труде и не уйди из дому, он прожил бы, вероятно, лет сто. А сто лет есть знак уже редкой породы людей. И

вот о нем утвердилось мнение как о человеке могучего здоровья. Но справедливо говорил он про себя: «Я всегда был слабого здоровья, только крепкого сложенья». С ранней молодости он был подвержен многим болезням, еще юношей писал: «Здоровье мое нехорошо, расположение духа самое черное, чрезвычайно слаб и при малейшей усталости чувствую лихорадочные припадки»; впоследствии у него бывали глубокие обмороки и притом с такими судорогами, что еще неизвестно, не прав ли один московский профессор, говоря о какой-то форме эпилепсии, будто бы таившейся в нем. Главней же всего то, что у него были зачатки туберкулеза (дающего, как известно, тем, кто им поражен, даже и духовный склад совсем особый).

Родные его тоже не отличались «нормальностью».

Мать его умерла тридцати девяти лет, отец сорока двух. Об отце известно только то, что и он был очень «чувствителен», что у него был тик (подергивание головы). Что до матери, то все знают, по «Войне и миру», экзальтированность княжны Марьи (иначе говоря, Марии

Николаевны Волконской), ее религиозность, страсть к общению со всякими «божьими людьми», странниками и странницами, юродивыми и блаженными. Его родная тетка (по отцу) была религиозна особенно. «Любимым ее занятием были чтения житий святых, беседы с странниками, юродивыми, монахами, монашенками, из которых некоторые всегда жили в нашем доме, а некоторые посещали тетушку... Она не только соблюдала посты, много молилась, общалась с людьми святой жизни, но сама жила истинно христианской жизнью, стараясь избегать не только всякой роскоши и услуги, но стараясь, сколько возможно, служить другим. Денег у нее никогда не было, потому что она раздавала просящим все, что у нее было. В пище, в одежде, она была так проста и нетребовательна, как только можно себе представить. Как мне ни неприятно это сказать, я с детства помню кислый запах тетушки, вероятно, происходивший от ее неряшества. И это была та грациозная, с прекрасными голубыми глазами, поэтическая Aline, любившая читать и списывать французские стихи, игравшая на арфе и всегда

имевшая большой успех на самых больших балах!» Умерла она в монастыре, в Оптиной Пустыни. Там же кончила жизнь и родная его сестра, Марья Николаевна. А его братья Дмитрий и Николай умерли еще молодыми от туберкулеза. Дмитрий был болен и душевно: бешеная раздражительность сочеталась у него с крайней добротой, крайней самолюбие, огромная гордость с болезненным смирением, самоуничижением, аскетические склонности с порывами чувственности, пьянства, разгула.

Цитирую (с пропусками) «Первые воспоминания»:

«Митенька был годом старше меня. Большие черные, строгие глаза... В детстве был очень капризен., сердился и плакал за то, что няня не смотрит на него; потом злился и кричал, что няня смотрит на него... маменька очень мучилась с ним... В Казани я, подражавший всегда брату Сереже, начал развращаться... старался быть светским, *comme il faut*. Ничего этого не было и следа в Митеньке... Он всегда был серьезен, вдумчив, чист, решителен, вспыльчив и то, что делал, дово-

дил до пределов своих сил... Митеньке дан был (в казачки) Ванюша. Митенька часто дурно обращался с ним, кажется, даже бил его... помню его покаяния за что-то перед Ванюшей и униженные просьбы о прощении... Рос он, мало общаясь с людьми, всегда, кроме как в минуты гнева, тихий, серьезный, с задумчивыми, строгими большими карими глазами. Он был велик ростом, худ довольно, с длинными и большими руками и с сутуловатой спиной... С первого же года университетской жизни он предался религиозности, как он все делал, до конца. Он стал есть постное, ходить на все церковные службы... Он не танцевал, не ездил в свет, носил один студенческий сюртук с узким галстуком, и смолоду уже у него появился тик: он подергивал головой, как бы освобождаясь от узости галстука... Из всех товарищей он выбрал жалкого, оборванного студента, дружил только с ним... К нашему семейству была как-то пристроена, взята из жалости самое странное и жалкое существо, некто Любовь Сергеевна, девушка... Она была не только жалка, но и отвратительна... Лицо ее было все распухшее... Глаза видне-

лись в узеньких щелках между двумя запухшими, глянцевыми, без бровей подушками. Также распухшие, глянцевого, желтого были щеки, нос, губы, рот. И говорила она с трудом, так как и во рту была опухоль. Летом на ее лицо садились мухи, и она не чувствовала их... Волосы у нее были еще черные, но редкие, не скрывающие голый череп... От нее всегда дурно пахло... Вот эта-то Любовь Сергеевна сделалась другом Митеньки... После выхода из университета он жил той же строгою, воздержанной жизнью, не зная ни вина, ни табаку, ни женщин до 26 лет... Он сходил к монахам и странникам... Потом с Митенькой случился необыкновенный переворот. Он вдруг стал пить, курить, мотать деньги и ездить к женщинам... Ту женщину, проститутку Машу, которую он первую узнал, он выкупил и взял к себе... Думаю, что не столько дурная, нездоровая жизнь, сколько внутренняя борьба укоров совести сгубили сразу его могучий организм. Он заболел чахоткой... Он был ужасен: огромная кисть его руки была прикреплена к двум костям локтевой части, лицо было — одни глаза, те же прекрасные, серьез-

ные, теперь выпытывающие... Он не хотел умирать, не хотел верить, что он умирал. Рябая, выкупленная им Маша, повязанная платочком, была при нем... По его желанию принесли чудотворную икону. Помню выражение его лица, когда он молился на нее...»

Род Толстых существует в России лет шестьсот. Род этот происходит от какого-то «мужа честна Индриса», выехавшего в Россию «из Цесарские земли, из немец» (каковым словом русские в старину называли всех иностранцев), и лет через триста после того становится известен в русской истории, занимает уже высокое служилое положение при русских царях, получает графское достоинство и все более вступает в родственные связи с знатными фамилиями: прадед Толстого женится на княжне Щетининой, дед (Илья Андреевич) на княжне Горчаковой, отец (Николай Ильич) на княжне Волконской, происходящей от самих Рюриковичей, потомков первой царской династии России: Трубецкая по матери, она происходила по отцу от тех Волконских, родоначальником которых был прямой Рюрикович, святой Михаил, владе-

тельный князь Черниговский. Известно, как сильны бывают представители таких старых родов, духовной и телесной аристократии. Эта аристократия, этот отборный, крупный (и не только телесно) сорт людей есть и в народе, в простом народе любой национальности. Среди русских мужиков было и есть немало таких «породистых», резко выделяющихся из толпы и наружно и внутренне, и немало есть среди таких мужиков как раз очень долголетних, по большей части типа атавистического, пещерного, гориллоподобного, страстного, животолюбивого и отличающегося богатой и сильной образной речью. Того же типа и большинство наиболее знатных русских господ: крупные, простонародные черты лица, крупные руки и ноги, зачастую сильно развитые бровные дуги, высокий рост, широкая кость — и эта богатая речь, образная, чувственно-изобразительная. Тип этот, — к которому как раз и принадлежал Толстой, — очень «крепок» в своей телесной основе. Но всегда ли он «нормален»?

Лейбниц называл «вечную часть нашей нравственной природы» монадой, Гете — эн-

телехией и говорил, что гении переживают две молодости, меж тем как прочие бывают только раз молоды. «Если энтелехия принадлежит к низшему разбору, то она во время своего телесного затмения (в земной жизни) подчиняется господству тела и, когда тело начинает стареть, не в силах препятствовать его старости. Если же энтелехия могущественна, то она, в то время, когда проникает тело, не только укрепляет и облагораживает его, но и придает ему ту вечную юность, которой обладает сама. Вот почему у людей особенно одаренных мы наблюдаем эпохи особой продуктивности: у них вновь наступает пора молодения, вторая молодость...» Как могущественна была энтелехия Толстого!

Летом 1901 года отец опасно заболел, говорит Александра Львовна в своих воспоминаниях, у него начинались лихорадка и грудная жаба. Его увезли в Крым. Но там он опять заболел и очень тяжело, сперва плевритом и ползучим воспалением легких, потом брюшным тифом, провел в постели четыре месяца. И «то, что старик на восьмом десятке лет, с ослабленным грудной жабой и лихорадкой

сердцем, мог выдержать это воспаление и сейчас же, почти без перерыва, брюшной тиф, было величайшим чудом». Таким же чудом было и дальнейшее: после этих болезней он прожил еще девять лет, и не как-нибудь, а в непрерывной работе и временами в такой большой телесной силе, что никто из молодых не мог с ним сравняться в неутомимости и живости (и в той радости душевной, что все больше и больше просветляла его). Так временами жил он даже в самый год своей смерти. Не раз в этот год записывали его близкие: «Папаша очень занят, здоров и бодр... Лев Николаевич очень бодр, молод и поразительно деятелен, мы все едва поспеваем за ним...» Эти две записи относятся к началу весны 1910 года — и не случайна была эта его предвесенняя «молодость»: он всегда жил с необыкновенно верным чувством прибывающих или убывающих сил природы, сам говорил: «Конец зимы и начало весны всегда самое мое рабочее время».

— И возвратится персть в землю, яко же бе, и дух возвратится к богу, иже даде его...

Кто чувствовал и любил эту землю, как он?

Вот он говорит о Гомере, которого он, выучив — в два месяца! — греческий язык, стал читать в подлиннике: какой земной восторг, какая земная мощь!

— Это вода из ключа, ломающая зубы, с блеском и солнцем и даже с соринками, от которых она кажется еще чище и с лаже.

Вот он записывает почти в ту же пору (в июне 1878 года):

— Жаркий полдень, тихо, запах сладкий и душистый — зверобой, кашка — стоит и дурманит. К лесу в лощине еще выше трава и тот же дурман; на лесных дорожках запах теплицы... Пчела на срубленном лесе обирает по очереди с куртины желтых цветов... Жар на дороге, пыль горячая и деготь...

Запись совершенно необыкновенная по всяческой крепости, по упоению прелестью сил земных — и тем более необыкновенная, что эти годы были для него самым роковым временем всей его жизни: еще тем неизжитым до конца ужасом перед «перстью», обреченной возвратиться в землю, который он вскоре после того высказал в «Исповеди». Все же необыкновеннее то, что за несколько

лет перед этим уже с полной очевидностью обнаружилось, что он «сумасшедший».

XIV

Аксаков говорил о Гоголе:

— Нервы его, может быть, во сто раз тоньше наших: слышат то, чего мы не слышим, содрогаются от причин, нам неизвестных... Вероятно, весь организм его устроен как-нибудь иначе, чем у нас...

Организм Толстого был устроен тоже «иначе».

— Толстой! — насмешливо сказал когда-то один известный русский писатель. — Как это у Жюль Верна? «Восемьдесят тысяч километров под водой»? Так вот про Толстого можно сказать нечто подобное: восемьдесят тысяч верст вокруг самого себя.

Эту фразу повторяли потом без конца. И ни сам писатель, ни повторявшие ее даже и не подозревали, над какой глубочайшей особенностью Толстого насмеваются они. «Кто ты — что ты?» Недаром так восхищался он этим, — тем, что именно этот вопрос, а не что-либо другое слышала его старая нянька в мерном

студе часов, отмеривавших утекающее время ее бедной земной жизни. Ведь можно было слышать обычное: «Тик-так, тик-так...» Но вот она слышала свое, другое: «Кто ты — что ты?» Сам он слышал в себе этот вопрос всю жизнь — с детства и до самой последней минуты своей.

— Склонности к умствованиям, писал он еще в «Отрочестве», суждено наделать мне много вреда в жизни... Я любил эту минуту, когда, возносясь все выше и выше в область мысли, вдруг постигаешь всю необъятность ее...

В этом «умствовании» была еще одна замечательная черта: все стараться взглянуть на себя со стороны.

— В продолжении года, во время которого я вел уединенную, сосредоточенную в самом себе, моральную жизнь, все отвлеченные вопросы о назначении человека, о будущей жизни, о бессмертии души уже представлялись мне...

— Почему симметрия приятна для глаз? Это врожденное чувство, отвечал я сам себе. На чем же оно основано? Разве во всем в жиз-

ни симметрия? Напротив, вот жизнь — и я нарисовал на доске овальную фигуру. После жизни душа переходит в вечность; вот вечность — и я провел с одной стороны овальной фигуры черту до самого края доски. Отчего же с другой стороны нет такой же черты? Да и в самом деле, какая же может быть вечность с одной стороны! *Мы, верно, существовали прежде этой жизни, хотя и потеряли о том воспоминание...* Ни в одном из всех философских направлений я не увлекался так, как скептицизмом, который одно время довел меня до состояния, близкого к сумасшествию. Я воображал, что, кроме меня, никого и ничего не существует во всем мире, что предметы не предметы, а образы, являющиеся только тогда, когда я обращаю на них внимание, и что, как скоро я перестаю думать о них, образы эти тотчас же исчезают...

— Часто, начиная думать о самой простой вещи, я впадал в безвыходный круг анализа своих мыслей... Спрашивая себя: о чем я думаю? я отвечал: я думаю, о чем я думаю. А теперь я о чем думаю? Я думаю, что я думаю, о чем я думаю, и так далее. Ум за разум захо-

дил...

— Ты не думай! — сказала я ему. (Александра Львовна — ему, умирающему.)

— Ах, как не думать! Надо, надо думать! — отвечал он.

В нем все было «иначе» и все так удивительно, что, казалось бы, уже ничему нельзя больше удивляться. И вот все-таки удивляешься — опять, опять говоришь себе: в каком великом «делании» провел всю свою жизнь этот человек, проповедовавший «неделание», сколько «дал потомства господу», как неутомим был он (всякое «имение» впоследствии отвергнувший) в приобретении «имения»!.. А его неутолимая потребность «высказываться», исповедоваться? Целые томы дневников, исповедей! Вести дневники он начал еще юношей, продолжал чуть не каждый день почти всю жизнь и — что самое удивительное — не бросал не только до самого смертного одра, но даже и на нем, на этом смертном одре, пользуясь каждой минутой освобождения от бреда и даже в бреду.

«Надо, надо думать!» Нечто подобное не раз говорил он и раньше!

— Все хочется понять, чего нельзя понять, точно мне пятнадцать лет.

«Ненормально» было количество его ежедневных записей о своих мыслях, о чувствах и поступках, «ненормально» было и качество их (в смысле правдивости, откровенности).

Мережковский справедливо сказал:

— В литературе всех народов и веков едва ли найдется другой писатель, который обнажил бы свою жизнь с такой откровенностью, как Толстой.

Так говорила и Софья Андреевна:

— Он в дневниках такие вещи о себе писал, что я не понимаю, как можно о себе так писать!

Самообнажение атавистическое? Самообнажение, самобичевание святых?

«Ненормально» было и это: всю жизнь, с детства до самого смертного одра «исправляться, совершенствоваться». Недаром мать Дмитрия Нехлюдова сказала Коленьке Иртеньеву:

— C'est vous qui Ktes un petit monster de perfection[18].

Софья Андреевна и писала и говорила:

— Такие умственные силы пропадают в пиление дров, в ставлении самоваров и в шитье сапог!

— Если счастливый человек вдруг увидит в жизни, как Левочка, только все ужасное, а на хорошее закрыл глаза, то это от нездоровья.

И прибавляла, обращаясь к нему самому:

— Тебе полечиться надо.

Да, «это от нездоровья». Бог дал беспримерный талант, необыкновенные умственные силы, и человек сам это прекрасно знает. Казалось бы, что еще нужно? Главный труд всей жизни, главная ее цель — использовать на великую радость ближнего своего только это — талант и ум. Но вот этот человек тратит себя на самовары, на рубку дров, на кладку печей, на целые годы прерывает иногда свой художественный труд для педагогики... на пороге старости вдруг садится за изучение древнегреческого, потом древнееврейского языка, изучает и тот и другой с быстротой непостижимой, но и с таким напряжением всего себя, что обнаруживается полная необходимость ехать в Башкирию, пить кумыс — спасти се-

бя от смертельного переутомления, от зловещих проявлений своей прирожденной чахотки, от чахоточного кашля и пота; потом составляет «Азбуку», учебник арифметики, книжки для школьного и внешкольного чтения; изучает драму, — Шекспира, Гете, Мольера, Софокла, Еврипида, — изучает астрономию; потом опять: «Я только и думаю, что о воспитании, обучении, я опять весь в педагогике, как четырнадцать лет назад». Софья Андреевна была вполне права, если судить все это с точки зрения простого житейского рассудка: «Эти азбуки, арифметики, грамматики — я их презираю. Его дело — писание романов». Но вот он всю жизнь учится — и учит: простая ли эта страсть? Не страсть ли (или долг) библейских пророков, Будды, браманов? «Высшая каста, каста браманов, учителей народа, требовала от человека равнодушия к земным благам и победы высшей природы над низшей. Предполагалось, что человек, воплотившийся в касте браманов, прошел уже через все низшие ступени и приобрел нравственную силу и мудрость, благодаря послушанию, совершенному исполнению

своего долга и усилению в борьбе за правое дело, — прошел все это в прежних воплощениях, и это давало ему право и обязывало учить. Идеалом же и целью браманов являлась мудрость, внутренняя свобода, всепрощение, любовь ко всему живому, чистота и единение с Первоисточником жизни».

«Мировая совесть», говорят про него. Совесть у него была тоже «ненормальная», гипертрофированная. Вот он видит в зимний морозный день нищую деревенскую бабу: боже, какой приступ сердечной боли, стыда, омерзения к себе! Баба холодная, голодная, «а я в теплом полушубке, я сейчас приду домой и буду жрать яйца!» Ночью, на московской улице, городовые ведут пятнадцатилетнюю проститутку в участок — опять ужас, мука: «Ее увели в полицию, а я пошел в чистую покойную комнату спать и читать книжки и заедать воду смоквой! Что же это, такое?» Да, что же это такое? Но миллионы обыкновенных людей говорят «нормально»: «Все так, но можно ли все погосты оплакать! Это уже сумасшествие». И он сам, подтверждает это: «Я-то знаю, что я сумасшедший»!

В голодное лето 1865 года он пишет с той силой, которая только ему одному была при-
суца: «У нас за столом редиска розовая, жел-
тое масло, подрумяненный мягкий хлеб на
чистой скатерти, в саду зелень, наши моло-
дые дамы в кисейных платьях, рады, что жар-
ко и тень, а там голод покрывает поля лебе-
дой, разводит трещины по высохшей земле и
обдирает мозольные пятки у мужиков и баб и
трескает копыты у скотины...» Да, это ужас.
Но ведь живут же люди среди ужасов. Почему
же не может он? Почему все погосты оплаки-
вает? «Восемьдесят тысяч верст вокруг самого
себя». Нет, и вокруг всего на свете. Можно ли
иметь такую совесть, такое «чувствительное
сердце», которое он имел и в ранней молодос-
ти, и в годы мужества, высшей телесной и
душевной крепости и уже огромного жизнен-
ного опыта. Совершенно «ненормальные»
противоречия! И в молодости, и в зрелости, и
в старости сколько, повторяю, было в нем вся-
ких земных и даже звериных сил и какая тя-
га к ним, какое чувство и восхищение
ими! Ведь это он написал в молодости, как
собственную душу и кровь, Ерошку, Лукашку,

людей достаточно «несовестливых», он видел тысячи страданий и смертей и на Кавказе и в Севастополе, а в зрелости прошел не только в действительности, но и за письменным столом, за многолетним трудом над «Войной и миром», такое познание человеческой жизни и всех жестоких непреложных законов ее, что уж, кажется, мог бы не плакать над нищей бабой и не проклипать себя за съеденное яйцо. Но вот — плачет.

«Он был весь воплощенное угрызение социальной совести», — говорил Мережковский в столетнюю годовщину его рождения. «Социальной»! Гораздо правильнее говорил Ал данов: «Он всю жизнь уклонялся от общественной повинности (хотя и не мог иногда уклоняться)... Про него можно скорее сказать, что он был *противообщественный* деятель...» В старости он уже всеми силами души отрекался от всякой деятельности, от всякого «делания». Иначе и быть не могло: ведь, как сказал Плотин, «деятель всегда ограничен, сущность деятельности — самоограничение: кому не под силу думать, тот действует». Ну, а кому под силу, тот «рвется из бытия к небытию»,

начинает спрашивать: «А может быть, жизнь есть смерть, а смерть есть жизнь?» — относительно чего философ Шестов замечает: «Смешивать жизнь со смертью и смерть с жизнью может, с обычной точки зрения, лишь безумие», иначе говоря, ненормальность.

Страдания толстовской совести были так велики по многим причинам, — и потому, что, как он сам говорил, было у него воображения «несколько больше, чем у других», и потому, что был он родовит: это вообще надо помнить, говоря о его жизни; роды, наиболее близкие ему, была по своему характеру, как физическому, так и духовному, выражены резко; были они, кроме того, очень отличны друг от друга, противоположны друг другу; графы Толстые, князья Горчаковы, князья Трубецкие, князья Волконские — тут, как во всех старинных родах, да еще принимавших немалое участие в исторической жизни своей страны, все имеет черты крупные, четкие, своеобразные; отсюда все противоположности, все силы и все особенности и в его собственном характере; но, главное, отсюда один из тех бесчисленных грехов, которые он по-

что весь свой век чувствовал на себе и в огромном наличии которых он уверил весь мир: грех его принадлежности к «князьям мира сего»; в этом грехе он был неповинен, но все равно: «Отцы наши ели виноград, а у нас оскомина».

И все же чрезмерность страданий его совести зависела больше всего от его одержимости чувством «Единства Жизни», говоря опять-таки словами индийской мудрости. Будда не мог не знать, что существуют в мире болезни, страдания, старость и смерть. Почему же так потрясен он был видом их во время своих знаменитых выездов в город? Потому, что увидел их глазами человека как бы перевозданного и вместе с тем уже такого, бесчисленные прежние существования которого вдруг сомкнулись в круг, соединились своим последним звеном с первым. Отсюда и было у него сугубое чувство «Единства Жизни», а значит, и сугубая совесть, которая всегда считалась в индийской мудрости выражением высшего развития человеческого сознания. Однажды, когда Толстой сидел и читал, костяной разрезной нож скользнул с его колен «со-

всем как что-то живое», и он «весь вздрогнул от ощущения настоящей жизни этого ножа». Что ж дивиться после этого его слезам, его стыду, его ужасу перед нищей бабой!

XV

Как философ, как моралист, как вероучитель, он для большинства все еще остается прежде всего бунтарем, анархистом, невером. Для этого большинства философия его туманна и невразумительна, моральная проповедь или возбуждает улыбку («прекрасные, но нежизненные бредни»), или возмущение («бунтарь, для которого нет ничего святого»), а вероучение, столь же невразумительное, как и философия, есть смесь кощунства и атеизма. Так все еще продолжается, хотя и в несколько, иной форме, то отношение к нему, которое было когда-то в России. Только одна «левая» часть этого большинства прославляет его — как защитника народа и обличителя богатых и властвующих, как просвещенного гуманиста, революционера: отсюда и утверждается за ним титул «мировой совести», «апостола правды и любви».

<...>

«Политика, говорил Гете, никогда не может быть делом поэзии».

Мог ли быть политиком великий поэт Толстой, душа, с детства жившая стремлениями к «важнейшему» («ничего нет в жизни верного, кроме ничтожества всего понятного мне и величия чего-то непонятного и важнеешего»), чувством тщеты и бренности всех земных дел и величий? — «Он обличал все и вся». Но и Христос обличал. Только он же и говорил: «Царство мое не от мира сего». И Будда обличал: «Горе вам, князья властвующие, богатые, пресыщенные!»

— Такие умственные силы пропадают в колонье дров, в ставлении самоваров и шитье сапог!

— Если счастливый человек вдруг увидит в жизни, как Левочка, только все ужасное, а на хорошее закрыл глаза, то это от нездоровья.

— Тебе полечиться надо.

Не пропадать этим умственным силам в шитье сапог никак нельзя было. Но разве в силу того, что нужны «общественные» улуч-

шения жизни, устранения «классовых неравенств»?

Он, «счастливый», увидел в жизни только одно ужасное. В какой жизни? В русской, в общеевропейской, в своей собственной домашней? Но все эти жизни только капли в море. И эти жизни ужасны, и в них невыносимо существовать, но ужаснее всего главное: невыносима всякая человеческая жизнь — «пока не найден смысл ее, спасение от смерти». И даже больше: никуда не уйдешь от ее тяжести, покуда не уйдешь не из Ясной Поляны только, не из России, не из Европы, а вообще из жизни земной, человеческой.

«Это от нездоровья, тебе полечиться надо». Но что же говорить о «здоровье» и о лечении Будды, Толстого!

«Мировая совесть, совесть цивилизованного мира». Но были только совпадения в том, что говорил мир и что он.

Он говорил:

— Мы (христиане) часто обманываемся тем, что, встречаясь с революционерами, думаем, что мы стоим близко рядом. Кажется, все одно и то же. Но не только есть большая

разница, но нет более далеких от нас людей, чем революционеры.

Он спрашивал:

— Машины, чтобы делать что? Телеграфы, чтобы передавать что? Школы, университеты, академии, чтобы обучать чему? Собрания, чтобы обсуждать что? Книги, газеты, чтобы распространять сведения о чем? Железные дороги, чтобы ездить кому и куда? Собранные вместе и подчиненные одной власти миллионы людей — чтобы делать что?

В биографии Полнера эта знаменитая цитата сопровождается наивным разъяснением: «В условиях социального неравенства Толстой не мог найти удовлетворительных ответов на эти вопросы». Ну, а если бы не социальное неравенство? Полнер не обращает никакого внимания на последний из толстовских вопросов:

— Больницы, врачи, аптеки для того, чтобы продолжать жизнь, *а продолжать жизнь зачем!*

Странно разъяснять все это. Но разъяснять еще необходимо. Вспоминаю речь одного из самых блестящих, русских людей, знаменито-

го адвоката и политического деятеля Маклакова, много лет бывшего в доме Толстых! одним из самых близких им людей, — речь, произнесенную в Праге. Маклаков тоже разъяснял, он говорил:

— Очень достойно внимания то, что вот в эти юбилейные дни мир поминает Толстого только как художника и как политика, — что религиозная и философская мысль хранят о нем молчание. Как художник Толстой, конечно, вне сомнений. А что еще вне сомнений? Его политическая деятельность. И вот политики, одни с огорчением, другие с похвалой, отмечают борьбу Толстого с правительством, с насилиями всякого рода, с привилегиями, с богатыми, сильными. Для одних это ужасно: он был идейный виновник русской революции; для других же это большая заслуга его; для них у Толстого нелепо одно — его проповедь о непротивлении злу, его «недомыслие», происходившее, по их мнению, от незнакомства с учением Маркса, от незнания даже начальных учебников государственного права. Правда ли, однако, что Толстой был политик, хотя и писал, например, «Стыдно», «Не могу

молчать», затрагивал политические темы даже в «Воскресении», хлопотал перед властями и Государственной думой о проведении в жизнь законодательным порядком идей Генри Джорджа? Нет, все-таки не был, политическую деятельность все-таки считал злом; в своей книге «Христианское учение», задавая себе вопрос, почему мир не пошел за Христом, он находит ответ на него в том, что в мире существуют «соблазны», те губительные подобию добра, в которые, как в ловушку, заманиваются люди, например, политическими статутами, — это даже самый опасный соблазн, говорит он, когда государство оправдывает совершаемые им грехи тем, что оно будто бы несет благо большинству людей, народу, человечеству. Да, Толстой немало говорил о недостатках человеческого общежития также, как говорим и мы, люди мира, политики; но мы имеем только внешнее право зачислять его в свои ряды, для него эти недостатки не стояли на первом плане, он думал о том, о чем мы, люди бессознательного жизненного инстинкта, слишком мало думаем в нашей жизненной суете, — о смысле жизни, кончаю-

щейся смертью. Он сам рассказал в своей «Исповеди», что привело его к «перелому»: мысль о смерти; ему стало казаться, что если все то, ради чего мы живем, — все мирские блага, все наслаждения жизнью, богатством, славой, почестями, властью, — если все это будет у нас отнято смертью, то в этих благах нет ни малейшего смысла. Если жизнь не бесконечна, то она просто бессмысленна; а если она бессмысленна, то жить вовсе не стоит, следует как можно скорее избавиться от нее самоубийством. Вот то неожиданное и безотрадное заключение, к которому привела его мысль о смерти...

Почему Маклаков употребил слово «неожиданное», непонятно. Но дальше он говорит опять правильно: «Эта проблема о смысле жизни не связана ни с определенной эпохой, ни с народностью, ни с формами государственности... Толстого нужно сравнивать не с нами, не с политиками, не с теми, кто хлопочет об увеличении благ и о справедливом распределении их в обществе, а с учителями религий... Толстой — *сын позитивного века и сам позитивист*; но по запросам своего

духа он был религиозная натура по преимуществу...» Это все правильно (за исключением, конечно, наименования Толстого позитивистом), и правильности своих разъяснений Маклаков мог бы привести множество и других доказательств. Толстой и сам говорил в этом роде:

— Люди, ненавидящие существующий строй и правительство, представляют себе какой-то другой порядок вещей и даже никакого себе не представляют и всеми безбожными, бесчеловечными средствами — пожарами, грабежами, убийствами — разрушают этот строй... Но дело не в перемене правительств. Разве жизнь станет лучше, если вместо Николая II будет царствовать Петрункевич?

Он ждал, говорит Александра Львовна, что после японской войны в России будет революция: настроение рабочих, солдат, крестьян он чувствовал не только из разговоров с ними, но и по бесконечным письмам, стекавшимся к нему со всех концов России. Но для него было совершенно ясно, что революция не улучшит положения народа; каждая

власть основана на насилии, и каждая власть поэтому дурна, говорил он: «Новое правительство будет также основано на насилии, как и старое. Как Кромвель, как Марат давили своих противников, так и у нас новое правительство давило бы консерваторов...»

Он писал «Правительству, революционерам и народу»:

— Для того, чтобы положение людей стало лучше, надо, чтобы сами люди стали лучше. Это такой же трюизм, как то, что для того, чтобы нагрелся сосуд воды, надо, чтобы все капли ее нагрелись. Для того же, чтобы люди становились лучше, надо, чтобы они все больше и больше обращали внимание на себя, на свою внутреннюю; жизнь. Внешняя же, общественная деятельность, в особенности общественная борьба, всегда отвлекает внимание людей от внутренней жизни и потому всегда, неизбежно развращая людей, понижает уровень общественной нравственности. Понижение же уровня общественной нравственности делает то, что самые безнравственные части общества все больше и больше выступают наверх и устанавливается безнравственное об-

щественное мнение, разрешающее и даже одобряющее преступления. И устанавливается порочный круг: вызванные общественной борьбой худшие части общества с жаром отдаются соответствующей их низкому нравственному уровню общественной деятельности, деятельность же эта привлекает к себе еще худшие элементы общества...

Маклаков разъяснял в своей речи и другое — «самое важное в миросозерцании Толстого, именно его религиозные воззрения». Я не случайно остановился на этой речи: суждения таких людей, как Маклаков, не могут не обращать на себя особенного внимания уже хотя бы по тому редкому во всех отношениях знанию Толстого, которым обладает Маклаков. Что же говорил он о Толстом как о вероучителе?

Толстой, говорил он, утверждал не только печатно, но и во многих беседах со мной, что он своего собственного христианского учения не создавал, что он только восстановил подлинного Христа, затемненного учением мира и церкви. Преклоняясь перед Христом, Толстой в нем бога не видел: я не раз от него са-

мого слышал, что, если бы он считал Христа богом, Христос потерял бы для него все свое обаяние. *Обычное воззрение неверующих.* Толстой был человеком современным, позитивистом. Он был слишком умен, чтобы не понимать, что разум наш ограничен; но, признавая ограниченность разума, он не допускал и того, чтобы разум мог узнать абсолютную истину в порядке веры и откровения. Он любил употреблять слова — религия, бог, бессмертие... Но бог был для него — непонятная, начальная сила; бессмертие духа — простое признание факта, что наша духовная жизнь откуда-то появилась и, следовательно, куда-то уйдет; а вера, по словам Ивана Киреевского, которые он любил повторять, есть не столько знание истины, сколько преданность ей. Все это очень далеко от учения церкви, и потому Толстой по своему мировоззрению истинный позитивист, сын нашего века. Однако вот что замечательно: он не говорил, подобно позитивистам, что проповедь Христа противоречит природе людей, что в его учении надо видеть только идеал, недостижимый на земле, — он думал, что это учение и должно и

можно исполнять: при мирском мировоззрении он учил жить по-божьи.

— Зачем жить по-божьи? Затем, что иначе жизнь, кончающаяся смертью, есть бессмыслица.

Христос сказал в притче о богаче: он собрал богатства в житницы свои и хотел ими наслаждаться с друзьями своими; безумец, разве он стал бы это делать, если бы знал, что господь призовет его к себе в эту ночь? Люди, не думающие о смерти, ведут себя как этот безумец, говорил Толстой; при наличии смерти, нужно либо добровольно покинуть жизнь, либо переменить ее, найти в ней тот смысл, который не уничтожался бы смертью. Нелепость его проповеди о непротивлении злу доказывали еще и тем, что при этом непротивлении и наша жизнь, и культура, и государство погибнут, станут жертвою насильников; а для него нелепо было это доказательство: к чему же наша жизнь и все блага ее, если и то и другое поглотит смерть? Страх смерти тем резче, чем больше благ теряешь, умирая. Что же нужно? Нужна такая жизнь, которой смерть не страшна. Какая же это жизнь? На

это отвечает только религия, религия христианская, религия «бедных, смиренных, немудрствующих». И это привело его к борьбе с церковью. Уже одному позитивизму его противоречила церковно-религиозная мистика; и все-таки не это оттолкнуло его от церкви: оттолкнуло ее отношение к земной жизни, то, что она не отвергла, как отвергал Христос, мирскую жаждут земных благ, не сказала, как он: раздай имущество, не противься злу насильем, подставь левую щеку ударившему тебя в правую, не суди, не казни... Церковь приняла, подтвердила и даже освятила все мирские понятия и учреждения со всеми их грехами и преступлениями, стала учить повиноваться этим учреждениям; мало того — показала в лице своих представителей, что и сама ценит все мирские блага. Зачем жить, если мы смертны? Мистика церкви отвечает: нет, мы бессмертны, за гробом мы обретем небесную, вечную жизнь и возмездие или награду за земную, временную. И мистика помирила человека с бессмысленностью и безумием его мирской жизни. Да, будут за грехи возмездия, говорит церковь; но все-таки она допустила

привычную дурную жизнь человека на земле, учением о загробной жизни утвердила в людях вкус к земным благам, радостям, грехам, соблазнам и признала право человека ссылаться на свои человеческие слабости. Церковь божия забыла Христа, сказал Толстой — и стал проповедовать христианство без бога. Еще в молодости говорил он: человек должен сознавать в себе свою личность не как нечто противоположное миру, а как малую частицу мира, огромного и вечно живущего. Это-то и говорит Христос: «Люби ближнего, как самого себя». И счастье личности может быть лишь одно: жить для других. Жертвуя собой для других, человек становится сильнее смерти. И вот почему заповеди Христа открыли ему смысл земной жизни и уничтожили его прежний страх перед смертью. О, конечно, против такого учения многое может возразить и позитивизм и церковь. Позитивизм скажет: зачем нужен какой-то смысл жизни, когда есть инстинкт жизни и все ее радости? А церковь скажет так: объявить Христа человеком, отрицать его воскресение, не значит ли свести христианство к

нежизненной, недоступной человеческим силам и неинтересной морали? Разве рассудочная теория об общей мировой жизни, которая будто бы уничтожает страх смерти, может заменить веру в любовь и милосердие божие, в заботы промысла о человеке и в радость конечного соединения с богом за гробом? Но Толстой пошел против церкви и против мира — и восстановил против себя и церковь и мир...

Так разъяснял Толстого Маклаков. И так удивительно чередовались у него суждения правильные с суждениями, порой просто непонятными.

— Толстой — сын позитивного века и сам позитивист...

Но весьма странно называть «сыном позитивного века» того, кто то и дело говорил и писал: «Нет более распространенного суеверия, что человек с его телом есть нечто реальное...

Вещество и пространство, время и движение отделяют меня и всякое живое существо от бога... Все меньше понимаю мир вещественных и, напротив, все больше и больше

сознаю то, чего нельзя понимать, а можно только сознавать... Материя для меня самое непонятное... Что я такое? Разум ничего не говорит на эти вопросы сердца... С тех пор как существуют люди, они отвечают на это не словами, то есть орудием разума, а всей жизнью... Чтобы жизнь имела смысл, надо, чтобы цель ее выходила за пределы постижимого умом человеческим...» Церковь утверждает, что мы бессмертны? Но и Толстой непрестанно говорил о бессмертии: «Думал, как думаю беспрестанно, о смерти. И так мне ясно стало, что так же хорошо, хотя по-другому, будет на той стороне смерти... Мне ясно было, что там будет так же хорошо, — нет, лучше. Я постарался вызвать в себе сомнения в той жизни, как бывало прежде, и не мог, как прежде, но мог вызвать в себе уверенность...» «Все тверже и тверже знаю, что огонь, погаснувший здесь, появится в новом виде *не здесь* — он самый...» «Вчера очень интересный разговор с Коншиным, он просвещенный материалист. Его, разумеется, не убедил ни в существовании бога, ни в будущей жизни, но себя убедил еще больше...» Он не видел в Христе бога? Но

есть ли это «обычное воззрение неверующих»? Есть ведь миллионы не-христиан, миллионы не признающих Христа богом и, однако, верующих.

XVI

Философ Шестов говорит, что в одной мудрой древней книге сказано: кто хочет знать, что было и что будет, что под землей и что над небом, тому бы лучше совсем на свет не родиться; и еще так сказано в этой книге: ангел смерти, слетающий к человеку, чтобы разлучить его душу с телом, весь покрыт глазами; и случается, что он слетает за душой человека слишком рано, когда еще не настал срок человеку покинуть землю, и тогда удаляется от человека, отметив его, однако, некоторым особым знаком: оставляет ему в придачу к его природным человеческим глазам еще два глаза, — из бесчисленных собственных глаз, — и становится тот человек непохожим на прочих: видит своими природными глазами все, что видят все прочие люди, но сверх того и нечто другое, недоступное простым смертным, — видит глазами, оставленными

ему ангелом, и притом так, как видят не люди, а «существа иных миров»: столь противоположно своему природному зрению, что возникает великая борьба в человеке, борьба между его двумя зренями.

Все это Шестов говорит в своей статье о Достоевском, — приписывает две пары глаз автору «Записок из подполья». Но, читая ее, думаешь о Толстом: если уж кто наделен был двойным зрением и именно *от ангела смерти*, слетевшего еще к колыбели его, так это Толстой. В случае с ним ангел смерти ошибся сугубо насчет его действительного смертного срока, но глаза оставил ему такие, что все, что видел Толстой впоследствии, весь свой долгий век, переоценивалось им прежде всего под знаком смерти, величайшей переоценки всех ценностей (то подобно Анне перед самоубийством, то подобно князю Андрею на Аустерлицком поле). Шестов напоминает в своей статье слова Платона: *«Все, которые отдавались философии, ничего иного не делали, как готовились к умиранию и смерти»*. Напоминает и слова Эврипида, повторенные впоследствии столь многими: *«Кто знает —*

может быть, жизнь есть смерть, а смерть есть жизнь». И опять думаешь тут о Толстом. Эврипид все-таки колеблется: «Кто знает... может быть...» Толстой не раз и все тверже говорил прямо: «Жизнь есть смерть».

— Ужасное, чего я ужасался, постигло меня...

Это «ужасное» постигало его всю жизнь, и чем дальше, тем все чаще и сильнее, чтобы наконец ужаснуть в некий день уже «до сумасшествия». В некий день он понял с особенной несомненностью, что он «сумасшедший». Давно думал от времени до времени: нет, происходит что-то странное, — как-то не так, как все, я живу на свете, не так, как они, вижу, чувствую, думаю... Только внешне подобна моя жизнь их жизни... Что-нибудь одно: или они сумасшедшие, или я сумасшедший. И так как их миллионы, а я один, то очевидно, что сумасшедший — я. И вот наступает день, когда озаряет уже совсем ясная мысль: да, я сумасшедший!

В письме к Софье Андреевне об этом дне он сказал сдержанно: *«Со мной было что-то необыкновенное»*. Известно, что именно про-

изошло с ним в действительности: в августе 1869 года, когда ему шел всего сорок второй год, он, движимый этой «любовью к семье, к хозяйству», поехал в Пензенскую губернию с самой простой целью — посмотреть и, быть может, купить имение, которое, по слухам, продавалось там очень выгодно, и по дороге ночевал в г. Арзамасе; а там и произошло то, что он сообщил в письме к Софье Андреевне:

«Что с тобой и с детьми? Не случилось ли что? Я второй день мучаюсь беспокойством. Третьего дня в ночь я ночевал в Арзамасе, и со мной было что-то необыкновенное. Было два часа ночи, я устал страшно, хотелось спать, и ничего не болело. Но вдруг на меня напала тоска, страх, ужас, каких я никогда не испытывал. Подробности этого чувства я тебе расскажу впоследствии, но подобного мучительного чувства я никогда не испытывал, и никому не дай бог испытать. Я вскочил, велел закладывать. Пока закладывали, я заснул и проснулся здоровым. Вчера это чувство возвратилось во время езды, но я был приготовлен и не поддался ему, тем более, что оно и было слабее. Нынче чувствую себя здоровым

и веселым, насколько могу быть без семьи... Я могу оставаться один в постоянных занятиях, но как только без дела, я решительно чувствую, что не могу быть один...»

Последняя фраза необыкновенно важна: один он может быть только в постоянных занятиях, в делах; без занятий, без дел, заглушающих то, что происходит в душе, в уме, — «тоска, страх, ужас такие, каких никому не дай бог испытывать!». Он не мог не замечать всего этого и прежде, — не оттого ли и одурманивал себя своей страстной деятельностью? В Арзамасе же понял это до ужаса ясно. И прошел ли этот ужас после Арзамаса, в новых занятиях, дома, в семье? То, что не прошел, доказывает рассказ «Записки сумасшедшего», написанный через целых пятнадцать лет после Арзамаса. Рассказ этот, по сути, есть точное воспроизведение того, что написано в письме к Софье Андреевне, есть только развитие этой сути и договоренность недоговоренного. Герой рассказа тоже едет осматривать намеченное к покупке имение, и тоже в Пензенскую губернию, и ночует тоже в Арзамасе. Едет со слугой Сергеем. В Арзамасе останавли-

вається в номерах и ложиться спать. Пробует заснуть — невозможно.

— Заснуть, я чувствовал, не было никакой возможности. Зачем я сюда заехал? Куда я везу себя? От чего, куда я убегаю? Я убегаю от чего-то страшного, и не могу убежать. Я всегда с собою, и я-то и мучителен себе. Я — вот он, я весь тут. Ни пензенское и никакое имение ничего не прибавит и не убавит мне. *Я надоел себе, несносен, мучителен себе. Я хочу заснуть, забыться, и не могу.* Не могу уйти от себя.

— Я вышел в коридор. Сергей спал на узенькой скамье, скинув руку, но спал сладко, и сторож с пятном — спал. Я вышел в коридор, думая уйти от того, что мучило меня. Но оно вышло за мной и омрачило все. Мне так же, еще больше страшно было. «Да что это за глупость, — сказал я себе, — чего я тоскую, чего боюсь?»

— *Меня, — неслышно отвечает голос смерти.* — Я тут. Мороз подрал мне по коже. Да, смерти. Она придет, она — вот она, *а ее не должно быть.* Если бы мне предстояла действительно смерть, я не мог испытывать того,

что испытывал. Тогда бы я боялся. А теперь я не боялся, а видел, чувствовал, что смерть наступает, а *вместе с тем чувствовал, что ее не должно быть*. Все существо мое чувствовало потребность, право на жизнь и вместе с тем совершающуюся смерть. И это внутреннее раздирание было ужасное. Я попытался стряхнуть этот ужас. Я нашел подсвечник медный со свечой обгоревшей и зажег ее. Красный огонь свечи и размер ее, немного меньше подсвечника, — все говорило то же. *Ничего нет в жизни, есть только смерть, а ее не должно быть*. Я пробовал думать о том, что занимало меня: о покупке, о жене. Ничего не только веселого не было, но все это стало ничто. Все заслонял ужас за свою погибающую жизнь. Надо заснуть. Я лег было, но только улегся, вдруг вскочил от ужаса. И тоска, и тоска — такая же душевная тоска, какая бывает перед рвотой, только духовная. Жутко, страшно. Кажется, что смерти страшно, а вспомнишь, подумаешь о жизни, то *умирающей жизни страшно*. Как-то жизнь и смерть сливались в одно. Что-то раздирало мою душу на части и не могло разорвать. Еще раз про-

шел посмотреть на спящих, еще раз попытался заснуть; все тот же ужас, — красный, белый, квадратный. Рвется что-то и не разрывается. Мучительно, и мучительно сухо и злобно, ни капли доброты я в себе не чувствовал, а только ровную, спокойную злобу на себя и на то, что меня сделало...

В конце концов человек, увидевший это «красное, белое, квадратное», даже с каким-то ликованием утверждает свое «сумасшествие».

— Сегодня меня возили свидетельствоваться в губернское правление, и мнения разделились. Они спорили и решили, что я не сумасшедший... Они признали меня подверженным эффектам и еще что-то такое, но в здравом уме. Они признали, но я-то знаю, что я сумасшедший!

Так совершилось то, что и должно было совершиться, — то, что «на роду» было написано. Всеми силами стремился человек одолеть в себе того подлинного, главного, каким родился, — стремился прожить жизнь, «как все», «практически, положительно», семьянином, отцом, хозяином, заглушал «красное, бе-

лое, квадратное» беспримерным количеством «занятий», окружал себя, чтобы не быть «одному», семьей, потомством, многолюдным домом... Но нет, не удалось. В юности долго и беспорядочно искал, как бы получше устроить себя в общем, обычном мире, — где не должно быть того «необыкновенного», что было в Арзамасе, — толком не зная, где именно: не то в Ясной Поляне, не то на гражданской службе, не то на военной...

Писал брату в молодости:

— Сережа, я пишу тебе это письмо из Петербурга, а где я и намерен остаться навеки... Я вполне убежден теперь, что умозрением и философией жить нельзя, а надо жить положительно, то есть быть практическим человеком...

В годы мужества он как будто успокоился, жил так «положительно», что однажды писал:

— Есть в Москве некто барон Шенинг, у которого есть удивительные японские свиньи. Я видел таких у Шатилова и чувствую, что для меня не может быть счастья в жизни до тех пор, пока не буду иметь таких же сви-

ней...

Всем известно, однако, что писал он в то же самое время и нечто совсем другое:

— Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить. А знать я этого не могу, следовательно, нельзя жить...

— На днях прочел то, что еще никогда не читал, и продолжаю читать и ахать от радости: это Притчи Соломона, Екклесиаст и Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова.

Легко догадаться, над чем больше всего «ахал» он:

— Решился я в сердце своем исследовать и испытать разумом все, что делается под солнцем: это тяжелое занятие дал бог сынам человеческим, чтобы они мучили себя...

В этих словах Екклесиаста весь Толстой. «Это тяжелое занятие» было главным занятием всей его жизни. Все, все, «что делается под солнцем», исследовал и испытал он, продумал и прочувствовал с беспрецедентной недоверчивостью и требовательностью.

— Я развивал и умножал в себе знание больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое постигло много

мудрости и знания. Когда же я обратил сердце свое на то, чтобы познать мудрость и познать глупость и безумие, то узнал, что и это затеи праздные. Потому что при mnogой мудрости много раздражительности, и кто умножает познания, умножает скорбь.

— Сказал я в сердце своем: насладись добром; но и это суета.

Сколько лет «наслаждался» Толстой «добром», чтобы в конце концов («в третьем фазисе» своем) отречься и от него!

— Предпринял я великие дела; построил себе дома, насадил себе виноградники... Приобрел себе слуг, и домочадцы были у меня... Собрал себе серебра, и золота, и драгоценностей от царей и областей... И вот, все суета и затеи праздные, и нет от них выгоды под солнцем... И меня постигнет та же участь, что и невежду... Увы, умирает мудрый наравне с невеждой... *И возненавидел я, жизнь; потому что противны мне дела, совершающиеся под солнцем... И возненавидел я, весь труд мой, что трудился я под солнцем...*

— И видел я всякие угнетения, какие делаются под солнцем: и вот, слезы угнетенных, а

утешителя у них нет; и от руки угнетающих их — насилие, а утешителя у них нет. *И почел я мертвых, которые давно умерли, счастливее живых...*

Только ли из-за угнетений почел он мертвых счастливее живых! И угнетенные и угнетатели — одинаковая суета сует; все — затеи праздные перед тем, что ждет и тех и других в тот час, «когда задрожат и стерегущие дом, и высоты станут страшны, и не на дороге будут ужасы... когда отходит человек в вечный дом свой и тянутся по улице плачущие...»

Из множества легенд о Толстом и до сих пор еще существует еще и та, будто он был чуть не невежда по своему образованию. Повторяю, почти все легенды о нем создавались прежде всего по его собственной вине — на основании его резких, крайних самооценок. Так было и тут: он сам пустил слух о своем невежестве: «Я почти невежда, то, что я знаю, тому я выучился кое-как, сам, урывками, без связи, без толку и то так мало». И кто из писавших о нем опровергал его мнимое невежество? Никого не могу вспомнить, кроме Алданова, который совершенно справедливо гово-

рит (в своей книге «Загадка Толстого»):

— Толстой был одним из наиболее разнообразных ученых людей нашего времени... В своем главном «ремесле», в литературе, он знал все — древнее, новое, новейшее. Он владел множеством культурных языков, вплоть до греческого и еврейского. Он в разное время жизни интересовался со всей своей способностью страстного увлечения то философией, то естествознанием, то богословием, то теорией искусства, то педагогическими науками. То он, по его собственным словам, «с утра до ночи» занят изучением греческих классиков в подлиннике, то увлекается астрономией, то пристает ко всем своим посетителям с каким-нибудь доказательством Пифагоровой теоремы... Люди, видевшие в библиотеке в Ясной Поляне те четырнадцать тысяч томов, которые без конца испещрены пометками Толстого, знают его «невежество»! Только его универсально-анархический ум так же мало признавал суверенитет науки, как и суверенитет государства...

Алданов тут прибавляет: «Сам Чехов, наверно, не прочитавший одной десятой книг,

известных Толстому, прохаживался насчет его невежества». Алданов прав, — «прохаживался». На Чехова Толстой имел огромное влияние и не только как художник. Чехов не раз говорил мне в ту зиму, которую больной Толстой проводил в Крыму:

— Вот умрет Толстой, все к черту пойдет!

— Литература?

— И литература.

Он говорил:

— Я его боюсь. Ведь подумайте, ведь это он написал, что Анна сама чувствовала, видела, как у нее блестят глаза в темноте!

— Серьезно, я его боюсь, — говорил он, смеясь и как бы радуясь своей боязни.

Говоря о нем, он как-то сказал:

— Чем я особенно восхищаюсь, так это его презрением ко всем нам, прочим писателям, или лучше сказать, не презрением, а тем, что он всех нас, прочих писателей, считает совершенно ни за что. Вот он иногда хвалит Мопассана, меня... Отчего хвалит? Оттого что он смотрит на нас, как на детей. Наши повести, рассказы, романы для него детские игры. Вот Шекспир другое дело. Это уже взрослый, и он

уже раздражает его, что пишет не по-толстовски.

Но бывало, что он говорил и другое:

— Только зачем он говорит о том, в чем ничего не смыслит? Например, о медицине? Вообще он иногда возмущает меня. Вот он пишет совершенно удивительную вещь — «Много ли человеку земли нужно?» Написано так, как никто еще тысячу лет не сумеет написать. А что говорит? Человеку, видите ли, нужно всего три аршина земли. Это вздор: человеку нужно не три аршина, а нужен весь земной шар. Это мертвому нужно три аршина. И живые не должны думать о мертвых, о смертях.

Да, да:

— Ты не думай!

Напрасная просьба:

— Ах, как же не думать! Надо, надо думать!

С самого детства была у него, по его собственному свидетельству, «излишняя восприимчивость и склонность к анализу, главными удовольствиями были уединенные размышления и наблюдения». В отрочестве эти качества и склонности развились в нем уже

настолько и приобрели такой характер, что он говорит в «Юности»:

— Едва ли мне поверят, какие были любимейшие и постоянные предметы моих размышлений, — так они были несообразны с моим возрастом и положением. Но, по моему мнению, несообразность между положением человека и его моральной деятельностью есть вернейший признак истины.

(Эти последние удивительные строки нужно очень помнить, думая вообще о всей его жизни.)

— В продолжение года, во время которого я вел уединенную, сосредоточенную в самом себе, моральную жизнь, все отвлеченные вопросы о назначении человека, о будущей жизни, о бессмертии души, уже представлялись мне; и детский слабый ум мой со всем жаром неопытности старался уяснить те вопросы, предложение которых составляет высшую ступень, до которой может достигнуть ум человека, *но разрешение которых не дано ему...*

— Мысли эти представлялись моему уму с такой ясностью и поразительностью, что я да-

же старался применять их к жизни, воображая, что я *первый* открываю такие великие, полезные истины.

— Раз мне пришла мысль, что счастье не зависит от внешних причин, а зависит от нашего отношения к ним, что человек, привыкший переносить страдания, не может быть несчастлив, — и, чтобы приучить себя к труду, я, несмотря на страшную боль, держал по пяти минут в вытянутых руках лексикона Татищева или уходил в чулан и веревкой стегал себя по голой спине так больно, что слезы невольно выступали на глазах.

— Другой раз, вспомнив вдруг, что смерть ожидает меня каждый час, каждую минуту, я решил, не понимая, как не поняли того до сих пор люди, что человек не может быть иначе счастлив, как пользуясь настоящим и не помышляя о будущем, — и я дня три, под влиянием этой мысли, бросил уроки и занимался только тем, что, лежа на постели, наслаждался чтением какого-нибудь романа и едою пряников...

— То раз, стоя перед черною доской и рисуя на ней мелом разные фигуры, я вдруг был

поражен мыслию: почему симметрия приятна для глаз? что такое симметрия? Это — врожденное чувство, отвечал я сам себе. На чем же оно основано? Разве во всем в жизни симметрия? Напротив, вот жизнь — и я нарисовал на доске овальную фигуру. После жизни душа переходит в вечность, вот вечность — и я провел с одной стороны овальной фигуры черту до самого края доски. Отчего же с другой стороны нет такой же черты? Да и в самом деле, какая же может быть вечность с одной стороны! Мы, вероятно, существовали прежде этой жизни, хотя и потеряли о том воспоминание...

(Тут, кстати, надо вспомнить, что он говорит про те чувства, которые возбуждала в нем игра его матери на фортепиано: «В моем воображении возникали какие-то легкие, светлые и прозрачные воспоминания. Она заиграла патетическую сонату Бетховена, и я вспомнил что-то грустное, тяжелое и мрачное... Чувство это было похоже на воспоминания; но воспоминания чего? казалось, что вспоминаешь то, чего никогда не было».)

В каком еще роде были его, как он выража-

ется, «умствования»? Вспомним еще раз:

— Не одним из всех философских направлений я не увлекался так, как скептицизмом, который одно время довел меня до состояния, близкого к сумасшествию. Я воображал, что, кроме меня, никого и ничего не существует во всем мире, что предметы не предметы, а образы, являющиеся только тогда, когда я на них обращаю внимание, и что, как скоро я перестану думать о них, образы эти тотчас же исчезают...

— Склонность моя к отвлеченным размышлениям до такой степени неестественно развила во мне сознание, что часто, начиная думать о самой простой вещи, я впадал в безвыходный круг анализа своих мыслей... Спрашивая себя: о чем я думаю? я отвечал: я думаю, о чем я думаю. А теперь о чем я думаю? Я думаю, что я думаю, о чем я думаю... *Ум за разум заходил...*

«Живые не должны думать о мертвых, о смертях». Но напрасно проповедовать это «сумасшедшим», видящим мир так, как видят не люди, а «существа иных миров», людям, «отдавшимся философии». Что испытывал князь

Андрей, слушая, как пела Наташа? А вот про одного своего героя, тоже слушавшего чье-то пение, Чехов писал:

— Пока она пела, ему казалось, что он ест спелую, душистую дыню...

В «Детстве» есть строки о том, как Володя, подрастая, стал «важничать», как он однажды, на прогулке детей в лес, дал всем им понять, что детские игры для него уже глупости, и на какое грустное соображение навело это Николеньку: «Я и сам знаю, что из палки не только что убить птицу, да и выстрелить никак нельзя. Это игра. Коли так рассуждать, то и на стульях ездить нельзя... Ежели судить по-настоящему, то игры никакой не будет. А игры не будет, что ж тогда останется?» Но вот подрос и Николенька — и все меньше и меньше стал верить, что можно ездить на стульях, и все чаще и чаще стал думать, глядя на все «игры» мира: «Что это такое? Они сумасшедшие?» Он еще продолжает участвовать в этих играх; он, может быть, уже восклицает словами апостола Павла: «Не понимаю, что делаю; ибо не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то и делаю!» — новее еще делает ненавистное.

Как же не делать? «Боже мой, что же мне делать, ежели я ничего не люблю, как только славу, любовь людскую? Отец, сестра, жена, все самые дорогие мне люди — я всех их отдам за минуты славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей, которых я не знаю!» Так и Николенька-Левочка еще думает: «Все эти игры — сумасшествие, страшное по своей бессмысленности сумасшествие! Но что же мне делать? Если игры не будет, что ж тогда останется?» Он уже со страхом, уже растерянно записывает (тридцати пяти лет от роду): «Я качусь, качусь под гору смерти... А я не хочу смерти, я хочу и люблю бессмертие... Я люблю мою жизнь — семью, хозяйство, искусство...» И так и идут годы — и «качусь» и «не хочу» катиться, не хочу верить, что качусь, и потому буду себя дурманить достижениями славы, любви людской, мечтами «довести свое свиноводство до полного совершенства», прибрать к своим рукам как больше выгодно продающихся имений, купить за грош шесть тысяч десятин в Самарской губернии, завести триста голов лошадей... Но вот ночь в Арзамасе — и дурман, который он уже давно чув-

ствовал дурманом, в котором и раньше нет-нет да и приходил в себя, вдруг совсем вылетает из головы: «Зачем я сюда заехал? Куда я везу себя? От чего, куда я убегаю?» Заснуть? Но заснуть нет никакой возможности! И ясное дело, что я сумасшедший — я, а не мир: весь мир вокруг меня не чувствует никакой тоски, никакого страха, ужаса, не видит этого «красного, белого, квадратного», мир продолжает и будет до скончания веков «играть», а я? Я сумасшедший. «Они признали, но я-то знаю, что я сумасшедший!»

XVII

Ему шел всего двадцать третий год, когда он начал писать «Детство». Тут он впервые написал смерть, свое ощущение ее, то, что он испытал когда-то при виде мертвеца. (Кстати: когда «когда-то»? Я говорю о той главе в «Детстве», которая называется «Горе»: это смерть матери Николеньки, то есть самого Левочки Толстого. Но мать Левочки умерла, когда ему было всего два года. Почему же уже в первом его произведении появляется тема смерти?)

— На другой день, поздно вечером, мне за-

хотелось еще раз взглянуть на нее (на мать в гробу). Преодолев невольное чувство страха, я тихо отворил дверь и на цыпочках вошел в залу.

— Посредине комнаты на столе стоял гроб, вокруг него нагоревшие свечи в высоких серебряных подсвечниках; в дальнем углу сидел дьячок и тихим, однообразным голосом читал псалтирь.

— Я остановился у двери и стал смотреть, но глаза мои были так заплаканы и нервы так расстроены, что я ничего не мог разобрать; все как-то странно сливалось вместе: свет, парча, бархат, большие подсвечники, розовая обшитая кружевами подушка, венчик, чепчик с лентами и еще *что-то прозрачное воскового цвета*. Я стал на стул, чтобы рассмотреть ее лицо; но в том месте, где оно находилось, мне опять представился тот же *бледно-желтоватый, прозрачный предмет*. Я не мог верить, чтоб это было ее лицо. Я стал вглядываться в него пристальнее и мало-помалу стал узнавать в нем знакомые милые черты. Я вздрогнул от ужаса, когда убедился, что это была она; отчего закрытые глаза так

впали? отчего эта страшная бледность и на одной щеке черноватое пятно под прозрачною кожей? отчего губы так бледны и склад их так прекрасен, так величествен и выражает такое неземное спокойствие, что холодная дрожь пробегает по моей спине и волосам, когда я вглядываюсь в него?

— Я смотрел и чувствовал, что *какая-то непонятная, непреодолимая сила притягивает мои глаза к этому безжизненному лицу*. Я не спускал с него глаз, а воображение рисовало мне картины, цветущие жизнью и счастьем. Я забывал, что мертвое тело, которое лежало передо мной и на которое я бессмысленно смотрел, как на предмет, не имеющий ничего общего с моими воспоминаниями, была она. Я воображал ее то в том, то в другом положении: живою, веселою, улыбающеюся; потом вдруг меня поражала какая-нибудь черта в бледном лице, на котором остановились мои глаза: я вспоминал ужасную действительность, содрогался, но не переставал смотреть. И снова мечты заменяли действительность, и снова сознание действительности разрушало мечты. Наконец, воображение

устало, оно перестало обманывать меня: сознание действительности тоже исчезло, и я совершенно забылся... *На время я потерял сознание своего существования и испытывал какое-то высокое, неизъяснимо-приятное и грустное наслаждение...*

Глава эта есть нечто совершенно удивительное по изображению и внешнего и внутреннего. Сила изобразительности внешнего как будто преобладает. «Свет, парча, бархат... розовая обшитая кружевами подушка, венчик, чепчик с лентами и еще что-то прозрачное, воскового цвета...» Но из этого внешнего исходит истинный ужас внутреннего: чего стоит одно это «что-то»!

— Одна из последних подошла проститься с покойницей какая-то крестьянка, с хорошенькою пятилетней девочкой на руках, которую, бог знает зачем, она принесла сюда. В это время я нечаянно уронил свой мокрый платок и хотел поднять его; но только что я нагнулся, меня поразил страшный, пронзительный крик, исполненный такого ужаса, что, проживи я сто лет, я никогда его не забуду. Я поднял голову — подле гроба стояла та

же крестьянка и с трудом удерживала на руках девочку, которая, отмахиваясь ручонками, откинув назад испуганное личико и уставив выпученные глаза на лицо покойной, кричала страшным, неистовым голосом...

Николенька-Левочка, глядя на это «что-то» прозрачное, воскового цвета, бледно-желтоватый прозрачный предмет, в конце концов «потерял сознание своего существования и испытывал какое-то высокое, неизъяснимо-приятное и грустное наслаждение». Это подлинные задатки разновидности тех чувств, которые впоследствии все больше и больше будут преобразовать толстовское восприятие смерти, вести к чему-то «высокому». Но пока это только задатки. Преобладает же ужас. «Холодная дрожь пробегает по моей спине и волосам, когда я вглядываюсь в него». А крестьянский ребенок даже и при одном мгновенном взгляде на это «что-то» раздражается «страшным, неистовым криком».

За этими первыми страницами о смерти следует рассказ «Три смерти», написанный через семь лет после того. Тут, мучительно, отчаянно хватаясь за жизнь, то раздраженно

негодую на все и на всех, то жалко умиляясь тщетными надеждами, умирает богатая молодая барыня в чахотке; умирает тупо и покорно, как обессилевший зверь, нищий работник (ямщик) и в святой и прекрасной бессознательности умирает дерево. Барыня одна виновата перед лицом бога — в своей непокорности его неисповедимым для нас путям, его высокой и торжественной воле, в своем детском и строптивом непонимании его законов и замыслов: «Пути мои выше путей ваших и мысли мои выше мыслей ваших...»

И вот тут уже возвышенно, укоризненно-грозно звучат толстовские слова о смерти:

— В тот же вечер больная уже была тело, и тело в гробу стояло в зале большого дома... Яркий восковой свет с высоких серебряных подсвечников падал на бледный лоб усопшей, на тяжелые восковые руки и окаменелые складки покрыва, странно поднимающегося на коленях и пальцах ног...

— Сокроешь лицо твое — смущаются, — гласил псалтирь, — возьмешь от них дух — умирают и в прах свой возвращаются. Пошлешь дух твой — созидаются и обновляют

лицо земли. Да будет господу слава вовеки.

— Лицо усопшей было строго и величаво. Ни в чистом, холодном лбе, ни в твердо сложенных устах ничто не двигалось. Она вся была внимание. Но понимала ли сна хоть теперь великие слова эти?

Все же в ту пору он и сам еще «не понимал». Через год после написания им «Трех смертей», — в 1860 году, — умирает от чахотки его брат Николай — и на весь мир падает для него пепел смерти: «К чему все, — пишет он, — к чему все, когда завтра начнутся муки смерти со всей мерзостью лжи, самообмана и кончатся ничтожеством, нулем!»

Еще через год он начал «Холстомера», «историю лошади», которую можно было бы озаглавить и так: «Две жизни и две смерти», — жизнь пегого рысистого мерина, по родословному имени Мужика I, прозванного по-уличному Холстомером «за длинный и размашистый ход, равного которому не было в России», и жизнь одного из его хозяев, большого барина, гусара князя Серпуховского. Если уж говорить о беспощадности Толстого в писании земных «историй», то, несомненно, он

тут беспощаднее всего. Мерин, бывшая знаменитость, доживает свой век в табуне на барском дворе в ничтожестве и одиночестве. «Бывает старость величественная, бывает гадкая, бывает жалкая старость. Бывает и гадкая и величественная вместе. Старость пегого мерина была именно такого рода... Было что-то величественное в фигуре этой лошади, и было что-то страшное — в соединении с этой величественностью отталкивающих признаков дряхлости, усиленной пестротой шерсти, и приемов и выражения самоуверенности и спокойствия, сознательной красоты и силы». Это была «живая развалина», которую молодые лошади мучали колкими своими злыми забавами, шутками: «Он был стар, они были молоды; он был худ, они были сыты; он был скучен, они были веселы. Стало быть, он был совсем чужой, посторонний, совсем другое существо, и нельзя было жалеть его. *Лошади жалеют только самих себя и изредка только тех, в шкуре кого они себя легко могут представить...*» И вот он все-таки рассказывает по ночам этим молодым лошадям историю своей прежней жизни, своей долгой службы лю-

дям, — которые говорили про него «моя лошадь», что сначала казалось ему так же странно, как слова: «моя земля, мой воздух, моя вода», — службы, кончившейся тем, что гусар загнал его. Он «ничего и никого никогда не любил», но в нем мерину «нравилось именно то, что он был красив, счастлив, богат и потому никого не любил». Мерин говорит про него: «Его холодность, моя зависимость от него придавали особенную силу моей любви к нему. Убей, загони меня, думал я, бывало, в наши счастливые времена, — я тем буду счастливее». И гусар загнал его. «Любовница у него была красавица, и он был красавец, и кучер у него был красавец». И когда любовница сбежала от него, он в погоне за ней загнал мерина. Но своей жизнью загнал он и себя. Когда, лет через пятнадцать, приехал он однажды в гости как раз к тому барину, который был последним хозяином Холстомера, уже был он тоже развалиной:

— Приезжий, Никита Серпуховской, был человек лет за сорок, высокий, толстый, плешивый, с большими усами и бакенбардами. Он должен был быть очень красив. Теперь он

опустился, видимо, физически, и морально, и денежно...

— Он был одет в военный китель и синие штаны. Китель и штаны были такие, каких бы никто себе не сделал, кроме богача; белье тоже; часы тоже были английские. Сапоги были на каких-то чудных, в палец толщины, подошвах.

— Никита Серпуховской промотал в жизни состояние в два миллиона и остался еще должен 120 тысяч. От такого куска всегда остается размах жизни, дающий кредит и возможность почти роскошно прожить еще лет десять.

— Лет десять уже проходили, и размах кончался, и Никите становилось грустно жить...

А хозяин был молод, крепок, богат, «один из тех, которые никогда не переводятся, ездят в собольих шубах, бросают дорогие букеты актрисам, пьют вино самое дорогое с самой новой маркой, в самой дорогой гостинице, содержат самую дорогую любовницу...». Хозяин хвастался Серпуховскому своим счастьем, богатством, навязывал ему взять в запас побольше дорогих сигар, ставя его тем в нелов-

кое и оскорбительное положение; они говорили весь вечер, как будто равные, про лошадей, про женщин, «у кого какая: цыганка, танцовщица, француженка», но им было скучно слушать друг друга, — каждый хотел говорить только про себя. Поздно ночью они наконец разошлись.

— Хозяин лежал с любовницей.

— Нет, он невозможен. Напился и врет, не переставая...

— И за мной ухаживает.

— Я боюсь — будет просить денег.

Серпуховской лежал нераздетый на постели и отдувался.

— Кажется, я много врал, — подумал он. — Ну, все равно! Вино хорошо, но свинья он большая. Купеческое что-то. И я свинья большая, — сказал он сам себе и захохотал...

— Он сел, снял китель, жилет и штаны стоптал с себя кое-как; но сапог долго не мог стащить, — брюхо мягкое мешало. Кое-как стащил один, другой, бился, бился, запыхался и устал. И так, с ногой в голенище, повалился и захрапел, наполняя всю комнату запахом табаку, вина и грязной старости...

Старого Холстомера, опаршивевшего от коросты, зарезали за усадьбой в лощине за кирпичным сараем, и драч снял с него его старую шкуру.

— Табун проходил вечером горой, и тем, которые шли с левого края, видно было что-то красное внизу, около чего возились хлопотливо собаки и перелетали вороны и коршуны...

И ритмически, торжественно кончается эта страшная «история лошади»:

— На заре в овраге старого леса, в заросшем низу на полянке, радостно выли головастые волчята. Их было пять: четыре почти равные, а один маленький, с головой больше туловища. Худая линявшая волчица, волоча полное брюхо с отвисшими сосками по земле, вышла из кустов и села против волчат. Волчята полукругом стали против нее. Она подошла к самому маленькому и, опустив колени и перегнув морду книзу, сделала несколько судорожных движений и, открыв зубастый зев, натужилась и выхаркнула большой кусок конины. Волчята побольше сунулись к ней, но она угрожающе двинулась к ним и предо-

ставила все маленькому. Маленький, как бы гневаясь, рыча, ухватил конину под себя и стал жрать. Так же выхаркнула волчица и другому, и третьему, и всем пятерым и тогда легла против них, отдыхая.

— Через неделю валялись у кирпичного сарая только большой череп и два мослака: остальное все было растаскано. На лето мужик, собиравший кости, унес и эти мослаки и череп и пустил их в дело.

— *Ходившее по свету, евшее и пившее мертвое тело* Серпуховского убрали в землю гораздо после. Ни кожа, ни мясо, ни кости его никуда негодились.

— А как уже двадцать лет всем в великую тягость было его ходившее по свету мертвое тело, так и уборка этого тела в землю была только лишним затруднением для людей. Никому уж он давно был не нужен, всем уж давно он был в тягость, но все-таки *мертвые, хоронящие мертвых*, нашли нужным одеть это тотчас же загнившее пухлое тело в хороший мундир, в хорошие сапоги, уложить в новый хороший гроб с новыми кисточками на четырех углах, потом положить этот новый гроб в

другой, свинцовый, и свезти его в Москву, и там раскопать давнишние людские кости, и именно туда спрятать это гниющее, кишашщее червями тело в новом мундире и вычищенных сапогах и засыпать все землей...

Эта «история лошади» есть, так сказать, история смерти мертвых.

Алданов в своей книге «Загадка Толстого» перечисляет количество смертей в его произведениях и недоуменно спрашивает: зачем собрал Толстой за свою долгую художественную жизнь такой огромный художественный материал на тему смерти? «Если мыслимо создать философию смерти, ее должен был создать Толстой. Но он не воспользовался для этических обобщений богатствами своей сокровищницы. Толстой не обмолвился ни словом о разорванном бомбой Курагине, ни о зарезанной мужем Позднышевой, ни о барыне, которую изъела чахотка в „Трех смертях“... Естествоиспытатель сделал свое дело. Философ прошел мимо». Читаешь — и глазам не веришь. Выходит как будто так, что Толстой должен был чуть не каждую смерть, написанную им, сопровождать этическими обобщениями.

ниями, философией, а он меж тем будто бы даже *никогда* этого не делал. Слишком по-разному читаем мы с Алдановым «Три смерти», «Холстомера»...

Картины смертей в «Войне и мире» открываются язычески величавой картиной смерти старого графа Безухова, наивысшей разновидности «Холстомеров». Потом идет смерть «маленькой княгини». Это — предел человеческой печали и нежности к безвинным жертвам смерти. Смерти этой предшествуют роды: вот они начались и длятся — зимний, бурный, темный вечер в снежных глухих полях; в старом, полутемном доме усадьбы старого князя Болконского зажжены перед киотом, в помощь страждущей роженице, обвитые золотом венчальные свечи, всюду тишина, ожидание — все «наготове чего-то», у всех «какая-то общая забота, смягченность сердца и сознание чего-то великого, непостижимого, совершающегося в эту минуту...

Прошел вечер, наступила ночь. Тайнство, торжественнейшее в мире, продолжало совершаться. И чувство ожидания и смягчения сердечного перед непостижимым не падало,

а возвышалось. Никто не спал...» Говорят ли так «естествоиспытатели»? Если для Толстого рождение человека есть «таинство, торжественнейшее в мире», как может быть для него не таинством смерть человека, если только человек не умер еще при жизни, если только он не «ходячее тело», подобно Курагиным и Серпуховским? Дав земному миру новую человеческую жизнь, маленькая княгиня умерла.

— Князь Андрей вошел в комнату жены. Она мертвая лежала в том же положении, в котором он видел ее пять минут тому назад, и то же выражение, несмотря на остановившиеся глаза и на бледность щек, было на этом прелестном детском личике с губкой, покрытой черными волосиками.

«Я вас всех люблю и никому дурного не делала, и что вы со мной сделали?» — говорило ее прелестное, жалкое, мертвое лицо.

— Через три дня отпевали маленькую княгиню, и, прощаясь с нею, князь Андрей вошел на ступени гроба. И в гробу было то же лицо, хотя и с закрытыми глазами. «Ах, что вы со мной сделали?» — все говорило оно...

Дальше — знаменитое «небо над Аустерлицким полем», первый порог «исхода» из земного мира князя Андрея, его «освобождения».

— Князь Андрей не видал, чем это кончилось (рукопашная схватка русского артиллериста с двумя французами)... «Что это? я падаю? у меня ноги подкашиваются», — подумал он и упал на спину... Над ним не было ничего уже, кроме неба — высокого неба, неясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками. «Как тихо! спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал», — подумал князь Андрей, — «не так, как мы бежали, кричали и дрались... совсем не так ползут облака по этому высокому бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как и счастлив, что я узнал его наконец. Да, все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме него. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава богу...»

— На Праценской горе, на том самом месте, где он упал с древком знамени в руках,

лежал князь Андрей Болконский, истекая кровью и, сам не зная того, стонал тихим, жалостным и детским стоном.

К вечеру он перестал стонать и совершенно затих. Он не знал, как долго продолжалось его забытие. Вдруг он опять почувствовал себя живым и страдающим от жгучей и разрывающей что-то боли в голове.

«Где оно, это высокое небо, которое я не знал до сих пор и увидел нынче?» — было первою его мыслью. «И страдания этого я не знал также», — подумал он. «Да, я ничего, ничего не знал до сих пор. Но где я?»

Он стал прислушиваться и услышал звуки приближающегося топота лошадей и звуки голосов, говоривших по-французски...

Подъехавшие верховые были Наполеон, сопровождаемый двумя адъютантами...

— *Voilà une belle mort*[19], - сказал Наполеон, глядя на Болконского.

Князь Андрей понял, что это было сказано о нем и что говорит это Наполеон... Но он слышал эти слова как бы он слышал жужжание мухи... Ему жгло голову, он чувствовал, что он исходит кровью, и он видел над собою

далекое, высокое и вечное небо. Он знал, что это был Наполеон — его герой, но в эту минуту Наполеон казался ему столь маленьким, ничтожным человеком в сравнении с тем, что происходило теперь между его душой и этим высоким, бесконечным небом с бегущими по нем облаками... он рад был только тому, что остановились над ним люди, и желал только, чтоб эти люди помогли ему и возвратили бы его к жизни, которая казалась ему столь прекрасной, *потому что он так иначе понимал ее теперь...*

Глядя в глаза Наполеону, князь Андрей думал о ничтожестве величия, о ничтожности жизни, которой никто не мог понять значения, и о еще большем ничтожестве смерти, смысл которой никто не мог понять и объяснить из живущих.

XVIII

И вот наконец второе и последнее «освобождение» князя Андрея.

— Князь Андрей не только знал, что он умрет, но он чувствовал, что он умирает, что он уже умер наполовину. Он испытал сознание отчужденности от всего земного и радостной и странной легкости бытия. Он, не торопясь и не тревожась, ожидал того, что предстояло ему. *То грозное, вечное, неведомое и далекое, присутствие которого он не переставал ощущать в продолжении всей своей жизни*, теперь для него было близкое и — по той странной легкости бытия, которую он испытал — почти понятное и ощущаемое...

Прежде он боялся конца. Он два раза испытал это страшно-мучительное чувство страха смерти, конца, и теперь уже не понимал его.

Первый раз он испытал это чувство тогда, когда граната волчком вертелась перед ним (на Аустерлицком поле), и он смотрел на жнивье, на кусты, на небо, и знал, что перед ним была смерть. Когда он очнулся после раны и в душе его, мгновенно, как бы освобож-

денный от удерживавшего его гнета жизни, распустился этот цветок любви вечной, свободной, *не зависящей от этой жизни*, он уже не боялся смерти и не думал о ней.

Чем больше он в те часы страдальческого уединения и полубреда, которые он провел после своей раны, вдумывался в новое, открытое ему начало вечной любви, *тем более он, сам не чувствуя того, отрекался от земной жизни. Все, всех любить, всегда жертвовать собой для любви значило — никого не любить, значило — не жить этой земной жизнью.* И чем больше он проникался этим началом любви, тем больше он отрекался от жизни, и тем совершеннее уничтожал ту страшную преграду, которая (без любви) стоит между жизнью и смертью.

Но после той ночи в Мытищах, когда в полубреду перед ним явилась та, которую он желал, и когда он, прижав к своим губам ее руку, заплакал тихими, радостными слезами, любовь к одной женщине незаметно закралась в его сердце и опять привязала его к жизни. И радостные, и тревожные мысли стали приходить ему.

Болезнь его шла своим физическим порядком, но то, что Наташа называла: *это сделалось с ним*[20], случилось с ним за два дня перед приходом княжны Марьи. Это была последняя нравственная борьба между жизнью и смертью, в которой смерть одержала победу. Это было неожиданное сознание того, что он еще дорожил жизнью, представлявшеюся ему в любви к Наташе, и последний, покоренный припадок ужаса перед неведомым.

Это было вечером. Он был, как обыкновенно после обеда, в легком лихорадочном состоянии, и мысли его были чрезвычайно ясны. Соня сидела у стола. Он задремал. Вдруг ощущение счастья охватило его.

«А, это она вошла!» — подумал он.

Действительно, на месте Сони сидела только что неслышными шагами вошедшая Наташа.

С тех пор, как она стала ходить за ним, он всегда испытывал это физическое ощущение ее близости. Она сидела на кресле боком к нему, заслоняя собой от него свет свечи, и вязала чулок.

«Могло или не могло быть?» — думал он

теперь, глядя на нее и прислушиваясь к легкому стальному звуку спиц. «Неужели только затем так странно свела меня с нею судьба, чтобы мне умереть? Неужели мне открылась истина жизни только для того, чтобы я жил во лжи? Я люблю ее больше всего в мире. Но что же делать мне, ежели я люблю ее?» — сказал он, и он вдруг невольно застонал по привычке, которую он приобрел во время своих страданий.

Услыхав этот звук, Наташа положила чулок, перегнулась ближе к нему и вдруг, заметив его светящиеся глаза, подошла к нему легким шагом и нагнулась.

— Вы не спите?

— Нет, я давно смотрю на вас; я почувствовал, когда вы вошли... Никто, как вы, не дает мне той мягкой тишины... того света. Мне так и хочется плакать от радости.

Наташа ближе придвинулась к нему. Лицо ее сияло восторженной радостью.

— Наташа, я слишком люблю вас. Больше всего на свете.

— А я? — Она отвернулась на мгновение. — Отчего же слишком? — сказала она.

— Отчего слишком? Ну, как вы думаете, как вы чувствуете по душе, буду я жив? Как вам кажется?

— Я уверена, я уверена! — почти вскрикнула Наташа, страстным движением взяв его за обе руки.

Он помолчал.

— Как бы хорошо! — И, взяв ее руку, он поцеловал ее.

...Скоро после этого он закрыл глаза и заснул. Он спал недолго и вдруг в холодном поту тревожно проснулся.

Засыпая, он думал все о том же, о чем он думал все это время, — о жизни и смерти. И больше о смерти. Он чувствовал себя ближе к ней.

«Любовь? Что такое любовь?» — думал он.

«Любовь не понимает смерти. Любовь есть жизнь. Все, все, что я понимаю, я понимаю только потому, что люблю. Все есть, все существует только потому, что я люблю. Все связано одною ею. Любовь есть бог, и умереть — значит мне, частице любви, вернуться к общему и вечному источнику». Но это были только мысли. Чего-то недоставало в них, что-

то было односторонне-личное, умственное — не было очевидности. И было то же беспокойство и неясность. Он заснул.

Он видел во сне, что он лежит в той же комнате, в которой лежал в действительности, но что он не ранен, а здоров. Много разных лиц, ничтожных, равнодушных, являются перед князем Андреем. Он говорит с ними, спорит о чем-то ненужном. Они собираются ехать куда-то. Князь Андрей смутно припоминает, что все это ничтожно и что у него есть другие важнейшие заботы, но продолжает говорить, удивляя их, какие-то пустые, остроумные слова. Понемногу, незаметно все эти лица начинают исчезать, и все заменяется одним вопросом о затворенной двери. Он встает и идет к двери, чтобы задвинуть задвижку и запереть ее. От того, что он успеет или не успеет запереть ее, зависит все. Он идет, спешит, ноги его не двигаются, и он знает, что не успеет запереть дверь, но все-таки болезненно напрягает все свои силы. И мучительный страх охватывает его. И этот страх есть страх смерти: за дверью стоит *оно*[21]. Но в то же время, как он бессильно-неловко подползает

к двери, это что-то ужасное, с другой стороны уже, надавливая, ломится в нее. Что-то нечеловеческое — смерть — ломится в дверь, и надо удержать ее. Он ухватывается за дверь, напрягает последние усилия — запереть уже нельзя — хоть удержать ее: но силы его слабы, неловки, и надавливаемая ужасным усилием дверь отворяется и опять затворяется.

Еще раз *оно* надавило оттуда. Последние сверхъестественные усилия тщетны, и обе половинки отворились беззвучно. *Оно* вошло, и оно есть смерть. И князь Андрей умер.

Но в то же мгновение, как он умер, князь Андрей вспомнил, что он спит, и в то же мгновение, как он умер, он, сделав над собой усилие, проснулся.

«Да, это была смерть. Я умер — я проснулся. Да, смерть — пробуждение», вдруг просветлело в его душе, и завеса, скрывавшая до сих пор неведомое, была приподнята перед его душевным взором. Он почувствовал как бы *освобождение прежде связанной в нем силы* и ту странную легкость, которая с тех пор не оставляла его.

Когда он, очнувшись в холодном поту, за-

шевелился на диване, Наташа подошла к нему и спросила, что с ним.

Он не ответил ей и, не понимая ее, посмотрел на нее странным взглядом.

Это и было то, что случилось с ним за два дня до приезда княжны Марьи...

С этого началось для князя Андрея вместе с пробуждением от сна пробуждение от жизни...

Последние дни и часы его прошли обыкновенно и просто. И княжна Марья и Наташа, не отходившие от него, чувствовали это. Они не плакали, не содрогались и последнее время, сами чувствуя это, ходили уже не за ним (его уже не было, он ушел от них), а за самым близким воспоминанием о нем — за его телом...

Они обе видели, как он глубже и глубже, медленно и спокойно опускался от них куда-то туда, и обе знали, что это так должно быть и что это хорошо...

XIX

Он записал однажды:

— На меня смерть близких никогда не действует очень больно.

Это было записано уже в старости, после многих смертей близких. Не поэтому ли и записано так, — не от притупления ли чувств, не от привычки ли к боли всяких жизненных потерь? Но он выражался всегда очень обдуманно, очень точно, он не написал бы даром слово «никогда». Как же объяснить, что смерть близких никогда не действовала на него очень больно? Известно, какой душевный хлад и ужас испытывал он, теряя сперва одного брата, потом другого, что чувствовал Левин, когда умирал его брат Николай: его в эти дни спасала только Кити, только ощущение близости с ее молодой жизнью и любовью и его собственная любовь к ней. И вот все-таки он говорит, что терять близких было ему «не очень больно». И это «не очень больно» кажется на первый взгляд странно. «Я всегда как-то физически чувствую людей», — говорил он про себя (давая этим прекрасный

повод к сугубой убежденности тупых людей в их мнении, что ему доступна была только «плоть» мира). Но и все чувствовал он «физически», то есть всем своим существом, с необыкновенной остротой. А чувствование смерти, всего ее телесного и духовного процесса было в нем обострено особенно, — это закон: «степень чувства жизни пропорционально степени чувства смерти», — и никогда не оставляло его. Как же в таком случае «не очень больно» было ему возле умиравших близких? А меж тем так именно и было, — вернее, почти так. «Не очень больно» перенес он смерть своего любимого сына, маленького Ванечки, потом самой любимой дочери, Маши.

В воспоминаниях Александры Львовны сказано:

— Маша угасала. Я вспомнила Ванечку, на которого она теперь была похожа... Тихо, беззвучно входил отец, брал ее руку, целовал в лоб... Когда она кончалась, все вошли в комнату. Отец сел у кровати и взял Машу за руку... При выносе тела из дома, он проводил гроб только до ворот — и пошел назад, в дом...

Об этом удивительно рассказал Илья Львович:

— Когда понесли гроб в церковь, он оделся и пошел провожать. У каменных столбов он остановил нас, простился с покойницей и пошел по прищепку домой. Он шел по тающему мокрому снегу частой старческой походкой, как всегда резко выворачивая носки ног, и ни разу не оглянулся...

В 1903 году он записал:

— Страдания, — всегда неизбежные, как смерть, — разрушают границы, стесняющие наш дух, и возвращают нас, — уничтожая обольщения материальности, — к свойственному человеку пониманию своей жизни как существа духовного, а не материального...

Писал и говорил то же самое не один раз и раньше и позже.

— Думают, что болезнь — пропадающее время.

Говорят: «Вот выздоровлю — и тогда...» А болезнь самое важное время...

Вспоминая самые трудные часы своих собственных тяжелых болезней, умилялся:

— Эти дорогие мне минуты умирания!

И про дочь писал так:

— 26 ноября 1906 года. Сейчас час ночи. Скончалась Маша. Странное дело, я не испытывал ни ужаса, ни страха, ни сознания совершившегося чего-то исключительного, ни даже жалости, горя. Я как будто считал нужным вызвать в себе особенное чувство умиления, горя и вызвал его, но в глубине души я был покоен... Да, это событие в области телесной, и потому безразличное. Смотрел я все время на нее, когда она умирала, удивительно спокойно. Для меня она была раскрывающееся перед моим раскрыванием существом. Я следил за его раскрыванием, и оно радостно было мне. Но вот раскрывание это в доступной мне области прекратилось, то есть мне перестало быть видно это раскрывание; но то, что раскрывалось, то есть. Где? Когда? Это вопросы, относящиеся к процессу раскрывания здесь и не могущие быть отнесены к истинной — внепространственной и вневременной — жизни.

И впоследствии, вспоминая ее:

— Живу и часто вспоминаю последние минуты Маши (не хочется называть ее Машей, так не идет это простое имя к тому существу,

которое ушло от меня). Она сидит обложенная подушками, я держу ее худую и милую руку и чувствую, как уходит жизнь, как она уходит. Эти четверть часа одно из самых важных, значительных времен моей жизни...

XX

«**Ч**его я тоскую, чего боюсь? — Меня, неслышно отвечает голос смерти. Я тут. — Мороз подрал мне по коже. Да, смерти. Она придет, она — вот она, а ее не должно быть».

И вот вся жизнь отдается на приобретение наиболее полного чувства, что не только «ее не должно быть», но что и нет ее.

Как так нет? На этот вопрос был ответ даже и тогда, — ночью в Арзамасе.

«Кажется, что смерти страшно, а вспомнишь, подумаешь о жизни, то умирающей жизни страшно».

В ту ночь он чувствовал: «Я надоел себе, несносен, мучителен себе». Но какой «я»? Такой, какой жил жизнью «умирающей», а не вечно живущей, внепространственной, вневременной. Он был в отчаянии: «Не могу уй-

ти от себя!» От какого «себя»? От временного и телесного. А уйти, «освободиться» было необходимо: иначе «ужас — красный, белый, квадратный», иначе «злоба на себя и на то, что меня сделало», то есть «злоба» на самого творца, давшего это временное и телесное существование, которое без преодоления «подчинения», коему в той или иной мере подвержены все земные существа, без стремления к «освобождению», без все растущего чувства возврата к творцу, близости и единства с ним и без радости ощущения его благой воли, коей во всем надо подчиняться без всякого мудрствования и прекословия, есть непременно злоба, ужас, смерть, «умирающая жизнь».

И вот начинается уже непрестанная борьба с этой «умирающей жизнью».

— Учение церкви о бессмертности личной жизни навеки закрепляет личность... А Христос звал жить не для своей личности...

Это писалось в пору «Исповеди» и «В чем моя вера». И, отмечая эту пору, Маклаков говорит:

— В этих двух книгах — вся сущность тол-

стовского учения... Церковь отрицает конечность человеческой жизни, верит в загробную, то есть бесконечную жизнь. А Толстой искал смысла той жизни, которая кончается смертью, ибо, как человек неверующий, он в смерти видел полный конец. Искал и нашел: вся беда в том, что я жил дурно, сказал он себе; жизнь, кончающаяся смертью, обретает смысл только при исполнении двух заповедей: не противиться злему и живи для ближнего, а не для своей личности...

И Маклаков утверждает:

— «В чем моя вера» есть завершение мировоззрения Толстого...

«Завершение»! Маклаков точно и в глаза никогда не видал последующих толстовских записей.

«Толстой, как человек неверующий, видел в смерти полный конец». На чем основано это утверждение? И на том, что «сам Толстой говорил мне не раз», и на том, думаю, что Толстой писал, например, так:

— Будущая жизнь — бессмыслица...

Это как будто совершенно подкрепляет утверждение Маклакова. Но чем кончена эта

фраза о будущей жизни, — как читается она полностью?

— Будущая жизнь — бессмыслица: жизнь вневременна.

И что еще писал Толстой в эту же пору?

— Мы истинно живем ни в прошлом и ни в будущем, которых нет, а только в настоящем: пространство и время — условность.

— Встретился на дороге с сумасшедшим. Прощаясь с ним, говорю: ну, прощай, на том свете увидимся. А он мне: какой такой тот свет? Свет один. — Это мне очень понравилось! Он «не верил в бессмертие»? Но в какое? — Как ни желательно бессмертие души, его нет и не может быть, потому что нет души, есть только сознание Вечного (бога).

— Смерть есть прекращение, изменение той формы сознания, которая выражалась в моем человеческом существе. Прекращается сознание, но то, что сознавало, неизменно, потому что вне времени и пространства... Если есть бессмертие, то только в безличности... Божеское начало опять проявится в личности, но это будет уже не та личность. Какая? Где? Как? Это дело божье.

— Чтобы верить в бессмертие, надо жить бессмертной жизнью здесь.

— Смерть есть перенесение себя из жизни мирской (то есть временной) в жизнь вечную *здесь, теперь*, которое я (уже) испытываю.

Что значит «смерть» в этой фразе? Есть ли это то, что обычно называется смертью и что он и сам разумел когда-то под этим словом? Уже совсем не то. Это живой и радостный возврат из земного, временного, пространственного в неземное, вечное, беспредельное, в лоно Хозяина и Отца, бытие которого совершенно несомненно.

* * *

Алданов начинает свою книгу о Толстом известной цитатой из Канта: «Две вещи наполняют мой дух вечно новым и все большим благоговением — звездное небо надо мной, нравственный закон во мне». Алданов говорит, что если разделить эту формулу, выражающую идею совершенного гармонического человека, на две части, то нужно будет отнести первую часть к язычнику Гете, а вторую к христианину Толстому. Для Толстого, говорит Алданов, существует только нравственный

закон: das ewig Eine[22], которому всю жизнь «удивлялся» Гете, это «звездное небо» Канта, в толстовстве не имеет места.

Чем же доказывает Алданов свою мысль? «Толстой говорит о науке не как философ, а как полемист... Для Толстого „туманные пятна“, „спектральный анализ звезд“, „химический состав Млечного Пути“ — никому не нужный профессорский вздор, равно как вздор и вся „научная наука“, как он выражался, противопоставляя такой науке науку, „только действительно нужную людям“, то есть практическую и улучшающую жизнь людей». Но ведь «звездное небо» могло возбуждать в Толстом и другие мысли и чувства, ничуть не связанные с его презрением к профессорам, занятым изучением химического состава Млечного Пути. И Алданов сам подтверждает это — тем, что говорит далее. Он приводит одну из причин вражды Толстого к «научной науке»: «выдумали, говорит Толстой, приборы для акциза, для нужников, а прялка, ткацкий бабий станок, соха все такие же, как были при Рюрике»; но сам же спрашивает далее: «тут ли, однако, надо искать на-

стоящую причину антипатии Толстого к науке?» — и отвечает: Толстой приписывал себе невежество, а меж тем «был одним из наиболее разносторонне ученых людей нашего времени, только его универсально-анархический ум так же мало признавал суверенитет науки, как суверенитет государственной власти». Почему же так мало признавал? Тут Алданов сам же говорит, что потому, что для преодоления науки Толстой решился привлечь себе на помощь «точку зрения вечности». «Вы изобрели противодифтеритную сыворотку, вылечили ребенка? — говорит он. — Ну, а дальше что?» Он обращался когда-то к Мопассану с вопросом: «Зачем все это?» — разумея под «всем этим» красоту и любовь в понимании французского писателя, и отвечал: «Ведь это хорошо было бы, если бы можно было остановить жизнь. А она идет. А что такое значит: идет жизнь? Идет жизнь — значит: волосы падают, седеют, зубы портятся, запах изо рта, морщины... Где же то, чему я служил? Где же красота? А она — все. А нет ее — ничего нет», — говорил Толстой, становясь на точку зрения мопассанов. — «Нет жизни. Но мало

того, что нет жизни в том, в чем казалась жизнь, — сам начинаешь уходить из нее, сам стареешь, дуреешь, разлагаешься, другие на твоих глазах выхватывают у тебя те наслаждения, в которых было все благо жизни». Как же связать с этой выпиской Алдановым такой цитаты из Толстого с его, Алданова, замечанием, что «Толстой говорит о науке не как философ, а как полемист»? И что же такое «точка зрения вечности», как не «звездное небо надо мною»? Выписав слова Толстого, обращенные к Мопассану, Алданов замечает: «О том, в чем видел Мопассан наслаждения, Толстой говорил со скорбным презрением состарившегося элина». И дальше: «С точки зрения вечности отнюдь не более прочно все, что противопоставлено науке. Где дует ветер вечности, там любое человеческое построение рассыпается, как карточный дом, и само толстовство в первую очередь. *Le silence eternal de ces espaces infins m'effraye*[23], - как сказал Паскаль». Но, возражу я Алданову, «ses espaces» ведь и есть «звездное небо». Правильно, что перед ними «рассыпается всякое человеческое построение». Только почему и

само «толстовство»? Все дело в том, как понимать Толстого. Толстой от ужаса перед «ses espaces» все-таки спасся. Чем? Тем, чем «со-старившийся эллин» не спасся бы. В том-то и дело, что Толстой никогда не был «эллином».

Алданов вспоминает слова Байрона, что «мысль есть ржавчина жизни», что «рассуждение противно природе человека», что «рассуждение — демон», говорит, что в Эпоху создания «Войны и мира» Толстой был недалек от байроновского воззрения, бессознательно, может быть, следовал инстинкту самосохранения, смутно предвидел, куда, к каким жертвам приведет его «демон» Байрона, и отмечает противоположность двух семей — семьи Болконских и семьи Ростовых (иначе говоря, семьи Волконских и семьи Толстых): в первой всегда у всех идет напряженная духовная работа, мысль, «рассуждение», а во второй никогда и никто не мыслит; и что же? все Болконские несчастны, а все Ростовы блаженствуют. По мнению Алданова, Толстой и сам прекрасно знал это, Алданов видит одно из значений «Войны и мира» в том, что в ней есть борьба Толстого против байроновского

демона, борьба и за себя, как наследника Волконских, и вообще за всех, этому демону преданных: «Ах, душа моя, — говорит Пьеру князь Андрей накануне рокового для него дня Бородинской битвы, — последнее время мне стало тяжело жить. Я вижу, что стал понимать слишком много. А не годится человеку вкушать от древа познания добра и зла». Тут Алданов прав. Но ведь не «вкушать» ни князь Андрей, ни сам Толстой не могли. А это и вело и привело их обоих к «звездному небу».

XXI

«Восемьдесят тысяч верст вокруг самого себя». Нет, не только вокруг самого себя, но и вокруг всего на свете. И что же оказалось на свете? Кроме одного того, «чем люди живы», все оказалось «не то» и «не так», и настало одиночество, которого не бывает ни под землей, ни на дне морском, говоря его собственными страшными словами.

*Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои, —*

не раз повторял он в последний год своей

жизни.

Какие чувства и какие мечты? От всех чувств и от всех мечтаний осталось теперь, на исходе поганую плоть, ненавижу себя (телесного)... Всю ночь не спал. Сердце болит, не переставая. Молился, чтобы Он избавил меня от этой жизни... Отец, покори, изгони, уничтожь поганую плоть. Помоги, Отец!

Молитва — не просьба, любил он говорить. Но что же это, как не просьба? И сколько их, этих просьб, в его дневниках, особенно в дневнике 1910 года? И к кому они, эти просьбы? К какой-то «абстракции», каковой, по общему мнению, будто бы был для него бог? Но кто же молится абстракции? И можно ли иметь к абстракции живую, нежную, сыновнюю, радостно утешающую любовь, которая то и дело переполняла его душу в самые сокровенные и жуткие минуты ее?

— Лежал, засыпая; вдруг точно что-то обрвалось в сердце. Подумал: так приходит смерть от разрыва сердца, и остался спокоен, — ни огорченья, ни радости, но блаженно спокоен; здесь ли, там ли, — я знаю, что мне хорошо, — то, что должно, — как ребенок на

руках матери, подкинувшей его, не перестает радостно улыбаться, зная, что он в ее любящих руках.

* * *

Князь Андрей спрашивает:

«Чего ждать там, за гробом?»

Алданов, вспоминая этот вопрос, говорит, что Толстой отвечает на него так:

— Возвращения к Любви.

И это наводит Алданова на такие мысли:

— Одна из самых страшных фантазий Гойа изображает судорожно искривленную руку, протянутую из-под камня пустынной могилы, отчаянно цепляющуюся за что-то — за пустоту; подпись гласит одно слово: Nada. Ничто... Подпись, сделанная Толстым, — возвращение к Любви, — много ли она лучше, чем «Nada»? Может быть, «через двести — триста лет», как говорит Вершинин у Чехова, наступит черед «толстовства». А дальше? А дальше все равно все пожрет смерть...

Но, повторяю, как понимает Алданов толстовство? По Маклакову, «бог был для Толстого только непонятная начальная сила; бессмертие духа — простое признание факта, что

наша духовная жизнь откуда-то появилась и, следовательно, куда-то уйдет; а ведь вера есть не столько знание истины, сколько преданность ей, и Толстой сам любил повторять эти слова Ивана Киреевского... Толстой пошел против церкви, отвергнув религиозное мировоззрение, и пошел против мира, отвергнув взгляды мира на жизнь...» Так, очевидно, думает и Алданов, хотя что же тогда оставляет он с Маклаковым Толстому? Толстой отверг мировоззрения и мира и религии? Но зачем же отвергать мировоззрения мира, если отвергнуто мировоззрение религиозное? «Толстой повторял слова Киреевского». Пусть повторял: духовно жил он все-таки в полной противоположности этим словам — именно «преданностью», а не «знанием», о чем сказал еще в «Исповеди», отвергнув «знание» в деле веры. Nada! Для ума, разумеется, Nada. Но люди находят спасение от смерти не умом, а чувством.

— Никто же да убоится смерти: свободы бо нас Спасова смерть...

— Смерти празднуем умерщвление... иного жития вечнаго начала...

Так поет церковь, отвергнутая Толстым. Но песнопений веры (веры вообще) он не отвергал. Что освободило его? Пусть не «Спасова смерть». Все же «праздновал» он «Смерти умерщвление», чувство «инаго жития вечнаго» обрел. А ведь все в чувстве. Не чувствую этого «Ничто» — и спасен.

«В будущую жизнь он верил плохо», — говорит Алданов. И приводит его собственные слова: «Как-то спросил себя: верю ли я? И невольно ответил, что не верю в определенной форме...» Но ведь так говорил он только в те минуты, когда «спрашивал себя». Не эти минуты спасали его: спасали те, когда он не спрашивал.

Мой старый друг доктор И. Н. Альтшуллер пишет мне:

«Когда читал Ваши статьи о Толстом, вспомнил ночь в Крыму, на Гаспре, когда я один сидел около тяжело больного Льва Николаевича. Мы, врачи, тогда почти потеряли всякую надежду, и сам он, по-моему, убежден был в неизбежности конца. Он лежал, и, казалось, был в полузабытьи с очень высокой температурой, дышал очень поверхностно, и

вдруг слабым голосом, но отчетливо произнес: „От тебя пришел, к тебе вернусь, прими меня, господи, — произнес так, как всякий просто верующий человек“».

Париж, 7.VII. 37

О Чехове*

I

Мы сидели, как обычно, в кабинете Антона Павловича и почему-то заговорили о наших крестных отцах:

— Вас крестил генерал Сипягин, а вот меня купеческий брат Спиридон Титов. Слышали такое звание?

— Нет.

И Антон Павлович протянул мне метрическое свидетельство. Я прочел и спросил:

— Можно переписать его?

— Пожалуйста.

«Запись в метрической книге Таганрогской соборной церкви:

„1860 года месяца Генваря 17-го дня рожден, а 27-го крещен Антоний; родители его: таганрогский купец третьей гильдии, Павел Георгиевич Чехов и законная жена его Евгения Яковлевна; приемники: таганрогский купеческий брат Спиридон Титов и таганрогского третьей гильдии купца Дмитрия Сафья-

нополу жена“».

— Купеческий брат! Удивительное звание! — никогда не слышал!

В метрическом свидетельстве указано, что Чехов родился 17 Генваря.

Между тем Антон Павлович в письме к сестре пишет (16 января 1899 г.):

«Сегодня день моего рождения, тридцать девять лет. Завтра именины, здешние барышни и барыни (которых зовут антоновками), пришлют и принесут подарки».

Разница в датах? Вероятно, ошибся дьякон.

* * *

Я спрашивал Евгению Яковлевну (мать Чехова) и Марию Павловну:

— Скажите, Антон Павлович плакал когда-нибудь?

— Никогда в жизни, — твердо отвечали обе.

Замечательно.

* * *

Чехов родился на берегу мелкого Азовского моря, в уездном городе, глухом в ту пору, и характер этой скучной страны немало, должно быть, способствовал развитию его прирож-

денной меланхолии. Печальная, безнадежная основа его характера происходила еще и от того, что в нем, как мне всегда казалось, было довольно много какой-то восточной наследственности, — сужу по лицам его простонародных родных, по их несколько косым и узким глазам и выдающимся скулам. И сам он делался с годами похож на них все больше и состарился душевно и телесно очень рано, как и подобает восточным людям. Чахотка чахоткой, но все же не одна она была причиной того, что, будучи всего сорока лет, он уже стал похож на очень пожилого монгола своим желтоватым, морщинистым лицом. А детство? Мещанская уездная бедность семьи, молчаливая, со сжатым ртом, с прямой удлиненной губой мать, «истовый и строгий» отец, заставлявший старших сыновей по ночам петь в церковном хоре, мучивший их спевками поздними вечерами, как какой-нибудь зверь; требовавший с самого нежного возраста, чтобы они сидели по очереди в качестве «хозяйского ока» в лавке. И чаще всего страдал Антоша, — наблюдательный отец сразу отметил его исполнительность и чаще

других засаживал его за прилавок, когда нужно было куда-нибудь ему отлучиться. Единственное оправдание — если бы не было церковного хора, спевок, то и не было бы рассказов ни «Святой ночью», ни «Студента», ни «Святых гор», ни «Архиерея», не было бы, может быть, и «Убийства» без такого его тонкого знания церковных служб и простых верующих душ. Сидение же в лавке дало ему раннее знание людей, сделало его взрослей, так как лавка его отца была клубом таганрогских обывателей, окрестных мужиков и афонских монахов. Конечно, кроме лавки, помогло еще узнать людей и то, что он с шестнадцати лет жил среди чужих, зарабатывая себе на хлеб, а затем в Москве еще студентом много толкался в «мелкой прессе», где человеческие недостатки и даже пороки не очень скрываются. Он назвал рту среду «кичеевщиной», по фамилии Петра Кичеева, «типичного представителя продажной мелкой прессы». Помогла и профессия врача. Он чуть ли не с первых курсов стал летом работать в земских больницах в Новом Иерусалиме, в Воскресенске. Его брат, Иван Павлович, получил место учителя

в церковно-приходской школе, квартира была из четырех комнат, и семья Чеховых на лето приезжала к нему.

Потом они снимали флигель на летние месяцы в Бабкине, имении Киселевых, с которыми они очень сдружились. Это — была уже подмосковная. Отец М. В. Киселевой, Бегичев, был директором Малого театра, а потому у Киселевых вечно бывали актеры, музыканты, певцы, художники. У них Чехов вошел вместе с Марьей Павловной, которая очень подружилась с М. В. Киселевой, в артистическую среду, часто много слушал там у них серьезную музыку.

При его восприимчивости и наблюдательности, семь лет в этих местах дали ему как писателю очень много. Ведь и «Унтер Пришибеев» оттуда, и «Дочь Альбиона», и «Егерь», и «Злоумышленник», и «Хирургия», и «Налим»...

И странно, как много дали его произведений подмосковные места, так ничего не дал Псел, где он прожил два лета восемьдесят восьмого, восемьдесят девятого, хотя восторгался этими местами выше меры, но в лите-

ратуре его они не отразились.

* * *

Меня поражает, как он моложе тридцати лет мог написать «Скучную историю», «Княгиню», «На пути», «Холодную кровь», «Тину», «Хористку», «Тиф»... Кроме художественного таланта, изумляет во всех этих рассказах знание жизни, глубокое проникновение в человеческую душу в такие еще молодые годы. Конечно, работа врача ему очень много дала в этом отношении. Он всегда говорил мне и профессору Россолимо, что благодаря ей область его наблюдений расширилась и обогатила его знаниями, настоящую цену которых для него как писателя может понять только врач. «Знание медицины меня избавило от многих ошибок, которых не избег и сам Толстой, например, в „Крейцеровой сонате“».

И, конечно, если бы не туберкулез, он никогда бы медицины не бросил. Лечить он очень любил, звание врача ставил высоко, — недаром в паспорте Ольги Леонардовны он написал: «жена лекаря»...

Писание же в «Будильниках», «Зрителях», «Осколках», — научило его маленькому рас-

скажу: извольте не переступить ста строк!

Меня научили краткости стихи.

* * *

У Чехова в характере все было от матери (азиатки). Одно наставительство от отца, взять хотя его некоторые письма к братьям.

Еще гимназистом он пишет младшему брату Мише по поводу того, что тот назвал себя «ничтожным и незаметным братишкой», когда Антоше было всего семнадцать лет, а Мише — двенадцать:

«Ничтожество свое сознаешь? Не всем, брат, Мишам надо быть одинаковыми. Ничтожество свое сознавай знаешь где? Перед богом, пожалуй, перед умом, красотой, природой, но не перед людьми, среди людей нужно сознавать свое достоинство. Ведь ты не мошенник, честный человек? Ну, и уважай в себе честного малого и знай, что честный малый не ничтожество. Не смешивай „смиряться“ с „сознанием своего ничтожества“».

* * *

Моим друзьям Елпатьевским Чехов не раз говорил:

— Я не грешен против четвертой запове-

ди...

И действительно, еще гимназистом в письме от 29 июля 1877 года Антоша писал своему двоюродному брату М. М. Чехову, которого называли Чохов, прототип Печаткина в повести «Три года». (Это он, ударяя по воздуху рукой, говорил «кроме» и заказывал в трактире так: «Принеси мне главного мастера клеветы и злословия с пюре». Оторопелый половой, подумав, догадался и принес порцию языка с пюре. И в этом есть что-то чеховское).

«Отец и мать единственные для меня люди на всем земном шаре, для которых я ничего никогда не пожалею. Если я буду высоко стоять, то это дело их рук, славные они люди, и одно безграничное их детолюбие ставит их выше всяких похвал, закрывает собой все их недостатки, которые могут появиться от плохой жизни, готовит им мягкий и короткий путь, в который они веруют и надеются так, как немногие».

С самых первых лет студенчества А. П. взял на свои плечи всю семью.

* * *

Со второго семестра первого курса он на-

чал работать в юмористических журналах, куда его провел брат Александр, который еще в пору таганрогской жизни Антоши помещал его остроты в «Будильнике».

Чехов — редкий писатель, который начинал, не думая, что он будет не только большим писателем, а даже просто писателем. А ведь 6 августа 1883 года он послал в «Осколки» «Дочь Альбиона», рассказ совсем не юмористический...

* * *

Писать же приходилось вот при каких условиях:

«хлопающая немилосердно по совести, а в соседней комнате отец читает матери вслух „Запечатленного ангела“... Кто-то завел шкапулку, и я слышу „Елену Прекрасную“... Хочется удрать на дачу, но уже час ночи... Для пишущего гнусней обстановки придумать трудно...»

И только с 1885 года, когда Чеховы переселились на Якиманку и А. П. стал врачом, у него оказалась отдельная комната, кабинет с камином.

Живость, работоспособность его порази-

тельна, — ведь среди всех писаний он окончил самый трудный факультет.

* * *

Затем его замечательное письмо к старшему брату Александру от 20 февраля восьмидесят третьего года, где он пишет ему относительно его незаконного брака с его женой, которой тульская консистория после развода запретила вступать в брак. Отец к их незаконному сожителству относился отрицательно, Александр Павлович страдал.

«...Не знаю, что ты хочешь от отца? Враг он куренья табаку и незаконного сожителства — ты хочешь сделать его другим? С матерью и теткой можно проделать эту штуку, а с отцом нет. Он такой же кремень, как раскольники, ничем не хуже, и не сдвинешь его с места. Это его, пожалуй, и сила. Он, как бы сладко ты ни писал, вечно будет вздыхать, писать тебе одно и то же и, что хуже всего, страдать».

В конце письма прибавляет:

«...Я, каюсь, слишком нервен с семьей. Я вообще нервен. Груб, часто несправедлив...»

А каким он стал: он прежде всего воспитывал себя, а потом уже своих. И как многие, кто

вспоминал и характеризовал его, неправильно понимали его характер. От природы он был вспыльчив, как он пишет в одном письме к Книппер.

* * *

Замечательно, как А. П., будучи двадцатипятишестилетним врачом, объясняет в письме брату Николаю, что такое воспитание. (Письмо помечено мартом 1886.)

«Воспитанные люди должны удовлетворять следующим условиям:

1. Они уважают человеческую личность, всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы...

2. Они уважают чужую собственность, а потому платят долги.

3. ...Не лгут даже в пустяках... Они не лезут с откровенностями, когда их не спрашивают...

4. Они не унижают себя с тою целью, чтобы вызвать в другом сочувствие...

5. Они не суетны. Их не занимает рукопожатие пьяного Плевако.

6. Если имеют в себе талант, то уважают его... Они жертвуют для него всем. Они брезг-

ЛИВЫ.

7. Они воспитывают в себе эстетику... Им нужна от женщины не постель... Им, особенно художникам, нужны свежесть, изящество, человечность, способность быть не ..., а матерью...

...Тут нужны непрерывные дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля... Тут дорог каждый час.

Брось я сейчас семью на произвол судьбы, я старался бы найти себе извинение в характере матери, в кровохарканье и проч.».

Да, это письмо интересно не только как назидательное, но из него можно понять, как А. П. сам себя воспитывал, как он был строг к себе.

* * *

В ноябре 1884 года он с помощью Лейкина устроился корреспондентом «Из зала суда» от «Петербургской газеты» по «Скопинскому делу». Отчеты его были блестящи, с художественными характеристиками. Мнения независимы, например, Плевако ему не понравился. Кончилось все печально — длительным кровохарканьем, к которому он отнесся лег-

комысленно, и в голову не пришло, что оно чахоточное.

* * *

В 1885 году поездка в Петербург. До этого времени из настоящих писателей он был знаком только с Лесковым, которого любил и который в Москве в 1883 году, когда они возвращались вместе откуда-то, где много пили, его «помазал, как Самуил Давида»...

Познакомился Чехов в Петербурге в этот приезд с Сувориным, Григоровичем и Бурениным.

Вернувшись в Москву, он переменял квартиру, — она оказалась сырой, и он побоялся, что опять будет кровохарканье, снял напротив прежней на той же Якиманке, квартира находилась под помещением, которое кухмистер сдавал под свадьбы и поминки. А. П. писал:

«В обед — поминки, ночью — свадьбы... смерть и зачатие».

* * *

Тысяча восемьсот семьдесят шестого года 15 февраля под подписью А. Чехов появился впервые рассказ «Панихида» в «Новом вре-

мени».

Двадцать первого февраля — письмо от Суворина. Лейкин решил издать книгу его произведений под заглавием «Пестрые рассказы» (я эту книгу прочел в поезде, не отрываясь, купив ее в Ельце, на вокзале, в шестнадцать лет, и пришел в восторг. Виньетку для нее нарисовал Шехтель, друг Николая Чехова, в будущем известный архитектор. Я был знаком с ним, встречался у Марьи Павловны в Москве. Милый, талантливый толстяк).

В конце марта Чехов получил письмо от Григоровича, заставившее его задуматься о себе как о писателе.

Двадцатого марта восемьдесят шестого года Антон Павлович ответил ему:

«...Если у меня есть дар, который следует уважать, то, каюсь, перед чистотой Вашего сердца, я доселе не уважал его. Я чувствовал, что он у меня есть, но привык считать его ничтожным... Все мои близкие всегда относились снисходительно к моему авторству и не переставали дружески советовать мне не менять настоящее дело на бумагомарание... Не помню я ни одного рассказа, над которым я

работал бы более суток, а „Егерь“, который вам понравился, я писал в купальне! Как репортеры пишут заметки о пожарах... машинально, полубессознательно, нимало не заботясь ни о читателе, ни о себе самом». Кстати сказать, мне «Егерь» не нравится, — нахожу его слабым рассказом.

Далее Чехов признается, что «писал я и всячески старался не потратить на рассказ образов и картин, которые мне дороги и которые я, бог знает почему, берег и тщательно прятал».

«Первое, что толкнуло меня на самокритику, было очень любезное и, насколько я понимаю, искреннее письмо Суворина. Я начал собираться написать что-нибудь путевое, но все-таки веры в собственную литературную путевость у меня не было».

Удивительный был человек! Удивительный писатель! — прибавлю я.

* * *

В том же восемьдесят шестом году 26 октября в «Новом времени» была напечатана его повесть «Тина». Чехов послал ее своей близкой знакомой М. В. Киселевой, владе-

тельнице Бабкина, где Чеховы проводили лето в восемьдесят пятом, восемьдесят шестом, восемьдесят седьмом годах.

Ответ он получил в конце года, возмущенный. Письмо полно негодования:

«...Присланный Вами фельетон мне совсем не нравится, хотя я убеждена, что к моему мнению присоединятся весьма и весьма немногие. Написан он хорошо, читающие мужчины пожалеют, что судьба не натолкнула их на подобную Сусанну, которая сумела бы распотешить их разнузданность, женщины втайне позавидуют ей, но большая часть публики прочтет с интересом и скажет: „Бойко пишет этот Чехов, молодец!“ Может быть, вас удовлетворяют 115 рублей и эти отзывы, но мне лично досадно, что писатель *Вашего сорта*[24], то есть не обделенный от бога, — показывает мне только одну „навозную кучу“. Грязью, негодьями, негодяйками кишит мир, и впечатления, производимые ими, не новы, но зато с какой благодарностью относишься к тому писателю, который, проведя Вас через всю вонь навозной кучи, вдруг вытащит оттуда жемчужное зерно, — зачем же

тогда одна куча? Дайте мне зерно, чтобы в моей памяти ступшевалась вся грязь обстановки, от Вас я вправе требовать этого, а других, не умеющих отстоять и найти человека между четвероногими животными, — я и читать не стану... Может быть, было бы лучше промолчать, но мне нестерпимо хотелось ругнуть Вас и Ваших мерзких редакторов, которые так равнодушно портят Ваш талант. Будь я редактором, — я, для Вашей же пользы, вырезала бы Ваш этот фельетон... фельетон Ваш все-таки препротивный. Предоставьте писать подобные (по содержанию!) разным нищим духом и обездоленным судьбою писакам: Окрейц, Альбову и тутти кванти бездарностям».

Только через три недели Чехов написал ответ:

«...У меня, и у Вас, и у критиков всего мира нет никаких прочных данных, чтобы иметь право отрицать эту литературу. Я не знаю, кто прав: Гомер, Шекспир, Лопе де Вега, вообще древние, не боявшиеся рыться в „навозной куче“, но бывшие гораздо устойчивее нас в нравственном отношении, или же со-

временные писатели, чопорные на бумаге, но холодно-циничные в душе и в жизни? Я не знаю, у кого плохой вкус: у греков ли, которые не стыдились воспевать любовь такой, какова она есть на самом деле в прекрасной природе, или же у читателей Габорио, Марлитта, Пьера Бобо (П. Д. Боборыкина. — И. Б.)?.. Ссылка на Тургенева и Толстого, избегавших „навозную кучу“, не проясняет этого вопроса. Их брезгливость ничего не доказывает: ведь было же раньше их поколение писателей, считавших грязью не только „негодяев с негодяйками“, но даже описание мужиков и чиновников ниже титулярного... Художественная литература потому и называется художественной, что рисует жизнь такую, какова она есть на самом деле. Ее назначение — правда безусловная и честная. Суживать ее функции такую специальностью, как добывание зерен, так же для нее смертельно, как если бы Вы заставили Левитана рисовать дерево, приказав ему не трогать грязной коры и пожелтевшей листвы... Для химиков нет ничего на земле нечистого. Литератор должен быть так же объективен, как химик; он дол-

жен отрешиться от житейской субъективности и знать, что навозные кучи в пейзаже играют очень почтенную роль, а злые страсти так же присущи жизни, как и добрые».

А М. В. Киселева была писательницей, дом их был культурный, у них бывали и художники, и музыканты, и актеры. Чехов любил эту семью, и они были дружны.

Через пятьдесят лет, после выхода в свет моих «Темных аллей», я получал подобные письма от подобных же Киселевых и приблизительно некоторым из них отвечал так же. Действительно, все повторяется.

Я познакомился с ним в Москве, в конце девяносто пятого года. Видались мы тогда мельком, и я не упомянул бы об этом, если бы мне не запомнилось несколько очень характерных фраз его.

— Вы много пишете? — спросил он меня однажды.

Я ответил, что мало.

— Напрасно, — почти угрюмо сказал он своим низким грудным баритоном.

— Нужно, знаете, работать... Не покладая рук... всю жизнь.

И, помолчав, без видимой связи прибавил:

— По-моему, написав рассказ, следует вычеркивать его начало и конец. Тут мы, беллетристы, больше всего врем...

После таких мимолетных встреч и случайных разговоров, в которых были затронуты любимые темы Чехова — о том, что надо работать, «не покладая рук» и быть в работе до аскетизма правдивым и простым, — мы не виделись до весны девяносто девятого года. Приехав на несколько дней в Ялту, я однажды

вечером встретил Чехова на набережной.

— Почему не заходите ко мне? — сказал он. — Непременно приходите завтра.

— Когда? — спросил я.

— Утром, часу в восьмом.

И, вероятно, заметив на моем лице удивление, он пояснил:

— Мы встаем рано. А вы?

— Я тоже, — сказал я.

— Ну, так вот и приходите, как встанете. Будем пить кофе. Вы пьете кофе?

— Изредка пью.

— Пейте каждый день. Чудесная вещь. Я, когда работаю, ограничиваюсь до вечера только кофе и бульоном. Утром — кофе, в полдень — бульон. А то плохо работается.

Я поблагодарил за приглашение, и мы молча прошли всю набережную и сели в сквере на скамью.

— Любите вы море? — сказал я.

— Да, — ответил он. — Только уж очень оно пустынно.

— Это-то и хорошо, — сказал я.

— Не знаю, — ответил он, глядя куда-то вдаль сквозь стекла пенсне и, очевидно, ду-

мая о чем-то своем. — По-моему, хорошо быть офицером, молодым студентом... Сидеть где-нибудь в людном месте, слушать веселую музыку...

И, по своей манере, помолчал и без видимой связи прибавил:

— Очень трудно описывать море. Знаете, какое описание моря читал я недавно в одной ученической тетрадке? «Море было большое». И только. По-моему, чудесно.

Может быть, это покажется кому-нибудь манерностью? Но — Чехов и манерность! Поставить рядом эти два слова могут только те, которые не имеют никакого понятия о Чехове. «Скажу прямо, — говорит один из хорошо знавших Чехова, — я встречал людей не менее искренних, чем Чехов, но людей до такой степени простых, чуждых всякой фразы и аффектировки, я не помню». Да, он любил только искреннее, органическое, — если только оно не было грубо и косно, — и положительно не выносил фразеров, книжников и фарисеев, особенно тех из них, которые настолько вошли в свои роли, что роли стали их вторыми натурами. В своих работах он почти никогда

не говорил о себе, о своих вкусах, о своих взглядах, что и повело, кстати сказать, к тому, что его долго считали человеком беспринципным, необщественным. В жизни он также никогда не носился со своим «я», очень редко говорил о своих симпатиях и антипатиях: «Я люблю то-то...», «Я не выношу того-то...», это не чеховские фразы. Но симпатии и антипатии его были чрезвычайно устойчивы и определены, и среди его симпатий одно из первых мест занимала именно естественность. «Море было большое...» Ему, с его постоянной жаждой наивысшей простоты, с его отвращением ко всему вычурному, напряженному, казалось это «чудесным». А в его словах об офицере и музыке сказалась другая его особенность: сдержанность. Неожиданный переход от моря к офицеру, несомненно, вызван был его затаенной грустью о молодости, о здоровье. Море пустынно... А он любил жизнь, радость, и за последние годы эта жажда радости, хотя бы самой простой, самой обыденной, особенно часто сказывалась в его разговоре. Но именно только *сказывалась*.

Слова за последнее время стали очень де-

шевы. И хорошие и дурные слова произносятся теперь с удивительной легкостью и лживостью. Но, кажется, чаще всего так говорят об умерших. Очень много легкости, лжи, неточностей, а порой — просто скудоумия можно встретить и в воспоминаниях о Чехове. Пишут, например, что Чехов поехал на Сахалин затем, чтобы поддержать репутацию «серьезного» человека, и в дороге так простудился, что нажил чахотку... Пишут, что смерть Чехова была ускорена постановкой «Вишневого сада»; накануне спектакля Чехов будто бы так волновался, так боялся, что его пьеса не понравится, что всю ночь бредил... Все это сущий вздор. На Сахалин Чехов поехал потому, что его интересовал Сахалин, и еще потому, что в путешествии он хотел встряхнуться после смерти брата Николая, талантливого художника. И чахотку он нажил не в Сибири, — а уже в 1884 году у него было кровохарканье в декабре после «Скопинского дела» — хотя, несомненно, что ездить ему не следовало: взять хотя бы этот страшно тяжелый двухмесячный путь на перекладных, ранней весной, в дождь и в холод, почти без сна и положи-

тельно на пище св. Антония, из-за дикости сибирских трактов! А что до волнений о «Вишневом саде»... Пишущие, конечно, очень чувствительны к тому, что говорят о них, и много, много в пишущих чувствительности жалкой, мелкой, неврастенической. Но как все это далеко от такого большого и сильного человека, как Чехов! Ибо кто с таким мужеством следовал велениям своего сердца, а не велениям толпы, как он? Кто умел так, как он, скрывать ту острую боль, которую причиняет человеческому уму человеческая глупость? Известен только один вечер, когда Чехов был явно потрясен неудачей, — вечер постановки «Чайки» в Петербурге. Но с тех пор много воды утекло... Да и кто мог знать, волнуется он или нет? Того, что совершалось в глубине его души, никогда не знали во всей полноте даже самые близкие ему люди. А что же сказать о посторонних и особенно о тех нечутких и неумных, к откровенности с которыми Чехов был органически не способен?

Мальчиком Чехов был, по словам его школьного товарища Сергеенко, «вялым увальнем с лунообразным лицом». Я, судя по

портретам и по рассказам родных Чехова, представляю его себе иначе. И лицо у него было не «лунообразное», а просто — большое, очень умное и очень спокойное. Вот это-то спокойствие и дало, вероятно, повод считать мальчика Чехова «увальнем», — спокойствие, а отнюдь не вялость, которой у Чехова никогда не было — даже в последние годы. Но и спокойствие это было, мне кажется, особенное — спокойствие мальчика, в котором зрели большие силы, редкая наблюдательность и редкий юмор. Да и как, в противном случае, согласовать слова Сергеенко с рассказами матери и братьев Чехова о том, что в детстве «Антоша» был неистощим на выдумки, которые заставляли хохотать до слез даже сурового в ту пору Павла Егоровича! В юности, — в те счастливые дни, когда ему доставляло наслаждение проектировать такие произведения, как «Искусственное разведение ежей, — руководство для сельских хозяев», — это спокойствие как бы потонуло в пышном расцвете прирожденной Чехову жизнерадостности, — все, кто звали его в эту пору, говорят о неотразимом очаровании его веселости, кра-

соты его открытого, простого лица и его лучистых глаз. Но годы шли, дух и мысль становились глубже и прозорливее — и Чехов снова овладел собою. Это было время, когда он, смело отдав дань молодости, первым непосредственным проявлением своей богатой натуры, уже приступил к суровому в своей художественной неподкупности изображению действительности. И мои первые встречи с ним относятся именно к этому времени.

В Москве, в девяносто пятом году, я увидел человека средних лет, в пенсне, одетого просто и приятно, довольно высокого, очень стройного и очень легкого в движениях. Встретил он меня приветливо, но так просто, что я, — тогда еще юноша, не привыкший к такому тону при первых встречах, — принял эту простоту за холодность. В Ялте я нашел его сильно изменившимся: он похудел, потемнел в лице; во всем его облике по-прежнему сквозило присущее ему изящество, — однако это было изящество уже не молодого, а много пережившего и еще более облагороженного пережитым человеком. И голос его звучал уже мягче... Но в общем он был почти

тот же, что в Москве: приветлив, но сдержан, говорил довольно оживленно, но еще более просто и кратко, и во время разговора все думал о чем-то своем, предоставляя собеседнику самому улавливать переходы в скрытом течении своих мыслей, я все глядел на море сквозь стекла пенсне, слегка приподняв лицо... На другое утро, после встречи на набережной, я поехал к нему на дачу. Ясно помню это веселое солнечное утро, которое мы провели с Чеховым в его садике. Он был очень оживлен, много шутил и, между прочим, прочитал мне единственное, как он говорил, стихотворение, написанное им, «Зайцы и китайцы, басня для детей». И с тех пор я начал бывать у него все чаще и чаще, а потом стал и совсем своим человеком в его доме. Сообразно с этим, конечно, изменилось и отношение ко мне Чехова. Оно стало оживленнее, сердечнее... Но сдержанность осталась; и проявлялась она не только в обращении со мной, но и с людьми, самыми близкими ему, и означала она, как я убедился потом, не равнодушие, а нечто гораздо большее...

Белая каменная дача в Аутке, под южным

солнцем и синим небом; ее маленький садик, который с такой заботливостью разводил Чехов, всегда любивший цветы, деревья и животных; его кабинет, украшением которого служили только две-три картины Левитана да огромное полукруглое окно, открывавшее вид на утонувшую в садах долину реки Учан-Су и синий треугольник моря; те часы, дни, иногда даже месяцы, которые я проводил в этой даче, и то сознание близости к человеку, который пленял меня не только своим умом и талантом, но даже своим суровым голосом и своей детской улыбкой, — останутся навсегда одним из самых лучших воспоминаний моей жизни. Был и он настроен ко мне дружелюбно, иногда почти нежно. Но та сдержанность, о которой я упомянул, не покидала его даже в самые душевные минуты наших разговоров. И она была во всем.

Он любил смех, но смеялся своим милым, заразительным смехом только тогда, когда кто-нибудь другой рассказывал что-нибудь смешное: сам он говорил самые смешные вещи без малейшей улыбки. Он очень любил шутки, нелепые прозвища, мистификации; в

последние годы, как только ему хоть ненадолго становилось лучше, он был неистощим на них; но каким тонким комизмом вызывал он неудержимый смех! Бросит два-три слова, лукаво блеснет глазом поверх пенсне... А его письма! Сколько милых шуток было в них всегда, при их совершенно спокойной форме! «Милый Иван Алексеевич, стало быть, позвольте на Страстной ждать Вас. Непременно обязательно приезжайте, у нас будет очень много закусок, к тому же в Ялте такая теплынь теперь, столько цветов! Приезжайте, сделайте милость! Жениться я раздумал, не желаю, но все же, если Вам покажется скучно, то я, так и быть уж, пожалуй, женюсь...» (25 марта 1901 г.). «Дорогой Иван Алексеевич, завтра я уезжаю в Ялту, куда и прошу написать мне поздравление с законным браком.. Желаю Вам всего хорошего-с, будьте здоровы-с. Ваш А. Чехов, аутский мещанин» (30 июня 1901 г.).

Но сдержанность Чехова сказывалась и во многом другом, более важном, свидетельствуя о редкой силе его натуры. Кто, например, слышал от него жалобы? А причин для

жалоб было много. Он начал работать в большой семье, терпевшей в ту пору его молодости нужду, и работал мало того, что за гроши, но еще и в обстановке, способной угасить самое пылкое вдохновение: в маленькой квартирке, среди говора и шума, часто на краешке стола, вокруг которого сидела не только вся семья, но еще несколько человек гостей-студентов. Он долго нуждался и потом... Но никто и никогда не слышал от него сетований на судьбу, и это вытекало не из скрытности его характера и не из ограниченности его потребностей: будучи на редкость благородно-скромным в своем образе жизни, он в то же время прямо-таки ненавидел серую, скудную жизнь... Он пятнадцать лет был болен изнурительной болезнью, которая неуклонно вела его к смерти; но знал ли это читатель, — русский читатель, который слышал столько горьких писательских воплей? Больные любят свое привилегированное положение: часто самые сильные из них почти с наслаждением терзают окружающих злыми, горькими, непрестанными разговорами о своей болезни; но поистине было изумительно то муже-

ство, с которым болен и умер Чехов! Даже в дни его самых тяжелых страданий часто никто не подозревал о них.

— Тебе нездоровится, Антоша? — спросит его мать или сестра, видя, что он сидит в кресле с закрытыми глазами.

— Мне? — спокойно ответит он, открывая глаза, такие ясные и кроткие без пенсне. — Нет, ничего. Голова болит немного.

Он горячо любил литературу, и говорить о писателях, восхищаться Мопассаном, Флобером или Толстым, — было для него наслаждением. Особенно часто он с восторгом говорил именно о них да еще о «Тамани» Лермонтова.

— Не могу понять, — говорил он, — как мог он, будучи мальчиком, сделать это! Вот бы написать такую вещь да еще водевиль хороший, тогда бы и умереть можно!

Но его разговоры о литературе были совсем непохожи на те обычные профессиональные разговоры, которые так неприятны своей кружковой узостью, мелочностью своих чисто практических и чаще всего — личных интересов. Будучи прежде всего литератором, Чехов, однако, настолько резко отли-

чался от большинства пишущих, что к нему даже не шло слово «литератор», как не идет оно, например, к Толстому. И поэтому разговоры о литературе Чехов заводил только тогда, когда знал, что его собеседник любит в литературе прежде всего искусство, бескорыстное и свободное.

— Никому не следует читать своих вещей до напечатания, — говорил он нередко. — А главное, никогда не следует слушать ничьих советов. Ошибся, соврал — пусть и ошибка будет принадлежать только тебе. После тех высоких требований, которые поставил своим мастерством Мопассан, трудно работать, но работать все же надо, особенно нам, русским, и в работе надо быть смелым. Есть большие собаки и есть маленькие собаки, но маленькие не должны смущаться существованием больших: все обязаны лаять — и лаять тем голосом, какой господь бог дал.

Все, что совершалось в литературном мире, было очень близко его сердцу, и много волнений пережил он среди той глупости, лжи, манерности и фокусничества, которые столь пышно цветут теперь в литературе. Но

никогда я не замечал в его волнениях мелочной раздражительности, и никогда не применял он к ним личных чувств. Почти про всех умерших писателей говорят, что они радовались чужому успеху, что они были чужды самолюбия, и поэтому, если бы у меня была хоть тень сомнения относительно писательского самолюбия Чехова, я совсем не затронул бы вопроса о самолюбиях. Но он действительно радовался от всего сердца всякому таланту, и не мог не радоваться: слово «бездарность» было, кажется, наивысшей бранью в его устах. К своим же успехам и неудачам он относился так, как мог относиться только он один.

Он работал почти двадцать пять лет, и сколько плоских и грубых упреков выслушал он за это время! Один из самых величайших и деликатнейших русских поэтов, он никогда не говорил языком проповедника. А можно ли при этом рассчитывать на понимание и благосклонность критики в России? Ведь требовали же от Левитана, чтобы он «оживил» пейзаж... подрисовал коровку, гусей или женскую фигуру! И, конечно, не сладко было Че-

хову иметь таких критиков, и много горечи они влили в его душу, и без того отравленную русской жизнью. И горечь эта сказывалась, но опять-таки только *сказывалась*.

— Да, Антон Павлович, вот скоро и юбилей ваш будем праздновать!

— Знаю-с я эти юбилеи. Бранят человека двадцать пять лет на все корки, а потом дарят гусиное перо из алюминия и целый день несут над ним, со слезами и поцелуями, восторженную ахинею!

И чаще всего на разговоры о его славе и о том, что о нем пишут, он отвечал именно так — двумя-тремя словами или шуткой.

— Читали, Антон Павлович? — скажешь ему, увидав где-нибудь статью о нем.

А он только покосится поверх пенсне и, вытянув лицо, ответит своим грудным басом:

— Покорно вас благодарю! Напишут о ком-нибудь тысячу строк, а внизу прибавят: «...а то вот еще есть писатель Чехов: нытик...» А какой я нытик? Какой я «хмурый человек», какая я «холодная кровь», как называют меня критики? Какой я «пессимист»? Ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ — «Сту-

дент»... И слово-то противное: «пессимист»... Нет, критики еще хуже, чем актеры. А ведь, знаете, актеры на целых семьдесят пять лет отстали в развитии от русского общества.

И порою прибавит:

— Когда вас, милостивый государь, где-нибудь бранят, вы почаще вспоминайте нас, грешных: нас, как в бурсе, критики драли за малейшую провинность. Мне один критик пророчил, что я умру под забором: я представлялся ему молодым человеком, выгнанным из гимназии за пьянство.

Злым Чехова я никогда не видал; раздражался он редко, а если и раздражался, то изумительно умел владеть собой. Но и холодным я его не видал. Холоден он бывал, по его словам, только за работой, к которой он приступал всегда уже после того, как мысль и образы его будущего произведения становились ему совершенно ясны, и которую он исполнял почти всегда без перерывов, неукоснительно доводя до конца.

— Садиться писать нужно тогда, когда чувствуешь себя холодным, как лед, — сказал он однажды.

Но, конечно, это была совсем особая холодность. Ибо много ли среди русских писателей найдется таких, у которых душевная чуткость и сила восприимчивости были бы сложнее, больше чеховских?

Чтобы эта сложная и глубокая душа стала ясна, нужно, чтобы какой-нибудь очень большой и очень разносторонний человек написал книгу жизни и творчества этого «несравненного», по выражению Толстого, художника. Я же всей душой свидетельствую пока одно: это был человек редкого душевного благородства, воспитанности и изящества в самом лучшем значении этих слов, мягкости и деликатности при необыкновенной искренности и простоте, чуткости и нежности при редкой правдивости.

Быть правдивым и естественным, оставаясь в то же время пленительным, — это значит быть необыкновенной по красоте, цельности и силе натурой. И так часто говорил я здесь о спокойствии Чехова именно потому, что его спокойствие кажется мне свидетельствующим о редкой силе его природы. Оно, я думаю, не покидало его даже в дни самого яр-

кого расцвета его жизнерадостности, и, может быть, именно оно дало ему в молодости возможность не склониться ни перед чьим влиянием и начать работать так беспритязательно и в то же время так смело, «без всяких контрактов с своей совестью» и с таким неподражаемым мастерством.

Помните слова старого профессора в «Скучной истории»?

«Я не скажу, чтобы французские книжки были и умны, и талантливы, и благородны: но они не так скучны, как русские, и в них не редкость найти главный элемент творчества — чувство личной свободы...»

И вот этим-то чувством личной свободы и отличался Чехов, не терпевший, чтобы и других лишали ее, и становившийся даже резким и прямолинейным, когда видел, что на нее посягали.

Как известно, эта «свобода» не прошла ему даром, но Чехов был не из тех, у которых две души: одна для себя, другая — для публики. Успех, который он имел, очень долго, до смешного, не соответствовал его заслугам. Но сделал ли он за всю жизнь хоть малейшее

усилие для того, чтобы увеличить свою популярность? Он буквально с болью и отвращением смотрел на все те приемы, какие нередко пускаются теперь в ход для приобретения успеха.

— А вы думаете, что они — писатели! Они — извозчики! — говорил он с горечью.

И его нежелание выставлять себя на вид доходило порой до крайностей.

«Публикует „Скорпион“ о своей книге неряшливо, — писал он мне после выхода первой книги „Северных цветов“. — Выставляет меня первым, и я, прочитав это объявление в „Русских ведомостях“, дал себе клятву больше уже никогда не ведаться ни со скорпионами, ни с крокодилами, ни с ужами».

Это было зимой 1900 года, когда Чехов, заинтересовавшись кое-какими черточками в деятельности только что организованного тогда издательства «Скорпион», дал, по моему настоянию, в альманах этого книгоиздательства один из своих юношеских рассказов: «В море». Впоследствии он не раз раскаивался в этом.

— Нет, все это новое московское искус-

ство — вздор, — говорил он. — Помню, в Таганроге я видел вывеску: «Заведение *искусственных* минеральных вод». Вот и это то же самое. Ново только то, что талантливо. Что талантливо, то ново.

А его сдержанность проистекала из великого аристократизма его духа и из его неустанного стремления быть точным в каждом своем слове. Придет время, когда поймут как следует и то, что это был не только «несравненный» художник, не только изумительный мастер слова, но и несравненный поэт... Только когда придет оно? Еще не скоро разгадают во всей полноте его тонкую и целомудренную поэзию, его силу и нежность.

«Здравствуйте, милый Иван Алексеевич! — писал он мне в Ниццу. — С Новым годом, с новым счастьем! Письмо Ваше получил, спасибо. У нас в Москве все благополучно, нового (кроме Нового года) ничего нет и не предвидится, пьеса моя еще не шла, и когда пойдет — неизвестно... Очень возможно, что в феврале я приеду в Ниццу... Поклонитесь от меня милому теплому солнцу, тихому морю. Живите в свое полное удовольствие,

утешайтесь, не думайте о болезнях и пишите почаще Вашим друзьям... Будьте здоровы, веселы, счастливы и не забывайте бурных северных компатриотов, страдающих несварением и дурным расположением духа. Целую Вас и обнимаю. Ваш А. Чехов» (8 января 1904 г.).

«Поклонитесь от меня милому теплому солнцу, тихому морю...» Такие слова я слышал от него редко. Очень часто я скорее чувствовал, что он должен произнести их, и это были минуты, в которые мне было очень больно.

Помню одну ночь ранней весной. Было уже поздно; вдруг меня зовут к телефону. Подхожу и слышу бас Чехова:

— Милсдарь, возьмите хорошего извозчика и заезжайте за мной. Поедемте кататься.

— Кататься? Ночью? — удивился я. — Что с вами, Антон Павлович?

— Влюблен.

— Это хорошо, но уже десятый час... И потом — вы можете простудиться...

— Молодой человек, не рассуждать-с!

Через десять минут я был уже в Аутке. В

доме, где зимой Чехов жил только с матерью, была, как всегда, мертвая тишина и темнота, только из комнаты Евгении Яковлевны пробивался сквозь дверную щель свет, да тускло горели две свечечки в кабинете, теряясь в полумраке. И как всегда, у меня сжалось сердце при виде этого тихого кабинета, где для Чехова протекло столько одиноких зимних вечеров, полных, может быть, горьких Дум о судьбе, так одарившей его и так посмеявшейся над ним.

— Какая ночь! — сказал он мне с необычной даже для него мягкостью и какой-то грустной радостью, встречая меня на пороге кабинета. — А дома — такая скука! Только и радости, что затрещит телефон, да Софья Павловна спросит, что я делаю, а я отвечу: мышей ловлю. Поедемте в Орианду. Простужусь — наплевать!

Ночь была теплая, тихая, с ясным месяцем, с легкими белыми облаками, с редкими лучистыми звездами в голубом глубоком небе. Экипаж мягко катился по белому шоссе, мы молчали, глядя на блестящую тусклым золотом равнину моря. А потом пошел лес с лег-

кими узорами теней, похожими на паутину, но уже по-весеннему нежный, красивый и задумчивый. Потом зачернели толпы кипарисов, возносившихся к лучистым звездам. И когда мы оставили экипаж и тихо пошли под ними, мимо голубовато-бледных в лунном свете развалин дворца, Чехов внезапно сказал мне:

— Знаете, сколько лет еще будут читать меня? Семь.

— Почему семь? — спросил я.

— Ну, семь с половиной.

— Нет, — сказал я. — Поэзия живет долго, и чем дальше, тем сильнее.

Он ничего не ответил, но, когда мы сели где-то на скамью, с которой снова открылся вид на блестящее в месячном свете море, он скинул пенсне и, поглядев на меня добрыми и усталыми глазами, сказал:

— Поэтами, милостивый государь, считаются только те, которые употребляют такие слова, как «серебристая даль», «аккорд» или «на бой, на бой, в борьбу со тьмой!».

— Вы грустны сегодня, Антон Павлович, — сказал я, глядя на его простое, доброе и пре-

красное лицо, слегка бледное от лунного света.

Опустив глаза, он задумчиво копал концом палки мелкие камешки, но когда я сказал, что он грустен, он шутливо покосился на меня.

— Это вы грустны, — ответил он. — И грустны оттого, что потратились на извозчика.

А потом серьезно прибавил:

— Читать же меня будут все-таки только семь лет, а жить мне осталось и того меньше: шесть. Не говорите только об этом одесским репортерам.

На этот раз он ошибся: он прожил меньше.

Умер он спокойно, без страданий, среди тишины и красоты летнего рассвета, который так любил всегда. И когда умер, «выражение счастья появилось на его сразу помолодевшем лице...».

III

Весною 1900 года, когда в Крыму играл Художественный театр, я тоже приехал в Ялту. Встретился тут с Маминым-Сибиряком, Станюковичем, Горьким, Телешовым, Куприным. Привезены были четыре пьесы: «Чайка», «Дядя Ваня», «Одиноким» Гауптмана и «Гедда Габлер» Ибсена. Спектакли шли сначала в Севастополе, потом в Ялте.

Все были оживлены, возбуждены, Чехов чувствовал себя сравнительно хорошо. Мы с утра отправлялись в городской театр, ходили по сцене, где шли усиленные приготовления к спектаклю, а затем всей компанией направлялись к Чехову, где проводили почти все свободное время.

Чехов в те дни увлекался «Одинокими», много об этом говорил, считал, что Художественный театр должен держаться подобных пьес.

* * *

Станиславский вспоминает об этих днях:

«Приезжали и уезжали. Кончался один завтрак, подавался другой, Марья Павловна

разрывалась на части, а Ольга Леонардовна, как верная подруга или как будущая хозяйка дома, с засученными рукавами деятельно помогала по хозяйству.

В одном углу литературный спор, в саду, как школьники, занимались тем, кто дальше бросит камень, в третьей кучке И. А. Бунин с необыкновенным талантом представляет что-то, а там, где Бунин, непременно стоит и Антон Павлович и хохочет, помирая от смеха. Никто так не умел смешить Антона Павловича, как И. А. Бунин, когда он был в хорошем настроении.

Горький со своими рассказами о его скитальческой жизни, Мамин-Сибиряк с необыкновенно смелым юмором, доходящим временами до буффонады, Бунин с изящной шуткой, Антон Павлович со своими неожиданными репликами, Москвин с меткими остротами — все это делало одну атмосферу, соединяло всех в одну семью художников. У всех рождалась мысль, что все должны собираться в Ялте, говорили даже об устройстве квартир для этого. Словом — весна, море, веселье, молодость, поэзия, искусство — вот атмосфера, в

которой мы в то время находились».

— Мало ли о чем мечтают русские люди, когда им хорошо, — прибавлю я.

* * *

И вот среди всего этого оживления подошел ко мне известный в Москве адвокат, Иван Николаевич Сахаров, один из тех, кто всегда вертится около актеров, писателей, художников, и сказал:

— Иван Алексеевич, уезжайте отсюда...

— Почему? — удивился я.

— Вам, конечно, очень тяжело здесь среди таких знаменитостей, как Горький, например...

— Нисколько, — сказал я сухо, — у меня иной путь, чем у Горького, буду академиком... и неизвестно, кто кого переживет...

Он с глупой улыбкой, пожав плечами, отошел. Я же продолжал бывать и в театре, и у Чеховых.

Прощальный завтрак давала на широкой крыше дома Фанни Карловна Татарина, пригласившая на него всех артистов, писателей и друзей театра. Было шумно, оживленно, многолюдно. Вот тут-то и поднялся разговор

об устройстве квартир для таких приездов.

Начался разъезд. Уехал и я.

После избрания меня почетным академиком в 1909 году Сахаров, встретившись со мной в Литературном кружке, напомнил мне с нескрываемым удивлением наш разговор в Крыму...

* * *

В конце 1900 года я вернулся из заграничной поездки с Куровским в Одессу и вскоре отправился в Ялту. Антона Павловича не было, он проводил зиму в Ницце, Марья Павловна пригласила меня жить у них «до возвращения Антоши». Я согласился, некоторое время мы жили втроем, а потом я остался вдвоем с Евгенией Яковлевной. Теперь я из письма Чехова к матери узнал, что Антон Павлович был доволен, что я гощу у них.

Жить в аутской даче мне было приятно. Пробовал писать, делал заметки о нашем с Куровским путешествии. Много читал. Подолгу вел разговоры с матерью Чехова.

С Марьей Павловной мы иногда откровенно беседовали. Она, добродушно хохоча, много рассказывала о Левитане, который назы-

вал ее Ма-Па, хорошо его изображала: он как-то пришепетывал. Рассказывала и о Бабкине, где Левитан тоже проводил свое летнее время, о его психических недомоганиях. Вот в эти-то дни она и сообщила мне об увлечении Антона Павловича Ликой. Теперь, когда для меня многое выяснилось, я понимаю, что никакого увлечения Ликой (Лидией Стахиевной Мизиновой) у Антона Павловича не было. Она была влюблена в него. Он это видел. Ему же не нравился ее характер, о чем он писал сестре, писал, что у нее нет вкуса. При взаимной любви этого не бывает. А о том, что она была задета Чеховым, можно понять из ее письма, где она объясняет Чехову свое увлечение Потапенкой: «А причина этому Вы...»

Ездили мы с Марьей Павловной на водопад Учан-Су, в Гурзуф.

Она мне рассказала, что из-за брата не вышла замуж.

— Когда мне было сделано предложение, — добавила Марья Павловна, — я сказала об этом Антоше. Он сдержанно поздравил меня, но по лицу я поняла, что ему тяжело... и отказала.

Да, в январе 1901 года я все еще жил у Чеховых. Сохранилась у меня даже запись тех времен:

Крым, зима 1901 года на даче Чехова.

Чайки как картонные, как яичная скорлупа, как поплавки, возле клонящейся лодки. Пена как шампанское.

Провалы в облаках — там какая-то дивная неземная страна. Скалы известково-серые, как птичий помет. Бакланы. Су-ук-Су. Кучукой. Шум внизу, солнечное поле в море, собака пустынно лает. Море серо-лиловое, зеркальное, очень высоко поднимающееся. Крупа, находят облака.

Красавица Березина (!).

Тридцать первого января было первое представление «Трех сестер», конечно, Марья Павловна и «мамаша», как мы все звали Евгению Яковлевну, очень волнуются. К Синани должна была прийти телеграмма из театра. Их слуга Арсений посылается к Синани. Марья Павловна просит из города позвонить по телефону.

Минут через двадцать Арсений взволно-

ванным голосом сообщает:

— Успех аграмадный...

Собрались гости: местная начальница гимназии В. К. Харкевич, С. П. Бонье, Средины; конечно, выпили по этому случаю.

В начале февраля Марья Павловна уехала в Москву, а я остался до приезда Антона Павловича с мамашей, с которой у меня была большая дружба и которая мне много рассказывала об Антоше.

В каждом ее слове чувствовалось обожание.

* * *

В середине февраля, — как я теперь вижу по письмам, — Антон Павлович вернулся домой. Я переехал в гостиницу «Ялта», пережил очень неприятную ночь, — рядом в номере лежала покойница... Чехов, поняв, что я переживал за эту ночь, слегка надо мной подшучивал...

Он настаивал, чтобы я бывал у него ежедневно с самого утра. И в эти дни мы особенно сблизились, хотя и не переходили какой-то черты, — оба были сдержанны, но уже крепко любили друг друга. У меня ни с кем из

писателей не было таких отношений, как с Чеховым. За все время ни разу ни малейшей неприязни. Он был неизменно со мной сдержанно нежен, приветлив, заботился как старший, — я почти на одиннадцать лет моложе его, — но в то же время никогда не давал чувствовать свое превосходство и всегда любил мое общество, — теперь я могу это сказать, так как это подтверждается его письмами к близким: «Бунин уехал, и я — один...»

По утрам пили чудный кофе. Потом сидели в садике, где он всегда что-нибудь делал в цветнике, или около плодовых деревьев. Шли разговоры о деревне, я представлял в лицах мужиков, помещиков, рассказывал о жизни своей в Полтаве, об увлечении толстовством, а он о жизни на Луге в имении Линтваревых; оба мы восхищались Малороссией (тогда так называлась Украина). Мы оба бывали в Святогорском монастыре, в гоголевских местах.

Наедине со мной он часто смеялся своим заразительным смехом, любил шутить, выдумывать разные разности, нелепые прозвища; как только ему становилось лучше, он был неистощим на все это.

Иногда мы выдумывали вместе рассказы: то о захудалом чиновнике-деспоте, а то чувствительную повесть с героинями по имени Ирландия, Австралия, Невралгия, Истерия — все в таком роде, — блеска у него было много. Иногда я представлял пьяного. На карточке любительской, — не помню, кем снятой, — в его кабинете мы сидим — он в кресле, а я на ручке кресла, — у него смеющееся лицо, у меня злое, осовелое, — я изображаю пьяного.

Иногда я читал ему его старые рассказы. Он как раз готовил их к изданию, и я часто видел, как он, перемарывая рассказ, чуть не заново его писал.

Как-то я выбрал и начал вслух читать его давнишний рассказ, написанный в 1886 году, «Ворона».

Сначала Антон Павлович хмурился, но, по мере того как развивалось действие, делался все благодуще, понемногу стал улыбаться, смеяться. Правда, пьяных я умел изображать.

Иногда мы сидели и молчали, просматривая газеты и журналы. Смеялись и над некоторыми рецензиями о его рассказах, а особенно о моих. Критики еще боялись высказывать

обо мне мнение, старались найти, кому я подражаю. Случалось, что во мне находили «чеховское настроение». Оживляясь, даже волнуясь, он восклицал с мягкой горячностью:

— Ах, как это глупо! Ах, как глупо! И меня допекали «тургеневскими нотами». Мы похожи с вами, как борзая на гончую. Вы, например, гораздо резче меня. Вы вон пишете: «Море пахнет арбузом...» Это чудесно, но я бы так не сказал. Вот про курсистку — другое дело...

— Про какую курсистку?

— А помните, мы с вами выдумывали рассказ: жара, степь за Харьковом, идет длиннейший поезд... А вы прибавили: курсистка в кожаном поясе стоит у окна вагона третьего класса и вытряхивает из чайника мокрый чай. Чай летит по ветру в лицо толстому господину, высунувшемуся из окна...

* * *

В другой раз в сумерках я читал ему «Гусева», дико хвалил его, считая, что «Гусев» первоклассно хорош, он был взволнован, молчал. Я еще раз про себя прочел последний абзац этого рассказа:

«А наверху в это время, где заходит солнце,

сгущаются облака; одно облако похоже на триумфальную арку, другое на льва, третье на ножницы»... — как он любит облака сравнивать с предметами, — мелькнуло у меня в уме. — «Из-за облаков выходит широкий зеленый луч и протягивается до самой середины неба; немного погодя рядом с этим ложится золотой, потом розовый... Небо становится нежно-сиреневым. Глядя на это великолепное, очаровательное небо, океан сначала хмурится, но скоро сам приобретает цвета ласковые, радостные, страстные, какие на человеческом языке назвать трудно».

«Увижу ли я когда-нибудь его? — подумал я. — Индийский океан привлекал меня с детства...» — И неожиданно глухой тихий голос:

— Знаете, я женюсь...

И сразу стал шутить, что лучше жениться на немке, чем на русской, она аккуратнее, и ребенок не будет по дому ползать и бить в медный таз ложкой...

Я, конечно, уже знал о его романе с Ольгой Леонардовной Книппер, но не был уверен, что он окончится браком. Я был уже в приятельских отношениях с Ольгой Леонардовной

и понимал, что она совершенно из другой среды, чем Чеховы. Понимал, что Марье Павловне нелегко будет, когда хозяйкой станет она. Правда, Ольга Леонардовна — актриса, едва ли оставит сцену, но все же многое должно измениться. Возникнут тяжелые отношения между сестрой и женой, и все это будет отзываться на здоровье Антона Павловича, который, конечно, как в таких случаях бывает, будет остро страдать то за ту, то за другую, а то и за обеих вместе. И я подумал: «Да это самоубийство! хуже Сахалина», — но промолчал, конечно.

* * *

За обедом и ужином он ел мало, почти всегда вставал из-за стола и ходил взад и вперед по столовой, останавливаясь около гостя и усиленно его угощая, и все с шуткой, с метким словом. Останавливался и около матери, и, взяв вилку и ножик, начинал мелко-мелко резать мясо, всегда с улыбкой и молча.

Постепенно я все более и более узнавал его жизнь, начал отдавать отчет, какой у него был разнообразный жизненный опыт, сравнивал его со своим и стал понимать, что я пе-

ред ним мальчишка, щенок... Ведь до тридцати лет написаны «Скучная история», «Тиф» и другие, поражающие житейским опытом его произведения.

Я вижу Чехова чаще бодрым и улыбающимся, чем хмурым, раздраженным, несмотря на то, что я знавал его в течение четырех лет наших близких отношений в плохие периоды его болезни. Там, где находился больной Чехов, царили шутка, смех и даже шалость.

Никогда не видал его в халате, всегда он был одет аккуратно и чисто. У него была педантическая любовь к порядку, — наследственная, как настойчивость, такая же наследственная, как и наставительность.

* * *

По берегам Черного моря работало много турок, кавказцев. Зная то недоброжелательство, смешанное с презрением, какое есть у нас к инородцам, он не упускал случая с восхищением сказать, какой это трудолюбивый, честный народ.

* * *

Он мало ел, мало спал, очень любил поря-

док. В комнатах его была удивительная чистота, спальня была похожа на девичью. Как ни слаб бывал он порой, ни малейшей побряжки не давал он себе в одежде.

Руки у него были большие, сухие, приятные.

* * *

Точен и скуп на слова был он даже в обыденной жизни. Словом он чрезвычайно дорожил, слово высокопарное, фальшивое, книжное действовало на него резко: сам он говорил прекрасно — всегда по-своему, ясно, правильно. Писателя в его речи не чувствовалось, сравнения, эпитеты он употреблял редко, а если и употреблял, то чаще всего обыденные, и никогда не щеголял ими, никогда не наслаждался своим удачно сказанным словом.

* * *

Случалось, что собирались у него люди самых различных рангов: со всеми он был одинаков, никому не оказывал предпочтения, никого не заставлял страдать от самолюбия, чувствовать себя забытым, лишним.

* * *

Помню его молчание, покашливание, прикрывание глаз, думу на лице, спокойную и печальную, почти важную. Только не «грусть», не «теплоту».

Крымский зимний день, серый, прохладный, сонные густые облака на Яйле. В чеховском доме тихо, мерный стук будильника из комнаты Евгении Яковлевны. Он, без пенсне, сидит в кабинете за письменным столом, не спеша, аккуратно записывает что-то. Потом встает, надевает пальто, шляпу, кожаные мелкие калоши, уходит куда-то, где стоит мышеловка. Возвращается, держа за кончик хвоста живую мышь, выходит на крыльцо, медленно проходит сад вплоть до ограды, за которой татарское кладбище на каменистом бугре. Осторожно бросает туда мышь и, внимательно оглядывая молодые деревца, идет к скамеечке среди сада. За ним бежит журавль, две собачонки. Сев, он осторожно играет тросточкой с одной из них, упавшей у его ног на спину, усмехается: блохи ползут по розовому брюшку... Потом, прислонясь к скамье, смотрит вдаль, на Яйлу, подняв лицо, что-то думая. Сидит так час, полтора.

В письме к О. Л. Книппер от 20 февраля он пишет: «Здесь Бунин, который, к счастью, бывает у меня каждый день». А 23 февраля ей же: «Был Бунин здесь теперь он уехал, и я — один».

После моего отъезда мы изредка переписывались, В письме от 14 марта он возмущается «Скорпионом»: «От „Скорпиона“ получил корректуру, в крайне неряшливом виде; с одной копеечной маркой, так что пришлось штраф платить; публикует „Скорпион“ о своей книге тоже неряшливо, выставляя меня первым — и я, прочитав это объявление в „Русских ведомостях“, дал себе клятву больше уже никогда не ведаться ни со скорпионами, ни с крокодилами, ни с ужами. А когда мы увидимся? После Пасхи, вероятно, приеду в Москву ненадолго, остановлюсь в „Дрездене“».

Я получил от 25 марта 1901 года письмо от Антона Павловича, где он просит, чтобы скульптор Эдварс, мой приятель, который хотел его лепить, отложил сеансы до сентября.

«Идет дождь. Чудесный дождь. Бабушка и

Арсений благодарят за поклон и за память о них, а мать была растрогана».

Неожиданно для него приехала на Страстной Ольга Леонардовна. Приехал и я. Чехов в эти дни был особенно оживлен, чувствовал он себя хорошо. Был в Ялте и Куприн.

Чехов и при Ольге Леонардовне настаивал, чтобы я проводил все дни у него.

Часто я уезжал поздно вечером, и он говорил:

— Приезжайте завтра пораньше.

Он на некоторых буквах шепелявил, голос у него был глуховатый, и часто говорил он без оттенков, как бы бормоча: трудно было иногда понять, серьезно ли говорит он. И я порой отказывался. Он сбрасывал пенсне, прикладывал руки к сердцу, с едва уловимой улыбкой на бледных губах, отдельно повторял:

— Ну, убедительно вас прошу, господин маркиз Букишон! Если вам будет скучно со старым забытым писателем, посидите с Машей, с мамашей, которая влюблена в вас, с венгеркой Книпшиц... Будем говорить о литературе...

После отъезда Ольги Леонардовны мы

втроем, Марья Павловна, Антон Павлович и я, поехали в Су-ук-Су, где очень весело завтракали, я тоже хотел платить, но Чехов сказал, что мы рассчитаемся дома, — он подаст счет; и подал шуточный:

«Счет господину Букишону (французскому депутату и маркизу).

Израсходовано на вас:

1. переднее место у извозчика 5 р.

5 бычков а-ла фам о натюрель 1 р. 50 к.

1 бутылка вина экстра сек 2 р. 75 к.

4 рюмки водки 1 р. 20 к.

1 филей 2 р.

2 шашлыка из барашка 2 р.

2 барашка 2 р.

Салад тирбушон 1 р.

Кофей 2 р.

Прочее 11 р.

Итого 27 р. 75 к.

*С почтением Антон и Марья Чеховы,
домовладельцы».*

* * *

Букишоном он стал называть меня потому, что в какой-то газете он увидел портрет какого-то маркиза, который был на меня похож.

* * *

Двадцатого апреля я получил от него укоризненное письмо:

«Новый рассказ

А. П. Чехова

Северные цветы

Альманах к-ва „Скорпион“. Ц. 1 р. 50 к.»

Во-первых, я никогда не писал рассказа

«Северные цветы», а во-вторых, зачем

Вы ввели меня в эту компанию, милый

Иван Алексеевич? Зачем?

Ваш А. Чехов. 20 апр.

* * *

В письме от 22 апреля он пишет Книппер уже о венчании, а в конце: «Минутами на меня находит сильнейшее желание написать для Художественного театра 4-актный водевиль или комедию. И я напишу, если ничто не помешает, только отдам не раньше конца 1903 года» («Вишневый сад» — никогда он не думал о нем, как о драме...).

В письме к Книппер от 26 апреля 1901 года он пишет:

«Если ты дашь слово, что ни одна душа в Москве не будет знать о нашей свадьбе до тех пор, пока она не совершится, — то я повенча-

юсь с тобой хоть в день приезда. Ужасно почему-то боюсь венчания и поздравлений и шампанского, которое нужно держать в руке и при этом неопределенно улыбаться. Из церкви укатил бы не домой, а прямо в Звенигород. Или повенчаться в Звенигороде...»

Как я его понимаю!

* * *

В Москве обратился к доктору Щуровскому. Его диагноз:

«Притупление и слева и справа, справа большой кусок под лопаткой. Немедленно ехать на кумыс в Уфимскую губ., если же кумыс не будет переносить, то — в Швейцарию».

* * *

Двадцать пятого мая Антон Павлович послал извещение матери: «Милая мама, благословите, женюсь. Уезжаю на кумыс. Адрес: Аксеново, Самаро-Златоустовской. Здоровье лучше. Антон».

Венчание произошло тайно от всех; кто были свидетелями, я не знаю.

* * *

Тридцатого июня я получил письмо от Ан-

тона Павловича, в котором он просит написать поздравление с законным браком уже в Ялту. «Вы уезжаете в Одессу? Не забывайте, что от Одессы до Ялты рукой подать, приехать нетрудно». В этом письме он подписался: «Аутский мещанин».

* * *

В Аксенове чувствовал он себя сносно, прибавил двенадцать фунтов, а в Ялте начал кашлять. Как сократил жизнь себе Антон Павлович, живя у моря!.. Если проследить по письмам его здоровье, то увидишь, что ему почти всегда было в Ялте хуже, чем где-либо. И ни один врач не посылал его в снег, в Швейцарию! Только Щуровский условно, если «не поможет кумыс»...

Получил я письмо от Антона Павловича в Одессе, в августе: ответы на мои вопросы. Узнал, что Книппер уезжает в Москву 20 августа, Марья Павловна — первого сентября.

Сообщает, что много пишет, по целым дням, и просит, чтобы художник Нилус отложил писать с него портрет до будущего года.

Далее шутит: «...буду ожидать вас с нетерпением. Буду с первого сентября день и ночь

сидеть на пристани и ожидать парохода с Вами.

Очень возможно, что в Ялту приедет Горький.

...Не обманите же, приезжайте. Поживем в Ялте, а потом вместе в Москву поедем, буде пожелаете».

Я уже 5 сентября обедал у Чехова с каким-то прокурором. Антона Павловича нашел в плохом состоянии.

* * *

Девятого сентября Антон Павлович пишет жене: «Теперь я здоров. Ходит ко мне каждый день Бунин».

И опять начались бесконечные разговоры. Когда я приехал, он чувствовал себя весьма нехорошо.

Много рассказывал Антон Павлович о кумысе, где он поправился, а вернувшись в Ялту, «опять захирел, стал кашлять и в июле даже поплевывал кровью», восторгался степью, лошадьми, туземцами; только уж очень была серая публика и никаких удобств! Вкус кумыса похож на; квас и не противный, но, конечно, надоедает.

Через несколько дней ему стало лучше. Он в сентябре решил ехать в Москву, вероятно, уже скучал без жены.

Читал он в эти дни свои старые рассказы, некоторые почти писал заново, так, по его мнению, они были слабы.

До моего приезда в Ялте жили Дорошевич, умом которого восхищался Чехов, и артист Орленев, которого он считал талантливым, но беспутным; последнего я застал.

Жаловался на газету «Курьер»: «Чуть не в каждом номере пишет про меня всякое вранье и пошлости...»

Ему хотелось поехать в Москву до репетиций «Трех сестер», чтобы сделать некоторые указания и, может быть, изменения.

Как я теперь узнал из письма к Книппер, Чехов обо мне ей на другой день моего приезда писал: «Бунин жизнерадостен...» На меня почти всегда Антон Павлович действовал возбуждающе.

* * *

Собрались тогда мы было поехать в Гурзуф, да пришлось отменить: Чехов должен был ехать к Льву Николаевичу Толстому.

Конечно, по его возвращении я уже был у него в Аутке и с жадностью слушал рассказы о Толстом. Как всегда, он восхищался ясностью его головы и тут сказал: «Знаете, что меня особенно восхищает в нем, это его презрение к нам как писателям. Иногда он хвалит Мопассана, Куприна, Семенова, меня... Почему? Потому что он смотрит на нас, как на детей. Наши рассказы, повести и романы для него детская игра, поэтому-то он в один мешок укладывает Мопассана с Семеновым. Другое дело Шекспир: это уже взрослый, его раздражающий, ибо он пишет не по-толстовски...»

* * *

А мне Илья Львович Толстой говорил в 1912 году, что у них в доме на писателей смотрели «вот как», и он нагибался и держал руку на высоте низа дивана, и когда он мне это рассказывал, я вспомнил эти слова Чехова.

* * *

Мне все же кажется, что, несмотря на то, что Чехов стоял в литературе уже высоко, занимая свое особое место, он все же не отдавал себе отчета в своей ценности.

Пятнадцатого сентября он уехал в Москву. Чеховы поселились на Спиридоновке в доме Бойцова, во флигеле. Я у них бывал.

В Москве он прожил с 17 сентября до 26 октября.

Он бывал на репетициях своей пьесы «Три сестры». Остался доволен.

В этот сезон шли разговоры о постройке нового театра, в Каретном ряду Художественному театру было уже неудобно и тесно. Но еще ни к чему определенному не пришли.

В октябре здоровье его стало хуже. Почему его не отправили в швейцарскую санаторию?

Вернувшись в Ялту, он жил с матерью, по целым дням питал корректуру.

Пятого декабря Чехов пишет А. Н. Веселовскому: «Имею честь предложить на имеющиеся вакансии почетных академиков следующих кандидатов:

Михайловский Николай Константинович,
Мережковский Дмитрий Сергеевич,
Спасович Владимир Данилович,
Вейнберг Петр Исаевич».

В это же время Горький получил разрешение жить в Крыму. Чехов жене сообщает: «Дача у него на хорошем месте, но в доме суета сует, дети, старухи, обстановка не писательская».

Пишет, что читал конец повести Горького «Трое»: «Что-то удивительно дикое. Если бы написал это не Горький, то никто бы читать не стал...»

Ольга Леонардовна пообещала, что придет на Рождество в Ялту, Чехов очень обрадовался, но это ей не удалось, и он стал нервничать; «Одни доктора говорят, что мне можно в Москву, а другие, что совсем нельзя, а оставаться здесь я не могу!»

Десятого декабря началось опять кровохарканье и продолжалось несколько дней. Антона Павловича уложили в постель. Конечно, Евгении Яковлевне трудно было вести дом и ухаживать за больным, да он и не допускал мать до ухода за собой. Отчасти это кровохарканье произошло из-за волнений за Толстого, который прибыл к дочери в Ялту и заболел.

Слава богу, на Рождество приехала к брату

Марья Павловна, и уход за ним стал настоящим, как и еда, — она была прекрасная хозяйка.

* * *

Пятнадцатого января 1902 года я получил от Антона Павловича письмо. Поздравление с Новым годом и пожелания: «Прославиться на весь мир, сойтись с самой хорошенькой женщиной и выиграть 200 тысяч рублей по всем трем займам», а у меня и одного не было... Сообщает, что он хворал месяца полтора. Затем:

«...Писал ли я Вам насчет „Сосен“? — это очень ново, очень свежо и очень хорошо, только слишком компактно, вроде сгущенного бульона.

Итак, будем ждать, приезжайте поскорее; буду рад очень».

В январе во время болезни Толстого Антон Павлович за жизнь Льва Николаевича очень боялся. Лечил Толстого Альтшуллер и держал Чехова в курсе его болезни.

Седьмого февраля Толстому было особенно тяжело, плохо работало сердце. Чехов волнуется: «не выживет».

В это время на короткий срок, чуть ли на

два-три дня, Ольга Леонардовна приезжала в Ялту на первой неделе поста, на второй неделе Художественный театр уже должен был играть в Петербурге — «Три сестры», «В мечтах», «Мещане»...

* * *

Волновался в эти дни Антон Павлович еще потому, что Горького не утвердили академиком. Он запрашивал Кондакова, Короленко, хотя как можно было возмущаться тем, что не утвердили выбранного в почетные академики Горького, который находился под судом! Чехов, вероятно, не знал регламента, не знал, например, что всякий почетный академик мог, приехав в какой угодно город, потребовать в какое угодно время — для пользы просвещения — зал для лекции — и без всякой цензуры. Можно себе представить, как бы стал пользоваться этим правом Горький?.. Ведь Куприна не избрали в почетные академики, несмотря на то, что несколько раз поднимался этот вопрос, только потому, что он под влиянием вина мог злоупотреблять где-нибудь в провинции этим правом.

<...>

Нужно отметить, что Чехов, когда посылал А. Н. Веселовскому список своих кандидатов, Горького не выставил, будучи человеком умным и трезвым. Но, когда его не утвердили, заволновался... Такое уже было время! А мотивировка отказа Антона Павловича от звания почетного академика слабая:

«В газетах было напечатано, что, ввиду привлечения Пешкова к дознанию по статье 1035, выборы признаются недействительными. При этом было точно указано, что извещение исходит от Академии наук, а так как я почетный академик, то это извещение исходило и от меня. Я поздравил сердечно, и я же признал выборы недействительными, — такое противоречие не укладывается в моем сознании, примирить с ним свою совесть я не мог».

Эту просьбу о снятии с него звания почетного академика Чехов послал А. Н. Веселовскому 25 августа 1902 года. Он волновался несколько месяцев, переписывался и с Кондаковым, и с Короленко, который тоже «просил снять с него звание почетного академика».

* * *

Весною я приехал в Ялту. Толстому стало лучше, и как-то при мне Чехов собирался его навестить. Волновался сильно: менял брюки, и хотя все время шутил, но все же с трудом подавлял свое волнение.

— Боюсь Толстого. Ведь подумайте, ведь это он написал, что Анна сама чувствовала, видела, как у нее блестят глаза в темноте. Серьезно, я его боюсь, — говорил он, смеясь и как бы радуясь этой боязни.

И чуть не час решал, в каких штанах поехать к Толстому. Сбросил пенсне, помолодел и, мешая, по своему обыкновению, шутку с серьезным, все выходил из спальни то в одних, то в других штанах:

— Нет, эти неприлично узки! Подумает: щелкопер!

И шел надевать другие и опять выходил, смеясь:

— А эти шириною с Черное море! Подумает: нахал!

Вернувшись он сказал:

— Знаете, это какое-то чудо, нечто невероятное! Лежит в постели старик, телесно вполне едва живой, краше в гроб кладут, а ум-

ственно не только гениальный, сверхгениальный!

Говорить о литературе было нашим любимым делом: без конца Антон Павлович: восхищался Мопассаном, Флобером, Толстым, «Таманью» Лермонтова.

— Вот умрет Толстой, все пойдет к черту! — повторял он не раз.

— Литература?

— И литература.

* * *

Но тут он ошибался, литература уже начала идти «прахом» и при жизни Толстого.

* * *

К концу марта приехал из Москвы Телешов, а из Одессы прибыл Нилус, который начал писать портрет Антона Павловича. Чехов был в хорошем настроении, ожидая приезда из Петербурга Ольги Леонардовны.

Я привез «Дети Ванюшина».

— Единственный настоящий драматург, — говорил Чехов.

* * *

Он часто говорил:

— Какие мы драматурги! Единственный

настоящий драматург — Найденов; прирожденный драматург, с самой что ни на есть драматической пружиной внутри. Он должен теперь еще десять пьес написать и девять раз провалиться, а на десятый опять такой успех, что только ахнешь!

И, помолчав, вдруг заливался радостным смехом:

— Знаете, я недавно у Толстого в Гаспре был. Он еще в постели лежал, но много говорил обо всем и обо мне, между прочим. Наконец, я встаю, прощаюсь. Он задерживает мою руку, говорит: «Поцелуйте меня», — и, поцеловав, вдруг быстро суется к моему уху и этой энергичной старческой скороговоркой: «А все-таки пьес ваших я терпеть не могу. Шекспир скверно писал, а вы еще хуже!»

* * *

По вечерам иногда собирались к ужину гости: Телешов, Горький, Нилус, после ужина заходил Елпатьевский, и меня упрашивали иногда прочесть тот или другой рассказ Чехова. Об этом вспоминает Телешов: «Антон Павлович сначала хмурился, неловко ему казалось слушать свое же сочинение, потом стал

невольно улыбаться, а потом, по мере развития рассказа, буквально тряся от хохота в своем кресле, но молча, стараясь сдерживаться».

Прослушав как-то свой «осколочный» рассказ, Антон Павлович сказал:

— Вам хорошо теперь писать рассказы, все к этому привыкли, а это я пробил дорогу к маленькому рассказу, меня еще как за это ругали...

— Требовали, чтобы я писал роман, иначе и писателем нельзя называться...

Всех нас радовало, что Толстой выздоравливал. Словом, настроение было самое хорошее. И вдруг пришла телеграмма, что в Петербурге заболела Ольга Леонардовна.

Ежедневные телеграммы. Пять дней ожидания ее прибытия, и наконец в первый день Пасхи, 10 апреля, ее на руках перенесли с парохода на дачу с температурой 39 градусов под мышкой.

Конечно, Нилусу пришлось бросить портрет, и скоро мы все разъехались.

* * *

В письме от 4 мая Антон Павлович сообща-

ет мне, что жена поправляется и что после 20 мая они приедут в Москву.

В Москве же под Троицу — новая болезнь Ольги Леонардовны, осложнившаяся перитонитом, которая чуть не кончилась операцией. Чехов измучился и душевно, и физически. Чтобы отдохнуть, 17 июня он с С. Т. Морозовым отправляется в его имение на Урал до 5 июля, а Ольга Леонардовна осталась с матерью. <...>

* * *

По возвращении они с Ольгой Леонардовной поселились в Любимовке по Ярославской железной дороге, в усадьбе матери Станиславского, Е. И. Алексеевой. (Она предоставила им флигель.) Любимовка лежала на Клязьме, где Чехов удил рыбу. Прожили они вместе до середины июля, затем он один уехал в Ялту. Вероятно, за время болезни у Ольги Леонардовны расстроились нервы, она скучала и в письмах к мужу стала его упрекать, что он не взял ее с собой, упрекала и его родных.

Он отвечает: «...Ты сердита на меня, а за что — никак не пойму. За то, что я уехал от тебя? Но ведь я с тобой прожил с самой Пас-

хи... и не уехал бы, если бы не дела и кровохарканье».

* * *

От 11 сентября я получил от него коротенькое письмецо: упрек, что я не послал ему своих «Новых стихотворений», которые были изданы А. А. Карзинкиным — большим любителем поэзии и моим другом — в старинном стиле.

* * *

В середине октября 1902 года Чехов приехал в Москву и чуть ли не в первый день написал записочку Найденову, прося его известить меня, что он здесь.

Конечно, на следующий день я был у него. В письме от 18 октября он пишет Куприну, что виделся «с Буниным и что тот в меланхолическом настроении, собирается за границу».

А 26 октября я получил от него открытку: «Милый Жан! Укрой свои бледные ноги!» без подписи.

* * *

Из Москвы Антон Павлович уехал в конце ноября. В Ялте в это время выпал снег...

В письме от 20 декабря он пишет жене: «Думал о том, что тебе нужен сынишка, который занимал бы тебя, наполнял бы твою жизнь. Сынишка или дочка будет у тебя, родная, поверь мне, нужно только подождать, прийти после болезни в норму. Я не лгу тебе, не скрываю ни одной капли из того, что говорят доктора, честное слово».

Я же в это время жил еще в Москве, бывал запросто у Ольги Леонардовны и иногда заставал ее в слезах, — ей было тяжело, хотя она и не жаловалась.

* * *

В письме от 27 декабря Чехов сообщает ей из Ялты: «Ждем Бунина и Найденова, которые, по газетным известиям, уехали в Константинополь...» Последнее было вранье.

В письме от 1 января 1903 года Антон Павлович извещает жену, что «Бунин и Найденов теперь в Одессе. Их там на руках носят». (Мы жили в это время с Найденовым в «Крымской гостинице».)

Гославскому же пишет: «На днях в Ялте будет Бунин» (из Одессы я собирался поехать в Крым). «Я поговорю с ним, и если он посвятит

меня в тайны „Знания“, то я тотчас же напишу Горькому или Пятницкому, не медля...»

Тринадцатого января в день отъезда Марьи Павловны он почувствовал себя плохо... А в Ялте был туман, погода как раз для туберкулезного.

Пятого февраля Шаповалов привез Чехову от Станиславского «орден» «Чайки» (такой же самый я получил от Художественного театра вместе с адресом на свой двадцатипятилетний юбилей. Его у меня украли вместе со всеми ценными вещами во время нашего пребывания в Софии в 1920 году, после бегства из Одессы).

Шестнадцатого февраля он в письме к жене удивляется: «Бунин почему-то в Новочеркасске?» А я там был у матери, жившей тогда у моей сестры Марьи Алексеевны Ласкаржевской.

Из Новочеркаска я отправился в Ялту.

Вот в этот-то приезд Чехов шутя приставал ко мне, что именно напишу я о нем в своих воспоминаниях. Я иногда отбрехивался, что это он будет писать обо мне, но он уверял, что я проживу до ста лет, что я «здоровенный»

мужчина и все в таком роде. Наконец я сказал:

— Я напишу прежде всего, как и почему я познакомился с вами в Москве. Это было в девяносто пятом году в декабре. Я не знал, что вы приехали в Москву. И вот, сидим мы однажды с одним поэтом в Большом Московском, пьем красное вино, слушаем машину, а порт все читает свои стихи, все больше и больше собой восторгаясь. Вышли мы очень поздно, и поэт был уже так возбужден, что и на лестнице продолжал читать. Так, читая, он стал свое пальто на вешалке искать. Швейцар ему нежно: «Позвольте, господин, я сам найду...» — «Как, негодяй? Значит, я чужое пальто беру?» — «Так точно, чужое-с». — «Молчать, негодяй, это мое пальто!» — «Да нет же, господин, это не ваше пальто!» — «Тогда говори сию же минуту, чье?» — «Антон Павловича Чехова». — «Врешь, я убью тебя за эту ложь на месте!» — «Есть на то воля ваша, только это пальто Антона Павловича Чехова». — «Так, значит, он здесь?» — «Всегда у нас останавливаются...» И вот мы чуть не кинулись к вам знакомиться в три часа ночи. Но, к сча-

стью, удержались и пришли на другой день, и на первый раз не застали — видели только ваш номер, который убирала горничная, и вашу рукопись на столе. Это было начало «Бабьего царства».

— Кто этот поэт, догадываюсь, Бальмонт, конечно. А откуда вы узнали, какая именно рукопись лежала у меня на столе? Значит, подсмотрели?

— Простите, дорогой, не удержались.

— А жалко, что вы не зашли ночью. Это очень хорошо — закатиться куда-нибудь ночью, внезапно. Я люблю рестораны.

* * *

Да, это правда, рестораны он любил. Всех друзей звал всегда или пообедать, или поужинать. И ему доставляло удовольствие их угощать. Нравилось ему мое понимание в винах, любовь к закускам и к тонким блюдам, это ценила во мне и Евгенья Яковлевна, которая была большая мастерица в кулинарном искусстве и тоже очень любила угощать.

Ни с одним писателем я не был в таких отношениях: мог часами, сидя вместе в кабинете, молчать, а с Чеховым мы иногда проводи-

ли так целые утра.

Иногда мне казалось, что все-таки я мешаю ему, и вечером при прощанье выдумывал, что мне утром нужно куда-то, в этом случае он трогательно настойчиво начинал приглашать и, шутя, говорил: если вам не скучно со старым писателем...

В этот приезд я уже останавливался в лучшей гостинице в Ялте, в «России». И он туда как-то вечером позвонил и сказал, чтобы я нанял извозчика и приехал за ним, чтобы ехать кататься. Я стал отговаривать, но он настаивал. Правда, ночь была теплая, лунная. И мы поехали в Орианду. Вот тут-то он и сказал, что его будут читать еще только семь лет, а жить ему осталось еще меньше — всего шесть. В обоих случаях ошибся: жить ему осталось меньше — всего год и три месяца, а читают его уже больше пятидесяти лет, и, вероятно, будут читать еще долго.

Из Крыма я поехал в Москву, заглянув ненадолго к брату, в деревню, а в мае бывал у Чеховых на Петровке и удивлялся, как они могли так высоко снять квартиру, на третьем, то есть по-заграничному на четвертом этаже,

у него уже была одышка, ему очень тяжело было подыматься.

В этот приезд он показался профессору Остроумову, который увидел, что его левое легкое в исключительно плохом состоянии, и, сказав, что он «калека», запретил ему жить зимою в Ялте, запретил и поездку в Швейцарию, где он с Ольгой Леонардовной хотели провести лето. А на лето они поселились в имении Якунчиковой в Наро-Фоминском.

Недель шесть они прожили там. Антон Павлович удил рыбу, купался, — это Остроумов ему разрешил, но Чехов томился окружающей бездельной жизнью, высокопоставленными гостями, и, не выдержав, в десятых числах июля вернулся в Ялту, нарушив приказание Остроумова.

Он работал над своей последней пьесой — «Вишневым садом».

В письме к жене от 29 сентября он пишет между прочим: «...скажи Бунину, чтобы он у меня полечился, если нездоров; я его вылеку».

Здоровье Чехова, как всегда в Ялте, особенно с наступлением холодных дней, ухудши-

В начале декабря Антон Павлович приехал в Москву. Я тоже был там, — мы с Найденовым готовились к поездке за границу. Ежедневно по вечерам я заходил к Чехову, оставался иногда у него до трех-четырёх часов утра, то есть до возвращения Ольги Леонардовны домой.

Чаще всего она уезжала в театр, но иногда отправлялась на какой-нибудь благотворительный концерт. За ней заезжал Немирович во фраке, пахнувший сигарами и дорогим одеколоном, а она, в вечернем туалете, надушенная, красивая, молодая, подходила к мужу со словами:

— Не скучай без меня, дусик, впрочем, с Букишончиком тебе всегда хорошо... До свиданья, милый, — обращалась она ко мне. Я целовал ее руку, и они уходили. Чехов меня не отпускал до ее возвращения. И эти бдения мне особенно дороги.

Он иногда мыл себе голову. Я старался развлекать его, рассказывал о себе, расспрашивал о семье. Он много говорил о своих бра-

тнях, Николае, Александре, которого он ставил очень высоко и бесконечно жалел, так как он иногда запивал, — этим он объяснял, что из него ничего не вышло, а одарен он был щедро.

Александр Павлович был человек редко образованный: окончил два факультета — естественный и математический, много знал и по медицине. Хорошо разбирался в философских системах. Знал много языков. Но ни на чем не мог остановиться. А как он писал письма! Прямо на удивление. Был способен и на ручные работы, сам сделал стенные часы. Одно время был редактором пожарного журнала. Над его кроватью висел пожарный звонок, чтобы он мог всегда знать, где горит. Он был из чудаков, писал только куриными перьями. Любил разводить птицу и сооружал удивительные курятники, словом, человек на редкость умный, оригинальный. Хорошо понимал шутку, но последнее время стал тяжел: когда был трезв, то мучился тем, каким он был во хмелю, а под хмелем действительно был тяжел. Я спросил Антона Павловича:

— А не мучается ли он, что вы заслонили

его как писателя?

Он улыбнулся своей милой улыбкой и ответил:

— Нисколько, ведь и пишет он между делом, так, чтобы лишнее заработать. Да я и не знаю, что его больше интересует: литература, философия, наука или куроводство? Он слишком одарен во многих отношениях, чтобы отдался чему-нибудь одному... Вот и брат Михаил служил в финансовом ведомстве, бросил, работает по книжному делу у Суворина. Пишет рассказы, но никаких усилий не делает, чтобы стать настоящим писателем. У нас ведь нет такого честолюбия, как у многих писателей нынешних... У нас у всех есть любовь к тому делу, над которым мы трудимся.

Расспрашивал Антон Павлович меня и о первом представлении пьесы Горького «На дне», и об ужине, который стоил восемьсот рублей, и что за такую цену подавали?

Я, изображая Горького, говорил:

— Рыбы первым делом и какой-нибудь этакой, черт ее дери совсем, чтобы не рыба была, а лошадь.

Чехов очень смеялся, а особенно замеча-

нию профессора Ключевского, который был беспечно-спокоен, мирно-весел, чистенький, аккуратный, в застегнутом сюртучке, слегка склонив голову набок и искоса, поблескивая очками и своим лукавым оком, мы стояли рядом, и он тихо сказал:

— Лошадь! — Это, конечно, по величине приятно. Но немножко и обидно. Почему же непременно лошадь? Разве мы все ломовые?

* * *

Что думал он о смерти?

Много раз старательно-твердо говорил, что бессмертие, жизнь после смерти в какой бы то ни было форме — сущий вздор:

— Это суеверие. А всякое суеверие ужасно. Надо мыслить ясно и смело. Мы как-нибудь потолкуем с вами об этом основательно. Я, как дважды два четыре, докажу вам, что бессмертие — вздор.

Но потом несколько раз еще тверже говорил противоположное:

— Ни в коем случае не можем мы исчезнуть после смерти. Бессмертие — факт. Вот погодите, я докажу вам это...

* * *

Последнее время часто мечтал вслух:

— Стать бы бродягой, странником, ходить по святым местам, поселиться в монастыре среди леса, у озера, сидеть летним вечером на лавочке возле монастырских ворот...

* * *

Его «Архиерей» прошел незамеченным — не то что «Вишневый сад» с большими бумажными цветами, невероятно густо белевшими за театральными окнами. И кто знает, что было бы с его славой, не будь «Мужиков», Художественного театра!

* * *

Мы с Найденовым уже были в конце декабря на отлете. Чехов рассказывал мне о своем пребывании в Ницце, о М. М. Ковалевском, о консуле Юрасове, давал советы относительно здоровья и, как всегда, уверял, что я проживу до глубокой старости, так как я «здоровенный мужчина», и опять в который раз уговаривал писать ежедневно, бросить «дилетантство», а нужно относиться к писанию «профессионально»...

И не думал я в те дни, что они — наше последнее свидание.

Часа в четыре, а иногда и совсем под утро возвращалась Ольга Леонардовна, пахнущая вином и духами...

— Что же ты не спишь, дуся?.. Тебе вредно. А вы тут еще, Букишончик, ну конечно, он с вами не скучал!

Я быстро вставал и прощался.

* * *

Перед Рождеством мы с Найденовым уехали за границу.

В Ниццу Чехов прислал мне поздравление с Новым годом, но тон письма был невеселый, он сообщал, что его пьеса еще не шла и неизвестно, когда пойдет, а письмо помечено 8 января. В письме чувствуется нежность, забота, спрашивает, что я ем? рекомендует есть цыплят и голубей, сокрушается, что судака Кольбер там нет. Кончает: «Целую вас и обнимаю», а после подписи: «А у нас сегодня солонина и индейка!»

* * *

В день его ангела была премьера «Вишневого сада», театр устроил ему чествование, которое его, конечно, очень утомило. Он не переносил никаких чествований, ненавидел

быть центром внимания. Воображаю, сколько пошлостей ему пришлось тогда выслушать.

* * *

Началась Японская война. В письмах она у него не отразилась.

Пятнадцатого февраля он уехал опять в Ялту, нарушая запрет Остроумова.

Перед отъездом был с женой в Царицыне, смотрел дачу, чтобы в будущем году там поселиться на всю зиму.

В Ялте он застал брата Александра с семьей. Его племянник, будущий артист, вспоминает это время. Антон Павлович был с ним нежен, подарил «Каштанку» и «Белолобого», дарил мелкие вещицы со своего стола, когда он тихо сидел в его кабинете.

Александр Павлович все время был «трезв, добр, интересен, вообще утешает меня своим поведением», — пишет он своей жене.

* * *

Весной Ольга Леонардовна переменяла в Москве квартиру, сняла в Леонтьевском переулке, в доме был лифт.

В эту весну 13 апреля он и написал Амфиатову из Ялты о моем рассказе «Черно-

зем», опубликованном в сборнике «Знания».

Третьего мая он в Москве.

Сообщает матери: «Всю дорогу нездоровилось», но в Москве «полегчало».

Рассказывают, что он по приезде в Москву, на другой день, поехал в Сандуновские бани и простудился. В письме к Куприну он сообщает от 5 мая:

«Я приехал в Москву, нездоров!» А 10 мая Гольцеву: «...нездоров, лежу в постели, каждый день ходит доктор...»

В письме к сестре от 21 мая сообщает, что «третьего дня ни с того ни с сего меня хватил плеврит... Как бы то ни было, на 2 июня заказаны билеты в Шварцвальд...»

Меня всегда мучает вопрос, почему его повезли за границу в таком состоянии. Сам он Телешову сказал: «Еду умирать». Значит, понимал свое положение. У меня иногда мелькает мысль, что, может быть, он не хотел, чтобы его семья присутствовала при его смерти, хотел избавить всех своих от тяжелых впечатлений, а потому не возражал. Конечно, порой он надеялся, как большинство чахоточных, что поправится. Замечательно, что сест-

ре он стал из Москвы писать нежнее.

Он и мне в последнем письме, которое не попало в собрание его писем, писал в середине июня, что «чувствую себя недурно, заказал себе белый костюм...».

Четвертого июля 1904 года я поехал верхом в село на почту, взял там газеты и письма и завернул к кузнецу перековать лошади ногу. Был жаркий и сонный степной день, с тусклым блеском неба, с горячим южным ветром. Я развернул газету, сидя на пороге кузнецовой избы, — и вдруг точно ледяная бритва полоснула по сердцу.

* * *

Смерть его ускорила простуда. После приезда в Москву из Ялты он пошел в баню и, вымывшись, оделся и вышел слишком рано: встретился в предбаннике с Сергеенко и бежал от него, от его навязчивости, болтливости...

Это тот самый Сергеенко, который много лет надоедал Толстому («Как живет и работает Толстой») и которого Чехов, за его худобу и длинный рост, неизменный черный костюм и черные волосы, называл так:

— Погребальные дроги стоймя.

IV

Художественный театр отметил пятидесятилетие со дня рождения Антона Павловича литературным утренником, на котором выступал я со своими воспоминаниями. Это было 17 января 1910 года.

Театр был переполнен. В литерной ложе с правой стороны сидели родные Чехова: мать, сестра, Иван Павлович с семьей, вероятно, и другие братья, — не помню.

Мое выступление вызвало настоящий восторг, потому что я, читая наши разговоры с Антоном Павловичем, его слова передавал его голосом, его интонациями, что произвело потрясающее впечатление на семью: мать и сестра плакали.

Через несколько дней ко мне приезжали Станиславский с Немировичем и предлагали поступить в их труппу.

Вскоре после этого утренника мы были приглашены к Марье Павловне, где были и Чеховы, живущие в Москве, а среди них и сын Александра Павловича, Михаил, молодой

ученик школы Художественного театра, поразивший нас талантливостью жестов: они с сыном Ивана Павловича, студентом Володей, прощаясь в прихожей; что-то манипулировали со шляпами так забавно, что мы из столовой, глядя на них, очень смеялись. Кто-то сказал:

— Это совершенно по-чеховски! Новое поколение.

А через несколько лет я видел Мишу в Первой студии Художественного театра в пьесе, переделанной из рассказа Диккенса «Сверчок на печи», и его игра меня взволновала до слез.

В 1915 году, 14 декабря видел его второй раз в «Потопе»; играл тоже с большим талантом.

Евгения Яковлевна за пять лет очень состарилась. Мы обрадовались друг другу, как родные. Она всегда меня любила. Стала брать Ялту, с восторгом вспоминать Московскую губернию:

— Здесь лучше, леса, можно по грибы ходить, их тут много, а там что... одно море...

И до чего она была очаровательна в своей

наивности.

* * *

Ездил я и на открытие «Комнаты имени Антона Павловича Чехова» для туберкулезного литератора в санатории по Николаевской дороге, кажется, вблизи станции Крюково, забыл какого доктора.

Ехал я туда в вагоне с Иваном Павловичем, его женой, милой женщиной, и сыном.

Иван Павлович напоминал покойного брата одним жестом. Он был очень хозяйственный человек, сейчас раскрыл погребец, угостил водочкой и какой-то закуской, и мы незаметно доехали до санатории, где был «пир горой».

* * *

«Литературное ханжество — самое скверное ханжество», — сказал мне Чехов (писал он об этом и Суворину).

* * *

Отлично писал Горькому: «У вас слишком много определений... понятно, когда я пишу: „Человек сел на траву...“ Наоборот, неудобопонятно, если я пишу: „Высокий, узкогрудый, среднего роста человек с рыжеватой бород-

кой сел на зеленую, еще не измятую пешеходами траву, сел бесшумно, робко и пугливо оглядываясь...“»

* * *

Чехов говорил:

«Писателю надо непременно в себе выработать зоркого, неутомонного наблюдателя... Настолько, понимаете, выработать, чтоб это вошло прямо в привычку... сделалось как бы второй натурой».

* * *

У Чехова каждый год менялось лицо.

* * *

Благородство Чехова — цветы, животные, благородство людских поступков.

* * *

Со всеми он был одинаков, какого бы ранга человек ни был.

* * *

Всеволод Гаршин, которого, несмотря на краткое знакомство, он успел полюбить всей душой, весной 1888 года кончает самоубийством.

* * *

Монгольское у матери, и у Николая, и у са-

мого Чехова.

Портреты деда, бабушки, отца, дяди — мужики. Женщины широкоскулы, рты без губ, — монголки. Дед, бабушка, мать, отец, дядя Чехова — все мужики, и все широкоскулые. Просто страшно смотреть — особенно проживши больше тридцати лет в Европе. Нижняя челюсть дяди. Грубость поразительная. Отец приличнее, но нижняя челюсть почти как у дяди.

* * *

Ехал из Ельца. Купил на станции «Пестрые рассказы» Чехова в 1887 году, читал не отрываясь.

* * *

Однажды он сказал (по своему обыкновению, внезапно):

— Знаете, какая раз была история со мной?

И, посмотрев некоторое время в лицо мне через плечо, принялся хохотать:

— Понимаете, поднимаюсь я как-то по главной лестнице московского Благородного собрания, а у зеркала, спиной ко мне, стоит Южин-Сумбатов, держит за пуговицу Потапенко и настойчиво, даже сквозь зубы, гово-

рит ему: «Да пойми же ты, что ты теперь первый писатель в России!..» И вдруг видит в зеркале меня, краснеет и скороговоркой прибавляет, указывая на меня через плечо: «И он...»

* * *

В его записной книжке есть кое-что, что я слышал от него самого. Он, например, не раз спрашивал меня, (каждый раз забывая, что уже говорил это, и каждый раз смеясь от всей души):

— Послушайте, а вы знаете тип такой дамы, глядя на которую всегда думаешь, что у нее под корсажем жабры?

Не раз говорил:

— В природе из мерзкой гусеницы выходит прелестная бабочка, а вот у людей наоборот: из прелестной бабочки выходит мерзкая гусеница...

— Ужасно обедать каждый день с человеком, который заикается и говорит глупости...

— Когда бездарная актриса ест куропатку, мне жаль куропатку, которая была во сто раз умнее и талантливее этой актрисы...

Иногда говорил:

— Писатель должен быть нищим, должен

быть в таком положении, чтобы он знал, что помрет с голоду, если не будет писать, будет потакать своей лени. Писателей надо отдавать в арестантские роты и там принуждать их писать карцерами, поркой, побоями... Ах, как я благодарен судьбе, что был в молодости так беден!

Как он восхищался Давыдовой!

— Придет, бывало, к ней Мамин-Сибиряк:

«Александра Аркадьевна, у меня ни копейки, дайте хоть пятьдесят рублей авансу». — «Хоть умрите, милый, не дам. Дам только в том случае, если согласитесь, что я запру вас сейчас у себя в кабинете на замок, пришлю вам чернил, перо, бумаги и три бутылки пива и выпущу тогда, когда вы постучите и скажете мне, что у вас готов рассказ».

А иногда говорил совсем другое:

— Писатель должен быть баснословно богат, так богат, чтобы он мог в любую минуту отправиться в путешествие вокруг света на собственной яхте, снарядить экспедицию к истокам Нила, Южному полюсу, в Тибет и Аравию, купить себе весь Кавказ или Гималаи... Толстой говорит, что человеку нужно

всего три аршина земли. Вздор — три аршина земли нужно мертвому, а живому нужен весь земной шар. И особенно — писателю...

* * *

Замечательная есть строка в его записной книжке:

— Как я буду лежать в могиле один, так, в сущности, я и живу один.

* * *

Про московских «декадентов», как тогда называли их, он однажды сказал:

— Какие они декаденты, они здоровеннейшие мужики! Их бы в арестантские роты отдать...

* * *

Однажды, он, в небольшой компании близких людей, поехал в Алупку и завтракал там в ресторане, был весел, много шутил. Вдруг из сидевших за соседним столом поднялся какой-то господин с бокалом в руке:

— Господа! Я предлагаю тост за присутствующего среди нас Антона Павловича, гордость нашей литературы, певца сумеречных настроений...

Побледнев, он встал и вышел.

Я приезжал, и случилось, что мы, сидя у него в кабинете, молчали все утро, просматривая газеты, которых он получал множество. Он говорил: «Давайте газеты читать и выуживать из провинциальной хроники темы для драм и водевилей».

Иногда он вдруг опускал газету, сбрасывал пенсне и принимался тихо и сладко хохотать.

— Что такое вы прочли?

— Самарский купец Бабкин, — хохоча, отвечал он тонким голосом, — завещал все свое состояние на памятник Гегелю.

— Вы шутите?

— Ей-богу, нет, Гегелю.

А то, опуская газету, внезапно спрашивал:

— Что вы обо мне будете писать в своих воспоминаниях?

— Это вы будете обо мне писать. Вы переживете меня.

— Да вы мне в дети годитесь.

— Все равно. В вас народная кровь.

— А в вас дворянская. Мужики и купцы страшно быстро вырождаются. Прочтите-ка мою повесть «Три года». А потом вы же здоро-

веннейший мужчина, только худы очень, как хорошая борзая. Принимайте аппетитные капли и будете жить сто лет. Я пропишу вам нынче же, я ведь доктор. Ко мне сам Никодим Палыч Кондаков обращался, и я его вылечил. А в воспоминаниях обо мне не пишите, что я был «симпатичный талант и кристальной чистоты человек».

— Это про меня писали, — говорил я, — писали, будто я симпатичное дарование.

Он принимался хохотать с тем мучительным удовольствием, с которым он хохотал тогда, когда ему что-нибудь особенно нравилось.

— Пойдите, а как про вас Короленко написал?

— Это не Короленко, а Златовратский. Про один из моих первых рассказов. Он написал, что этот рассказ «сделал бы честь и более крупному таланту».

Он со смехом падал головой на колени, потом надевал пенсне и, глядя на меня зорко и весело, говорил:

— Все-таки это лучше, чем про меня писали. Только вот вам мой совет, — вдруг при-

бавлял он, — перестаньте быть дилетантом, сделайте хоть немного мастеровым. Это очень скверно, как я должен был писать, — из-за куска хлеба, но в некоторой мере обязательно надо быть мастеровым, а не ждать все время вдохновенья. Потом, помолчав:

— А Короленке надо жене изменить, обязательно, чтобы начать лучше писать. А то он чересчур благороден. Помните, как вы мне рассказывали, что он до слез восхищался однажды стихами в «Русском богатстве» какого-то Вербова или Веткова, где описывались «волки реакции», обступившие певца, народного поэта, в поле, в страшную метель, и то, как он звучно ударил по струнам лиры, что волки в страхе разбежались? Это вы правду рассказывали?

— Честное слово, правду.

— А кстати, вы знаете, что в Перми все извозчики похожи на Добролюбова?

— Вы не любите Добролюбова?

— Нет, люблю. Это же порядочные были люди. Не то что Скабичевский, который писал, что я умру под забором от пьянства, так как у меня «искры божьей нет».

— Вы знаете, — говорил я, — мне Скаби-
чевский сказал однажды, что он за всю свою
жизнь не видал, как растет рожь, и ни с од-
ним мужиком не разговаривал.

— Ну, вот, вот, а всю жизнь про народ и
про рассказы из народного быта писал!

* * *

Необыкновенно радовался он однажды, ко-
гда я рассказал ему, что наш сельский дьякон
до крупинки съел как-то на именинах моего
отца фунта два икры. Этой историей он начал
свою повесть «В овраге».

Он любил повторять, что если человек не
работает, не живет постоянно в художествен-
ной атмосфере, то, будь он хоть Соломон пре-
мудрый, все будет чувствовать себя пустым,
бездарным.

* * *

Иногда вынимал из стола свою записную
книжку и, подняв лицо и блестя стеклами
пенсне, мотал ею в воздухе:

— Ровно сто сюжетов! Да-а, милсдарь! Не
вам, молодым, чета! Работники! Хотите, па-
рочку продам!

Иногда он разрешал себе вечерние прогул-

ки. Раз возвращаемся с такой прогулки уже поздно. Он очень устал, идет через силу, — за последние дни много смочил платков кровью, — молчит, прикрывает глаза. Проходим мимо балкона, за парусиной которого свет и силуэты женщин. И вдруг он открывает глаза и очень громко говорит:

— А слышали? Какой ужас! Бунина убили! В Аутке, у одной татарки!

Я останавливаюсь от изумления, а он быстро шепчет:

— Молчите! Завтра вся Ялта будет говорить об убийстве Бунина!

* * *

Один писатель жаловался: «До слез стыдно, как слабо, плохо начал я писать!»

— Ах, что вы, что вы! — воскликнул он. — Это же чудесно — плохо начать! Поймите же, что, если у начинающего писателя сразу выходит все честь честью, ему крышка, пиши пропало!

И горячо стал доказывать, что рано и быстро созревают только люди способные, то есть неоригинальные, таланта, в сущности, лишённые, потому что способность равняется

умению приспособляться и «живет она легко», а талант мучится, ища проявления себя.

V

Однажды, читая газеты, он поднял лицо и, не спеша, без интонации сказал:

— Все время так: Короленко и Чехов, Потапенко и Чехов, Горький и Чехов.

* * *

Теперь он выделился. Но, думается, и до сих пор не понят как следует: слишком своеобразный, сложный был человек.

* * *

— На одного умного полагается тысяча глупых, на одно умное слово приходится тысяча глупых, и эта тысяча заглушает. (Из записной книжки Чехова).

Его заглушали долго. До «Мужиков», далеко не лучшей его вещи, большая публика охотно читала его; но для нее он был только занятный рассказчик, автор «Винта», «Жалобной книги»... Люди «идейные» интересовались им, в общем, мало: признавали его талантливость, но серьезно на него не смотре-

ли, — помню, как некоторые из них искренне хохотали надо мной, юнцом, когда я осмеливался сравнивать его с Гаршиным, Короленко, а были и такие, которые говорили, что и читать никогда не станут человека, начавшего писать под именем Чехонте: «Нельзя представить себе, — говорили они, — чтобы Толстой или Тургенев решились заменить свое имя такой пошлой кличкой».

Настоящая слава пришла к нему только с постановкой его пьес в Художественном театре. И, должно быть, это было для него не менее обидно, чем то, что только после «Мужиков» заговорили о нем: ведь и пьесы его далеко не лучшее из написанного им, а кроме того, Это ведь значило, что внимание к нему привлек театр, то, что тысячу раз повторялось его имя на афишах, что запомнились: «двадцать два несчастья», «глубокоуважаемый шкаф», «человека забыли»...

* * *

Долго иначе не называли его, как «хмурым» писателем, «певцом сумеречных настроений», «больным талантом», человеком, смотрящим на все безнадежно и равнодушно.

Теперь гнут палку в другую сторону. «Чеховская нежность, грусть, теплота», «чеховская любовь к человеку»... Воображаю, что чувствовал бы он сам, читая про свою «нежность»! Еще более были бы противны ему «теплота», «грусть».

Говоря о нем, даже талантливые люди берут неверный тон. Например, Елпатьевский: «...встречал у Чехова людей добрых и мягких, нетребовательных и неповелительных, и его влекло к таким людям... Его всегда влекли к себе тихие долины с их мглой, туманными мечтами и тихими слезами...»

Что за вздор! Чехова влекли сильные и умные люди, возьмем хотя бы Суворина, ни с кем он не был так откровенен, как с ним, очень любил его общество, никому он так много и откровенно не писал!

Короленко характеризует его талант такими жалкими словами, как «простота» и «задушевность», приписывает ему «печаль о призраках». <...>

* * *

Курдюмов характеризует Чехова как очень скромного человека, я с этим не согласен. Он

знал себе цену, но этого не показывал. Не согласен, что он очень скрытен. А его письма к Суворину? В них он очень откровенен. Скрытный человек со всеми скрытен. Чехов не болтлив, и он должен был очень любить человека, чтобы говорить ему о своем.

* * *

<...> «В овраге» — одно из самых замечательных произведений не только Чехова, но во всей всемирной литературе — говорю я.

* * *

Курдюмов считает «Три сестры», «Дядя Ваня», «Вишневый сад» лучшими пьесами Чехова. Я не согласен: лучшая «Чайка», единственная. Но все же я неправильно писал о его пьесах. Прав Курдюмов, когда говорит, что «главное невидимо действующее лицо в чеховских пьесах, как и во многих других его произведениях, — беспощадно уходящее время». <...>

* * *

Гиппиус... уверяет, что С. Андреевский сказал про Чехова:

«Нормальный человек и нормальный прекрасный писатель своего момента».

И Гиппиус с радостью подхватила: «Да,

именно — момента». Времени у Чехова нет, а «момент» очень есть.

Боже, до чего некоторые люди лишены непосредственного чувства жизни!

Это Чехов родился сорокалетним! Это у Чехова не было возраста?

Чехов гимназист, Чехов студент и сотрудник юмористических журналов, Чехов врач во второй половине восьмидесятых годов, Чехов в первой половине девяностых годов, в год Сахалина, и затем во второй и, наконец, в начале двадцатого века, да это шесть разных Чеховых!!

Взять хотя бы его портреты.

* * *

И каким он был тонким поэтом![25] <...>

* * *

И как Гиппиус ошиблась: у Чехова не только был «момент», но есть и «время». До сих пор его читают и перечитывают, как настоящего поэта.

* * *

Далее она пишет: «слово „нормальный“ — точно для Чехова придумано. У него и наружность „нормальная“. <...> Нормальный про-

винциальный доктор.<...> Имел тонкую наблюдательность в своем пределе — и грубоватые манеры, что тоже было нормально».

Грубоватых манер я у Чехова никогда не наблюдал, впрочем, я в ту пору с ним не был знаком, значит, и в этом отношении он изменился.

* * *

«Даже болезнь его была какая-то „нормальная“, — пишет Гиппиус, — и никто себе не представит, чтобы Чехов, как Достоевский или князь Мышкин, повалился перед невестой в припадке „священной“ эпилепсии, опрокинув дорогую вазу». «Или — как Гоголь, постился бы десять дней, сжег „Чайку“, „Вишневый сад“, „Трех сестер“ и лишь потом умер».

Но ведь не один Чехов не сжигал своих произведений, Пушкин тоже не сжигал, да и другие писатели вплоть до Гиппиус не сжигали, и винить Чехова за то, что у него не было эпилепсии, психической болезни, более чем странно, говоря мягко.

* * *

Разве при его состоянии здоровья нор-

мально было предпринимать путешествие на Сахалин? Разве нормально было так легкомысленно относиться к своему кровохарканию, как он относился с 1884 года, а в 1897 году, несмотря на болезнь, поехал в Москву, чтобы повидаться с Л. А. Авиловой?..

Гиппиус уверяет, что Чехов «нормально» ухаживал за женщиной, если она ему нравится.

Гиппиус находит, что и женитьба его была нормальна. А я нахожу, что это было медленным самоубийством: жизнь с женой при его болезни — частые разлуки, вечное волнение уже за двоих — Ольга Леонардовна была два раза при смерти в течение трех лет брачной жизни, — а его вечное стремление куда-то ехать при его болезни. Даже во время Японской войны на Дальний Восток — и не корреспондентом, а врачом!

* * *

Далее:

«Чехов, уже по одной цельности своей, — человек замечательный. Он, конечно, близок и нужен душам, тяготеющим к „норме“, и к статике, но бессловесным».

<...>

Я уже отмечал, что, несмотря на то, что, по мнению Гиппиус, Чехов был человек «момента», его читают не только «души, тяготеющие к норме», его читают всякие души, положительно весь мир. Она совершенно не поняла Чехова не только как писателя, а и как человека, ей казалось, что Чехову Италия совсем не понравилась, — не буду на этом останавливаться, так как об этом он очень много писал своим родным и друзьям. Видимо, он нарочно при Мережковских был сдержан, говорил пустяки, его раздражали восторги их, особенно «мадам Мережковской», которая ему, видимо, не нравилась, и она не простила ему его равнодушия не к Италии, а к себе.

И гораздо меньше изменялись на своем пути литературном и жизненном Мережковские, чем Чехов, это у них не было «возраста», это они родились почти такими же, как и умерли! <...>

* * *

Такого, как Чехов, писателя еще никогда не было!

Поездка на Сахалин, книга о нем, работа во

время голода и во время холеры, врачебная практика, постройка школ, устройство таганрогской библиотеки, заботы о постройке памятника Петру в родном городе — и все это в течение семи лет при развивающейся смертельной болезни!

А его упрекали в беспринципности! Ибо он не принадлежал ни к какой партии и превыше всего ставил творческую свободу, что ему не прощалось, не прощалось долго.

VI

— **Б**ыла ли в его жизни хоть одна большая любовь? — Думаю, что нет.

«Любовь, — писал он в своей записной книжке, — это или остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то громадным, или же это часть того, что в будущем разовьется в нечто громадное, в настоящем же оно не удовлетворяет, дает гораздо меньше, чем ждешь».

.....

Нет, была. К Авиловой.

* * *

Воспоминания Авиловой, написанные с

большим блеском, волнением, редкой талантливостью и необыкновенным тактом, были для меня открытием.

Я хорошо знал Лидию Алексеевну, отличительными чертами которой были правдивость, ум, талантливость, застенчивость и редкое чувство юмора даже над самой собой.

Прочтя ее воспоминания, я и на Чехова взглянул иначе, кое-что по-новому мне в нем приоткрылось.

Я и не подозревал о тех отношениях, какие существовали между ними.

* * *

А ведь до сих пор многие думают, что Чехов никогда не испытал большого чувства.

Так думал когда-то и я.

Теперь же я твердо скажу: испытал! Испытал к Лидии Алексеевне Авиловой.

* * *

Чувствую, что некоторые спросят: а можно ли всецело доверять ее воспоминаниям?

Лидия Алексеевна была необыкновенно правдива. Она не скрыла даже тех отрицательных замечаний, которые делал Чехов по поводу ее писаний, как и замечаний о ней са-

мой. Редкая женщина!

* * *

А сколько лет она молчала. Ни одним словом не намекнула при жизни (ведь я с ней встречался) о своей любви.

Ее воспоминания напечатаны через десять лет после ее смерти. <...>

* * *

В ней все было очаровательно: голос, некоторая застенчивость, взгляд чудесных серо-голубых глаз...

И как хороша была она в трауре, по ее рано умершему развязному мужу, всегда с противной насмешливостью относившемуся к ее литературным писаниям.

— Ну, мать, пора в постель, довольно твоего «творчества»!

И она очень смущалась этим «творчеством», — как, например, чудесно рассказывала о своем первом посещении «Вестника Европы»...

Для меня целовать ее нежную благородную руку было всегда истинным счастьем.

А вся жизнь ее поистине глубокой любви к Чехову, трагической даже и по...

Авилова (в девичестве Страхова, родная сестра толстовца), была как раз одна из тех, что так любил Чехов, употреблявший для них слово, мне всегда неприятное: «Роскошная женщина». Таких обычно называют «русскими красавицами», «кровь с молоком» (выражение для меня несносное, ибо что может быть хуже этой смеси — «кровь и молоко»?). И когда говорят так: «русская красавица» — чаще всего относят таких женщин к купеческой красоте. Но у Авиловой не было ничего купеческого: был высокий рост, прекрасная женственность, сложение, прекрасная русая коса, но все прочее никак не купеческое, а породистое, барское. Я знал ее еще в молодости (хотя уже и тогда было у нее трое детей) и всегда восхищался ею (при всей моей склонности к другому типу: смуглому, худому, азиатскому).

Я любил с ней разговаривать, как с редкой женщиной, в ней было много юмора даже над самой собой, суждения ее были умны, в людях она разбиралась хорошо. И при всем этом

она была очень застенчива, легко растеривалась, краснела...

Например, с непередаваемым юмором необыкновенно весело рассказывала она о своем первом посещении редакции толстого журнала «Вестник Европы».

«Наконец после долгих колебаний я собралась с духом и понесла свой рассказ редактору Стасюлевичу. И, как на грех, дверь открывает мне он сам. Я так оробела, что начала, не поздоровавшись, бормотать: „Вот... я... я Матвей... Стасюлей Матвееви... Михаил Стясюлевич... Я потому... хочу предложить вам себя...“ Тут я уже так запуталась, что, не отдав рукописи, выскочила, как угорелая на улицу... Он, вероятно, принял меня за сумасшедшую...»

<...>

* * *

Да, с воспоминаниями Авиловой биографам Чехова придется серьезно считаться. <...>

* * *

И до чего все было сложно. Разве можно после опубликования воспоминаний Авиловой серьезно говорить о Мизиновой. <...>

* * *

Да, одиночество его было велико. Он знал все о своей болезни, любил Авилову, боялся за нее; любя, оберегал ее, не хотел разрушать семью, зная, какая она мать. <...>

VII

После нашего отъезда из Москвы мы не имели сведений о судьбе Лидии Алексеевны Авиловой. В 1922 году, когда мы жили в Париже, в середине ноября, пришло письмо из Чехословакии. Взглянув на последнюю страницу, я увидел подпись: Л. Авилова. Странно было то, что письмо было отправлено по адресу, по которому обычно нам писали из России родные. В те годы мы жили почти исключительно тем, что происходило в России, в вечном волнении за судьбу родных и близких. Ее письмо мы читали, волнуясь. <...>

* * *

В Чехословакию Лидия Алексеевна приехала к своей больной дочери, вот к той Ниночке, которая очаровала меня в Москве, которая когда-то, будучи ребенком, сидела на коленях у Антона Павловича во время последнего сви-

дания на вокзале.

* * *

Мне ничего не известно о судьбе Авиловой после возвращения ее в Россию. Переписка наша прекратилась.

В примечаниях, приложенных к сборнику воспоминаний современников о Чехове, кратко сказано:

Авилова Лидия Алексеевна (1865–1942).
<...>

Из части второй

I

В 1905 году, с конца сентября и до 18 октября, я в последний раз гостил в опустевшем, бесконечно грустном ялтинском доме Чехова, жил с Марьей Павловной и «мамашей», Евгенией Яковлевной. Дни стояли серенькие, сонные, жизнь наша шла ровно, однообразно — и очень нелегко для меня: все вокруг — и в саду, и в доме, и в его кабинете, — было, как при нем, а его уже не было! Но нелегко было и решиться уехать, прервать эту жизнь. Слишком жаль было оставлять в полном одиночестве

этих двух женщин, несчастных сугубо в силу чеховской выдержки, душевной скрытности; часто я видел их слезы, но безмолвно, тотчас преодолеваемые; единственное, что они позволяли себе, были просьбы ко мне побыть с ними подольше: «Помните, как Антоша любил, когда вы бывали или гостили у нас!» Да и мне самому было трудно покинуть этот уже ставший чуть ли не родным для меня дом, — а я уже чувствовал, что больше никогда не вернусь в него, — этот кабинет, где особенно все осталось, как было при нем: его письменный стол со множеством всяких безделушек купленных им по пути с Сахалина, в Коломбо, безделушек милых, изящных, но всегда дививших меня, — я бы строки не мог написать среди них, — его узенькая, белая, опрятная, как у девушки, спальня, в которую всегда отворена была дверь из кабинета. А в кабинете, в нише с диваном (сзади кресла перед письменным столом), в которой он любил сидеть, когда что-нибудь читал, лежало «Воскресение» Толстого, и я все вспоминал, как он ездил к Толстому, когда Толстой лежал больной в Крыму, на даче Паниной.

* * *

Всегда было много крикливых людей, теперь их особенно много. А он был из тех, о ком сказал Саади: «Тот, у кого в кармане склянка с мускусом, не кричит о том на всех перекрестках: за него говорит аромат мускуса...» Я писал, что никогда ни с кем не был он дружен, близок по-настоящему. Теперь это подтверждается.

* * *

Если случалось, что бездарный человек пускался при нем кого-нибудь характеризовать или копировать, он не знал, куда глаза спрятать от стыда за этого человека. Что же чувствовал бы он, читая про свою «нежность»? Очень редко и очень осторожно следует употреблять это слово, говоря о нем. Еще более были бы противны ему эти «теплота и грусть». А ведь идут еще дальше: его, воплощенную сдержанность, твердость и ясность, сравнивают иногда с Коммиссаржевской!

* * *

Может быть, в силу этой ненависти к «высоким» словам, к так называемым поэтическим красотам, к неосторожному обращению

со словом, свойственному многим стихотворцам, а теперешним в особенности, так редко удовлетворялся он стихами. Как восторженно говорил о лермонтовском «Парусе»!

— Это стоит всего Брюсова и Урениуса со всеми их потрохами, — сказал он однажды.

— Какого Урениуса? — спросил я.

— А разве нет такого поэта?

— Нет.

— Ну, Упрудиуса, — сказал он серьезно. — Вот им бы в Одессе жить. Там думают, что самое поэтическое место в мире — Николаевский бульвар: и море, и кафе, и музыка, и все удобства, — каждую минуту сапоги можно почистить.

* * *

Вспоминаю с великим удовольствием еще то, что он терпеть не мог таких слов, как «красиво», «сочно», «красочно».

— Хорошо у Полонского сказано, — говорил я, — «красиво — уж не красота».

— Чудесно! — соглашался он. — А «красочно» — ведь они же не знают, что у художников это бранное слово!

И порою, смеясь, утверждал, что одно из

лучших стихотворений начала двадцатого века написано на стене его ялтинского дома Гилляровским:

*Край, друзья, у вас премилый,
Наслаждайся и гуляй:
Шарик, Тузик косорылый
И какой-то Бакакай.*

Представители того «нового» искусства, которое так хорошо назвал «пересоленной карикатурой на глупость» Толстой, смешны и противны были ему. Да и мог ли он, воплощенное чувство меры, благородства, человек высшей простоты, высшего художественного целомудрия, не возмущаться этими пересоленными карикатурами на глупость, и на величайшую вычурность, и на величайшее бесстыдство, и на неизменную лживость!

Он умер не вовремя. Будь жив он, может быть, все-таки не дошла бы русская литература до такой пошлости, до такого падения, до изломавшихся прозаиков, до косноязычных стихотворцев, кричавших на весь кабак о собственной гениальности...

* * *

Выдумывание художественных подробностей и сближало нас, может быть, больше всего. Он был жаден до них необыкновенно, он мог два-три дня подряд повторять с восхищением удачную художественную черту, и уже по одному этому не забуду я его никогда, всегда буду чувствовать боль, что его нет.

* * *

Раз он купил книжечку, составленную из некоторых произведений моих и Андреева, с пышным заглавием «Восходящие звезды» и с нашими портретами на обложке, — ездил на набережную и возвратился усталый, с зелено-серым лицом с пепельными губами, но с улыбкой на них и с затаенным блеском в глазах, в том внутреннем возбуждении, которое вспыхивало в нем порою по самому ничтожному поводу и держалось долго, означая, что этот ничтожный повод был толчком для творческой игры его мысли, пробудил того Чехова, который когда-то сказал в молодом задоре Короленке: «Хотите, напишу рассказ вот про эту пепельницу?» И как молодо хохотал он в этот день, фантазируя, с каким благоговением могут читать эту книжечку где-ни-

будь в Мариуполе, Бердянске, и глядя то на мой портрет, — я вышел щеголеватым брюнетом, — то на портрет Андреева в поддевке:

— Это французский депутат Букишон, а это казак Ашинов.

* * *

— Ах, с какой чепухи я начал. Боже мой, с какой чепухи! — говорил он.

Если бы он даже ничего не написал, кроме «Скоропостижной конской смерти» или «Романа с контрабасом», то и тогда можно было бы сказать, что в русской литературе блеснул и исчез удивительный ум, потому что ведь выдумывать и уметь сказать хорошую нелепость, хорошую шутку могут только очень умные люди, те, у которых ум «по всем жилушкам переливается». И сам он чрезвычайно ценил этот талант, талант шутки, и тех, кто быстро улавливают шутку.

— Да-с, это уж вернейший признак: не понимает человек шутки, пиши пропало!

— А чаще всего, — сказал я однажды, — страдают этим женщины. Кажись, и умна, а не понимает!

— Ах, да, да. И знаете: это уже не настоя-

щий ум, будь человек хоть семи пядей во лбу.

* * *

«В жизни все просто», — обыкновенно говорил он, бракуя в литературе все нарочитое, искусно скомпанованное, рассчитанное на то, чтобы удивить читателя. <...>

* * *

Чехову не нравился его успех. Он боялся своей славы, боялся стать «модным писателем». <...>

* * *

Во всем, что относилось к труду, он был суров, непримирим: как беспощадно отчитал он Лику Мизинову, когда она, взявшись за перевод, не выполнила работы. <...>

* * *

...Удивительно знал он женское сердце, тонко и сильно чувствовал женственность, среди образов, рождавшихся в его мечте, есть образы пленительные, много было любивших его, и редко кто умел так, как он, говорить с женщинами, трогать их, входить с ними в душевную близость...

* * *

Очень зоркие глаза дал ему бог!

Из Воронежа родители увезли меня в свое орловское имение. Вот с этой поры я и начинаю помнить себя. Там прошло мое детство, отрочество.

В те годы уже завершилось пресловутое дворянское «оскудение», — под таким заглавием написал когда-то свою известную книгу ныне забытый Терпигорев-Атава. После него называли последним из тех, которые «воспевали» погибающие дворянские гнезда, меня, а затем «воспел» погибшую красоту «вишневых садов» Чехов, имевший весьма малое представление о дворянах, помещиках, о дворянских усадьбах, о их садах, но еще и теперь чуть не всех поголовно пленяющий мнимой красотой своего «Вишневого сада». Я Чехова за то очень многое, истинно прекрасное, что дал он, причисляю к самым замечательным русским писателям, но пьес его не люблю, мне тут даже неловко за него, неприятно вспоминать этого знаменитого дядю Ваню, доктора Астрова, который все долбит ни к селу ни к городу что-то о необходимости насаждения лесов, какого-то Гаева, будто бы ужас-

ного аристократа, для изображения аристократизма которого Станиславский все время с противной изысканностью чистил ногти носовым батистовым платочком, — уж не говорю про помещика с фамилией прямо из Гоголя: Симеонов-Пищик. Я рос именно в «оскудевшем» дворянском гнезде. Это было глухое степное поместье, но с большим садом, только не вишневым, конечно, ибо, вопреки Чехову, нигде не было в России садов *сплошь* вишневых: в помещичьих садах бывали только *части* садов, иногда даже очень пространные, где росли вишни, и нигде эти части не могли быть, опять-таки вопреки Чехову, *как раз* возле господского дома, и ничего чудесного не было и нет в вишневых деревьях, совсем некрасивых, как известно, корявых, с мелкой листвой, с мелкими цветочками в пору цветения (вовсе не похожими на то, что так крупно, роскошно цветет как раз под самыми окнами господского дома в Художественном театре); совсем невероятно к тому же, что Лопухин приказал рубить эти доходные деревья с таким глупым нетерпением, не давши их бывшей владелице даже выехать из дому: ру-

бить так поспешно понадобилось Лопахину, очевидно, лишь затем, что Чехов хотел дать возможность зрителям Художественного театра услышать стук топоров, воочию увидеть гибель дворянской жизни, а Фирсу сказать под занавес: «Человека забыли...» Этот Фирс довольно правдоподобен, но единственно потому, что тип старого барского слуги уже сто раз был написан до Чехова. Остальное, повторяю, просто несносно. Гаев, подобно тому как это делают некоторые персонажи и в других пьесах Чехова, постоянно бормочет среди разговора с кем-нибудь чепуху, будто бы играя на бильярде: «Желтого в середину... Дуплет в угол...» Раневская, будто бы помещица и будто бы парижанка, то и дело истерически плачет и смеется: «Какой изумительный сад! Белые массы цветов, голубое небо! Детская! Милая моя, прекрасная комната! (плачет). Шкапик мой родной! (целует шкаф). Столик мой! О, мое детство, чистота моя! (смеется от радости). Белый, весь белый сад мой!» Дальше, — точно совсем из «Дяди Вани», — истерика Ани: «Мама, мама, ты плачешь? Милая, добрая, хорошая моя мама, моя прекрасная, я

люблю тебя... я благословляю тебя! Вишневый сад продан, но не плачь, мама! Мы насадим новый сад, роскошнее этого, и радость, тихая, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час, и ты улыбнешься, мама!» А рядом со всем этим студент Трофимов, в некотором роде «Буревестник»: «Вперед! — восклицает он. — Мы идем неудержимо к яркой звезде, которая горит там, вдали! Вперед! Не отставай, друзья!»

Раневская, Нина Заречная... Даже и это: подобные фамилии придумывают себе провинциальные актрисы. <...>

* * *

Печататься я начал в конце восьмидесятых годов. Так называемые декаденты и символисты, появившиеся через несколько лет после того, утверждали, что в те годы русская литература «зашла в тупик», стала чахнуть и сереть, ничего не знала, кроме реализма, протокольного описания действительности... Но давно ли перед тем появились, например, «Братья Карамазовы», «Клара Милич», «Песнь торжествующей любви»? Так ли уж реалистичны были печатавшиеся тогда «Вечерние

огни» Фета, стихи В. Соловьева? Можно ли назвать серыми появившиеся в ту пору лучшие вещи Лескова, не говоря уже о Толстом, о его изумительных, несравненных «народных» сказках, о «Смерти Ивана Ильича», «Крейцеровой сонате»? И так ли уж были новы — и по духу и по форме — как раз в то время выступившие Гаршин, Чехов?

* * *

«Тайный рыцарь, Кормщик, Зеленая звезда»... Тогда и заглавия книг всех этих рыцарей и кормщиков были не менее удивительны: «Снежная маска», «Кубок метелей», «Змеиные цветы»... Тогда, кроме того, ставили их, эти заглавия, непременно на самом верху обложки в углу слева. И помню, как однажды Чехов, посмотрев на такую обложку, вдруг радостно захохотал и сказал:

— Это для косых!

* * *

Мне Чехов говорил о «декадентах» не только как о жуликах.

— Какие они декаденты! — говорил он. — Они здоровеннейшие мужики, их бы в арстантские роты отдать...

Правда — почти все были «жулики» и «здоровеннейшие мужики», но нельзя сказать, что здоровые, нормальные. Силы (да и литературные способности) у «декадентов» времени Чехова и у тех, что увеличили их число и славились впоследствии, называясь уже не декадентами и не символистами, а футуристами, мистическими анархистами, аргонавтами, равно как и у прочих, — у Горького, Андреева, позднее, например, у тщедушного, дохлого от болезней Арцыбашева или у Кузьмина с его полуголым черепом и гробовым лицом, раскрашенным, как труп проститутки, — были и впрямь велики, но таковы, какими обладают истерики, юроды, помешанные: ибо кто же из них мог назваться здоровым в обычном смысле этого слова? Все они были хитры, отлично знали, что потребно для привлечения к себе внимания, но ведь обладает всеми этими качествами и большинство истериков, юродов, помешанных. И вот: какое удивительное скопление нездоровых, ненормальных в той или иной форме, в той или иной степени было еще при Чехове и как все росло оно в последующие годы! Чахоточ-

ная и совсем недаром писавшая от мужского имени Гиппиус, одержимый манией величия Брюсов, автор «Тихих мальчиков», потом «Мелкого беса», иначе говоря патологического Передонова, певец смерти и «отца» своего дьявола, каменно-неподвижный и молчаливый Сологуб, — «кирпич в сюртуке», по определению Розанова, буйный «мистический анархист» Чулков, иступленный Волынский, малорослый и страшный своей огромной головой и стоячими черными глазами Минский.

* * *

Многим это покажется очень странным, но это так: он не любил актрис и актеров, говорил о них так:

— На семьдесят пять лет отстали в развитии от русского общества. Пошлые, насквозь прожженные самолюбием люди. Вот, например, вспоминаю Соловцова...

— Позвольте, — говорю я, — а помните телеграмму, которую вы отправили Соловцовскому театру после его смерти?

— Мало ли что приходится писать в письмах, телеграммах. Мало ли что и про что гово-

ришь иногда, чтобы не обижать...

И, помолчав, с новым смехом:

— И про Художественный театр...

В девяносто девятом году весной иду как-то в Ялте по набережной и вижу: навстречу идет с кем-то Чехов, закрывается газетой, не то от солнца, не то от этого кого-то, идущего рядом с ним, что-то басом гудящего и все время высоко взмахивающего руками из своей крылатки. Здравуюсь с Чеховым, он говорит: «Познакомьтесь, Горький». Знакомлюсь, гляжу и убеждаюсь, что в Полтаве описывали его правильно: и крылатка, и вот такая шляпа, и дубинка. Под крылаткой желтая шелковая рубаха, подпоясанная длинным и толстым шелковым жгутом кремового цвета, вышитая разноцветными шелками по подолу и вороту. Только не детина и не ражий, а просто высокий и несколько сутулый, рыжий парень с зеленоватыми глазками, с утиным носом в веснушках, с широкими ноздрями и желтыми усиками, которые он, покашливая, все поглаживает большими пальцами: немножко поплюет на них и погладит. Пошли дальше, он закурил, крепко затянулся и тотчас же опять

загудел и стал взмахивать руками. Быстро выкурив папиросу, пустил в ее мундштук слюны, чтобы загасить окурок, бросил его и продолжал говорить, изредка быстро взглядывая на Чехова, стараясь уловить его впечатление. Говорил он громко, якобы от всей души, с жаром, и все образами, и все с героическими восклицаниями, нарочито грубоватыми, первобытными. Это был бесконечно длинный и бесконечно скучный рассказ о каких-то волжских богачах из купцов и мужиков, — скучный прежде всего по своему однообразию гиперболичности, — все эти богачи были совершенно былинные исполины, — а кроме того, и по неумеренности образности и пафоса. Чехов почти не слушал. Но Горький все говорил и говорил...

Чуть не в тот же день между нами возникло что-то вроде дружеского сближения, с его стороны несколько сентиментального, с каким-то застенчивым восхищением мною:

— Вы же последний писатель от дворянства, той культуры, которая дала миру Пушкина и Толстого!

В тот же день, как только Чехов взял из-

возчика и поехал к себе в Аутку, Горький позвал меня зайти к нему на Виноградскую улицу, где он снимал у кого-то комнату, показал мне, морща нос, неловко улыбаясь счастливой, комически-глупой улыбкой, карточку своей жены с толстым, живоглазым ребенком на руках, потом кусок шелка голубенького цвета и сказал с этими гримасами:

— Это, понимаете, я на кофточку ей купил... этой самой женщине... Подарок везу...

Теперь это был совсем другой человек, чем на набережной, при Чехове: милый, шутиливо-ломающийся, скромный до самоунижения, говорящий уже не басом, не с героической грубостью, каким-то все время как бы извиняющимся, наигранно-задушевым волжским говорком с оканьем. Он играл и в том и в другом случае, — с одинаковым удовольствием, одинаково неустанно, — впоследствии я узнал, что он мог вести монологи хоть с утра до ночи и все одинаково ловко, вполне входя то в ту, то в другую роль, в чувствительных местах, когда старался быть особенно убедительным, с легкостью вызывая даже слезы на свои зеленоватые глаза.

Маленькая Ялта, розы, кипарисы... Кофейня и купальня Берне на сваях возле набережной. Мои утра там. Купальщицы — не в костюмах, а в рубашках, вздувающихся в воде.

Весной 1901 года мы с Куприным были в Ялте (Куприн жил возле Чехова в Аутке). Ходили в гости к начальнице Ялтинской женской гимназии Варваре Константиновне Харкевич, восторженной даме, обожательнице писателей. На Пасхе мы пришли к ней и не застали дома.

Пошли в столовую, к пасхальному столу, и, веселясь, стали пить и закусывать.

Куприн сказал: «Давай напишем и оставим ей на столе стихи». И стали, хохоча, сочинять, и я написал на скатерти (она потом вышла):

*В столовой у Варвары Констан-
тиновны
Накрыт был стол отменно-длин-
ный,
Была тут ветчина, индейка, сыр,
сардинки —
И вдруг ото всего ни крошки, ни*

*соринки:
Все думали, что это крокодил,
А это Бунин в гости приходил.*

Чехов несколько дней смеялся и даже выучил наизусть.

Москва.

У Лубянской стены, где букинисты, их лавки, ларьки. Толстомордый малый, торгующий «с рук» бульварными и прочими потрепанными книгами, покупает у серьезного старика-букиниста сочинения Чехова. Букинист назначил двенадцать копеек за том, малый дает восемь. Букинист молчит, малый настаивает. Он лезет, пристаёт — букинист делает вид, что не слушает, нервно поправляет на ларьке книги. И вдруг с неожиданной и необыкновенной энергией:

— Вот встал бы Чехов из гроба, обложил бы он тебя по....! Писал, писал человек, двадцать три тома написал, а ты, мордастый..., за тринку хочешь взять!

16. X 30. Грасс, А. М.



Вот надпись, сделанная Антоном Павлови-

чем на подаренной мне книге. Она осталась в Москве. Опубликована в 20 томе его писем:

«Ивану Алексеевичу Бунину с восторгом и благоговением. Антон Чехов».

* * *

Удивительная у него родословная. Крестьянский род, талантливый, явившийся с севера.

Зуров мне говорил, что в старину среди мастеров лисиного, пушечного и колокольного дела были знаменитые в свое время Чоховы. Может быть, вот почему в семье Чеховых называли их двоюродного брата Михаила Михайловича Чехова — Чоховым. Возможно, что так и произносилась когда-то их фамилия.

* * *

На протяжении XVII столетия родиной предков А. П. Чехова было село Ольховатка, Острогожского уезда, Воронежской губернии.

...Первый Чехов, поселившийся здесь, был пришельцем из других мест и, вероятно, с севера, а не из украинских земель, так как речь Чеховых и в XIX веке и раньше была русская. (Называя себя неоднократно в письмах «хох-

лом», А. П. Чехов, вероятно, имел в виду, что его бабушка со стороны отца была украинкой.)

Иван, Артем и Семен и все их потомки в пяти поколениях числом более ста шестидесяти были землепашцами.

Младший сын Михаила Емельяновича Чехова — Василий сельским хозяйством не занимался. Он был иконописцем.

* * *

Со стороны матери:

Из метрических книг Никольской церкви села Хотимль, раскинувшегося неподалеку на левом берегу реки Тезы, удалось установить, что в середине XVIII века в деревне Фофаново жил крепостной крестьянин Никита Морозов, прапрадед А. П. Чехова со стороны матери.

Второй сын Никиты Морозова, Герасим, родной прадед А. П. Чехова, по данным тех же церковных книг, родился в деревне Фофаново в 1764 году.

Герасим Никитич имел свои баржи, в которых сплавливал хлеб и лес. Кроме того, он торговал другими товарами, в том числе поповски-

ми бобровыми шапками и собольими мехами.

Сплав хлеба производился вниз по реке Цне от Моршанска — Тамбовской губернии, затем по Оке и, наконец, вверх по Клязьме и Тезе. В обратную сторону шел лес.

Отрабатывая офенский оброк, Герасим Никитич сумел в пятидесятитрехлетнем возрасте выкупиться у своего помещика, поручика А. И. Татаринцева, на волю, выкупив вместе с собой и своего младшего сына Якова будущего родного деда А. П. Чехова.

* * *

...Известно, что многие из внуков Герасима Никитича поумирали в раннем возрасте *от чахотки*.

* * *

Через три года после выкупа младший сын Герасима Никитича в восемнадцатилетнем возрасте женился на купеческой дочери Александре Ивановне Кохмаковой.

Деревня Сергеево, родина Кохмаковых, расположена в четырех километрах от знаменитого села Палеха, крупного иконописного центра, оказавшего влияние на жизнь и дея-

тельность жителей населенных мест.

Отец Александры Ивановны, бабушки А. П. Чехова, Иван Матвеевич Кохмаков был торговцем-офеней. Он торговал владимирскими льняными изделиями.

* * *

Ольховатка, село Воронежской губернии, Острогожского уезда, принадлежала помещику Черткову, крепостным которого был дед Чехова, Егор Михайлович, родом из Ольховатки. Там же родились и дядя Чехова Митрофан Егорович и отец его Павел Егорович. <...>

* * *

Есть намек на намерение Антона Павловича по окончании гимназии (через 2 года) поступить в Цюрихский университет, что видно из письма Александра Павловича к нему от 23 июня 1877 года (Письма Ал. Чехова, стр. 42).

Он, по-видимому, учил только немецкий язык, хотел отправиться в немецкую Швейцарию.

Был стипендиатом таганрогской городской Управы. Стипендия (25 рублей в месяц) высылалась неаккуратно.

* * *

...с юности заботился о других.

* * *

Селиванов, к которому не совсем чистыми путями перешел во владение таганрогский дом Чехова, получил его за пятьсот рублей.

* * *

У Чехова каждый год менялось лицо:

В 79 году по окончании гимназии: волосы на прямой ряд, длинная верхняя губа с сосочком.

В 84 году: мордастый, независимый; снят с братом Николаем, настоящим монголом.

В ту же приблизительно пору портрет, писанный братом: губастый, башкирский малый.

В 90 году: красивость, смелость умного живого взгляда, но усы в стрелку.

В 92 году: типичный земский доктор.

В 97 году: в каскетке, в пенсне. Смотрит холодно в упор.

А потом: какое стало тонкое лицо!

Самый лучший портрет его приложен к книге «Чехов в воспоминаниях современников». <...>

* * *

Жизнь его, с детства и до последних лет, была перегружена страданиями, лишениями, тяжелыми трудностями.

* * *

Чехов жил небывало напряженной внутренней жизнью.

* * *

По мнению М. П. Чехова, годы 1888–1889 были какими-то необыкновенными по душевному подъему Антона Павловича: «Он всегда был весел, шутил много и без усталости работал, не мог обходиться без людей». <...>

* * *

Среди видений, посещавших его, была темная, грязная лестница, в пролет которой бросился Гаршин, которого он любил. <...>

* * *

Мелиховские наблюдения послужили основой для рассказов Чехова о русской деревне.

* * *

Толстой, отношение которого к Чехову было отношением нежной влюбленности, сказал: «Вот вы — русский! да, очень, очень рус-

ский», — ласково улыбаясь, обнял Чехова за плечо. <...>

* * *

Перед тем как засесть за книгу «Остров Сахалин», Чехов совершил с Сувориным первое свое заграничное путешествие на Запад. <...>

* * *

Чехов любил с приятелями обедать, ужинать, инициатива была его.

Двадцатого октября 1888, Шехтелю: «...Надо бы нам с Вами поужинать...»

* * *

Прежний характер матери (а отец!). <...>

* * *

...описание воскресного торга у Чехова (в Москве на Трубной площади: «Копошатся, как раки в решете, сотни тулупов, бекеш, меховых картузов, цилиндров. Слышно разногласное пение птиц, напоминающее весну»).

Хорошо.

* * *

А «Убийство» все-таки необыкновенно замечательный рассказ.

* * *

Двадцатого марта 1897 поехал в СПб, но в

Москве — кровь — и клиника! А тут еще Авилова...

* * *

Лучшие, по моему мнению, произведения Чехова.

1883 — Дочь Альбиона.

1884 — Жалобная книга. Устрицы.

1885 — Ворона.

1886 — Святой ночью. Тина. На пути. Хористка.

1887 — Беглец. Холодная кровь. Тиф. Каштанка. Враги.

1888 — Степь. Припадок. Пари (?). Красавицы (первая). Именины (?). Скучная история.

1889 — Княгиня.

1890 — Гусев.

1891 — Дуэль.

1892 — Попрыгунья (рассказ хорош, но ужасное заглавие). Жена. Палата № 6. В ссылке (напечатано во «Всемирной иллюстрации»).

1893 — Рассказ неизвестного человека. Володя большой и Володя маленький.

1894 — Учитель словесности. Черный монах. Бабье царство. Студент. Рассказ старшего

садовника.

1895 — Три года. Убийство. Белолобый. Супруга. Ариадна (хороша женщина).

1896 — Чайка. Дом с мезонином.

1897 — Печенег.

1898 — Ионыч. О любви. Душечка.

1899 — Дама с собачкой. На святках.

1900 — В овраге.

1902 — Архиерей. <...>

III

Чехова до сих пор по-настоящему не знают. <...>

IV

Был у него период жизни необыкновенный. Прав М. П. Чехов, — в эти годы он переживал (судя по письмам) высокий душевный подъем. (Да, но болезнь уже сказывалась.) <...>

* * *

Левитан Исаак Ильич (1861–1900) был психически нездоров. А. П. любил его. В 1885 году летом они жили поблизости от Воскресенска: Чеховы в Бабкине, а Левитан — в Максимовке. Рыбная ловля, охота. Левитан почти поправился.

Чехов носил летом рубашку красного цвета.

* * *

Чехов был связан с Чайковским и Рахманиновым.

* * *

«Хмурые люди» посвящены Петру Ильичу Чайковскому.

Музыка Чайковского — надо посмотреть письма, рассказы «После театра», «Рассказ неизвестного человека», «Три года», гл. X.

* * *

Чайковский Модест Ильич, брат композитора, был большим поклонником Чехова. Но обратил его внимание на Чехова Петр Ильич.

Я был знаком, с Модестом Ильичом. Встречался с ним на Капри. Познакомился у Горького. Очень был приятный человек, хорошо воспитанный и привлекательный.

* * *

В библиотеке Чехова хранится «Фантазия для оркестра» Рахманинова. Надпись такова: «...автору рассказа „На пути“, содержание которого с тем же эпиграфом, служило программой этому музыкальному произведению, 9

ноября 1898 г.»

«На пути» впервые напечатано 25 декабря 1888 года. Писал три недели. <...>

VI

Жаль, что у меня на руках нет писем Анто-на Павловича. Единственно, что уцелело, это его фотография. На ней надпись:

*Милому Ивану Алексеевичу
Бунину
от коллеги
Антон Чехов. 1901.11.19*

Из книги «Воспоминания»*

Автобиографические заметки*

Некоторые автобиографические заметки, касающиеся главным образом моей писательской жизни, были напечатаны мною лет пятнадцать тому назад в собрании моих сочинений, изданном в Берлине «Петрополисом».

Дополняю их некоторыми новыми. <...>

* * *

Моя писательская жизнь началась довольно странно. Она началась, должно быть, в тот бесконечно давний день в нашей деревенской усадьбе в Орловской губернии, когда я, мальчик лет восьми, вдруг почувствовал горячее, беспокойное желание немедленно сочинить что-то вроде стихов или сказки, будучи внезапно поражен тем, на что случайно наткнулся в какой-то книжке с картинками: я увидел в ней картинку, изображавшую какие-то дикие горы, белый холст водопада и какого-то приземистого, толстого мужика, карлика с бабьим лицом, с раздутым горлом,

то есть с зобом, стоявшего под водопадом с длинной палкой в руке, в небольшой шляпке, похожей на женскую, с торчащим сбоку птичьим пером, а под картинкой прочел подпись, поразившую меня своим последним словом, тогда еще, к счастью, неизвестным мне: *«Встреча в горах с кретином»*. Кретин! Не будь этого необыкновенного слова, карлик с зобом, с бабьим лицом и в шляпке вроде женской показался бы мне, вероятно, только очень противным, и больше ничего. Но кретин? В этом слове мне почудилось что-то страшное, загадочное, даже как будто волшебное! И вот охватило меня вдруг поэтическим волнением. В тот день оно пропало даром, я не сочинил ни одной строчки, сколько ни старался сочинить. Но не был ли этот день все-таки каким-то началом моего писательства?

Во всяком случае, можно подумать, будто некий пророческий знак был для меня в том, что наткнулся я в тот день на эту картинку, ибо во всей моей дальнейшей жизни пришлось мне иметь немало и своих собственных встреч с крестинами, на вид тоже доволь-

но противными, хотя и без зоба, из коих некоторые, вовсе не будучи волшебными, были, однако, и впрямь страшны, и особенно тогда, когда та или иная мера кретинизма сочеталась в них с какой-нибудь большой способностью, одержимостью, с какими-нибудь историческими силами, — ведь, как известно, и это бывает, было и будет во всех областях человеческой жизни. Да что! Мне вообще суждена была жизнь настолько необыкновенная, что я был современником даже и таких кретинов, имена которых навеки останутся во всемирной истории. <...>

* * *

Я родился в Воронеже, прожил в нем целых три года, а кроме того, провел однажды целую ночь, но Воронеж мне совсем неизвестен, ибо в ту ночь, что провел я в нем, я его не мог видеть: приглашен был воронежским студенческим землячеством читать на благотворительном вечере в пользу этого землячества, приехал в темные зимние сумерки, в метель, на вокзале был встречен с шампанским, немало угощался и на вечере и перед рассветом был снова отвезен на вокзал к московско-

му поезду уже совсем хмельной. А те три года, что я прожил в Воронеже, были моим младенчеством. <...>

* * *

...В моей молодости новые писатели уже почти сплошь состояли из людей городских, говоривших много несуразного: один известный поэт, — он еще жив, и мне не хочется называть его, — рассказывал в своих стихах, что он шел, «колосья пшена разбирая», тогда как такого растения в природе никак не существует: существует, как известно, просо, зерно которого и есть пшено, а колосья (точнее, метелки) растут так низко, что разбирать их руками на ходу невозможно; другой (Бальмонт) сравнивал лунь, вечернюю птицу из породы сов, оперением седую, таинственно-тихую, медлительную и совершенно бесшумную при перелетах, — со страстью («и страсть ушла, как отлетевший лунь»), восторгался цветением подорожника («подорожник весь в цвету!»), хотя подорожник, растущий на полевых дорогах небольшими зелеными листьями, никогда не цветет; а что до дворянских поместий и владельцев их, то Гумилев изображал

их уж совсем плохо: у него в этих поместьях

—
*Дома косые двухэтажные
И тут же рига, скотный двор, —*

а сами помещики и того удивительнее, они, оказывается, «гордятся новыми поддевками» и по тиранству, по Домострою не уступают любому старозаветному Титу Титычу: дочери их будто бы пикнуть при них не смеют и, принуждаемые ими подумывают «стать русалками», то есть утопиться где-нибудь в речке или в пруду. А совсем недавно один из видных советских поэтов описал какого-то охотника, который идет в лесу «по дерну» и несет в *ягташе* золотую лису: это так же правдоподобно, как если бы он нес в кармане собаку. <...>

* * *

В литературную среду я вошел в середине девяностых годов. Тут я уже не застал, к несчастью, ни Фета, ни Полонского, не застал Гаршина, — его прекрасный человеческий образ сочетался с талантом, который, если бы не погиб в самоубийстве, развился бы, несо-

мненно, так, что поставил бы его в ряд с самыми большими русскими писателями. Но я застал еще не только самого Толстого, но и Чехова; застал Эртеля, тоже замечательного человека и автора «Гардениных», романа, который навсегда останется в русской литературе; застал Короленко, написавшего свой чудесный «Сон Макара», застал Григоровича, — видел его однажды в книжном магазине Суворина: тут передо мной был уже легендарный человек; застал порта Жемчужникова, одного из авторов «Кузьмы Пруткова», часто бывал у него, и он называл меня своим юным другом... Но в те годы была в России уже в полном разгаре ожесточенная война народников с марксистами. <...> А в другом стане уже славились Мережковский, Гиппиус, Бальмонт, Брюсов, Сологуб... Всероссийская слава Надсона в те годы уже кончилась, Минский, его близкий друг, еще недавно призывавший грозу революции:

*Пусть же гром ударит и в мое
жилище,
Пусть я даже буду первый грома
пищей! —*

Минский, все-таки не ставший пиццей грома, теперь перестраивал свою лиру тоже на их лад. Вот незадолго до этого я и познакомился с Бальмонтом, Брюсовым, Сологубом, когда они были горячими поклонниками французских декадентов, равно как Верхарна, Пшибышевского, Ибсена, Гамсуна, Метерлинка, но совсем не интересовались еще пролетариатом. <...>

Вскоре после нашего знакомства Брюсов читал мне, лая в нос, ужасную чепуху:

*О, плачьте,
О, плачьте
До радостных слез!
Высоко на мачте
Мелькает матрос!*

Лаял и другое, нечто уже совершенно удивительное, — про восход месяца, который, как известно, называется еще и луною:

*Всходит месяц обнаженный
При лазоревой луне!*

Впоследствии он стал писать гораздо разумительнее, несколько лет подряд развивал свой стихотворный талант неуклонно, достиг

в версификации большого мастерства и разнообразия, хотя нередко срывался и тогда в дикую словесную неуклюжесть и полное свинство изображаемого:

*Альков задвинутый,
Дрожанье тьмы,
Ты запрокинута,
И двое мы...*

Был он, кроме того, неизменно напыщен не меньше Кузьмы Пруткова, корчил из себя демона, мага, беспощадного «мэтра», «кормщика»... Потом неуклонно стал слабеть, превращаться в совершенно смехотворного стихоплета, помешанного на придумывании необыкновенных рифм:

*Бригам ребра ты дробил,
Чтоб тебя узнать, их главный —
и
Неповторный опыт был...*

Что до Бальмонта, то он своими выкрутасами однажды возмутил даже Гиппиус. Это было при мне на одной из литературных «пятниц» у поэта Случевского. Собралось много народу, Бальмонт был в особенном ударе,

читал свое первое стихотворение с такой самоуспоенностью, что даже облизывался:

Лютики, ландыши, ласки любовные...

Потом читал второе, с отрывистой чеканностью:

*Берег, буря, в берег бьется
Чуждый чарам черный челн...*

Гиппиус все время как-то сонно смотрела на него в лорнет и, когда он кончил и все еще молчали, медленно сказала:

— Первое стихотворение очень пошло, второе — непонятно.

Бальмонт налился кровью:

— Пренебрегаю вашей дерзостью, но желаю знать, на что именно не хватает вашего понимания?

— Я не понимаю, что это за челн и почему и каким таким чарам он чужд, — отдельно ответила Гиппиус.

Бальмонт стал подобен очковой змее:

— Поэт не изумился бы мещанке, обратившейся к нему за разъяснением его поэтического образа. Но когда поэту докучает мещан-

скими вопросами тоже поэт, он не в силах сдержать своего гнева. Вы не понимаете? Но не могу же я приставить вам свою голову, дабы вы стали понятливей!

— Но я ужасно рада, что вы не можете, — ответила Гиппиус. — Для меня было бы истинным несчастьем иметь вашу голову...

Бальмонт был вообще удивительный человек. Человек, иногда многих восхищавший своей «детскостью», неожиданным наивным смехом, который, однако, всегда был с некоторой бесовской хитрецей, человек, в натуре которого было немало притворной нежности, «сладостности», выражаясь его языком, но немало и совсем другого — дикого буянства, зверской драчливости, площадной дерзости. Это был человек, который всю свою жизнь поистине изнемогал от самовлюбленности, был упоен собой, уверен в себе до такой степени, что однажды вполне простодушно напечатал свой рассказ о том, как он был у Толстого, как читал ему свои стихи и как Толстой помирал со смеху, качаясь в качалке: ничуть не смущенный этим смехом, Бальмонт закончил свой рассказ так:

— Старик ловко притворился, что ему мои стихи не нравятся!

С необыкновенной наивностью рассказывал он немало и другого. Например, о том, как посетил он Метерлинка:

— Художественный театр готовился ставить «Синюю птицу» и просил меня, ехавшего как раз тогда за границу, заехать к Метерлинку, спросить его, как он сам мыслит постановку своего создания. Я с удовольствием согласился, но у Метерлинка ожидало меня нечто весьма странное. Во-первых, звонил я в его жилище чуть не целый час, во-вторых, когда, наконец, дозвонился, мне отворила какая-то мегера, загородившая мне порог своей особой. И в-третьих, когда я все-таки эту преграду преступил, то предо мной оказалась такая картина: пустая комната, посреди — всего один стул, возле стула стоит Метерлинк, а на стуле сидит толстая собака. Я кланяюсь, называю себя, в полной уверенности, что мое имя неизвестно хозяину. Но Метерлинк молчит, молча глядит на меня, а подлая собака начинает рычать. Во мне закипает страстное желание сбросить это чудовище со стула на

пол и отчитать хозяина за его неучтивость. Но, сдержав свой гнев, я излагаю причину своего визита. Метерлинк молчит по-прежнему, а собака начинает уже захлебываться от рычания. «Будьте же добры, — говорю я тогда достаточно резко, — соблаговолите мне сказать, что вы думаете о постановке вашего со здания?» И он наконец отверзает уста: «Ровно ничего не думаю. До свиданья». Я выскочил от него со стремительностью пули и с бешенством разъяренного демона...

Рассказывал свое приключение на мысе Доброй Надежды:

— Когда наш корабль, — Бальмонт никогда не мог сказать «пароход», — бросил якорь в гавани, я сошел на сушу и углубился в страну, — тут Бальмонт опять-таки не мог сказать, что он просто вышел за город, — я увидел род вигвама, заглянул в него и увидел в нем старуху, но все же прельстительную своей старостью и безобразием, тотчас пожелал осуществить свою близость с ней, но, вероятно, потому что я, владеющий многими языками мира, не владею языком «зулю», эта ведьма кинулась на меня с толстой палкой, и я

принужден был спастись бегством...

«Я, владеющий многими языками мира...» Не один Бальмонт так бессовестно лгал о своем знании языков. Лгал, например, и Брюсов. <...> Не отставал от него и его соратник по издательству «Скорпион» С. А. Поляков: его сотрудник М. Н. Семенов рассказал недавно в газете «Русская мысль», что этот Поляков «знал все европейские языки и около дюжины восточных...». Вы только подумайте: все европейские языки и около дюжины восточных! Что до Бальмонта, то он «владел многими языками мира» очень плохо, даже самый простой разговор по-французски был ему труден. Однажды в Париже, в годы эмиграции, он встретился у меня с моим литературным агентом, американцем Брадлеем, и когда Брайлей заговорил с ним по-английски, покраснел, смешался, перешел на французский язык, но и по-французски путался, делал грубые ошибки... Как же все-таки сделал он столько переводов с разных языков, даже с грузинского, с армянского? Вероятно, не раз с подстрочников. А до чего на свой лад, о том и говорить нечего. Вот, например, сонет Шелли,

вот его первая строчка, — очень несложная: в пустыне, в песках, лежит великая статуя, — только и всего сказал о ней Шелли; а Бальмонт? «В нагих песках, где вечность сторожит пустыни тишину...»

Что же до незнания «языка зулю», проще говоря, зулусского, и печальных последствий этого незнания, то бывало множество столь же печальных последствий и в других случаях, когда Бальмонт говорил на языках, ему более или менее известных, только тут уже в силу пристрастия Бальмонта к восклицаниям: знаю, как нещадно били его — и не раз — лондонские полицейские в силу этого пристрастия, как однажды били его ночью полицейские в Париже, потому что шел он с какой-то дамой позади двух полицейских и так бешено кричал на даму, ударяя на слово «ваш» («ваш хитрый взор, ваш лукавый ум!»), что полицейские решили, что это он кричит на них на парижском жаргоне воров и апашей, где слово «vache» (корова) употребляется как чрезвычайно оскорбительная кличка полицейских, еще более глупая, чем та, которой оскорбляли их в России: «фараон». А при мне

было однажды с Бальмонтом такое: мы гостили с ним летом под Одессой, в немецком поселке на берегу моря, пошли как-то втроем — он, писатель Федоров и я — купаться, разделись и уже хотели идти в воду, но тут, на беду, вылез из воды на берег брат Федорова, огромный мужик, босяк из одесского порта, вечный острожник, и, увидав его, Бальмонт почему-то впал в трагическую ярость, кинулся к нему, театрально заорал: «Дикарь, я вызываю тебя на бой!» — а «дикарь»; лениво смерил его тусклым взглядом, сгреб в охапку своими страшными лапами и запустил в ключие прибрежные заросли, из которых Бальмонт вылез весь окровавленный...

Удивительный он был вообще человек, — человек, за всю свою долгую жизнь не сказавший ни единого словечка в простоте, называвший в стихах даже тайные прелести своих возлюбленных на редкость скверно: «Зачарованный Грот».

И еще: при всем этом был он довольно расчетливый человек. Когда-то в журнале Брюсова, в «Весах», называл меня, в угоду Брюсову, «малым ручейком, способным лишь жур-

чать». Позднее, когда времена изменились, стал вдруг милостив ко мне, — сказал, прочитав мой рассказ «Господин из Сан-Франциско»:

— Бунин, у вас есть чувство корабля!

А еще позднее, в мои нобелевские дни, сравнил меня на одном собрании в Париже уже не с ручейком, а со львом: прочел сонет в мою честь, в котором, конечно, и себя не забыл, — начал сонет так:

Я тигр, ты — лев!

Расчетлив он был и политически.

В Москве в 1930 году издавалась «Литературная энциклопедия», и вот что сказано о нем в первом томе этой энциклопедии:

«Бальмонт — один из вождей русского символизма... По окончании гимназии поступил в Московский университет, откуда был исключен за участие в студенческом движении. Но общественные интересы его очень скоро уступили место эстетизму и индивидуализму. Короткий рецидив революционных настроений в 1905 году и затем издание в Париже сборника революционных стихотворе-

ний „Песни мстителя“ превратили Бальмонта в политического эмигранта. В Россию вернулся в 1913 году после царского манифеста. На империалистическую войну откликнулся шовинистически. Но в 1920 году опубликовал в журнале Наркомпроса стихотворение „Предвозвещенное“, восторженно приветствуя Октябрьскую революцию. Выехав по командировке Советского правительства за границу, перешел в лагерь белогвардейской эмиграции. Сменив свое преклонение перед гармоническим пантеизмом Шелли на преклонение перед извращенно-демоническим Бодлером, „пожелал стать певцом страстей и преступления“, как сказал о нем Брюсов. В сонете „Уроды“ прославил „кривые кактусы, побеги белены и змей и ящериц отверженные роды, чуму, проказу, тьму, убийство и беду, Гоморру и Содом“, восторженно приветствовал, как „брата“, Нерона...»

Не знаю, что такое «Предвозвещенное», которым, без сомнения, столь же «восторженно», как «чуму, проказу, тьму, убийство и беду», встретил Бальмонт большевиков, но знаю кое-что из того, чем встретил он 1905

год, что напечатал осенью того года в большевистской газете «Новая жизнь», — например, такие строки:

*Кто не верит в победу сознательных,
смелых рабочих,
Тот бесчестный, тот шулер, ведет
он двойную игру!*

Это так глупо и грубо в смысле подхалимства, что, кажется, дальше идти некуда: почему «бесчестный», почему «шулер» и какую такую «ведет он двойную игру»? Но это еще цветочки; а вот в «Песнях мстителя» уже ягодки, такое, чему просто имени нет: тут в стихах под Заглавием «Русскому офицеру», написанных по поводу разгрома московского восстания в конце 1905 года, можно прочесть следующее:

*Грубый солдат! Ты еще не постиг,
Кому же ты служишь лакеем?
Ты сопричеслялся, — о, не на
миг! —
К подлым, к бесчестным, к злодеям!
Я тебя видел в расцвете души,
Встречал тебя вольно красивым.*

Низкий. Как пал ты! В трясине! в
глуши!
Труп ты — во гробе червивом!
Кровью ты залил свой жалкий
мундир,
Душою ты в пропасти темной.
Проклят ты.
Проклят тобою весь мир.
Нечисть! Убийца наемный!

Но и этого мало: дальше идут «песни» о ца-
ре:

Наш царь — убожество слепое,
Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел,
Царь — висельник...
Он трус, он чувствует с запинкой,
Но будет, час расплаты ждет!
Ты был ничтожный человек,
Теперь ты грязный зверь!
Царь губошлепствует...
О мерзость мерзостей!
Распад, зловонье гноя,
Нарыв уже набух и, пухлый, ждет
ножа.
Тесней, товарищи, сплотимтесь
все для боя,
Ухватим этого колючего ежа!
Царь наш весь мерзостный, с ли-

сым хвостом,
С пастью, приличною волку,
К миру людей привыкает — при-
том
Грабит весь мир втихомолку,
Грабит, кошунствуует, ежится,
лжет,
Жалко скулит, как щенята!
Ты карлик, ты Кощей, ты грязью,
кровью пьяный,
Ты должен быть убит!

Все это было напечатано в 1907 году в Париже, куда Бальмонт бежал после разгрома московского восстания и ничуть не помешало ему вполне безопасно вернуться в Россию. А Гржебин, начавший еще до восстания издавать в Петербурге иллюстрированный сатирический журнал, первый выпуск его украсив обложкой с нарисованным на ней во всю страницу голым человеческим задом под императорской короной, даже и не бежал никуда, и никто его и пальцем не тронул... <...>

В конце девяностых годов еще не пришел, но уже чувствовался «большой ветер из пустыни». И был он уже тлетворен в России для той «новой» литературы, что как-то вдруг

пришла на смену прежней. Новые люди этой новой литературы уже выходили тогда в первые ряды ее и были удивительно не схожи ни в чем с прежними, еще столь недавними «властителями дум и чувств», как тогда выражались. Некоторые прежние еще властвовали, но число их приверженцев все уменьшалось, а слава новых все росла. Аким Волынский, видно, недаром объявил тогда: «Народилась в мире новая мозговая линия!» И чуть не все из тех новых, что были во главе нового, от Горького до Сологуба, были люди от природы одаренные, наделенные редкой энергией, большими силами и большими способностями. Но вот что чрезвычайно знаменательно для тех дней, когда уже близится «ветер из пустыни»: силы и способности почти всех новаторов были довольно низкого качества, порочны от природы, смешаны с пошлым, лживым, спекулятивным, с угодничеством улице, с бесстыдной жаждой успехов, скандалов... <...>

Рахманинов*

При моей первой встрече с ним в Ялте произошло между нами нечто подобное тому, что бывало только в романтические годы молодости Герцена, Тургенева, когда люди могли проводить целые ночи в разговорах о прекрасном, вечном, о высоком искусстве. Впоследствии, до его последнего отъезда в Америку, встречались мы с ним от времени до времени очень дружески, но все же не так, как в ту встречу, когда, проговорив чуть не всю ночь на берегу моря, он обнял меня и сказал: «Будем друзьями навсегда!» Уж очень различны были наши жизненные пути, судьба все разъединяла нас, встречи наши были всегда случайны, чаще всего недолги, и была, мне кажется, вообще большая сдержанность в характере моего высокого друга. А в ту ночь мы были еще молоды, были далеки от сдержанности, как-то внезапно сблизились чуть не с первых слов, которыми обменялись в большом обществе, собравшемся, уже не помню почему, на веселый ужин в лучшей ялтинской гостинице «Россия». Мы за ужином

сидели рядом, пили шампанское Абрау-Дюрсо, потом вышли на террасу, продолжая разговор о том падении прозы и поэзии, что совершалось в то время в русской литературе, незаметно спустились во двор гостиницы, потом на набережную, ушли на мол, — было уже поздно, нигде не было ни души, — сели на какие-то канаты, дыша их дегтярным запахом и этой какой-то совсем особой свежестью, что присуща только черноморской воде, и говорили, говорили все горячее и радостнее уже о том чудесном, что вспоминалось нам из Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, Майкова... Тут он взволнованно, медленно стал читать то стихотворение Майкова, на которое он, может быть, уже написал тогда иди только мечтал написать музыку:

*Я в гроте ждал тебя в урочный
час.
Но день померк; главой качая сон-
ной,
Заснули тополи, умолкли гальци-
оны:
Напрасно! Месяц встал, сребрился
и угас;
Редела ночь; любовница Кефала,*

*Облокотись на рдяные врата
Младого дня, из кос своих роняла
Златые зерна перлов и опала
На синие долины и леса...*

Репин

Из художников я встречался с братьями Васнецовыми, с Нестеровым, с Репиным... Нестеров хотел написать меня за мою худобу святым, в том роде, как он их писал; я был польщен, но уклонился, — увидеть себя в образе святого не всякий согласится. Репин тоже удостоил меня — он однажды, когда я был в Петербурге с моим другом художником Нилусом, пригласил меня ездить к нему на дачу в Финляндии, позировать ему для портрета. «Слышу от товарищей по кисти, — писал он мне, — слышу милую весть, что приехал Нилус, наш художник прекрасный, — ах, если бы мне его краски! — а с ним и вы, прекрасный писатель, портрет которого мечтаю написать: приезжайте, милый, сговоримся и засядем за работу». Я с радостью поспешил к нему: ведь какая это была честь — быть написанным Репиным! И вот приезжаю, дивное

утро, солнце и жестокий мороз, двор дачи Репина, помешавшегося в ту пору на вегетарианстве и на чистом воздухе, в глубоких снегах, а в доме — все окна настезь; Репин встречает меня в валенках, в шубе, в меховой шапке, целует, обнимает, ведет в свою мастерскую, где тоже мороз, как на дворе, и говорит: «Вот тут я и буду вас писать по утрам, а потом будем завтракать как господь бог велел: травкой, дорогой мой, травкой! Вы увидите, как это очищает и тело и душу, и даже проклятый табак скоро бросите». Я стал низко кланяться, горячо благодарить, забормотал, что завтра же приеду, но что сейчас должен немедленно спешить назад, на вокзал — страшно срочные дела в Петербурге. И сейчас же вновь расцеловался с хозяином и пустился со всех ног на вокзал, а там кинулся к буфету, к водке, жадно закурил, вскочил в вагон, а из Петербурга на другой день послал телеграмму: дорогой Илья Ефимович, я, мол, в полном отчаянии, срочно вызван в Москву, уезжаю нынче же с первым поездом...

Джером Джером*

Кто из русских не знает его имени, не читал его? Но не думаю, чтобы многие русские могли похвалиться знакомством с ним. Два, три человека разве — и в том числе я.

Я в Англии до 1926 года не бывал. Но в этом году лондонский P.E.N. Club вздумал пригласить меня на несколько дней в Лондон, устроить по этому поводу литературный банкет, показать меня английским писателям и некоторым представителям английского общества.хлопоты насчет визы и расходы по поездке клуб взял на себя — и вот я в Лондоне.

Возили меня в очень разнообразные дома, но в каждом из них я непременно претерпевал что-нибудь достойное Джерома. Чего стоят одни обеды, во время которых тебя жжет с одной стороны пылающий, как геенна огненная, камин, а с другой — полярный холод!

Перед самым отъездом из Лондона я был в одном доме, куда собралось особенно много народа. Было очень оживленно и очень приятно, только так тесно, что стало даже жарко,

и милые хозяйева вдруг распахнули все окна настежь, невзирая на то, что за ними валил снег. Я шутя закричал от страха и кинулся по лестнице спастись в верхний этаж, где тоже было много гостей, и на бегу услышал за собой какие-то радостные восклицания: неожиданно явился Джером Джером.

Он медленно поднялся по лестнице, медленно вошел: в комнату среди почтительно расступившейся публики! и, здороваясь со знакомыми, вопросительно обвел комнату глазами. Так как оказалось, что он пришел только затем, чтобы познакомиться со мной, то его подвели ко мне. Он старомодно и как-то простонародно подал мне большую, толстую руку и маленькими голубыми глазами, в которых играл живой, веселый огонек, пристально поглядел мне в лицо.

— Очень рад, очень рад, — сказал он. — Я теперь, как младенец, по вечерам никуда не выхожу, в десять часов уже в постельку! Но вот разрешил себе маленькое отступление от правил, пришел на минутку — посмотреть, какой вы, пожать вашу руку...

Это был плотный, очень крепкий и призе-

мистый старик с красным и широким бритым лицом, в просторном и длиннополом черном сюртуке, в крахмальной рубашке с отложным воротничком, под которым скромно лежала завязанная бантиком узкая черная ленточка галстука, — настоящий старозаветный коммерсант или пастор.

Через несколько минут он действительно ушел и навсегда оставил во мне впечатление чего-то очень добротного и очень приятного, но уж никак не юмориста, писателя со всемирной славой.

Шаляпин*

В Москве когда-то говорили, что Шаляпин дружит с писателями в пику Собинову, который соперничал с ним в славе: говорили, что тяга Шаляпина к писателям объясняется вовсе не его любовью к литературе, а желанием слыть не только знаменитым певцом, но и «передовым, идейным человеком», — пусть, мол, сходит с ума от Собинова только та публика, которая во все времена и всюду сходила и будет сходиться с ума от теноров. Но мне кажется, что Шаляпина тянуло к нам не всегда

корыстно. Помню, например, как горячо хотел он познакомиться с Чеховым, сколько раз говорил мне об этом. Я наконец спросил:

— Да за чем же дело стало?

— За тем, — отвечал он, — что Чехов нигде не показывается, все нет случая представить-ся ему.

— Помилуй, какой для этого нужен случай! Возьми извозчика и поезжай.

— Но я вовсе не желаю показаться ему на-халом! А кроме того, я знаю, что я так оробею перед ним, что покажусь еще и совершенным дураком. Вот если бы ты свез меня как-нибудь к нему...

Я не замедлил сделать это и убедился, что все была правда: войдя к Чехову, он покраснел до ушей, стал что-то бормотать... А вышел от него в полном восторге:

— Ты не поверишь, как я счастлив, что наконец узнал его, и как очарован им! Вот это человек! Вот это писатель! Теперь на всех прочих буду смотреть как на верблюдов.

— Спасибо, — сказал я, смеясь.

Он захохотал на всю улицу.

* * *

Есть знаменитая фотографическая карточка, — знаменитая потому, что она, в виде открытки, разошлась в свое время в сотнях тысяч экземпляров, — та, на которой сняты Андреев, Горький, Шалапин, Скиталец, Чириков, Телешов и я. Мы сошлись однажды на завтрак в московский немецкий ресторан «Альпийская роза», завтракали долго и весело и вдруг решили ехать сниматься. Тут мы со Скитальцем сперва немножко поругались. Я сказал:

— Опять сниматься! Все сниматься! Сплошная собачья свадьба.

Скиталец обиделся.

— Почему же это свадьба да еще собачья? — ответил он своим грубо-наигранным басом. — Я, например, собакой себя никак не считаю, не знаю, как другие считают себя.

— А как же это назвать иначе? — сказал я. — Идет у нас сплошной пир, праздник. По вашим же собственным словам, «народ пухнет с голоду», Россия гибнет, в ней «всякие напасти, внизу власть тьмы, а наверху тьма власти», над ней «реет буревестник, черной молнии подобен», а что в Москве, в Петербур-

ге? День и ночь праздник, всероссийское событие за событием: новый сборник «Знания», новая пьеса Гамсуна, премьера в Художественном театре, премьера в Большом театре, курсистки падают в обморок при виде Станиславского и Качалова, лихачи мчатся к Яру и в Стрельну...

Дело могло перейти в ссору, но тут поднялся общий смех. Шаляпин закричал:

— Браво, правильно! А все-таки айда, братцы, увековечивать собачью свадьбу! Снимаемся мы, правда, частенько, да надо же что-нибудь потомству оставить после себя. А то пел, пел человек, а помер — и крышка ему.

— Да, — подхватил Горький, — писал, писал — и окошел.

— Как, например, я, — сумрачно сказал Андреев. — Околею в первую голову...

Он это постоянно говорил, и над ним посмеивались. Но так оно и вышло.

* * *

Все считали Шаляпина очень левым, ревели от восторга, когда он пел «Марсельезу» или «Блоху», в которой тоже усматривали нечто революционное, сатанинское, издева-

тельство над королями:

*Жил-был король когда-то,
При нем блоха жила...*

И что же вдруг случилось? Сатана стал на колени перед королем, — по всей России прокатился слух: Шаляпин стал на колени перед царем! Толкам об этом, возмущению Шаляпинным, не было конца-краю. И сколько раз потом оправдывался Шаляпин в этом своем преступлении!

— А как же мне было не стать на колени? — говорил он. — Был бенефис императорского оперного хора, вот хор и решил обратиться на высочайшее имя с просьбой о прибавке жалованья, воспользоваться присутствием царя на спектакле и стать перед ним на колени. И среди хора, было делать? Я никак не ожидал этого коленопреклонения, как вдруг вижу: весь хор точно косою скосило на сцене, все оказались на коленях, протягивая руки к царской ложе! Что же мне было делать? Одному торчать над всем хором телеграфным столбом? Ведь это же был бы форменный скандал!

В России я его видел в последний раз в начале апреля 1917 года, в дни, когда уже приехал в Петербург Ленин. Я в эти дни тоже был в Петербурге и вместе с Шаляпиным получил приглашение от Горького присутствовать на торжественном сборище в Михайловском театре, где Горький должен был держать речь по поводу учреждения им какой-то «Академии свободных наук». Не понимаю, не помню, почему мы с Шаляпиным получили приглашение на это во всех смыслах нелепое сборище. Горький держал свою речь весьма долго, высокопарно и затем объявил:

— Товарищи, среди нас Шаляпин и Бунин! Предлагаю их приветствовать!

Зал стал бешено аплодировать, стучать ногами, вызывать нас. Мы скрылись за кулисы, как вдруг кто то прибежал вслед за нами, говоря, что зал требует, чтобы Шаляпин пел. Выходило так, что Шаляпину опять надо было «становиться на колени». Но он решительно сказал прибежавшему:

— Я не пожарный, чтобы лезть на крышу по первому требованию. Так и объявите в за-

ле.

Прибежавший скрылся, а Шаляпин сказал мне, разводя руками:

— Вот, брат, какое дело: и петь нельзя, и не петь нельзя. — ведь в свое время вспомнят, на фонаре повесят, черти. А все-таки петь я не стану.

И так и не стал. При большевиках уже не был столь храбр. Зато в конце концов ухитрился сбежать от них.

* * *

В июне тридцать седьмого года я слушал его в последний раз в Париже. Он давал концерт, пел то один, то с хором Афонского. Думаю, что уже и тогда он был тяжело болен. Волновался необыкновенно. Он, конечно, всегда волновался, при всех своих выступлениях, — это дело обычное: я видел, как вся тряслась и крестилась перед выходом на сцену Ермолова, видел за кулисами после сыгранной роли Ленского и даже самого Росси, — войдя в свою уборную, они падали просто за смертью. То же самое в некоторой мере бывало, вероятно, и с Шаляпиным, только прежде публика этого никогда не видала. Но на этом

последнем концерте она видела, и Шаляпина спасал только его талант жестов, интонаций. Из-за кулис он прислал мне записку, чтобы я зашел к нему. Я пошел. Он стоял бледный, в поту, держа папиросу в дрожащей руке, тотчас спросил (чего прежде, конечно, не сделал бы):

— Ну что, как я пел?

— Конечно, превосходно, — ответил я. И пошутил: — Так хорошо, что я все время подпевал тебе и очень возмущал этим публику.

— Спасибо, милый, пожалуйста, подпевай, — ответил он со смутной улыбкой. — Мне, знаешь, очень нездоровится, на днях уезжаю отдыхать в горы, в Австрию. Горы, — это, брат, первое дело. А ты на лето куда?

Я опять пошутил:

— Только не в горы. Я и так все в горах: то Монмартр, то Монпарнас.

Он опять улыбнулся, но очень рассеянно.

Ради чего дал он этот последний концерт? Ради того, вероятно, что чувствовал себя на исходе и хотел проститься со сценой, а не ради денег, хотя деньги любил, почти никогда не пел с благотворительными целями, любил

говорить:

— Бесплатно только птички поют.

* * *

В последний раз я видел его месяца за полтора до его кончины, — навестил его, больного, вместе с М. А. Алдановым. Болен он был уже тяжело, но сил, жизненного и актерского блеска было в нем еще много. Он сидел в кресле в углу столовой, возле горевшей под желтым абажуром лампы, в широком черном шелковом халате, в красных туфлях, с высоко поднятым надо лбом коком, огромный и великолепный, как стареющий лев. Такого породистого величия я в нем прежде никогда не видал. Какая была в нем кровь? Та особая севернорусская, что была в Ломоносове, в братьях Васнецовых? В молодости он был крайне простонароден с виду, но с годами все менялся и менялся.

* * *

Толстой, в первый раз послушав его пение, сказал:

— Нет, он поет слишком громко.

Есть еще и до сих пор множество умников, искренне убежденных, что Толстой ровно ни-

чего не понимал в искусстве, «бранил Шекспира, Бетховена». Оставим их в стороне; но как же все-таки объяснить такой отзыв о Шаляпине? Он остался совершенно равнодушен ко всем достоинствам шаляпинского голоса, шаляпинского таланта? Этого, конечно, быть не могло. Просто Толстой умолчал об этих достоинствах, — высказался только о том, что показалось ему недостатком, указал на ту черту, которая действительно была у Шаляпина всегда, а в те годы, — ему было тогда лет двадцать пять, — особенно: на избыток, на некоторую неумеренность, подчеркнутость его всяческих сил. В Шаляпине было слишком много «богатырского размаха», данного ему и от природы и благоприобретенного на подмостках, которыми с ранней молодости стала вся его жизнь, каждую минуту раздражаемая непрестанными восторгами толпы везде и всюду, по всему миру, где бы она его ни видала: на оперной сцене, на концертной эстраде, на знаменитом пляже, в дорогом ресторане или в салоне миллионера. Трудно вкусившему славы быть умеренным!

— Слава подобна морской воде, — чем

больше пьешь, тем больше жаждешь, — шутил Чехов.

Шаляпин пил эту воду без конца, без конца и жаждал. И как его судить за то, что любил он подчеркивать свои силы, свою удасть, свою русскость, равно как и то, «из какой грязи попал он в князи»? Раз он показал мне карточку своего отца:

— Вот посмотри, какой был у меня родитель.

Драл меня нещадно!

Но на карточке был весьма благопристойный человек лет пятидесяти, в крахмальной рубашке с отложным воротничком и с черным галстучком, в енотовой шубе, и я усумнился: точно ли драл? Почему это все так называемые «самородки» непременно были «нещадно драны» в детстве, в отрочестве? «Горький, Шаляпин поднялись со дна моря народного»... Точно ли «со дна»? Родитель, служивший в уездной земской управе, ходивший в енотовой шубе и в крахмальной рубашке, не бог весть какое дно. Думаю, что несколько прикрашено вообще все детство, все отрочество Шаляпина в его воспоминани-

ях, прикрашены друзья и товарищи той поры его жизни, — например, какой-то кузнец, что-то уж слишком красиво говоривший ему о пении:

— Пой, Федя, — на душе веселей будет! Песня — как птица, выпусти ее, она и летит!

И все-таки судьба этого человека была действительно сказочна, — от приятельства с кузнецом до приятельских обедов с великими князьями и наследными принцами дистанция немалая. Была его жизнь и счастлива без меры, во всех отношениях: поистине дал ему бог «в пределе земном все земное». Дал и великую телесную крепость, пошатнувшуюся только после целых сорока лет странствий по всему миру и всяческих земных соблазнов.

* * *

Я однажды жил рядом с Баттистини в гостинице в Одессе: он тогда в Одессе гастролировал и всех поражал не только молодой свежестью своего голоса, но и вообще молодостью, хотя ему было уже семьдесят четыре года. В чем была тайна этой молодости? Отчасти в том, как берег он себя: после каждого

спектакля тотчас же возвращался домой, пил горячее молоко с зельтерской водой и ложился спать. А Шаляпин? Я его знал много лет и вот вспоминаю: большинство наших встреч с ним все в ресторанах. Когда и где мы познакомились, не помню. Но помню, что перешли на «ты» однажды ночью в Большом Московском трактире, в огромном доме против Иверской часовни. В этом доме, кроме трактира, была и гостиница, в которой я, приезжая в Москву, иногда живал подолгу. Слово трактир уже давно не подходило к тому дорогому и обширному ресторану, в который постепенно превратился трактир с годами, и тем более в ту пору, когда я жил над ним в гостинице: в эту пору его еще расширили, открыли при нем новые залы, очень богато обставленные и предназначенные для особенно богатых обедов, для ночных кутежей наиболее знатных московских купцов из числа наиболее европеизированных. Помню, что в тот вечер главным среди пирующих был московский француз Сиу со своими дамами и знакомыми, среди которых сидел и я. Шампанское за столом Сиу, как говорится, лилось рекой, он то и

дело посылал на чай сторублевки неаполитанскому оркестру, игравшему и певшему в своих красных куртках на эстраде, затопленной блеском люстр. И вот на пороге зала вдруг выросла огромная желтоволосого Шаляпина. Он, что называется, «орлиным» взглядом окинул оркестр — и вдруг взмахнул рукой и подхватил то, что он играл и пел. Нужно ли говорить, какой исступленный восторг охватил неаполитанцев и всех пирующих при этой неожиданной «королевской» милости!

Пили мы в ту ночь чуть не до утра, потом, выйдя из ресторана, остановились, прощаясь на лестнице в гостиницу, и он вдруг мне сказал этаким волжским тенорком:

— Думаю, Ванюша, что ты очень выпимиши, и поэтому решил поднять тебя на твой номер на своих собственных плечах, ибо лифт не действует уже.

— Не забывай, — сказал я, — что живу я на пятом этаже и не так мал.

— Ничего, милый, — ответил он, — как-нибудь донесу!

И, действительно, донес, как я ни отбивал-

ся. А донеся, доиграл «богатырскую» роль до конца — потребовал в номер бутылку «сто-летнего» бургонского за целых сто рублей (которое оказалось похоже на малиновую воду).

* * *

Не надо преувеличивать, но не надо и преуменьшать: тратил он себя все-таки порядочно. Без умолку говорить, не давая рта раскрыть своему собеседнику, неустанно рассказывать то то, то другое, все изображая в лицах, сыпать прибаутками, словечками, — и чаще всего самыми крепкими, — жечь папиросу за папиросой и все время «богатырствовать» было его истинной страстью. Как-то неслись мы с ним на лихаче по зимней ночной Москве из «Праги» в «Стрельну»: мороз жестокий, лихач мчит во весь опор, а он сидит во весь свой рост, распахнувши шубу, говорит и хохочет во все горло, курит так, что искры летят по ветру. Я не выдержал и крикнул:

— Что ты над собой делаешь! Замолчи, запахнись и брось папиросу!

— Ты умный, Ваня, — ответил он сладким говорком, — только напрасно тревожишься:

жила у меня, брат, особенная, русская, все выдержит.

— Надоел ты мне со своей Русью! — сказал я...

— Ну, вот, вот. Опять меня бранишь. А я этого боюсь, бранью человека можно в гроб вогнать. Все называешь меня «ой ты, гой еси, добрый молодец»: за что, Ваня?

— За то, что не щеголяй в поддевках, в лаковых голенищах, в шелковых жаровых косоворотках с малиновыми поясками, не наряжайся под народника вместе с Горьким, Андреевым, Скитальцем, не снимайся с ними в обнимку в разудало-задумчивых позах, — помни, кто ты и кто они.

— Чем же я от них отличаюсь?

— Тем, что, например, Горький и Андреев очень способные люди, а все их писания все-таки только «литература» и часто даже лучшая, твой же голос, во всяком случае, не «литература».

— Пьяные, Ваня, склонны льстить.

— И то правда, — сказал я, смеясь. — А ты все-таки замолчи и запахнись.

— Ну, ин будь по-твоему...

И, запахнувшись, вдруг так рывкнул «У Карла есть враги!», что лошадь рванула и понесла еще пуще.

* * *

В Москве существовал тогда литературный кружок «Среда», собиравшийся каждую неделю в доме писателя Телешова, богатого и радужного человека. Там мы читали друг другу свои писания, критиковали их, ужинали. Шляпин был у нас нередким гостем, слушал чтения, — хотя терпеть не мог слушать, — иногда садился за рояль и, сам себе аккомпанируя, пел — то народные русские песни, то французские шансонетки, то «Блоху», то «Марсельезу», то «Дубинушку» — и все так, что у иных «дух захватывало».

Раз, приехав на «Среду», он тотчас же сказал:

— Братцы, петть хочу!

Вызвал по телефону Рахманинова и ему сказал то же:

— Петть до смерти хочется! Возьми лихача и немедля приезжай. Будем петть всю ночь.

Было во всем этом, конечно, актерство. И все-таки легко представить себе, что это за ве-

чер был — соединение Шаляпина и Рахманинова. Шаляпин в тот вечер довольно справедливо сказал:

— Это вам не Большой театр. Меня не там надо слушать, а вот на таких вечерах, рядом с Сережей.

Так пел он однажды и у меня в гостях на Капри, в гостинице «Квисисана», где мы с женой жили три зимы подряд. Мы дали обед в честь его приезда, пригласили Горького и еще кое-кого из каприйской русской колонии. После обеда Шаляпин вызвался петь. И опять вышел совершенно удивительный вечер. В столовой и во всех салонах гостиницы столпились все жившие в ней и множество каприйцев, слушали с горящими глазами, затаив дыхание... Когда я как-то завтракал у него в Париже, он сам вспомнил этот вечер:

— Помнишь, как я пел у тебя на Капри?

Потом завел граммофон, стал ставить напетые им в прежние годы пластинки и слушал самого себя со слезами на глазах, бормоча:

— Неплохо пел! Дай бог так-то всякому!

Его высочество*

Разбирая свои бумаги, нашел пакет с пометкой: «Петр Александров».

В пакете — пачка писем ко мне «Петра Александрова», затем рукопись его наброска «Одиночество», книжечка рассказов («Петр Александров. Сон. Париж. 1921 год») и еще вырезка из парижской социалистической газеты «Дни» — статья М. А. Алданова, посвященная его кончине: он провел остаток своей жизни в эмиграции и умер на пятьдесят шестом году от рождения, в скоротечной чахотке.

Это был удивительный человек.

Алданов назвал его человеком «совершенно удивительной доброты и душевного благородства». Но он был удивителен и многими другими качествами. Он был бы удивителен ими, если бы даже был простым смертным. А в нем текла царская кровь, он, избравший для своей литературной деятельности столь скромное имя — Петр Александров, — в жизни носил имя куда более громкое: принц Петр

Александрович Ольденбургский. Он был из рода, считающегося одним из самых древних в Европе, — последний из русской ветви принцев Ольденбургских, слившейся с родом Романовых, — был правнук императора Павла Петровича, был женат на дочери Александра III (Ольге Александровне).

Крайнее удивление вызвал он во мне в первую же встречу с ним. Это было несколько лет тому назад, в Париже. Я зашел по какому-то делу в Земгор. Там, в приемной, было множество народу, и позади всех, у дверей, одиноко стоял какой-то пожилой человек, очень высокий и на редкость худой, длинный, похожий на военного в штатском. Я прошел мимо него быстро, но сразу выделил его из толпы. Он терпеливо ждал чего-то, стоял тихо, скромно, но вместе с тем так свободно, легко, прямо, что я тотчас подумал: «Какой-нибудь бывший генерал...» Я мельком взглянул на него, на мгновение испытал то пронзительное чувство, которое нередко испытываешь теперь при виде некоторых пожилых и бедных людей, знавших когда-то богатство, власть, знатность: он был очень чи-

сто (по-военному чисто) выбрит и вымыт и точно так же чист, аккуратен и в одежде, очень простой и дешевой: легкое непромокаемое пальто неопределенного цвета, бумажные воротнички, грубые ботинки военного английского образца... Меня удивил его рост, его худоба, — какая-то особенная, древняя, рыцарская, в которой было что-то даже как бы музейное — его череп, совсем голый, маленький, породистый до явных признаков вырождения, сухость и тонкость красноватой, как бы слегка спаленной кожи на маленьком костлявом лице, небольшие подстриженные усы тоже красно-желтого цвета и выцветшие глаза, скорбные, тихие и очень серьезные, под треугольно поднятыми бровями (вернее, следами бровей). Но удивительнее всего было то, что произошло вслед за этим: ко мне подошел один из моих знакомых и, чему-то улыбаясь, сказал:

— Его высочество просит позволения представиться вам.

Я подумал, что он шутит: где же это слышно, чтобы высочества и величества просили позволения представиться!

— Какое высочество?

— Принц Петр Александрович Ольденбургский. Разве вы не видели? Вон он, стоит у двери.

— Но как же это — «просит позволения представиться»?

— Да видите ли, он вообще человек какой-то совсем особенный...

А затем я узнал, что он пишет рассказы из народного быта в духе толстовских народных сказок. Вскоре после нашего знакомства он приехал ко мне и привез ту самую книжечку, насчет которой и ходил в Земгор, печатая ее на свои средства в типографии Земгора: три маленьких рассказа под общим заглавием «Сон». Алданов, упоминая об этих рассказах, говорит: «Средневековые хроники с ужасом говорят о кровавых делах рода Ольденбургских... Один из Ольденбургских, Эгильмар, был особенно знаменит своей свирепостью... А потомок этого Эгильмара и правнук императора Павла Петровича писал рассказы из рабочей и крестьянской жизни, незадолго до кончины выразил желание вступить в Народно-Социалистическую партию! Разные были

в России великие князья. Были и такие, что в 1917 году оказались пламенными республиканцами и изумляли покойного Родзянко красной ленточкой в петлице. Принц Ольденбургский не нацеплял на себя этой ленточки. Тесная дружба, закрепленная в детстве, в день 1-го марта 1881 года, — день убийства императора Александра II, — связывала его с Николаем II — и едва ли кто другой так бескорыстно любил Николая II. Но политику его он всегда считал безумной. Он пытался даже „перубедить“ царя и, не доверяя своей силе убеждения, хотел сблизить его с Толстым. Это одно уже дает представление об образе мысли и о душевном облике Ольденбургского. В нем не было ничего от „красного принца“, от обязательного для каждой династии Филиппа Эгалитэ. Он никогда не гонялся и не мог гоняться за популярностью, которую было нетрудно приобрести в его положении...»

Рассказы его были интересны, конечно, только тем, что тоже давали представление о его душевном облике. Он писал о «золотых» народных сердцах, внезапно прозревающих после дурмана революции и страстно отдаю-

щихся Христу, Его заветам братской любви между людьми, — «единственного спасения мира во всех его страданиях», — писал горячо лирически, но совсем неумело, наивно. Он, впрочем, и сам понимал это и, когда мы сошлись и подружились, не раз говорил мне со всей трогательностью своей безмерной скромности:

— Прости, ради Бога, что все докучаю тебе своими писаниями. Знаю, что это даже дерзко с моей стороны, знаю, что пишу я как ребенок... Но ведь в этом вся моя жизнь теперь. Пишу мало, редко, все больше только мечтаю, только собираюсь писать. Но мечтаю день и ночь и все-таки надеюсь, что напишу наконец что-нибудь путное...

Достаточно удивительно для принца царской крови и его «Одиночество». В нем есть такие строки:

— «Конец сентября. Погожий день. Кругом полосы изумрудных зеленей, желтого жнивья, черных взметов; тихо летают нити серебряной паутины, темнеют еще не успевшие облететь дубравы, далеко, между островами лесов, белеют церкви. Я верхом. На рыску две

борзые собаки, белый кобель и красная сука, идут у самых ног лошади. Кабардинец, слегка покачиваясь, мягко ступает по ровным зеленым. Я постепенно погружаюсь в какую-то полудремоту. Поводья выпали из рук, лежат, свесившись с шеи лошади; я не поднимаю их, боясь пошевелиться, чтобы не нарушить охватившего все мое существо блаженного оцепенения...»

— «Из-под ног лошади выскакивает русак, лошадь вздрагивает, я невольно хватаюсь за поводья. „Ату его, ату его!“ — что есть силы кричу я, скача за собаками. Белый кобель достает его, сшибает на зеленя...»

— «Еду проселком. Собаки, высунувши языки, тяжело дыша, идут позади лошади. Постепенно угар травли проходит. Вспоминаю об охватившей меня сладкой дремоте, стараюсь снова привести себя в то же состояние, но напрасно... зачем не слышу я Ее звонкого смеха, не вижу Ее больших добрых глаз, Ее ласковой улыбки? Неужели навсегда, на всю жизнь разлука, одиночество?»

— «Въезжаю в село. Весело гудят молотилки, хлопают о землю цепи... Недалеко от

церкви, на выгоне, останавливаюсь около за-
коптелой кузницы:

— Семен, а Семен, — несколько раз повто-
ряю я, не слезая с лошади.

Из сарая выходит маленький плотный му-
жик, подходит к лошади, здоровается, ласко-
во глядит на меня снизу вверх, улыбается.

— Здравствуй, Семен. Не зайдешь ли сего-
дня ко мне вечерком посидеть, побеседо-
вать? — робко, почти с мольбой спрашиваю я
его, боясь отказа.

— Что ж, зайду, спасибо, — отвечает он
просто, теребя второченного русака...»

— «Недалеко за селом моя усадьба. Грустно
стоит заколоченный белый дом с колоннами
и мезонином, направо конюшни, налево —
флигелек, в котором поселился я. Меня встре-
чает старик рабочий. Я слезаю с лошади, он
берет ее под уздцы, уводит в конюшню. Вхо-
жу во флигель. Выпиваю несколько рюмок
водки, наскоро обедаю. Сажусь в кресло, ста-
раюсь читать, но не могу прочесть и страни-
цы... Подхожу к окну, гляжу на двор, на зако-
лоченный дом, иду к столу, наливаю стакан
водки, залпом выпиваю...»

Зная, что в этих строках нет ни одного слова выдумки, трудно читать их, не качая головой: какой странный человек! А что выдумки в них нет, об этом он сам говорил мне. Написав «Одиночество», он особенно просил меня помочь ему напечатать его где-нибудь со своей обычной детской простосердечностью и застенчивостью:

— Не скрою от тебя, это мне доставило бы большую радость. Мне набросок очень дорог, потому что в нем, прости за интимность, все правда, — то, что пережито мной лично и что очень мучило меня когда-то... то есть тогда, когда мы разошлись с Олей... с Ольгой Александровной....

Перечитывая эти строки, опять задаю себе все тот же вопрос, который постоянно приходит мне в голову при воспоминании о покойном: но кто же, в конце концов, был этот принц, робко просивший кузнеца провести с ним вечер, человек, с истинно святой простотой называвший при посторонних Николая II — Колей? (Да, однажды, на одном вечере у одного нашего знакомого, где большинство гостей были старые революционеры, он, слу-

шая их оживленную беседу, совершенно искренно воскликнул: «Ах, какие вы все милые, прелестные люди! И как грустно, что Коля никогда не бывал на подобных вечерах! Все, все было бы иначе, если бы вы с ним знали друг друга!») Ответить на этот вопрос, — что за человек был он, — я точно никогда не мог. Не могу и теперь. Некоторые называли его просто «ненормальным». Все так, но ведь и святые, блаженные были «ненормальны»...

Письма ко мне тоже очень рисуют его. Привожу некоторые строки из них:

— ...Я поселился в окрестностях Байоны, на собственной маленькой ферме, занимаюсь хозяйством, завел корову, кур, кроликов, копаюсь в саду и в огороде... по субботам езжу к родителям, которые живут неподалеку, в окрестностях Сэн-Жан-де-Люз... Давно ничего не писал; даже не могу кончить начатого еще летом рассказа; когда кончу, пришлю его Тебе с просьбой подвергнуть самой строгой критике... Очень соскучился по парижским знакомым... Переношусь мысленно в вашу парижскую квартиру: как было мне уютно у вас и как хорошо говорилось! Никогда не забуду ва-

шего более чем доброго отношения ко мне...
(1921 г.)

— ...Спасибо Тебе большое за ласковое, доброе и милое письмо! Радуюсь от души, что Ты опять принялся за работу. Ты пишешь, что вы собираетесь на юг, что в Париже дорого и холодно... Приезжайте в наши края, тут и теплей и дешевле. Этим летом, прежде чем поселиться на ферме, я два раза останавливался в одном пансиончике в предместье Сэн-Жан-де-Люз. Платил двадцать франков за все, стол отличный, комнаты, конечно, далеко не роскошны, но чисты и приятны, хозяйки, мать и две дочери, баски, потомки знаменитого китолова, патриархальны, симпатичны, я чувствовал себя у них как дома... (1921 г.)

— ...Здесь стояли холода, теперь настала дождливая погода, море бушует... Настроение у меня не радостное, хочется поскорее весны, думается, что с ней пройдет и тоска. Сегодня начал писать, но что-то не пишется, не нахожу слов для выражения мысли, изображения картины... (1922 г.)

— ...Своим письмом Ты меня несказанно обрадовал. Спасибо Тебе большое за все, что

Ты для меня сделал... Начал писать задуманную повесть, но пишу с большим трудом. Погода ужасная, бури, дождь; может быть, с весной, с солнцем станет на душе легче, а пока тоска и страшно одиноко... Очень прошу Тебя не отказать сообщить мне, когда будет напечатан мой рассказ в «Сполохах» и где можно купить этот журнал? С нетерпением жду свидания с Тобой в Париже... (1922 г.)

В сущности, я знал его мало: встречал не часто, — мы все жили в разных местах, — до эмиграции даже не видал никогда, сведений о его прежней жизни, в России, имею немного: до войны он, в чине генерал-майора, командовал стрелками императорской фамилии... в 1917 году вышел в отставку и поселился в деревне, в Воронежской губернии, где мужики — тоже довольно странная история — предлагали его кандидатуру в Учредительное собрание... потом, с наступлением террора, бежал во Францию и большей частью жил по соседству со своим отцом Александром Петровичем Ольденбургским, на этой ферме под Байоной (которую, кстати сказать, он завещал своему бывшему денщику,

тоже бежавшему вместе с ним из России и неотлучно находившемуся при нем почти до конца его жизни в качестве и слуги и друга)... Неизвестен мне полностью и его характер, — Бог ведает, может быть, были в нем кроме тех черт, которые знал я, и другие какие-нибудь. Я же знал только прекрасные; эту действительно «совершенно исключительную доброту», это «душевное благородство», равное которому надо днем с огнем искать, необыкновенную простоту и деликатность в обращении с людьми, редкую нежность в дружбе, горячее и неустанное стремление ко всему, что дает человеческому сердцу мир, любовь, свет и радость...

Сперва он жил под Парижем, — и тут мы встречались чаще всего, — потом, как уже сказано выше, под Байоной. Потом он неожиданно, к общему нашему изумлению, вторично женился: встречаю его как-то в нашем консульстве (это было еще до признания Францией большевиков, тогда, когда посольство на улице Гренелль, еще оставалось в нашем эмигрантском распоряжении), и вдруг он как-то особенно нежно обнимает меня и

говорит: «Не дивись, я тебя представлю сейчас моей невесте... Мы с ней пришли сюда как раз по нашему делу, насчет исполнения разных формальностей, нужных нам для свадьбы...» Брачная жизнь его продолжалась, однако, опять недолго. Недолго после того и прожил он. Через год, приехав весной искать дачу в Вансе (возле Ниццы), мы с женой вдруг встретили его там: одиноко сидит возле кафе на площади, увидав нас, удивленно вскакивает, спешит навстречу:

— Боже, как я рад! Вот не чаял!

— А ты зачем и почему здесь?

Он махнул рукой и заплакал:

— Видишь: даже не смею обнять тебя и поцеловать руку Вере Николаевне, у меня внезапно открылась чахотка, послали сюда лечиться, спасаться югом...

Юг ему не помог. Он переехал в Париж, жил свою последнюю зиму в санатории. Но не помогла и санатория: к весне его опять перевезли на Ривьеру, где он вскоре и скончался — в бедности, в полном одиночестве....

Той зимой он в последний раз посетил меня. Попросил письмом позволения приехать.

«Умоляю Тебя, как только это будет Тебе возможно, назначь мне свидание по очень важному для меня делу...» И вскоре, как-то вечером, приехал — едва живой, задыхающийся, весь облитый дождем. И дело его оказалось такое, что мне и теперь больно вспоминать о нем: его хотели взять в опеку, объявить умышленно лишенным (все из-за того, что он подписал ферму под Байоной своему денщику), и вот он приехал просить меня написать куда-то удостоверение, что я нахожу его в здравом уме и твердой памяти...

— Но, дорогой мой, помилуй, какое же может иметь значение мое удостоверение?

— Ах, ты не знаешь: очень большое! Если можешь, пожалуйста, напиши!

Я, конечно, написал. Но вскоре смерть освободила его от всех наших удостоверений.

* * *

Гроб его стоит теперь в подземелье русской церкви в Каннах, ожидая России, успокоения в родной земле.

Куприн*

Это было давно — когда я только что узнал о его существовании, впервые увидел в «Русском богатстве» его имя, которое все тогда произносили с ударением на первом слоге, и этим ударением, как я видел это впоследствии, почему-то так оскорбляли его, что он, как всегда в минуты гнева, по-звериному щурил глаза, и без того небольшие, и вдруг запальчиво бормотал своей обычной армейской скороговоркой, ударяя на последний слог:

— Я — Куприн и всякого прошу это помнить. На ежа садиться без штанов не советую.

Сколько в нем было когда-то этого звериного — чего стоит одно обоняние, которым он отличался в необыкновенной степени! И сколько татарского! Насчет многого, что касалось его личной жизни, он был очень скрытен, так что, несмотря на всю нашу большую и такую долгую близость, я плохо знаю его прошлое. Знаю, что он учился в Москве, сперва в кадетском корпусе, потом в Александровском военном училище, недолгое время был

офицером на русско-австрийской границе, а затем чем только не был! Изучал зубоврачебное дело, служил в каких-то конторах, потом на каком-то заводе, был землемером, актером, мелким журналистом... Кто был его отец? Кажется, военный врач, благодаря чему Александр Иванович и попал в кадетский корпус. Знаю еще, что он рано умер и что вдова его оказалась в такой бедности, что принуждена была жить в московском «Вдовьем доме». Про нее знаю, что, по происхождению, она была княжна с татарской фамилией, и всегда видел, что Александр Иванович очень гордился своей татарской кровью. Одну пору (во время своей наибольшей славы) он даже носил цветную тубетейку, бывал в ней в гостях и в ресторанах, где садился так широко и важно, как пристало бы настоящему хану, и особенно узко щурил глаза. Это была пора, когда издатели газет, журналов и сборников на лихачах гонялись за ним по этим ресторанам, в которых он проводил дни и ночи со своими случайными и постоянными собутыльниками, и униженно умоляли его взять тысячу, две тысячи рублей авансом за одно только

обещание не забыть их при случае своей милостью, а он, грузный, большепелищый, только щурился, молчал и вдруг отрывисто кидал таким зловещим шепотом: «Геть сию же мину-ту к чертовой матери!» — что робкие люди сразу словно сквозь землю проваливались. Но даже и тогда, в эту самую плохую его пору, много было в нем и совсем другого, столь же характерного для него: наряду с большой гордостью много неожиданной скромности, на-ряду с дерзкой запальчивостью много доброты, отходчивости, застенчивости, часто принимавшей какую-то даже жалостную форму, много наивности, простодушия, хотя порой и наигранного, много мальчишеской веселости и того милого однообразия, с которым он все изъяснялся в своей постоянной любви к собакам, к рыбакам, к цирку, к Дурову, к Поддубному — и к Пушкину, к Толстому, — тут он, впрочем, неизменно говорил только о лошади Вронского, о «прелестной, божественной Фру-Фру», — и еще к Киплингу. За последние годы критики не раз сравнивали его самого с Киплингом. Сравнивали, разумеется, неудачно, — Киплинг возвышался в некоторых сво-

их вещах до подлинной гениальности, Киплинг был настолько велик, как поэт, и настолько своеобразен, един в своем роде, что кого же можно с ним сравнить? Но что Куприн мог любить его, вполне естественно.

Я поставил на него ставку тотчас после его первого появления в «Русском богатстве» и потому с радостью услышал однажды, гостя у писателя Федорова в Люстдорфе, под Одессой, что к нашим сожителям по даче Карышевым приехал писатель Куприн, и немедля пошел с Федоровым знакомиться с ним. Лил дождь, но все-таки дома мы его ее застали, — «он, верно, купается», — сказали нам. Мы сбежали к морю и увидали неловко вылезающего из воды невысокого, слегка полного и розового телом человека лет тридцати, стриженного каштановым ежиком, близоруко разглядывающего нас узкими глазами. — «Куприн?» — «Да, а вы?» — Мы назвали себя, и он сразу просиял дружеской улыбкой, энергично пожал наши руки своей небольшой рукой (про которую Чехов сказал мне однажды: «Талантливая рука!»). После знакомства мы сошлись с ним удивительно быстро, — в нем тогда веселости

и добродушия было так много, что на всякий вопрос о нем, — кроме того, что касалось его семьи, его детства, — он отвечал с редкой поспешностью и готовностью своей отрывистой скороговоркой: «Откуда я сейчас? Из Киева... Служил в полку возле австрийской границы, потом полк бросил, хотя звание офицера считаю самым высоким... Жил и охотился в Полесье, — никто даже себе и представить не может, что такое охота на глухарей перед рассветом! Потом за гроши писал всякие гнусности для одной киевской газетки, ютился в трущобах среди самой последней сволочи... Что я пишу сейчас? Ровно ничего, — ничего не могу придумать, а положение ужасное — посмотрите, например: так разбились штиблеты, что в Одессу не в чем поехать... Слава богу, что милые Карышевы приютили, а то бы хоть красть...»

В это чудесное лето, в южные теплые звездные ночи мы с ним без конца скитались и сидели на обрывах над бледным летаргическим морем, и я все приставал к нему, чтобы он что-нибудь написал, хотя бы просто для заработка. «Да меня же никуда не примут», —

жалостливо скулил он в ответ. «Но ведь вы уже печатались!» — «Да, а теперь, чувствую, напишу такую ерунду, что не примут». — «Я хорошо знаком с Давыдовой, издательницей „Мира божьего“, — ручаюсь, что там примут». — «Очень благодарю, но что ж я напишу? Ничего не могу придумать!» — «Вы знаете, например, солдат, — напишите что-нибудь о них. Например, как какой-нибудь молодой солдат ходит ночью на часах и томится, скучает, вспоминает деревню...» — «Но я же не знаю деревни!» — «Пустяки, я знаю, давайте придумывать вместе...» Так и написал он свою «Ночную смену», которую мы послали в «Мир божий», потом еще какой-то рассказик, который я немедленно отвез в Одессу, в «Одесские новости», — сам он почему-то «ужасно боялся», — и за который мне удалось тут же схватить для него двадцать пять рублей авансом. Он ждал меня на улице и, когда я выскочил к нему из редакции с двадцатипятирублевкой, глазам своим не поверил от счастья, потом побежал покупать себе «штиблеты», потом на лихаче помчал меня в приморский ресторан «Аркадию» угощать жареной

скумбрией и белым бессарабским вином... Сколько раз, сколько лет и какой бешеной скороговоркой кричал он мне во хмелю впоследствии:

— Никогда не прошу тебе, как ты смел мне благодетельствовать, обувать меня, нищего, босого!

Странно вообще шла наша дружба в течение целых десятилетий: то бывал он со мной нежен, любовно называл Ричардом, Альбертом, Васей, то вдруг озлоблялся, даже трезвый: «Ненавижу, как ты пишешь, у меня от твоей изобразительности в глазах рябит. Одно ценю, ты пишешь отличным языком, а кроме того, отлично верхом ездешь. Помнишь, как мы закатывались в Крыму в горы?» Про хмельного я уж и не говорю: во хмелю, в который он впадал, несмотря на все свое удивительное здоровье, от одной рюмки водки, он лез на ссоры чуть не со всяким, кто попался ему под руку. Дикая горячность его натуры была вообще совершенно поразительна, равно как и переменчивость настроений. Чем больше я узнавал его, тем все больше думал,

что нет никакой надежды на его мало-мальски правильную, обыденную жизнь, на планомерную литературную работу: мотал он свое здоровье, свои силы и способности с расточительностью невероятной, жил где попало и как попало с бесшабашностью человека, которому все трын-трава...

Первые годы нашего знакомства чаще всего мы встречались в Одессе, и тут я видел, как он опускается все больше и больше, дни проводит то в порту, то в самых низких кабачках и пивных, ночует в самых страшных номерах, ничего не читает и никем не интересуется, кроме портовых рыбаков, цирковых борцов и клоунов... В эту пору он особенно часто говорил, что писателем он стал совершенно случайно, хотя с великой страстью, даже сладострастием предавался при встречах со мной смакованию всяких острых художественных наблюдений и очень часто проявлял какие-то едкие душевные склонности — охоту, например, к издевательствам над людьми. «Взять какого-нибудь болвана, — часто говорил он с упоением, — взять какую-нибудь самолюбивую бездарность и одурачить

ее самыми бесстыдными похвалами, вообще всячески „развертеть“ ее, — да что же может быть слаще этого?»

Потом в жизни его вдруг выступил резкий перелом: он попал в Петербург, вошел в близость с литературной средой, неожиданно женился на дочери Давыдовой, в дом которой я ввел его, стал хозяином «Мира божьего», потому что Давыдова умерла через несколько дней после того, как он совершенно внезапно сделал предложение ее дочери, жить стал в достатке, с замашками барина, все больше делаясь своим человеком и в высших литературных кругах, главное же, стал много писать и каждой своей новой вещью завоевывал себе все больший успех. В эту пору, он написал свои лучшие вещи: «Конокрад», «Болото», «Трус», «Река жизни», «Гамбринус»... Когда появился его «Поединок», слава его стала особенно велика...

Восемнадцать лет тому назад, когда мы жили с ним и его второй женой уже в Париже, — самыми близкими соседями, в одном и том же доме, — и он пил особенно много, доктор, осмотревший его, однажды твердо сказал

нам: «Если он пить не бросит, жить ему осталось не больше шести месяцев». Но он и не подумал бросить пить и держался после того еще лет пятнадцать, «молодцом во всех отношениях», как говорили некоторые. Но всему есть предел, настал конец и редким силам моего друга: года три тому назад, приехав с юга, я как-то встретил его на улице и внутренне ахнул: и следа не осталось от прежнего Куприна! Он шел мелкими, жалкими шажками, плелся такой худенький, слабенький, что, казалось, первый порыв ветра сдует его с ног, не сразу узнал меня, потом обнял с такой трогательной нежностью, с такой грустной кротостью, что у меня слезы навернулись на глаза. Как-то я получил от него открытку в две-три строчки, — такие крупные, дрожащие каракули и с такими нелепыми пропусками букв, точно их выводил ребенок... Все это и было причиной того, что за последние два года я не видел его ни разу, ни разу не навестил его: да простит мне бог — не в силах был видеть его в таком состоянии.

Прошлым летом, проснувшись утром под Парижем в поезде, на возвратном пути из

Италии, и развернув газету, поданную мне вагонным проводником, я был поражен совершенно неожиданным для меня известием: «Александр Иванович Куприн возвратился в СССР...»

Никаких политических чувств по отношению к его «возвращению» я, конечно, не испытал. Он не уехал в Россию, — его туда увезли, уже совсем больного, впавшего в младенчество. Я испытал только большую грусть при мысли, что уже никогда не увижу его больше.

* * *

Перечитывая Куприна, думая, между прочим, о времени его славы, вспоминаю его отношение к ней. Другие — Горький, Андреев, Шаляпин — жили в непрестанном упоении своими славками, в непрерывном чувствовании их не только на людях, на всяких публичных собраниях, но и в гостях, друг у друга, в отдельных кабинетах ресторанов, — сидели, говорили, курили с ужасной неестественностью, каждую минуту подчеркивали избранность своей компании и свою фальшивую дружбу этими к каждому слову прибавляемы-

ми «ты, Алексей, ты, Леонид, ты, Федор...». А Куприн, даже в те годы, когда мало уступал в российской славе Горькому, Андрееву, нес ее так, как будто ничего нового не случилось в его жизни. Казалось, что он не придает ей ни малейшего значения, дружит, не расстается только с прежними и новыми друзьями и собутыльниками вроде пьяницы и босяка Маныча. Слава и деньги дали ему, казалось, одно — уже полную свободу делать в своей жизни то, чего моя нога хочет, жечь с двух концов свою свечу, посылать к черту все и вся.

— Я не честолюбив, я самолюбив, — как-то сказал я ему по какому-то поводу.

— А я? — быстро спросил он. И на минуту задумался, сощурился, по своему обыкновению, глаза и пристально вглядываясь во что-то вдали. Потом зачастил своей армейской скороговоркой: — Да, я тоже. Я самолюбив до бешенства и от этого застенчив иногда до низости. А на честолюбие не имею даже права. Я писателем стал случайно, долго кормился чем попало, потом стал кормиться рассказышками, — вот и вся моя писательская история.

Он это часто повторял — «я стал писателем случайно». Это, конечно, неправда, опровергается его же собственными автобиографическими признаниями в «Юнкерах». Но вот что правда — это то, что, выйдя из полка и кормясь потом действительно чем попало, он кормился, между прочим, при какой-то киевской газетке не только журнальной работой, но и «рассказишками». Он мне говорил, что эти «рассказишки» он сбывал «за сущие гроши, но очень легко», а писал «на бегу, на лету, посвистывая» и ловко попадая, по своей талантливости, во вкус редактору и читателям. И с той же ловкостью он продолжал писать — уже не для киевской газетки, а для толстых журналов.

Я сказал: «по своей талантливости». Нужно сказать сильнее — большой талантливости. Всем известно, в какой среде он рос, где и как провел свою молодость и с какими людьми общался всю свою последующую жизнь. А что он читал? И где и когда? В своем автобиографическом письме к критику Измайлову он говорит:

— Когда я вышел из полка, самое тяжелое

было то, что у меня не было никаких знаний, ни научных, ни житейских. С ненасытимой и до сей поры жадностью я накинулся на жизнь и на книги...

Но надолго ли накинулся он на книги (если только правда, что «накинулся»)? Во всяком случае, слова «и до сей поры» — весьма сомнительны. Все его развитие, все образование совершалось тоже «на лету», давалось ему и усваивалось им по его способностям легко, следствием чего и вышло то, что в смысле — как бы это сказать? — интеллигентности, что ли, — уровень его произведений был вполне обычный. Нужно помнить еще и то, что он всю жизнь пил, так что даже удивительно, как он мог при этом писать, да еще нередко так ярко, крепко, здраво, вообще в полную противоположность с тем, как он жил, каким был в жизни, а не в писательстве.

Как он жил, каким он был в жизни, известно. И вот что замечательно: та разница, которая была между тем, как он жил и как писал. Критики без конца говорили о необыкновенной «стихийности», «непосредственности» его произведений, о той «первичности пере-

живаний, которыми они пленяют». Читаешь о нем и сейчас то же самое: «Помешали Куприну стать великим писателем только стихийность его дарований и истинно русская небрежливость, слишком большое доверие к „нутру“, в ущерб законченности и отделанности во всех смыслах... то, что он „не кончил консерватории“, как говорили символисты о бытовиках... в своем творчестве Куприн, по самой природе своей, не-книжный человек, не вдохновлялся литературными сюжетами... Ни в нем, ни в его героях не было двойственности...» *Все это требует больших оговорок.* Точно ли не было двойственности в нем? Жил он действительно «стихийно», «непосредственно», «по нутру» — тут ему и впрямь всякое море было по колено, тут он так не ценил ни своего тела, ни ума, ни сердца, ни своей репутации, что был и еще долго будет притчей во языцех. А каким был как писатель? Нет, «консерваторию» он проходил (это уже другое дело, какую именно). И в силу его талантности, той быстроты, с которой он набивал руку в писательстве, *далеко не все шло ему на пользу тут.*

Это еще мелочи, — то, что немало было в его рассказах даже и средней поры его писательства таких пошлых выражений, как «шикарная женщина», «шикарный ресторан», «железный закон борьбы за существование», «его нежная, почти женственная натура содрогалась от грубых прикосновений действительности с ее бурными, но суровыми нуждами», «стройная, грациозная фигура Нины, личико которой обрамляли пряди пепельных волос, неотступно носилась перед его умственным взором...» Это еще полбеда, — беда в том, что в талантливость Куприна входил большой дар заражаться и пользоваться не только мелкими шаблонами, но и крупными, не только внешними, но и внутренними. И выходило так: требуется что-нибудь подходящее для киевской газетки? пожалуйста, — в пять минут сделаю и, если нужно, не побрезгаю писать вроде того, что «заходящее солнце косыми лучами освещало вершины деревьев...»; надо писать рассказ для «Русского богатства»? И за этим дело не постоит, — вот вам «Молох»: «Заводской гудок протяжно ревел, возвещая начало рабочего дня. Густой, хриплый

звук, казалось, выходит из-под земли и растопляется по ее поверхности...»

Разве плохо для вступления в смысле литературности? Все честь честью — вплоть до пошлого ритма этих двух предложений, который едва ли уступит ритму фразы о заходящем солнце с его косыми лучами. Все как надо и дальше, есть все, что требуется *по образцам данного времени*, и все, что полагается для рассказа о «Молохе»: «Нежная, почти женственная натура» болезненно-нервного интеллигента, инженера Боброва, который доходит на своей «страдальческой» службе капитализму до морфинизма, «акула» капитализма Квашнин, выдающий замуж за своего служащего, подлого карьериста, эту «стройную, грациозную» Нину, дочь другого заводского служащего и возлюбленную Боброва, с целью сделать ее своей любовницей, бунт доведенных до отчаяния голодом и холодом рабочих, пожар завода...

Я всегда помнил те многие большие достоинства, с которыми написаны его «Конокрады», «Болото», «На покое», «Лесная глушь», «Река жизни», «Трус», «Штабс-капитан Рыбни-

ков», «Гамбринус», чудесные рассказы о балаклавских рыбаках и даже «Поединок» или начало «Ямы», но всегда многое задевало меня даже и в этих рассказах. Вот, например, в «Реке жизни», предсмертное письмо застрелившегося в номерах «Сербия» студента: «Не я один погиб от моральной заразы... Все прошлое поколение выросло в духе набожной тишины, насильственного почтения к старшим, безличности и безгласности. Будь же проклято это подлое время, время молчания и нищенства, это благоденственное и мирное житие под безмолвной сенью благочестивой реакции!» Это ли не «литература»? Потом я долго не перечитывал его и, когда теперь решил перечесть, тотчас огорчился: я сперва стал только перелистывать его книги и увидел на них множество моих давнишних карандашных отметок. Вот кое-что из того, что я отмечал:

— Это была страшная и захватывающая картина (картина завода). Человеческий труд кипел здесь, как огромный и прочный механизм. Тысяча людей собрались сюда с разных концов земли, чтобы, повинувшись железному

закону борьбы за существование, отдать свои силы, здоровье, ум и энергию за один только шаг вперед промышленного прогресса... («Молох».)

— Весь противоположный угол избы занимала большая печь, и с нее глядели, свесившись вниз, две детские головки с выгоревшими на солнце волосами... В углу, перед образом, стоял пустой стол, и на металлическом пруте спускалась с потолка висячая убогая лампа с черным от копоти стеклом. Студент присел около стола, и тотчас ему стало скучно и тяжело, как будто он пробыл здесь много, много часов в томительном и вынужденном бездействии...

— Окончив чай, он (мужик) перекрестился, перевернул чашку вверх дном, а оставшийся крошечный кусочек сахару бережливо положил обратно в коробочку...

— В оконное стекло билась и настойчиво жужжала муха, точно повторяя все одну и ту же докучную, бесконечную жалобу...

— К чему эта жизнь? — говорил он (студент) со страстными слезами на глазах. — Кому нужно это жалкое, нечеловеческое прозя-

бание? Какой смысл в болезнях и смертях милых, ни в чем не повинных детей, у которых высасывает кровь уродливый болотный кошмар... («Болото».)

— Станный звук внезапно нарушил глубокое ночное молчание... Он пронесся по лесу низко, над самой землей, и стих... («Лесная глушь».)

— Он открывал глаза, и фантастические звуки превращались в простой скрип половиц, в звон колокольчиков на дышле; и по-прежнему расстилались и налево и направо спящие белые поля, по-прежнему торчала перед ним черная, согнутая спина очередного ямщика, по-прежнему равномерно двигались лошадиные крупы и мотались завязанные в узел хвосты...

— Позвольте представиться: местный пристав и, так сказать, громовержец, Ирисов, Павел Афиногенович... («Жидовка».)

Право, трудно было не отмечать все эти тысячу раз петые и перепетые, обязательно «свешивающиеся с печки» детские головки, этот вечный огрызок сахара, муху, которая «точно повторяла докучную жалобу», чехов-

ского студента из «Болота», тургеневский «странный звук, внезапно пронесшийся по лесу», толстовскую дремоту в санях («по-прежнему равномерно двигались лошадиные крупы...»), этого громовержца пристава, фамилия которого уж непременно Ирисов или Гиацинтов, а отчество Афиногенович или Ардалионович — и опять это самое что ни на есть чеховское в «Мелюзге»: разговоры затерянных где-то в северных снегах учителя и фельдшера:

— Иногда учителю начинало казаться, что он, с тех пор, как помнит себя, никуда не выезжал из Курши... что он только в забытой сказке или во сне слышал про другую жизнь, где есть цветы, сердечные, вежливые люди, умные книги, женские нежные голоса и улыбки...

— Я всегда, Сергей Фирсыч, думал, что это хорошо — приносить свою хоть самую малюсенькую пользу, — говорил учитель фельдшеру. — Я гляжу, например, на какое-нибудь прекраснейшее здание, на дворец или собор, и думаю: пусть имя архитектора останется бессмертным на веки вечные, я радуюсь его

славе, и я совсем ему не завидую. Но ведь и незаметный каменщик, который тоже с любовью клал свой кирпич и обмазывал его известкой, разве он также не может чувствовать счастья и гордости? И я часто думаю, что мы с тобой — крошечные люди, мелюзга, но если человечество станет когда-нибудь свободным в прекрасном...

В рассказе «Нарцисс» я отметил описание светского салона, какую-то баронессу и ее приятельницу Бетси, — да, это уж неизбежно: Бетси! — и грозный вечер, — «в густом, раскаленном воздухе чувствовалась надвигающаяся гроза», — и тот первый поцелуй влюбленных, который уже тысячу раз соединяли писатели с «надвигающейся грозой»... В «Яме» отметил то место, где «огоньки зажглись в зеленых длинных египетских глазах артистки», пение которой так потрясло девиц публичного дома, что даже сам автор воскликнул совершенно серьезно: «Такова власть гения!»

Потом я стал читать дальше, взял первую попавшуюся под руку книгу, прочел первый рассказ и огорчился еще больше. Книга эта

начинается рассказом «На разъезде». Содержание его таково: едут по железной дороге в одном и том же купе случайно встретившиеся в пути какой-то молодой человек, молодая женщина, у которой была «тоненькая, изящная фигурка и развевающиеся пепельные волосы», и ее муж, гнусный старик-чиновник, изображенный крайне ядовито: «Господин Яворский не умел и не мог ни о чем говорить, кроме своей персоны, собственных ревматизмов и геморроев, и на жену смотрел, как на благоприобретенную собственность...» Этот старик день и ночь наставляет, пилит свою несчастную «собственность», ревнует ее к молодому человеку, говорит и ему грубости и тем самым еще более раздувает загоревшуюся между молодыми людьми любовь, в которой они в конце концов и признаются друг другу на остановке на каком-то разъезде, где их поезд оказывается рядом с другим, встречным поездом, а признавшись, перебегают в этот поезд, решив бросить старика и соединиться навеки. Тут молодой человек страстно воскликнул: «Навсегда? На всю жизнь?» И молодая женщина «вместо ответа спрятала свое

лицо у него на груди»...

Потом я перечитал то, что больше всего за-
был: «Одиночество», «Святую любовь», «Ноч-
лег» и военные рассказы: «Ночная смена»,
«Поход», «Дознание», «Свадьба»... Первые три
рассказа опять оказались слабы: и по unbe-
дительности фабул, и по исполнению, — на-
писаны под Мопассана и Чехова и опять уж
так ладно, так гладко, так умело... «У Веры
Львовны вдруг явилось непреодолимое жела-
ние прильнуть как можно ближе к своему
мужу, спрятать голову на сильной груди этого
близкого человека, согреться его теплотой...
То и дело легкие тучки набегали на светлый и
круглый месяц и вдруг окрашивались при-
чудливым золотым сиянием... Вера Львовна
впервые в своей жизни натолкнулась на
ужасное сознание, приходящее рано или
поздно в голову каждого чуткого, вдумчивого
человека, — на сознание той неумолимой,
непроницаемой преграды, которая вечно сто-
ит между двумя близкими людьми...» И в
этом рассказе, как и в предыдущих, что ни
слово, то пошлость. Но в военных рассказах
дело пошло уже иначе, я все чаще стал внут-

ренне восклицать: отлично! Тут опять все немножко не в меру ладно, гладко, опытно, но все это переходит в подлинное мастерство, все другой пробы, особенно «Свадьба», рассказ, не заставляющий, не в пример прочим названным, думать: «Ох, сколько тут Толстого и Чехова!» — рассказ очень жестокий, отдающий злым шаржем, но и блестящий. А когда я дошел до того, что принадлежит к поре высшего развития купринского таланта, к тому, что я выделил выше, — «Конокрады», «Болото» и так далее, — я, читая, уже не мог думать о недостатках этих рассказов, хотя в числе их есть и крупные: то дешевая идейность, желание не отстать от духа своего времени в смысле обличительности и гражданского благородства, то заранее обдуманное намерение поразить драматической фабулой и почти свирепым реализмом... Я уже не думал о недостатках, я только восхищался разнообразными достоинствами рассказов, тем, что преобладает в них: свободой, силой, яркостью повествований, его метким и без излишества щедрым языком...

Вот еще статья о нем — строки человека,

долго и близко его знавшего, известного критика Нильского:

— Куприн был откровенен, прям, быстр на ответы, в нем была радостная и открытая пылкость и бесхитрость, теплая доброта ко всему окружающему... Временами его серо-синие глаза освещались чудесным светом, в них сияли и трепетали крылья таланта... Он до самых последних лет мечтал о совершенной независимости, о героической смелости, его восхищали времена «железных времен, орлов и великанов»...

В этом дурном роде будут еще немало писать, будут опять и опять говорить, сколько было в Куприне «первобытного, звериного», сколько любви к природе, к лошадям, собакам, кошкам, птицам... В последнем есть, конечно, много правды, и я вовсе не хотел сказать, говоря о разнице между Куприным-писателем и Куприным-человеком, — таким, каким его характеризуют почти все, — будто никак не проявлялся человек в писателе: конечно, все-таки проявлялся, и чем дальше, тем все больше. «Теплая доброта Куприна ко всему живущему» или, как говорит другой

критик, «купринское благословение всему миру», это тоже было.

Однако надо помнить, что было только в последней поре жизни и творчества Куприна.

1938

Семеновы и Бунины*

«Государство не может быть иначе, яко к пользе и славе, ежели будут такие в нем люди, которые знают течение сил небесных и времени, мореплавание, географию всего света...» (Регламент императорской Российской Академии наук 1747 года).

К «таким» людям принадлежал и принадлежит Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский, прославивший род Семеновых.

Я многое семейное узнал о нем от В. П. Семенова-Тянь-Шанского, его сына, живущего эмигрантом в Финляндии и порой родственно переписывающегося со мной (Семеновы родственники Буниным). От него же стало мне известно о печальной участи обширных мемуаров, оставленных его отцом. Их вышел всего первый том (во всем зарубежье суще-

ствующий только в одном экземпляре). В. П. прислал мне этот том на прочтение и рассказал историю второго, печатание которого совпало с революцией и к октябрьскому перевороту доведено было всего до одиннадцатого листа, на чем и остановилось. <...> Так, повторяю, книга и застряла на одиннадцатом листе, и что с ней случилось, не знает, кажется, и сам В. П. (вскоре после того покинувший Россию). Он мне писал о ней только то, что сказано выше, и прибавлял: «В этом втором томе описывается экспедиция отца в Среднюю Азию. В нем много ценного научного материала, но есть страницы, интересные и для широкой публики, — например, рассказ о том, как отец встретился в Сибири с Достоевским, которого он знал в ранней молодости, — как есть таковые же и в третьем и в четвертом томах, ярко рисующие настроения разных слоев русского общества в конце пятидесятых годов, затем эпоху великих реформ Александра II и его сподвижников...»

О Достоевском: говорится и в первом томе, который некоторое время был у меня в руках. Этим страницам предшествует рассказ о

кружке Петрашевского и о самом Петрашевском.

— Мы собирались у Петрашевского регулярно, по пятницам, — рассказывает П. П. — Мы охотно посещали его больше всего потому, что он имел собственный дом и возможность устраивать для нас приятные вечера — сам он всем нам казался слишком эксцентричным, если не сказать, сумасбродным. Он занимал должность переводчика в министерстве иностранных дел. Единственная его обязанность состояла в том, что его посылали в этом качестве на процессы иностранцев или на описи вымороченных имуществ, особенно библиотек. Тут он выбирал для себя все запрещенные иностранные книги, подменяя их разрешенными, и составлял из них свою собственную библиотеку, которую и предлагал к услугам всех своих знакомых. Будучи крайним либералом, атеистом, республиканцем и социалистом, он являл собой замечательный тип прирожденного агитатора. Всюду, где было можно, он проповедовал смесь своих идей с необыкновенной страстностью, хотя и без всякой связности и толковости. Для целей

своей пропаганды он, например, стремился стать учителем в военно-учебных заведениях, заявляя, что может преподавать целых одиннадцать предметов; когда же был допущен к испытанию по одному из них, начал свою пробную лекцию так: «На этот предмет можно смотреть с двадцати точек зрения...» — и действительно изложил их все, хотя в учителя так и не был принят. В костюме своем он отличался тоже крайней оригинальностью: носил все то, что так строго преследовалось тогда, то есть длинные волосы, усы, бороду, ходил в какой-то испанской альмавиве и в цилиндре с четырьмя углами... Один раз он пришел в Казанский собор в женском платье, стал между дамами и притворился чинно молящимся; тут его несколько разбойничья физиономия и черная борода, которую он не особенно тщательно скрыл, обратили на себя изумленное внимание соседей; к нему подошел наконец квартальный надзиратель со словами: «Милостивая государыня, вы, кажется, переодетый мужчина»; но он дерзко ответил: «Милостивый государь, а мне кажется, что вы переодетая женщина», — и так смутил

квартирного, что мог, воспользовавшись этим, благополучно исчезнуть из собора...

— Вообще наш кружок, — говорит мемуарист далее, — не принимал Петрашевского всерьез; но вечера его все же процветали, и на них появлялись все новые и новые лица. На этих вечерах шли оживленные разговоры, в которых писатели облегчали свою душу, жалуясь на жестокие цензурные притеснения, бывали литературные чтения, делались рефераты по самым разнообразным научным и литературным предметам, разумеется, с тем освещением, которое недоступно было тогда печатному слову, лились пылкие речи об освобождении крестьян, которое казалось нам столь несбыточным идеалом, Н. Я. Данилевский выступал с целым рядом докладов о социализме, о фурьеризме, которым он в ту пору особенно увлекался, Достоевский читал отрывки из своих повестей «Бедные люди» и «Неточка Незванова» и страстно обличал злоупотребления помещиков крепостным правом...

Переходя к Достоевскому, автор говорит, что первое знакомство его с ним произошло

как раз в то время, когда Достоевский вошел в славу своим романом «Бедные люди», рассорился с Белинским и Тургеневым, совершенно оставил их литературный кружок и стал посещать кружки Петрашевского и Дурасова.

— Вообще я знал его довольно долго и близко, — говорит он. — И вот что, между прочим, мне хочется сказать. Никак не могу, например, согласиться с утверждением многих, будто Достоевский был очень начитанный, но необразованный человек. Я утверждаю, что он был не только начитан, но и образован. В детские годы он получил прекрасную подготовку в отцовском доме, вполне овладел французским и немецким языками, так что свободно читал на них; в Инженерном училище систематически и усердно изучал, кроме общеобразовательных предметов, высшую математику, физику, механику; а широким дополнением к его специальному образованию послужила ему его большая начитанность. Во всяком случае, можно смело сказать, что он был гораздо образованней многих тогдашних русских литераторов. Лучше многих из них знал он и русский народ,

деревню, где жил в годы своего детства и отрочества, и вообще был ближе к крестьянам, к их быту, чем многие из зажиточных писателей-дворян, что, кстати сказать, не мешало ему очень чувствовать себя дворянином, каковым он и был на самом деле, а кое в чем проявлять даже излишние барские замашки. Немало говорили и писали о той нужде, в которой Достоевский будто бы находился в молодости. Но нужда эта была весьма относительна. По-моему, не с действительной нуждой боролся он тогда, а с несоответствием своих средств и своих желаний. Помню, например, нашу с ним лагерную жизнь и те денежные требования, которые он предъявлял своему отцу на лагерные расходы. Я жил почти рядом с ним, в такой же полотняной палатке, как и он, обходился без своего чаю, без своих собственных сапог, без сундука для книг, получал на лагерь всего-навсего десять рублей — и был спокоен, хотя учился в богатом, аристократическом заведении; а для Достоевского все это составляло несчастье, он никак не хотел отставать от тех наших товарищей, у которых был и свой чай, и свои сапоги, и свой

сундук, траты которых на лагерь колебались от сотен до тысяч рублей...

В этом первом томе мемуаров Семенова много говорится о нашем, бунинском, роде, к которому Семеновы принадлежат по женской линии, и, в частности, об Анне Петровне Буниной. Совсем недавно была и ее годовщина — столетие со времени ее смерти. Годовщина эта тоже никому не вспомнилась, а меж тем заслуживала бы и она того. Если принять во внимание время, в которое жила Бунина, нельзя не согласиться с теми, которые называли ее одной из замечательных русских женщин. Помимо мемуаров Семенова, сведения о ней можно найти в одной давней статье, принадлежавшей Александру Павловичу Чехову. Теперь, говорит он, имя Буниной встречается только в истории литературы, да и то потому, может быть, что портрет ее еще доньше висит в стенах Академии наук. Но в свою пору оно было очень известно, стихи Буниной читались образованной публикой с большой охотой, расходились быстро и вызывали восторженные отзывы критики. Их хвалил сам Державин, публично

читал Крылов, ими восторгался Дмитриев, бывший ближайшим другом Буниной. Греч говорил, что Бунина «занимает отличное место в числе современных писателей и первое между писательницами России», а Карамзин прибавлял: «Ни одна женщина не писала у нас так сильно, как Бунина». Императрица Елизавета Алексеевна пожаловала ей золотую лиру, осыпанную брильянтами, «для ношения в торжественных случаях», Александр Благословенный назначил ей крупную пожизненную пенсию, Российская Академия наук издала собрание ее сочинений. Слава ее кончилась с ее смертью, и все-таки даже сам Белинский лестно вспоминал ее в своих литературных обзорах.

Отец Анны Петровны был владельцем известного села Урусова, в Рязанской губернии. Там и родилась она — в 1774 году. П. П. Семенов говорит, что отец дал трем ее братьям чрезвычайно хорошее по тому времени воспитание. Старший принадлежал к образованнейшим людям своего века, прекрасно знал многие иностранные языки, состоял в масонской ложе; младшие служили во флоте, при-

чем один из них, во время войны Екатерины II со шведами, попал в плен и был определен шведским королем в Упсальский университет, где и окончил свое образование. На долю А. П. выпала впоследствии большая честь — она стала членом Российской Академии наук. А меж тем первоначальное ее образование было более чем скудно, ибо образование девиц считалось тогда ненужной роскошью. Образования она достигла в силу своей собственной воли и желания, после того как ее старший брат стал возить ее в Москву и ввел в круг своих друзей из литературного и вообще просвещенного общества. Тут она встрети-лась и сблизилась, между прочим, с Мерзляковым, Капнистом, князем А. А. Шаховским, Воейковым, В. А. Жуковским, В. Л. Пушкиным. В последующее время на ее развитие имели большое влияние Н. П. Новиков и Карамзин, «которому больше всего и обязана она была в своем правильном и изящном литературном языке». Она зачитывалась «Московским журналом», выходившим под его издательством, потом встречалась с ним в обществе, носившем название «Беседы любителей русского

слова». Общество это организовалось в Петербурге в 1811 году. В нем было двадцать четыре действительных и тридцать два почетных члена, в число которых была избрана и Анна Петровна. Основателем «Беседы» был Шишков, и состояли в ней Крылов, Державин, Шаховской, Капнист, Озеров и даже сам Сперанский. Цель ее была — «противодействие тем нововведениям, которые вносил в русский язык Карамзин, проведение в жизни подражания образцам славянского языка, преследование карамзинского направления», — и весьма курьезно было то, что и сам Карамзин был ее членом.

Дальнейшую судьбу А. П. очень изменила смерть ее отца. После этой смерти она переехала жить к своей сестре, Марье Петровне Семеновой, получив наследство, дававшее ей шестьсот руб. годового дохода. Она была теперь свободна и самостоятельна. И, пользуясь этим, прожила очень недолго у Семеновой. В 1802 году зять ее, Семенов, отправился в Петербург. А. П. упросила его взять ее с собою и, попав в столицу, отказалась возвращаться назад в деревню. Зять ее был «весьма фраппиро-

ван» этим, уговаривал ее отказаться от своего намерения — она все же от него не отказалась. В Петербург она приехала будто бы только для того, чтобы повидаться с своим братом — моряком. Когда же решила поселиться в столице, стал и брат уговаривать ее вернуться в деревню, но тоже напрасно. Затем Семенов уехал в деревню, брат вскоре отправился в поход, и она оказалась в столице совсем одна. Это было по тем временам совсем необычно. Но ее ничуть не смутило. Более того: она наняла себе на Васильевском острове совсем отдельную квартиру, «взяв к себе для услуг некую степенную женщину».

Добившись своего, она деятельно и с изумительной энергией принялась за самообразование, несмотря на то, что в это время ей шел уже двадцать восьмой год. Она стала учиться французскому, немецкому и английскому языкам, физике, математике и главным образом российской словесности. Успехи были очень быстрые. Возвратившийся из похода брат был поражен количеством и основательностью приобретенных ею познаний. Но эти же приобретения, обогатив ее ум, вме-

сте с тем и разорили ее материально: живя в Петербурге, она истратила весь свой наследственный капитал. Положение ее становилось ужасно, она принуждена была войти в долги. Но тут брат поспешил познакомить ее с петербургскими литераторами, которым она и показала свои первые произведения. Ее одобрили, ей помогли печататься. Первое стихотворение ее, «С приморского берега», появилось в печати в 1806 году; за этим последовал целый ряд нового и дал ей такой успех в публике, что она собрала свои стихи и рискнула выпустить отдельным изданием, которое и вышло в свет под заглавием «Неопытная Муза». Издание это было поднесено императрице Елизавете Алексеевне и было награждено сперва вышеупомянутой «лирой, осыпанной бриллиантами», а затем ежегодной пенсией в четыреста рублей в год.

С этого времени начинается уже слава Буниной. В 1811 году она выпустила новый том своих стихотворений, «Сельские вечера», который тоже разошелся очень быстро. Затем она напечатала свою «Неопытную Музу» вторым изданием, в двух томах. Это издание то-

же имело большой успех. А двенадцатый год принес ей «высшие лавры»: тут она выступила с патриотическими гимнами, «снискав себе вящее монаршее благоволение и ряд новых милостей». Но это были уже последние ее радости: вскоре после того у нее открылся рак в груди, который всю остальную жизнь ее превратил в непрерывную цепь страданий и наконец свел ее в могилу. Было сделано все, чтобы спасти ее или хоть облегчить ее участь. И двор и общество, почитавшее ее не только, за ее поэтические заслуги, но и за высокие умственные и нравственные качества, проявили к ней большое участие. Государь пожелал, чтобы к ней были приглашены; светила медицины, лично заботился о том, чтобы лечение ее было обставлено как можно лучше; для нее, за счет двора, нанимались на лето дачи, бесплатно отпускались лекарства «из главной аптеки»; бесплатно же посещали ее и придворные медики. Затем решено было прибегнуть к последнему средству, в которое тогда весьма верили: к поездке в Англию, особенно славившуюся в то время своими врачами. Путевые издержки ее принял на себя

опять сам государь, «проводил ее Петербург с большим триумфом». Но и Англия не помогла. А. П. пробыла за границей два года и возвратилась оттуда такою же больной, как уехала. Прожила она после того еще двенадцать лет, но почти уже не писала, — только выпустила в 1821 году полное собрание своих сочинений в трех книгах, снова награжденное от двора, на этот раз пожизненной пенсией в две тысячи рублей. Жила она эти последние годы то у родных, в деревне, то в Липецке, то на Кавказских водах, всюду ища облегчения от своих страданий. «Рак в груди довел свое разрушительное дело уже до того, что она не могла лежать и проводила большую часть времени в единственно возможной для нее позе — на коленях». Так, на коленях, и писала она:

*Любить меня иль нет, жалеть
иль не жалеть
Теперь, о ближние! вы можете по
воле...*

Последние дни свои она провела за переводом проповедей Блэра и за непрерывным чтением книг Священного писания. Сконча-

лась 4 декабря у своего племянника Д. М. Бунина. Тело ее погребено в ее родном селе Урусове. На могиле ее, может быть, и до сих пор стоит скромный памятник, в свое время возобновленный П. П. Семеновым-Тянь-Шанским. В его мемуарах приводится милая надпись, сделанная ему А. П. на переводе проповедей Блэра, на книжечке в красном сафьяновом переплете:

«Дорогому Петеньке Семенову в чаянии его достославной возмужалости».

1932

Эртель *

Он теперь почти забыт, а для большинства и совсем неизвестен. Удивительна была его жизнь, удивительно и это забвение. Кто забыл его друзей и современников — Гаршина, Успенского, Короленко, Чехова? А ведь, в общем, он был не меньше их, за исключением, конечно, Чехова, — в некоторых отношениях даже больше.

Двадцать лет тому назад, в Москве, в чудесный морозный день, я сидел в его кабинете, в залитой солнцем квартире на Воздвиженке, и, как всегда при встречах с ним, думал:

«Какая умница, какой талант в каждом слове, в каждой усмешке! Какая смесь мужественности и мягкости, твердости и деликатности, породистого англичанина и воронежского прасола! Как все мило в нем и вокруг него: и его сухоощавая, высокая фигура в прекрасном английском костюме, на котором нет ни единой пушинки, и белоснежное белье, и крупные с рыжеватыми волосами руки, и висячие русые усы, и голубые меланхолические глаза, и янтарный мундштук, в ко-

тором душисто дымится дорогая папироса, и весь этот кабинет, сверкающий солнцем, чистотой, комфортом! Как поверить, что этот самый человек в юности двух слов не умел связать в самом невзыскательном уездном обществе, плохо знал, как обращаться с салфеткой, писал с нелепейшими орфографическими ошибками?»

В этой же самой квартире он вскоре и умер — от разрыва сердца.

Через год после того вышли в свет семь томов собрания его сочинений (рассказов, повестей и романов) и один том писем. К роману «Гарденины» было приложено предисловие Толстого. К письмам — его автобиография и статья Гершензона: «Мировоззрение Эртеля».

Толстой писал о «Гардениных», что, «начав читать эту книгу, не мог оторваться, пока не прочел ее всю и не перечел некоторых мест по несколько раз». Он писал:

«Главное достоинство, кроме серьезного отношения к делу, кроме такого знания народного быта, какого я не знаю ни у одного писателя, — неподражаемое, не встречаемое нигде достоинство этого романа есть удивитель-

тельный по верности, красоте, разнообразию и силе народный язык. Такого языка не найдешь ни у старых, ни у новых писателей. Мало того, что народный язык его верен, силен, красив, он бесконечно разнообразен. Старик-дворовый говорит одним языком, мастеровой другим, молодой парень третьим, бабы четвертым, девки опять иным. У какого-то писателя высчитали количество употребляемых им слов. Я думаю, что у Эртеля количество это, особенно народных слов, было бы самое большое из всех русских писателей, да еще каких верных, хороших, сильных, нигде, кроме как в народе, не употребляемых слов. И нигде эти слова не подчеркнуты, не преувеличена их исключительность, не чувствуется того, что так часто бывает, что автор хочет щегольнуть, удивить подслушанным им словечком...»

Это знание народа станет вполне попятно, когда просмотришь автобиографию Эртеля.

— Я родился, — говорит он, — 7 июля 1855 года. Дед мой был из берлинской бюргерской семьи, юношей попал в армию Наполеона и под Смоленском был взят в плен, а затем уве-

зен одним из русских офицеров в воронежскую деревню. Там он вскоре перешел в православие, женился на крепостной девушке, приписался в воронежские мещане и всю последующую жизнь прожил управляющим в господских имениях. Эту же должность наследовал и отец мой, тоже женившийся на крепостной. Человек он был весьма мало образованный, но любил читать, — преимущественно исторические книги, — и не чужд был так называемым вопросам политики и даже своего рода философии; к прекрасным чертам его характера нужно отнести большую доброту при наружной суровости, довольно чуткое чувство справедливости и чрезвычайную трезвость ума, почти совершенно совпадавшую со взглядами великорусского крестьянина. Что до моей матери, незаконной дочери одного задонского помещика, то, в противоположность отцу, она была не прочь и от чувствительности, и даже мечтательного романтизма...

— Выучила читать меня она, писать же я выучился сам, сначала копируя с книг печатные буквы. Затем мой крестный, тот поме-

щик Савельев, у которого отец долго был управляющим, предложил отцу взять меня к себе в дом. Жена Савельева была француженка, актриса из какого-то бульварного театра в Париже, почти совсем не говорила по-русски, очень скучала и привязалась ко мне, как к игрушке, рядила меня, кормила лакомствами... Впрочем, все это длилось недолго. Отец поссорился с Савельевым, потерял место — и я был обращен в «первобытное состояние». Тогда мы почти год бедствовали на квартире у одного знакомого мужика, пока отец не снял в аренду хутор...

— Я пользовался совершенной свободой делать, что мне угодно: играть с деревенскими ребятами, читать когда и что захочу... Когда отец взялся «приучать меня к хозяйству», мне было тринадцать лет. Я в то время знал четыре правила арифметики, «Историю Наполеона», «Кошечья Бессмертного», «Путешествие Пифагора», «Стеньку Разина» Костомарова, второй том «Музея иностранной литературы», «Песни Кольцова», «Сочинения Пушкина», старинный конский лечебник, Священную историю с картинками, комедию Чадае-

ва «Дон Педро Прокодурнате». Затем я самоучкой выучился читать по-церковному и несколько раз перечитал «Киевский Патерик» и несколько книг Четьи-Минеи... Лет шестнадцати я познакомился с усманским купцом Богомоловым, и он снабдил меня сочинениями Дарвина «О происхождении человека» и книжками «Русского слова», в которых я с огромным увлечением прочитал статьи Писарева...

— Отец сделал меня своим помощником по хозяйству, но я настолько держался за папанибрата с простым народом, что иногда отец грозился меня бить за это и действительно раза три бил... Я был свой человек в застойной, в конюшнях, в деревне «на улице», на посиделках, на свадьбах, везде, где собирался молодой деревенский народ... Отец решил, наконец, что мои дружественные и фамильярные отношения с деревней положительно мешают мне обладать авторитетом, нужным для приказчика, и согласился на то, чтобы я искал себе должность где-нибудь в другом месте; и вскоре после того я занял должность конторщика в одном соседнем име-

нии... Железную дорогу я увидел в первый раз, когда мне стало шестнадцать лет; Москву и Петербург — двадцати трех...

Дальнейшее довольно типично для того времени, для самоучки, «рвущегося к свету, к прогрессу»: новое знакомство с новым чудакком-купцом, который «посреди грязи и пошлости торгового люда» был одержим истинной страстью к этому «прогрессу» и к чтению; знакомство с его дочерью, которая взялась руководить развитием молодого «дикаря» и с которой вскоре завязался «книжный роман», кончившийся свадьбой; затем попытка завести свое хозяйство в арендованном на грошовое приданое жены именице и крушение этой попытки, — «я, считавшийся дельным хозяином в чужом богатом имении, оказался никуда не годным в своем маленьком», — и наконец переезд в Петербург (благодаря случайному знакомству с писателем Засодимским, как-то заехавшим в Усмань) и начало типичной писательской жизни в среде наиболее «передовых» представителей тогдашней литературы, жизни в такой бедности, что у молодого писателя вскоре обнаружили за-

датки чахотки, и с таким увлечением «передовыми» идеями, что пришлось даже посидеть в Петропавловской крепости, а потом пожить в ссылке в Твери. Однако типичность эта тут и кончается. Совсем не типичной оказалась быстрота развития этого «дикаря», быстрота превращения его в настоящего культурного человека, его необычайный духовный и художественный рост и, главное, самостоятельность вкусов, взглядов и стремлений, уже и тогда далеко не во всем совпадавших с тем, что полагалось иметь всем этим Засодимским, Златовратским. «Даже и в пору увлечения Засодимским, — говорит Эртель, — меня не покидала отцовская струйка: здравый смысл. Я, например, чувствовал, что знаю жизнь лучше и глубже его и особенно жизнь народную, бытописателем которой он считал себя. Умел я и людей узнавать лучше его — этому помогали мои занятия хозяйством, деловые отношения с купцами, крестьянами, кулаками, кабатчиками, барышниками, словом, все то, что шло у меня рядом с любовью к народу, с сетованьями о его нужде, печалях, с увлечением туманными идеалами

образованности, прогресса, свободы, равенства и братства...»

Этот-то «здравый смысл» (если уж употреб- лять столь чрезмерно скромное выражение) и сделал Эртеля такой крупной и своеобраз- ной фигурой, как в жизни, так и в литературе. Гершензон совершенно справедливо говорит, что «нельзя вообразить себе более резкого контраста, нежели тот, который представляет фигура Эртеля среди худосочной и вялой рус- ской интеллигенции восьмидесятых годов». Да и жизнь его, повторяю, была лишь очень короткое время более или менее типичной жизнью интеллигента из разночинцев. Вско- ре она опять стала (даже и внешне) чрезвы- чайно непохожа на таковую: после Твери Эр- тель только временами жывал в столицах или за границей, — он опять вернулся в де- ревню, к сельскому хозяйству и почти до са- мого своего конца отдавал ему половину всех своих сил, сперва арендуя лично для себя кло- чок земли на родине, а затем управляя огром- нейшими и богатейшими барскими имения- ми (одно время даже сразу несколькими, раз- бросанными в целых девяти губерниях, то

есть «целым царством», как писал он мне однажды).

Гершензон считает, что Эртель даже и как мыслитель был явлением «замечательным», что мировоззрение его «представляет собой чрезвычайно оригинальную и ценную систему идей». Сила мышления Эртеля, говорит он, была в той области, которую Кант отводит «практическому разуму». Эртель был прежде всего человеком дела. Ему дана была от природы огромная жизнеспособность, он был ярким представителем делателей жизни, обладал страстной жаждой быть в непрерывной смене явлений и действий. И вот этим-то и определялся характер его мировоззрения.

Все это мировоззрение есть ответ на двойственный вопрос: что позволяет сделать жизнь и чего она требует? Вопрос об изначальной силе, движущей мир, и о конечной цели этого движения Эртель оставлял без рассмотрения.

Он, однако, не был рационалистом. Напротив, как раз живое чутье действительности научило его тому, что в основе всего видимого есть элемент невидимый, но не менее ре-

альный, и что не учитывать его в практических расчетах значит рисковать ошибочностью всех расчетов. Оттого позитивизм казался ему нестерпимой бессмысленностью.

Он думал, что жизнь резко распадается на явления двух родов: на зависящие исключительно от воли «Великого Неизвестного, которого мы называем богом», то есть на такие, к которым мы должны относиться с безусловной покорностью, и на зависящие от нашей воли и устранимые, по отношению к которым борьба уместна и необходима.

Он верил, что существует абсолютная истина, но стоял лишь за условное осуществление ее, любил говорить: «В меру, друг, в меру!» — то есть: не ускоряй насильственно этот поступательный ход истории. Безусловное понимание добра и зла и условное действие в осуществлении первого и в борьбе с последним — вот что нужно для всякой деятельности, в том числе для всякой протестующей, говорил он. Значит ли это, однако, что он проповедовал «умеренность и аккуратность»? Редко кто был менее умерен и аккуратен, чем он, вся жизнь которого была страстной

неумеренностью, «вечным горением в делах душевных, общественных и житейских, страдальческими поисками внешней и внутренней гармонии». Он сам нередко жаловался: «Все не удастся восстановить в своей жизни равновесия... То, что видишь вокруг и что читаешь, до такой степени надрывает сердце жалостью к одним и гневом к другим, что просто беда...» И дальше (говоря о своем участии в помощи голодающим, которой он в начале девяностых годов отдавался целых два года с такой страстью, что совершенно забросил свои собственные дела и оказался в настоящей нищете): «Еще раз узнал, что могу, до самозабвения, до полнейшего упадка сил, увлекаться так называемой общественной деятельностью...»

Он сурово осуждал русскую интеллигенцию, и прежде всего с практической точки зрения. Он говорил, что ее вечный протест, обусловленный только «нервическим раздражением» или «лирическим отношением к вещам», бессилен, не ведет к цели, ибо пафос сам по себе не есть какая-либо сущность, а только форма проявления, сущностью же вся-

кой борьбы является личное религиозно-философское убеждение протестующего и затем — понимание исторической действительности. Первое, что нужно русскому интеллигенту, говорил он, это проникнуться учением Христа, «который костью стал в горле господ Михайловских», без чего невозможна религиозная культура личности, а второе — глубокая и серьезная культура и исторический такт. Он говорил: «Всякие „Забытые слова“ оттого ведь и забываются столь быстро и часто, что мы их воспринимаем лишь нервами... Несчастье нашего поколения заключается в том, что у него совершенно отсутствовал интерес к религии, к философии, к искусству и до сих пор отсутствует свободно развитое чувство, свободная мысль... Людям, кроме политических форм и учреждений, нужен „дух“, вера, истина, бог... Ты скажешь: а все же умели умирать за идею! Ах, легче умереть, нежели осуществить! Односторонне протестующее общество даже в случае победы может принести более зла, нежели добра... О, горек, тысячу раз горек деспотизм, но он отнюдь не менее горек, если проистекает от „Феденьки“, а

не от Победоносцевых. Воображаю, что натворили бы „Феденьки“ на месте Победоносцевых! Что до нашего отношения к народу, то и тут не нужно никакой нормы, кроме той нравственной нормы, которою вообще должны определяться отношения между людьми, то есть закона любви, установленного Христом...»

«Мне думается, — писал он в своей записной книжке, возражая Толстому, последователем которого он был во многом, — я думаю, что раздать имение нищим — не вся правда. Нужно, чтобы во мне и в детях моих сохранилось то, что есть добро: знание, образованность, целый ряд истинно хороших привычек, а это все большей частью требует не одной головной передачи, а наследственной. Отдавши имение, отдам ли я действительно все, чем я обязан людям? Нет, благодаря чужому труду, я, кроме имения, обладаю еще многим другим и этим многим должен делиться с ближним, а не зарывать его в землю...»

Вообще безусловное понимание истины и условное осуществление ее — один из завет-

ных тезисов Эртеля. Всем существом он чувствовал, что прямолинейная принципиальность холодна, мертвенна, что теплота жизни только в компромиссе, что полное самоотречение такая же нелепость, как и всякое безусловное осуществление истины. «Любить одинаково своего ребенка и чужого — противоестественно. Достаточно, если твое личное чувство не погашает в тебе справедливости, которая не позволяет зарезать чужого ребенка ради удобства своего. Норма в той середине, где росток личной жизни цветет и зреет в полной силе, не заглушая вместе с тем любви ко всему живущему...»

Умер этот удивительный по своей кипучей внутренней и внешней деятельности, по свободе и ясности ума и широте сердца человек слишком рано — всего 52 лет от роду. И перед смертью уже глубоко верил, что «смысл всех земных страданий открывается там». В отрочестве он пережил пору страстного религиозного чувства. Затем эти чувства сменились «сомнениями, попытками утвердить, на месте все растущего неверия, веру в добро, в революционные и народнические учения, в

учение Толстого... Но неизменно все перемешалось в моей натуре». Он во многом и навсегда остался «другом всяческих свобод» и вообще интеллигентом своего времени. И все-таки жизнь являлась ему «все в новом и новом освещении». Добро? Но оказалось, что слово это «звучало слишком пусто» и что нужно было «хорошенько подумать над ним». Народничество? Но оказалось, что «народнические грезы суть грезы, и больше ничего... Вот организовать (вне всякой политики) какой-нибудь огромный союз образованных людей с целью помощи всяческим крестьянским нуждам — это другое дело... Русскому народу и его интеллигенции, прежде всяких попыток осуществления „царства божия“, предстоит еще создать почву для такого царства, словом и делом водворять сознательный и твердо поставленный культурный быт... Социализм? Но не думаешь ли ты, что он может быть только у того народа, где проселочные дороги обсажены вишнями и вишни бывают целы? <...> Революция? Но к революции в смысле насилия я чувствую органическое отвращение... <...> Ведь еще Герцен сказал, что иные

вещи несравненно более жалко терять, нежели иных людей... Толстой? Но всех загнать в Фиваиду — значит оскотить и обесцветить жизнь... Нельзя всем предписать земледельческий труд, жестокое непротивление злу, самоотречение до уничтожения личности... Сводить всю свою жизнь до роли „самаритянской“ я не хочу... Не было бы тени — не было бы борьбы, а что же прекраснее борьбы! Народ? Я долго писал о нем, обливаясь слезами...» Но идут годы — и что же говорит этот народолюбец? «Нет, никогда еще я так не понимал некрасовского выражения „любя ненавидеть“, как теперь, купаясь в аду подлинной, а не абстрагированной народной действительности, в прелестях русского неправдоподобно жестокого быта... <...> Безверие? Но человек без религии существо жалкое и несчастное... Золотые купола и благовест — форма великой сущности, живущей в каждой человеческой душе...» И вот — последние признания, незадолго до смерти:

«Страшные тайны бога недоступны моему рассудочному пониманию...»

«Верую, что смысл жизненных страданий

и смерти откроется там...»

«Горячо верую, что жизнь наша не кончается здесь и что в той жизни будет разрешение всех мучительных загадок и тайн человеческого существования...»

1929

Волошин*

Максимилиан Волошин был одним из наиболее видных поэтов предреволюционных и революционных лет России и сочетал в своих стихах многие весьма типичные черты большинства этих поэтов: их эстетизм, снобизм, символизм, их увлечение европейской поэзией конца прошлого изначала нынешнего века, их политическую «смену вех» (в зависимости от того, что было выгоднее в ту или иную пору); был у него и другой грех: слишком литературное воспевание самых страшных, самых зверских злодеяний русской революции.

После его смерти появилось немало статей о нем, но сказали они, в общем, мало нового, мало дали живых черт его писательского и

человеческого облика, некоторые же просто ограничились хвалами ему да тем, что пишется теперь чуть не поголовно обо всех, которые в стихах и прозе касались русской революции: возвели и его в пророки, в провидцы «грядущего русского катаклизма», хотя для многих из таких пророков достаточно было в этом случае только некоторого знания начальных учебников русской истории. Наиболее интересные замечания о нем я прочел в статье А. Н. Бенуа, в «Последних новостях»:

«Его стихи не внушали того к себе доверия, без которого не может быть подлинного восторга. Я „не совсем верил“ ему, когда по выступам красивых и звучных слов он взбирался на самые вершины человеческой мысли... Но влекло его к этим восхождениям совершенно естественно, и именно слова его влекли... Некоторую иронию я сохранил в отношении к нему навсегда, что ведь не возбраняется и при самой близкой и нежной дружбе... Близорукий взор, прикрытый пенсне, странно нарушал все его „зевсоподобие“, сообщая ему что-то растерянное и беспомощное... что-то необычайно милое, подкупающее...» <...>

Я лично знал Волошина со времен довольно давних, но до наших последних встреч в Одессе, зимой и весной девятнадцатого года, не близко.

Помню его первые стихи, — судя по ним, трудно было предположить, что с годами так окрепнет его стихотворный талант, так разовьется внешне и внутренне. Тогда были они особенно характерны для его «влечения к словам»:

*Мысли с рыданьями ветра сплетаются,
Поезд гремит, перегнать их стараются,
Так вот в ушах и долбит и стучит это:
Титата, тотата, татата, титата...*

*Из страны, где солнца свет
Льется с неба, жгуч и ярок,
Я привез себе в подарок
Пару звонких кастаньет...*

*Склоняясь ниц, овеян ночи синью,
Доверчиво ищу губами я
Сосцы твои, натертые полынью,*

О мать-земля!

Помню наши первые встречи, в Москве. Он уже был тогда заметным сотрудником «Весов», «Золотого руна». Уже и тогда очень тщательно «сделана» была его наружность, манера держаться, разговаривать, читать. Он был невысок ростом, очень плотен, с широкими и прямыми плечами, с маленькими руками и ногами, с короткой шеей, с большой головой, темно-рус, кудряв и бородат: из всего этого он, невзирая на пенсне, ловко сделал нечто довольно живописное на манер русского мужика и античного грека, что-то бычье и вместе с тем круторого-баранье. Пожив в Париже, среди мансардных поэтов и художников, он носил широкополую черную шляпу, бархатную куртку и накидку, усвоил себе в обращении с людьми старинную французскую оживленность, общительность, любезность, какую-то смешную грациозность, вообще что-то очень изысканное, жеманное и «очаровательное», хотя задатки всего этого действительно были присущи его натуре. Как почти все его современники-стихотворцы, стихи свои он читал всегда с величайшей охотой, всюду где угодно

и в любом количестве, при малейшем желании окружающих. Начиная читать, тотчас поднимал свои толстые плечи, свою и без того высоко поднятую грудную клетку, на которой обозначались под блузой почти женские груди, делал лицо олимпийца, громовержца и начинал мощно и томно завывать. Кончив, сразу сбрасывал с себя эту грозную и важную маску: тотчас же опять очаровательная и вкрадчивая улыбка, мягко, салонно переливающийся голос, какая-то радостная готовность ковром лечь под ноги собеседнику — и осторожное, но неутомимое сладострастие аппетита, если дело было в гостях, за чаем или ужином... Помню встречу с ним в конце 1905 года, тоже в Москве. Тогда чуть не все видные московские и петербургские поэты вдруг оказались страстными революционерами, — при большом, кстати сказать, содействии Горького и его газеты «Борьба», в которой участвовал сам Ленин. Это было во время первого большевистского восстания, Горький крепко сидел в своей квартире на Воздвиженке, никогда не выходя из нее ни на шаг, день и ночь держал вокруг себя стражу из вооруженных с

ног до головы студентов-грузин, всех уверяя, будто на него готовится покушение со стороны крайних правых, но вместе с тем день и ночь принимал у себя огромное количество гостей, — приятелей, поклонников, «товарищей» и сотрудников этой «Борьбы», которую он издавал на средства некоего Скирмунта и которая сразу же пленила поэта Брюсова, еще летом того года требовавшего водружения креста на св. Софии и произносившего монархические речи, затем Минского с его гимном: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — и немало прочих. Волошин в «Борьбе» не печатался, но именно где-то тут, — не то у Горького, не то у Скирмунта, — услышал я от него тоже совсем новые для него песни:

*Народу русскому: я скорбный Ангел
Мщенья!*

*Я в раны черные, в распахнутую
новь*

*Кидая семена. Прошли века тер-
пенья,*

*И голос мой — набат! Хоругвь
моя, как кровь!*

Помню еще встречу с его матерью, — это

было у одного писателя, я сидел за чаем как раз рядом с Волошиным, как вдруг в комнату быстро вошла женщина лет пятидесяти, с седыми стриженными волосами, в русской рубахе, в бархатных шароварах и сапожках с лакированными голенищами, и я чуть не спросил именно у Волошина, кто эта смехотворная личность? Помню всякие слухи о нем: что он, съезжаясь за границей с своей невестой, назначает ей первые свидания непременно где-нибудь на колокольне готического собора; что, живя у себя в Крыму, он ходит в одной «тунике», проще говоря, в одной длинной рубахе без рукавов, <что> очень, конечно, смешно при его толстой фигуре и коротких волосатых ногах... К этой поре относится та автобиографическая заметка его, автограф которой был воспроизведен в «Книге о русских поэтах» и которая случайно сохранилась у меня до сих пор, — строки местами тоже довольно смешные:

«Не знаю, что интересно в моей жизни для других. Поэтому перечислю лишь то, что было важно для меня самого.

Я родился в Киеве 16 мая 1877 года, в день

Святого Духа.

События жизни исчерпываются для меня странами, книгами и людьми.

Страны: первое впечатление — Таганрог и Севастополь сознательное бытие — окраины Москвы, Ваганьково кладбище, машины и мастерские железной дороги; отрочество — леса под Звенигородом; пятнадцати лет — Коктебель в Крыму, — самое ценное и важное на всю жизнь; двадцати трех — Среднеазиатская пустыня — пробуждение самопознания; затем Греция и все побережья и острова Средиземного моря — в них обретенная родина духа; последняя ступень — Париж — сознание ритма и формы.

Книги-спутники: Пушкин и Лермонтов с пяти лет; с семи Достоевский и Эдгар По; с тринадцати Гюго и Диккенс; с шестнадцати Шиллер, Гейне, Байрон; с двадцати четырех французские поэты и Анатолий Франс; книги последних лет: Багават-Гита, Малларме, Поль Клодель, Анри де Ренье, Вилье де Лилль Адан, — Индия и Франция.

Люди: лишь за последние годы они стали занимать в жизни больше места, чем страны

и книги. Имена их не назову...

Стихи я начал писать тринадцати лет, рисовать двадцати четырех...»

В ту пору всюду читал он и другое свое прославленное стихотворение из времен французской революции, где тоже немало ударно-эстрадных слов:

*Это гибкое, страстное тело
Растоптала ногами толпа мне...*

Потом было слышно, что он участвует в антропософского храма...

Зимой девятнадцатого года он приехал в Одессу из Крыма, по приглашению своих друзей Цетлиных, у которых и остановился. По приезде тотчас же проявил свою обычную деятельность, — выступал с чтением своих стихов в Литературно-художественном кружке, затем в одном частном клубе, где почти все проживавшие тогда в Одессе столичные писатели читали за некоторую плату свои произведения среди пивших и евших в зале перед ними «недорезанных буржуев»... Читал он тут много новых стихов о всяких страшных делах и людях как древней России, так и со-

временной, большевистской. Я даже дивился на него — так далеко шагнул он вперед и в писании стихов, и в чтении их, так силен и ловок стал и в том и в другом, но слушал его даже с некоторым негодованием; какое, что называется, «великолепное», самоупоенное и, по обстоятельствам места и времени, кощунственное словоизвержение! — и, как всегда, все спрашивал себя: на кого же в конце концов похож он? Вид как будто грозный, пенсне строго блестит, в теле все как-то поднято, надуту, концы густых волос, разделенных на прямой пробор, завиваются кольцами, борода чудесно круглится, маленький ротик открывается в ней так изысканно, а гремит и завывает так гулко и мощно... Кряжистый мужик русских крепостных времен? Приап? Кашалот? — Потом мы встретились на вечере у Цетлиных, и опять это был «милейший и добрейший Максимилиан Александрович». Присмотревшись к нему, увидал, что наружность его с годами уже несколько огрубела, отяжелела, но движения по-прежнему легки, живы; когда перебегает через комнату, то перебегает каким-то быстрым и мелким аллюром, го-

ворит с величайшей охотой и много, весь так и сияет общительностью, благорасположением ко всему и ко всем, удовольствием от всех и от всего — не только от того, что окружает его в этой светлой, теплой и людной столовой, но даже как бы ото всего того огромного и страшного, что совершается в мире вообще и в темной, жуткой Одессе в частности, уже близкой к приходу большевиков. Одет при этом очень бедно — так уж истерта его коричневая бархатная блуза, так блестят черные штаны и разбиты башмаки... Нужду он терпел в ту пору очень большую. Дальше беру (в сжатом виде) кое-что из моих тогдашних заметок:

— Французы бегут из Одессы, к ней подходят большевики. Цетлины садятся на пароход в Константинополь. Волошин остается в Одессе, в их квартире. Очень возбужден, как-то особенно бодр, легок. Вечером встретил его на улице: «Чтобы не быть выгнанным, устраиваю в квартире Цетлиных общежитие поэтов и поэтесс. Надо действовать, не надо предаваться унынию!»

— Волошин часто сидит у нас по вечерам.

По-прежнему мил, оживлен, весел. «Бог с ней, с политикой, давайте читать друг другу стихи!» Читает, между прочим, свои «Портреты». В портрете Савинкова отличная черта — сравнение его профиля с профилем лося.

Как всегда, говорит без умолку, затрагивая множество самых разных тем, только делая вид, что интересуется собеседником. Конечно, восхищается Блоком, Белым и тут же Анри де Ренье, которого переводит.

Он антропософ, уверяет, будто «люди суть ангелы десятого круга», которые приняли на себя облик людей вместе со всеми их грехами, так что всегда надо помнить, что в каждом самом худшем человеке сокрыт ангел...

— Спасаем от реквизиции особняк нашего друга, тот, в котором живем, — Одесса уже занята большевиками. Волошин принимает в этом самое горячее участие. Выдумал, что у нас будет «Художественная неореалистическая школа». Бегает за разрешением на открытие этой школы, в пять минут написал для нее замысловатую вывеску. Сыплет сентенциями: «В архитектуре признаю только готику и греческий стиль. Только в них нет

ничего, что украшает».

— Одесские художники, тоже всячески стараясь спастись, организуются в профессиональный союз вместе с малярами. Мысль о малярах подал, конечно, Волошин. Говорит с восторгом: «Надо возвратиться к средневековым цехам!»

— Заседание (в Художественном кружке) журналистов, писателей, поэтов и поэтесс, тоже «по организации профессионального союза». Оченьлюдно, много публики и всяких пишущих, «старых» и молодых. Волошин бегаёт, сияет, хочет говорить о том, что нужно и пишущим объединиться в цех. Потом, в своей накидке и с висящей за плечом шляпой, — еёшнур прицеплен к крючку накидки, — быстро и грациозно, мелкими шажками выходит на эстраду: «Товарищи!» Но тут тотчас же поднимается дикий крик и свист: буйно начинается скандалить орава молодых поэтов, занявших всю заднюю часть эстрады: «Долой! К черту старых, обветшалых писак! Клянемся умереть за Советскую власть!» Особенно бесчинствуют Катаев, Багрицкий, Олеша. Затем вся орава «в знак протеста» покидает зал. Во-

лошин бежит за ними — «они нас не понимают, надо объясниться!» <...>

— Помогают Волошину пробраться в Крым еще и через «морского комиссара и командующего черноморским флотом» Немица, который, по словам Волошина, тоже порт, «особенно хорошо пишет рондо и триолеты». Выдумывают какую-то тайную большевистскую миссию в Севастополь. Беда только в том, что ее не на чем послать: весь флот Немица состоит, кажется, из одного парусного дубка, а его не во всякую погоду пошлешь...

Если считать по новому стилю, он уехал из Одессы (на этом самом дубке) в начале мая. Уехал со спутницей, которую называл Татидой. Вместе с нею провел у нас последний вечер, ночевал тоже у нас. Провожать его было все-таки грустно. Да и все было грустно: сидели мы в полутьме, при самодельном ночнике, — электричества не позволяли зажигать, — угощали отъезжающих чем-то очень жалким. Одет он был уже по-дорожному — матроска, берет. В карманах держал немало разных спасительных бумажек, на все случаи: на случай большевистского обыска при

выходе из одесского порта, на случай встречи в море с французами или добровольцами, — до большевиков у него были в Одессе знакомства и во французских командных кругах, и в добровольческих. Все же все мы, в том числе и он сам, были в этот вечер далеко не спокойны: бог знает, как-то сойдет это плавание на дубке до Крыма... Беседовали долго и на этот раз почти во всем согласно, мирно. В первом часу разошлись наконец: на рассвете наши путешественники должны были быть уже на дубке. Прощаясь, взволновались, обнялись. Но тут Волошин почему-то неожиданно вспомнил, как он однажды зимой сидел с Алексеем Толстым в кофейне Робина, как им вдруг пришло в голову начать медленно, но все больше и больше — и притом, с самыми серьезными, почти зверскими лицами, — надуваться, затем так же медленно выпускать дыхание и как вокруг них начала собираться удивленная, не понимающая, в чем дело, публика. Потом очень хорошо стал изображать медвежонка...

С пути он прислал нам открытку, писанную 16 мая в Евпатории:

«Пока мы благополучно добрались до Евпатории и второй день ждем поезда. Мы пробыли день на Кинбурнской Косе, день в Очакове, ожидая ветра, были дважды останавливаемы французским миноносцем, болтались ночь без ветра, во время мертвой зыби, были обстреляны пулеметным огнем под Ак-Мечетью, скакали на перекладных целую ночь по степям и гниющим озерам, а теперь застряли в грязнейшей гостинице, ожидая поезда. Все идет не скоро, но благополучно. Масса любопытнейших человеческих документов... Очень приятно вспоминать последний вечер, у вас проведенный, который так хорошо закончил весь нехороший одесский период».

В ноябре того же года пришло еще одно письмо от него, из Коктебеля. Привожу его начало:

«Большое спасибо за ваше письмо: как раз эти дни все почему-то возвращался мысленно к вам, и оно пришло как бы ответом на мои мысли.

Мои приключения только и начались с выездом из Одессы. Мои большевистские знакомства и встречи развивались по дороге от

матросов-разведчиков до „командарма“, который меня привез в Симферополь в собственном вагоне, оказавшись моим старым знакомым.

Потом я сидел у себя в мастерской под артиллерийским огнем: первый десант добровольцев был произведен в Коктебеле, и делал его „Кагул“, со всею командой которого я был дружен по Севастополю: так что их первый визит был на мою террасу.

Через три дня после освобождения Крыма я помчался в Екатеринодар спасти моего друга генерала Маркса, несправедливо обвиненного в большевизме, которому грозил расстрел, и один, без всяких знакомств и связей, добился-таки его освобождения. Этого мне не могут простить теперь феодосийцы, и я сейчас здесь живу с репутацией большевика, и на мои стихи смотрят как на большевистские.

Кстати: первое издание „Демонов глухонемых“ распространялось в Харькове большевистским „Центрагом“, а теперь ростовский (добровольческий) „Осваг“ взял у меня несколько стихотворений из той же книги

для распространения на летучках. Только в июле месяце я наконец вернулся домой и сел за мирную работу...

Работаю исключительно над стихами. Все написанные летом я переслал Гроссману для одесских изданий. Поэтому относительно моих стихотворений на общественные темы спросите его, а я посылаю вам пока для „Южного слова“ два прошлогодних, лирических, еще нигде не появлявшихся, и две небольшие статьи: „Пути России“ и „Самогон крови“. Сейчас уже два месяца работаю над большой поэмой о св. Серафиме, весь в этом напряжении и неуверенности, одолею ли эту грандиозную тему.

Он должен составить диптих с „Аввакумом“.

Зимовать буду в Коктебеле: этого требует и работа личная, и сумасшедшие цены, за которыми никакие гонорары угнаться не могут. Кстати, о гонораре: теперь я получаю за стихи десять рублей за строку, а статьи по три за строку. Это минимум, поэтому, если „Южное слово“ за стихи заплатит больше, я не откажусь.

Мне бы очень хотелось, И. А., чтобы вы прочли все мои новые стихи, что у Гроссмана: я в них сделал попытку подойти более реалистически к современности (в цикле „Личины“, стих. „Матрос“, „Красногвардеец“, „Спекулянт“ и т. д.), и мне бы очень хотелось знать ваше мнение.

Я еще до сих пор переполнен впечатлениями этой зимы, весны и лета: мне действительно удалось пересмотреть всю Россию во всех ее партиях, и с верхов и до низов. Монархисты, церковники, эсеры, большевики, добровольцы, разбойники... Со всеми мне удалось провести несколько интимных часов в их собственной обстановке...»

Это письмо было для меня последней вестью о нем. <...>

1930

«Третий Толстой»*

«Третий Толстой» — так нередко называют в Москве недавно умершего там автора романов «Петр Первый», «Хождения по мукам», многих комедий, повестей и рассказов, известного под именем графа Алексея Николаевича Толстого: называют так потому, что были в русской литературе еще два Толстых — граф Алексей Константинович Толстой, поэт и автор романа из времен царя Ивана Грозного «Князь Серебряный», и граф Лев Николаевич Толстой. Я довольно близко знал этого Третьего Толстого в России и в эмиграции. <...>

В эмиграции, говоря о нем, часто называли его то пренебрежительно, Алешкой, то снисходительно и ласково, Алешей, и почти все забавлялись им: он был веселый, интересный собеседник, отличный рассказчик, прекрасный чтец своих произведений, восхитительный в своей откровенности циник; был наделен немалым и очень зорким умом, хотя любил прикидываться дураковатым и беспечным шалопаем, был ловкий рвач, но и щед-

рый мот, владел богатым русским языком, все русское знал и чувствовал, как очень немногие... Вел он себя в эмиграции нередко и впрямь «Алешкой», хулиганом, был частым гостем у богатых людей, которых за глаза называл сволочью, и все знали это и все-таки прощали ему: что ж, мол, взять с Алешки! По наружности он был породист, рослый, плотный, бритое полное лицо его было женственно, пенсне при слегка откинутой голове весьма помогало ему иметь в случаях надобности высокомерное выражение; одет и обут он был всегда дорого и добротнo, ходил носками внутрь, — признак натуры упорной, настойчивой, — постоянно играл какую-нибудь роль, говорил на множество ладов, все меняя выражение лица, то бормотал, то кричал тонким бабьим голосом, иногда, в каком-нибудь «салоне», сюсюкал, как великосветский фат, хохотал чаще всего как-то неожиданно, удивленно, выпучивая глаза и давясь, крякая, ел и пил много и жадно, в гостях напивался и объедался, по его собственному выражению, до безобразия, но, проснувшись, на другой день, тотчас обматывал голову мокрым полотен-

цем и садился за работу: работник был он первоклассный. <...>

Я познакомился с Толстым как раз в те годы, о которых (скорбя по случаю провала «первой революции») так трагически декламировал Блок: «Мы — дети страшных лет России — забыть не можем ничего!» — в годы между этой первой революцией и первой мировой войной. Я редактировал тогда беллетристику в журнале «Северное сияние», который затеяла некая общественная деятельница, графиня Варвара Бобринская. И вот в редакцию этого журнала явился однажды рослый и довольно красивый молодой человек, церемонно представился мне («граф Алексей Толстой») и предложил для напечатания свою рукопись под заглавием «Сорочьи сказки», ряд коротеньких и очень ловко сделанных «в русском стиле», бывшем тогда в моде, пустиках. Я, конечно, их принял, они были написаны не только ловко, но и с какой-то особой свободой, непринужденностью (которой всегда отличались все писания Толстого). Я с тех пор заинтересовался им, прочел его «декадентскую книжку стихов», будто бы уже дав-

но сожженную, потом стал читать все прочие его писания. Тут-то мне и открылось впервые, как разнообразны были они, — как с самого начала своего писательства проявил он великое умение поставлять на литературный рынок только то, что шло на нем ходко, в зависимости от тех или иных меняющихся вкусов и обстоятельств. Революционных стихов его я никогда не читал, ничего не слышал о них и от самого Толстого: может быть, он пробовал писать и в этом роде, в честь «первой революции», да скоро бросил — то ли потому, что уже слишком скучен показался ему этот род, то ли по той простой причине, что эта революция довольно скоро провалилась, хотя и успели русские мужички-«богоносцы» сжечь и разграбить множество дворянских поместий. Что до «декадентской» его книжки, то я ее читал и, насколько помню, ничего декадентского в ней не нашел; сочиняя ее, он тоже следовал тому, чем тоже увлекались тогда: стилизацией всего старинного и сказочного русского. За этой книжкой последовали его рассказы из дворянского быта, тоже написанные во вкусе тех дней: шарж, нарочитая ка-

рикатурность, нарочитые (да и не нарочитые) нелепости. Кажется, в те годы написал он и несколько комедий, приспособленных к провинциальным вкусам и потому очень выигрышных. Он, повторяю, приспособлялся очень находчиво. <...>

После нашего знакомства в «Северном сиянии» я не встречался с Толстым года два или три: то путешествовал с моей второй женой по разным странам вплоть до тропических, то жил в деревне, а в Москве и в Петербурге бывал мало и редко. Но вот однажды Толстой неожиданно нанес нам визит в той московской гостинице, где мы останавливались, вместе с молодой черноглазой женщиной типа восточных красавиц, Соней Дымшиц, как называли ее все, а сам Толстой неизменно так: «Моя жена, графиня Толстая». Дымшиц была одета изящно и просто, а Толстой каким-то странным важным барином из провинции: в цилиндре и в огромной медвежьей шубе. Я встретил их с любезностью, подобающей случаю, раскланялся с графиней и, не удержавшись от улыбки, обратился к графу:

— Очень рад возобновлению нашего зна-

комства, входите, пожалуйста, снимайте свою великолепную шубу...

И он небрежно пробормотал в ответ:

— Да, наследственная, остатки прежней роскоши, как говорится...

И вот эта-то шуба, может быть, и была причиной довольно скорого нашего приятельства; граф был человек ума насмешливого, юмористического, наделенный чрезвычайно живой наблюдательностью, поймал, вероятно, мою невольную улыбку и сразу сообразил, что я не из тех, кого можно дурачить. К тому же он быстро дружился с подходящими ему людьми и потому после двух, трех следующих встреч со мной уже смеялся, крякал над своей шубой, признавался мне:

— Я эту наследственность за грош купил по случаю, ее мех весь в гнусных лысинах от моли. А ведь какое барское впечатление производит на всех!

Говоря вообще о важности одежды, он морщился, поглядывая на меня:

— Никогда ничего путного не выйдет из вас в смысле житейском, не умеете вы себя подавать людям! Вот как, например, невыгод-

но одеваются вы. Вы худы, хорошего роста, есть в вас что-то старинное, портретное. Вот и следовало бы вам отпустить длинную узкую бородку, длинные усы, носить длинный сюртук в талию, рубашки голландского полотна с таким артистически раскинутым воротом, подвязанным большим бантом черного шелка, длинные до плеч волосы на прямой ряд, отрастить чудесные ногти, украсить указательный палец правой руки каким-нибудь загадочным перстнем, курить маленькие гаванские сигаретки, а не пошлые папиросы... Это мошенничество, по-вашему? Да кто ж теперь не мошенничает так или иначе, между прочим и наружностью! Ведь вы сами об этом постоянно говорите! И правда — один, видите ли, символист, другой — марксист, третий — футурист, четвертый — будто бы бывший босяк... И все наряжены: Маяковский носит женскую желтую кофту, Андреев и Шалапин — поддевки, русские рубахи навыпуск, сапоги с лаковыми голенищами, Блок бархатную блузу и кудри... Все мошенничают, дорогой мой!

Переселившись в Москву и снявши квар-

тиру на Новинском бульваре, в доме князя Щербатова, он в этой квартире повесил несколько старых, черных портретов каких-то важных стариков и с притворной небрежностью бормотал гостям: «Да, все фамильный хлам», — а мне опять со смехом: «Купил на толкучке у Сухаревой башни!» <...>

Осень, а затем зиму, очень тревожную, со сменой властей, а иногда и с уличными боями, мы и Толстые прожили в Одессе все-таки более или менее сносно, кое-что продавали разным то и дело возникавшим по югу России книгоиздательствам, — Толстой, кроме того, получал неплохое жалованье в одном игорном клубе, будучи там старшиной, — но в начале апреля большевики взяли наконец и Одессу, обративши в паническое бегство французские и греческие воинские части, присланные защищать ее, и Толстые тоже стремительно бежали морем (в Константинополь и дальше), мы же не успели бежать вместе с ними: бежали в Турцию, потом в Болгарию, в Сербию и, наконец, во Францию чуть не через год после того, прожив почти пять несказанно мучительных месяцев под боль-

шевиками, освобождены были добровольцами Деникина, — его главная армия чуть не дошла в ту, вторую, осень до Москвы, — но в конце января 1920 года опять чуть не попали под власть большевиков и тут уже навеки простились с Россией.

Почему мы не погибли в Черном море на пути в Константинополь, одному богу ведомо. Мы ушли из города в порт пешком, темным, грязным вечером, когда большевики уже входили в город, и едва втиснулись в несметную толпу прочих беженцев, набившихся в маленький, ветхий греческий пароход «Патрас», а нас было четверо: с нами был знаменитый русский ученый Никодим Павлович Кондаков, грузный старик лет семидесяти пяти, и молодая женщина, бывшая секретарем его и почти нянькой. Шли мы затем до Константинополя двое суток в снежную бурю, капитан «Патраса» был пьяница-албанец, не знавший Черного моря, и, если бы случайно не оказался на «Патрасе» русский моряк, заменивший его, потонул бы «Патрас» со всеми своими несчастными пассажирами непременно. А в Константинополь мы пришли в ледяные су-

мерки с пронзительным ветром и снегом, пристали под Стамбулом и тут должны были идти под душ в каменный сарай — «для дезинфекции».

Константинополь был тогда оккупирован союзниками, и мы должны были идти в этот сарай по приказу французского доктора, но я так закричал, что мы с Кондаковым «Immortels», «Бессмертные» (ибо мы с Кондаковым были членами Российской императорской Академии), что доктор, вместо того, чтобы сказать нам: «Но тем лучше, вы, значит, не умрете от этого душа», — сдался и освободил нас от него. Зато нас вместе с нашим жалким беженским имуществом покидали по чьему-то приказанию на громадный, грохочущий камион и помчали за Стамбул, туда, где начинаются так называемые Поля Мертвых, и оставили ночевать в какой-то совершенно пустой руине тоже огромного турецкого дома, и мы спали там на полу в полной тьме, при разбитых окнах, а утром узнали, что руина эта еще недавно была убежищем прокаженных, охраняемая теперь великаном-негром, и только к вечеру перебрались в Галету, в поме-

щение уже упраздненного русского консульства, где до отъезда в Софию спали тоже на полу.

Толстой осенью 1919 года, когда в Одессе была власть Деникина, послал мне из Парижа два письма. Он писал очень сердечно:

«Мне было очень тяжело тогда (в апреле) расставаться с Вами. Час был тяжелый. Но тогда точно ветер подхватил нас, и опомнились мы не скоро, уже на пароходе. Что было перетерплено — не рассказать. Спали мы с детьми в сыром трюме рядом с тифозными, и по нас ползали вши. Два месяца сидели на собачьем острове в Мраморном море. Место было красивое, но денег не было. Три недели ехали мы (потом) в каюте, которая каждый день затоплялась водой из солдатской портомойни, но зато все это искупилось пребыванием здесь (во Франции). Здесь так хорошо, что было бы совсем хорошо, если бы не сознание, что родные наши и друзья в это время там мучаются».

В другом письме он сообщал:

«Милый Иван Алексеевич, князь Георгий Евгеньевич Львов (бывший глава Временного

правительства, он сейчас в Париже) говорил со мной о Вас, спрашивал, где Вы и нельзя ли Вам предложить эвакуироваться в Париж. Я сказал, что Вы, по всей вероятности, согласились бы, если бы Вам был гарантирован минимум для жизни вдвоем. Я думаю, милый Иван Алексеевич, что Вам было бы сейчас благоразумно решиться на эту эвакуацию. Минимум Вам будет гарантирован, кроме того, к Вашим услугам журнал „Грядущая Россия“ (начавший выходить в Париже), затем одно огромное издание, куда я приглашен редактором, кроме того, издания Ваших книг по-русски, немецки и английски. Самое же главное, что Вы будете в благодатной и мирной стране, где чудесное красное вино и все, все в изобилии. Если Вы приедете или известите заранее о Вашем приезде, то я сниму виллу под Парижем в Сен-Клу или в Севре с тем расчетом, чтобы Вы с Верой Николаевной поселились у нас. Будет очень, очень хорошо...»

В первом письме были еще такие строки:

«Пришлите, Иван Алексеевич, мне Ваши книги и разрешение для перевода рассказов

на французский язык. Ваши интересы я буду блюсти и деньги высылать честно, то есть не зажимать. В Париже Вас очень хотят переводить, а книг нет... Все это время работаю над романом, листов в 18–20. Написано — одна треть. Кроме того, подрабатываю на стороне и честно и похабно — сценарий... Франция — удивительная, прекрасная страна, с устоями, с доброй стариной, обжилой дом... Большевиков здесь быть не может, что бы ни говорили... Крепко и горячо обнимаю Вас, дорогой Иван Алексеевич...»

Константинополь, Болгария, Сербия, Чехия — всюду в ту пору было полно русскими беженцами. То же было и в Париже. Париж, куда мы приехали в самом конце марта, встретил нас не только радостной красотой своей весны, но и особенным многолюдством русских, многие имена которых были известны не только всей России, но и Европе, — тут были некоторые уцелевшие великие князья, миллионеры из дельцов, знаменитые политические и общественные деятели, депутаты Государственной думы, писатели, художники, журналисты, музыканты, и все были, невзи-

рая ни на что, преисполнены надежд на возрождение России и возбуждены своей новой жизнью и той разнообразной деятельностью, которая развивалась все более и более на всех поприщах. И с кем только не встречались мы чуть не каждый день в первые годы эмиграции на всяких заседаниях, собраниях и в частных домах! Деникин, Керенский, князь Львов, Маклаков, Стахович, Милюков, Струве, Гучков, Набоков, Савинков, Бурцев, композитор Прокофьев, из художников — Яковлев, Малявин, Судейкин, Бакст, Шушаев; из писателей — Мережковские, Куприн, Алданов, Тэффи, Бальмонт. Толстой был прав в письмах ко мне в Одессу — в бездействии и в нужде тут нельзя было тогда погибнуть. Вскоре и мы неплохо устроились материально, а Толстые и того лучше, да и как могло быть иначе? Толстой однажды явился ко мне утром и сказал: «Едем по буржуям собирать деньги; нам, писакам, надо затеять свое собственное книгоиздательство, русских журналов и газет в Париже достаточно, печататься нам есть где, но это мало, мы должны еще и издаваться!» И мы взяли такси, навестили нескольких «бур-

жуев», каждому из них излагая цель нашего визита в нескольких словах, каждым были приняты о отменным радушием, и в три-четыре часа собрали сто шестьдесят тысяч франков, а что это было тридцать лет тому назад! И книгоиздательство мы вскоре основали, и оно было тоже немалым материальным подспорьем не только нам с Толстыми. Но у Толстых была постоянная беда: денег им никогда не хватало. Не раз говорил он мне в Париже:

— Господи, до чего хорошо живем мы во всех отношениях, за весь свой век не жил я так, только вот деньги черт их знает куда страшно быстро исчезают в суматохе...

— В какой суматохе?

— Ну я уж не знаю в какой; главное то, что пустые карманы я совершенно ненавижу, поехать куда-нибудь в город, посмотреть на витрины без возможности купить что-нибудь — истинное мучение для меня; покупать я люблю даже всякую совсем ненужную ерунду до страсти! Кроме того, ведь нас пять человек, считая эту эстонку при детях. Вот и надо постоянно ловчиться...

Раз он сказал совсем другое: «А, будь я очень богат, было бы чертовски скучно...» Но пока ловчиться все же было надо, и он ловчился: приехав в Париж, встретил там старого московского друга Крандиевских, состоятельного человека, и при его помощи не только жил первое время, но даже и оделся и обулся с порядочным запасом.

— Я не дурак, — говорил он мне, смеясь, — тотчас накупил себе белья, ботинок, у меня их целых шесть пар и все лучшей марки и на великолепных колодках, заказал три пиджачных костюма, смокинг, два пальто... Шляпы у меня тоже превосходные, на все сезоны...

В надежде на падение большевиков некоторые парижские русские богатые люди и банки покупали в первые годы эмиграции разные имущества эмигрантов, оставшиеся в России, и Толстой продал за восемнадцать тысяч франков свое несуществующее в России имение, и выпучивал глаза, рассказывая мне об этом:

— Понимаете, какая дурацкая история вышла: я все им изложил честь честью, и сколько десятин, и сколько пахотной земли и вся-

ких угодий, как вдруг спрашивают: а где же находится это имение? Я было заметался, как сукин сын, не зная, как соврать, да, к счастью, вспомнил комедию «Каширская старина» и быстро говорю: в Каширском уезде, при деревне Порточки... И, слава богу, продал!

Жили мы с Толстыми в Париже особенно дружно, встречались с ними часто, то бывали они в гостях у наших общих друзей и знакомых, то Толстой приходил к нам с Наташей, то присылал нам записочки в таком, например, роде:

«У нас нынче буйабез от Прьюнье и такое пуи (древнее), какого никто и никогда не пивал, четыре сорта сыру, котлеты от Потэн, и мы с Наташей боимся, что никто не придет. Умоляю — быть в семь с половиной!»

«Может быть, вы и Цетлины зайдете к нам вечерком — выпить стакан доброго вина и полюбоваться огнями этого чудного города, который так далеко виден с нашего шестого этажа. Мы с Наташей к вашему приходу оклеим прихожую новыми обоями...»

Но прошел год, прошел другой, денег не хватало все чаще, и Толстой стал бормотать:

— Совершенно не понимаю, как быть дальше! Сорвал со всех, с кого было можно, уже тридцать семь тысяч франков, — в долг, разумеется, как это принято говорить между порядочными людьми, — теперь бледнеют, когда я вхожу в какой-нибудь дом на обед или на вечер, зная, что я тотчас подойду к кому-нибудь, притворно задыхаясь: тысячу франков до пятницы, иначе мне пуля в лоб!

Наташу Толстую я узнал еще в декабре 1903 года в Москве. Она пришла ко мне однажды в морозные сумерки, вся в инее, — иней опустил всю ее беличью шапочку, беличий воротник шубки, ресницы, уголки губ, — и я просто поражен был ее юной прелестью, ее девичьей красотой и восхищен талантливостью ее стихов, которые она принесла мне на просмотр, которые она продолжала писать и впоследствии, будучи замужем за своим первым мужем, а потом за Толстым, но все-таки почему-то совсем бросила еще в Париже. Она тоже не любила скудной жизни, говорила:

— Что ж, в эмиграции, конечно, не дадут умереть с голоду, а вот ходить оборванной и в разбитых башмаках дадут...

Думаю, что она немало способствовала Толстому в его конечном решении возвратиться в Россию.

Как бы то ни было, летом 1921 года Толстой еще не думал, кажется, не только о России, но и о Берлине. То лето Толстые проводили под Бордо, в небольшом имении, купленном «Земгором» из остатков его общественных средств, и Толстой писал мне оттуда:

«Милые друзья, Иван и Вера Николаевна, было бы напрасно при Вашей недоверчивости уверять Вас, что я очень давно собирался вам писать, но откладывал исключительно по причине того, что напишу завтра... Как вы живете? Живем мы в этой дыре неплохо, питаемся лучше, чем в Париже, и дешевле больше чем вдвое. Если бы были хоть „тительные“ денежки — рай, хотя скучно. Но денег нет совсем, и если ничего не случится хорошего осенью, то и с нами ничего хорошего не случится. Напиши мне, Иван, милый, как наши общие дела? Бог смерти не дает — надо кряхтеть! Пишу довольно много. Окончил роман и переделываю конец. Хорошо было бы, если бы вы оба приехали сюда зимовать, мы бы пе-

резимовали вместе. Дом комфортабельный, и жили бы мы чудесно и дешево, в Париж можно бы наезжать. Подумай, напиши...»

Но к осени ничего хорошего не случилось, не случилось ничего хорошего и с Толстыми. И однажды осенним вечером мы, вернувшись домой, нашли его карточку, на которой были написаны в некотором роде роковые слова:

«Приходил читать роман и проститься».

Следующие письма были уже из Берлина (всюду привожу лишь выдержки):

«16 ноября 1921 г. Милый Иван, приехали мы в Берлин, — боже, здесь все иное. Очень похоже на Россию, во всяком случае очень близко от России. Жизнь здесь приблизительно как в Харькове при гетмане: марка падает, цены растут, товары прячутся. Но есть, конечно, и существенное отличие: там вся жизнь построена была на песке, на политике, на аванюре, — революция была только заказана сверху. Здесь чувствуется покой в массе народа, воля к работе, немцы работают, как никто. Большевизма здесь не будет, это уже ясно. На улице снег, совсем как в Москве в конце ноября, — все черное. Живем мы в пан-

сионе, недурно, но тебе бы не понравилось. Вина здесь совсем нет, это очень большое лишение, а от здешнего пива гонит в сон и в мочу... Здесь мы пробудем недолго и затем едем — Наташа с детьми в Фрейбург, я — в Мюнхен... Здесь вовсю идет издательская деятельность. На марки все это грош, но, живя в Германии, зарабатывать можно неплохо. По всему видно, что у здешних издателей определенные планы торговать книгами с Россией. Вопрос со старым правописанием, очевидно, будет решен в положительном смысле. Скоро, скоро наступят времена полегче наших...»

«Суббота, 21 января 1922 г. Милый Иван, прости, что долго не отвечал тебе, недавно вернулся из Мюнстера и, закружившись, как это ты сам понимаешь, в вихре великосветской жизни, откладывал ответы на письма. Я удивляюсь — почему ты так упорно не хочешь ехать в Германию, на те, например, деньги, которые ты получил с вечера, ты мог бы жить в Берлине вдвоем в лучшем пансионе, в лучшей части города девять месяцев: жил бы барином, ни о чем не заботясь. Мы с

семьей, живя сейчас на два дома, проживаем тринадцать-четырнадцать тысяч марок в месяц, то есть меньше тысячи франков. Если я получу что-нибудь со спектакля моей пьесы, то я буду обеспечен на лето, то есть на самое тяжелое время. В Париже мы бы умерли с голоду. Зарботки здесь таковы, что, разумеется, работой в журналах мне с семьей прокормиться трудно, — меня поддерживают книги, но ты одной бы построчной платой мог бы существовать безбедно... Книжный рынок здесь очень велик и развивается с каждым месяцем, покупается все, даже такие книги, которые в довоенное время в России сели бы. И есть у всех надежда, что рынок увеличится продвижением книг в Россию: часть книг уже проникает туда, — не говоря уже о книгах с соглашательским оттенком, проникает обычная литература... Словом, в Берлине сейчас уже около тридцати издательств, и все они, так или иначе, работают... Обнимаю тебя. Твой. А. Толстой».

Очень значительна в этом письме строка: «Если я получу что-нибудь со спектакля моей пьесы, то я буду обеспечен на лето...» Значит,

он тогда еще и не думал о возвращении в Россию. Однако это письмо было уже последним его письмом ко мне.

* * *

В последний раз я случайно встретился с ним в ноябре 1936 года, в Париже. Я сидел однажды вечером в большом людном кафе, он тоже оказался в нем, — зачем-то приехал в Париж, где не был со времени отъезда своего сперва в Берлин, потом в Москву, — издали увидал меня и прислал мне с гарсоном клочок бумажки: «Иван, я здесь, хочешь видеть меня? А. Толстой». Я встал и прошел в ту сторону, которую указал мне гарсон. Он тоже уже шел навстречу мне и, как только мы сошлись, тотчас закричал своим столь знакомым мне смешком и забормотал. «Можно тебя поцеловать? Не боишься большевика?» — спросил он <...> и с такой же откровенностью, той же скороговоркой и продолжал разговор еще на ходу:

— Страшно рад видеть тебя и спешу тебе сказать, до каких же пор ты будешь тут сидеть, дожидаясь нищей старости? В Москве тебя с колоколами бы встретили, ты предста-

вить себе не можешь, как тебя любят, как тебя читают в России...

Я перебил, шутя:

— Как же это с колоколами, ведь они у вас запрещены.

Он забормотал сердито, но с горячей сердечностью:

— Не придирайся, пожалуйста, к словам. Ты и представить себе не можешь, как бы ты жил, ты знаешь, как я, например, живу? У меня целое поместье в Царском Селе, у меня три автомобиля... У меня такой набор драгоценных английских трубок, каких у самого английского короля нету... Ты что ж, воображаешь, что тебе на сто лет хватит твоей Нобелевской премии?

Я поспешил переменить разговор, посидел с ним недолго, — меня ждали те, с кем я пришел в кафе, — он сказал, что завтра летит в Лондон, но позвонит мне утром, чтобы условиться о новой встрече; и не позвонил, — «в суматохе!» — и вышла эта встреча нашей последней. Во многом он был уже не тот, что прежде: вся его крупная фигура похудела, волосы поредели, большие роговые очки заме-

нили пенсне, пить ему было уже нельзя, запрещено докторами, выпили мы с ним, сидя за его столиком, только по одному фужеру шампанского...

1949

Нобелевские дни*

Девятого ноября 1933 года, старый добрый Прованс, старый добрый Грасс, где я почти безвыездно провел целых десять лет жизни, тихий, теплый, серенький день поздней осени...

Такие дни никогда не располагают меня к работе. Все же, как всегда, я с утра за письменным столом. Сажусь за него и после завтрака. Но, поглядев в окно и видя, что собирается дождь, чувствую: нет, не могу. Нынче в синема дневное представление — пойду в синема.

Спускаясь с горы, на которой стоит «Бельведер», в город, гляжу на далекие Канны, на чуть видимое в такие дни море, на туманные хребты Эстереля и ловлю себя на мысли:

— Может быть, как раз сейчас, где-то там,

на другом краю Европы, решается и моя судьба...

В синема я, однако, опять забываю о Стокгольме.

Когда, после антракта, начинается какая-то веселая глупость под названием «Бэ-би», смотрю на экран с особенным интересом: играет хорошенькая Киса Куприна, дочь Александра Ивановича. Но вот в темноте возле меня какой-то осторожный шум, потом свет ручного фонарика, и кто-то трогает меня за плечо и торжественно и взволнованно говорит вполголоса:

— Телефон из Стокгольма...

И сразу обрывается вся моя прежняя жизнь.

Домой я иду довольно быстро, но не испытывая ничего, кроме сожаления, что не удалось досмотреть, как будет играть Киса дальше, и какого-то безразличного недоверия к тому, что мне сообщили. Но нет, не верить нельзя: издали видно, что мой всегда тихий и полутемный в эту пору дом, затерянный среди пустынных оливковых садов, покрывающих горные скаты над Грассом, ярко освещен

сверху донизу. И сердце у меня сжимается какою-то грустью... Какой-то перелом в моей жизни...

* * *

Весь вечер «Бельведер» полон звоном телефона, из которого что-то отдаленно кричат мне какие-то разноязычные люди чуть не из всех столиц Европы, оглашается звонками почтальонов, приносящих все новые и новые приветственные телеграммы чуть не из всех стран мира, — отовсюду, кроме России! — и выдерживает первые натиски посетителей всякого рода, фотографов и журналистов... Посетители, число которых все возрастает, так что лица их все больше сливаются передо мною, со всех сторон жмут мне руки, волнуясь и поспешно говоря одно и то же, фотографы ослепляют меня магнием, чтобы потом разнести по всему свету изображение какого-то бледного безумца, журналисты наперебой засыпают меня допросами...

— Как давно вы из России?

— Эмигрант с начала двадцатого года.

— Думаете ли вы теперь туда возвратиться?

— Бог мой, почему же я теперь могу туда возвратиться?

— Правда ли, что вы первый русский писатель, которому присуждена Нобелевская премия за все время ее существования?

— Правда.

— Правда ли, что ее когда-то предлагали Льву Толстому и что он от нее отказался?

— Неправда. Премия никогда никому не предлагается, все дело присуждения ее проходит всегда в глубочайшей тайне.

— Имели ли вы связи и знакомства в Шведской академии?

— Никогда и никаких.

— За какое именно ваше произведение присуждена вам премия?

— Думаю, что за совокупность всех моих произведений.

— Вы ожидали, что вам ее присудят?

— Я знал, что я давно в числе кандидатов, что моя кандидатура не раз выставлялась, читал многие лестные отзывы о моих произведениях таких известных скандинавских критиков, как Book, Osterling; Agrell, и, слыша об их причастности к Шведской академии, пола-

гал, что они тоже расположены в мою пользу. Но, конечно, ни в чем не был уверен.

— Когда обычно происходит раздача Нобелевских премий?

— Ежегодно в одно и то же время: десятого декабря.

— Так что вы поедете в Стокгольм именно к этому сроку?

— Даже, может быть, раньше: хочется поскорее испытать удовольствие дальней дороги. Ведь по своей эмигрантской бесправности, по той трудности, с которой нам, эмигрантам, приходится добывать визы, я уже тринадцать лет никуда не выезжал за границу, лишь один раз ездил в Англию. Это для меня, без конца ездившего когда-то по всему миру, было одно из самых больших лишений.

— Вы уже бывали в скандинавских странах?

— Нет, никогда. Совершал, повторяю, многие и далекие путешествия, но все к востоку и к югу, север же оставлял на будущее время...

Так неожиданно понесло меня тем стремительным потоком, который превратился вскоре даже в некоторое подобие сумасшед-

шего существования: ни единой свободной и спокойной минуты с утра до вечера. Наряду со всем тем обычным, что ежегодно происходит вокруг каждого нобелевского лауреата, со мной, в силу необычности моего положения, то есть моей принадлежности к той странной России, которая сейчас рассеяна по всему свету, происходило нечто такое, чего никогда не испытывал ни один лауреат в мире: решение Стокгольма стало для всей этой России, столь униженной и оскорбленной во всех своих чувствах, событием истинно национальным...

* * *

В ночь с третьего на четвертое декабря я уже далеко от Парижа. Норд-экспресс, отдельное купе первого класса — сколько уже лет не испытывал я чувств, связанных со всем этим! Далеко за полночь, мы уже в Германии. Все стою на площадке вагона, который идет в поезде последним. И, вырываясь из-под вагона, несется назад в бледном лунном свете нечто напоминающее Россию: плоские равнины, траурно-пестрые от снега, какие-то оснеженные деревья...

Утром Ганновер. Открываю глаза, поднимаю штору — окно во льду, замерзло. Лед и на рельсах. На людях, проходящих по платформе, меховые шапки, шубы — как давно не видал я всего этого и как, оказывается, живо хранил в сердце!

Вечером наш поезд ставят на пароход «Густав V» и медленно направляют к берегам Швеции. Снова интервью, снова вспышки магния... В Швеции мой вагон буквальное осаждается толпой фотографов и журналистов... И только поздней ночью остаюсь я наконец опять один. За окнами чернота и близна — сплошные черные леса в белых глубоких снегах. И все это, вместе с жарким теплом купе, совсем как ночи когда-то на Николаевской дороге...

* * *

Раздача премий лауреатам ежегодно происходит всегда десятого декабря и начинается ровно в пять часов вечера.

В этот день стук в дверь моей спальни раздается ране с вечера было приказано разбудить меня не позднее восьми с половиной. Вскрываю и тотчас же вспоминаю, что за

день нынче: день самый главный. На часах всего семь, северное утро едва брезжит, еще горят фонари набережной канала, видной из моих окон, и та часть Стокгольма, что над нею, передо мною, со всеми своими башнями, церквями и дворцами, тоже имеющая что-то очень схожее с Петербургом, еще так сказочно-красива, как бывает она только на закате и на рассвете. Но я должен начать день нынче рано: десятое декабря — дата смерти Альфреда Нобеля, и потому я с утра должен быть в цилиндре и ехать за город, на кладбище, где надо возложить венки и на его могилу, и на могилу недавно умершего племянника его, Эммануила Нобеля. Я опять вчера лег в три часа ночи и теперь, одеваясь, чувствую себя очень зыбко. Но кофе горячо и крепко, день наступает ясный, морозный, мысль о необычайной церемонии, которая ждет меня нынче вечером, возбуждает...

Официальное приглашение на торжество рассылается лауреатам за несколько дней до него. Оно составлено (на французском языке) в полном соответствии с той точностью, которой отличаются все шведские ритуалы:

«Господа лауреаты приглашаются прибыть в Концертный Зал для получения Нобелевских премий 10 декабря 1933 г., не позднее 4 ч. 50 м. дня. Его величество, в сопровождении королевского дома и всего двора, пожалует в Зал, дабы присутствовать на торжестве и лично вручить каждому из них надлежащую премию, ровно в 5 ч., после чего двери Зала будут закрыты и начнется само торжество».

Ни опоздать хотя бы на одну минуту, ни прибыть хотя бы на две минуты раньше назначенного срока на какое-нибудь шведское приглашение совершенно недопустимо. Поэтому одеваться я начинаю чуть ли не с трех часов дня — из страха, как бы чего не случилось: а вдруг куда-нибудь исчезнет запонка фракной рубашки, как любят это делать в подобных случаях все запонки в мире?

В половине пятого мы едем.

Город в этот вечер особенно блещет огнями, — и в честь лауреатов, и в ознаменование близости Рождества и Нового года. К громадному «Музыкальному Дому», где всегда происходит торжество раздачи премий, течет

столь густой и бесконечный поток автомобилей, что наш шофер, молодой гигант в мохнатой меховой шапке, с великим трудом пробирается в нем: нас спасает только то, что полиция, при виде кортежа лауреатов, которые всегда едут в таких случаях друг за другом, задерживает все прочие автомобили.

Мы, лауреаты, входим в «Музыкальный Дом», со всей прочей толпой, но в вестибюле нас тотчас от толпы отделяют и ведут куда-то по особым ходам, так что то, что происходит в парадном зале до нашего появления на эстраде, я знаю только с чужих слов.

Зал этот удивителен своей высотой, простором. Теперь он весь декорирован цветами и переполнен народом: сотни вечерних дамских нарядов в жемчугах и бриллиантах, сотни фраков, звезд, орденов, разноцветных лент и всех прочих торжественных отличий. В пять без десяти минут весь кабинет шведских министров, дипломатический корпус, Шведская академия, члены Нобелевского комитета и вся эта толпа приглашенных уже на местах и хранят глубокое молчание. Ровно в пять герольды с эстрады возвещают фанфарами по-

явление монарха. Фанфары уступают место прекрасным звукам национального гимна, льющемся откуда-то сверху, и монарх входит в сопровождении наследного принца и всех прочих членов королевского дома. За ним следуют свита и двор. Мы, четыре лауреата, находимся в это время все еще в той маленькой зале, что примыкает к заднему входу на эстраду.

Но вот и наш выход. С эстрады снова раздаются фанфары, и мы следуем за теми из шведских академиков, которые будут представлять нас и читать о нас рефераты. Я, которому назначено говорить свою речь на банкете после раздачи премий первым, теперь выхожу, по ритуалу, на эстраду последним. Меня выводит Пер Гальстром, непременный секретарь Академии. Выйдя, я поражаюсь нарядностью, многолюдством, зала и тем, что при появлении с поклоном входящих лауреатов, встает не только весь зал, но и сам монарх со всем своим двором и домом.

Эстрада тоже громадна. Она украшена какими-то мелкими розовыми живыми цветами. Правую сторону ее занимают кресла ака-

демиков. Четыре кресла первого ряда налево предназначены для лауреатов. Надо всем этим торжественно-неподвижно свисают со стен полотнища шведского национального флага: обычно украшают эстраду флаги всех тех стран, к которым принадлежат лауреаты; но какой флаг имею я лично, эмигрант? Невозможность вывесить для меня флаг советский заставила устроителей торжества ограничиться ради меня одним, — шведским. Благородная мысль!

Открывает торжество председатель Нобелевского фонда. Он приветствует короля и лауреатов и предоставляет слово докладчику. Тот целиком посвящает это первое слово памяти Альфреда Нобеля, — в этом году столетие со дня его рождения. Затем идут доклады, посвященные характеристике каждого из лауреатов, и после каждого доклада лауреат приглашается докладчиком спуститься с эстрады и принять из рук короля папку с нобелевским дипломом и футляр с большой золотой медалью, на одной стороне которой выбито изображение Альфреда Нобеля, а с другой имя лауреата. В антрактах играют Бетхо-

вена и Грига.

Григ один из наиболее любимых мною композиторов, я с особым наслаждением услышал его звуки перед докладом обо мне Пера Гальстрема.

Последняя минута меня взволновала. Речь Гальстрема была не только прекрасна, но и истинно сердечна. Кончив, он с милой церемонностью обратился ко мне по-французски:

— Иван Алексеевич Бунин, благоволите сойти в Зал и принять из рук его величества литературную Нобелевскую премию 1933 года, присужденную вам Шведской академией.

В наступившем вслед за тем глубоким молчании я медленно прошел по эстраде и медленно сошел по ее ступеням к королю, вставшему мне навстречу. Поднялся в это время и весь зал, затаив дыхание, чтобы слышать, что он мне скажет и что я ему отвечу. Он приветствовал меня и в моем лице всю русскую литературу с особенно милостивым и крепким рукопожатием. Низко склонясь перед ним, я ответил по-французски:

— Государь, я прошу ваше величество со- благоволить принять выражение моей глубо-

кой и почтительной благодарности.

Слова мои потонули в рукоплесканиях.

Король чествует лауреатов обедом в своем дворце на другой день после торжества раздачи премий. Вечером же десятого декабря, почти тотчас по окончании этого торжества, их везут на банкет, который им дает Нобелевский комитет.

На банкете председательствует кронпринц.

Когда мы приезжаем, там уже опять в сборе все члены Академии, весь королевский дом и двор, дипломатический корпус, художественный мир Стокгольма и прочие приглашенные.

К столу идут в первой паре кронпринц и моя жена, которая сидит потом рядом с ним в центре стола.

Мое место рядом с принцессой Ингрид, — ныне она датская королева, — напротив брата короля, принца Евгения (кстати сказать, известного шведского художника).

Кронпринц открывает застольные речи. Он говорит блестяще, посвящая слово памяти Альфреда Нобеля.

Затем наступает черед говорить лауреатам.

Принц говорит со своего места. Мы же с особой трибуны, которая устроена в глубине банкетной залы, тоже необыкновенно огромной, построенной в старинном шведском стиле.

Радиоприемник разносит наши слова с этой эстрады по всей Европе.

Вот точный текст той речи, которую произнес я по-французски:

— Ваше высочество, милостивые государыни, милостивые государи.

Девятого ноября, в далекой дали, в старинном провансальском городе, в бедном деревенском доме, телефон известил меня о решении Шведской академии. Я был бы неискренен, ежели бы сказал, как говорят в подобных случаях, что это было наиболее сильное впечатление во всей моей жизни. Справедливо сказал великий философ, что чувства радости, даже самые резкие, почти ничего не значат по сравнению с таковыми же чувствами печали. Ничуть не желая омрачить этот

праздник, о коем я навсегда сохраню неизгладимое воспоминание, я все-таки позволю себе сказать, что скорби, испытанные мною за последние пятнадцать лет, далеко превышали мои радости. И не личными были эти скорби, — совсем нет! Однако твердо могу сказать я и то, что из всех радостей моей писательской жизни это маленькое чудо современной техники, этот звонок телефона из Стокгольма в Грасс, дал мне, как писателю, наиболее полное удовлетворение. Литературная премия, учрежденная вашим великим соотечественником Альфредом Нобелем, есть высшее увенчание писательского труда! Честолюбие свойственно почти каждому человеку и каждому автору, и я был крайне горд получить эту награду со стороны судей столь компетентных и беспристрастных. Но думал ли я девятого ноября только о себе самом? Нет, это было бы слишком эгоистично. Горячо пережив волнение от потока первых поздравлений и телеграмм, я в тишине и одиночестве ночи думал о глубоком значении поступка Шведской академии. Впервые со времени учреждения Нобелевской премии вы прису-

дили ее изгнаннику. Ибо кто же я? Изгнанник, пользующийся гостеприимством Франции, по отношению к которой я тоже навсегда сохраню признательность. Господа члены Академии, позвольте мне, оставив в стороне меня лично и мои произведения, сказать вам, сколь прекрасен ваш жест сам по себе. В мире должны существовать области полнейшей независимости. Вне сомнения, вокруг этого стола находятся представители всяческих мнений, всяческих философских и религиозных верований. Но есть нечто незыблемое, всех нас объединяющее: свобода мысли и совести, то, чему мы обязаны цивилизацией. Для писателя эта свобода необходима особенно, — она для него догмат, аксиома. Ваш же жест, господа члены Академии, еще раз доказал, что любовь к свободе есть настоящий национальный культ Швеции.

И еще несколько слов — для окончания этой небольшой речи. Я не с нынешнего дня высоко ценю ваш королевский дом, вашу страну, ваш народ, вашу литературу. Любовь к искусствам и к литературе всегда была традицией для шведского королевского дома,

равно как и для всей благородной нации вашей. Основанная славным воином, шведская династия есть одна из самых славных в мире. Его величество король, король-рыцарь народа-рыцаря, да соизволит разрешить чужеземному, свободному писателю, удостоенному вниманием Шведской академии, выразить ему свои почтительнейшие и сердечнейшие чувства.

Дневники*

1881

В начале августа (мне 10 лет 8 мес.) выдержал экзамен в первый класс елецкой гимназии. С конца августа жизнь с Егорчиком Захаровым (незаконным сыном мелкого помещика Валентина Ник. Рышкова, нашего родственника и соседа по деревне «Озерки») у помещанина Бякина на Торговой ул. в Ельце. Мы тут «нахлебники» за 15 рубл. с каждого из нас на всем готовом.

1885

Конец декабря.

<...> ветер северный, сухой, забирается под пальто и взметает по временам снег... Но я мало обращал на это внимание: я спешил скорей на квартиру и представлял себе веселие на празднике, а нонешним вечером — покачивание вагонов, потом поле, село, огонек в знакомом домике... и много еще хорошего...

Просидевши на вокзале в томительном ожидании поезда часа три, я наконец имел удовольствие войти в вагон и поудобнее усесться... Сначала я сидел и не мог заснуть,

так как кондукторы ходили и, по обыкновению, страшно хлопали дверьми: в голове носились образы и мечты, но не отдельные, а смешанные в одно... Что меня ждет? — задавал я себе вопрос. Еще осенью я словно ждал чего-то, кровь бродила во мне, и сердце ныло так сладко, и даже по временам я плакал, сам не зная от чего; но и сквозь слезы и грусть, навеянную красотой природы или стихами, во мне закипало радостное, светлое чувство молодости, как молодая травка весенней порой. Непременно я люблю, думал я. В деревне есть, говорят, какая-то гувернантка! Удивительно, отчего меня к ней влечет? Может, оттого, что про нее много рассказывала сестра...

Наконец я задремал и не слышал, как приехал в Измалково. Лошадей за нами прислали, но ехать сейчас же было невозможно по причине метели, и нам пришлось ночевать на вокзале.

Еще с большим веселым и сладким настроением духа въехал я утром в знакомое село, но встретил его не совсем таким, каким я его оставил: избушки, дома, река — все было в бе-

лых покровках. Передо мной промелькнули картины лета. Вспомнил я, как приезжал в последний раз сюда осенью.

...Потребность любви!.. Но кого? В Озерках никого, а в Васильевском?.. Тоже никого! Впрочем, там есть гувернантка — но молоденькая и недурненькая, как я слышал от сестры. В самом деле меня что-то влечет к ней? Она гувернантка и, верно, тихое существо, а это идеал всех юношей. Им нравятся по большей части существа не такие, как светские резкие женщины... Может быть!..

Наконец сегодня я уже с нетерпением поехал в Васильевское. Сердце у меня билось, когда я подъезжал к крыльцу знакомого родного дома. Увижу ли я ее нынче, думал я; 23-го она была в Ельце! На крыльце я увидел Дуню и ее, как я предположил; это была барышня маленького роста с светлыми волосами и голубыми глазками. Красивой ее нельзя было назвать, но она симпатична и мила. С трепетом я подал ей руку и откланялся. «Эмилия Фасильевна Фехнер!» — проговорила она. Познакомились, значит. Мне сразу сделалось неловко и в душе зашевелилась мысль.

«Неужели, думал я, я буду целовать эти милые ручки и губки!» Но это уже было дерзко. Весь день нонче я держал себя <...> и натянуто и почти не разговаривал с ней. Но она, напротив, была развязна и проста. Наконец вечером мы отправились к Пушешникову, помещику, живущему на другой стороне реки. Он нам родня. Там я стал несколько свободней с Эм. Вас. Уже сердце мое билось страстью... Я полюбил и чувствовал, что влюбляюсь все более и более. Приглашал танцевать только ее одну, гулял, и наконец перед ужином она сказала мне: «Давайте играть в карты! Хотите?» Я покраснел и неловко поклонился. Мы пошли в гостиную. Там никого не было. Мы играли и шутили, наконец ее пришел приглашать танцевать некто молодой малый Федоров, мой приятель. Я вышел также и пошел в кабинет, думая, что я уже мог надеяться. Но через несколько минут она вошла. «Что ж вы забрались сюда, — сказала она, — я вас искала, искала!» Что это значит, подумал я!..

За ужином я сидел рядом с ней, пошли домой мы с ней под руку. Я уже влюбился окон-

чательно. Я весь дрожал, ведя ее под руку. Расстались мы только сейчас, уже друзьями, а я, кроме того, влюбленным. И теперь я вот сижу и пишу эти строки. Все спит... но мне и в ум сон нейдет. «Люблю, люблю», — шепчут мои губы.

Исполнились мои ожидания.

29 декабря 1885 г.

Сегодня вечер у тетки. На нем будут из Васильевского и в том числе гуверн<антка>, в которую я влюблен не на шутку.

<...> Сердце у меня чуть не выскочило из груди! Она моя! Она меня любит! О! с каким сладостным чувством я взял ее ручку и прижал к своим губам! Она положила мне головку на плечо, обвила мою шею своими ручками, и я запечатлел на ее губках первый, горячий поцелуй!..

Да! пиша эти строки, я дрожу от упоенья! от горячей первой любви!.. Может быть, некоторым, случайно заглянувшим в мое сердце, смешным покажется такое излияние нежных чувств! «Еще молокосос, а ведь влюбляется», — скажут они. Так! Человеку, занятому

всеми дрязгами этой жизни и не признающему всего святого, что есть на земле, правда, свойства первобытного состояния души, т. е. когда душа менее загрязнилась и эти свойства более подходят к тому состоянию, когда она была чиста и, так сказать, даже божественна, правда слишком <нрзб>. Но, может быть, именно более всего святое свойство души Любовь тесно связано с поэзией, а поэзия есть Бог в святых мечтах земли, как сказал Жуковский (Бунин, сын А. И. Бунина и пленной турчанки). Мне скажут, что я подражаю всем поэтам, которые восхваляют святые чувства и, презирая грязь жизни, часто говорят, что у них душа больная; я слышал, как говорят некоторые: поэты все плачут! Да! и на самом деле так должно быть: поэт плачет о первобытном чистом состоянии души, и смеяться над этим даже грешно! Что же касается до того, что я «молокосос», то из этого только следует то, что эти чувства более доступны «молокососу», так как моя душа еще молода и, следовательно, более чиста. Да и к тому же я пишу совсем не для суда других, совсем не хочу открывать эти чувства другим, а для того,

чтобы удержать в душе эти напевы.

*Пронесутся года. Заблестит
Седина на моих волосах,
Но об этих блаженных часах
Память сердце мое сохранит...*

.....

Остальное время вечера я был как в тумане. Сладкое, пылкое чувство было в душе моей. Ее милые глазки смотрели на меня теперь нежно, открыто. В этих очах можно было читать любовь. Я гулял с ней по коридору, и прижимал ее ручки к своим губам, и сливался с нею в горячих поцелуях. Наконец пришло время расставаться. Я увидел, как она с намерением пошла в кабинет Пети. Я вошел туда же, и она упала ко мне на грудь. «Милый, — шептала она, — милый, прощай! Ты ведь приедешь на Новый год?» Крепко поцеловал я ее, и мы расстались...

.....

Домой я приехал полный радужных мечтаний. Но при этом в сердце всасывалось другое гадкое чувство, а именно ревность. «Она завтра поедет домой с Федоровым — да еще вдвоем только... Впрочем, ведь она меня любит, а

все-таки я бы не хотел, чтобы она с кем-нибудь даже разговаривала... Да, глупость, глупость это», — разуверял я себя...

Наконец я лег спать, но долго не мог заснуть. В голове носились образы, звуки... пробовал стихи писать, — звуки путались, и ничего не выходило... передать все я не мог, сил не хватало, да и вообще всегда, когда сердце переполнено, стихи не клеятся. Кажется, что написал бы бог знает что, а возьмешь перо — и становишься в тупик... Согласившись наконец с Лермонтовым, что всех чувств значенья «стихом размерным и словом ледяным не передашь», я погасил свечу и лег. Полная луна светила в окно, ночь была морозная, судя по узорам окна. Мягкий бледный свет луны заглядывал в окно и ложился бледной полосой на полу. Тишина была немая... Я все еще не спал... Порой на луну, должно быть, набегали облачка, и в комнате становилось темней. В памяти у меня пробежало прошлое. Почему-то мне вдруг вспомнилась давно, давно, когда я еще был лет пяти, ночь летняя, свежая и лунная... Я был тогда в саду... И снова все перемешалось... Я глядел в угол. Луна по-прежнему

бросала свой мягкий свет... Вдруг все изменилось, я встал и огляделся: я лежу на траве в саду у нас в Озерках. Вечер. Пруд дымится... Солнце сквозит меж листвою последними лучами. Прохладно. Тихо. На деревне только где-то слышно плачет ребенок и далеко несется по заре, словно колокольчик, голос его. Вдруг из-за кустов идут мои прежние знакомые. Лиза остановилась, смотрит на меня и смеется, играя своим передничком. Варя, Дуня... Вдруг они нагнулись все и подняли... гроб. В руках очутились факелы. Я вскочил и бросился к дому. На балконе стоит Эмилия Вас, но только не такая, какая была у тетки, а божественная какая-то, обвитая тонким покрывалом, вся в розах, свежая, цветущая. Стоит и манит меня к себе. Я взбежал и упал к ней в объятия и жаркими поцелуями покрывал ее свежее личико... Но из-за кустов вышли опять с гробом Лиза, Дуня, Варя; она вскрикнула и прижалась ко мне... Вдруг все потемнело... Кругом поле на сколько можно разглядеть, на руках у меня Мила... она шепчет и целует меня: «милый, милый»... Далеко где-то звенит колокольчик... и... я проснулся:

в комнате так же темно, луна не светит. Эх! что мне снится, подумал я, постарался поскорей заснуть опять...

1886

27 января 1886 г.

Вечер. Сижу один в зало и хочу записать то, что за неимением... да нет, впрочем, даже по небрежности, не внес в свой журналчик. Особенного ничего не случилось. Но все-таки надо припомнить. Как я провел остальное время Святков.

30-го декабря я встал уже с сладким мучением влюбленного и опять с ревностью в груди, но не только к Федорову, но и даже (глупо) ко всем. Когда нонче утром заговорили о ней, я не мог слышать, и, что всего удивительней, даже хотя говорили о ней что-то хорошее, и притом мать с Настей. Я уже не знаю отчего, только я ревную и не могу выносить. А тут еще поедет с Федоровым, и хотя я уверен, что она не изменит, но мне бы не хотелось, чтобы подобные Федоровы были близко около нее. Это малый, не кончивший курс учения, хромой и притом пошляк, это один из...

Продолжение дневника 27 января 1886 года.

Юлий живет в Озерках — под надзором полиции, обязан три года не выезжать никуда.

Зимой пишу стихи. В памяти морозные солнечные дни, лунные ночи, прогулки и разговоры с Юлием.

20 декабря 1886 года.

Вечер. На дворе не смолкая бушует страшная вьюга. Только сейчас выходил на крыльцо. Холодный резкий ветер бьет в лицо снегом. В непроглядной крутящейся мгле не видно даже строений. Едва-едва, как в тумане, заметен занесенный сад. Холод нестерпимый.

Лампа горит на столе слабым тихим светом. Ледяные белые узоры на окнах отливают разноцветными блестящими огоньками. Тихо. Только завывает метель да мурлыкает какую-то песенку Маша. Прислушиваешься к этим напевам и невольно отдаешься во власть долгого зимнего вечера. Леню шевельнуться, леню мыслить.

А на дворе все так же бушует метель. Тихо и однообразно проходит время. По-прежнему лампа горит слабым светом. Если в комнате

совершенно стихает, слышно, как горит и тихонько сипит керосин. Долог зимний вечер. Скучно. Всю ночь будет бушевать метель и к рассвету нанесет высокий снежный сугроб.

1888

<Без даты>

Поезд, метель, линия сугробов и щитов.

<Без даты>

Изба полна баб и овец — их стригут.

На веретье на полу лежит на боку со связанными тонкими ногами большая седая овца. Черноглазая баба стрижет ее левой рукой (левша) огромными ножницами, правой складывая возле себя клоки сальной шерсти, и без умолку говорит с другими бабами, тоже сидящими возле связанных лежащих бокастых овец и стригущими их.

1891

<26 июля>

Церковь Спаса-на-бору. Как хорошо: Спас на бору! Вот это и подобное русское меня волнует, восхищает древностью, моим кровным родством с ним.

1893

В июле (?) приехала в Огневку В. С ней к Воргунину.

Осенью в Полтаве писал «Вести с родины» и «На чужой стороне» (?).

Конец декабря — с Волкенштейном в Москву к Толстому.

3 июня 1893 г. Огнёвка.

Приехал верхом с поля, весь пронизанный сыростью прекрасного вечера после дождя, свежестью зеленых мокрых ржей.

Дороги чернели грязью между ржами. Ржи уже высокие, выколосились. В колеях блестела вода. Впереди передо мной, на востоке, неподвижно стояла над горизонтом гряда румяных облаков. На западе — синие-синие тучи, горами. Солнце зашло в продольную тучку под ними — и золотые столпы уперлись в них, а края их зажглись ярким кованым золотом. На юге глубина неба безмятежно ясна. Жаворонки. И все так привольно, зелено кругом. Деревня Басово в хлебах.

1894

В начале января вернулся из Москвы в Полтаву. «Аркадий». От Николаева (?).

В апреле в «Русском богатстве» «Танька»

(?).

Вечер 19 мая, Павленки (на даче под Полтавой), дождь, закат (запись: «Пришел домой весь мокрый...»).

15 авг., Павленки, сидел в саду художника Мясоедова (запись: «Солнечный ветреный день...») В<аря> в Ельце.

Осенью квартира на Монастырской.

20 окт. (с. стилия), в 2 ч. 45 м. смерть Александра III в Ливадии.

Привезен в Птб. 1 ноября. Стоял в Петропавловском соборе до 7 ноября (до похорон).

4 ноября — бегство В<ари>.

Вскоре приехал Евгений. С ним и с Юлием в Огневку, Елец, Поповская гостиница.

Я остался в Огневке. До каких пор?

Вечер 19 мая 94 г. Павленки (предместье Полтавы).

Пришел домой весь мокрый, — попал под дождь, — с отяжелевшими от грязи сапогами. Прошел сперва с нашей дачи к пруду в земском саду, — там березы, ивы с опущенными длинными мокрыми зелеными ветвями. Потом пошел по дороге в Полтаву, глядя на за-

кат справа. Он все разгорался — и вдруг строения города на горе впереди, корпус фабрики, дым трубы — все зажглось красной кровью, а тучи на западе — блеском и пурпуром.

15 авг. 94, Павленки.

Солнечный ветреный день. Сидел в саду художника Мясоедова (наш сосед, пишет меня), в аллее тополей на скамейке. Безоблачное небо широко и свежо открыто. Иногда ветер упал, свет и тени лежали спокойно, на поляне сильно пригревало, в шелковистой траве замирали на солнце белые бабочки, стрекозы с стеклянными крыльями плавали в воздухе, твердые темно-зеленые листья сверкали в чаще лаковым блеском. Потом начинался шелковистый шелест тополей, с другой стороны, по вершинам сада, приближался глухой шум, разрастался, все охватывал — и свет и тени бежали, сад весь волновался... И снова упал ветер, замирал, и снова пригревало.

1895

В январе в первый раз приехал в Птб. Михайловский, С. Н. Кривенко, Жемчужников.

Потом? Москва, Бальмонт, Брюсов, Эртель, Чехов (оба в Большой Московской гостинице).

Март: Москва, номера в конце Тверского бульвара, с Юлием. Солнце, лужи.

В «Русской мысли» стихи «Сафо», «Вечерняя молитва».

«Старая, огромная, людная Москва», и т. д. Так встретила меня Москва когда-то впервые и осталась в моей памяти сложной, пестрой, громоздкой картиной — как нечто похожее на сновидение...

Это *начало* моей новой жизни было самой темной душевной порой, внутренне самым мертвым временем всей моей молодости, хотя внешне я жил тогда очень разнообразно, общительно, на людях, чтобы не оставаться наедине с самим собой. <...>

Летом — Полтава (?). Поездка на отправку переселенцев с Зверевым. Написал «На край света» (когда?). Напечатали в «Новом слове» в октябре.

В декабре — Птб., вечер в Кредитном Обществе. Номера на Литейном (?).

Привез «Байбаки».

Федоров, Будищев, Ладыженский, Михеев;

Михайловский, Потапенко, Баранцевич, Гиппиус, Мережковский, Минский, Савина (это на вечере в Кред. О-ве); Сологуб (утром у Федорова), Елпатьевский, Давыдова («Мир божий» на Лиговке). Муся, Людмила (дочь Елпатьевского). Васильевский Остров. Попова, ее предложение издать «На край света».

1896

Из Птб. был в Ельце на балу в гимназии (?) — уже «знаменитостью».

Когда познакомился и сошелся с М. В.?

29 мая вечером с М. В. приехал в Кременчуг. Почти всю ночь не спали. На другой день уплыл в Екатеринослав (она — в Киев?).

31 мая из Екатеринослава через «Пороги» по Днепру.

1 июня — Александровен — и вечером отсюда в Бахчисарай.

Бахчисарай, Чуфут, монастырь под Бахчисараем.

Байдары, ночевка в Кикинекзе. Ялта, Аю-Даг. В Ялте Станюкович, Мирон (Миролюбов).

Днепровские Пороги (по которым я прошел на плоту с лоцманами летом 1896 года).

Екатеринослав. Потанинский сад, где про-

вел с час, потом за город, где под Ек., на пологом берегу Днепра, Лоцманская Каменка. В верстах в 5 ниже — курганы: Близнецы, Сторожевой и Галаганка — этот насыпан, по преданию, разбойником Галаганом, убившим богатого пана, зарывшим его казну в землю и затем всю жизнь насыпавшим над ней курган. Дальше Хортица, а за Хортицей — Пороги: первый, самый опасный, — Неяситец (или Ненасытец); потом, тоже опасные: Дед и Волнич; за Волничем, в 4 верстах, последний опасный — Будило, за Будилом — Лишний; через 5 верст — Вильный; и наконец — Явленный. <...>

С 15 на 16 сент. из Екатеринослава в Одессу. Лунная ночь, пустые степи.

Вечером 16 Одесса, на извозчике к Федорову в Люстдорф.

Ночью ходили к морю. Темно, ветер. Позднее луна, поле лунного света по морю — тусклое, свинцовое. Лампа на веранде, ветер шуршит засохшим виноградом. (Киппен?)

17 сент. Проводил Федорова в Одессу, ветер, солнце, тускло-блестящее море, берег точно в снегу. <...>

21 сент. Тишина, солнечное утро, пожелтевший плющ на балконе, море ярко-синее, все трепещет от солнца. Хрустальная вода у берега. Сбежал к морю, купался.

26 сент. Уехал на Николаев. Синее море резко отделяется от красных берегов.

Птб., Литейный, номера возле памятника Ольденбургского в снегу. Горничная. <...>

1897

Январь. Петербург, выход «На край света». Именины Михайловского, потом Мамина (в Царском Селе).

Михеев в снегу на вокзале.

Встреча с Лопатиной в редакции «Нового слова» (?).

Из Птб. в Ельце на балу.

Огневка. *11 марта*— «еду из Огневки в Полтаву...» (по записи).

30 апр. из Полтавы в Шишаки (по записи).

24 мая из Полтавы в Одессу к Федорову через Кременчуг — Николаев, оттуда по Бугу.

11. III.1897.

Еду из Огневки в Полтаву. Второй класс, около одиннадцати утра, только что выехал с

Бабарыкиной. Слепительно светлый день, серебряные снега. Ясная даль, на горизонте перламутрово-лиловые, точно осенние облака. Кое-где чернеют лесочки. Грустно, люблю всех своих.

30 апреля 1897 г., Полтава.

Из Полтавы на лошадях в Шишаки. Овчарни Кочубея. Рожь качается, ястреба, зной. Яновщина, корчма. Шишаки. Яковенко не застал, поехал за ним к нему на хутор. Вечер, гроза. Его тетка, набеленная, нарумяненная, старая, хрипит и кокетничает. Докторша, «хочет невозможного».

Миргород. Там ночевал.

24 мая 1897 г.

Из Полтавы в Одессу к Федорову.

Кременчуг, мост, солнце низкое, желто-мутный Днепр.

За Кременчугом среди пустых гор, покрытых только хлебами. Думал о Святополке Окаянном.

Ночью равнины, мокрые после дождя. Пшеницы, черная грязь дорог.

Николаев, Буг. Ветрено и прохладно. Низкие глиняные берега. Буг пустынен. Устье, синяя туча, громадой поднявшаяся над синей сталью моря. Из-под боков парохода развалы воды, бегут сквозь решетку палубы. Впереди море, строй парусов.

29 мая.

Люстдорф. Рассвет, прохладный ветер, волнуется сиреневое море. Блеск взошедшего солнца начался от берега.

Днем проводил Федорова в Одессу, сидел на скалах возле прибоя. Море кажется выше берега, на котором сидишь. Шел берегом — в прибое лежала женщина.

Вечером ходил в степь, в хлеба. Оттуда смотрел на синюю пустыню моря.

1898

Начало зимы, зима — где?

Ранней весной, кажется, в Москве, в «Столице». Лопатина.

Где весной?

Начало лета — Царицыно.

Прощание поздним вечером (часу в одиннадцатом, но еще светила заря, после дождя),

прощание с Лопатиной в лесу. Слезы и надела на меня крест (иконку? и где я ее дел?).

В конце июня уехал в Люстдорф к Федорову. Куприн, Карташевы, потом Цакни, жившие на даче на 7-й станции. Внезапно сделал вечером предложение. Вид из окон их дачи (со 2-го этажа). Аня играла «В убежище сада...». Ночуя у них, спал на балконе (это уже, кажется, в начале сентября).

23 сентября — свадьба.

Жили на Херсонской улице, во дворе.

Вуаль, ее глаза за ней (черной). Пароходы в порту. Лан-жерон.

Беба, собачка. Обеды, кефаль, белое вино. Мои чтения в Артистическом клубе, опера (итальянская).

«Пушкин», Балаклава. Не ценил ничего!

Ялта, гостиница возле мола. Ходили в Гурзуф. На скале в Гурзуфе вечером.

Возвращение, качка.

В декабре (или ноябре?) в Москву с Аней. Первое представление «Чайки» (17 дек.), мы были на нем. Потом Птб., номера на Невском (на углу Владимирской). Бальмонт во всей своей молодой наглости.

Первое изд. «Гайаваты».

Лохвицкая?

«Без роду-племени» — где и когда писал? Кажется, в Одессе, после женитьбы. В «ни-вском» издании этот рассказ помечен 97-м годом.

Когда с Лопатиной по ночлежным домам?

16 ноября — юбилей Златовратского в Колонной зале в «Эрмитаже» (в Москве).

1899

Весной ездил в Ялту (?). Чехов, Горький, Муся Давыдова и Лопатина.

<...> Летом — в «Затишье», в имении Цакни. Разрыв. Уехал в Огневку. Вернулся осенью (кажется, через Николаев, в солнечное раннее утро). Род примирения. Солнечный день, мы с ней шли куда-то, она в сером платье. Ее бедро. <...>

1900

Зимой репетиции у Цакни «Жизни за царя».

В январе ее беременность.

В начале марта полный разрыв, уехал в Москву.

Доктор Рот.

Весна в Огневке. «Листопад».

Лето в Ефремове? Письмо Горькому из Ефремова в конце августа.

В Москве осенью дал ему «Листопад» для «Новой жизни». Поссе. Писал «Антоновские яблоки».

«В Овраге» Чехова в «Новой жизни».

В октябре я в Одессе. Отъезд с Куровским за границу: Лупов — Торн — Берлин — Париж — Женевское озеро — Вена — Петербург.

Потом я в Москве. «Среда» художников.

В конце декабря я у Чеховой. Чехов за границей. Ночь у какой-то.

1901

В «нивском» изд. помечены этим годом: «Новый год», «Тишина», «Осенью», «Новая дорога», «Сосны», «Скит», «Туман», «Костер», «В августе». Когда писал «Перевал»? <...>

В январе 1901 г. я все еще жил у Чеховой. Моя запись: «Зима 1901 г., я у Чеховой... Су-Ук-Су...»

31 янв. в Москве первое представление «Трех сестер». Арсений (чеховский слуга) из Ялты Марье Павловне по телефону: «Успех громадный». <...>

Числа 15 февр. Чехов вернулся из-за границы. Я переехал в гостиницу «Ялта». Покойница. <...>

Как-то в сумерки читал ему его «Гусева». Он сказал: «я хочу жениться».

Кульман, Елпатьевский, Массандра. Вера Ивановна. (В сентябре, в Ялте.)

Паша-гречанка. «Грузинская царица» (уже забыл, как звали!). Бегство в Москву через Симферополь (до С. на ямщицкой тройке). В ноябре в Крыму Толстой. <...>

Крым, зима 1901 г. На даче Чехова.

Чайки как картонные, как яичная скорлупа, как поплавки, возле клонящейся лодки. Пена как шампанское. Провалы в облаках — там какая-то дивная, неземная страна. Скалы известково-серые, как птичий помет. Бакланы. Су-Ук-Су. Кучукой. Шум внизу, солнечное поле в море, собака пустынно лает. Море серо-лиловое, зеркальное, очень высоко поднимающееся. Крупа, находят облака.

Красавица Березина (!).

Весной 1901 г. мы с Куприным были в Ялте (Куприн жил возле Чехова в Аутке). Ходили в гости к начальнице женской ялтинской гим-

назии, Варваре Константиновне Харкеевич, восторженной даме, обожательнице писателей. На Пасхе мы пришли к ней и не застали дома. Пошли в столовую, к пасхальному столу, и, веселясь, стали пить и закусывать.

Куприн сказал: «Давай напишем и оставим ей на столе стихи». И стали, хохоча, сочинять, и я написал:

*В столовой у Варв. Константи-
ны
Накрыт был стол отменно-длин-
ный,
Была тут ветчина, индейка, сыр,
сардинки,
И вдруг ото всего ни крошки, ни
соринки:
Все думали, что это крокодил,
А это Бунин в гости приходил.*

1902

В январе репетиция «Мещан» Горького. 20 янв. Чехов пишет кому-то: «Умер Соловцов... Оч. болен Толстой... Я привез „Детей Ванюшина“...»

Я в Ялте?

31 янв. Чехов кому-то: «„Осенью“ Бунина

написано несвободно...»

Я в Птб.? Предложение Куприна Мусе Давыдовой?

Февраль. Чехов кому-то: «Горький в Крыму» (кажется, у Токмаковых, на даче «Нюра»). Я в Одессе. Приезд туда «молодых» Андреевых (в конце февраля). <...>

24 марта, Чехов: «В Ялту приезжают Бунин и Нилус». С нами в Ялте был Телешов. Нилус писал портрет Чехова. — Художник Ярцев, Варв. Конст. Харкеевич. Привезли большую Книппер.

Июль. Я под Одессой, на даче Гернета (есть запись).

Когда Вера Климович?

В сентябре: умер Зола; в Одессе чума. Очевидно, это тогда (в августе, вероятно) уплыл от чумы на пароходе из Одессы в Ялту.

Чехов, 26 сент.: «Был Куприн, женатый на Давыдовой. Жена беременна».

20 дек., Чехов: «На дне» имело большой успех. Я был на первом представлении. Был весь конец осени в Москве?

Макс Ли? «Белый Негр»?

Карзинкин издал мои «Новые стихотворе-

ния».

2 1/2 часа. Моя беленькая каморка в мазанке под дачей. В окошечко видно небо, море, порою веет прохладным ветром. Каменистый берег идет вниз прямо под окошечком, ветер качает на нем кустарник, море весь день шумит; непрестанно понижающийся и повышающийся шум и плеск. С юга идут и идут, качаются волны. Вода у берегов зеленая, дальше синевато-зеленая, еще дальше — лиловая синева. Далеко в море все пропадает и возникает пена, белеет, как чайки. А настоящие чайки опускаются у берега на воду и качаются, качаются, как поплавки. Иногда две-три вдруг затрепещут острыми крыльями, с резким криком взлетят и опять опустятся. <...>

1903

1 янв., Чехов: «Бунин и Найденов в Одессе. Их там на руках носят». Мы с Н. Жили в «Крымск. гост.» — Федоров и Лиза Дитерихс.

1 февр., Чехов: «Андреева „В тумане“ хорошая вещь». Когда Андреев рассказывал мне тему этого рассказа?

16 февр., Чехов: «Бунин почему-то в Новочеркасске». Я был там у матери и Маши.

Март — я в Ялте.

14 марта, Чехов: «Тут М-те Голоушева». Я там с Федоровым и Куприным.

8 начале апреля я с Федоровым уплыл в Одессу. Чехов: «Куприн тоже уехал — в Птб.» (кажется, в Ялте был и Андреев).

Когда Елена Васильевна?

9 апреля я уплыл из Одессы в Константинополь.

Где я весной и летом? В Огневке? Летом, конечно, в Огневке, переводил «Манфреда».

Конец сентября — я в Москве: Чехов из Ялты сестре (или Книппер?): «Скажи Бунину...»

В октябре — я тоже в Москве: Чехов 28 октября: «Бунину и Бабурину привет». Бабурин — Найденов.

<...> Мы познакомились с ним вскоре после того, как на него свалилась слава, — именно свалилась, — быстро стали приятелями, часто виделись, часто вместе ездили — то в Петербург, то на юг, то за границу... В нем была смесь чрезвычайной скрытности и чисто детской наивности. <...> Любочка?

Декабрь — я в Москве, последние встречи с Чеховым. Репетиции «Вишневого сада». Макс

Ли. (В номерах Гунста первая ночь — в это время или раньше?) Тут, кажется, «Чернозем».

24 дек. мы с Найденовым уехали в Ниццу. Макс с нами — до Варшавы. Мы в Вену, она в Берлин.

1905

«Ксения», 18 октября 1905 года.

Жил в Ялте, в Аутке, в чеховском опустевшем доме, теперь всегда тихом и грустном, гостил у Марьи Павловны. Дни все время стояли серенькие, осенние, жизнь наша с М. П. и мамашей (Евгенией Яковлевной) текла так ровно, однообразно, что это много способствовало тому неожиданному резкому впечатлению, которое поразило нас всех вчера перед вечером, вдруг зазвонил из кабинета Антона Павловича телефон, и, когда я вошел туда и взял трубку, Софья Павловна стала кричать мне в нее, что в России революция, всеобщая забастовка, остановились железные дороги, не действует телеграф и почта, государь уже в Германии — Вильгельм прислал за ним броненосец. Тотчас пошел в город — какие-то жуткие сумерки, и везде волнения, кучки на-

рода, быстрые и таинственные разговоры — все говорят почти то же самое, что Софья Павловна. Вчера стало известно, уже точно, что действительно в России всеобщая забастовка, поезда не ходят... Не получили ни газет, ни писем, почта и телеграф закрыты. Меня охватил просто ужас застрять в Ялте, быть ото всего отрезанным. Ходил на пристань — слава богу, завтра идет пароход в Одессу, решил ехать туда.

Нынче от волнения проснулся в пять часов, в восемь уехал на пристань. Идет «Ксения». На душе тяжесть, тревога. Погода серая, неприятная. Возле Ай-Тодора выглянуло солнце, озарило всю гряду гор от Ай-Петри до Байдарских Ворот. Цвет изумительный, серый с розово-сизым оттенком. После завтрака задремал, на душе стало легче и веселее. В Севастополе сейчас сбежал с парохода и побежал в город. Купил «Крымский вестник», с жадностью стал просматривать возле памятника Нахимову. И вдруг слышу голос стоящего рядом со мной бородатого жандарма, который говорит кому-то в штатском, что выпущен манифест свободы слова, союзов и вообще

всех «свобод». Взволновался до дрожи рук, пошел повсюду искать телеграммы, нигде не нашел и поехал в «Крымский вестник». Возле редакции несколько человек чего-то ждут. В кабинете редактора (Шапиро) прочел наконец манифест! Какой-то жуткий восторг, чувство великого события.

Сейчас ночью (в пути в Одессу) долгий разговор с вахтенным на носу. Совсем интеллигентный человек, только с сильным малороссийским акцентом. Настроен крайне революционно, речь все время тихая, твердая, угрожающая. Говорит не оборачиваясь, глядя в темную равнину бегущего навстречу моря.

Одесса, 19 октября.

Возле Тарханкута, как всегда, стало покачивать. Разделся и лег, волны уже дерут по стене, опускаются все ниже. Качка мне всегда приятна, тут было особенно — как-то это сливалось с моей внутренней взволнованностью. Почти не спал, все возбужденно думал, в шестом часу отдернул занавеску на иллюминаторе: неприязненно светает, под иллюминатором горами ходит зеленая холодная вода,

из-за этих гор — рубин маяка Большого Фонтана. Краски серо-фиолетовые; рассвет, и эти зеленые горы воды, и рубин маяка. Качает так, что порой совсем кладет.

Пристали около восьми, утро сырое, дождливое, с противным ветром. В тесноте, в толпе, в ожидании сходен, узнаю от носильщиков, кавказца и хохла, что на Дальнической убили несколько человек евреев, — убили будто бы переодетые полицейские, за то, что евреи будто бы топтали царский портрет. Очень скверное чувство, но не придал особого значения этому слуху, может и ложному. Приехал в Петербургскую гостиницу, увидел во дворе солдат. Спросил швейцара: «Почему солдаты?» — Он только смутно усмехнулся. Поспешно напился кофию и вышел. Небольшой дождь, сквозь туман сияние солнца — и все везде пусто: лавки заперты, нет извозчиков. Прошел, ища телеграммы, по Дерибасовской. Нашел только «Ведомости градоначальства». Воззвание градоначальника, — призывает к спокойствию. Там и сям толпится народ. Очень волнуясь, пошел в редакцию «Южного обозрения». Тесное помещение редакции на-

бито евреями с грустными серьезными лицами. К стене прислонен большой венок с красными лентами, на которых надпись: «Павшим за свободу». Зак, Ланде (Изгоев). Он говорит: «Последние дни наши пришли». — «Почему?» — «Подымается из порта патриотическая манифестация. Вы на похороны пойдете?» — «Да ведь могут голову проломить?» — «Могут. Понесут по Преображенской».

Пока пошел к Нил усу. Вдоль решетки городского сада висят черные флаги. С Нилусом пошел к Куровским. Куровский (который служит в городской управе) говорит, что было собрание гласных думы вместе с публикой и единогласно решили поднять на думе красный флаг. Флаг подняли, затем потребовали похоронить «павших за свободу» на Соборной площади, на что дума опять согласилась.

Когда вышел с Куровским и Нилусом, нас тотчас встретил один знакомый, который предупредил, что в конце Преображенской национальная манифестация уже идет и босяки, приставшие к ней, бьют кого попало. В самом деле, навстречу в панике бежит народ.

В три часа после завтрака у Буковецкого

узнали, что грабят Новый базар. Уже образована милиция, всюду санитары, пальба... Как в осаде, просидели до вечера у Буковецкого. Пальба шла до ночи и всю ночь. Всюду грабят еврейские магазины и дома, евреи будто бы стреляют из окон, а солдаты залпами стреляют в их окна. Перед вечером мимо нас бежали по улице какие-то люди, за ними бежали и стреляли в них «милиционеры». Некоторые вели арестованных. На извозчике везли раненых. Особенно страшен был сидевший на дне пролетки, завалившийся боком на сиденье, голый студент — оборванный совсем догола, в студенческой фуражке, набекрень надетой на замотанную окровавленными тряпками голову.

20 октября.

Ушел от Буковецкого рано утром. Сыро, туманно. Идут кухарки, несут провизию, говорят, что теперь все везде спокойно. Но к полудню, когда мы с Куровским хотели пойти в город, улицы опять опустели. С моря повсюду плывет густой туман. Возле дома Городского музея, где живет Куровский, — он хранитель

этого музея, — в конце Софийской улицы поставили пулемет и весь день стучали из него вниз по скату, то отрывисто, то без перерыва. Страшно было выходить. Вечером ружейная пальба и стучащая работа пулеметов усилилась так, что казалось, что в городе настоящая битва. К ночи наступила гробовая тишина, пустота. Дом музея — большой, трехэтажный — стоит на обрыве над портом. Мы поднимались днем на чердак и видели оттуда, как громили в порту какой-то дом. Вечером нам пришло в голову, что, может быть, придется спасаться, и мы ходили в огромное подземелье, которое находится под музеем. Потом опять ходили на чердак, смотрели в слуховое окно, слушали: туман, влажные силуэты темных крыш, влажный ветер с моря и где-то вдали, то в одной, то в другой стороне, то поднимающаяся, то затихающая пальба.

21 октября.

Отвратительный номер «Ведомостей одесского градоначальства». В городе пусто, только санитары и извозчики с ранеными. Везде висят национальные флаги.

В сумерки глядели из окон на зарево — в городе начальство приказало зажечь иллюминацию. Зарево и выстрелы.

22 октября.

От Буковецкого поехал утром в Петербургскую гостиницу. Извозчик говорил, что на Молдаванке евреев «аж на куски режут». Качал головой, жалел, что режут многих безвинно-напрасно, негодовал на казаков, матерно ругался. Так все эти дни: все время у народа негодование на «зверей казаков» и злоба на евреев.

Солнце, влажно пахнет морем и каменным углем, прохладно.

В полдень пошел к Куровскому — город ожил, принял совсем обычный вид: идут конки, едут извозчики...

Часа в три забежала к кухарке Куровских какая-то знакомая ей баба, запыхаясь, сообщила, что видела собственными глазами — идут на Одессу парубки и дядьки с дрючками, с косами; будто бы приходили к ним нынче утром, — ходили по деревням и по Молдаванке, — «политики» и сзывали делать револю-

цию. Идут будто и с хуторов, всё с той же целью — громить город, но не евреев только, а всех.

Куровский говорит, что видел, как ехал по Преображенской целый фургон солдат с ружьями, — возле гостиницы «Империаль» они увидели кого-то в окне, остановили фургон и дали залп по всему фасаду.

— Я спросил: по ком это вы? — «На всякий случай». Говорят, что нынче будет какая-то особенная служба в церквах — «о смягчении сердец».

Был художник Заузе и скульптор Эдварде. Говорили:

— Да, с хуторов идут...

— На Молдаванке прошлой ночью били евреев нещадно, зверски...

По Троицкой только что прошла толпа с портретом царя и национальными флагами. Остановились на углу, «ура», затем стали громить магазины. Вскоре приехали казаки — и проехали мимо, с улыбками. Потом прошел отряд солдат — и тоже мимо, улыбаясь.

«Южное обозрение» разнесено вдребезги, — оттуда стреляли...

Заузе рассказывал: ехал вчера на конке по Ришельевской. Навстречу толпа громил, кричат: «Встать, ура государю императору!» И все в конке поднимаются и отвечают: «Ура!» — сзади спокойно идет взвод солдат.

Много убито милиционеров. Санитары стреляют в казаков, и казаки убивают их.

Куровский говорит, что восемнадцатого полиция была снята во всем городе «по требованию населения», то есть думой по требованию ворвавшейся в управу тысячной толпы.

В городе говорят, что на слободке Романовке «почти не осталось жидов!».

Эдварде говорил, что убито тысяч десять.

Поезда все еще не ходят. Уеду с первым отходящим.

Сумерки. Была сестра милосердия, рассказывала, что на слободке Романовке детей убивали головами об стену; солдаты и казаки бездействовали, только изредка стреляли в воздух. В городе говорят, что градоначальник запретил принимать депешу в Петербург о том, что происходит. Это подтверждает и Андреевский (городской голова).

Уточкин, — знаменитый спортсмен, — при

смерти; увидал на Николаевском бульваре, как босяки били какого-то старика-еврея, кинулся вырывать его у них из рук... «Вдруг точно ветерком пахнуло в живот». Это его собственное выражение. Подкололи его «под самое сердце».

Вечер. Кухарка Куровских ахает, жалеет евреев, говорит: «Теперь уже все их жалеют. Я сама видела — привезли их целые две платформы, положили в степу — от несчастные, господи! Трусятся, позамерзли. Их сами козачки провожали, везли у приют, кормили хлебом, очень жалели...»

Русь, Русь!

1906

Глотова (Васильевское). 14 мая 1906 года.

Начинается пора прелестных облаков. Вечера с теплым ветром, который еще веет как бы несколько погребной сыростью недавно вышедшей из-под снега земли, прелого жнивья. На востоке, за Островом, смутные, сливающиеся с несколько сумрачным небом облачные розоватые горы. Темнеет — в Острове кукушка, за Островом зарницы. И опять, опять такая несказанно-сладкая грусть от этого веч-

ного обмана еще одной весны, надежд и любви ко всему миру (и к себе самому), что хочется со слезами благодарности поцеловать землю. Господи, Господи, за что Ты так мучишь нас!

Из окна кухни блестели куриные кишки — петух сорвался с места и, утнув голову, быстро, мелко, деловито подбежал, сердито рвет, клюет, отматывает кишку от кишки. Отбежал — и опять набежал, роет.

16 июня 1906 г. Ефремов.

Переезд с подворья Моргунова в дом Проселкова, который мы сняли весь за 18 рублей в месяц. От Моргунова впечатление гнусное. Двор в глубоком сухом навозе. Мрачная опухшая старуха, мать хозяина, в валенках... Такие горластые петухи, каких, кажется, нет нигде, кроме постоянных дворов.

Вечером в городском саду. Есть кавалеры и девицы с подвязанными гусками — зубы болят. Некоторые из девиц перед отправлением в сад моют полы, корову доят, а в саду для них гремит кекуок.

До середины января я в Васильевском. По-

том в Москве.

Вечер в Воронеже?

Сборники «Новое слово», Крашенинникова. Я их редактор. В феврале был в Птб. Зачем? Потом Москва. Вечер в Консерватории, читал «Джордано Бруно» и другое. Приезд Федорова. «Стена» Найденова (?).

Во второй половине февраля уехал в Васильевское. В марте возвратился и ездил в Птб. Зачем?

10 апр. отъезд с Верой в Палестину.

Возвратились в конце мая.

23 апреля 1907 г.

На пути из Хеврона, в темноте, вдали огни Иерусалима. Часовня Рахили при дороге. Внутри висят фонарь, лампа и люстра с лампадками. Но горит, трещит только одна из них. Старик Шор зашел за большую гробницу, беленную мелом, прислонился к стене и начал, качаясь, молиться.

Наш извозчик еврей из Америки. Когда вышли, услышали крик в темноте возле нашей повозки: он чуть не подрался с каким-то проезжим, дико ругался, не обращал ни ма-

лейшего внимания на гробницу своей прама-
тери.

6 мая 1907 г.

В час дня от ст. Raijak. Подъем. Среди голых гор дико-кирпичного цвета. Вдоль пути шум потока, деревья в зелени. Идет дождь. Все время теснина. Высоко на горах точно развалины крепостей.

1 ч. 45 м., ст. Serehaya. Зеленая покатая круглая равнина. Деревья, посева, деревни с плоскими глиняными крышами. Кругом горы. Сзади огромная голая гора на фоне дождевой тучи и далекая лиловая гора. Возле станции, налево, тоже горы, дико-фиолетовые, в пятнах снега. Прохладно, скоро перевал.

По долине в зеленых посевах. Справа глиняные холмы. Слева скалистые горы. Впереди — исполинский величавый кряж — серебро с чернью. Перевалы пошли вниз...

Спуск. Земля <?> кирпично-глинистая. В посевах — женщины в чем-то цвета мака.

Ст. Zebdani, вся в садах. Женщины в шароварах, в синих юбках и туфлях, на головы накинута темно-лиловой материи.

3 ч. 15 м. Ст. Aiu Fijeh. Поразительная гора над нею. Сады. Перед станцией большие <?> горы, каменно-серо-крас-новатые.

Тронулись. Теперь кругом горы даже страшные. Шумит зелено-мутная река. Мы едем — и она быстро бежит за нами.

Пошли сады, говорят — сейчас Дамаск.

4 ч. Дамаск.

Огромная долина среди гор, море садов, и в них — весь желто-<нрзб> город, бедный, пыльный, перерезанный серой, быстро бегущей мутно-зеленоватой Барадой, скрывающейся возле вокзала под землю. Остановились в Hôtel Orient. После чая на извозчике за город. Удивительный вид на Дамаск. Я довольно высоко поднимался на один из холмов, видел низкое солнце и Гермон, а на юге, по пути к Еру-салиму, три сопки (две рядом, третья — дальше) синих, синих. Возвращались вдоль реки — ее шум, свежесть, сады.

7 мая, 9 ч. утра.

На минарете. Вся грандиозная долина и желто-кремовый город под нами. Вдали Гермон в снегу (на юго-западе). И опять стри-

жи — кружат, сверлят воздух. Город даже как бы светит этой мягкой глинистой желтизной, весь в плоских крышах, почти весь слитный. Безобразные длинные серые крыши галерей базара.

Потом ходили по этому базару. Дивный фон. Встретили похороны. Шор записал мотив погребальной песни, с которой шли за гробом.

Магазин Hassan'a.

В 3 часа поехали за город. Пустыни, глиняное кладбище. Большая мечеть — смесь прекрасного и безобразного, нового. Лучше всего, как всюду, дворы мечети. Зашли в гости к гиду.

Вечером на крыше отеля. Фиолетовое на Гермоне. Синевя неба на востоке, мягкая, нежная. Лунная ночь там же. Полумесяц над самой головой.

8 мая.

Проснулся в 5. Выехали в 6.

Путь поразительно скучный — голые горы и бесконечная глинистая долина, камень на камне. Ни кустика, ни травки, ни единого

признака жизни.

9 ч. 30. Пустыня, усеянная темно-серыми камнями. Вдали фигура араба в черной накидке.

10 ч. Строящаяся станция. Пока это только несколько белых шатров. Очень дико. Три солдата-араба в синем, два бедуина, зверски черных, в полосатых (белое и коричневое) накидках, в синих бешметах, в белых покрывалах, на голове схваченных черными жгутами, босые. Потом опять глинистая пашня, усыпанная камнями. Порой тощий посев. Пашут на волах. И все время вдали серебро с чернью — цепь гор в снегу с Гермоном над ними. Нигде ни капли воды.

2 часа. Туннель. Потом все время спуск в ущелье, среди серо-желто-зеленоватых гор и меловых обрывов, вдоль какой-то вьющейся речки, по берегам которой розовые цветы дикого олеандра (дафля по-арабски) и еще какие-то дикие, голубые. Поезд несется шибко. Жарко, весело, речка то и дело загорается серебром.

6 часов. Самак. Пустынно, дико, голо, просто.

Нашли лодку с 4 гребцами (за 10 фр.). Пройдя по совершенно дикарской и кажущейся необитаемой глиняной деревушке, вышли к озеру. Скромный, маленький исток Иордана. Озеро бутылочного цвета, кругом меланхолические, коричневые в желтых пятнах горы. Шли сперва на веслах, потом подняли парус. Стало страшно — ветер в сумерках стал так силен, что каждую минуту нас могло перевернуть.

8 Тивериаде отель Гросмана, оказалось, весь занят. Пошли ночевать в латинский монастырь. После ужина — на террасе. Лунно, полумесяц над головой, внизу в тончайшей дымке озеро. Ночью в келье-номере было жарко. Где-то кричал козленок.

9 мая.

Утром на лодке в Капернаум. Когда подошли к нему (в десятом часу), стало штилеть, желто-серо-зеленые прибрежные холмы начали отражаться в зеркалах под ними зеленоватым золотом. Вода под лодкой зеленая, в ней от весел извиваются зеленые толстые змеи с серебряными поблескивающими брю-

хами.

Капернаум. Жарко, сухо, очаровательно. У берега олеандры. Развалины синагоги. Раскопки. Монах-итальянец.

Из Капернаума в Табху, на лодке же. Из гребцов один молодой красавец, другой похож на Петра Ал. в валяной ермолке. Тишина, солнце, пустынно. Холмы между Капернаумом и Табхой сожженные, желтоватые, кое-где уже созревший ячмень. Возле Табхи что-то вроде водяной мельницы, домишко в ячмене, на самом берегу эвкалипты и два кипариса, молодых, совсем черных. Озеро млеет, тонет в сияющем свете.

В странноприимном немецком доме. Полный штиль. У берегов на востоке четкая, смело и изящно-сильно пущенная полоса, ярко-зеленая, сквозящая. Ближе — водные зеркала, от отраженных гор фиолетово-коричневые. Несказанная красота!

Завтрак, сон.

Три часа, сильный теплый западный ветер, зеленое озеро, мягко клонятся в саду мимозы в цвету, пальмочка.

На террасу вышел работник в черной на-

кидке на голове и черных жгутах по ней (на макушке), в одной синей рубаше, которую за-вернул ветер на голых ногах почти до пояса.

Сейчас около шести вечера, сидим на крыше. Ветер стал прохладней, ласковей. Воркуют голуби. Все кругом пустынно, задумчиво, озеро бутылочное, в ряби, которую, сгущая, натемняя, ветер гонит к холмам восточного побережья, из-за которых встало круглыми купами и отсвечивает в озере кремовое облако. Там, с тех холмов, сверг Христос в озеро стадо бесноватых свиней. Возле нас на жестких буграх пасутся козы, какой-то табор, совсем дикий, проехал на великолепной белой кобылице бедуин.

10 мая.

Утром в шесть часов купался. Бродяга с обезьяной. Приехал Шор. В девять выехали из Тапхи. Издали видел Магдалу. Дорога из Магдалы в Тивериаду идет вдоль берега. По ней часто ходил Христос в Назарет. Черные козы.

В Тивериаде очень жарко.

После завтрака выехали в Назарет. Гер Антон, милый Ибрагим. Подъем, с которого вид-

но все озеро и Тивериада. На востоке синеватуч слилась с синевой гор, и в ней едва видными серебряными ручьями означаетс^я Гермон. Перевал и снова подъем. Фавор слева, круглый, весь покрытый лесом. Длинная долина, посе^вы.

Кана. Кактусы, гранаты в цвету, фиговые деревья, женщины в кубовых платьях. Кана в котловине и вся в садах. Подъем, снова долина, снова подъем, огромный вид на долину назад. Потом котловина Назарета. Отель «Германия». Мальчик-проводник в колпачке на макушке. Церковь и дом Богородицы. Потом лунная ночь.

11 мая.

Утром из Назарета. Необъятная долина и горы Самарии. Потом подъем, ехали дубовым лесом. Снова долина, и вдалеке уже полоса моря.

Удивительный цвет залива в Кайфе сквозь пальмы. В четыре на Кармель. Вид с крыши монастыря Ильи, виден Гермон. Лунный вечер, — это уже возвраться в Кайфу, — ходил за вином.

12 мая.

Рано утром на пароходе. Жарко, тяжелое солнце. До Порт-Саида сто франков. В три часа снова Яффа. Опять Хаим и кривой. Закат во время обеда.

13 мая. Порт-Саид.

Купил костюм. В час из Порт-Саида, в экспрессе на Александрию. Озеро Мензалех. Вдали все розовое, плоский розовый мираж. В шестом часу Каир — пыльно-песчаный, каменистый, у подножия пустынного кряжа Мокатама.

Вечером на мосту. Сухой огненный закат, пальма, на мосту огни зеленоватые, по мосту течет река экипажей.

Ночью почти не спал. Жажда, жара, москиты. В час ночи ходил пить в бар. Проснулся в пять. К пирамидам. Туман над Нилом. Аллея к пирамидам — они вдали, как риги, цвета старой соломы. Блохи в могильниках за пирамидами. На возвратном пути Зоологический.

Вечером в цитадели. Новая, но прелестная мечеть. Вид на Каир, мутный и пыльный, ничтожный закат за великой Пирамидой.

15 мая.

Выехали в семь с половиной часов утра. Равнина. Рамле. Александрия. «Император Николай Второй». Все загружено русскими богомольцами из Палестины. Та же каюта.

16 мая, утром, в Средиземном море.

Опять эта поразительная сине-лиловая, густая, как масло, вода, страшно яркая у бортов.

Вчера вечером страшная резня кинжалами на палубе (самаркандские евреи).

Четыре часа. Слева волнистые линии Крита, в дымке. У подножия — светлый туман.

1908

24 апр. Так холодно, что полушубок.

29 апр. Холод, весь день дождь. Но все зелено и соловьи.

15 мая. Белые облака яблочного цвета с розовым оттенком на фоне нежной зелени. Во всех комнатах запах ландышей.

1909

26 мая 1909 г.

Перед вечером пошли гулять. Евгений, Петья и дьяконов сын пошли через Казаковку ло-

вить перепелов, мы с Колей в Колонтаевку. Лежали в сухом ельнике, где сильно пахло жасмином, потом прошли луг и речку, лежали на Казаковском бугре. Теплая, слегка душная заря, бледно-аспидная тучка на западе, в Колонтаевке цоканье соловьев. Говорили о том, как бедно было наше детство — ни музыки, ни знакомых, ни путешествий... Соединились с ловцами. Петя и дьяконов сын ушли дальше, Евгений остался с нами и чудесно рассказывал о Доньке Симановой и о ее муже. Худой, сильный, как обезьяна, жестокий, спокойный. «Вы что говорите?» И кнутом так перевет, что она вся винтом изовьется. Спит на спине, лицо важное и мрачное, «кляп на животе, как двустволка». Потом перешли к мужицкой нищете, грязи, к мужицкому бессмысленному и грубому разврату с женами, следствие которого невероятное количество детей. «Конечно, каждую ночь. А то как же? Потушат огонь, сейчас за подол и пошел чесать...» Да, я пишу только сотую долю того, что следовало бы написать, но чего не вытерпит ни одна бумага в мире. Еще Евгений рассказывал, как какой-то новосельский мужик

привязывал свою жену, всю голую, за косу к перемету и драл ее вожжами до потери сознания.

11 июня 1909 г., возвратясь из Скородного.

Утро, тишина, мокрая трава, тень, блеск, птицы и цветы. Преобладающий тон белый. Среди него лиловое (медвежьи ушки), красное (кашка, гвоздика, иначе Богородицы на трава), желтое (нечто вроде желтых маргариток), мышиный розовый горошек... А в поле, на косогоре, рожь ходит зыбью, как какой-то великолепный сизый мех, и дымится, дымится цветом.

21 июня 1909 г.

Полмесяца грозы и холодные ливни, вчера и нынче первые хорошие дни.

Поразительная лунная ночь, светлый дым, туман в саду и на огороде, все мокро, коротель; под Колонтаевкой, на лугу — густой белый слой тумана. Двенадцатый час, на северо-востоке уже затеплилась розоватая Капелла, играет зеленым и красным. Петухи.

У лавочника Сафонова на ковре над посте-

лью был изображен тигр, тело в профиль, морда en face — и подпись:

*Ягуар, краса лесов,
Чует близость стаи псов.*

Плотники часто пакостят при постройке домов: разозлятся на хозяина и вобьют, например, гвоздь от гроба под лавкой в переднем углу, а хозяину после того все покойники будут мерещиться.

1911

14 мая, село Васильевское-Готово.

Приехали одиннадцатого.

Нынче прохладно. Еще по-ранневесеннему кричат грачи в готовском саду на старых голых березах. Наш сад одевается. Зелень свежая, густая, мягкая даже на вид. На яблонях еще видны ветви, — не совсем еще опушились зеленью, особенно мягкой и сероватой (по сравнению с более зеленой и гораздо более яркой на кленах). Кисти сирени уже серолиловеют. Густая трава усыпана голубенькими цветочками.

Весь день трезвонят на колокольне — лавочник Ив. Лав рентиш нанял мальчишек и

велел звонить с утра до вечера, чтобы прошел слух, что он, новый староста, чтит царские дни. Безобразит церковь, — обивает стены железом дикого цвета. <...>

Как дьявольски густы у некоторых мужиков бороды исподнизу! Что-то зоологическое, древних времен.

Царствие божье, радость внутри нас самих. Для радости порою надо удивительно мало. Бывало, в гимназии, зацепится у учителя панталона за заднее ушко штиблета, — какой смех!

20 мая 1911 г.

Молились о дожде мужики, потом Бахтеяров, было отдание Пасхи, Вознесение — по целым дням трезвон на колокольне. Так и свяжется в воспоминании эта весна с этим трезвонном. И станет все милым, грустным, далеким, невозвратным.

Был довольно молодой мужик из Домовин. Говорит, был 14 лет в Киеве, в Лавре, и хвастается: «выгнали за девочек, игумен поймал за работой... Я провиненный монах, значит». Почему хвастается? Думаю, что отчасти что-

бы нам угодить, уверен, что это должно нам очень нравиться. Вообще усвоил себе (кому-то на потеху или еще почему-то?) манеру самой цинической откровенности. «Что ж, значит, ты теперь так и ходишь, не работаешь?» — «Черт меня теперь заставит работать!» В подряснике, в разбитых рыжих сапогах, женский вид, с длинными жидкими волосами, — и молоджавость от бритого подбородка (одни русые усы). Узкоплеч и что-то в груди — не то чахоточный, не то слегка горбатый. «Нет ли, господа, старенькой рубашечки, брючишек каких-нибудь?» Я подарил ему синюю косоворотку. Преувеличенный восторг. «Ну, я теперь надолго житель!»

Ездили недавно в Скородное. Как чудесно! Был жаркий день, и какая свежесть и густота трав и зелени деревьев, какая прелесть полурастувшихся дубков! Великое множество мелких желтеньких цветов, — целые поляны ярко-желтые, — и желтых лилий, а больше всего все искраплено какими-то голубенькими, вроде незабудок. И уже много лиловых медвежьих ушек на их высоких стеблях.

Как-то вечером гуляли в Острове. Леви-

тановские мягко-лиловые тучки, нежно-алые краски на закатном небе. И прелесть соединения свежести, сочности молодой зелени с запахом прошлогодней листвы. Необыкновенно тонкое время.

Вчера холод, осенние тучи. Ночь ледяная, с золотой крупной Венерой над закатом, с молодым месяцем.

Нынче ясно, весело, но ветрено и холодно. Карпушка говорит вместо фокстерьер — фокстерьерц. Конечно, это гораздо более по-русски.

28 мая 1911 г.

Все последние дни лил дождь, холод ужасный.

Сейчас пять часов, резко потеплело. Заходила огромная лилово-синяя туча с юга, гремел гром. Против солнца она стала металлической, зелень сада на ее фоне необыкновенна. Мы с Колей смотрели к югу от людской. Готовский сад, бахтеяровский, зеленая долина под Колонтаевкой — все образовывало чуднейший пейзаж, теплый, весенний. Зелень кленов яркая, лозин и берез — нежная,

бледная; на зелених возле Колонтаевки — чуть синеватый налет. Прелестная серебристость старых тополей в лугу под глотовской усадьбой.

— Карпушка, а ты знаешь, что такое пейзаж?

Молчит.

— Ну что ж ты молчишь? Немой, что ли? Что такое пейзаж?

— А я знаю?

— Ну, все-таки?

Помолчав:

— Лапша.

— Ты очумел!

— Ну матерком что-нибудь...

Стряпуха, его мать, ходила возле ограды, собирала в фартук желто-пуховых кривоногих утят, боясь нового дождя.

В церковной караулке часы часто останавливаются: мухи набиваются. Сторож бьет по ночам иногда черт знает что, — например, одиннадцать вместо двух.

5 июня 1911 г.

Настасья Петровна привезла в подарок Со-

фье Петровне Ромашковой огромный белый платок, весь в черных изображениях черепов и костей, с черными надписями: «Святой Боже, Святой Крепкий».

Старуха Луковка; специальность обмывать покойников, быть при похоронах, и это уже давно, чуть не с молодости. «Сюжет для небольшого рассказа». На варке у нее одна овца. Хороша жизнь и овцы этой!

Мужик с култышкой (уродливый большой палец) и узким когтем вместо ногтя.

Ярыга, циник печник.

Дворянская близость с дворовыми и усвоенная, конечно, от них, дворовых, манера потешаться над собой, забавлять собой.

7 июня. Приехал Юлий.

Первый хороший день, а то все лютые холода и проливные дожди.

8 июня.

Юлий привез новость — умер ефремовский дурачок Васька. Похороны устроили ему ефремовские купцы прямо великолепные. Всю жизнь над ним потешались, заставляли

дрочить и покатывались со смеху, глядели, как он «старается», — а похоронили так, что весь город дивился: великолепный гроб, певчие... Тоже «сюжет».

Монахиня, толстая старуха, белое лицо обрезано черным клубуком; в очках, в новых калошах.

20 июня.

Третий день хорошая погода.

Вчера ездили кататься на Знаменское. Лощинки, бугор, на бугре срубленный лес, запах костра. Два-три уцелевших дерева, тонких, высоких; за листвой одного из них зеркальная луна бобом (половинкой боба). Ехали назад мимо знаменского кладбища — там старики Рышковы и уже Валентин с ними. А на кладбище возле Знаменской церкви — наши: дед, бабка, дядя Иван Александрович, на которого я, по словам матери, будто бы разитель-но похож.

Нынче опять катались, на Жадовку. Долгий разговор с Натахой о крепостной, старинной жизни. Восхищается.

3 июля.

Изумительно — за все время, кажется, всего два-три дня хороших. Все дождь и дождь.

Ездили с Юлием и Колей в Слободу.

Нынче опять был дождь, хотя клонит, видимо, на погоду. Сейчас 6 часов, светло и ветрено, по столу скользят свет и тени от палисадника. Речка в лугу как огромное ослепительное, золотое зеркало. Только что вернулись от Таганка, сто-восьмилетнего старика. Весь его «корень» — богачи, но грязь, гнусность, нищета кирпичных изб и вообще всего их быта ужасающие. Возвращаясь, заглянули в избу Донькиной старухи — настоящий ужас! И чего тут выдумывать рассказы — достаточно написать хоть одну нашу прогулку.

Мужики «барские» называют себя, в противовес однодворцам, «русскими». Это замечательно.

Таганок милый, трогательный, детски простой. За избой, перед коноплями, его блиндаж; там сани, на которых он спит, над изголовьем шкатулочка, где его старый картуз, кисет. Когда пришел, с трудом стащил перед нами шапку с голой головы. Легкая белая бо-

рода. Трогательно худ, опущенные плечи. Глаза без выражения, один, левый, слегка разодран. Темный цвет лица и рук. В лаптях. Ничего общего не может рассказать, — только мелкие подробности. Живет в каком-то другом, не нашем мире. О французах слабо помнит — «так, — как зук находит». Ему не дают есть, не дают чаю, — «ничтожности жалеют», как сказал Григорий.

Говорит с паузами, отвечает не сразу.

— Что ж, хочется еще пожить?

— А бог ё знает... Что ж делать-то? Насильно не умрешь.

— Ну, а если бы тебе предложили прожить еще год или, скажем, пять лет? Что бы ты выбрал?

— Что ж мне, ее приглашать, смерть-то? (И засмеялся, и глаза осмыслились.) Она меня не угрызет. Пускай кого помоложе, а меня она не угрызет — вот и не идет.

— Так как же? Пять лет или год?

Думает. Потом нерешительно:

— Через пять-то годов вошь съест...

15 июля.

Уже дней десять — и без перерыва — дождь.

Я уже с неделю болен — насморк, бронхит. Вообще, когда же это кончится, мое самоубийство, летняя жизнь в Васильевском?

Нынче Кирики, престольный праздник, ярмарка. Выходил. Две ужасных шеренги нищих у церковных ворот. Особенно замечателен один калека. Оглобли и пара колес. Оглобли наполовину заплетены веревкой, на оси — деревянный щиток. Под концами оглобель укороченная, с отпиленными концами дуга, чтобы оглобли могли стоять на уровне оси. И на всем этом лежит в страшной рвани калека, по-женски повязанный платком, с молочно-голубыми, почти белыми, какими-то нечеловеческими глазами. Лежит весь изломанный, скрюченный, одна нога, тончайшая, фиолетовая, нарочно (для возбуждения жалости, внимания толпы) высунута. Вокруг него прочая нищая братия, и почти все тоже повязаны платками.

Еще: худой, весь изломанный, без задницы, один кострец высоко поднят, разлапые ноги в сгнивших лаптях. Невероятно мерзки

и грязны рубаха и мешок, и то и другое в запекшейся крови. В мешке куски сального недоваренного мяса, куски хлеба, сырые бараньи ребра. Возле него худой мальчишка, остроухий, рябой, узкие глазки. Весело: «Подай-те, папашечки!» Еще: малый, лет двадцати пяти, тоже рябой и веселый. Сказал про одного нищего, сидевшего на земле, у которого ноги в известковых ранах, залепленных подорожником, и в лиловых пятнах: «Ето считается по старинному заведению проказа». Потом все нищие деловито двинулись на ярмарку. Прокаженный поехал, заерзал задницей по земле.

Кирюшка рассказывает, что его родственник, «Трегубый», уже лет двадцать пьет, собирая на Иерусалим. Говорят, что в Рождестве ребята страшно франтят и пьют: «По двадцати целковых сапоги. Теперь новый народ пошел!»

Мужик на ярмарке, держа елозившего у него под мышкой в мешке поросенка, целый час пробовал губные гармонии и ни одной не купил. Веселый, ничуть не смутился, когда торгош обругал его.

Грязь страшная. Сейчас, после полдня, опять дождь. На гумне пахнет теплой и сырой землей и «бздюкой».

Для рассказа: бородатый, глаза блестящие, забитый курносый нос, говорит, говорит и налезает на человека.

19 июля.

Вчера и нынче первые хорошие дни, нынче особенно. Тихо, розоватое солнце сквозь голубой сухой тонкий туман.

Шесть часов. Все стало еще краснее от этого тумана. Река в лугу течет золотым красноватым пламенем.

Половина восьмого. Солнце в аспидной мути, малиново-огненное (особенно сквозь ветки палисадника).

Без двадцати восемь. Совсем помутнело, малиновое.

Юлий и Коля уехали в Ефремов, Софья в Орел.

29 июля 1911 г.

Все время отличная погода.

Ездили с Юлием на Бутырки. О, какое

грустное было мое детство! Глушь, Николай Осипович, мать...

25-го уехал Юлий.

Идешь вечером к Пескам — из-за Острова большая луна, сперва малиновая, потом оранжевая, и все прозрачнее и прозрачнее.

Вчера вечером катались (с Верой и Колей) к лугам на Предтеченево. Что за ночь была! И вообще какое прелестное время — начало августа! Юпитер низко на юге, Капелла на севере. Лозинки вдоль дороги, за ними луна. Слева, сзади — чуть алеющий закат, бледно-бледно-синие, необыкновенной красоты облака. Справа жнивье, бледное в лунном свете, телесного цвета. Рисового цвета ряды. Думал о поздней осени: эти луга, очень высокая луна, тонкий туман в лугах... Потом с грустью вспомнил Бутырки, ужин, самоцветные глаза собак под окнами... отец ложится спать под окнами в телегу...

Нынче Вера уехала в Лазавку.

Перед вечером опять было оранжево-золотое солнце и оранжево-золотой блеск в реке.

Сейчас 10 часов. Луна уже высоко, но она на каком-то непрозрачном небосклоне. Ночь

вообще странная — тени от меня нет. Луна очерчивается на этом небосклоне розово-желтым, без блеску диском.

Лежали с Колей на соломе. О Петре Николаевиче — как интересна психика человека, прожившего такую изумительно однообразную и от всех внутренне сокровенную жизнь! Что должен чувствовать такой человек? Все одно и то же — дожди, мороз, метель, Иван Федоров... Потом о Таганке: какой редкий, ни на кого не похожий человек! И он — сколько этого однообразия пережил и он! За его век все лицо земли изменилось, и как он одинок! Когда умерли его отец и мать? Что это были за люди? Все его сверстники и все дети их детей уже давно-давно в земле... Как он сидел вчера, когда мы проходили, как головой ворочал! Сапсан! Из жизни долголетнего человека можно написать настоящую трагедию. Чем больше жизнь, тем больше, страшней должна казаться смерть. В 80 лет можно надеяться до 100 дожить. Но в 100? Больше не живут, смерть неминуема. А при таком долголетии как *привыкает* человек жить! <...>

30 июля.

Сейчас, перед обедом, ходили через деревню на кладбище. Пустое место среди изб — бугры глины, битого кирпича, заросшие лебедью, репьями. Двор Пальчикова, подсолнечники на гумне.

Кладбище все в татарках, ярких, темно-лиловых и розовых (другого сорта). И уже приметы осени — уже есть татарки засохшие, из одного шелковистого серого пуха, который будет осенью летать. В картофеле еще есть цветы. По валам чернобыльник.

«Наглый хохот черных женщин. Спросите ее об ее имени — хохот и вранье». Это из Гончарова. То же самое и в русской деревне.

«Голубое небо с белым отблеском пламени». Очень хорошо.

«Если вы ничего не знаете о жизни, что же вы можете знать о смерти?» Конфуций. <...>

2 августа 1911 г.

Погода непрерывно чудесная. Особенно хороши лунные ночи. Вчера, от половины десятого, с час гулял. Обошел весь сад. Уже кое-где хрустит под ногами точно поджаренная

листва, чуть пахнет яблоками (хотя их нет), корой, дымком, кое-где тепло, кое-где свежесть. Просветы между стволами на валу. Стоял у шалаша. Какой чудесный пролет на старое кладбище, на светлое поле! Светлый горизонт, розоватый. Сухая наглаженная солома кое-где блестит на земле.

На что похожи копны в поле? Обрывки цепи, гусеницы.

Страстное желание (как всегда в хорошую погоду) ехать. Особенно на юг, на море, на купанье.

8 августа.

Еду в Одессу, пишу под Киевом, в вагоне.

1912

9 мая 1912 г.

Юлий, Митя и я ездили в Симонов монастырь.

Потом в 5-м часу были у Тестова. Говорили о Тимковском, о его вечной молчаливой неприязни к жизни. Об этом стоит подумать для рассказа.

Ресторан был совершенно пустой. И вдруг — только для нас одних — развеселый

звон и грохот, кекуок.

19 мая. Глотова (Васильевское).

Приехали позавчера.

Пробыли по пути пять часов в Орле у Маши. Тяжело и грустно. Милая, старалась угостить нас. Для нас чистые салфеточки, грубые, серые; дети в новых штанишках.

Орел поразил убожеством, заброшенностью. Везде засохшая грязь, теплый ветер несет ужасную пыль. Конка — нечто совершенно восточное. Скучная жара.

От Орла — новизна знакомых впечатлений, поля, деревни, все родное, какое-то особенное, орловское; мужики с замученными скукой лицами. Откуда эта мука скуки, недовольства всем? На всем земном шаре нигде нет этого.

В сумерках по Измалкову. У одной избы стоял мужик — огромный, с очень обвислыми плечами, с длинной шеей, в каком-то высоком шлыке. Точно пятнадцатое столетие. Глушь, тишина, земля.

Вчера перед вечером небольшой теплый дождь на сухую сизую землю, на фиолетовые

дороги, на бледную, еще нежную, мягкую зелень сада; Ночью дождь обломный. Встал больным. Глотова превратилось в грязную, темную яму. После обеда пошли задами на кладбище. Возвращались по страшной грязи по деревне. Мужик покупал на улице у торговца овечьи ножницы. Долго, долго пробовал, оглядывал, торгош (конечно, потому, что надул в цене) очень советовал смазывать салом.

Мужик опять точно из древности, с густой круглой бородой и круглой густой шапкой волос; верно, ходил еще в извоз, плел лапти, пристукивал их кочетыгом при лучине.

Перед вечером пошли на луг, на мельницу. Там Абакумов со своими ястребиными глазами (много есть мужиков, похожих на Удельных Великих Князей). Пришел странник (березовский мужик). Вошел, не глядя ни на кого, и прямо заорал:

*Придет время,
Потрясется земля и небо,
Все камушки распадутся,
Престолы Господни нарушатся,
Солнце с месяцем примеркнут,
И пропустит Господь огненную*

реку
И поморит нас, тварь земную,
Михаил Архангял с небес сойдет,
И вострубит у трубы,
И возбудит всех мертвых от гроба,
И возглаголет:
Вот вы были-жили
Вольной волей,
В ранней обедне не бывали,
Поздние обедни прожирали:
Вот вам рай готовый,—
Огни невгасимые!
Тады мы к матери сырой земле
припадем
И слезно восплачем, возрыдаем.

(Я этот стих слышал и раньше, немного иначе.)

Потом долго сидел с нами, разговаривал. Оказывается, идет «по обещанию» в Белгород (ударение делает на «город»), к мощам, как ходил и в прошлом году, дал же обещание потому, что был тяжело болен. Правда, человек слабый, все кашляет, борода сквозная, весь абрис челюсти виден. Сперва говорил благочестиво, потом проще, закурил. Абакумов ого-

ворил его. Иван (его зовут Иваном) в ответ на это рассказал, почему надо курить, жечь табак: шла Богородица от Креста и плакала, и все цветы от слез Ее сохли, один табак остался; вот Бог и сказал — жгите его. Вообще оказалось, любит поговорить. Во дворе у него хозяйствует брат, сам же он по слабости здоровья даже не женился. Был гармонистом, то есть делал и чинил гармонии. Сидел в садах, на огородах. Разговор начал певуче, благочестиво, тоном душеспасительных листков, о том, что «душа в волнах, в забытищах».

Потом Иван зашел к нам и стал еще проще. Хвалился, что он так забавно может рассказывать и так много знает, что за ним, бывало, помещики лошадь присылали, и он по неделям живал в барских домах, все рассказывал. Прочитал, как слепые холстину просят:

Три сестры жили, три Марии Египетские были, На три доли делили, то богаты были. Одну долю отделили, незрящее тело прикрывали, А другую долю отделили по тюрьмам-темницам, Третью долю отделили по церквам-соборам.

*Не сокращайте свое тело хорошим нарядом,
А сокрасьте свою душу усердным подаяньем.
Это ваше подаяние будет на первом присутствии
Как свеча перед образом-Богом.
Не тогда подавать, когда соберемся помирать,
А подавать при своем здоровье,
Для своей души спасенья,
Родителям повинovenья.
На том не оставьте нашей просьбы!*

Рассказывал, что если слепым не подают, они проклинаяют:

*Дай тебе, Господь, два поля крапивы
Да третье лебеды,
Да 33 беды!
Новая изба загорись,
Старая провались!*

Вечером гуляли. Когда шли на Казаковку, за нами шла девочка покойного Алешки-Барина, несла пшено. «На кашу, значит?» — «Нет, одним цыплятам мать велит, а нам не

дает». Мать побирается, девочка все одна дома, за хозяйку, часто сама топит. «У нас трусы есть, два, цыплят целых двенадцать...»

21 мая.

Еще лучше день, хотя есть ветерок. Ходили на кладбище. Назад через деревню. Как грязны камни у порогов! Солдат, бывший в Маньчжурии. Море ему не нравится. «Японки не завлекательны».

Иван рассказывал, что в Духовом монастыре (под Новосилем) есть такой древний старец, что, чтобы встать, за рушник, привязанный к костылю в стене, держится. «И очень хорошо советует».

Шкурка змеи — выползень.

Перечитываю Куприна. Какая пошлая легкость рассказа, какой дешевый бойкий язык, какой дурной и совершенно не самостоятельный тон.

23 мая.

Встретил Тихона Ильича. Говорит, что чудно себя чувствует, несмотря на свои 80 лет, только «грызь живот проела». Сам себе сде-

лал деревянный бандаж. «О! Попробуй-ка! Так и побрехивает!» И заливается счастливым смехом.

Мужик Василий Старуха похож на Лихунчанга, весь болен — астма, грыжа, почки. Побирается, а про него говорят: «Ишь войяжирует!»

Ездили через Знаменье к Осиновым Дворам.

Дьяконов сын. Отец без подрясника, в помочах, роет вилами навоз, а сын: «Ах, как бы я хотел прочитать „Лунный камень“ Бальмонта!»

Из солдатского письма: «Мы плыли по высоким волнам холодного серого моря».

25 мая.

Все зацвело в садах.

Вчера ездили через Скородное. Избушка на поляне, вполне звериное жильё, крохотное, в два окошечка, из которых каждое наполовину забито дощечками, остальное — кусочки стекла и веточки. Внутри плачет ребенок Марфутки, дочери Федора Митрева, брошенной мужем. А лес кругом так дивно зелен. Со-

ловьи, лягушки, солнце за чащей осинника и вся белоснежная большая яблоня «лесовка» против избушки.

Нынче после обеда через огороды. Нищая изба Богдановых, полная детей, баб, живут вместе два брата. Дети идиоты. На квартире Лопата. Любовница Лопаты со смехом сказала, что он очень болен. Он вышел пьяный. Вид — истинный ужас. Разбойник, босяк, вся морда в струпьях, — дрался с любовницей. Пропивает землю и мельницу.

Был на мельнице. Разговор с Андреем Си-мановым. По его словам, вся наша деревня вор на воре. Разговор о скопцах. Мужик сказал про лицо скопца: «голомысый». Мальй, похожий на скопца, жуёт хлеб и весело: «Вот выпил, хлебушка закусил, оно и поблажало». <...>

27 мая. 12 ч.

Ждем Юлия.

Сплю плохо, вчера проснулся очень рано от тоски в животе и душе. Было дивное утро. Свежесть росы, ясность всего окружающего и мысли. Пять часов, а уже все давно просну-

лось. Все крыши дымились — светлым снизу, тонко и ярко голубым дымом. Нынче опять проснулся около пяти. День дивный, но не выходил до обеда, немного повышена температура. После обеда, часа в два — часто, часто. бам-бам-бам-бам! — набат. Побежали за сад — горит глотовская деревня. Огромный извивающийся столб дыма прелестного цвета, а ниже, сквозь дым, огромное пламя цвета уже совсем сказочного, красно-оранжевого, точно яркой киноварью нарисованного. На деревне творилось нечто ужасающее. Бешено, с дикарской растерянностью таскали из всех изб скарб необыкновенного дикарского убожества. Бабы каждая точно десять верст пробежала, бледны смертельно, жалкие безумные лица, даже и кричать не могут, только бегают и стонут.

Жара — суший ад, конец улицы совершенно застлан дымом. В один час сторело девять дворов. Народ со всех деревень все бежит и бежит. Бежит баба, за ней коза. Остановится, ударит козу и опять бежит, а коза за ней.

Перед вечером ходили опять на деревню. Встретили рыжего мужика, похожего на До-

стоевского: «Мой двор девка отстояла, я был в волости. Одна отстояла: ходит и поливает, только и всего. Ходит и поливает, ходит и поливает». И оттого, что выпивши, и от умиления — слезы на глазах. «Мне давно один человек говорил: ваша деревня *процветет*, говорит». Подозревают, что деревню сожгли те три двора, что общество хотело выселить в Сибирь (да не выслало, ибо на высылку нужно было 900 рублей). Один из этих дворов — двор тех, что убили Ваньку Цыпляева. Возле песков встретили отца этого Ваньки. Шея клетчатая, пробковая. Рот — спеченная дыра, ноздри тоже, в углах глаз белый гной. Лысый. Потом нас нагнал еще какой-то мужик, а с ним кузнец, он же и сельский писарь, маленький, говорливый, знаменитый тем, что он всю жизнь посвятил сутяжничеству. К каждому слову: «согласно статье» (не говоря, какой именно) и «глазомерно» (ни к селу ни к городу).

Все последние дни цвели яблони и сирень. Из зала через гостиную в окне моей комнаты — ярко-темная зелень, ниже как бы зимний вид — белизна яблонь, еще ниже купы

цветущей сирени.

28 мая.

Прелестнейшая погода, и все слава богу — и Юлий, и Евгений с нами. Евгений рассказывал об отце Николки Мудрого, которого звали Хмеру, за привычку его говорить к каждому слову «к хмеру», т. е. «к примеру». Он пьянствовал совершенно как одержимый, старуху-жену убивал каждый день до полусмерти. Наконец она сказала ему, что идет к земскому, просить, чтобы у него отобрали все имущество. И ушла к соседкам. Он посидел, посидел на пороге, потом встал, вошел в избу, взял веревку, поцеловал дочь-девчонку, пошел в закуту и удавился. Когда Николка (который убивал его страшно, каждый праздник) вернулся под вечер домой, он уже давно был мертв. Николка перерезал веревку, на которой он висел, вытащил его из закуты и положил на навоз возле ворот. Лапти Хмеру за чем-то снял, был в одних онучах. И они торчали серыми трубками.

Ходили в Колонтаевку. Говорили, что хорошо бы написать историю Е. с Катькой. Как он

потребовал, чтобы она, его любовница, подвела ему Настьку, — «а не то брошу тебя». Лунная ночь, он с Катькой в копнах. Мать подсматривает, а разогнать боится — барин, дает денег. Коля говорил о босяках, которые перегоняют скотину, покупаемую мещанами на ярмарках. Я подумал: хорошо написать вечер, большую дорогу, одинокую мужицкую избу; босяк — знаменитый писатель (Н. Успенский или Левитов)... Евгений рассказывал: у него в саду сидели два босяка, часто ссорились, и один, бывший солдат, наконец застрелил другого (с мыслью сказать, что тот сам застрелился). Холод, поздняя осень. Он перемыл в пруде рубашки, портки, снятые с убитого, надел их. Варил кашу, ночевал от холода под ящичком для яблок...

Потом о последнем дне нашего отца. Исповедуясь, он лежал. После исповеди встал, сел, спросил: «Ну, как по-вашему, батюшка, — вы это знаете, — есть во мне *она*?» Робко и виновато. А священник резко, грубо: «Да, да, пора собираться».

31 мая.

Прекрасная погода.

Вчера ездили осматривать жадовскую землю, по межам, среди хлебов.

Нынче часов в пять пришел какой-то нищий солдат, пьяный, плакал, ругал и дворян и забастовщиков, а царя то ругал, то говорил, что он, батюшка> ничего не видит. <...>

А через час еще один бродяга, в скуфье. Поразительно играл глазами, речь четкая, повышенная, трагическая: «Бог есть добро, добро в человеколюбии!» <...>

7 июня 12 г.

<...> Читал биографию Киреевского. Его мать — Юшкова, внучка Бунина, отца Жуковского.

Поездка в Гурьево. На обратном пути ливень. Оборвался гуж, мучительно тащились по грязи.

Разговаривал с Илюшкой о казнях. Говорил, что за сто рублей кого угодно удавит, «только не из своей деревни». «Да чего ж! Ну, другие боятся покойников, а я нет».

К Андрею Сенину приبلудилась собака. «Пожила, пожила, вижу — без надобности,

брехать не брешет, ну, я ее и удавил».

8 избе у Абакумова показывал фокусы заезжий бродячий фокусник. В избе стояла коро­ва. Ее «для приличия» отделили от публики «занавесом» — веретьями.

Гуляли с Юлием. Грязь, сырость, холодно. Перебирали ефремовскую компанию. Знаме­нитый по дерзости еврей Николаев, бывший всех в морду, Анна Михайловна, помощник податного инспектора, сборы Маши в город­ской сад... Ужасно!

13 июня.

Все эти дни то хорошо, то дождь.

Вчера ездили в Осиновые Дворы.

Сырой, с тучами вечер. Прошли до песков, оттуда через деревню. Стояли возле избы Григория, бывшего церковного сторожа. Сдержан в ответах. Очень вообще скрытны, хитры мужики.

У старух, когда они молятся, кладут покло­ны, трещат коленки.

— Что это ты, Тихон Ильич, грустный стал?

— Чем грузный?

16 июня 12 г.

Поездка в лес Буцкого. Выгоны в селе Малинове. Мужик точно древний великий князь. Много мужиков, похожих на цыган.

Ребенок, заголив белое пузо с большим пупком, заносит через порог кривую ножку.

За Малиновым — моря ржей, очаровательная дорога среди них. Лужки, вроде бутырских. Мелкие цветы, беленькие и желтые. Одинокий грач. Молодые грачи на косогоре, их крики. Пение мошкары, жаворонков — и тишина, тишина...

Потом большая дорога — и пение косцов в лесу: «На родимую сторонushку...» В лесу усадьба, полумужицкая. Запах елей, цветы, глушь. Огромные собаки во дворе. Говорят, как-то разорвали человека.

На большой дороге деревушка.

Шла отара, — шум от дыхания щиплющих траву овец.

Вечер, половина одиннадцатого. Гроза, ливень, буря. Слепит белой молнией, сполохом с зеленоватым оттенком, — в общем остается впечатление жести и лилового. Туча с за-

пада. А за садом полный оранжевый месяц (очень низкий) за мотающимися ветвями сада. Небо возле него чисто. Выше красивые облака, точно из размазанных и засохших чернил.

Сейчас опять глядел в окно: месяц прозрачный и все-таки нежный, молния ослепляет белым, в последний миг оставляя в глазах лиловое.

17 июня.

Ночь провел плохо, — всю ночь гроза. Прорылся в четыре. Был страшный удар.

После обеда сидел в шалаше. Что за прелестный человек Яков, как приятно слушать его. Всем доволен. «И дождик хорошо! Все хорошо!» Был женат, пять человек детей; с женой прожил 21 год, потом она умерла, и он был семь лет вдовцом. Жениться второй раз уговорили. Был у родных, пришла дурочка «хлебушка попросить». — «А хочешь замуж?» — «За хорошую голову пошла бы». — «Ну, вот тебе и хорошая голова», — сказал ей Яков про себя. Повенчались, а она «прожила с после Успенья до Тихвинской — и ушла. Ме-

ня, говорит, прежние мужья жамками, кана-
хфектами кормили; а ты кобель, у тебя ниче-
го нету...» Земли у него полторы десятины.
«Да что ж, я не жадный, я добродушный».

Вечером были на выезде из Глотова, в кро-
хотной избушке, где молнией убило малого
лет 15 и девочке-ребенку голову опалило.

Видел сына Таганка — страшный, седой,
древний старик.

20 июня.

Не мог заснуть до 2 ночи. Встал в полдень.
Холодно, хмуро, дождь. Страшно ярка зе-
лень деревьев. Сев. — зап. ветер.

Перечитывал «Путешествие в Арзрум», —
так хорошо, что прочел вслух Вере и Юлию
первую главу. Перечитывал Баратынского
(прозу). «Перстень» — старинка и пустяки.
Как любили прежде рассказывать про чуда-
ков, про разные «странности»!

21 июня.

Много ветвей с зелеными листьями нарва-
ло, накидало по аллее холодным ураганом.

Яков: «Ничаго! Не первой козе хвост ло-

мать! Мы этих бурей не боимся!»

Читаю «Былины Олонецкого края» Барсова. Какое сходство в языке с языком Якова! Та же криволапая ладность, уменьшительные имена...

На деревне слух — будто мужиков могут в острог сажать за сказки, которые мы просим их рассказывать.

Пришел Алексей (прообраз моего Митрофана из «Деревни»). Жалкий, мокрый, рваный, темный, глаза слабые, усталые. Все возмущается, про что-нибудь рассказывает и — «вот бы что в газетах-то пронести!». Жил зимой в Липецке, в рабочем доме, лежал больной, 41 градус жару. Ужасно!

Холод нынче собачий. У меня болит все тело, жилы под коленками.

Яков в непрестанном восхищении перед своим хозяином, — в холопском умилении. Часто представляет его, — у того будто бы отрывистый говор, любовь к странным выходкам, к тому, чтобы озадачить человека чем-нибудь неожиданным.

— Придешь к нему, взлохматишь нарочно голову. «Ай ты с похмелья, Яков?» — С похме-

лья, Александр Григорич... — «Ну на, выпей сотку! Живо!» — А то сидишь — удруг мальчишка бежит: «Скорей, хозяин кличет!» Я со всех ног к нему: «Что такое, А. Г., что прикажете?» — «Садись!» Сел. «Пей!» И ставит на стол бутылку, и с торжеством: «А ведь сад-то я снял!» <...>

У Якова один сын в солдатах (его жена и правит домом летом), другой хромой, пьяница, сапожник, «отцу без пятака латки не положит», а как нужда — к отцу: «Батя, помоги!»

23 июня.

В 6 1/2 утра уехал Юлий. Скучно и жалко его. Старееет, слабеет.

Вчера северная холодная погода. Прошли в Остров, вернулись через деревню. Пьяный, довольно молодой мужик, красное лицо, губы спеклись, ругает своего соседа. Вид разбойника, того гляди убьет.

Рагулин рассказывал, как их бил Гришка Соловьев. Один из них схватил черпак и ударил Гришкину беременную мать по животу, хотя она-то была совсем ни при чем. Скинула.

Были с Колей на Казаковке, в той избе, ку-

да ударило грозой. Никого нету — мать в поле навоз «бьет», отец в Ливнах — пропал, спился, — девка «на месте»; в избе два ребенка — одному мальчишке 3 года, другому лет 10. Этот трехлетний (идиот) сидит без порток, намочил их, «в чугуна с помоями вляпался». Изба крохотная, и мерзость в ней неопишная — на лавке разбитые, гнилые лапти и заношенные до черноты, залубеневшие онучи, на полу мелкая гниющая солома, зола, на окне позеленевший самоварчик...

24 июня.

Проснулся поздно. С утра был дождь.

Все грустно об Юлии, ужасно жаль его. Вот уехал — и точно не бывало ни его, ни времени с ним.

После обеда прошли через кладбище на деревню. Изба Федора Богданова, выглядывает баба. Коля зашел раз в рабочую пору к ней, а она лежит среди избы на соломе — вся черная, глаза огненные — рожает. Четыре дня рожала — и ни души кругом! Вот это «рождение человека»!

Посидели с Яковом.

— Яков Ехимыч!

— Аюшки?

— Ты что любишь из кушаний?

— Моя душа кривая, все прямая. И мед — и тот прет. А я всего раз сытый был — когда на сальнях, на бойнях под Ельцом жил.

Потом разговор о старости, о смерти. Я рассказал ему о Мечникове.

— Да, конечно, стараются, жалованье получают...

26 июня.

Холода, сумрачно, нынче несколько раз принимается дождь. Сидели опять с Яковым, он начал было рассказывать «Конька-Горбунка» — чудесно путает чепуху — потом надое-ло, бросил.

Были на мельнице. Грязь, дождь, скука, один Абакумов не унывает, энергия неугасимая.

Мужик, поднимая меру с рожью, прижимая ее к животу, высоко задирает голову.

7 июля 12 г. Клеевка, Себежский уезд.

Гостим у Черемнова.

В Глотове замучил дождь. Выехали оттуда 29 июня в Москву. В Москве пробыли до утра 4-го. Здесь тоже дождь.

Перебирали с Юлием сумасшедших, вернее «тронувшихся», в нашем роду: дед Ник. Дм., Олимпиада Дмитриевна, Алексей Дм., Ольга Дм., Владимир Дм., Анна Вл. (Рышкова), Варвара Никол, (сестра нашего отца), Анна Ивановна (Чубарова, урожденная Бунина). Впрочем, все они «трогались» чаще всего только в старости.

Наше родословие: прадед — Дм. Семеныч, его дети — Ник. Дм., Олимпиада Дм., Алексей, Ольга, Владимир. У Дм. Сем. был брат Никифор Семен., его сын — Аполлон, а у Аполлона — Влад. и Федор. Дмитрий Сем. служил в гвардии в Петербурге.

Яков Ефимыч рассказывал, что он иногда и теперь «кой с кем» занимается («займается»), — с какой-нибудь «пожилой бабочкой»:

— Ну, сделаешь ей там валёк (валёк для битья белья) — вот и расход весь...

Про смерть:

— Вона, чего ее бояться! Схоронят з'ызбой (за избой), помянут п...ой.

Про облака:

— Облака, они толстые, напревают, выпарение делают. Ходил перед отъездом к Рогулину, записывать его сказки. Хозяева пьют чай, их мальчишка конфоркой от самовара об стену — и с радостно-жуткой улыбкой к уху ее: она гудит и щекочет.

12 августа 12 г., Клеевка.

Девятого ходили перед вечером, после дождя, в лес. Бор от дождя стал лохматый, мох на соснах разбух, местами висит, как волосы, местами бледно-зеленый, местами коралловый. К верхушкам сосны краснеют стволами, — точно озаренные предвечерним солнцем (которого на самом деле нет). Молодые сосенки прелестного болотно-зеленого цвета, а самые маленькие — точно паникадила в кисее с блестками (капли дождя). Бронзовые, спаленные солнцем веточки на земле. Калина. Фиолетовый вереск. Черная ольха. Туманно-синие ягоды на можжевельнике.

Десятого уехали в дождь Вера и Юлий; Вера в Москву, Юлий в Орел.

Нынче поездка к Чертову Мосту. В избе За-

хара. Угощение — вяленые рыбки, огурцы, масло, хлеб, чай. Дождь в дороге.

С необыкновенной легкостью пишу все последнее время стихи. Иногда по несколько стихотворений в один день, почти без помарок.

1913

26 июля 1913 г., дача Ковалевского (под Одессой).

Нынче уезжает Юлий. А наступила дивная погода. Страшно жалко его.

Каждое лето — жестокая измена. Сколько надежд, планов! И не успел оглянуться — уже прошло! И сколько их мне осталось, этих лет? Содрогаешься, как мало. Как недавно было, напр., то, что было семь лет тому назад! А там еще семь, ну 14 — и конец! Но человек не может этому верить.

Кончил «Былое и думы». Изумительно по уму, силе языка, простоте, изобразительности. И в языке — родной мне язык — язык нашего отца и вообще всего нашего, теперь почти уже исчезнувшего племени.

1914

Капри, 1/14 янв. 14 г.

Позавчера с Верой и Колей приехали на Капри. Как всегда, отель «Квисисана».

Горький и Кат. Павл. с Максимом уехали в Россию, он на Берлин, она на Вену.

Вчера встречали Нов. год: Черемновы, вдова революционера и «историка» Шишко с психопаткой своей дочерью, Иван Вольнов, Янина и мы.

Ныне весь день проливной дождь. Клянусь себя, что приехал. Италия зимой убога, грязна, холодна, и все давно известно-переизвестно здесь.

2.1. 14.

Проснулся необычайно поздно — в 9: дождь, буря (со стороны Амальфи).

Потом временами солнечно, временами сыро. Очень прохладно. <...>

Вечером на даче у Горького — там живет Шишко и мать Катерины Павл. — старозаветнейшая старуха: воображаю, каково ей жить ни с того ни с сего среди эмигрантов, бунтарей! И с трепетом в душе: шутка ли, за какую знаменитость попала ее дочка!

4.1.13(14).

Весь день мерзкая погода. В газетах о страшных метелях в России. Землетрясение на итальянских озерах.

Лень писать, вялость — и беспокойство, что ничего не делаю.

5.1.14.

Отчаяние — нечего писать!

Солнечно и холодно.

6.1.14.

То же. А день прелестный.

7.1.14.

Пасмурно, прохладно. Пожар в «Квисисане».

8.1.14.

Ужасная погода. Опять боль в боку (в правом) ниже ребер, возле кости таза.

9.1.14.

Весь день дождь. Боль.

Старухи (мать К. П. и Шишко) — «сюжет

для маленького рассказа». Шишко была в дружбе с Э. Реклю, с Кропоткиным.

11.1.14.

Прохладно, но чудесно.

Начал «Человека» (Цейлонский рассказ).

<...>

23.1.14.

Едем с Колей в Неаполь.

24.1.14.

Вчера из Неаполя ездили в Салерно. Удивительный собор. Пегий — белый и черно-сизый мрамор — совсем Дамаск. Потом в Амальфи.

Ночевали в древнем монастырском здании — там теперь гостиница. Чудесная лунная ночь.

Необыкновенно хорошо, только никаких муратовских сатиров.

25.1.14.

Выехали из Амальфи на лошадях. <...> Дивный день.

19. VI.1914.

На корме грязь, вонь, мужики весь день пьют. Какой-то оборванный мальчишка бесстрастно поет:

*Запала мысль злодейская:
Впотьмах нашел топор...*

Приземистый, пузатый монах в грязном парусиновом подряснике, желтоволосый, с огненно-рыжей бородой, похожий на Сократа, на каждой пристани покупает ржавые таранки, с золотисто-коричневой пылью в дырах выгнивших глаз.

Вечер, Жигули, запах березового леса после дождя. На пароходе пели молебен.

20. VI.1914.

Половина девятого, вечер. Прошли Балахну, Городец. Волга впереди — красно-коричнево-опаловая, переливчатая. Вдали, над валом берега в нежной фиолетовой дымке, — золотое, чуть оранжевое солнце и в воде от него ослепительный стеклянно-золотой столп. На востоке половинка совсем бледного

месяца.

Одиннадцать. Все еще не стемнело как следует, все еще впереди дрожат в сумраке в речной ряби цветистые краски заката. Месяц справа уже блещет, отражается в воде — как бы растянутым, длинным китайским фонарем.

21. V 1.14. В поезде под Ростовом Великим.

Ясный, мирный вечер — со всей прелестью июньских вечеров, той поры, когда в лесах такое богатство трав, зелени, цветов, ягод. Бесконечный мачтовый бор, поезд идет быстро, за стволами летит, кружится, мелькает-сверкает серебряное лучистое солнце.

28. V 11.1914. Дача Ковалевского, под Одессой.

Половина двенадцатого, солнечный и ветреный день. Сильный, шелковистый, то затихающий, то буйно возрастающий шум сада вокруг дома, тень и блеск листвы в деревьях, волнение зелени, мотанье туда и сюда мягко гнущихся ветвей акаций, движущийся по подоконнику солнечный свет, то яркий, то

смешанный с темными пятнами. Когда ветер усиливается, он раскрывает зелень, и от этого раскрывается и тень на меловом потолке комнаты — потолок, светлея, становится почти фиолетовый. Потом опять стихает, опять ветер уходит куда-то далеко, шум его замирает где-то в глубине сада, над морем...

Написать рассказ «Неизвестный». — «Неизвестный выехал из Киева 18 марта в 1 ч. 55 дня...» Цилиндр, крашенные бакенбарды, грязный бумажный воротничок, расчищенные грубые ботинки. Остановился в Москве в «Столице». На другой день совсем тепло, лето. В 5 ч. ушел на свадьбу своей дочери в маленькую церковь на Молчановке. (Ни она и никто в церкви не знал, что он ее отец и что он тут.) В номере у себя весь вечер плакал — лакей видел в замочную скважину. От слез облезла краска с бакенбард...

1915

Москва, 1 янв. 1915.

Позавчера были с Колей в Марфо-Мариинской обители на Ордынке. Сразу не пустили, дворник умолял постоять за воротами — «здесь великий князь Дмитрий Павлович». Во

дворе — пара черных лошадей в санях, ужасный кучер. Церковь снаружи лучше, чем внутри. В Грибоедовском переулке дома Грибоедова никто не мог указать. Потом видели безобразно раскрашенную церковь Ивана Воина. Там готовились крестить ребенка. Возвращались на пьяном извозчике, похожем на Андреева. От него воняло денатуратным спиртом, который пьют с квасом. Он сказал: «Дед на бабу не пеняет, что от бабки воняет».

Вчера были на Ваганьковском кладбище. Вся роца в инее. Грелись на Александровском вокзале. Лакей знакомый, из Лоскутной, жалеет о ней — «привык в кругу литераторов жить», держал чайную возле Харькова, но «потерпел фиаско». Потом Кремль, долго сидели в Благовещенском соборе. Изумительно хорошо. Слушали часть всенощной в Архангельском. Заехали в Зачатьевский монастырь. Опять восхитили меня стихиры. В Чудове, однако, лучше.

В 12 ночи поехали в Успенский собор. Черный бесконечный хвост народа. Не пустили без очереди. Городовой не позволил даже в дверь боковую, в стекла заглянуть — «нечего

там смотреть!».

Нынче часа в 4 Ново-Девичий монастырь. Иней. К закату деревья на золотой эмали. Очень странны при дневном свете рассеянные над могилами красные точки огоньков, неугасимых лампад.

2 января 1915 г.

Иней, сумерки. Розовеют за садом, в инее, освещенные окна.

3 января.

В 2 часа поехали с Колей в Троице-Сергиевскую Лавру. Были в Троицком соборе у все-нощной. Ездили в темноте, в метель, в Вифанию. Лавра внушительна, внутри тяжело и вульгарно.

4 января.

Были в Скиту у Черниговской Божьей Матери. Акафисты в подземной церковке. Поп выделял голосом разные штучки. Вернулись в Москву вечером. Федоров.

5 января.

Провожал Федорова на Николаевский вокзал — поехал в Птб., а. потом в Варшаву. Вечером у нас гости, Любочка. Был на заседании. Князь Евг. Трубецкой. <...>

7 января.

Поздно встал. Читаю корректуру. Серый день. Все вспоминаются монастыри — сложное и неприятное, болезненное впечатление.

8 января.

Завтракал у нас Горький. Все планы, нервничает. Читал свое воззвание о евреях.

9 января 15 г.

Отдал в набор свою новую книгу.

Кончил читать Азбуку Толстого. Восхитительно. <...>

11 января.

Была Авилова. Говорила, м. пр., что она ничего не знает, ничего не видала — и вот уже седая голова. <...>

14 января.

Все мерзкая погода. Телеграмма от Горького, зовет в Птб. <...>

16 января.

Непроглядный мокрый снег к вечеру. Поехали с Колей в Птб. Страшно ударила меня в левое плечо ломовая лошадь оглоблей. Едва не убила.

17 января. 15 г. Птб., гост. «Англия». Дивная морозная погода.

Заседание у Сологуба. Он в смятых штанах и лакированных сбитых туфлях, в смокинге, в зеленоватых шерстяных чулках.

Как беспорядочно несли вздор! «Вырабатывали» воззвание в защиту евреев.

18 янв.

Поездка на панихиду по Надсону. Волково кладбище. Розовое солнце.

Был в Куоккале у Репина и Чуковского. Вечером обедал У Горького на квартире Тихонова. Хорош Птб.!

19 янв.

Вечером с курьерским уехали из Птб. Хотели ехать в Новгород, но поезда ужасно неудобны (в смысле расписания).

28 янв.

Чествование Юлия. Почтили память худ. Первухина — нынче его похоронили.

29 янв.

Завтрак с Ильей Толстым в «Праге». <...>

7 февраля 15 г.

Вышла «Чаша жизни». Заседание у Давыдова об ответе английским писателям.

18 февраля.

Отпевание Корша в университетской церкви. Два епископа. Сильное впечатление.

Вчера ночью в 12 ч. 52 м. кончил «Грамматику любви». «Среда». Читали Шкляр, Зилов, Ляшко.

22.2.15.

Наша горничная Таня очень любит читать. Вынося из-под моего письменного стола кор-

зину с изорванными бумагами, кое-что отбирает, складывает и в свободную минуту читает — медленно, с напряженьем, но с тихой улыбкой удовольствия на лице. А попросить у меня книжку боится, стесняется...

Как мы жестоки!

29 марта 1915.

<...> Слушал «Всенощное бдение» Рахманинова. Кажется, мастерски обработал все чужое. Но меня тронули очень только два-три песнопения. Остальное показалось обычной церковной риторикой, каковая особенно нетерпима в служениях Богу. <...>

<...> Рыба кета запала мне в голову. Я над этим и прежде много думал. Все мы такая же рыба. Но помни, о поэт и художник! — мы должны метать икру только в одно место.

С корректурой для «Нивы» стало легче. Пишу для «Истории русской литературы» Венгерова автобиографию. Это мука. Кажется, опять ограничусь заметкой. <...>

9 мая, ресторан «Прага».

Рядом два офицера, — недавние штат-

ские, — один со страшными бровными дугами. Под хаки корсет. Широкие, колоколом штаны, тончайшие в коленках. Золотой портсигар с кнопкой, что-то вроде жидкого рубина. Монокль. Маленькие, глубокие глазки. Лба нет — сразу назад от раздутых бровных дуг.

У метрдотелей от быстрой походки голова всегда назад.

Для рассказа: сильно беременная, с синими губами.

Все газеты полны убийствами, снимками с повешенных. А что я написал, как собаку давят, не могут перенести!

Вторник 30 июня, Готово.

Уехал из Москвы 9 мая. Два дня был в Орле. Сюда приехал 12.

11 июля 15 г.

Погода прекрасная. Вообще лето удивительное. Собрать бы все людские жестокости из всей истории. Читал о персидских мучениках Даде, Тавведае и Таргала. Страшное описание Мощей Дмитрия Ростовского. <...>

3 июля.

Читал житие Серафима Саровского. Был дождь.

4 июля.

Житие юродивых. Дождь. Записки Дашковой.

1 августа, Готово.

Позавчера уехал Юлий, утром в страшный дождь. Кажется, что это было год тому назад. Погода холодная и серая. Вечером позавчера долго стояли возле избы отца так страшно погибшей Доньки. Какие есть отличные люди! «Жалко дочь-то?» — «Нет». Смеется. И потом: «Я через нее чуть не ослеп, все плакал об ней». Нынче вечером сидели на скамейке в Колонтаевке. Тепло, мертвая тишина, запах сырой коры. Пятна на небе за березами. Думал о любви.

2 августа 15 г.

Серо и холодно. Проснулся рано, отправил корректуру «Суходола». Во втором часу газе-

ты. Дикое известие: Куровский застрелился. Не вяжется, не верю. Что-то ужасное — и, не знаю, как сказать: циническое, что ли. Как я любил его! Не верю — вот главное чувство. Впрочем, не умею выразить своих чувств.

3 августа.

<...> Все же я равнодушен к смерти Куровского. Хотя за всеми мыслями все время мысль о нем. И умственно ужасаюсь и теряюсь. Что с семьей? Выстрелил в себя и, падая, верно, зацепился шпорой за шпору.

Вечером были в Скородном. Заходил в караулку. Окна совсем на земле. 5 шагов в длину, 5 в ширину. Как ночевать тут! Даже подумать жутко. Возвращались — туманно, холодно. Два огня на Прилепах, как в море.

Неужели это тот мертв, кто играл в Мюррне? С кем столько я пережил? О, как дико!

Веры все еще нет, уехала через Вырыпаевку в Москву еще 10-го июля.

Долго не мог заснуть от мыслей о Куровском.

4 августа.

С утра дождь и холод. Страшная жизнь караульщика сада и его детей в шалаше, с кобелем. Варит чугуны грибов.

Послал телеграмму Нилусу, спрашивал о Куровском.

6. VIII.

Приехала Вера. Привезла «Одесские новости». Там о Куровском. Весь день думал о нем.

7. VIII.

Тихий, теплый день. Пытаюсь сесть за писание. Сердце и голова тихи, пусты, безжизненны. Порою полное отчаяние. Неужели конец мне как писателю? Только о Цейлоне хочется написать.

8 ч. 20 м. Ужинал, вошел в свою комнату — прямо напротив окно, над купой дальних лип — очень темно-зеленой — на темной, мутной, без цвета синеве (лиловатой) почти оранжевый месяц.

21 августа.

Две недели не записывал. Время так летит, что ужас берет. 14–19 писал рассказ «Господин из Сан-Франциско». Плакал, пища конец. Но вообще душа тупа. И не нравится. Не чув-

ствую поэзии деревни, редко только. Вижу многое хорошо, но нет забвенности, все думы об уходящей жизни.

Годные гуляют, три-четыре мальчишки. Несчастные — идут на смерть, и всего удовольствия — порычать на гармонии.

В Москве, в Птб. — собственно говоря, «учредительное собрание».

Все глотовские солдаты — в плену.

<...> Вчера снимали Тихона Ильича. «Вот и Николаю Алексеевичу может идти в солдаты... Да ему что ж, хоть и убьют, у него детей нету». К смерти вообще совершенно тупое отношение. А ведь кто не ценит жизни — животное, грош тому цена. <...>

1916

23.11.16.

Милый, тихий, рассеянно-задумчивый взгляд Веры, устремленный куда-то вперед. Даже что-то детское — так сидят счастливые дети, когда их везут. Ровная очаровательная матовость лица, цвет глаз, какой бывает только в этих снежных полях.

Говорили почему-то о Коринфском. Я очень живо вспомнил его, нашел много мет-

ких выражений для определения не только его лично, но и того типа, к которому он принадлежит. Очень хорошая фигура для рассказа (беря опять-таки не его лично, но исходя из него и сделав, например, живописца-самоучку из дворовых). Щуплая фигурка, большая (сравнительно с нею) голова в пошло картинном буйстве коричневых волос, в которых вьется каждый волосок, чистый, прозрачный, чуть розовый цвет бледного лица, взгляд как будто слегка изумленный, вопрошающий, настороженный, как часто бывает у заик и пьяниц, со стыдом всегда чувствующих свою слабость, свой порок. Истинная страсть к своему искусству, многописание, вечная и уже искренняя, ставшая второй натурой, жизнь, в каком-то ложнорусском древнем стиле. Дома всегда в красной косоворотке, подпоясанной зеленым жгутом с низко висящими кистями. Очень религиозен, в квартирке, бедной и всегда тепло-сырой, всегда горит лампадка, и это опять как-то хорошо, пошло связывается с его иконописностью, с его лицом христосика, с его бородкой (которая светлее, русее, чем волосы на голове). И жена, бывшая проститут-

ка, настоящая, кажется, прямо с улицы. Он ее, вероятно, страстно любит, при всей ее вульгарности (которой он, впрочем, не замечает). Она его тоже любит, хотя втайне порочна (чем сама мучается) и поминутно готова изменить ему хоть с дворником, на ходу, на черной лестнице.

Потом я вспомнил и рассказывал о Лебедеве, о Михееве,

О Слуневском (вот страшная истинно петербургская фигура). <...>

Ка возвратном пути я говорил о том, какую огромную роль в жизни деревни сыграют пленные. Еще о том, что дневник — одна из самых прекрасных литературных форм. Думаю, что в недалеком будущем эта форма вытеснит все прочие.

17. III.16.

<...> Нынче именины отца. Уже десять лет в могиле в Грунине — одинокий, всеми забытый, на мужицком кладбище! И уж не найти теперь этой могилы — давно скотина столкла. Как несказанно страшна жизнь! А мы все живем — и ничего себе!

К вечеру свежей. В небе, среди облаков, яркие прогалины лазури. Мокрый блеск на коре деревьев.

Вечер очень темный. От темноты, грязи и воды нельзя никуда пойти. До одиннадцати ходили по двору, от крыльца До скотного двора. Говорили о Тургеневе. Я вспомнил, как Горький басил про него со своей лошадиной высоты: «Парное молоко!» Я говорил еще, что Пушкин молодым писателям нравственно вреден. Его легкое отношение к жизни безбожно. Один Толстой должен быть учителем во всем. <...>

21 марта 16 г.

Вечером гуляли по задворкам, возле кладбища. Темь, туман. Сад виден неясно, рига совсем не видна, только когда подошли к пей, обозначилась ее темная масса.

Говорили об Андрееве. Все-таки это единственный из современных писателей, к кому меня влечет, чью всякую новую вещь я тотчас же читаю. В жизни бывает порой очень приятен. Когда прост, не мудрит, шутит, в глазах светится острый природный ум. Все схва-

тывает с полслова, ловит малейшую шутку — полная противоположность Горькому. Шарлатанит, ошарашивает публику, но талант. Впрочем, м. б., и хуже — м. б., и самому кажется, что он пишет что-то великое, высокое. А пишет лучше всего тогда, когда пишет о своей молодости, о том, что было пережито.

Дома нашли газеты и «Современный мир». Задирчивая статья Чирикова о Тальникове — Чириков «верит в русский народ!». В газетах та же ложь — восхваление доблестей русского народа, его способностей к организации. Все это очень взволновало. «Народ, народ!» А сами понятия не имеют (да и не хотят иметь) о нем. И что они сделали для него, этого действительно несчастного народа?

22 марта.

Коля записал то, что я вчера говорил с ним, и принес мне эту записку: «Ив. Алекс, статьей Чирикова и газетами так взволнован, что до поздней ночи, уже сидя и ежеминутно курая в постели, говорил:

— Нет, с какой стати он так его оскорбляет? Кто дал ему на это право? Ах уж эти рус-

ские интеллигенты, этот ненавистный мне тип! Все эти Короленки, Чириковы, Златовратские! Все эти защитники народа, о котором они понятия не имеют, о котором слова не дают сказать. А это идиотское деление народа на две части: в одной хищники, грабители, опричники, холопы, царские слуги, правительство и городовые, люди без всякой чести и совести, а в другой — подлинный народ, мужики, «чистые, святые, богоносцы, труженники и молчаливники». Хвостов, Горемыкин, городской — это не народ. Почему? А все эти начальники станций, телеграфисты, купцы, которые сейчас так безбожно грабят и разбойничают, что же это — тоже не народ? Народ-то — это одни мужики? Нет. Народ сам создает правительство, и нечего все валить на самодержавие. Очевидно, это и есть самая лучшая форма правления для русского народа, недаром же она продержалась триста лет! Ведь вот газеты! До какой степени они изогались перед русским обществом. И все это делает русская интеллигенция. А попробуйте что-нибудь сказать о недостатках ее! Как? Интеллигенция, которая вынесла на своих пле-

чах то-то и то-то, и т. д. О каком же здесь можно думать исправлении недостатков, о какой правде писать, когда всюду ложь! Нет, вот бы кому рты разорвать! Всем этим Михайловским, Златовратским, Короленкам, Чириковым!.. А то: «мирские устои», «хоровое начало», «как мир батюшка скажет», «Русь тем и крепка, что своими устоями» и т. д. Все подлые фразы! Откуда-то создалось совершенно неверное представление о организаторских способностях русского народа. А между тем нигде в мире нет такой дезорганизации! Такой другой страны нет на земном шаре! Каждый живет только для себя. Если он писатель, то он больше ничего, кроме своих писаний, не знает, ни уха ни рыла ни в чем не понимает. Если он актер, то он только актер, да и ничем, кроме сцены, и не интересуется. Помещик?.. Кому неизвестно, что представляет из себя помещик, какой-нибудь синеглазый, с толстым затылком, совершенно ни к чему не способный, ничего не умеющий. Это уж стало притчей во языцех. С другой же стороны — толстобрюхий полицейский поводит сальными глазками — это «правлящий класс».

24 марта 16 г.

Яркий, настоящий весенний день. Крупные облака в серых деревьях, серые стволы имеют необыкновенно прелестный тон и глянец. Напоминает картины Бэклина.

После обеда стреляли в галок. <!..> Какое-то приторное, гадкое впечатление. Мы еще совершенные звери. А из-за вала мрачно-равнодушно глядел какой-то рыжий малый. Собирается идти добровольцем на войну. Почему? Целый рассказ! — «А если убьют?» — «Ну, что ж. Все равно». <...>

25 марта.

Облачный день, на черно-жирных буграх остатки талого снега, — что-то траурное. Опять видели возле попа мужика, утопившего лошадь и розвальни в колдобине, полной воды и снега. Лошадь серая, лежит на животе, вытянув передние ноги, и карабкается ими, а мужик бьет ее кнутовищем по голове, из которой смотрят человеческие глаза. На помощь ему подошел другой, и оба долго, раздуывая и заходя с разных сторон, пытались ее

вытащить.

Пьеса А. Вознесенского «Актриса Ларина». Я чуть не заплакал от бессильной злобы. Конец русской литературе! Как и кому теперь докажешь, что этого безграмотного удавить мало! Герой — Бахтин — почему он с такой дворянской фамилией? — называет свою жену Лизухой. «Бахтин, удушливо приближаясь...» — «Вы обо мне не тужьте...» (вместо «не тужите») и т. д. О, Боже мой, Боже мой! За что Ты оставил Россию!

Вечером на кладбище. Месяц блестит в перепутанных сучьях, большая Венера, но все-таки как-то сумрачно и траурно от земли и кое-где лежащего снега.

Потом небо стало туманиться и деревья стали еще тоньше и красивее.

Перечитал «Дядю Ваню» Чехова. В общем, плохо. Читателю на трагедию этого дяди, в сущности, наплевать.

26 марта.

После обеда были на Казаковке, на мужицкой сходке. Изба полна. За столом несколько замечательных лиц. Лысый, с острым чере-

пом старик в розовом полушубке; старик со вздернутым носом и хитрыми глазами; старик с желто-кофейным, морщинистым лицом; мужик с черной курчавой бородой и ярко-румяными щеками, все время игравший как на сцене. Очень хорош, как всегда для меня, запах полушубков. <...>

27 марта.

После обеда сидели в избе Ивана Ульянова. Очень милый старик с постоянным приятным смехом. Две половины. Первая маленькая, с мокрым земляным полом. Тут всегда сидит полуслепая старуха. Во второй — с выбеленными стенами и горшочками для цветов на окнах — живет он сам и его жена, пожилая и уже вянущая. Вошли — она за работой возле окна, он на хорах в полушубке, курит. Солнце ярко освещает часть избы. <...>

А как влияет литература! Сколько теперь людей, у которых уже как бы две души — одна своя, другая книжная! Многие так и живут всю жизнь начитанной жизнью.

30 марта.

На крыльце у Александра Пальчикова. Богат, а возле избы проходу нет от грязи и навозу. Полушубок, кубовая рубаша, видная из растянутого ворота, серо-серебристая борода. Весеннее небо, жидкие облака, ветер дует в голые деревья, качает их, а он говорит: «Ничего не будет после войны, все брешут. Как же так? Если у господ землю отобрать, значит, надо и у царя, а этого никогда не допустят». С большим удовольствием рассказывал, как ему на службе полковник раз «засветил пощечину». Крепостного права не хочет, но говорит, что «в крепости» лучше было: «Нет у хлеба — идешь на барский двор... Как можно!»

Роман Григорьевой в «Совр. мире». Ее героиня, «легкая, воздушная», «затесалась в толпу...». Кончена русская литература!

1 апреля.

<...> Больной старик греется на солнце возле избы. Задыхается. В нашу победу не верит. «Куда нам!» <...>

Коля рассказывал, что встретил в «Острове» двух почти голых ребятишек — в рваных

лохмотьях, в черных и мокрых, сопревших лаптях. Тащили хворост, увидали Колю — испугались, заплакали... И для этого-то народа требуют волшебных фонарей! От этого-то народа требуют мудрости, патриотизма, мессианства! О разбойники, негодяи!

2 апреля.

Фельетон Сологуба: «Преображение жизни». Надо преобразовать жизнь, и делать это должны поэты. А так как Сологуб тоже причисляет себя к поэтам, то и он преобразует, пища. А писал он всегда о гнусностях, о гадких мальчиках, о вожделении к ним. Ах, сукины дети, преобразители.

5 апреля.

Жаркий после дождевой день.

Охота в Скородном на вальдшнепов. <...> В лес пошли от караулки. В редких жидких верхушках деревьев белые глыбы грозовых облаков. Гремел гром. По низам прохлада, колокольчиками звенят птицы. Кое-где снег, ослепительный на солнце, на нем легкие лазурные отблески неба.

Возле караулки Настька моет калоши, собирается в церковь. Желтое страшно яркое на солнце платье. В избе дышать нечем, натоплено, все купались. Федор с мокрыми волосами, розовый.

При возвращении домой на несколько минут густой быстрый дождь. Все думаю о той лжи, что в газетах насчет патриотизма народа. А война мужикам так осточертела, что даже не интересуется никто, когда рассказываешь, как наши дела. «Да что, пора бросать. А то и в лавках товару стало мало. Бывало, зайдешь в лавку...» и т. д.

8 апреля.

Уезжаем в Москву, на Становую, на тройке.
<...>

Никогда в русской литературе не было ничего подобного. Прежде за одну ошибку, за один неверный звук трепали по всем журналам. И никогда прежде русская публика не смотрела на литературу такими равнодушными глазами. Совершенно одинаково она восхищается и Фра Беато и Анджелико, и Барыбой Городецкого. <...>

23 мая 16 г., Елец.

У парикмахера. Стрижет, и разговариваем. Он про женский монастырь (оговорился от привычки быть изящным): дамский монастырь.

Для рассказа: встречный пароход на Волге всегда страшно быстр; ночь, уездн. город. Крепкий костяной стук колотушки.

Беллетрист. Пошлость «Белая, как дебелая купчиха».

Пьяный мужик шел и кричал:

*Проем усе именье.
Сам зарююь у <нрзб>.*

В этом вся Русь. Жажда саморазорения, атавизм.

26. VI.16.

Гнало ветром дождь. Сейчас — 7 часов вечера — стихло. Все мокро, очень густо-зелен сад. За ним, на пыльной туче, бледная фиолетово-зеленая радуга. Хрипел гром. <...>

27 октября 1916 г.

Читаю записки В. Бертенсона «За тридцать лет». Еще раз убеждаюсь в ничтожестве человеческих способностей — сколько их, людей, живших долго, видевших очень многое, вращавшихся в обществе всяких знаменитостей и обнаруживших в своих воспоминаниях изумительное ничтожество. Вспоминаю книгу Н. В. Давыдова — то же думал и ее читая.

Прочел (перечел) «Дневник Башкирцевой». <...> Все говорит о своей удивительной красоте, а на портрете при этой книжке совсем нехороша. Противное и дурацкое впечатление производит ее надменно-вызывающий, холодно-царственный вид. Вспоминаю ее брата, в Полтаве, на террасе городского сада. Наглое и мрачное животное, в башке что-то варварски-римское. Снова думаю, что слава Б. (основанная ведь больше всего на этом дневнике) непомерно раздута. Снова очень неприятный осадок от этого дневника. Письма ее к Мопассану задирчивы, притязательны, неуверенны, несмотря на все ее самомнение, сбиваются из тона в тон, путаются и в конце концов пустяковы. Дневник просто скучен. Французская манера писать, книжно

умствовать; и все — наряды, выезды, усиленное напоминание, что были такие-то и такие-то депутаты, графы и маркизы, самовосхваление и снова банальные мудрствования. <...>

Мой почерк истинное наказание для меня. Как тяжело и безобразно ковыляю я пером. И всегда так было — лишь иногда немного иначе, легче.

Душевная и умственная тупость, слабость, литературное бесплодие все продолжается. Уж как давно я великий мученик, нечто вроде человека, сходящего с ума от импотенции. Смертельно устал, — опять-таки уж очень давно, — и все не сдаюсь. Должно быть, большую роль сыграла тут война, — какое великое душевное разочарование принесла она мне! 24 уехала Вера, на тройке, на Становую. Мы с Колей на бегунах провожали ее до поворота на Озерскую дорогу.

Коля по вечерам мне читает. <...> Продолжаем «Мелкого беса». Тоже хорош! *Не запомню* более скучной, однообразной книги. <...> В стихах у него был когда-то талант.

28 октября 16 г.

Почти весь день тихо, тепло, туман. Ходил с ружьем за голубями. Кислоовато пахнет гнилью трав и бурьянов, землей.

Ночь изумительная, лунная. Гуляли, дошли до пушешниковского леса. Вдали, низко по лесной ложине, туман — так бело и густо, как где-нибудь в Нижегородской губ.

29 октября 16 г.

Не запомню такого утра. Ездили кататься — обычный путь через пушешниковский лес, потом мимо Победимовых. С утра был иней на деревьях. Так удивительно хорошо все, точно это не у нас, а где-нибудь в Тироле.

Писать не о чем, не о чем!

4 декабря 16 г.

Четыре с половиной часа. Зажег лампу. За окнами все дивно посинело. Точно вставлены какие-то сказочные зелено-синие стекла.

Вчера прекрасный морозный вечер. Кривоногие китайцы-коробейники. Называли меня «дядя».

11 июня 17 г.

Все последние дни чувство молодости, поэтическое томление о какой-то южной дали (как всегда в хорошую погоду), о какой-то встрече...

В ночь на пятое Коля уехал в Елец — пересвидетельствование белобилетчиков. Все набор, набор! Идиоты. <...>

Шестого телеграмма от Веры. Седьмого говорил с ней по телефону в Елец. Условились, что я приеду за ней и Колей, а по дороге заеду к Ильиным. Вечером Антон (австриец) отвез меня на Измалково. На станции «революционный порядок» — грязь, все засыпано подсолнухами, не зажигают огня. Много мужиков и солдат; сидят на полу, и идиотски кричит Аня-дурочка. В сенях вагона 1-го класса мешки, солдаты. По поезду идет солдатский контроль. Ко мне: сколько мне лет, не дезертир ли? Чувство страшного возмущения. Никаких законов — и все власть, все, за исключением, конечно, нас. Волю «свободной» России почему-то выражают только солдаты, мужики, рабочие. Почему, напр., нет совета дворянских, интеллигентских, обывательских

депутатов? <...>

15 июня 1917 г.

10 часов веч. Вернулись из Скородного. Коля, Евгений (который приехал вчера с Юлием из Ефремова) и Тупик ездили в усадьбу Победимовых, я, Юлий и Вера пошли к ним на встречу. День прекрасный, вечер еще лучше. Особенно хороша дорога от Крестов к Скородному — среди ржей в рост человека. В лесу птичий звон — пересмешник и пр. Возвращались — уже луна над морем ржей.

У Бахтеяровой сейчас хотели отправить в Елец для Комитета 60 свиней. Пришли мужики, не дали отправить.

Коля рассказывал, что Лида говорила: в с. Куначьем (где попом отец Ив. Алексеевича, ее мужа) есть чудотворная икона Николая Угодника. Мужики, говоря, что все это «обман», постановили «изничтожить» эту икону. Но 9-го мая разразилась метель — испугались.

Тупик говорит, что в с. Ламском мужики загалдели, зашумели, когда в церкви запели: «Яко до царя»: «Какой такой теперь царь? Это еще что такое?»

В Ефремове в городском саду пьяный солдат пел:

*Выну саблю, выну востру
И срублю себе главу —
Покатилась головка
Во зеленую траву.*

Замечательно это «себе».

В Ефремове мужики приходили в казначейство требовать, чтобы им отдали все какие есть в казначействе деньги: «Ведь это деньги царские, а теперь царя нету, значит, деньги теперь наши». <...>

7 июля.

<...> О бунте в Птб. мы узнали еще позавчера вечером из «Раннего утра», нынче вести еще более оглушающие. Боль, обида, бессильная злоба, злорадство.

Бунт киевский, нижегородский, бунт в Ельце. В Ельце воинского начальника били, водили босого по битому стеклу.

13 июля 17 г.

Все еще мерзкая погода. Холодно, тучи, сев. — западный ветер, часто дождь, потом

ливень. Газетами ошеломили за эти дни сверх меры. Хотят самовольно объявить республику.

27 июля 17 г.

Счастливый прекрасный день.

Деревенскому дому, в котором я опять провожу лето, полтора века. И мне всегда приятно вспоминать и чувствовать его старину. Старинный, простой быт, с которым я связан, умиротворяет меня, дает отдых среди моих постоянных скитаний. А потом я часто думаю о всех тех людях, что были здесь когда-то, — рождались, росли, любили, женились, старились и умирали, словом, жили, радовались и печалились, а затем навсегда исчезали, чтобы стать для нас только мечтою, какими-то как будто особыми людьми старины, прошлого. Они, — совсем неизвестные мне, — только смутные образы, только мое воображение, но всегда со мною, близки и дороги, всегда волнуют меня очарованием прошлого.

Еще утро, легкий ветерок проходит иногда по комнате, — открыты все окна. Которое нынче число? Если бы я даже не знал какое, я

бы и так, кажется, мог сказать, что это конец июля, — так хорошо знаю я все малейшие особенности воздуха, солнца всякой поры года. В то окно, что влево от меня, косо падает на подоконник радостный и яркий солнечный свет и глядит зеленая густота сада, блестящая под солнцем своей несметной листвою, в глубине своей таящая тень и еще свежую прохладу и то замирающая, затихающая, то волнуемая и тогда доходящая до меня шелковистым, еще совсем летним шорохом. В другие окна я вижу прежде всего ветви и сучья старых деревьев — серебристого тополя, сосен и пихт, — и бледно-голубое небо среди них, а ниже, между стволами, деревенскую даль: слегка синеющий на горизонте вал леса, желтизну уже скошенных и покрытых копнами полей, ближе — раскинувшееся по склону к мелкой речке поместье Бахтеярова, а затем, уже совсем близко, — старую низкую ограду нашей усадьбы, молодые елки, идущие вдоль нее, и часть двора, густо заросшую крапивой, — и глухой и жгучей, — которую припекает солнце и над которой реет крупная белая бабочка. Уже по одному тому, как

высока крапива, мог бы я безошибочно определить, какое сейчас время лета. А кроме того, сколько едва уловимых, но мне столь знакомых, родных с детства, совсем особых запахов, присущих только рабочей поре, косьбе, ржаным копнам!

И течет, течет мое спокойное, родное, счастливое деревенское летнее утро. Смотрю на пятна тени, косо испещрившей под елками ограду, на крапиву, на бабочку; потом на тихо колеблющуюся возле окон серо-зеленую бахрому корявых горизонтальных сучьев пихты, на воробьев, иногда садящихся на солнечный подоконник и с живым, милым, как будто чуть-чуть насмешливым любопытством оглядывающих мою комнату. Не слушая, я слышу то непередаваемое, летнее, как будто слегка завораживающее, что производят летающие вокруг меня и роящиеся на подоконнике мухи, слышу шорох сада, отдаленные крики петухов — и чуть внятную детскую песенку кухаркиной девочки, которая все бродит под моими окнами в надежде найти что-нибудь, дающее непонятную, но великую радость ее маленькому бедному суще-

ствованию в этом никому из нас не понятном, а все-таки очаровательном земном мире: какой-нибудь пузырек, спичечную коробку с картинкой... Я слушаю эту песенку, а думаю то о том, как вырастет эта девочка и узнает в свой срок все то, что когда-то и у меня было, — молодость, любовь, надежды, — то о том, где теперь косят работники, — верно уже у Крестов, — то о Тиверии, о Капри... Почему о Тиверии? Очень странно, но мы не вольны в своих думах. И я представляю себе вот такое же, как сейчас, летнее утро, с тем же самым солнцем, что горит на моем подоконнике, и совершенно ясно вижу белый мраморный дворец на горном обрыве острова, столь знакомого мне, и этого человека, которого называли императором и который жил, в сущности, очень недавно, — назад тому всего сорок моих жизней, — и очень, очень немногим отличался от меня; вижу, как сидит он в легкой белой одежде, с крупными голыми ногами в зеленоватой шерсти, высокий, рыжий, только что выбритый, и щурится, глядя на блестящий под солнцем, горячий мозаичный пол атрия, на котором лежит,

дремлет и порой встряхивает головой, сгоняя с острых ушей мух, его любимая собака...

Во втором часу вышел из дому, пошел в сад по липовой аллее, в конце которой, за воротами, светлело, белело небо. Земля суха и тверда, приятно идти, на земле лежат уже кое-где палевые листья. Солнце скрылось, потускневший сад был под синеватой тучей, заходившей с юга, — очень хорошо. За воротами серо-зеленые бугры кладбища (давно упраздненного), дальше открытое поле, желтое, покрытое где-то копнами, кое-где рядами. Удивительная бирюза между ними на севере, сладкий, еще совсем летний ветер дует с юга из-под тучи, и еще по-летнему доносится хлопанье перепела.

Четвертый час. Крупный ливень, град, — даже крыша от него дымилась как будто. К северу из-за тучи белая гора другой тучи и млеющий синий яхонт неба. В комнате с решетчатыми окнами сырая свежесть, запах дождя, мокрой крапивы, травы.

Пять часов. Сад на низком фоне свинцово-синей тучи. Высовывался из окна под редкие капли дождя на эту сырую пахучую све-

жесть, в одной рубашке — необыкновенно приятно, но почему-то страшно напомнило детство, свежесть и радость первых дней жизни.

Все дождь — до заката. К закату стало на западе, под тучей, светиться. Сейчас шесть. В комнате от заката, сквозь ветки палисадника, пятно странного зеле но-желто го света.

Опять прошел день. Как быстро и как опять бесплодно!

Готово. 1 августа 1917 г.

Хорошая погода. Уехала Маня. Отослал книгу Нилуса Клестову. Письмо Нилусу. Низом ходил в Колонтаевку. Первые признаки осени — яркость голубого неба и белизна облаков, когда шел среди деревьев под Колонтаевкой, по той дороге, где всегда сыро.

Слух от Лиды Лозинской, — Ив. С. в лавке говорил, что на сходке толковали об «Архаломеевской ночи» — будто должна быть откуда-то телеграмма — перебить всех «буржуев» — и что надо начать с Барбашина. Идя в Колонтаевку, зашел на мельницу — то же сказал и Сергей Климов (не зная, что мы уже

слышали, что говорил Ив. С): на деревне говорили, что надо вырезать всех помещиков.

Позавчера были в Предтечеве — Лихарев сзывал земельных собственников, читал устав «Союза земельных собственников», приглашал записываться в члены. Заседание в школе. Жалкое! Несколько мальчишек, Ильина с дочерью (Лидой), Лихарев (Коле сказал — «риторатор»), Влад. Сем., Коля, я (только в качестве любопытного), что-то вроде сельского учителя в старой клеенчатой накидке и очках (черных), худой старик (вроде начетчика), строгий, в серой поддевке, богач мужик (Коля сказал — Саваоф), рыжий, босый, крепкий сторож училища. У всех последних страшное напряжение и тупость при слушании непонятных слов устава. Приехал Абакумов, привез бумаги на свои владения, все твердил, что его земля закреплена за ним, «остолблена его величеством». Думал, что членские взносы пойдут на «аблаката» (долженствующего защищать интересы земельных собственников).

Генерал Померанцев, гостящий у Влад. Сем., замечательная фигура. Абакумов вер-

нулся вместе с нами, возбужденный. «Ну, записались! Теперь чтой-то даст бог!»

2 августа. Очень холодное, росистое утро. Юлий и Коля ездили в Измалково.

День удивительный. В два часа шли на Пески по саду, по аллее. Уже спокойно, спокойно лежат пятна света на сухой земле, в аллее, чуть розоватые. Листья цвета заката. Оглянулся — сквозь сад некрашенная железная, иссохшая крыша амбара блестит совершенно золотом (те места, где стерлась шелуха ржавчины).

Перечитывал Мопассана. Многое воспринимаю по-новому, сверху вниз. Прочитал рассказов пять — все сущие пустяки, не оставляют никакого впечатления, ловко и даже неприятно щеголевато-литературно сделанные.

Был Владимир Семенович. Отличный старик! Как Абакумов, не сомневается в своем пути жизненном, в своих правах на то и другое, в своих взглядах! Жалуется, что революция лишила его прежних спокойных радостей хозяйства, труда.

3 августа. Снова прекрасный день, ветер все с востока, приятно прохладный в тени. На солнце зной. Дальние местности в зеленова-то-голубом тумане, сухом, тончайшем.

Продолжаю Мопассана. Места есть превосходные. Он единственный, посмевавший без конца говорить, что жизнь человеческая вся под властью жажды женщины.

В саду по утрам, в росистом саду уже стоит синий эфир, сквозь который столбы ослепительного солнца. До кофе прошел по аллее, вернулся в усадьбу мимо Лозинского, по выгону. Ни единого облачка, но горизонты не прозрачные, всюду ровные, сероватые. Коля, Юлий, я ездили в Кочуево к Ф<едору> Д<митриевичу>> за медом. Возвращались (перед закатом), обогнув Скородное. Разговор, начатый мною, опять о русском народе. Какой ужас! В такое небывалое время не выделил из себя никого, управляется Гоцами, Данами, каким-то Авксентьевым, каким-то Керенским и т. д.!

4 августа. Ночью уехал (в Ефремов) Женя.

Почти все утро ушло на газеты. Снова боль, кровная обида, бессильная ярость! Бунт в Егорьевске Рязанской губернии по поводу выборов в городскую думу, поднятый московским большевиком Коганом, — представитель совета крестьянско-рабочих депутатов арестовал городского голову, пьяные солдаты и прочие из толпы убили его. Убили и товарища городского головы.

«Новая жизнь» по-прежнему положительно ужасна! Наглое письмо Троцкого из «Крестов» <?> — напечатано в «Новой жизни».

День — лучше желать нельзя.

Если человек не потерял способности ждать счастья — он счастлив. Это и есть счастье.

8 августа. Шестого ездил в Каменку к Петру Семеновичу. Когда сидели у него, дождь. Он — полное равнодушие к тому, что в России. «Мне земля не нужна». «Реквизиция хлеба? Да тогда я и работать не буду, ну его к дьяволу!»

Погода все время прекрасная.

Нынче ездили с Колей в Измалково. Иде-

альный *августовский* день. Ветерок северный, сушь, блеск, жарко. Когда поднимались на гору за плотиной Ростовцева, думал, что бывает, что стоит часа в четыре довольно высоко три четверти белого месяца, и никто никогда не написал такого блестящего дня с месяцем. Люблю август — роскошь всего, обилие, главное — огороды, зелень, картошка, высокие конопли, подсолнухи. На мужицких гумнах молотьба, новая солома возле тока, красный платок на бабе...

Колю подвез к почте, сам ждал его возле мясной лавчонки. Возле элеватора что-то тянут — кучка людей сразу вся падает почти до земли. Из южного небосклона выступали розоватые облака.

Поехали домой — встретили на выгоне барышню и господина из усадьбы Комаровских. Он весь расхлябанный по-интеллигентски: болтаются штаны желтоватого цвета, кажется, в сандалиях, широкий пояс, рубаха, мягкая шляпа, спущены поля, усы, бородка — а la художник.

9 августа. Ездили с Верой в Предтечево.

Жаркий дивный день. Поехали к Романовским за медом, не доехали — далеко чересчур мост, повернули назад, поехали к Муромцевым. <...>

11 августа. С утра чудесный день. Вера не совсем здорова, опять боль, хотя легкая, там же, где в прошлом году, и под ложкой. Беспокойное темное чувство.

Перед вечером к Федору Дмитриевичу на дрожжах — я, Коля, Юлий. Потом кругом Колонтаевки. Тучи с запада. В лесу очень хорошо, я чувствовал тайный восторг какой-то, уже чувствуется осенняя поэзия. Дорога в лесу и то уже осенняя отчасти. Когда выехали на дорогу — грандиозная туча с юга, синяя. Ливень захватил уже на дворе.

Дней десять тому назад начал кое-что писать, начинать и бросать. Потом вернулся к делу Недоноскова. Нынче уже опять почувствовал тупость к этой вещи.

13 августа. Как и вчера, день с разными тучками и облаками, — небом <?> необыкновенной красоты. Вчера опять ездили с Колей

к Федору Дмитриевичу за медом. Умиляющее предчувствие осени.

Нынче Коля уехал в Ефремов. Совсем уехала кухарка с детьми, с Жоржиком. Я возле телеги шутил с ним, целовал (как не раз и прежде) — они уехали, даже головой не кивнув. Животные!

Ходили с Юлием к Вас... Дежурному. Заходили тучи, была жара. Потом разошлось, прелестная погода. Сидели в лощинке, читали газету. Потом по деревне. Грязь, все развалено. Собственно, никто ничего не делает почти круглый год. А Шмелевы лгут, лгут про русский народ!

Кажется, одна из самых вредных фигур — Керенский. И направо и налево. А его произвели в герои.

Читал «Наше сердце».

«Хвост и уши отрубить (собаке) — злей будет». Как глупо!

14. VIII. Проснулся от юношески сильной эр<отики>, — сон, что мне отдалась в первый раз какая-то девушка, чарующая какой-то простой прелестью.

Девка на варке что-то работает лопатой железной — заносит высоко и ставит ногу на лопату — видел это, выйдя на двор днем, и волновался.

Кончил «Наше сердце». Искусно, местами очень хорошо, но остался холоден. Так длинно и все об одном и в конце концов пустяковым. Герой совсем не живой и не заражает сочувствием, героиня видна, но тоже как будто неживая.

Утром немного <работал> над «Любовью», немного так — одесское утро (начало — чего, еще не знаю).

Облака и солнце. После обеда я, Юлий и Вера в Колонтаевку. Жара. Вера после болезни еще — прозрачней, что ли. Зашел в контору, там наговорил глупостей с Каблуковым и Дм. Алекс, взял «Раннее утро». Прочел первый день московского совещания. Царские почести Керенскому, его речь — сильно, здорово, но что из этого выйдет? Опять хвастливое красноречье, «я, я» — и опять и направо и налево. Этого совместить, вероятно, нельзя. Городской голова — Руднев! до сих пор не могу примириться! — приветствует совещание, а

управские курьеры хулиганят в знак протеста против этого «контрреволюционного» совещания — вылили чернила из всех чернильниц — и управа не работала! Зайчик (солдат наш), «как капля солнца», отражает в себе все главное русской демократии (тот, что прогнал девиц из Ельца, переписывавших хозяйство мужиков, и кричал, чтобы мужики, выбиравшие представителей на выборы в церковный собор, не подписывались — «вас в крепостное право хотят обратить»).

К вечеру свежий ветер с юга, тучи. Лежал на соломе. Облака на восточном горизонте изумительны. Гряды, горы бледно, дымчато лиловатые (сквозь них бледность белизны внутренней) — краски невиданной у нас нежности, южности.

15 августа. Весь день с небольшими перерывами сильный прямой дождь (обрушился еще ночью, я слышал сквозь сон). Бахтеяровская сторона как в дымке. Все еще очень зелено и густо, поэтому похоже на летний дождь.

Засыпая вчера, обдумывал рассказ. Конец

20-х годов, Псковская губерния, приезжает из-за границы молодой помещик, ездит к соседу, влюбляется в дочь. Она небольшая, странная, ко всему безучастная. Чувствует, и она его любит. Объяснение. «Не могу». Почему? Была в летаргии, побывала в могиле. Нынче другой рассказ. А<n>гличанка с термосом. Всюду встречаю — Бренер-Пасс, Алжир, Сицилия, Рим, потом Асуан. Умирает на Элефантине в чахотке. Всю жизнь мыкалась, весь мир «very nice»[26]. Нехороша; как ребенок, радостна.

На висячей зелени-хвое за окном висят бисером стеклянные капли. Плещет желоб. Статья Кусковой. «Репрессиями не поможешь. Нужно просвещать деревню. Футбол и т. д.».

16 августа. Шипит сад, волнуется, шумит дождь. Ветер, дождь часто припускает. Читал Мопассана, потом Масперо о Египте, — волновался, грезил, думая о путешествии Бауку в Финикию, потом читал Верной Ли и думал о Неаполе, Капри, вспоминал Флоренцию.

Высунул в окно. Сорочка со скребом когтей перебралась через потемневший от дождя забор из сада и пробежала мимо окна,

улыбнувшись мне дружески, сердечно и замотав хвостом. Как наши души одинаковы!

17 августа. День прекрасный. Много гуляли с Юлием. Часу в пятом пошли мимо кладбища, потом по луку в лес, называемый нами «Яруга».

Ночь лунная. Гуляли за садом. Шел по аллее один — соломенный шалаш и сад, пронизанный лунным светом, — тропики. Лунный свет очень меняет сад. Какое разнообразие кружевной листвы, ветвей — точно много-много пород деревьев.

18 августа. В час уехал Юлий — в Москву. Лето кончилось! Грусть, боль, жаль Юлия, жаль лета, чувство горькой вины, что не использовал лета лучше, что мало был с Юлием, мало сидел с ним, катался. Мы вообще, должно быть, очень виноваты все друг перед другом. Но только при разлуке чувствуешь это. Потом — сколько еще осталось нам этих лет вместе? Если и будут эти лета еще, то все равно остается их все меньше и меньше. А дальше? Разойдемся по могилам! Так больно, так

обострены все чувства, так остры все мысли и воспоминания! А как тупы мы обычно! Как спокойны! И неужели нужна эта боль, чтобы мы ценили жизнь?

Читаю эти дни Верной Ли «Италия». Все восторгается, все изысканно и все только о красивом, о изящном — это скоро начинает приводить в злобу.

20 августа. Большинство женщин беспокойно мучается недовольством своей жизнью, ищет «цели жизни», изменяет или ждет любовников в надежде, что тогда придет счастье — почему? Оне растут, оне воспитываются в сознании, им всячески внушают, что оне непременно должны быть счастливы, любимы и т. д.

Чем я живу? Все вспоминаю, вспоминаю. Случалось — увидишь во сне, что был близок с какой-нибудь женщиной, с которой у тебя в действительности никогда ничего не было. После долго чувствуешь себя связанным с нею жуткой любовной тайной. Не все ли равно, было ли это в действительности или во сне! И иногда это передается и этой женщине.

Вчера ездили с Верой на шарабане кататься — к Крестам, потом в Скородное и вокруг него — обычная дорога, только наоборот. День был прекрасный. Когда выехали, поразила картина (как будто французского художника) жнивья (со вклиненной в него пашней и бархатным зеленым кустом картофеля) — поля за садом, идущего вверх покато — и неба синего и великолепных масс белых облаков на небе — и одинокая маленькая фигура весь день косящего просо (или гречиху красно-ржавую) Антона; и все мука, мука, что ничего этого не могу выразить, нарисовать!

Читал (и нынче читаю) «Завоевание Иерусалима» Гарри. Много времени, как всегда, ушло на газеты. Керенский невыносим. Что сделал, в сущности, этот выскочка, делающий все больше наглцом? Как смел он крикнуть на Сахарова «трус»?

Все читаю Мопассана. Почти сплошь — пустяки, наброски, порой пошло.

Нынче серо, прохладно, прохлада уже осенняя. Все утро звон — кого-то хоронят. По минутно, с промежутками: «блям!» Вот кого-то. несут закопать... как мы равнодушны

друг к другу! Ведь, в сущности, я к этому отношусь как к смерти мухи.

Все гул, гул молотилки паровой последние дни — у Бар-башина.

21 августа. Серый, со многими осенними чертами, с много раз шедшим дождем день. Пели петухи, ветер мягкий, влажный, с юга, открыта дверь в амбар, там девки метут мучной пол, — осень! Свежая земля в аллеях уже сильно усыпана желтой листвой. Листья вяза шершавые, совсем желтые.

Перечитываю «Федона». Этот логический блеск оставляет холодным. Как много сказал Сократ того, что в индийской, в иудейской философии!

В девять вечера вышли с Верой — ждали Антона и Коли со станции, пошли к бывшей монополии. Луна была еще низко над нашим садом. Многое еще в очень длинных тенях. Над бахтеяровской стороной ужасное и мрачное величие сгрудившихся туч, облаков (против луны). Белизна домов там — точно это итальянский городок. Коля опять не приехал.

Газеты. Большевики опять подняли голо-

ву. Мартов... требует отмены смертной казни.

В 10 1/2 вышел один гулять по двору. Луна уже высоко — быстро неслась среди ваты облаков, заходя за них, отбрасывала на них кругеле видный, красновато-коричневый (не определишь). За чернотой сада облака шли белыми горами. Смотрел от варка: расчистило, деревья возле дома и сада необыкновенны, точно бёклиновские, черно-зеленые, цвета кипарисов, очерчены удивительно.

Ходил за сад. Нет, что жнивье желтое, это неверно. Все серо. На северо-востоке желтый раздавленный бриллиант. Юпитер? Опять наблюдал сад. Он при луне тесно и фантастично сдвигается. Сумрак аллеи, почти вся земля в черных тенях — и полосы света. Фантастичны стволы, их позы (только позы и разберешь).

11 1/2 ч. Лежал в гамаке, качался — белая луна на пустом синем небе качалась как маятник. В спину дуло.

22 августа. Дождь льет, но день вроде вчерашнего. Начал читать Н. Львову — ужасно. Жалкая и бездарная провинциальная девица.

Начал перечитывать «Минеральные воды» Эртеля — ужасно! Смесь Тургенева, Боборыкина, даже Немировича-Данченко и порою Чирикова. Вечная ирония над героями, язык пошленький. Перечитал «Жестокие рассказы» Вилье де Лиль Адана. Дурак и плебей Брюсов восхищается. Рассказы — лубочная фантастика, изысканность, красивость, жестокость и т. д. — смесь Э. По и Уайльда, стыдно читать.

Дочь Аннета. Какая-то почти жуткая девочка, очень крупная, смесь девочки и женщины, — оттого что очень рано стала б..., должно быть?

«Учение есть припоминание». Сократ.

Последние минуты Сократа, как всегда, очень волновали меня.

Вечером приехали Коля с Евгением. Коля в Ефремове все задыхался.

Взята Рига. Орлов рассказывал Коле — где-то церковный сторож запретил попу служить, запер церковь — поп «буржуй», «ездил в гости к Стаховичу».

23 августа. Вчера после обеда дождь лил

до восхода луны, часов до десяти. Нынче часов с двенадцати опять то же. Похолоднело. Лес за Бахтеяровым в тумане.

Думал о Львовой, дочитав ее книгу. Следовало бы написать о ней рассказ.

Читаю «Стихи духовные» (со вступительной статьей Ляцкого).

Почти весь день нельзя выйти — очень часто осенний ливень.

Вечером Антон привез газеты, письмо Юлия. Юлий с вокзала заплатил извозчику одиннадцать рублей. В газетах — ужас: нас бьют и гонят, «наши части самовольно бросают позиции». Статья Кусковой — «Русские кошмары» — о мужиках, как они не дают хлеба и убивают агентов правительства, разъясняющих необходимость реквизиции хлеба. «Разруха ли»!

24 августа. С утра сильный ветер, часто припускает дождь.

Перечитываю стихи Гиппиус. Насколько она умнее (хотя она, конечно, по-настоящему не умна и вся изломана) и пристойнее прочих — «новых поэтов». Но какая мертвяжина,

как все эти мысли и чувства мертвы, вбиты в размер!

6 ч. 20 м. Свет солнца с заката в комнате — на правой притолоке двери, кусок на красной материи на отвале кровати и на стене над кроватью (на южной стене) — желтый с зеленоватым оттенком. Эти светлые места все испещрены колеблющейся тенью деревьев палисадника, волнуемых ветром. Кажется, переходит в погоду. Читаю стихи Гиппиус «Единый раз вскипает пеной...».

26 августа. Позавчера вечером были с Верой у Лозинских, — у них оказалось «Русское слово» за двадцать третье. Мы ходили при луне (уже невысокой, три четверти), ждали, пока они дочитают, потом взяли. Аресты великих князей, ужасы нашего бегства от Риги, корпус бежал от немецкого полка, переходившего Двину.

Вчера было прохладно и серо, вид уже совсем осенний. Нынче поминутно дождь, ветер косо гонит его, мелкий, с северо-запада, бахтеяровская сторона часто в тумане.

Вчера мы с Колей ходили к Пантюшку. Он

ничего, но подошли бабы. Разговор стал противный, злобный донельзя и идиотский, все на тему, как господа их кровь пьют. Самоуверенность, глупость и невежество непреодолимые — разговаривать бесполезно.

Нынче читаю о Владимирско-Суздальском царстве в книге Полевого. Леса, болота, мерзкий климат — и, вероятно, мерзейший, дикий и вульгарно-злой народ. Чувствую связь вчерашнего с этим — и отвратительно.

Дочитал Гиппиус. Необыкновенно противная душонка, ни одного живого слова, мертво вбиты в тупые вирши разные выдумки. Поэтической природы в ней ни на йоту.

27 августа. День серый и холодный. Вечером приехал Митя. Его рассказ о трех юнкерах.

28 августа. Солнечный прохладный день.

29 августа. День еще лучше. Ходили в контору — я, Вера, Митя. Жуткая весть из Ельца — Митя говорил по телефону: Корнилов восстал против правительства. В четыре ча-

са пошли низом в Колонтаевку. Возвратясь, опять зашли в контору. Весть подтверждается. <...>

30 августа. Ездили с Митей в Измалково. На почте видел только «Орловский вестник» 29-го. Дерзкое объявление Керенского и еще более — социалистов-революционеров и социал-демократов — «Корнилов изменник». Волновался ужасно.

31-го. Телефон из Ельца — Орлов и Арсик — что «состоялось соглашение». Дико! Вера утром уехала с М. Н. Рышковой в Предтечево. Поехали за ней с Митей. Там «Новое время» и «Утро России». Ошалел от волнения. Воззвание Корнилова удивительно! Вечером газеты — «Русское слово» от 29 и «Р<усский>> г<олос>» <?> от 30-го. Последняя поразила: исторически-торжественное воззвание Керенского: «Всем! всем! всем!» Таких волнений мало переживал в жизни. Просто пришибло.

Нынче весь день угнетен, как не запомню. Снова звонил Митя в Елец. Оказывается, нет, не все еще кончено, «только ночи настали», сказал К., будто взят Курск Калединым.

В пятом часу поехал в Жилых за рисом. Дни были хорошие, нынче серо, прохладно, все беззвучно, неподвижно.

В Жилых у плотины девочка навстречу. «Где потребилровка?» — «Вон на той стороне, где камни на амбаре». Двойная изба, в сенцах свиньи. Грязь, мерзость запустения. В одной половине пусто, в углу на соломе хлеба. Милая баба, жена Семена, торгующего. Ждал его. Но сперва пришел пьяный мужик, просил что-то «объяснить». На взводе затеять скандал. Потом старик, которого Семен назвал «солдатом», и молодой малый с гармонией, солдат, гнусная тварь, дезертир, ошалевший, уставший от шатанья и пьянства. Молчал, потом мне кратко, тоном, не допускающим возражений: «Покурить!» Мужиков это возмутило — «всякий свой должен курить!». Он: «Тут легкий». Я молча дал. Когда он ушел, «Солдат» рассказывал, что дезертира они не смеют отправить: пять раз сходку собирали — и без результату: «Нынче спички дешевы... сожжет, окрадет». Вечером газеты, руки дрожат.

2 сентября. С половины дня ливень и до

ночи. И ночью, хотя уже не такой — до утра.
«Русское слово» от первого.

3 сентября. Утром «Русское слово» от 2-го. Опять подлая игра в смену кабинета. Где Корнилов? Все-таки, видимо, ужасно испугались. Первый день я сравнительно спокойней. С утра дождь, потом распогодилось. Но все насыщено водой.

4 сентября. Письмо от Юлия. Он еще лечится. Это ужасно. Неужели это не придет в норму или будет повторяться?

«Русское слово» от 31-го и 1-го. В совете рабочих депутатов Каменев и Стеклов говорят, что «снесут голову с Корнилова». «Голос народа» от 2-го: Корнилов будто арестован.

Серо, потом то дождь, то солнце. Сейчас полдень. Уехал Евгений.

К вечеру распогодилось.

В десятом часу вечера — газеты. *Государственный переворот!* Объявлена республика. Мы ошеломлены. — Корнилов арестован.

Воля Гоца, Дана, Либера и т. д. восторжествовала — Россия в их руках! Что же значи-

ли эти переговоры Керенского с Кишкиными?! — Авксентьев, Либер в ужасе: «Календин!»

Заснул почти в два часа.

Ночь была очень светлая, небо засыпано чистейшими звездами.

С неделю уже ровно ничего не делаю.

7 сентября. Уехал Митя. Мы с Колей ездили по предтечевским лугам, потом через Победимовых и Скородное домой, было солнечно, лес уже по-осеннему в свете и волнении. Мужики все рубят и рубят леса. К вечеру опять на дождь, ехали назад, на севере — мертв<енно>-синеватые облака.

8 сентября. Погода светлая, хорошая. К вечеру приехал Мишка, возивший Митю: опоздали на поезд, поехали в Елец.

Был в конторе. Сын медника, рабочий, приятный, хорошо осведомлен, но кое в чем путается. И против большевиков, и «Новую жизнь», увидав у меня, назвал «хорошей газетой». Я послал с Митей отказ в «Новую („Свободную“) жизнь».

9 сентября. Ночью была ужасная гроза, ураган. Нынче хорошо, ветрено, солнечно.

Были на Жадовке, у Сергея Климова. Все в один голос одно: «Корнилов нарочно выпущен немцами» и т. д. В этом и весь призыв его.

Клен в жадовском саду — цвета кожи королька, по оранжевому темно-красное.

Изумительны были два-три клена и особенно одна осинка в Скородном позавчера: лес еще весь зеленый — и вдруг одно дерево, сплошь все в листве прозрачной, багряно-розовой с фиолетовым тоном крови.

Читал Жемчужникова. Автобиография его. Какой такт, благородство!

Сейчас пишу — по рукам, тетради желтый свет заходящего солнца. Оно садится за бахтеяровской усадьбой, как раз против спуска с той горы. По моим часам около шести.

Сергей Климов: «Да Петроград-то мать с ним. Его бы лучше отдать поскорей. Там только одно разнообразие».

11 сентября. Все пустые дни! Читал Жем-

чужникова, «Анну Каренину». Приехала М. Ник. Рышкова. Погода холодная, переменчивая, дурная.

12 сентября. Очень холодно. Кажется, вчера утром — косые космы пухлых низких облаков грязно-лиловатых, северных, морских по западному горизонту (утром часов в восемь). Среди дня много солнечных моментов, но ветер, прохладно. К вечеру очень холодно — впору полушубок. Луна уже три четверти.

13 сентября. С утра очень холодно, был за садом, летели листья с кленов, взял один.

Коля в астме. Вечером поехал со мной в Знаменье. Серо, потеплело — дочитал Жемчужникова. В общем, серо, риторика.

14 сентября. Теплый прелестный день, солнечный. Ездил с Верой в Измалково, перед вечером. Луна три четверти стала видна с пяти часов.

15 сентября. Проснулся в 6 1/2, еще солнце не показалось; утро удивительное, росистое.

День еще лучше. Совсем лето. Все аллеи усыпаны листвой. Читал Минского. Прочел сорок восемь страниц. Ужасная риторика!

Коля все еще болен. Еле выбрался в сад, сидел на скамейке с Верой. Алекс. Петр, плача рассказывал про Ваню.

Газеты. На советы narосла, видимо, дикая злоба у всех. Разъяснение Савинкова. Да, «совершена великая провокация». Керенского следовало бы повесить. Бессильная злоба.

В пять поехали с Верой в Скородное и вокруг него. По дорожке среди осинок. Еще не желтые осинки, но дорога вся усыпана их листвой круглой — сафьян малиновый, лимонный, палевый, почти канареечный есть. Когда выехали, чтобы повернуть направо, кто-то среди деревьев на опушке что-то делал лежа; красного солнца осталось уже половина. Месяц довольно высоко, — зеленовато-белый, небо под ним гелиотроповое почти. Хороша та дорога, где всегда грязь! Глубокие колеи — все возят тяжелое, все воруют лес. Возле места, где была Караулка, стояли, вертел курить, дивились на красоту: месяц впереди, в левом направлении, над лесом, кое-где жел-

тые высокие, стройные деревца (кажется, клены), закат направо совсем бесцветный, светлый. Под месяцем <?> опять гелиотропы, ниже и левее синева цвета сахарной бумаги. Вера смотрела направо — дивилась, как зубчатая линия леса — на закате. Дальше по просеке — дороге трудно ехать — так много сучьев. Уже темнело (в глубине-то леса). Выехали на опушку, чтобы повернуть направо (караулка), постояли, опять подивились — хорош был кровавый клен. Я взял листок. Он сейчас передо мной, точно его, бывший светло-палевым, обмакнули в воду с кровью.

Как осенью в лесу, в чаще, вдруг видишь: светит желтизной, выдвинулась ветка орешника. Даже жутко. Когда проехали Победимовых, повернули направо, стали спускаться с горы, закат уже краснел, а луна (направо, над лощиной, полной леса) была на сером, освещенном ею небе. Вообще небо было почти все серое, чуть в глубине синеватое.

Как странно все освещает осенняя заря! — сказал Вере, поднимаясь в гору.

16 сентября. Все то же: пустота ума, души,

довольно тупое спокойствие. Дочитываю «Каренину». Последняя часть слаба, даже неприятна немного; и неубедительна. Помнится, и раньше испытывал то же к этой части. Читаю Минского. Есть хорошее. Все же у него была душевная жизнь.

Ездили кататься. (День прекрасный.) Возле того места, где была караулка, крякнула задняя ось. Дошли пешком. Спеша за меринком, запотел, устал. <...>

Чуть не все за садом засыпано желтой листвой кленов. Уже очень много вершин зарыжело, зажелтело. Как поражает всегда этот цвет! Остров почти весь зелен. Но, едучи кататься, видел осинку в этой зелени — совершенно малиновая!

Луна ночью была необыкновенно ясна. Со-
всем полная.

17 сентября. Довольно сильный и прохладный ветер. Сад сипит, кипит. Почти все небо в грифельной мути, облачности. Светлее, где солнце. Еще больше желтых, краснеющих, красно-оранжевых вершин.

Гляжу на бахтеяровский сад: местами —

клубы как будто цветной капусты этого цвета.

Вчера, едучи мимо пушешниковского леса, видел вдали, в Скородном (на косогоре, где дорога к Победимовым), целый островок желтого (в которое пущена красная краска — светлая охра? Нет, не то!) — особый цвет осенних берез.

11 1/2 ч. дня. Дочитал «Каренину». Самый конец прекрасно написан. Может быть, я ошибаюсь насчет этой части. Может быть, она особенно хороша, только особенно проста?

Были облака, ветер. Ночь была поразительно ясная, луна чиста необыкновенно, в небе ни единого облачка, так все продрал резкий ветер.

22 сентября. Ездили с Верой в Озерки. Хороший день, но ветер, довольно прохладно, а когда возвращались зарей, то и совсем.

26 сентября. Два дня были необыкновенно хороши — солнечные, теплые. Вчера отправил письмо Кусковой. Был дождь!

Нынче холодно, низкие синеватые небо-склоны с утра. После обеда гуляли втроем. Дивились на деревья за сараем, с поля из-за риги — на сад: нельзя рассказать! Колонтаевка — и желтое, и черно-синее (ельник), и что-то фиолетовое. Зеленее к Семен^овкам — биллиардное сукно. Клены по нашему садовому... необыкновенные. — Сказочный — желтый, прозрачные купы. Ели темнеют — выделились. Зелень непожелтевшая посерела, тоже отделяется. Вал весь засыпан желтой листвой, грязь на дороге — тоже. Ночью позавчера поразила аллея, светлая по-весеннему сверху — удивительно раскрыта.

Вообще — листопад, этот желтый мир непередаваем. Живешь в желтом свете.

Сейчас ночь темная, дождь. Был нынче на мельнице. Злобой мужики тайно полны. Разговаривать бессмысленно!

27 сентября. Абакумов: нет, жизнь при прежнем правительстве — куда красней была! Теперь в... нельзя — того гляди — голова слетит.

День несколько раз изменялся. С утра было

холодно. Все вспоминаю противный разговор на мельнице — Л<нрзб>, придирающийся к винокуру, к монопольщику, лгавший, что его мальчишку бросил австриец в окно завода, грозивший «убить» — теперь это слово очень просто! — солдат Алешка...

Ездил с Колей кататься. Лес все рубят.

28 сентября. Почти летний день. Разговор за <в автографе описка: на. — А. Б.> мельницей с «Родным» и другими, шедшими из потребиловки.

Вечером что-то горло.

29 сентября. Не выхожу. Больно железу, в горле что-то есть. Летний день. Все читаю Фета. Как много...!

30 сентября. Горло ничего, слава богу. Гуляли. На гумно Андрея С. — там молотьба. А. Пальчиков в очках черных в кожаном футляре подает, серо-бурая борода, темна по окраинам на щеках (как... — <нрзб> — как многие старики), бабы одно и то же: «что гуляете, идите к нам солому тресть». По деревне к лесу. День летний. Поразил осинник на мысу —

совершенно оранжевый, и так выделилось каждое дерево и выпуклость бугра, и до неприятности похоже на гигантского ужа. Извив тропинки по бугру. Поразителен и осинник в лощине в начале леса, такой же. Все, весь лес необыкновенно сух, шуршит, и непередаваемо прекрасный запах подожженных сушью, солнцем листьев. Блеклая трава засыпана листвой, дубовая листва коричневая на опушке, — дубы все шуршат, все бронзово-коричневые.

Говорил, как ничтожно искусство!

Поразила декларация правительства, начало: анархия разлилась от Корнилова! О негодяи! И все эти Кишкины, Малянтовичи! Ужасны и зверства и низость мужиков легендарны.

1 октября. Утром вышел — как все бедно стало: сад, солнце, бледное небо. Потом день превосходный. Ездили с Колей к Победимовым.

И снова мука! Лес поражает. Как он в два дня изменился: весь желто порыжел (такой издали). Вдали за Щербачевкой шапка леска

буро-лиловата, точно мех какой на звере облезает. А какой лес по скату лощины! Сухая золотая краска стерта с коричневой, кленоватой.

2 октября. Проснулся в шесть. Лежал час. Душа подавлена. Юлий, думы о том, что, может, скоро опустеет совсем мир для меня — и где прежде — беспечность, надежда на жизнь всего существа! И на что все! И еще — совсем отупела, пуста душа, нечего сказать, не пишу ничего, пытаюсь — ремесло, и даже жалкое, мертвое.

Вчера воззвание Брешко-Брешковской к молодежи — «идите, учите народ!».

Ночью гулял — опять все осыпано бриллиантами сквозь голые ветви. Григорий идет от кума — «пять бутылочек на двоих выпили». «И ты не выпивши?» — «Да нет, ведь я ее чаем гоню...»

Нынче еще беднее утро, хотя прелестное и свежее, бодрое. Уже на кленах на валу на немногих и местами желтая, еще густая листва.

3 октября. Вчера в три часа с Колей в Осиновые Дворы. Скородное издали — какой-то рыже-бурый медведь. Ехали через Ремерский лес. Дубки все бронзовые. Сквозь него изумительный пруд, в одном месте в зеркало льется отражение совершенно золотое какого-то склоненного деревца. Караулка, собачонка так зла, что вся шерсть дыбом, — знакомая; выскочил тот старик, радостно-шалевой, торопливый, бестолковый, что видел в Скородном. Федор Митрофаныч, конечно, солгал, что у Ваньки отняли ружья, был скандал, он стрелял уток барских на пруде возле этой караулки, но не отняли. «Как ты попал сюда?» — «Позвольте, сейчас...» Страшно-радостно и таинственно: «Поросенка пошел куплять, у Борис Борисыча... Борис Борисыч отвечает...» (вместо «говорит» и очень часто не кстати: хотя). Были в Польском (деревушке). Два совершенно синих пруда — сзади нас, как въезжали на гору — предвечернее солнце. Поразили живописность и уединение Логофетовой усадьбы. Сад, да и ближе деревья — главное рыже-бронзовое, бронзовое. Наше родовое. Охватила мысль купить. Стекла горят сереб-

ряной слюдой, лучезарными звездами в доме, издали. В Осиновых Дворах два мужика: один рыжий, нос картошкой, ласково-лучистый, профессор, другой — поразил: IV <?> в., Борис Годунов, крупность носа, губ, толстых ноздрей, профиль почти грозно-грубый, черные грубые волосы, под шапкой смешаны с серебром. Должно быть, древние люди, правда, не те были. Какое ничтожество и мелкость черт у ребят молодых! Говорили эти мужики, что они про новый строй смутно знают. Да и откуда? Всю жизнь видели только Осиновые Дворы! И *не может* интересоваться другим и своим государством. Как возможно народоправство, если нет знания своего государства, ощущения его, — русской земли, а не своей только десятины!

Шесть часов вечера. Сейчас выходил. Как хорошо. Осеннее пальто как раз в пору. Приятный холодок по рукам. Какое счастье дышать этим сладким прохладным ветром, ровно тянущим с юга вот уже много дней, идти по сухой земле, смотреть на сад, на дерево, еще оставшееся в коричневатой листве, краснеющей не то от зари (хотя зоря почти бес-

цветна), не то своей краской. Вся аллея засыпана краснеющей, сухой, сморщенной листвою, чем-то сладко пахнущей. Как нов вид на сквозной сад, сквозь который за долиной воздух чуть *зленоват*, и заря наполняет весь сад розоватым светом. Почти все голо, почти все клены на валу и аллея и т. д., лишь яблони в золотисто-бронзоватой мелкой мертвой листве.

Правительство «твердо решило подавить погромы». Смешно! Уговорами? Нет, это *не* ему сделать! «Они и министры-то немного почище нас!» Вчера в полдень разговор с солдатом Алексеем — бешено против Корнилова, во всем виноваты начальники, «мы большевики, протолериат, на нас не обращают внимания» <...>.

Нынче хорошее настроение, написал два стихотворения <нрзб>.

Гулял в Колонтаевку, послал утром книгу Белевскому (последний том «Нивы» в переплете).

Нет никого материальней нашего народа. Все сады срубят. Даже едя и пья, не преследуют вкуса — лишь бы нажраться. Бабы готовят

еду с раздражением. А как, в сущности, не терпят власти, принуждения! Попробуй-ка введи обязательное обучение! <...> А как пользуются всяким стихийным бедствием, когда все сходит с рук, — сейчас убивать докторов (холерные бунты), хотя не настолько идиоты, чтобы вполне верить, что отравляют колодцы. Злой народ! Участвовать в общественной жизни, в управлении государством — не могут, не *хотят* за всю историю.

Прогулка в Колонтаевку была дивна: какая сине-темная зелень пихт не пожелтевших! (Есть еще такие, хотя большинство все дорожки усыпали своими волосами.) Шли дорожкой — впереди березы, их стволы, дальше трубы тонкие пихт, серая тьма и сквозь это — сине-каменное небо (солнце было сзади нас, четвертый час). Бёклин поймал новое, дивное. А как качаются эти тонкие трубы в острых сучках на стволах! Как плавно, плавно и все в разные стороны!

Возле бахтеяровского омета сквозь голый сад видна уже церковь. Как ново после лета!

Интеллигенция не знала народа. Молодежь Эрфуртскую программу учила!

4 октября. Вчера было радостное возбуждение — подумал: будет дождь. Так и есть. С утра очень тихо, дождь. Щеглы на «главном» клене. Потом ветер. Часов с трех повернул — с северо-запада. Образовалась грязь. Заходили на мельницу, к Колонтаевке. Листва (почти не изменилась) на сирени. Про яблони, кажется, неверно записал вчера — оне... ну, грязная золотистая охра, что ли, с зеленоватым оттенком. Яблони еще все в листве (такой).

Все читаю Фета (море пошлого, слабого, одно и то же), пытаюсь писать стихи. Убожество выходит! <...>

5 октября. Вчера вечером около одиннадцати ветер повернул, — с северо-запада. Вызвездило. Я стоял на последней ступеньке своего крыльца — как раз против меня был (над садом) Юпитер, на его левом плече Телец с огоньком Альдебарана, высоко над Тельцом гнездо бриллиантовое — Плеяды.

Нынче очень холодно, ветер почти с севера, солнечный день. Ездил с Колей к Муром-

цевым. Как хороша его усадьба с этими деревьями в остатках осенней листвы (когда ехали, поразило Скородное далекое <нрзб>, мех (пух, что ли) зверя — дымчато-серый, кое-где клоки рыжеватой шерсти еще не ошипаны. Далекий лесок под Щербачевкой — цвета сухой малины. Прочие лесочки за <нрзб> — все бурое <...>

Петруха, кучер Муромцевых: «Все начальники продают... Мне племянник пишет, он брехать не будя». — Послал книгу Милюкову. (Дня три тому назад — Белоруссову.)

6 октября. Рано, в шесть, проснулся. Подавленное состояние. Отупел я, обездарел, как живу, что вижу! Позор!

Туман, вся земля белая, твердая. Пошел гулять — кладбище (оно еще в траве) теперь под сединой изморози — малахитовое, что ли.

Лозинский едет в Измалково. Зашел к нему. Сиденье тележки, козлы — как мукой осыпаны. Сад Бахтеярова в тумане грязно темнеет.

Послал книгу Бурцеву (всем одно — 5–6 то-

мы «Нивы»).

Вчера читали записку Корнилова. И Керенский молчок! И общество его терпит!

Почти полдень. Горизонт туманен. Тихий, тихий беззвучный день. Так мертва, тупа душа, что охватывает отчаяние.

* * *

Десять часов вечера. Гуляли немного за садом, потом по двору. В сущности, страшно. Тьма, ледяная мгла вдали едва различима, но все-таки видна.

Днем выходил: все былинки, полынки седые от инея. Туман (холодный <нрзб>> весь день). Остров — грязноватое что-то, цвета приблизительно охры, что ли. Лозины деревни вдали — зеленовато-серые... <нрзб>. Бахтеяровский сад и темно-желтоват и буроватое и т. д. У нас в саду возле вала листва — цвета мути, немного желтее.

Записка Алексеева. Что же русское общество не тянет за усы Керенского?! <...>.

7 октября. Заснул вчера в 11, проснулся нынче в восемь. Несмотря на это, чувство тупости, растерянности еще сильнее. Утром

письмо Юлия к Вере от 27 сентября. Мы все очень огорчились: каждый день будни... Ужасно!

День дивный, солнечный, бодрый; ходили в Колонтаевку — похоже все на то, как мы видели в прошлую прогулку туда. — Письмо от Кусковой. Отвечаю.

Сейчас около двенадцати ночи. Изумительная ночь, морозная, тихая, тихая, с великолепнейшими звездами. Мертвая тишина. Юпитер, Телец, Плеяды очень высоко. (Над юго-западом.) На юго-западе Орион. Где Сириус? Есть звезда под Орионом, но низко и слабо видна.

Листва точно холодным мылом потерта. Земля тверда, подмерзла. Ходил за валом. Идешь к гумну мимо вала (по направлению от деревни) — деревья на валу идут навстречу, а небо звездное за ними сваливается, *идет вместе со мною вперед*. Сзади идет за мной Юпитер и пр. Идешь назад — все обратно. То же и на аллее. А я писал в «Таньке»: «звезды бежали *навстречу*». Глупо.

Аллея голая стройна, выше и стройнее, чем в листопад.

О, какая тишина всюду, когда я ходил! Точно весь мир прервал дыхание, и только звезды мерцают, тоже затаив дыхание.

8 октября 11 ч. утра. Вчера долго не мог заснуть — ужасная мысль о Юлии, о Маше, о себе — останусь один в мире, если Юлий не выздоровеет, и кажется: если даже будет успех, сделаю что-нибудь — для кого, если Юлия не будет! Заснул почти в два.

Нынче проснулся в 8 1/2. Бешенство на Софью — уехали в Измалково! На меня внимания не обращают. Послал с Лозинским: Кусковой, Бунину, Нилусу, Черемнову, Колино письмо к Мите о въезде в Москву (запретили!). Поехал один на дрожках в Скородное — круг обычный (начиная со стороны северной). Утро изумительное. Все крыши, вся земля были белые. Поехал через аллею, ветер вычистил ее середину, вся листва сметена на бок. Думал: «Могучим блеском полон голый сад, синим и сияющим эфиром». В поле дорога еще тверда, кое-где начинает потеть. В каждой колее, где тень, — голубая сахарная пудра. По жнивью под солнцем блеск алмазов

по остаткам изморози. В лесу светлей, чем думалось. Иногда улавливал горечь листвы мокрой. Повернул по опушке мимо северной стороны леса — тени осинки по блестящей мокрой листве. В лощинке, полной деревьев, блеск мелкого стекла — сучки, оставшиеся листики. Вдоль восточной стороны, там, где всегда грязь и ухабы по кусочку дороги между деревьями, грязь салится, под салом земля еще твердая; бледно-водянистые зелены налево, за лугом направо лес по косогору лежащий — веет сизоватый дым, весь почти голый — осинник, среди этого верхушки берез удлинненными купами желтеют (неярко, грязно, темная охра, что ли), выделяются. На просеке снова вдали дроги, лошадь — рубят! <...> Думал о своей «Деревне». Как верно там все! Надо написать предисловие: будущему историку — верь мне, я взял типическое. Да вообще пора свою жизнь написать, спустить шкуру со всей сволочи, какую видел, со всех этих Венгеровых и т. д.

Свернул на лесную дорогу, идущую от Победимовых, — направо. Вся в ухабах глубоких грязи, засыпанной листвой (перед этим все

глядел на верхушки берез, сохранивших розовато- и рыжевато-желтую мелкую листву на изумительном небе). Дубы все в коричневой сухой листве. Среди стволов блеклая, вялая сырая зелень под листвой. Думал — здесь особенно похоже на весну. Если бы ехал весной, тут, в затишье, среди стволов, на спуске с горы, было бы жарко, птицы были бы, сладость, мука радостная, полная надежд на что-то — и на любовь, как всегда! — были бы. Въехал на гору — еще среди стволов четыре подводы, баба с топором, мальчишка. Выехал из лесу — далеко-далеко налево, на юго-востоке, над лугами возле Предтечева светлый белесый пар под солнцем, над ним полный света горизонт. В голове — Одесса, Керчь, утро в ней, солнце, синь густая моря, белый город...

Понемножку читал эти дни «Село Степанчиково». Чудовищно! Уже пятьдесят страниц — и ни на йоту, все долбит одно и то же! Пошлейшая болтовня, лубочная в своей литературности! <...> Всю жизнь об одном, «о подленьком, о гаденьком»!

В три часа поехали с Колей на Прилепы за конопляным маслом для замазки. Хозяин

маслобойки — богач, большой рост, великий удельный князь, холодно серьезен, застали среди двора, ноль внимания. «Масло — два рубля фунт». Пошли в маслобойку, заговорили — и вдруг чудесная добрая улыбка. Вот кем Русь-то строилась. О своих односельчанах как о швали говорил.

Закат с легчайшим, чуть фиолетовым туманом за бахтеяровской усадьбой на зеленях и по бахтеяровскому саду и Колоитаевка в нем. Солнце за бахтеяровским садом садилось огромным расплавленным шаром из золота, чуть шафранового стекла. Пошел в контору. Там безобразничал негодяй Зайчик.

Ночью гуляли. Туман находил на нас холодный. Вверху звезды.

8 двенадцать часов вышел — там вяз смутной массой. Звезды туманны. Юпитер распустил пленку голубоватую.

9 октября. Снова такой же дивный день. В три поехали с Колей в Гурьевку, были у Дмитрия Касаткина — «рушник», рушит просо и гречиху. Хозяин — «видно, опять кичится Николаем». Солдат стерва, дурак необыкновен-

ный. «Солдаты зимней одежды не принимают — не хотят больше воевать. Два месяца дали сроку правительству — чтобы сделало мир. Немцы бедным не страшны — черт с ними, пускай идут. Богатые — вот это дело другое. За границу не уедешь — все дороги в один час станут, всех переколем штыками. Начальства мы слушаемся, если хорошее, а если он не так командует, как же ему голову не срезать? Корнилов виноват, семьдесят пять тысяч с фронта взял. Керенский — <...> не лезь, когда не умеешь править. Зачем он умолял наступление сделать?» И т. д.

Старик мужик худой, болезненный, милый и разумный. Баба — мощи, зло (про нас): «Это они все немцами пугают чернородие». — Да, вот что К<еренский>> негодяй сделал!

Немцы завладели Рижским заливом.

12 октября. Позавчера мне исполнилось сорок семь лет. Страшно писать, но порой и утешение мелькает — а, может быть, это еще ничего, может быть, я преувеличиваю значение этих лет?

Позавчера утром поехал с Колей и Миш-

кой (полуидиот и плут, но ничего себе малый, на старый деревенский лад) в Ефремов. Было похоже, что погода портится, сперва шли лиловатые облака — туман по небу — потом затянуло, день стал серый, ехали на Волжанку, Лебяжку, Березовку и т. д. Дорога по горам и однообразным деревням бесконечна. Деревня тонет в благополучии, — сколько хлеба везде, скотины, птицы и денег! Пусто очень, почти ни души не встретили, и на улицах ни души, только молотят кое-где молотилки. Паровая молотилка в имении на Голицыне. И как никто не интересуется ни немцами, ни «Сов. Рос. Ре<О>п.» — и не знает ничего.

Приехали часа в четыре. Евгений в кухне на печке со своим Арсиком. Когда зажгли огонь, прибежали дети Елизаветы Ильинишны Добровольской (Победимовой) — мальчик и девочка, мальчик хотел страстно видеть «живого писателя»; рассказали, что уже начался погром, которого давно ждали в Ефремове. Я пошел в парикмахерскую — слух вздорный, хотя действительно ждут с часу на час. Отврат<ительный> «демократ» завивался самым бл...м образом, завился на 1 р. 75 к. Ма-

лый, что стриг меня, вежливейше спросил: «Под полечку прикажете?» Светила луна (почти 1/2). Ночевал не во флигеле, а в доме, долго разговаривал через дверь с Елизаветой Ильинишной. Она разошлась с мужем, выходит за другого, за пожилого. Я очень удивил ее, угадав, что у него слабые волосы (он довольно большой, блондин, «ждет его десять лет») и что он очень любит ее детей. Не физически, но все-таки волновался близостью женщины за дверью, с которой мы одни в доме, за исключением крепко спящих детей. В три часа проснулся, не спал до шести, приехала в четыре старуха Победимова — я испугался, думал, она на лошадях, бежала от мужиков.

Утро с большой изморозью. Ходили с Евгением за покупками. В 1 ч. уехали. Светлый, прохладный, по свету похожий на летний день, — превосходный. Оглянулся — нежно и грустно защемило сердце — там, в роще лежит мама, которая так просила не забывать ее могилы и у которой на могиле я никогда не был.

Коля задохнулся; всю дорогу молчал. Ехали

на Бобо рыки но, потом на Кожинку, не доезжая Кожинки, свернули, мимо Новиковой, потом под гору, на гору, на мельницы и на Веригину. В Веригине пруд посредине, очень старые избы, богатая деревня. За Веригиной — под гору. За лугами напротив — лес коричневый в лощине, над ним высоко луна (ровно $1/2$), профиль бледный, лес весь дубовый, весь в коричневой листве — листва точно в паутине. Боже, какая пустыня! А какая пустыня, какой дикарский поселок — хутор Лукьян Степанова! Никто не представит себе через сто, двести лет. По лиловому пруду золотая (от месяца) зыбь.

Опять восхитила логофетовская усадьба. Только миновали дом, луна за дубами, горизонт под ней — розовый. Потом быстро ехали, светало, ветреная ночь. Приехали домой в семь.

В Ефремове газеты за девятое и десятое. Открытие «Совета Республики», пошлейшая болтовня негодяя Керенского, идиотская этой стервы-старухи Брешко-Брешковской («понятно, почему анархия — борьба классов, крестьяне осуществляют свою мечту о земле»).

Мерзавец <...> Троцкий призывал <...> к прямой резне.

Нынче ветрено, светлый, прекрасный день. Убирался, запаковывал черный сундук. На полчаса выходил с Верой по направлению к Колонтаевке.

13 октября. Вот-вот выборы в Учредительное собрание. У нас ни единая душа не интересуется этим.

Русский народ взывает к богу только в горе великом. Сейчас счастлив — где эта религиозность! А в каком жалком положении и как жалко наше духовенство! Слышно ли его в наше, такое ужасное время? Вот церковный собор — кто им интересуется и что он сказал народу? Ах, Мережковские м...!

Понемногу читаю «Леонардо да Винчи» Мережковского. Ужасный «народился» разговор. Длинно, мертво, натащено из книг. Местами недурно, но почему знать, может быть, ворованное! Несносно долбленье одного и того же про характер Леонардо, противно-слащаво, несносно, как он натягивает все на свою идейку — Христос — Антихрист!

«Нигде не видал таких красок — темных и в то же время таких ярких, как драгоценные камни» (стекла в соборе). «Монах откинул куколь с головы».

«Побледневшее на солнце, почти не видное пламя».

«Пахло чадом оливкового масла, тухлыми яйцами, кислым вином, плесенью погребов». «Ненавидящий пронизательней любящего» (Леонардо). «У художников подражание друг другу, готовым образцам» (Леонардо). «Для великого содержания нужна великая свобода» (Леонардо).

*Quant'è bella giovinezza.
Ma si fugge tuttavia
Chi vuol esser lieto, sia:
Di doman' non c'è certezza.[27]*

День темный, позднеосенний, хмурый. Ветер шумит, порою дождь.

Как нежны, выбриты бывают лица итальянских попов!

Вечером и ночью ветер, дождь.

14 октября. С утра серо, ветер с северо-запада, холодный, сейчас три, мы с Верой гуля-

ли, облака, светит солнце.

На низу сада, возле плетня, слышу матерную брань. Вижу — Савкин сын (кривой), какой-то пьяный мужик лет двадцати пяти, долговязый малый лет двадцати, не совсем деревенского вида.

— Когой-то ругает? Пьяный:

— Да дьякона вашего.

— Какой же он мой.

— Как же так не ваш? А кто ж вас хоронить будет, когда помрете? Вот П. Ник. помер — кто его хоронил? Дьякон.

— Ну, а вот ты-то дьякона ругаешь, тебя-то кто ж будет хоронить?

— Он мне керосину (в потребилровке) не дает... и т. д. Говорил, что мы рады, что немцы идут, они мужиков в крепостное право обратят нам.

15 октября. Утро было все белое — вся земля, все крыши, особенно наш двор. Утро и день удивительные.

В школе выборы в волостное земство. Два списка — № 1 и № 2. Какая между ними разница — ни единая душа не знает, только неко-

торые говорят, что разница в том, что № 1 «больше за нас». Это животное, сын Андриана, когда я спросил про эту разницу, закричал: «Да что вы его слушаете, что он дурака валяет!» — с большой злобой. За что? Почему он злобен и на меня? Помимо бессмысленной злобы, убежден, что я *не могу* не знать этой разницы — думает, что все эти номера для всей России одинаковы. Гурьбой идут девки, бабы, мужики, староста сует им номер первый, и они его несут к «урне». Заходил и вечером — там крик, возмущение, что мужики друг у друга лес рубят, Петр Ар., Сергей Климов за то, чтобы солдат взять. Матрос молодой (Милонов, с Майоровки) кронштадтский сказал: «Не в том суть, чтобы осинку как-нибудь срубить, а в организации, чтобы не к именно капиталистам власть перешла, но народу...» Большевик, йота в йоту повторяет дочку «Новой жизни» и т. п.

В головах дичь, тьма, — ужас вообще! В «Совете Российской республики» говорят больше всего «евреи».

Вчера ужасное письмо Савинкова.

16 октября. Мужик: «Нет, и господ нельзя тоже оставить без последствий, надо и их принять к сведению».

Проснулся в шесть. С утра темновато, точно дождь шел. Потом превосходный, хотя сыро-холодный день. (Вчера, гуляя вечером, Вера обиделась, мы стали шутить — «Фома Фомич» — она плакала одна, в саду.)

Вечер поразительный. Часов в шесть уже луна как зеркало сквозь голый сад (если стоять на парадном крыльце — сквозь аллею, даже ближе к сараю), и еще заря на западе, розово-оранжевый след ее — длинный — от завода до Колонтаевки. Над Колонтаевкой золотистая слеза Венеры. Луна ходит очень высоко, как всегда в октябре, и как всегда в октябре — *несколько* ночей *полная*. Сейчас гуляли, зашли с Верой в палисадник, смотрели на тени в нем, на четкость людской, крыша которой кажется черной почти, — вспомнился Цейлон даже.

Про политику и не пишу! Изболел. Главное — этот мерзавец, которому аплодируют даже кадеты.

17 октября. Дни похожи по погоде один на

другой — дивная погода. Ни единого облачка ни днем, ни ночью. Все время с вечера — луна и полоса красноватая на закате. Пришла Вера Семеновна с Измалкова. Я отвозил ее в школу. Смотрел с дороги, уже близко от школы — вдали на реке что-то вроде коричневого острова камышей, дальше — необыкновенно прелестная синь речной заводи. По дороге отпотевшая грязь. Ночью подмораживает, морозная роса, тугая земля.

Вечером Вл. Сем. провожал до кладбища Надю, — Письмо от Шмелева.

18 октября. Та же погода. Чувствую себя, дай бог не сглазить, все время хорошо, но пустота, бездарность — на редкость.

Пять с половиною часов вечера. Зажег лампу. В окне горизонт — смуглость желтая, красноватая (смуглая, темная желтизна?), переходящая в серо-зеленое небо, — выше синее — сине-зеленое, на котором прекрасны ветви деревьев палисадника — голого тополя и сосны. Краски чистейшие. Пятнадцать минут тому назад солнце уже село, но еще светло было, сад коричневый.

Прочел Лескова «На краю света». Страшно длинно, многословно, но главное место рассказа — очень хорошо! Своеобразный, сильный человек!

20 октября. Девять с половиною часов вечера. Прочел статью из «Русской мысли» какой-то Глаголевой: «Раб (Бенедиктов), Эллин (Щербина), Жрец (Фет)». Наивная дурочка.

Критики говорят о поэте только то, что они им сам надолбит.

«Любовь — высшее приближение к духовности» — правда ли это?

Вчера прошел слух (от Лиды), что хотят громить Бахтеяровых. Стал собирать корзину в Москву. Потом поехал с Верой в Измалково отправлять. Погода дивная. Кричал на Веру дорогой — нехорошо! Коля рассказывал, как солдат Федька Кузнецов разговаривал с офицерами, что охраняют бахтеяровское имение, — на «ты» и т. д.

Когда вчера Вера ходила на почту в Измалково, я сидел ждал, всходила раскаленная луна, возле нее небо мрачное, темное. Нынче ездили с Колей в Предтечево — говорить по те-

лефону в Елец с комиссаром о въезде в Москву (наш телефон все портят). День поразительный. Дали на юге в светлом тумане (нет, не туман). Были в потребилровке (мерзко!), в волости. Воззвания правительства на стенах. О, как дико, как не связано с жизнью и бесполезно!

Что за цвета были леса, когда мы возвращались! Щербачевка (дубовая) светло-коричневая, поляны (березы) еще есть грязное золото, Скородное — не умею определить.

Десять часов вечера. Густой туман — вот неожиданно! Не выхожу, что-то опять горло.

В Предтечеве возле потребилровки встреча с девицами Ильиными. Леля сказала, что на «Среде» Зилов читал на меня пародию. Гадина!

Читаю «Волхонскую барышню» Эртеля. Плохо. Мужичкий язык по частностям верен, но в общем построен литературно, лживо. И потом, эта тележка, ныряющая по грязи, лукавая пристыжная, и заспанный мальчик, ковыряющий в носу... Никогда не скажет: «надел пальто», а всегда — «облачившись в пальто».

21 октября. Не выходил — немного горло. День сперва серый, потом с солнцем. Возился весь день — укладывался. Завтра Казанская, могут напиться — вся деревня варит самогонку — все может быть. Отвратительное, унижительное положение, жутко.

В языке и умах мужиков все спуталось. — Никто, впрочем, не верит в долготу этого «демократического рая».

В 1905 году поэты все писали стихи про кузнецов.

Читал отрывки из Ницше — как его обворывают Андреев, Бальмонт и т. д. Рассказ Чулкова «Дама со змеей». Мерзкая смесь Гамсуна, Чехова и собственной глупости и бездарности. Как Сибирь, так «паузка», «пали» и т. д., еще «заимка»...

22 октября. Все бело от изморози. Чудеснейшее тихое солнечное утро. Звон.

«Забота» — Капри, 24 января — 6 февраля 1913 г.

Это ли не «Петлистые уши». <...>

Мужики и теперь твердят, что весь хлеб «везут» (кто? Неизвестно) немцам.

Радость жизни убита войной, революцией.
Как гадки Пшибышевский, Альтенберг!
Луна — зеркало солнца. Сердцевина мака
черная.

Жизнь Фофанова — «сюжет для небольшого рассказа».

Одиннадцать часов утра. Коля напевает под пианино: «Жил был в Фуле...»

Нет, в людях все-таки много прекрасного!

30 октября. Москва, Поварская, 26.

Проснулся в восемь — тихо. Показалось, все кончилось. Но через минуту, очень близко — удар из орудия. Минут через десять снова.

Эти слова относятся к месту рукописи, где был приклеен какой-то текст; он оторван (А. Б.).

Потом щелканье кнута — выстрел. И так пошло на весь день. Иногда с час нет орудийных ударов, потом следуют чуть не каждую минуту — раз пять, десять. У Юлия тоже.

Горький, оказывается, уже давно (должно быть, с неделю) в Москве. Юлий мне сказал позавчера, что его видели в «Летучей мы-

ши», — я не поверил. Вчера Вера говорила с Катериной Павловной, по телефону. Катерина Павловна — «обе стороны ждут подкреплений». Затем сказала, что Алексей Максимович у нее, что если я хочу с ним поговорить и т. д. <...>.

Часа в два в лазарет против нас пришел автомобиль — привез двух раненых. Одного я видел, — как его выносили — как мертвый, голова замотана чем-то белым, все в крови и подушка в крови. Потрясло. Ужас, боль, бессильная ярость. А Катерина Павловна пошла нынче в Думу (Вере нынче опять звонила) — она гласная, верно, идет разговор, как ликвидировать бой. Юлий сообщает, что Комитет общественного спасения послал четырех представителей на Николаевский вокзал для переговоров с четырьмя представителями Военно-революционного комитета — чтобы большевики сдали оружие, сдались. Кроме того, идут будто бы разговоры между представителями всех соц<иалистических> партий вкупе с большевиками, чтобы помириться на однородном социал<истическом> кабинете. Если это состоится, значит, большевики победи-

ли. Отчаяние! Все они одно. И тогда снова вот-вот скандалы, война и т. д. Выхода нет! Чуть не весь народ за «социльную революцию».

22-го — во втором часу пленный из Предтечева, верхом — громят Глотова[28]. Я ждал Казанской, многое убрал, — самогонка, праздник и слух о 20-м октября, о выступлении большевиков — все предвещало, что многое может быть. Через час — пьяный мужик из Предтечева: «Там все бьют, там громят, мельницу Селезневскую разнесли... Уезжайте скорее!» Цель — разносит слухи, оповещает всех, хотя прикидывается возмущенным, и кроме того всюду берет на водку. Мой рубль швырнул — «я тебе сам пять целковых дам!». Я заорал, он струсил, взял рубль. С двух с половиною дня до трех ночи я убирался, заснул <в> два часа, в пять встал, в семь выехали — я, Коля, Вера. Мишка и Антон сзади на телеге с вещами.

Туман, дорога вся в ухабах из застывшей грязи, лошади ужасные. До большой дороги была мука. Под Становой остановились, закусывали, баб тридцать из Кир и ловки, идут в

Становую что-то получать (солдатки, кажется). Завязался разговор. Я выпил — иначе такой глупости не сделал бы. Злоба — «вы, буржуи, капиталисты, войну затеяли». Да, началось с насмешки над нами: «А плохо вам теперь!» Я сказал — «погоди, через месяц и вам будет плохо». — «А! вот как! Значит, ты знаешь! Почему же это нам будет плохо? Говори!» Я стал говорить как елецкий мещанин (плюс мой полушубок и весь наш вид жалкий). Подошел кто-то, что-то «товарищеское», хотя мужик (молодой)... (Ох! ужасный удар!) (Сейчас пять дня.) (Опять!) «Что? Плохо? Вы почему ж это знаете?» (Очень строго.) О, позор, о, жуткое чувство! (Опять удар.) Я вильнул — «через месяц Учредительное собрание» — собрал вожжи и поскорее ехать. Возле шлагбаума колесо рассыпалось. До Ельца пешком — тяжело! Жутко! Остановят, могут убить. В Ельце все полно. Приютили нас Барченко. Вечером (опять удар!) у нас гости, я говорил лишнее, — выпил. 24-е пробыли в Ельце. Отовсюду слухи о погромах имений. Вл<адимира> Сем<еновича> все Анненское разгромили. Жгут хлеб, скотину, свиней жа-

рят и пьют самогонку. (Опять!) У Ростовцева всем павлинам голову свернули. (Опять!) 25-го выехали вместе с Б. П. Орловым. В вагоне в проходе — солдаты, солдат из Дамского весело и хорошо рассказывал, как Голицыны с тремя-четырьмя ингушами и попом (опять!) отбивались от мужиков и солдат. Голицына П. А. ранили. 26-го на Курском вокзале узнали, что в Москве готовят бинты, кареты скорой помощи и т. д. — будет бой с большевиками. Два извозчика — сорок рублей. 27-го был в городе — везде равнодушные — «а, вздор, это уже давно говорят». Какие-то два солдата мне (опять!) сказали, что начнется часов с семи. В пять — к Телешовым. Мимо трамвая — поп, народ, несли чудотворную икону. На углу Пречистенки бабы — «большевики стреляли в икону». От Телешовых благополучно дошли, хотя казалось, по городу уже шла стрельба. 28-го мы стрельбы почти не слышали, выходили. Все было ожидание <...> Слухов — сотни (опять!). «Каледин диктатор, идет в Москву» и т. д. «Труд» (газетка Минора) врала, что в Петербурге все (о, ужас, какой удар, всего потрясло) кончено — большевики разбиты. Вче-

ра уже нельзя было выходить — стрельба. Близко Александровское юнкерское училище. О сегодня я уже писал. С фронта никого, хотя поминутно слух — «Москва окружена (опять!) правительственными войсками» и т. д. Ясно, дело плохо, иначе давно бы пришли. Сейчас Вере сказали слух: «Железнодорожники согласились пропустить войска с фронта, если будет социалистический кабинет». У нас в вестибюле дежурство, двери на запоре, все жильцы и «дамы» целый день галдят, врут, женщины особенно. Много евреев, противных. Изнурился от безделья, ожиданья, что все кончится вот-вот, ожиданья громил, — того, что убьют, ограбят. Хлеба дают четверть фунта. А что на фронте? Что немцы? Боже, небывалое в мире зрелище — Россия!

Десять часов вечера (30 октября). В девять часов погасло электричество и у Зои и у Юлия. У Телешова нет. Юлий сказал, что Телешов передал — подписано соглашение большевиков и прочих партий. Но большевики не могут унять солдат. Озлоблены и юнкера. Катерина Павловна говорила с Митей — Максимка в плену. (Клестов скрывает)

ется у <нрзб>.) Все слухи: четыре тысячи казаков пришли, не могут войти, их не пускают большевики на Казанский вокзал, пришел ударный батальон, тоже не может войти, где-то под Москвой дикая дивизия и т. д. Я дежурил от шести до семи. Большевистский студент собрал прислугу со всего дома — «она волнуется, говорит, зачем мы ворота бревнами закладываем, действуем против своих товарищей, надо с прислугой объясниться...». И объяснился: «Стрелять будем, если вы пойдете против нас». Возмущение.

В вестибюле сидел какой-то полурабочий, к каждому слову «в общем».

31 октября. Проснулся <в> восемь. Думал, все кончено (было тихо). Но нет, кухарка говорит, только что был орудийный удар. Теперь слышу щелканье выстрелов. Телефон для частных лиц выключен. Электричество есть. Купить на еду ничего нельзя. <Нрзб>> сказал, ударный батальон пришел, часть переправилась в лодках, швейцар будто бы видел — человек двести пошло к юнкерскому училищу.

Двенадцать часов дня. Прочел «Соц. демо-

крат» и «Вперед». Сумасшедший дом в аду.

Один час. Орудийные удары — уже штук пять, близко. Снова — в минуту три раза. Опять то же. Два рода ударов — глуше и громко, похоже на перестрелку.

Семь с половиною часов вечера. За день было очень много орудийных ударов (вернее, все время — разрывы гранат и, кажется, шрапнелей), все время щелканье выстрелов, сейчас где-то близко грохотал по крышам тяжкий град — чего? — не знаю.

От трех до четырех был на дежурстве. Ударил бомба в угол дома Казакова возле самой панели. Подошел к дверям подъезда (стеклянным) — вдруг ужасающий взрыв — ударила бомба в стену дома Казакова на четвертом этаже. А перед этим ударило в пятый этаж возле черной лестницы (со двора) у нас. Перебило стекла. Хозяин этой квартиры принес осколок гранаты трехдюймовой. Был Сережа. День тяжелый, напряженный. Все в напряжении и все всё ждут помощи. Но в то же время об общем положении России и о будущем никто не говорит, — видимо, это не занимает.

Хочется есть — кухарка не могла выйти за

провизией (да и закрыто, верно), обед жалкий.

Лидия Федоровна чудовищно невыносима. Боже, как я живу!

Опять убирался, откладывал самое необходимое — может быть пожар от снаряда. Дом Коробова горел.

Юлий утром звонил. С тех пор ни звука. Верно, телефон не дают.

А что в деревне?! Что в России?!

Москву расстреливают — и ниоткуда помощи! А Дума толкует о социалистическом кабинете! Почему же, если телеграф нейтрален, Керенский не дает знать о себе?

Почти двенадцать часов ночи. Страшно ложиться спать. Загораживаю шкафом кровать.

1 ноября. Среда. Засыпая вчера, слышал много всяких выстрелов. Проснулся в шесть с половиною утра — то же. Заснул, проснулся в девять — опять то же. Весь день не переставая орудия, град по крышам где-то близко и щелканье. Такого дня еще не было. Серый день. Все жду чего-то, истомился. Щелканье кажется чьей-то забавой. Нынче в третьем ча-

су, когда вышел в вестибюль, снова ужасающий удар где-то над нами. Пробегают не то юнкера, не то солдаты под окнами у нас — идет охота друг на друга.

Читал только «Социал-демократ». Ужасно.

В Неаполе в монастыре Camaldoli над Вомеро каждую четверть часа дежурный монах стучит по кельям: «Badate, è possato un quarto d'ora della vostra vita»[29].

Пишу под тяжкие удары, щелканье и град.

Поповы — молодые муж и жена. Она княжна Турке-станова. Что за прелестное существо. Все раздает всем свои запасы. Объявление в «Русских ведомостях» от 22 октября. <...>.

Читал «Русские ведомости» за 21, 22, 24, 25. Сплошной ужас! В мире не было такого озверения. Постановление офицеров («Русские ведомости», номер от 25 октября).

Ходил в квартиру чью-то наверх, смотрел пожар (возле Никитских ворот, говорят). Дочь Буренина.

2 ноября. Заснул вчера поздно — орудийная стрельба. День нынче особенно темный

(погода). Остальное все то же. Днем опять ударило в дом Казакова. Полная неизвестность, что в Москве, что в мире, что с Юлием! Два раза дежурил.

Народ возненавидел все.

Положение нельзя понять. Читал только «Социал-демократ». Потрясающий номер! Но о событиях нельзя составить представления. Часов с шести вечера стрельбы из орудий, слава богу, чтобы не сглазить, что-то не слышно.

Одиннадцать часов вечера. Снова два оружейных удара.

4 ноября. Вчера не мог писать, один из самых страшных дней всей моей жизни. Да, позавчера был подписан в пять часов «Мирный договор». Вчера часов в одиннадцать узнал, что большевики отбирают оружие у юнкеров. Пришли Юлий, Коля. Вломились молодые солдаты с винтовками в наш вестибюль — требовать оружие <...> Три раза приходили, вели себя нагло. Выйдя на улицу после этого отсиживания в крепости — страшное чувство свободы (идти) и рабства <...> Ходил по пере-

улкам возле Арбата. Разбитые стекла и т. д. Назад, по Поварской — автомобиль взял белый гроб из госпиталя против нас.

Заснул около семи утра. Сильно плакал. Восемь месяцев страха, рабства, унижений, оскорблений! Этот день венец всего! <...>

Нынче встал в одиннадцать. Были Юлий, Митя, Коля, пошли в книгоиздательство. Заперто <...>

Командующий войсками Московского округа — солдат Муралов. Комиссар театров — Е. К. Малиновская. Старк тоже комиссар <...>

11 ноября <...;> Ленин сместил Духонина, назначил верховным главнокомандующим Крыленко <...>

21 ноября 12 ч. ночи. Сижу один, слегка пьян. Вина возвращает мне смелость, муть сладкую сна жизни, чувственность — ощущение запахов и пр. — это не так просто, в этом какая-то суть земного существования. Передо мной бутылка № 24 удельного. Печать, государственный герб. Была Россия! Где она те-

перь. <...> Убит Духонин, взята ставка и т. д.

Возведен патриарх «всёя Руси» на престол
нынче — кому это нужно?!

1918

18 января 1918. Мокрая погода. Заседание в книгоиздательстве — по обыкновению, мерзкое впечатление. Шмелев, издавший за осень штук шесть своих книг, нагло гремел против издания сборников «Слово» и против авансов (значит, главное — против меня, так как я попросил, и мне постановили выдать в прошлом заседании тысячу рублей), когда «авторам за их книги не платят полностью». Уникум сверхъестественный <...>

Арбат по ночам страшен. Песни, извозчики нагло, с криком несутся домой, народ идет по середине улицы, тьма в переулках, Арбат полутемен. Народ выходил из кинематографа, когда я нынче возвращался, — какой страшный плебей! Поварская темна. Теперь, местами, когда темно, город очень хорош, заграничный какой-то <...>

6 февраля.

Ходили на Лубянку. Местами «митинги».

Рыжий, в пальто с каракулевым круглым воротником, с рыжими кудрявыми бровями, с свежесбрившимся лицом в пудре и с золотыми пломбами во рту, однообразно, точно читая, говорит о несправедливостях старого режима. Ему злобно возражает курносый господин с выпуклыми глазами. Женщины горячо и невольно вмешиваются, перебивают спор (принципиальный, по выражению рыжего) частностями, торопливыми рассказами из своей личной жизни, долженствующими доказать, что творится черт знает что. Несколько солдат, видимо, ничего не понимают, но, как всегда, в чем-то (вернее, во всем) сомневаются, подозрительно покачивают головами.

Подошел мужик, старик с бледными вздутыми щеками и седой бородой клином, которую он, подойдя, любопытно всунул в толпу, воткнул между рукавов двух каких-то все время молчавших, только слушавших господ: стал внимательно слушать и себе, но тоже, видимо, ничего не понимая, ничему и никому не веря. Подошел высокий синеглазый рабочий и еще два солдата с подсолнухами в кулаках. Солдаты оба коротконоги, жуют и

смотрят недоверчиво и мрачно. На лице рабочего играет злая и веселая улыбка, пренебрежение, стал возле толпы боком, делая вид, что он приостановился только на минуту, для забавы: мол, заранее знаю, что все говорят чепуху.

Дама поспешно жалуется, что она теперь без куска хлеба, имела раньше школу, а теперь всех учениц распустила, так как их нечем кормить:

— Кому же от большевиков стало лучше? Всем стало хуже, и первым делом нам же, народу!

Перебивая ее, наивно вмешалась какая-то намазанная сучка, стала говорить, что вот-вот немцы придут и всем придется расплачиваться за то, что натворили.

— Раньше, чем немцы придут, мы вас всех перережем, — холодно сказал рабочий и пошел прочь.

Солдаты подтвердили: «Вот это верно!» — и тоже отошли.

О том же говорили и в другой толпе, где спорили другой рабочий и прапорщик. Прапорщик старался говорить как можно мягче,

подбирая самые безобидные выражения, стараясь воздействовать логикой. Он почти заискивал, и все-таки рабочий кричал на него:

— Молчать побольше вашему брату надо, вот что! Нечего пропаганду по народу распускать!

К. говорит, что у них вчера опять был Р. Сидел четыре часа и все время бессмысленно читал чью-то валявшуюся на столе книжку о магнитных волнах, потом пил чай и съел весь хлеб, который им выдали. Он по натуре кроткий, тихий и уж совсем не нахальный, а теперь приходит и сидит без всякой совести, поедает весь хлеб с полным невниманием к хозяевам. Быстро падает человек!

7 февраля.

Еще по-зимнему блестящий снег, но небо синее ярко, по-весеннему, сквозь облачные сияющие пары.

На Страстной наклеивают афишу о бенефисе Яворской. Толстая розово-рыжая баба, злая и нахальная, сказала:

— Ишь, расклеивают! А кто будет стены мыть? А буржуи будут ходить по театрам! Им

запретить надо ходить по театрам. Мы вот не ходим. Все немцами пугают, — придут, придут, а вот чтой-то не приходят!

По Тверской идет дама в пенсне, в солдатской бараньей шапке, в рыжей плюшевой жакетке, в изорванной юбке и в совершенно ужасных калошах.

Много дам, курсисток и офицеров стоят на углах улиц, продают что-то.

В вагон трамвая вошел молодой офицер и, покраснев, сказал, что он «не может, к сожалению, заплатить за билет».

Перед вечером. На Красной площади слепит низкое солнце, зеркальный, наезженный снег. Морозит. Зашли в Кремль. В небе месяц и розовые облака. Тишина, огромные сугробы снега. Около артиллерийского склада скрипит валенками солдат в тулупе, с лицом, точно вырубленным из дерева. Какой ненужной кажется теперь эта стража!

Вышли из Кремля — бегут и с восторгом, с неестественными ударениями кричат мальчишки:

— Взятие Могилева германскими войсками!

8 февраля.

Андрей (слуга брата Юлия) все больше шалеет, даже страшно. Служит чуть не двадцать лет и всегда был неизменно прост, мил, разумен, вежлив, сердечен к нам. Теперь точно с ума спятил. Служит еще аккуратно, но, видно, уже через силу, не может глядеть на нас, уклоняется от разговоров с нами, весь внутренне дрожит от злобы, когда же не выдерживает молчанья, отрывисто несет какую-то загадочную чепуху.

Нынче утром, когда мы были у Юлия, Н. Н. говорил, как всегда, о том, что все пропало, что Россия летит в пропасть. У Андрея, ставившего на стол чайный прибор, вдруг запрыгали руки, лицо залилось огнем:

— Да, да, летит, летит! А кто виноват, кто? Буржуазия! И вот увидите, как ее будут резать, увидите! вспомните тогда вашего генерала Алексеева!

Юлий спросил:

— Да вы, Андрей, хоть раз объясните толком, почему вы больше всего ненавидите именно его?

Андрей, не глядя на нас, прошептал:

— Мне нечего объяснять... Вы сами должны понять...

— Но ведь неделю тому назад вы горой стояли за него. Что же случилось?

— Что случилось? А вот погодите, поймете...

9 февраля.

<...> Утром ездил в город.

На Страстной толпа.

Подошел, послушал. Дама с муфтой на руке, баба со вздернутым носом. Дама говорит поспешно, от волнения краснеет, путается.

— Это для меня вовсе не камень, — поспешно говорит дама, — этот монастырь для меня священный храм, а вы стараетесь доказать...

— Мне нечего стараться, — перебивает баба нагло, — для тебя он освящен, а для нас камень и камень! Знаем! Видали во Владимире! Взял маляр доску, намазал на ней, вот тебе и Бог. Ну, и молись ему сама.

— После этого я с вами говорить не желаю.

— И не говори!

Желтозубый старик с седой щетиной на щеках спорит с рабочим:

— У вас, конечно, ничего теперь не осталось, ни Бога, ни совести, — говорит старик.

— Да, не осталось.

— Вы вон пятого мирных людей расстреливали.

— Ишь ты! А как вы триста лет расстреливали?

На Тверской бледный старик генерал в серебряных очках и в черной папахе что-то продает, стоит робко, скромно, как нищий...

10 февраля.

«Мир, мир, а мира нет. Между народом Моим находятся нечестивые; сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. И народ Мой любит это. Слушай, земля: вот, Я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их».

Это из Иеремии, — все утро читал Библию. Изумительно. И особенно слова: «И народ Мой любит это... вот, Я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их».

Потом читал корректуру своей «Деревни»

для горь-ковского книгоиздательства «Парус». Вот связал меня черт с этим заведением! А «Деревня» вещь все-таки необыкновенная. Но доступна только знающим Россию. А кто ее знает?

Потом просматривал (тоже для «Паруса») свои стихи за 16 год.

*Хозяин умер, дом забит,
Цветет на стеклах купорос,
Сарай крапивою зарос,
Варок, давно пустой, раскрыт,
И по хлевам чадит навоз...
Жара, страда... Куда летит
Через усадьбу шалый пес?*

Это я писал летом 16 года, сидя в Васильевском, предчувствуя то, что в те дни предчувствовалось, вероятно, многими, жившими в деревне, в близости с народом.

Летом прошлого года это осуществилось полностью:

*Вот рожь горит, зерно течет,
А кто же будет жать, вязать?
Вот дым валит, набат гудет,
Да кто ж решится заливать?
Вот встанет бесноватых рать*

И как Мамай всю Русь пройдет...

До сих пор не понимаю, как решились мы просидеть все лето 17 года в деревне и как, почему уцелели наши головы!

«Еще не настало время разбираться в русской революции беспристрастно, объективно...» Это слышишь теперь поминутно. Беспристрастно! Но настоящей беспристрастности все равно никогда не будет. А главное: наша «пристрастность» будет ведь очень и очень дорога для будущего историка. Разве важна «страсть» только «революционного народа»? А мы-то что ж, не люди, что ли?

Вечером на «Среде». Читал Ауслендер — что-то крайне убогое, под Оскара Уайльда. Весь какой-то дохлый, с высохшими темными глазами, на которых золотой отблеск, как на засохших лиловых чернилах.

14 февраля.

Несет теплым снегом.

<...> Как всегда, страшное количество народа возле кинематографов, жадно рассматривают афиши. По вечерам кинематографы просто ломаются. И так всю зиму.

У Никитских ворот извозчик столкнулся с автомобилем, помял ему крыло. Извозчик, рыжебородый великан, совершенно растерялся:

— Простите, ради бога, в ноги поклонюсь! Шофер, рябой, землистый, строг, но милостив:

— Зачем в ноги? Ты такой же рабочий человек, как и я. Только в другой раз смотри не попадайся мне!

Чувствует себя начальником, и недаром. Новые господа.

15 февраля.

Опять несет мокрым снегом. Гимназистки идут облепленные им — красота и радость. Особенно была хороша одна — прелестные синие глаза из-за поднятой к лицу меховой муфты... Что ждет эту молодость?

К вечеру все по-весеннему горит от солнца. На западе облака в золоте. Лужи и еще не растаявший белый, мягкий снег.

16 февраля. Ночью.

Простясь с Чириковым, встретил на Повар-

ской мальчишку-солдата, оборванного, тощего, паскудного и вдребезги пьяного. Ткнул мне мордой в грудь и, отшатнувшись назад, плюнул на меня и сказал:

— Деспот, сукин сын!

Сейчас сижу и разбираю свои рукописи, заметки, — пора готовиться на юг, — и как раз нахожу кое-какие доказательства своего «деспотизма». <...>

Вот зима 16 года в Васильевском:

— Поздний вечер, сижу и читаю в кабинете, в старом спокойном кресле, в тепле и уюте, возле чудесной старой лампы. Входит Марья Петровна, подает измятый конверт из грязно-серой бумаги:

— Прибавить просит. Совсем бесстыжий стал народ.

Как всегда, на конверте ухарски написано лиловыми чернилами рукой измалковского телеграфиста: «Нарочному уплатить 70 копеек». И, как всегда, карандашом и очень грубо цифра семь исправлена на восемь, исправляет мальчишка этого самого «нарочного», то есть измалковской бабы Махоточки, которая возит нам телеграммы. Встаю и иду через

темную гостиную и темную залу в прихожую. В прихожей, распространяя крепкий запах овчинного полушубка, смешанный с запахом избы и мороза, стоит закутанная заиндеवेशей шалью, с кнутом в руке, небольшая баба.

— Махоточка, опять приписала за доставку? И еще прибавить просишь?

— Барин, — отвечает Махоточка деревянным с морозу голосом, — ты глянь, дорога-то какая. Ухаб на ухабе. Всю душу выбило. Опять же стыдь, мороз, коленки с пару зашлись. Ведь двадцать верст туда и назад...

С укоризной качаю головой, потом сую Махоточке рубль. Проходя назад по гостиной, смотрю в окна: ледяная месячная ночь так и сияет на снежном дворе. И тотчас же представляется необозримое светлое поле, блестящая ухабистая дорога, промерзлые розвальни, стучающие по ней, мелкая бегущая бокастая лошаденка, вся обросшая изморозью, с крупными, серыми от изморози ресницами... О чем думает Махоточка, сжавшись от холоду и огненного ветра, привалившись боком в угол передка?

В кабинете разрываю телеграмму: «Вместе

со всей Стрельной пьем славу и гордость русской литературы!» Вот из-за чего двадцать верст стучалась Махоточка по ухабам.

20 февраля.

Ездил на Николаевский вокзал.

Очень, даже слишком солнечно и легкий мороз. С горы за Мясницкими воротами — сияя даль, груды домов, золотые маковки церквей. Ах, Москва! На площади перед вокзалом тает, вся площадь блещет золотом, зеркалами. Тяжкий и сильный вид ломовых подвод с ящиками. Неужели всей этой силе, избытку конец? Множество мужиков, солдат в разных, в каких попало шинелях и с разным оружием — кто с саблей на боку, кто с винтовкой, кто с огромным револьвером у пояса <...> Теперь хозяева всего этого, наследники этого колоссального наследства — они <...>

В трамвае, конечно, давка.

Две старухи яростно бранят «правительство»:

— Дают, глаза их накройся, по осьмушке сухарей, небось год валялись, пожуешь — вонь, душа горит!

Рядом с ними мужик, тупо слушает, тупо глядит, странно, мертво, идиотски улыбается. На коричневое лицо нависли грязные лохмотья белой маньчжурки. Глаза белые.

А среди всех прочих, сидящих и стоящих, возвышаясь надо всеми на целую голову, стоит великан в великолепной серой шинели, туго перетянутой хорошим ремнем, в серой круглой военной шапке, как носил Александр Третий. Весь крупен, породист, блестящая коричневая борода лопатой, в руке в перчатке держит Евангелие. Совершенно чужой всем, последний могикан.

На обратном пути слепит идущая прямо на солнце улица. Вдруг все приподнимаются и смотрят: сцена древней Москвы, картина Сурикова: толпа мужиков и баб в полушубках, окружившая мужика в армяке цвета ржаного хлеба и в красной телячьей шапке, который поспешно распрягает лежащую и бьющуюся на мостовой лошадь; громадные набитые соломой розвальни, оглобли которых она безобразно вывернула, падая, взлезли на тротуар. Мужик орет всем нутром: «Ребят, подцоби!» Но никто не трогается (...)

22 марта.

Вчера вечером, когда за мокрыми деревьями уже заблестели огни, в первый раз увидел грачей.

Нынче сыро, пасмурно, хотя в облаках много свету.

Все читаю, все читаю, чуть не плача от какого-то злорадного наслаждения, газеты. Вообще этот последний год будет стоять мне, верно, не меньше десяти лет жизни!

Ночью в черно-синем небе пухлые белые облака, среди них редкие яркие звезды. Улицы темны. Очень велики в небе темные, сливающиеся в один дома; их освещенные окна мягки, розовы.

16/29 апреля. День серый, а то все время чудесная погода. Был в сберегательной кассе, лучше все выбрать, в дикарских странах банки и кассы — <нрзб>, прежде умней были — в землю зарывали. Чиновник, жалкая <нрзб>, в очках, весь день пьет чай за своим барьером. Уверен — очень доволен жизнью, главное — служебными часами.

Лакей лет двадцати пяти, грек или полу грек, можно — одессит, можно — пароходный лакей. Довольно высок, длинные ноги, пиджачная черная парочка, волосы черные — на косой ряд, завитком, коком, как у какого-нибудь лаборанта, надо лбом, пенсне, большой кадык, служит очень молчаливо, вечная сдержанность, вечное мысленное пожимание плечом — «что ж, делать нечего, будем лакеем!». Может стать преступником.

Одесса, весна, часов двенадцать ночи, чистая, пустая уже улица — приятно идти. Свежая зелень каштанов, в ней — фонари. Еврей, небольшой, кругленький, довольно приятный даже, идет, снял шляпу. Превосходное расположение духа. Был в гостях, там в гостиной на четвертом этаже, с отворенной на балкон дверью, пела молодая женщина с большой грудью. Гостиная тесная, противная, мерзкие картины в тяжелых багетах, атласные пуфы и т. д. <нрзб> В «Парус» (для альманаха) послал (уже недели две тому назад): «Золотыми цветут острями...», «Просыпаюсь в полумраке...», «Этот старый погост...», «Стали дымом...», «Таает, сияет...», «Что впереди» и

«Мы рядом шли...».

12 ч. ночи 17/30 апреля. Утром отвратительное ощущение — ходил в Лионский кредит, в сейф за чековой книжкой. Со зла взял из ящика все — черновики, письма, столовое серебро и т. д. — оставил только бумагу в 500 р. — кажется, военный заем. Скандал — у Глобы пропало кольцо бриллиантовое ценой тысяч в десять. Хам, который его, очевидно, украл <...> ужасно орал и все твердил одно: если бы оно тут было, так оно бы и было тут. <...> А это хамское, несказанно нелепое и подлое стаскивание Скобелева! Сволокли, повалили статую вниз лицом на грузовик... И как раз нынче известие о взятии турками Карса! <...>

1 мая, 12 ч. дня. <L...> День очень хороший, солнечный, хотя сильно прохладный. Выходил, был на Арбатской площади, на Никитской. Город довольно чист и очень довольно пуст. Оживления в толпе, на лицах нет. Был Цетлин (Мих. Осип. — 1-51-88), приглашал в эсеровскую газету (Бунаков, Вишняк и т. д.). Литературный отдел все тоже очень сплаци-

вающаяся за последнее время <...> компания — Гершензон, Шестов, Эренбург, В. Инбер и т. д. Дал согласие — что делать! Где же печататься, чем жить? Спрашиваю: «Отчего нет Бальмонта?» — «Да он, видите ли, настроен очень антисоциалистически».

2/19 мая, 11 ч. вечера. Воротился в десять от Юлия. Фонарей нет — зато вчера праздновали — горели до двенадцати, против всякого обыкновения. Темно на Арбате, на площади — на Поварской-то всегда с десяти темно. Противно бешенство хрюкающих автомобилей, на площади костерчик вдали, грохот телег ломовых — в темноте не тот, что при огне. Дома высоки.

День прохладный, но теплый, солнце, облака. В двенадцать был в книгоиздательстве — Клестов говорит, что они хотят отменить торговлю — всякую <...> Потом — к Фриче! Узнать о заграничных паспортах. Нет приема. Сказал, чтобы сказали мою фамилию — моментально принял. Сперва хотел держаться официально — смущение скрываемое. Я повел себя проще. Стал улыбаться, смелей говорить. Обещал всяческое содействие. Можно

и в Японию, «можно скоро будет, думаю, через Финляндию, тоже и в Германию...».

Два раза был в «Новой жизни» на Знаменке. «Это помещение занято редакцией „Новой жизни“ по постановлению такого-то комиссариата» — это на дверях. Однако, когда я был там в пять часов, их, оказывается, хотят «вышибать» латыши. Могут и стрелять <...> Надежда Алексеевна была в «Метрополе» у Рейснеров. Рейснеры будто бы все стараются держаться аристократами, старик будто бы барон и т. д.

Идя к Коганам, развернул «Вечернюю жизнь» — взята Феодосия! Севастополь «в критическом положении». Каково! Взят Каре, Батум, Ардаган, а по Поварской нынче автомобиль с турецким флагом! Что за адская чепуха! Что за народ мы, будь он трижды и миллион раз проклят!

Митя был на Красной площади. Народ, солдаты стреляют, разгоняют. Народ волнуется, толпится против башни, на которой вчера завесили кумачом икону <...>

4 мая/21 апреля. Великая суббота. Интел-

лигенты — даже из купцов — никогда не упустили случая похвастаться, что пострадал за студенческие беспорядки и т. п.

12 ч. 45 м. ночи. Вчера были с Колей против Никольских ворот. Народ смотрит на них с Никольской, кучка стоит на углу Музея. Мы стояли там <...> Меня называли «чиновником старого режима» за то, что я сказал студенту, что нечего ему, нерусскому, тут быть. Потом суматоха — солдаты погнали в шею какого-то купца. Студент кричал на меня: «Николаевщиной пахнет!» — науськивал на меня. Злоба, боль <...>

Сегодня опять 37 — я почти всю зиму болел в этой яме. Боже, Господи, какая зима! И совершенно некуда деться!

Немцы мордуют раду. «Самостийность», кажется, им уже не нужна больше. Чувство острого злорадства.

Вчера от Ушаковой зашел в церковь на Молчановке — «Никола на курьей ношке». Красота этого еще уцелевшего островка <...> красота мотивов, слов дивных, живого золота дрожащих огоньков свечных, траурных риз — всего того дивного, что все-таки созда-

ла человеческая душа и чем жива она — единственно этим! — так поразила, что я плакал — ужасно, горько и сладко!

Сейчас был с Верой там же. «Христос воскрес!» Никогда не встречал эту ночь с таким чувством! Прежде был холоден. <...>

У светлой заутрени Толстой с женой. В руках — *рублевые* свечи. Как у него все рассчитано! Нельзя дешевле. «Граф прихожанин»! Стоит точно в парике в своих прямых бурых волосах *à la* мужик.

Нынче шла крупа. Весь день дома.

Пасхальные номера газет — верх убожества.

Какой напев нынче «Волною морскою...». Нежная гордость, что Господь покарал «гонителя — мучителя», скромная радость, грусть...

5 мая/22 апреля 1918 г. Плохие писатели почти всегда кончают рассказ лирически, восклицанием и многоточием.

Как дик культ Пушкина у поэтов новых и новейших, у этих плебеев, дураков, бестактных, лживых — в каждой черте своей диаметрально противоположных Пушкину. И что

они могли сказать о нем, кроме «солнечный» и тому подобных пошлостей! А ведь сколько говорят!

Светлый день, а я все думаю о народе, о разбойниках мужиках, убийцах Духонина, Кокошкина, Стрельцовой. Нет, надо бы до гробовой доски не поднимать глаз на этих скотов!

Вместо Немецкой улицы — исторического, давнего названия — улица Баумана! О! И этого простить нельзя! Прошлую ночь заснул в пять часов утра.

7 мая/24 апреля. Вечером на первый день у Зои (сперва у Каменских) очень напился. Как только дошел — как отрубил — с этого момента ничего не помню. Очнулся в пять утра. Весь день очень страдал — сердце. *Нельзя, нельзя уже так пить.*

От Каменских шли мимо памятника Александру III. У него отбили нос. Кучка народа, споры — диаметрально противоположные мнения. Много озлобленных против большевиков <...>

Вчера у Чулковых. Кайранские, Щепки-

на-Куперник (очень, очень приятна, — что значит прежнее литературное поколение!). Все нездоровилось — все около 37 — погибаю в этом подвале у Муромцевых — а деться буквально некуда! Всю зиму всю голову сломал — куда бы уехать! Нынче с утра опять почти 37. К вечеру нынче чувствую себя лучше. Холод на дворе, у меня холод как в могиле.

Ездил искать «Речь» пасхальный номер — на трамвае солдат у солдата разрезал мешок, накрал, в колени зажал пирожков. «Отдай, сукин сын!» Кругом: «В морду, в морду-то его! В комиссариат!» Злоба, грубость всюду — несказанные!

Опять слухи: в Петербурге — бунт, в Киеве уже монархия.

Перечитал «Записную книжку» Чехова. Сколько чепухи, нелепых фамилий сколько записано — и вовсе не смешных и не типичных — и какие все сюжеты! Все выкапывал человеческие мерзости! Противная эта склонность у него несомненно была.

8 мая/25 апреля. День большого беспорывного волнения: переворот на Украине

(«Экстренный выпуск „Известий“»). Прочли этот выпуск с Колей у Юлия. <...>

Светлый холодный день.

У нас было много народу (наша «Среда»). Масса слухов: Мирбах требует выгнать латышей, Мирбах отзывается, на его место — фон Тирпиц (Мирбах слаб!) и т. д.

9 мая/26 апреля. Самый лучший, необходимый паспорт, и теперь еще выдаваемый газетами общественному деятелю: он верил... он верит... я верю в светлое будущее России, «революцию» и т. д.

Светлый холодный день. С утра все время — чтение газет. В пять на обед к Пашуканису (изд. «Мусагет»),

Художник Ульянов, Бальмонт, Белый, Зоя, Лид. Ив. Некрасова, Вера, я, муж Лидии Ивановны.

Сперва все время мой спор с Андреем Белым. Он вывертывается, по-моему, отрекаясь от большевиков, болтая мутно все одно, смысл чего: из этой грязи и крови родится нечто божественное — и т. д. При встречах он, впрочем, всегда симпатичен. Бальмонт

был разумен, прост.

10 мая (нов. стиля). Серый, очень холодный день. Был <нрзб>, просил участвовать в «Палестинском вечере», был Цетлин — просит рассказ в свою газету («Возрождение») <...>

Вчера «Среда». Читал Лидии («Олень»), стихи — Ходасевич; Копы лова <...> Эренбург опять стал задевать меня — пшютовским, развязным, задирчивым тоном. Шкляр — «страстную» речь по этому поводу. Я сказал: «Да, это надо бросить!» Начался скандал. Толстой злой на меня за <нрзб> на их стороне. «Эренбург — большой поэт». А как он три месяца тому назад, после чтения стихов Эренбургом, ругал Эренбурга <...>

Нынче говорил на углу с газетчиком и еще <с> кем-то из народа. Бесполезно! В голове тьма, путаница самых противоположных вещей, в сердце — только корысть, материальное. «У Николая четырнадцать миллиардов золотом, вот он и нанимает белогвардейцев».

Позавчера Телешов рассказывал, как на него замахнулся хлыстом (в банке) какой-то

«товарищ» — из начальства при банке — и крикнул: «Молчать!»

Клестов говорит, что б<ольшевики> решили <начать> ужаснейший террор против «кадетов».

14/1 мая. Утром в десять, когда я еще в постели, — Арсик — плачет — умерла Варвара Владимировна.

Весь день и в момент этого известия у меня никаких чувств по поводу этого известия. Как это дико! Ведь какую роль она сыграла в моей жизни! И давно ли это было — она, молоденькая, мы приехали с ней в Полтаву... Ехали — в Харькове на вокзале поцеловала у меня руку и... (на этом автограф обрывается. — А. Б.).

25 мая 1918 г. (старый стиль).

11 часов утра (по «новому времени»), Орша.

Вдоль полотна железной дороги дощатые шалаши, в них беженцы из России, возвращающиеся на родину, на Украину.

Мы третий день в пути. В Москве приеха-

ли на. Савеловский вокзал в 3 ч. дня, 23-го, провожал Юлий, простившийся с нами на подъезде. В поезд сели только в 7 ч. — раньше отправляли «пролетарских» детей на каникулы в Саратовскую губ. — затеи Луначарского. С Сав. вокзала мы тронулись только в час ночи, а с Александровского — в 3 ч. Спать пошли только в 4 — до того сидели с доктором этого санитарного поезда, пили тминную водку. В Вязьме были в 3 ч. 24 мая и стояли там до вечера. В Смоленск прибыли рано утром 25-го, откуда тронулись в 5 утра. В Орше стоим уже 3 часа, не зная, когда поедем дальше.

Лето, восемнадцатый год, Киев.

Жаркий летний день на Днепре. На песчаных полях против Подола черно от купающихся. Их всё перевозят туда бойкие катерки. Крупные белые облака, блеск воды, немолчный визг, смех, крик женщин — бросаются в воду, бьют ногами, заголяясь в разноцветных рубашках, намокших и вздувающихся пузырями. Искупавшиеся жгут на песке у воды костры, едят привезенную с собой в сальной бумаге колбасу, ветчину. А дальше, у одной из

этих мелей, тихо покачивается в воде, среди гнилой травы, раздувшийся труп в черном костюме. Туловище полулежит навзничь на бережку, нижняя часть тела, уходящая в воду, все качается — и все шевелится равномерно выплывающий и спадающий вялый белый бурак в расстегнутых штанах. И закусывающие женщины резко, с хохотом вскрикивают, глядя на него.

Одесса. 1919 г.

Очень жалею, что ничего не записывал, нужно было записывать чуть не каждый момент. Но был совершенно не в силах. Чего стоит одна умопомрачительная неожиданность того, что свалилось на нас 21 марта! В полдень 21-го Анюта (наша горничная) зовет меня к телефону. «А откуда звонят?» — «Кажется, из редакции» — то есть из редакции «Нашего слова», которое мы, прежние сотрудники «Русского слова», собравшиеся в Одессе, начали выпускать 19 марта в полной уверенности на более или менее мирное существование «до возврата в Москву». Беру трубку: «Кто говорит?» — «Валентин Катаев. Спешу сообщить невероятную новость: французы

уходят». — «Как, что такое, когда?» — «Сию минуту». — «Вы с ума сошли?» — «Клянусь вам, что нет. Паническое бегство!» — Выско-чил из дому, поймал извозчика и глазам своим не верю: бегут нагруженные ослы, французские и греческие солдаты в походном снаряжении, скачут одноколки со всяким воинским имуществом... А в редакции — телеграмма: «Министерство Клемансо пало, в Париже баррикады, революция...»

* * *

Как мы ввали друг другу, что наши «чудо-богатыри» — лучшие в мире патриоты, храбрейшие в бою, нежнейшие с побежденным врагом!

— Значит, ничего этого не было?

Нет, было. Но у кого? Есть два типа в народе. В одном преобладает Русь, в другом — Чудь, Меря. Но и в том и в другом есть страшная переменчивость настроений, обликов, «шаткость», как говорили в старину. Народ сам сказал про себя: «Из нас, как из дерева, — и дубина и икона», — в зависимости от обстоятельств, от того, кто это дерево обрабатывает: Сергей Радонежский или Емелька Пугачев.

Если бы я эту «икону», эту Русь не любил, не видал, из-за чего же бы я так сходил с ума все эти годы, из-за чего страдал так непрерывно, так люто? А ведь говорили, что я только ненавижу. И кто же? Те, которым, в сущности, было совершенно наплевать на народ, — если только он не был поводом для проявления их прекрасных чувств, — и которого они не только не знали и не желали знать, но даже просто не замечали лиц извозчиков, на которых ездили в какое-нибудь Вольно-Экономическое общество. Мне Скабичевский признался однажды:

— Я никогда в жизни не видал, как растет рожь. То есть, может, и видел, да не обратил внимания.

А мужика, как отдельного человека, он видел? Он знал только «народ», «человечество». Даже знаменитая «помощь голодающим» происходила у нас как-то литературно, только из жажды лишний раз лягнуть правительство, подвести под него лишний подкоп. Страшно сказать, но правда: не будь народных бедствий, тысячи интеллигентов были бы прямо несчастнейшие люди. Как же тогда

заседать, протестовать, о чем кричать и писать? А без этого и жизнь не в жизнь была.

То же и во время войны. Было, в сущности, все то же жесточайшее равнодушие к народу. «Солдатики» были объектом забавы. И как сюсюкали над ними в лазаретах, как ублажали их конфетами, булками и даже балетными танцами! И сами солдатики тоже комедничали, прикидывались страшно благодарными, кроткими, страдающими покорно: «Что ж, сестрица, все Божья воля!» — и во всем поддакивали и сестрицам, и барыням с конфетами, и репортерам, ввали, что они в восторге от танцев Гельцер (насмотревшись на которую однажды один солдатик на мой вопрос, что это такое, по его мнению, ответил: «Да черт... Чертом представляется, козлекает...»)

Страшно равнодушны были к народу во время войны, преступно ввали об его патристическом подъеме, даже тогда, когда уже и младенец не мог не видеть, что народу война осточертела. Откуда это равнодушие? Между прочим, и от ужасно присущей нам беспечности, легкомысленности, непривычки и нежелания быть серьезными в самые серьезные

моменты. Подумать только, до чего беспечно, спустя рукава, даже празднично отнеслась Россия к началу революции, к величайшему во всей ее истории событию, случившемуся во время величайшей в мире войны!

Да, уж чересчур правильно, с деревенской вольготностью, жили мы все (в том числе и мужики), жили как бы в богатейшей усадьбе, где даже и тот, кто был обделен, у кого были лапти разбиты, лежал, задеря эти лапти, с полной беспечностью, благо потребности были дикарски ограничены.

«Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». Да и делали мы тоже только кое-что, что придется, иногда очень горячо и очень талантливо, а все-таки по большей части как бог на душу положит — один Петербург подтягивал. Длительным будничным трудом мы брезговали, белоручки были, в сущности, страшные. А отсюда, между прочим, и идеализм наш, в сущности, очень барский, наша вечная оппозиционность, критика всего и всех: критиковать-то ведь гораздо легче, чем работать. И вот:

— Ах, я задыхаюсь среди этой николаевщи-

ны, не могу быть чиновником, сидеть рядом с Акакием Акакиевичем, — карету мне, карету!

Отсюда Герцены, Чацкие. Но отсюда же и Николка Серый из моей «Деревни», — сидит на лавке в темной, холодной избе и ждет, когда подпадет какая-то «настоящая» работа, — сидит, ждет и томится. Какая это старая русская болезнь, это томление, эта скука, эта разбалованность — вечная надежда, что придет какая-то лягушка с волшебным кольцом и все за тебя сделает: стоит только выйти на крыльечко и перекинуть с руки на руку колечко!

Это род нервной болезни, а вовсе не знаменитые «запросы», будто бы происходящие от наших «глубин».

«Я ничего не сделал, ибо всегда хотел сделать больше обыкновенного».

Это признание Герцена.

Вспоминаются и другие замечательные его строки:

«Нами человечество протрезвляется, мы его похмелье... Мы канонизировали революцию... Нашим разочарованием, нашим страданием мы избавляем от скорбей следующие поколения...»

Сейчас (8 часов вечера, а по «советскому» уже половина одиннадцатого) закрывал, возвратясь с прогулки, ставни: ломоть месяца, совсем золотой, чисто блестит сквозь молодую зелень дерева под окном на очистившемся западном небе, тонком и еще светлом.

Вышел в семь, поминутно дождь, похоже на осенний вечер. Прошел по Херсонской, потом завернул к Соборной площади. Еще светло, а уже все закрыто, все магазины, — тягостная, тревожащая душу пустота. Пока дошел до площади, дождь перестал, шел к собору под молодой зеленью уже зацветавших каштанов, по блестящему мокрому асфальту. Вспомнил мрачный вечер «первого мая». А в соборе венчали, пел женский хор. Вошел, и, как всегда за последнее время, эта церковная красота, этот остров «старого» мира в море грязи, подлости и низости «нового» тронули необыкновенно. Какое вечернее небо в окнах! В алтаре, в глубине, окна уже лилово синели — любимое мое. Милые девичьи личики у певших в хоре, на головах белые покрывала с золотым крестиком на лбу, в руках ноты и зо-

лотые огоньки маленьких восковых свечей — все было так прелестно, что, слушая и глядя, очень плакал. Шел домой, — чувство легкости, молодости. И наряду с этим — какая тоска, какая боль!

* * *

Когда вернулся, у нас во дворе, в квартире милиционера, играли на фортепьяно и танцевали. Встретил Марусю, — в сумерках, наряженная, с блестящими глазами, показалась очень хороша, — и на мгновение сердцем вспомнил то далекое, невозвратимое очарование, что испытывал когда-то в ранней молодости, вот в такой же апрельский вечер, в деревенском саду.

Маруся прошлым летом жила у нас на даче кухаркой и целый месяц скрывала в кухне и кормила моим хлебом большевика, своего любовника, и я знал это, знал. Вот какова моя кровожадность, и в этом все дело: быть такими же, как они, мы не можем. А раз не можем, конец нам!

Пишу при светильничке, — масло и поплавок в банке. Темь, копоть, порчу зрение.

22 апреля.

<...> И еще вспомнилось. Москва, конец марта позапрошлого года. Большой, толстый князь Трубецкой кричит, театрально сжимая свои маленькие кулачки:

— Помните, господа: гусский сапог безжалостно газдавит нежные гостки гусской свободы! Все на защиту ее!

Устами князя говорили тогда сотни тысяч уст. Нечего сказать, нашли для кого защищать «русскую свободу»!

Ночь на 24 апреля.

Последний раз я был в Петербурге в начале апреля 17 года. В мире тогда уже произошло нечто невообразимое: брошена была на полный произвол судьбы — и не когда-нибудь, а во время величайшей мировой войны — величайшая на земле страна. Еще на три тысячи верст тянулись на западе окопы, но они уже стали простыми ямами: дело было кончено, и кончено такой чепухой, которой еще не бывало, ибо власть над этими тремя тысячами верст, над вооруженной ордой, в которую превращалась многомиллионная ар-

мия, уже переходила в руки «комиссаров» из журналистов вроде Соболя, Иорданского. Но не менее страшно было и на всем прочем пространстве России, где вдруг оборвалась громадная, веками налаженная жизнь и воцарилось какое-то недоуменное существование, беспричинная праздность и противостественная свобода от всего, чем живо человеческое общество.

Я приехал в Петербург, вышел из вагона, пошел по вокзалу: здесь, в Петербурге, было как будто еще страшнее, чем в Москве, как будто еще больше народа, совершенно незнающего, что ему делать, и совершенно бессмысленно шатавшегося по всем вокзальным помещениям. Я вышел на крыльцо, чтобы взять извозчика: извозчик тоже не знал, что ему делать, — везти или не везти, — и не знал, какую назначить цену.

— В Европейскую, — сказал я.

Он подумал и ответил наугад:

— Двадцать целковых.

Цена была по тем временам еще совершенно нелепая. Но я согласился, сел и поехал — и не узнал Петербурга.

В Москве жизни уже не было, хотя и шла со стороны новых властителей сумасшедшая по своей бестолковости и горячке имитация какого-то будто бы нового строя, нового чина и даже парада жизни. То же, но еще в превосходной степени, было и в Петербурге. Непрерывно шли совещания, заседания, митинги, один за другим издавались воззвания, декреты, неистово работал знаменитый «прямой провод» — и кто только не кричал, не командовал тогда по этому проводу! — по Невскому то и дело проносились правительственные машины с красными флажками, грохотали переполненные грузовики, не в меру бойко и четко отбивали шаг какие-то отряды с красными знаменами и музыкой... Невский был затоплен серой толпой, солдатней в шинелях внакидку, неработающими рабочими, гулящей прислугой и всякими ярыгами, торговавшими с лотков и папиросами, и красными бантами, и похабными карточками, и сладостями, и всем, чего просишь. А на тротуарах был сор, шелуха подсолнухов, а на мостовой лежал навозный лед, были горбы и ухабы. И на полпути извозчик неожиданно сказал мне то,

что тогда говорили уже многие мужики с бородами:

— Теперь народ, как скотина без пастуха, все перегадит и самого себя погубит.

Я спросил:

— Так что же делать?

— Делать? — сказал он. — Делать теперь нечего. Теперь шабаш. Теперь правительства нету.

Я взглянул вокруг, на этот Петербург... «Правильно, шабаш». Но в глубине-то души я еще на что-то надеялся и в полное отсутствие правительства все-таки еще не совсем верил.

Не верить, однако, нельзя было.

Я в Петербурге почувствовал это особенно живо: в тысячелетнем и огромном доме нашем случилась великая смерть, и дом был теперь растворен, раскрыт настежь и полон несметной праздничной толпой, для которой уже не стало ничего святого и запретного ни в каком из его покоев. И среди этой толпы носились наследники покойника, шальные от забот, распоряжений, которых, однако, никто не слушал. Толпа шаталась из покоя в покой, из комнаты в комнату, ни на минуту не пере-

ставая грызть и жевать подсолнухи, пока еще только поглядывая, до поры до времени по-малкивая. А наследники носились и без умолку говорили, всячески к ней подлаживались, уверяли ее и самих себя, что это именно она, державная толпа, навсегда разбила «оковы» в своем «священном гневе», и всё старались внушить и себе и ей, что на самом-то деле они ничуть не наследники, а так только — временные распорядители, будто бы ею же самой на то уполномоченные.

<...> А затем я был еще на одном торжестве в честь все той же Финляндии, — на банкете в честь финнов, после открытия выставки. И, Бог мой, до чего ладно и многозначительно связалось все то, что я видел в Петербурге, с тем гомерическим безобразием, в которое вылился банкет! Собрались на него всё те же — весь «цвет русской интеллигенции», то есть знаменитые художники, артисты, писатели, общественные деятели, новые министры и один высокий иностранный представитель, именно посол Франции. Но над всеми возобладал — поэт Маяковский. Я сидел с Горьким и финским художником Галленом. И начал

Маяковский с того, что без всякого приглашения подошел к нам, вдвинул стул между нами и стал есть с наших тарелок и пить из наших бокалов. Галлен глядел на него во все глаза — так, как глядел бы он, вероятно, на лошадь, если бы ее, например, ввели в эту банкетную залу. Горький хохотал. Я отодвинулся. Маяковский это заметил.

— Вы меня очень ненавидите? — весело спросил он меня.

Я без всякого стеснения ответил, что нет: слишком было бы много чести ему. Он уже было раскрыл свой корытообразный рот, чтобы еще что-то спросить меня, но тут поднялся для официального тоста министр иностранных дел, и Маяковский кинулся к нему, к середине стола. А там он вскочил на стул и так похабно заорал что-то, что министр оцепенел. Через секунду, оправившись, он снова провозгласил: «Господа!» Но Маяковский заорал пуще прежнего. И министр, сделав еще одну и столь же бесплодную попытку, развел руками и сел. Но только что он сел, как встал французский посол. Очевидно, он был вполне уверен, что уже перед ним-то русский хули-

ган не может не стушеваться. Не тут-то было! Маяковский мгновенно заглушил его еще более зычным ревом. Но мало того: к безмерно-му изумлению посла, вдруг пришла в дикое и бессмысленное неистовство и вся зала: зараженные Маяковским, все ни с того ни с сего заорали и себе, стали бить сапогами в пол, кулаками по столу, стали хохотать, выть, визжать, хрюкать и — тушить электричество. И вдруг все покрыл истинно трагический вопль какого-то финского художника, похожего на бритого моржа. Уже хмельной и смертельно бледный, он, очевидно потрясенный до глубины души этим излишеством свинства и желая выразить свой протест против него, стал что есть силы и буквально со слезами кричать одно из немногих русских слов, ему известных:

— Много! Многоо! Многоо! Многоо!

* * *

Был на мельнице. Много мужиков, несколько баб. Громкий разговор под шум мельницы. Возле притолоки, прислонясь к ней и внимательно слушая Колю, наклонив ухо и глядя в землю, стоит высокий мужик с

опущенными плечами, с черно-курчавой бородой и нежным румянцем, уходящим в волосы. Коля рассказывает, что солдаты никого не признают и уходят с фронта. Мужик вдруг встrepенулся и, уставившись в него черными блестящими глазами, яростно заговорил:

— Вот, вот! Вот они, сукины дети! Кто их распустил? Кому они тут нужны? Их, сукиных детей, арестовать надо!

В это время, верхом на серой лошади, подъехал молодой солдат в хаки и стеганых штанах, напевая и насвистывая. Мужик кинулся на него:

— Вот он! Видишь, катается! Кто его пустил? Зачем его собирали, зачем его обряжали?

Солдат слез, привязал лошадь и на раскоряченных ногах, с притворно беззаботным видом, вошел в мельницу.

— Что ж мало навоевал? — закричал за ним мужик. — Ты что ж, казенную шапку, казенные портки надел дома сидеть? (Солдат с неловкой улыбкой обернулся.) Ты бы лучше совсем туда не ездил, сволочь ты этакая! Возьму вот сдeру с тебя портки и сапоги и головой

об стену! Рад, что начальства теперь у вас нету, подлец! Зачем тебя отец с матерью кормили?

Мужики подхватили, подняли общий негодующий крик. Солдат с неловкой усмешкой, стараясь быть презрительным, пожимал плечами.

* * *

Кончил воспоминания Булгакова. Толстой говорил ему:

— Курсистки, читающие Горького и Андреева, искренно верят, что не могут постигнуть их глубины... Прочел пролог к «Анатэме» — полная бессмыслица... Что у них у всех в головах, у всех этих Брюсовых, Белых?

Чехов тоже не понимал что. На людях говорил, что «чудесно», а дома хохотал: «Ах, такие-сякие! Их бы в арестантские роты отдать!» И про Андреева: «Прочитаю две страницы, — надо два часа гулять на свежем воздухе!»

Толстой говорил:

— Теперь успех в литературе достигается только глупостью и наглостью.

Он забыл помощь критиков.

Кто они, эти критики?

На врачебный консилиум зовут врачей, на юридическую консультацию — юристов, железнодорожный мост оценивают инженеры, дом — архитекторы, а вот искусство — всякий, кто хочет, люди, часто совершенно противоположные по натуре всякому искусству. И слушают только их. А отзыв Толстых в грош не ставится, — отзыв как раз тех, которые прежде всего обладают огромным критическим чутьем, ибо написание каждого слова в «Войне и мире» есть в то же самое время и строжайшее взвешивание, тончайшая оценка каждого слова.

* * *

Сейчас (одиннадцатый час, ночь) открыл окно, выглянул на улицу: луна низко, за домами, нигде ни души, и так тихо, что слышно, как где-то на мостовой грызет кость собака, — и откуда только могла она взять эту кость? Вот дожили, — даже кости дивишься!

Перечитываю «Обрыв». Длинно, но как умно, крепко. Все-таки делаю усилие, чтобы читать, — так противны теперь эти Марки Волоховы. Сколько хамов пошло от этого Марка!

«Что же это вы залезли в чужой сад и едите чужие яблоки?» — «А что это значит: чужой, чужие? И почему мне не есть, если хочется?» Марк истинно гениальное создание, и вот оно, изумительное дело художников: так чудесно схватывает, концентрирует и воплощает человек типическое, рассеянное в воздухе, что во сто крат усиливает его существование и влияние — и часто совершенно наперекор своей задаче. Хотел высмеять пережиток рыцарства — и сделал Дон-Кихота, и уже не от жизни, а от этого несуществующего Дон-Кихота начинают рождаться сотни живых Дон-Кихотов. Хотел казнить марковщину — и наплодил тысячи Марков, которые плодились уже не от жизни, а от книги. — Вообще, как отделить реальное от того, что дает книга, театр, кинематограф? Очень многие живые участвовали в моей жизни и воздействовали на меня, вероятно, гораздо менее, чем герои Шекспира, Толстого. А в жизнь других входит Шерлок, в жизнь горничной — та, которую она видела в автомобиле на экране.

* * *

<...> Вышел с Катаевым, чтобы пройтись, и

вдруг на минуту всем существом почувствовал очарование весны, чего в нынешнем году (в первый раз в жизни) не чувствовал совсем. Почувствовал, кроме того, какое-то внезапное расширение зрения, — и телесного и духовного, — необыкновенную силу и ясность его. Необыкновенно коротка показалась Дерibasовская, необыкновенно близки самые дальние здания, замыкающие ее, а потом Екатерининская, закутанный тряпками памятник, дом Левашова, где теперь чрезвычайка, и море — маленькое, плоское, все как на ладони. И с какой-то живостью, ясностью, с какой-то отрешенностью, в которой уже не было ни скорби, ни ужаса, а было только какое-то веселое отчаяние, вдруг осознал уж как будто совсем до конца все, что творится в Одессе и во всей России.

4 мая.

Погода улучшается. Двор под синим небом, с праздничной весенней зеленью деревьев, с ярко белеющей за ней стеной дома, испещренной пятнами тени. Въехал во двор красноармеец, привязал к дереву своего жеребца,

черного, с волнистым хвостом до земли, с полосами блеска на крупе, на плечах, — стало еще лучше. Евгений играет в столовой на пианино. Боже мой, как больно!

Были у В. А. Розенберга. Служит в кооперативе, живет в одной комнате вместе с женой; пили жидкий чай с мелким сорным изюмом, при жалкой лампочке... Вот тебе и редактор, хозяин «Русских ведомостей»! Со страстью говорил «об ужасах царской цензуры».

9 мая.

Ночью тревожные сны с какими-то поездами и морями и очень красивыми пейзажами, оставляющими, однако, впечатление болезненное и печальное, — и напряженное ожидание чего-то. Потом огромная говорящая лошадь. Она говорила что-то похожее на мои стихи о Святогоре и Илье на каком-то древнем языке, и все это стало так страшно, что я проснулся и долго мысленно твердил эти стихи:

*На гривастых конях на косматых,
На золотых стремях, на разла-*

тых,
Едут братья, меньшей и стар-
шой,
Едут сутки, и двое, и трое,
Видят в поле корыто простое,
Наезжают — ан гроб, да большой:
Гроб глубокий, из дуба долблен-
ный,
С черной крышей, тяжелой, том-
ленной,
Вот и сдвинул ее Святогор,
Лег, накрылся и шутит: «А впору!
Помоги-ка, Илья, Святогору
Снова выйти на Божий простор!»
Обнял крышу Илья, усмехнулся,
Во всю грузную печень надулся,
Двинул срыву... Да нет, погоди!
«Ты мечом!» — слышен голос из
гроба, —
Он за меч, — загорается злоба,
Занимается сердце в груди, —
Нет, и меч не берет! С виду ру-
бит,
Да не делает дела, а губит:
Где ударит — там обруч готов,
Нарастает железная скрепа:
Не подняться из гробного склепа
Святогору во веки веков!

Это писано мной в 16 году.

* * *

Распад, разрушение слова, его сокровенного смысла, звука и веса идет в литературе уже давно.

— Вы домой? — говорю как-то писателю Осиповичу, прощаясь с ним на улице.

Он отвечает:

— Отнюдь!

Как я ему растолкую, что так по-русски не говорят? Не понимает, не чует:

— А как же надо сказать? По-вашему, отнюдь нет? Но какая разница?

Разницы он не понимает. Ему, конечно, простительно, он одессит. Простительно еще и потому, что в конце концов он скромно сознается в этом и обещает запомнить, что надо говорить «отнюдь нет». А какое невероятное количество теперь в литературе самоуверенных наглецов, мнящих себя страшными знаками слова! Сколько поклонников старинного («ядренного и сочного») народного языка, словечка в простоте не говорящих, изнуряющих своей архирусскостью.

Последнее (после всех интернациональ-

ных «исканий», то есть каких-то младотурецких подражаний всем западным образцам) начинает входить в большую моду. Сколько стихотворцев и прозаиков делают тошнотворным русский язык, беря драгоценные народные сказания, сказки, «слова золотые» и бесстыдно выдавая их за свои, оскверняя их пересказом на свой лад и своими прибавками, роясь в областных словарях и составляя по ним какую-то похабнейшую в своем архируссизме смесь, на которой никто и никогда на Руси не говорил и которую даже читать невозможно! Как носились в московских и петербургских салонах с разными Клюевыми и Есениными, даже и одевавшимися под странников и добрых молодцев, распевавших в нос о «свечечках» и «речечках» или прикидывавшихся «разудалыми головушками»!

Язык ломается, болеет и в народе. Спрашиваю однажды мужика, чем он кормит свою собаку. Отвечает:

— Как чем? Да ничем, ест что попало: она у меня собака съедобная.

Все это всегда бывало, и народный организм все это преодолел бы в другое время. А

вот преодолее ли теперь?

* * *

Лето 17 года. Сумерки, на улице возле избы кучка мужиков. Речь идет о «бабушке русской революции». Хозяин избы размеренно рассказывает: «Я про эту бабку давно слышу. Прозорливица, это правильно. За пятьдесят лет, говорят, все эти дела предсказала. Ну, только избавь бог, до чего страшна: толстая, сердитая, глазки маленькие, пронзительные, — я ее портрет в фельетоне видел. Сорок два года в остроге на чеши держали, а умерить не могли, ни днем, ни ночью не отходили, а не устерегли: в остроге и то ухитрилась миллион нажать! Теперь народ под свою власть скупаает, землю сулит, на войну обещает не брать. А мне какая корысть под нее идти? Земля эта мне без надобности, я ее лучше в аренду сниму, потому что навозить мне ее все равно нечем, а в солдаты меня и так не возьмут, года вышли...»

Кто-то, белеющий в сумраке рубашкой, «краса и гордость русской революции», как оказывается потом, дерзко вмешивается:

— У нас такого провокатора в пять минут

арестовали бы и расстреляли!

Мужик возражает спокойно и твердо:

— А ты хоть и матрос, а дурак. Я тебе в отцы гожусь, ты возле моей избы без порток бегай. Какой же ты комиссар, когда от тебя девкам проходу нету, среди белого дня под подол лезешь? погоди, погоди, брат, — вот протрешь казенные портки, пропьешь наворованные деньжонки, опять в пастухи запросясь! Опять, брат, будешь мою свинью арестовывать. Это тебе не над господами измываться. Я-то тебя с твоим Жучковым не боюсь!

(Жучков — это Гучков.)

Сергей Климов, ни к селу ни к городу, прибавляет:

— Да его, Петроград-то, и так давно надо отдать. Там только одно разнообразие...

Девки визжат на выгоне:

*Люби белых, кудреватых,
При серебряных часах...*

Из-под горы идет толпа ребят с гармониями и балалайкой:

*Мы ребята ежики,
В голенищах ножики,*

*Любим выпить, закусить,
В пьяном виде пофорсить...*

В голове у меня туман от прочитанных за день газет, от речей, призывов и восклицаний всех этих смехотворных и жутких Керенских. И думаю: «Нет, большевики-то поумнее будут! Они недаром все наглеют и наглеют. Они знают свою публику»...

* * *

На деревне возле избы сидит солдат-дезертир, курит и напевает:

— Ночь темна, как две минуты...

Что за чушь? Что это значит — как две минуты?

— А как же? Я верно пою: как две минуты. Здесь делается ударение.

Сосед говорит:

— Ох, брат, вот придет немец, сделает он нам ударение!

— А мне один черт — под немца так под немца!

* * *

В саду возле шалаша целое собрание. Карательщик, мужик бывалый и изысканно красноречивый, передает слух, будто где-то возле

Волги упала из облаков кобыла в двадцать верст длиною. Обращаясь ко мне:

— Вириятно, эрунда, барин?

Его приятель с упоением рассказывает свое «революционное» прошлое. Он в 1906 году сидел в остроге за кражу со взломом — и это его лучшее воспоминание, он об этом рассказывает постоянно, потому что в остроге было:

— Веселей всякой свадьбы и харчи отличные! Он рассказывает:

— В тюрьме облаковенно на верхнем этаже сидят политики, а во втором — помощники этим политикам. Они никого не боятся, эти политики, обкладывают матюком самого губернатора, а вечером песни поют, мы жертвою пали...

Одного из таких политиков царь приказал повесить и выписал из Синода самого грозного палача, но потом ему пришло помилование, и к политикам приехал главный губернатор, третья лицо при царском дворце, только что сдавший экзамен на губернатора. Приехал — и давай гулять с политиками: налопался, послал урядника за граммофоном — и

пошел у них ход: губернатор так напился, нажрался — нога за ногу не вяжет, так и снесли стражники в возок... Обещшал прислать всем по двадцать копеек денег, по полфунта табаку турецкого, по два фунта ситного хлеба, да, конечно, сбрежал...

16 мая.

Прочитал биографию поэта Полежаева и очень взволновался — и больно, и грустно, и сладко (не по поводу Полежаева, конечно). Да, я последний, чувствующий это прошлое, время наших отцов и дедов...

Прошел дождик. Высоко в небе облако, проглядывает солнце, птицы сладко щебечут во дворе на ярких желто-зеленых акациях. Обрывки мыслей, воспоминаний о том, что, верно, уже вовеки не вернется... Вспомнил лесок Поганое, — глушь, березняк, трава и цветы по пояс, — и как бежал однажды над ним вот такой же дождик, и я дышал этой березовой и полевой, хлебной сладостью и всей, всей прелестью России...

«Попов искал в университетском архиве дело о Полежаеве...» Какое было дело како-

му-то Попову до Полежаева? Все из жажды очернить Николая I.

Усмирение мюридов, Казн Муллы. Дед Казн был беглый русский солдат. Сам Казн был среднего роста, по лицу рябинки, борода редкая, глаза светлые, пронзительные. Умертвил своего отца, влив ему в горло кипящего масла.

Торговал водкой, потом объявил себя пророком, поднял священную войну... Сколько бунтарей, вождей вот именно из таких!

* * *

Гржебин во время войны затеял патристический журнальчик «Отечество». Призвал нас на собеседование. Был между прочим Ф. Ф. Кокошкин. После собеседования мы ехали с ним на одном извозчике. Заговорили о народе. Я не сказал ничего ужасного, сказал только, что народу уже надоела война и что все газетные крики о том, что он рвется в бой, преступные враки. И вдруг он оборвал меня со своей обычной корректностью, но на этот раз с необычайной для него резкостью:

— Оставим этот разговор. Мне ваши взгляды на народ всегда казались — ну, извините,

слишком исключительными, что ли...

Я посмотрел на него с удивлением и почти ужасом. Нет, подумал я, даром наше благородство нам не пройдет!

Благородство это полагалось по штату, и его наигрывали себе, за него срывали рукоплескания, им торговали.

* * *

Весна семнадцатого года. Ресторан «Прага», музыка,людно, носятся половые. Вино за-прещено, но почти все пьяны. Музыка сладко режет внутри. Знаменитый либеральный адвокат в военной форме. Огромный, толстый в груди и в плечах, стрижен ежиком. Так пьян, что кричит на весь ресторан, требует, чтобы играли «Ойру».

Его собутыльник, земгусар, еще пьянее, обнимает и жадно целует его, бешено впивается ему в губы.

Музыка играет заунывно, развратно-томно, потом лихо:

— *Эх, распошел,
Ты, мой серый конь, пошел!*

И адвокат, подняв толстые плечи и локти,

прыгает, подскакивает в такт на диване.

* * *

Сентябрь семнадцатого года, мрачный вечер, темные с желтоватыми щелями тучи на западе. Остатки листьев на деревьях у церковной ограды как-то странно рдеют, хотя под ногами уже сумрак. Вхожу в церковную караулку.

В ней совсем почти темно. Караульщик, он же и сапожник, небольшой, курносый, с окладистой рыжей бородой, человек медоточивый, сидит на лавке в рубахе навывпуск и в жилетке, из карманчика которой торчит пузырек с нюхательным табаком. Увидав меня, встает и низко кланяется, встряхивает волосами, которые упали на лоб, потом протягивает мне руку.

— Как поживаешь, Алексей?

Вздыхает:

— Скушно.

— Что такое?

— Да так. Нехорошо. Ах, милый барин, нехорошо! Скушно!

— Да почему же?

— Да так. Был вчера я в городе. Прежде, бы-

вало, едешь на свободе, а теперь хлеб с собой берешь, в городе голод пошел. Голод, голод! Товару не дали. Товару нету. Нипочем нету. Приказчик говорит: «Хлеба дадите, тогда и товару дадим». А я ему так: «Нет, уж вы ешьте кожу, а мы свой хлеб будем есть». Только сказать — до чего дошло! Подметки 14 рублей! Нет, покуда буржуазию не перережут, будет весь люд голодный, холодный. Ах, милый барин, по истинной совести вам скажу, будут буржуазию резать, ах будут!

Когда я выхожу из караулки, караульщик тоже выходит и зажигает фонарь возле церковных ворот. Из-под горы идет мужик, порывисто падая вперед, — очень пьяный, — и на всю деревню кричит, ругает самыми отборными ругательствами диакона. Увидав меня, с размаху откидывается назад и останавливается:

— А вы его не можете ругать! Вам за это, за духовное лицо, язык на пяло надо вытянуть!

— Но позволь: я, во-первых, молчу, а во-вторых, почему тебе можно, а мне нельзя?

— А кто ж вас хоронить будет, когда вы померете? Не диакон разве?

— А тебя?

Уронив голову и подумав, мрачно:

— Он мне, собака, керосину в лавке кооперативной не дал. Ты, говорит, свою долю уже взял. А если я еще хочу? «Нет, говорит, такого закону». Хорош, ай нет? Его за это арестовать, собаку, надо! Теперь никакого закону нету. — Погоди, погоди, — обращается он к караульщику, — и тебе попадет! Я тебе припомню эти подметки. Как петуха зарежу — дай срок!

Ночью.

Вспомнилось: пришла весть с австрийского фронта, что убили Володьку. Старуха в полушубке (мать) второй день лежит ничком на нарах, даже не плачет. Отец притворяется веселым, все ходит возле нее, без умолку и застенчиво говорит:

— Ну, и чудна ты, старуха! Ну, и чудна! А ты что ж думала, они смотреть будут на наших? Ведь он, неприятель-то, тоже обороняется! Без этого нельзя! Ты бы сообразила своей глупой головой: разве можно без этого?

Жена Володьки, молодая бабенка, выскакивает в сенцы, падает там головой на что по-

пало и кричит на разные лады, по-собачьи воет. Он и к ней:

— Ну вот, ну вот! И эта тоже! Значит, ему не надо было обороняться? Значит, надо было Володьке в ножки кланяться?

И Яков: когда получил письмо, что его сына убили, сказал, засмеявшись и как-то странно жмурясь:

— Ничего, ничего, Царство Небесная! Не тужу, не жалею! Это Богу свеча, Алексеич! Богу свеча, Богу ладан!

Но истинно Бог и дьявол поминутно смеются на Руси. Когда мы сидели в саду у шалаша, освещенного через сад теплым низким месяцем, и слушали, как из деревни доносится крик, вой жены Володьки, мещанин сказал:

— Ишь, стерва, раздолевается! Она не мужа жалеет, она его штуки жалеет...

Я едва удержался, чтобы не дать ему со всего размаху палкой по башке. Но в шалаше, радуясь месяцу, нежно и звонко закричал петух, и мещанин сказал:

— Ах, Господи, до чего хорошо, сладко! Зато и держу, ста целковых за него не возьму!

Он меня всю ночь веселит, умиляет...

<...>

Октябрь.

Пошли плакаты, митинги, призывы.

— Граждане! Товарищи! Осуществляйте свой великий долг перед Учредительным собранием, заветной мечтой вашей, державным хозяином земли русской! Все голосуйте за список № 3!

Мужики, слышавшие эти призывы в городе, говорили дома:

— Ну и пес! Долги, кричит, за вами есть великие! Голосить, говорит, все будете, все, значит, ваше имущество опишут перед Учредительным собранием! А кому мы должны? Ему, что ли, глаза его накройся? Нет, это новое начальство совсем никуда! В товарищи заманивает, горы золотые обещает, а сам орет, грозит, крест норовит с шеи сорвать.

Ну, да постой, дай срок: кабы не пришлось голосить-то тебе самому в три голоса!

Сидим толкуем по этому поводу с бывшим старостой, не богатым, середняком, но справедливым хозяином. Он говорит:

— Да, известно, орут, долгами, недоимками пугают. Все это... как его? Теперь царя нету. Теперь вот будем учредительную думу собирать, будем, говорят, кандидата выбирать. Мы, есть слух, будем кандрак составлять, мы будем осуждать, а он будет подписываться. Когда где дороги провесть, когда войну открыть, он будто у нас должен теперь успроситься. А разве мы знаем, где какая дорога нужна? Я вот богатый человек, а я отроду за Ельцом никогда не был. Мы вон свою дорогу под горой двадцать лет дерьмом завалить не можем, как сойдемся — драка на три дня, потом три ведра водки слопаем и разойдемся, а буерак так и останется. Опять же и войну открыть против какого другого царя я не могу, я не знаю: а может, он хороший человек? А без нас, говорят, нельзя. Только за што ж это кинжал в бок вставлять? Это бог с ним, и с жалованьем, в этой думе!

— Да то-то и дело, — говорю я, — что жалованье-то хорошее.

— Ну? Хорошее?

— Конечно, хорошее. Самый раз тебе туда. Думает. Потом, вздохнув:

— Меня туда не допустят, я большевик: у меня три десятины земли купленные, две лошади хорошие...

— Ну, вот, кому же, как не тебе, и быть там? Ты хозяин.

— Конечно. Я хозяин настоящий.

Подумав и оживляясь все более:

— Да! Это было бы дело! Я бы там свой голос за людей хорошего звания подавал. Я бы там поддержал благородных лиц. Я бы там и ваше потомство вспомнил. Я бы не дал у своих господ землю отбирать. А то он, депутат-то этот, себе нажить ничего не мог, а у людей черт его несет отымать самохватом. Вон у нас выбрали на селе, в волость, а какой он депутат? Ругается матерком, ничего у него нету, глаза пьяные, так и дышит огнем вонючим. Что он там может сказать? Орет, а у самого и именья-то одна курица! Ему дай хоть сто десятин, опять через два дни «моряком» будет. Разве его можно со мной сменить? Копал, копал в бумагах, а ничего не нашел, стерва поганая, и читать ничего не может, не умеет, — какие такие мы читатели? Всякая овца лучше накричит, чем я прочитаю...

Беседует со мной об Учредительном собрании и Пантюшка, самый страстный во всей нашей деревне революционер. Этот — ярый защитник Учредительного собрания. Но и он говорит очень странные вещи. Он говорит мне:

— Я, товарищ, сам социал-демократ, три года в Ростове-на-Дону всеми газетами и журналами торговал, одного «Сатирикону» небось тысячу номеров через мои руки прошло, а все-таки прямо скажу: какой он, черт, министр, хоть Гвоздев-то этот самый? Я сер, а он-то много белее меня? Воротится, не хуже меня, в деревню — и опять мы с ним из одного сукна с онучей. Я вот лезу к вам нахрапом: «товарищ, товарищ», а, по совести сказать, меня за это по шее надо. Вы вон в календарь зачислены, писатель знаменитый, с вами первый князь за стол может сесть, по вашему дворянству... Я и то мужикам говорю: ой, ребята, не промахнитесь! Уж кого, говорю, выбирать в это Учредительное собрание, так уж, понятно, товарища Бунина. У него там и знакомые хорошие найдутся, и пролезть он там может куда угодно...

...Серый ненастный день, конец октября. Пробираюсь по грязной деревенской улице, вхожу в сенцы, в избу. Старуха лежит на печи, солдатка, ее невестка, спит на нарах. Старик на конике плетет лапоть. Сумрак, вонь, на полу под ногами чавкает мокрая и гниющая солома. Такие будни, такая глушь и тишина, точно я в шестнадцатом столетии, а не в бурную эпоху «великой российской революции», перед выборами в «великое Учредительное собрание». Сев на лавку, закурив, говорю, шутя:

— Что ж, старуха, к выборам-то готовишься? Ведь предвыборная кампания, собственно, уже началась.

Отвечает довольно злобно:

— К каким это выборам? Какая я тебе кампания?

— Да ведь я тебе уж десять раз рассказывал. Вот к таким-то и таким-то.

Помолчав, старуха отвечает твердо, непреклонно, с той свободой грубости, которая позволительна в силу нашей старой дружбы, и приблизительно в таких выражениях:

— Понимаю, что шутишь. Только чтоб тебе

подеялось за эти шутки. Никакая баба, кроме любопытных дур девок, которым лишь бы придирка была нарядиться для сборища, да кроме самых непутящих баб, не пойдет на этот срам. Громом их сожги, эти выборы. Спихнули такие-то, как ты, забубённые господа да беглые солдаты царя, — вот увидишь, что теперь будет! И теперь хорошо, а то ли еще будет! То ли еще будет! Увидишь!

— А ты, старик?

Но и старик отвечает очень твердо:

— Меня, батюшка, на аркане туда не при-тащишь, там мне старую голову проломают, если я не туда, куда хочется им, этот квиток пожелаю просунуть. Пропала, батюшка, Россия, помяни мое слово, пропала. Мы не можем.

— Что не можем?

— Не можем себе волю давать. Взять хоть меня такого-то. Ты не смотри, что я такой смирный. Я хорош, добёр, когда мне воли не дано. А то я первым разбойником, первым разорителем, первым вором окажусь. Недаром пословица говорится: «Своя воля хуже неволи». Нет, батюшка, умру, а не пойду. Главная вещь — голову проломают ребята.

Солдатка проснулась, раскрыла ясные глаза, сыта сном, чуть улыбается, тянется, чувствуя, что я смотрю на нее.

— А ты пойдешь?

— Вона! Обязательно! Я Кабелька не боюсь...

Какого Кабелька, что за Кабелек? А это бушевал на нашей деревне все лето и всю осень семнадцатого года один из этих беглых солдат, о которых говорила старуха. Целый день пьян и целый день бегаёт по деревне. Увидит меня — и ко мне: «Табаку!» — «Да ведь у тебя есть». — «Турецкого давай, турецкий слаже!» Увидал, что в церковной ограде народ собрался возле двух приехавших из города девиц, производящих, во исполнение приказания какого-то нового министра из нашего брата «забубённых господ», какую-то перепись, — сейчас туда: подбежал, стол ногой к черту, вверх тормашками, на девиц с кулаками, на мужиков — тоже, орет неистовым голосом: «Долой, так-то и так вас! Расходись! Не дозволю! Подо что подписываетесь? Под крепостное право подписываетесь? Перебью всех — скройся все с глаз моих!» И так все лето, всю

осень. Все разгоняет. Разогнал даже выборы от мирян и духовенства на церковный собор: «Долой, расходишь! Вот мой брат с фронта придет — он вам всю эту новую службу по церквам сам установит!»

Пять раз за лето сельский сход собирали, хотели «окоротить немножко» — и пять раз напрасно: боятся «окоротить» — сожжет всю деревню...

1920

Париж, 19 авг. 1920 г.

Прочел отрывок из дневника покойного Андреева. «Покойного»! Как этому поверить! Вижу его со страшной ясностью, — живого, сильного, дерзко уверенного в себе, все что-то про себя думающего, стискивающего зубы, с гривой синеватых волос, смуглого, с блеском умных, сметливых глаз, и строгих, и вместе с тем играющих тайным весельем; как легко и приятно было говорить с ним, когда он переставал мудрствовать, когда мы говорили о чем-нибудь простом, жизненном, как чувствовалось тогда, какая это талантливая натура, насколько он от природы умней своих произведений и что не по тому пути пошел

он, сбитый с толку Горьким и всей этой лживой и напыщенной атмосферой, что дошла до России из Европы и что так импонировала ему, в некоторых отношениях так и не выросшему из орловского провинциализма и студенчества, из того толстовского гимназиста, который так гениально определен был Толстым в одной черте: «Махин был гимназист с усами...»

2/15 апр.

<...> «Полудикие народы... их поминутные возмущения, непривычка к законам и гражд. жизни, легкомыслие и жестокость...» («Капит. дочка»). <...>

«Молодой человек! Если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких нравственных потрясений...»

«Те, которые замышляют у нас переворот, или молоды, или не знают нашего народа, или уже люди жестокосердые, которым и своя шейка — копейка и чужая головушка — полушка...» («Кап. дочка»). <...>

4/17 апреля.

Читаю Соловьева — т. VI. <...> Бесперывная крамола, притязание на власть бояр и еще не оконченных удельных князей, обманное «целование креста», бегство в Литву, в Крым, чтобы поднять врагов на Москву, ненасытное честолюбие, притворное раскаяние («бьют тебе челом, холоп твой») и опять обман, взаимные укоры (хотя слова все-таки были не нынешние; «хочешь оставить благословение отца своего, гробы родительские, святое отечество...»), походы друг на друга, непрерывное сожжение городов, разорение их, «опустошение дотла» — вечные слова русской истории! — и пожары, пожары... <...>

6/19 апреля.

Уехали на дачу в Севр Куприны. Мне очень грустно, — опять кончился один из периодов нашей жизни — и очень больно — не вышла наша близость. <...> Была Гиппиус. О Савинкове: читал доклад о своей деятельности у Чайковского, — грубое хвастовство — «я организовал 88 пунктов восстаний, в известный мо-

мент они все разом ударят». Парижской интеллигенции грозил: «Мы вам покажем, болтунам!» С языка не сходит «мужик» — «все через него и для него», «народ не хочет генералов». Я сказал Гиппиус: что же этот народ за ним не пошел, — ведь он не генерал? Что значит «организовал»? Ведь тут легко что угодно врать! А насчет «мужика» совсем другое говорил он мне прошлым летом! — «Пора Михрютку в ежовые рукавицы взять!»

8/21 апр.

<...> Герцен все повторял, что Россия еще не жила и потому у нее все в будущем и от нее свет миру. Отсюда и все эти Блоки!

6 мая (пятница) 21 года.

Был на похоронах Кедрина. Видел его в последний раз в прошлую субботу, еще думал о нем: «Да, это все люди уже прошлого времени, — заседания, речи, протесты...» Он принес нам — это было заседание Парламентского Комитета — свой проект протеста на последнее французское офиц. сообщение о Врангеле. Опять протестовать? — говорили мы с Кузь-

миным-Караваевым. Да и все полагали, что это просто бесполезно. Однако он настаивал. Всем хотелось разойтись — из неловкости стали слушать. Волновался, извинялся — «это набросок» — путался, я слушал нетерпеливо и с неловкостью за него. Мог ли думать, что через неск<олько> дней он будет в церкви?

Нынче прелестный день, теплый — весна, волнующая, умиляющая радостью и печалью. И эти пасхальные напевы при погребении. Все вспоминалась молодость. Все как будто хоронил я — всю прежнюю жизнь, Россию...

8/21. VI. 21. Париж.

Прохладно, серо, накрапывает. Воротились из церкви — отпевали дочь Чайковского. Его, седого, семидесятилетнего, в старой визиточке, часто плакавшего и молившегося на коленях, так было жалко, что я несколько раз плакал.

Страшна жизнь!

Сон, дикий сон! Давно ли все это было — сила, богатство, полнота жизни — и все это было наше, наш дом, Россия!

Полтава, городской сад. Екатеринослав, Се-

вастополь, залив, Графская пристань, блестящие морские офицеры и матросы, длинная шлюпка в десять гребцов... Сибирь, Москва, меха, драгоценности, сибирский экспресс, монастыри, соборы, Астрахань, Баку <нрзб> ... И всему конец! И все это было ведь и *моя* жизнь! И вот ничего, и даже последних родных никогда не увидишь! А, собственно, я и не заметил как следует, как погибла моя жизнь... Впрочем, в этом-то и милость Божия...

27/14 июня.

Вчера были у «короля жемчугов» Розенталя. <...> Рыжий еврей. Живет <...> в чудеснейшем собственном отеле (какие гобелены, есть даже церковные вещи из какого-то древнего монастыря). Чай пили в садике, который как бы сливается с парком (Monceau). <...> Сам — приятель Пьера Милля, недавно завтракал с А. Франсом. Говорят, что прошлый год «заработал» 40 миллионов франков.

8/21 авг.

Прогулка с Мережковскими по лесу, «ку-

рятник». Лунная ночь. Пение в судомойне — чисто немецкое, — как Зина и Саша когда-то в Глотове. Звезда, играющая над лесом направо, — *смиренная, прелестная*. Клеська, Глотово — все без возврата. Лесные долины вдали. Думал о Кавказе, — как *там* они полны тайны! Давно, давно не видал лунных ночей. — Луна за домом (нашим), Капелла налево, над самой дальней и высокой горой. Как непередаваема туманность над дальними долинами! Как странно, — я в Германии!

9/22 авг.

Были с Верой в Майнце. Есть очаровательные улицы. Четыре церкви (католические) — в *двух* из них натолкнулись на покойников. Двери открыты — входи кто хочешь и когда хочешь. И ни души. В последней церкви посидели. Тишина такая, что вздохнешь поглубже — отзывается во всем верху. Сзади, справа вечернее солнце в окна. И гроб, покрытый черным сукном. *Кто в нем, тот, кого я вовеки не видел и не увижу?* Послал из Майнца стихи в «Огни».

12/25 авг.

Получил «Жар-птицу». Пошлейшая статья Алешки Толстого о Судейкине. Были Кривошеины и интервьюер-голландец. После обеда, как всегда, у Гиппиус, говорили о поэтах. Ей все-таки можно прочистить мозги, да и вообще вкус у нее ничего себе. <...>

26 авг./8 сент.

Вчера был особенно чудесный день. Спал накануне мало, а бодрость, бойкость и уверенность ума. Прошли утром с Верой в город полем за санаторий. Город в долине грифельный, местами розоватый блеск крыш — и все в изумительной синеве, тонкой, блестящей, эфирной.

Вечером в лесу. Готические просеки. Вдали поют дети — растут в почтении к красоте и законам мира. Листва в лесу цвета гречневой шелухи. <...>

15 сент. н. с. 21 г.

Нынче в 3 уезжаем из Висбадена. А какая погода! Дрозды в лесу, в тишине — как в России.

Быстрая начальственная походка начальников станций.

21 окт. — 9 ноября 1921 г.

Все дни, как и раньше часто и особенно эти последние проклятые годы, может быть, уже погубившие меня, — мучения, порою отчаяние — бесплодные поиски в воображении, попытки выдумать рассказ, — хотя зачем это? — и попытки пренебречь этим, а сделать что-то новое, давным-давно желанное, и ни на что не хватает смелости, что ли, умения, силы (а может быть, и законных художественных оснований?) — начать книгу, о которой мечтал Флобер, «Книгу ни о чем», без всякой внешней связи, где бы излить свою душу, рассказать свою жизнь, то, что довелось видеть в этом мире, чувствовать, думать, любить, ненавидеть. Дни все чудесные, солнечные, хотя уже очень холодные, куда-то зовущие, а все сижу безвыходно дома. 17-го ноября (н. ст.) — мой вечер (с целью заработка) у Цетлиных, необходимо читать что-нибудь новое, а что? Решаюсь в крайности «Емелю» и «Безумного художника». Нынче неожиданно

начал «Косцов», хотя, пописав после обеда, вдруг опять потух, опять показалось, что и это ничтожно, слабо, что не скажешь того, что чувствуешь, и выйдет патока, да еще не в меру интимная, что уже спета моя песенка. Утешаю себя только тем, что и прежде это бывало, особенно перед «Господином из Сан-Франциско», хотя можно ли сравнить мои теперешние силы, и душевные и физические, с силами того времени? Разве та теперь свежесть чувств, волнений! Как я страшно придурился, постарел даже с Одессы, с первой нашей осени у Буковецкого! Сколько я мог пить почти безнаказанно по вечерам (с ним и с Петром), как вино переполняло, раскрывало душу, как говорилось, как все восхищало — и дружба, и осень, и обстановка чудесного дома!

<...> Вышел пройтись, внезапно зашел в кинематограф. Опять бандиты, похищение ребенка, погоня, бешенство автомобиля, несущийся и нарастающий поезд. Потом «Три мушкетера», король, королева... Публика задыхается от восторга, глядя на все это (королевское, знатное) — нет, никакие революции

никогда не истребят этого! Возвращался почти бегом от холода — на синем небе луна точно $3/4$ маски с мертвого, белая, светящаяся, совсем почти лежащая на левое плечо.

1922

1/14 янв. 1922 г.

Grand Hôtel — получение билетов на мольеровские празднества. Знакомство с Бласко Ибаньесом. Купил и занес ему книгу.

Вечером у Алек. Вас. Голштейн. Кто-то военный, в погонах, трогательно бедно одет. Как мало ценятся такие святые редкие люди!

Мальчик из России у Третьяковых. Никогда не видел масла, не знает слова фрукты.

Со страхом начал эти записи. Все страх своей непрочности. Проживешь ли этот год?

Новый год встречали у Ландау.

Да, вот мы и освободились от всего — от родины, дома, имущества... Как нельзя более идет это нам, и мне в частности!

2/15.

Вечером снег, вышли пройтись — как в России.

Вчера, когда возвращались из города, тол-

пы и фотографии у Hôtel Grillon — ждут выхода Ллойд Джорджа. Чтоб его разорвало! Солнце было как королек в легкой сероватой мгле над закатом.

3/16.

Легкое повышение температуры. Все-таки были на завтраке в Кларидже. Какая дешевая роскошь по сравнению с тем, что было у нас в знаменитых ресторанах! Видел Марсея Прево. Молодец еще на удивление. Мережковский так и не дождался своей очереди говорить. Даже финн говорил, а Мережковский, как представитель России, все должен был ждать. Я скрипел зубами от обиды и боли.

4/17.

Визит ко мне Пуанкаре — оставил карточку.

Поздно засыпаю, — очень волнуюсь, что не пишу, что, может, кончено мое писание, и от мыслей о своей промелькнувшей жизни.

5/18.

Ездил с Мережковским на мольеровский

банкет <...>. Все во фраках, только мы нет, хуже всех. Речь Мережковского была лучше всех других, но не к месту серьезна. И плохо слушали, — что им мы, несчастные русские!

6/19 января.

Письмо от Магеровского — зовут меня в Прагу читать лекции русским студентам или поселиться в Тшебове так, на иждивении правительства. Да, нищие мы!

7/20 января.

Вечер Мережковского и Гиппиус у Цетлиной. Девять десятых, взявших билеты, не пришли. Чуть не все бесплатные, да и то почти все женщины, еврейки. И опять он им о Египте, о религии! И все сплошь цитаты — плоско и элементарно донельзя. <...>

8/21 января.

Кровь. Нельзя мне пить ни капли! Выпил вчера два стаканчика и все-таки болен, слаб. И все мысли о Юлии, о том, как когда-то приезжал он, молодой, начинающий жизнь, в Озерки... И все как-то не верится, что больше

я никогда его не увижу. Четыре года тому назад, прощаясь со мной на вокзале, он заплакал (конец мая 1918 г.). Вспомнить этого не могу.

Люди спасаются только слабостью своих способностей, — слабостью воображения, недуманием, недодумыванием.

9/22 января.

«Я как-то физически чувствую людей» (Толстой). Я всё физически чувствую. Я настоящего художественного естества. Я всегда мир воспринимал через запахи, краски, свет, ветер, вино, еду — и как остро, Боже мой, до чего остро, даже больно!

10/23 января.

Ночью вдруг думаю: исповедаться бы у какого-нибудь простого, жалкого монаха где-нибудь в глухом монастыре, под Вологдой! Затрепетать от власти его, унизиться перед ним, как перед Богом... почувствовать его как отца...

По ночам читаю биографию Толстого, долго не засыпаю. Эти часы тяжелы и жутки.

Все мысль: «А я вот пропадаю, ничего не делаю». И потом: «А зачем? Все равно — смерть всех любимых и одиночество великое — и моя смерть!» Каждый день по 100 раз мысль вроде такой: «Вот я написал 3 новых рассказа, но теперь Юлий уже никогда не узнает их — он, знавший всегда каждую мою новую строчку, начиная с самых первых озерских!»

11/24 января.

Я не страдаю о Юлии так отчаянно и сильно, как следовало бы, может быть потому, что не додумываю значения этой смерти, не могу, боюсь... Ужасающая мысль о нем часто (какая) далекая, потрясающая молния... Да можно ли додумывать? Ведь это сказать себе уже совсем твердо: всему конец.

* * *

И весна, и соловьи, и Глотова — как все это далеко и навеки кончено! Если даже опять там буду, то какой это ужас! Могила всего прошлого! А первая весна с Юлием — Круглое, соловьи, вечера, прогулки по большой дороге! Первая зима с ним в Озерках, морозы,

лунные ночи... Первые Святки, Каменка, Эмилия Васильевна и это «ровно десять нас числом», что пел Юлий... А впрочем — зачем я пишу все это? Чему это помогает? Все обман, обман.

12/25 января.

Христианство погибло и язычество восстановилось уже давным-давно, с Возрождения. И снова мир погибнет — и опять будет средневековье, ужас, покаяние, отчаяние...

14/27 января.

Был секретарь чешского посольства — 5000 франков от Бенеша и приглашение переехать в Тшебову. Деньги взял чуть не со слезами от стыда и горя. О Тшебове подумаю. <...>

22 ян./4 февраля.

От 4 до 6 у Цетлиной «Concert» французских артистов в пользу Тэффи <...> Все артисты одеты сугубо просто — чтобы подчеркнуть домашний характер концерта. Исполнения изумительные по свободе, простоте, владению собой, дикцией; по естественности и

спокойствию — не то что русские, которые всегда волнуются и всегда «нутром». М-ель Мустангетт похожа на двадцатилетнюю, а ей, говорят, около пятидесяти. Верх совершенства по изяществу и ловкости. Партнер — молодой человек нового типа молодых людей — вульгарного, американского. Танцы — тоже гнусные, американские. Так во всем — Америка затопляет Старый Свет. Новая цивилизация, плебейская идет. <...>

23 ян./5 февраля.

Видел во сне поезд, что-то вроде большой теплушки, в которой мы с Верой куда-то едем. И Юлий. Я плакал, чувствуя к нему великую нежность, говорил ему, каково мне без него. Он спокоен, прост и добр. <...>

30 янв./12 февраля.

Прогулки с Ландау и его сестрой на Vineuse, гнусная, узкая улочка, средневековая, вся из бардаков, где комнаты на ночь сдаются прямо с блядью. Пале-Рояль (очень хорошо и пустынно), обед в ресторане Véfour, основанном в 1760 г., кафе «Ротонда» (стеклянная), где си-

живал Тургенев, Вышли на Avenue de l'Opera, большая луна за переулком в быстро бегущих зеленоватых, лиловатых облаках, как старинная картина. Я говорил: «К черту демократию!», глядя на эту луну. Ландау не понимал, при чем тут демократия?

31 янв./13 февраля.

Завез в «Отель Континенталь» карточку и книгу «M. de S. Francisco» Бенешу. Через два часа — его секретарь с карточкой, — ответный визит. Послал книгу (ту же) Пуанкаре.

Прошлую ночь опять снился Юлий, даже не он, его, кажется, не было, а его пустая квартира, со связанными и уложенными газетами на столах. Вот уже без остроты вспоминаю о нем. Иногда опять мысль: «а он в Москве, где-то в могиле, сгнил уже!» — и уже не режет, а только тупо давит, только умственно ужасает.

1/14 февраля.

Дождь. Стараюсь работать. И в отчаянии — все не то!

Опять Юлий во сне. Как он должен был

страдать, чувствуя, что уже никогда не увидеться нам! Сколько мы пережили за эти четыре года — так и не расскажешь никогда друг другу пережитого!

Вдруг вспоминаю — пятый час, солнце, Арбат, толпа, идем к Юлию... Этому конец навеки! <...>

Вечером у нас Злобин. Вышли пройтись, проводить его в 11 — в тихой темной улице старик, под шляпой повязанный платком, роется в мусорном ящике, что выставляют консьержки на ночь возле каждого дома, — что-то выбирает и ест. И может быть — *очень счастливый человек!*

7/20 февраля.

Солнце, облака, весна, хотя еще прохладно. Вышел на балкон — 5-й час — в чистом, углубляющемся небе одно круглое белое облако висит. Вспомнил горы, Кавказ, небо синее, яркое и в нем такое же облако, только ярче, белее — за что лишил меня Бог молодости, того, теперь уже далекого времени, когда я ездил на юг, в Крым, молодой, беззаботный, люд<ей> — родины, близких? Юлий, наша по-

ездка на Кавказ... Ах, как бесконечно больно и жаль того счастья!

11/24 февраля.

<...> Обедали у Цетлиных с Бакстом. Познакомился с Дионео <...>. Понравился.

12/25 февраля.

<...> Все, что писал эти дни, — «Безымянные записки», — противно, чепуха.

16 февраля/1 марта.

Репетиция «Любовь книга золотая» Алеши Толстого в театре «Vieux Colombier». Пошлая вещичка, да и стыдно показывать французам нашу старину в таком (главное, неправильном) виде. Обедали у Ландау с Куприным. Куприн жалок и нищенской одеждой, и общим падением.

18 марта.

<...> В 5 — лекция Жида о Достоевском. <...> Жид не похож на художника, — пастор какой-то. Познакомились <...> Заснул поздно, читал «Палату № 6». Волнение, — очень нра-

вится, — мучительное желание и себе писать, и чувство, что ничего не могу, что я полный банкрот — и что вот-вот откроется эта тайна. И тоска, тоска, и мысль, что теперь каждый день дорог, что старость уже на пороге, — да, уже форменная старость.

19 марта.

Погода опять чудесная, все то же за окном серое, чуть сиреневое, без единого облака небо (что-то вроде нашего севастопольского) и каменный красивый беспорядок домов.

Тоска до слез. Опять бесплодно посижу, прочитаю «Последние новости», от вестей и подлости которых плакать хочется, — и опять погибший день. Все, что ни вспомню о парижской жизни, отравлено тайной, непонятной тоской.

6 апреля 22 г.

Вечер Куприна. Что-то нелепое, глубоко провинциальное, какой-то дивертисмент, в пользу застрявшего в Кременчуге старого актера. <...> Меня поразила хор, глаз отвык от России; еще раз с ужасом убедился, какая мы

Азия, какие монголы! <...>

8 апреля.

<...> На ночь читал Белого «Петербург». Ничтожно, претенциозно и гадко.

9 апреля 22 г.

Ездил в Сен-Сир и в Версаль <...> мысль переселиться в Версаль на лето или на весь год. Поехал в окрестности, много прошел пешком. Прелестный день. <...>

Кондукторша на трамвае по пути в Версаль: довольно полна, несколько ленивые масляные глаза, два-три верхних зуба видны, чуть прикусывают нижнюю губу. От этого губы всегда влажны, кажутся особенно приятными.

10 апреля.

В посольстве доклад генерала Лохвицкого, приехавшего из Владивостока. Барская фигура Гирса.

Возвращался — пустые улицы и переулки после дождя блестят, текут, как реки, отражая длинные полосы (золотистые) от огней, среди

которых иногда зеленые. Вдали что-то церковное — густо насыпанные белого блеска огни на Place Concorde. Огни в Сене — русские национальные флаги.

11 апреля.

Все дождь, дождь, к вечеру теплее, мягче, слаже. Не могу слышать без волнения черных дроздов.

В 5 у Мережковских с Розенталем. Розенталь предложил нам помощь: на год мне, Мережковскому, Куприну и Бальмонту по 1000 франков в месяц. <...>

19 апреля.

Все то же — безделье от беспокойства, необеспеченности, мука — куда ехать? Квартира зарезала!

23 апреля.

Ездили с Верой через Maison Lafitte в С.-Жермен. Чудесная погода, зеленеющий лес.

Вечер Шлецера и Шестова. Шлецер, осыпая похвалами Гершензона и В. Иванова, излагал содержание их книжечки «Из двух углов».

<...>

20 сент./3 окт. 22 г. Шато Нуарэ, Амбуаз.

<...> В Берлине опять неистовство перед «Художественным Театром». И началось это неистовство еще в прошлом столетии. Вся Россия провалилась с тех пор в тартарары — нам и горюшка мало, мы все те же восторженные кретины, все те же бешеные ценители искусства. <...>

Поет колокол St. Denis. Какое очарование! Голос давний, древний, а ведь это главное: связующий с прошлым. И на древние русские похож. Это большое счастье и мудрость пожертвовать драгоценный колокол на ту церковь, близ которой ляжешь навеки. Тебя не будет, а твой колокол, как бы часть твоя, все будет и будет петь — сто, двести, пятьсот лет.

Читаю Блока — какой утомительный, нудный, однообразный вздор, пошлый своей высокопарностью и какой-то кощунственный. <...> Да, таинственность, все какие-то «намекы темные на то, чего не ведает никто» — таинственность жулика или сумасшедшего. Пробивается же через все это мычанье нечто, в

конце концов, очень незамысловатое. <...>

9/22 окт.

Тот, кто называется «поэт», должен быть чувствуем как человек редкий по уму, вкусу, стремлениям и т. д. Только в этом случае я могу слушать его интимное, любовное и прочее. На что же мне нужны изливания души дурака, плебея, лакея, даже физически представляющегося мне противным? Вообще раз писатель сделал так, что потерял мое уважение, что я ему не верю, — он пропал для меня. И это делают иногда две-три строки. <...>

10/23 окт. 22 г.

День моего рождения. 52. И уже не особенно сильно чувствую ужас этого. Стал привыкать, притупился.

День чудесный. Ходил в парк. Солнечно, с шумом деревьев. Шел вверх, в озарении желто-красной листвы, шумящей под ногой. И как в Глотове — щеглы, их звенящий щебет. Что за очаровательное создание! Нарядное, с красненьким, веселое, легкое, беззаботное. И этот порхающий полет. Падает, сложив кры-

лышки, летит без них и опять распускает. В спальне моей тоже прелестно и по-нашему, по-помещичьи. <...>

28. XI (11.XII). 22 г.

У Денисовой, потом обедал у Фондаминских. Опять спор, как отнестись к Блоку, Белому. Мережковские: «Это заблудшие дети». Да, да, блудить разрешается, но только влево. Вот Чехову 20 лет не могли забыть, что он печатался в «Новом времени».

Кафедру русской литературы предлагают мне чехи. Откажусь. <...>

1923

1/14 янв. 1923.

Новый год встречали у кн. Пл. Ник. Аргутинского. Ну-вель, Зилоти. Позднее художник Пикассо с женой, которая по происхождению русская. Маленький, довольно простонародного склада. <...>

16 июля.

Укус змеи нечто совсем особое, мистически странное, незапамятно древнее.

Летом 23 года мы с Моисеенко ехали в ав-

томобиле из Грасса в Тулон. Моисеенко в какой-то долине остановил машину, чтобы что-то исправить в ней, я перескочил с шоссе через канаву, лег головой к ней в траву, хотел отдохнуть, покурить, как вдруг услышал, как что-то змеей мелькнуло возле меня, и в то же мгновение я, от моего постоянного патологического ужаса к змеям, так дико взбросил ноги в воздух, что дугой перелетел через канаву назад и стал на ноги на шоссе — сделал то, что мог бы сделать лишь какой-нибудь знаменитый акробат или мой древний пращур, тигр, барс. — Мы не подозреваем, какие изумительные силы и способности еще таятся в нас с пещерных времен. <...>

3/16 авг. 23 г.

Купанье в Восса. Вокзал, олеандры, их розы и голубая синева моря за ними. Три купальщицы, молоденькие девушки. Незабываемое зрелище. Очки цвета йода. <...>

5/18 авг. 23 г.

После завтрака облака на западе. Скоро понял, что не облака. Говорят, что идет

страшный лесной пожар. <...> Часа в четыре все ближе докатывающийся до нас мистраль, хлопанье дверей по всему дому. Облака заняли треть неба. Густое гигантское рыжеватое-грязное руно — Апокалипсис! Ночью огонь.

6/19 авг. 23 г.

Lassus maris et viarum — устав от моря и путей. Гораций. Как хорошо!

При воспоминании вспоминается и чувство, которое было в минуту того, о чем вспоминаешь.

7/20 авг. 23 г.

Опять купался в Васса. Перед вечером перед домом, по саду спокойный, недвижимый, чуть розоватый свет. И запах гари. Август, август, любимое мое.

Geruhl ist ailes — чувство все. Гете.

Действительность — что такое действительность? Только то, что я чувствую. Остальное — вздор.

Несрочная весна.

Grau, lieber Freund, sind aile

Theorien
Doch ewig grim das goldne Baum des
Lebens.[30]

Лао-цзы, написавший Тао-те-кин, родился с седыми волосами, старцем. Страшная гениальная легенда!

«Мысль изреченная есть ложь...» А сколько самой обыкновенной лжи! Человеческий разговор на три четверти всегда ложь, и невольной, и вольной, с большим старанием ввертываемой то туда, то сюда. И все хвастовство, хвастовство.

Ночью с 28 на 29 авг. (с 9 на 10 сент.) 23 г.

Проснулся в 4 часа, вышел на балкон — такое божественное великолепие сини неба и крупных звезд, Ориона, Сириуса, что перекрестился на них.

Конец сент. 1923 г., Г расе.

Раннее осеннее альпийское утро, и звонят, зовут к обедне в соседнем горном городке. Горная тишина и свежесть и этот певучий средневековый звон — все то же, что и тысячу, пятьсот лет тому назад, в дни рыцарей,

пап, королей, монахов. И меня не было в те дни, хотя вся моя душа полна очарованием их древней жизни и чувством, что это часть и моей собственной давней, прошлой жизни. И меня опять не будет — и очень, очень скоро — а колокол все так же будет звать еще тысячу лет новых, неведомых мне людей.

Воскресенье, 16/29 окт. 23 г.

Поездка на Лоренские острова. Чай в Grill Room на набережной в Cannes. Сумерки, хмуро, теплый ветер, мотающий краями маркиз за окнами. Окна налились сине-фиолетовым, за ними в разные стороны раскинутые, махающие перья пальмы, в море туман, огонь — рубин далекого маячка на молу. В Grill'e зажженные хрустальные люстры, и такие же, отраженные, висят за окнами, над улицей, не мешая видеть пальму. Музыка, удивительно не подходящая к публике, — то ироническая, то страстно-грозно-печальная, виолончель, как женский голос. Метрдотель маленький, круглый, ручки удивительно отдельные от тела, на быстром ходу махающиеся. Молодой лакей в белой куртке, итальянец, черные кон-

ские волосы, почти нет лба. Музыкант за пианино похож на немца, скрипка — все косое, ушедшее в нос лицо, виолончель — очень красивый португалец. Из всей публики выделяется намазанная старая дама, страшная как смерть.

Все время думал о <...> Он мысленно всех раздел, знает всю грязь — тайную — белья музыкантов, лакеев, вообразил все их пороки. Хорошо бы написать такой рассказ. Он, например, сидит долго, долго в нужнике — некуда идти ночевать — вспоминает всю свою жизнь...

1924

1 июня (н. с.) 24 г.

Лежал, читал, потом посмотрел на Эстерель, на его хребты в солнечной дымке... Боже мой, ведь буквально, буквально было все это и при римлянах! Для этого Эстереля и еще тысячу лет ровно ничего, а для меня еще год долой со счета — истинный ужас.

И чувство это еще ужаснее оттого, что я так бесконечно счастлив, что Бог дал мне жить среди этой красоты. Кто же знает, не последнее ли это мое лето не только здесь, но и

вообще на земле!

1/14. VII. 24.

Цветет гранатовое дерево — тугой бокальчик из красно-розового воска, откуда кудрявится красная бумажка. Листики мелкие, глянцевитые, темно-зеленые. Цветут белые лилии — стоят на обрыве против моего окна и так и сияют насквозь своей белизной, полные солнечного света. С неделю назад собрали апельсинный цвет, флердоранж.

Очень, очень часто, из года в год, вижу во сне мать, отца, теперь Юлия. И всегда живыми — и никогда ни малейшего удивления! <...>

10/23 авг.

Когда Марс восходит, он красный. Потом оранжевый.

8 4-м часу ночи проснулся. Истинно дивное небо! Все точно увешано золотыми цепями, созвездиями. Над горой направо, высоко — совершенно золотой серп месяца, ниже, под ним, грозное великолепие Ориона, а над ним, совсем в высоте, — Стожар. Направо, по-

чти над седловиной Наполеона, над горой крупной золотой звездой садится Марс.

9 сент. н. с. 24 г.

<...> Ах, если бы перестать странствовать с квартиры на квартиру! Когда всю жизнь ведешь так, как я, особенно чувствуешь эту жизнь, это земное существование как временное пребывание на какой-то узловой станции! <...>

1929

1-XI-29.

Солнечный день, на пути в Cannes — обернулись: чисто, близко, четко видные полулежащие горы несказанно прекрасного серого цвета, над ними эмалевое небо с белыми картинными облаками. Совершенно панно.

30-XI-29.

Если бы теплая, большая комната, с топящейся голландской печкой! Даже и этого никогда не будет. И уже прошла жизнь.<...>

1930

16-X-30.

Вышел вечером из дому — звезды. Какие? Бело-синие? Ночью через Монфлери. Осенняя

свежесть, звезды белеют сквозь деревья.

1931

31. X.31.

Без четверти пять, мой любимый час и вид из окна (на закат, туда, к Марселю). Лежал, читал «Письма» Мансфильд, потом закрыл глаза и не то подумал (совершенно неизвестно, почему) о кукованье кукушки, о дали какого-то весеннего вечера, поля, леса, не то услышал это кукованье, тотчас же стал действительно слышать где-то в далекой и глухой глубине души, вспомнил вечер нынешней весной, похожий на русский, когда возвращались с Фондаминскими из С.-Валье, вспомнил его, этот вечер, уже как бесконечно давний молодой и счастливо-грустный, и все это связалось с какими-то воспоминаньями и чувствами моей действительной молодости... Есть ли вообще голос птицы прелестней, грустней, нежней и юней голоса кукушки!

Третий день хорошая погода. Рука лучше.
<...>

3-XII-31.

Четыре с половиной. <...> Вошел в кабинет,

уже почти темный. Удивительная огненная красота облачного заката над морем — особенно сквозь черный (как бы железный) узор черно-зеленого шара мандарина. Над той горой, за которой С.-Рафаэль, желто-палевое. Эстерель уже стал синим туманом. Маленькое поле плоского зелено-сиреневого слабо видимого моря. В нашей долине и в городе все в темной синеве, в которой зажигаются огни. Когда зажег огонь у себя, облака над городом сделали цвета подсохших лиловых чернил (очень мягкого). Потушил огонь — лиловое превратилось в фиолетовое.

Чувство ясности, молодости, восприимчивости, дай бог не сглазить.

1932

10. III.32. Grasse.

Темный вечер, ходили с Галей по городу, говорили об ужасах жизни. И вдруг — подвал пекарни, там топится печь, пекут хлеба — и такая сладость жизни.

Понед., 3.X.32.

В городе ярмарка St. Michel, слышно, как режут коровы. И вдруг страшное чувство Рос-

сии, тоже ярмарка, рев, народ — и такая безвыходность жизни! Отчего чувствовал это с такой особенной силой в России? Ни на что не похожая страна.

Потом представилось ни с того ни с сего: в Париж приехал англичанин, разумный, деловой, очень будничный человек. Отель, номер, умылся, переоделся, вышел, пошел завтракать. Во всем что-то такое, что сам не узнает себя — чувство молодости, беспричинного счастья... Напился так восхитительно, что, выйдя из ресторана, стал бить всех встречных... Везли в полицию совершенно окровавленного.

18. X.32.

Лежал в саду на скамье на коленях у Г., смотрел на вершину дерева в небе — чувство восторга жизни. Написать бы про наш сад, — что в нем. Ящерицы на ограде, кура на уступе верхнего сада...

1933

8. VI.33.

7 1/2 вечера, подъезжаю к Марселю. Горы голые, мелового цвета, ужасные предместья.

Мост, под ним улица, трамвай... Рабочие улицы, ужас существования в них. Всякие депо, шлак... Еще жарко, сухо. Зажженные алым гляncем стекла в домах на горе. Вдали Notre Dame de la Garde... К какому-нибудь рассказу: больной подъезжает к большому городу.

10. VII.33.

Бальмонт прислал мне сонет, в котором сравнивает себя и меня с львом и тигром. Я написал в ответ:

*Милый! Пусть мы только псы.
Все равно: как много шавок,
У которых только навик
Заменяет все красы.*

21. VII.33.

Вечер, шел через сад Montfleury, чувствовал снова молодость и великое одиночество.
<...>

8 молодости неприятности надолго не держались у меня в душе — она их, защищаясь, выбрасывала.

Почти все сверстницы были гораздо взрослее меня. Vita scribi ne quit.

30. VII.33. Grasse.

Проснулся в 4 1/2. Довольно сумрачно — рассвет совсем как сумерки. В синеватых тучках небо над Эстерелем, над Антибским мысом по тучкам красноватое, но солнца еще нет.

Вечером гроза. Лежал, читал — за окнами содрогающееся, голубое, яркое, мгновенное.

Ночью во мне пела Лунная соната. И подумать только, что бог все это — самое прекрасное в мире и в человеческой душе <нрзб> с любовью к женщине, а что такое женщина в действительности?

17. IX.33. Воскресенье.

Видел во сне Аню с таинственностью готовящейся близости. Все вспоминаю, как бывал у нее в Одессе — и такая жалость, что... А теперь навеки непоправимо. И она уже старая женщина, и я уже не тот.

Уехал Роцин. Тихий сероватый день. И все напеваётся внутри «Яблочко» — истинно роковая песня России. Какая в ней безнадежная тоска, гибельность!

Coitus — восторг чего? Самозарождения?

Напряжения жизни? Убийства смерти?

За последнее время опять — в который раз! — перечитал «Анну Каренину» и «Войну и мир». Нынче кончил почти четвертый том — осталась последняя часть «Эпилога». Про Наполеона неотразимо. Испытал просто ужас, и *до сих пор* обожествлен!

18. IX.33. Понедельник.

Удивительно прекрасный день. Был в Cannes <...> Сидел на скамеечке перед портом, ел виноград. Был у Карташевых <...> Опять он поразил меня талантливостью.

Читаю «Мертвые души». Нельзя читать серьезно — очень талантливый шарж, и только. А чего только не наплели! «Гениальное изображение пошлости...» И чего только сам не вообразил! «Горьким словам моим посмеюся...» России почти не видал, от этого местами нелепое соединение Малороссии и Веллкороссии.

Умер Осип Сергеевич Цетлин. И осталось Монте-Карло, вечная праздничная синь моря.

1. X.33.

Вчера именины Веры. Отпраздновали тем, что Галя купила кусок колбасы. Недурно нажился я за всю жизнь!

Проснулся очень рано, мучась определением почерка подписи под какой-то открыткой ко мне: Сталин.

Прочел 2/3 «Воскресения» (вероятно, в десятый раз). Никогда так не ценил его достоинства (просто сверхъестественные в общем, несмотря на множество каких-то ожесточенных парадоксов, что ли). Известие в письме из Москвы о смерти Насти. Оказывается, умерла уже «года три тому назад». Какой маленький круг от начала до конца человеческой жизни! Как я помню, как я гимназистом ехал с ней, держа венчальную иконку, в карете в Знаменское! В жизни то и дело изумление, недоумение, а выразить это — наивность!

12. X.33.

Прекрасный день, но ничего не мог писать. Кажется, серые, прохладные, вернее, совсем свежие дни лучше для меня (для работы). Только теперь.

Проснулся часов в 5 — уже не первый раз за последнее <время> под пение петухов.

Думал: что тут главное? Кажется, что очень *горловое*, ни чуточки груди. И напряженное. И еще думал: как хорошо так жить — живу с природой, с петухами, с чистым воздухом горным (сплю все еще внизу, отворяя дверь в столовую, где открываю балконную дверь).

13. X.33.

Ездил в Cannes. Хороший день, что-то под одесское осеннее. Море похоже на Черное. Купание кончилось. Пляж пустой и стал маленький, главное — маленький.

15. X.33.

По утрам, проснувшись, слышу, как лают собаки на соседней дачке уже совсем новым, *зимним* лаем: за *этим* лаем зима (южная), глушь, свежесть (та, что у нас в октябре).

20. X.33. 9 ч. утра.

16-го послал авіон Полонскому в Холливуд. 18-го еще. Нынче проснулся в 6 1/2. Лежал до 8, немного задремал. Сумрачно, тихо, испещ-

рено чуть-чуть дождем возле дома.

Вчера и нынче невольное думанье и стремление не думать. Все-таки ожидание, иногда чувство несмелой надежды — и тотчас удивление: нет, этого не может быть! Главное — предвкушение обиды, горечи. И правда непонятно! За всю жизнь ни одного *события*, успеха (а сколько у других, у какого-нибудь Шаляпина, например!). Только один раз — Академия. И как *неожиданно*! А их ждешь...

Да будет воля Божия — вот что надо твердить. И, подтянувшись, жить, работать, *смириться мужественно*.

В день получения prix Nobel.

Был готов к выезду в 4 1/2. Заехали в Гранд-отель за прочими лауреатами. Толпа едущих и идущих на улице. Очень большое здание — «концертное». Лауреатов <нрзб> провели отдельным входом. Все три молодые <нрзб> который должен был произнести обо мне речь (Секретарь академии?).

В зале фанфары — входит король с семьей и придворные. Выходим на эстраду — король

стоит, весь зал стоит.

Эстрада, кафедра. Для нас 4 стула с высокими спинками. Эстрада огромная, украшена мелкими бегониями, шведскими флагами (только шведскими, благодаря мне) и в глубине и по сторонам. Сели. Первые два ряда золоченые вышитые кресла и стулья — король в центре. Двор и родные короля.

Король во фраке (?). Ордена, ленты, звезды, светлые туалеты дам — король не любит черного цвета, при дворе не носят темного. За королем и двором, которые в первом ряду, во втором дипломаты. В следующем семья Нобель, Олейниковы. В четвертом ряду Вера, Галья, старушка-мать физика-лауреата. Первым говорил С. об Альфреде Нобель.

Затем опять тишина, опять все встают, и я иду к королю. Шел я медленно. Спускаюсь по лестнице, подхожу к королю, который меня поражает в этот момент своим ростом. Он протягивает мне картон и футляр, где лежит медаль, затем пожимает мне руку и говорит несколько слов. Вспыхивает магния, нас снимают. Я отвечаю ему.

Аплодисменты прерывают наш разговор. Я

делаю поклон и поднимаюсь снова на эстраду, где все продолжают стоять. Бросаются в глаза огромные вазы, высоко стоящие с огромными букетами белых цветов где-то очень высоко. Затем начинаются поздравления. Король уходит, и мы все в том же порядке уходим с эстрады в артистическую, где уже нас ждут друзья, знакомые, журналисты. Я не успеваю даже взглянуть на то, что у меня в руках. Кто-то выхватывает у меня папку и медаль и говорит, что это нужно где-то выставить. Затем мы уезжаем, еду я с этой милой старушкой-матерью. Она большая поклонница русской литературы, читала в подлиннике наших лучших писателей. Нас везут в Гранд-отель, откуда мы перейдем на банкет, даваемый Нобелевским комитетом, на котором будет присутствовать кронпринц, многие принцы и принцессы, и перед которым нас и наших близких будут представлять королевской семье, и на котором каждый лауреат должен будет произнести речь.

Мой диплом отличался от других. Во-первых, тем, что папка была не синяя, а светло-коричневая, а во-вторых, что в ней написа-

на (написаны) в русском билибинском стиле две картины, — особое внимание со стороны Нобелевского комитета. Никогда, никому этого еще не делалось.

Летом в Грассе со мной случился у калитки «Бельведера» совершенно неожиданный внезапный обморок (первый раз в жизни): ездил с К. Зайцевым к художнику Стеллецкому, очень устал за день, ничего не ел с утра до вечера и вот, возвратясь в Грасс из Канн в автокаре и поднявшись на гору к этой калитке, вдруг *исчез*, совершенно не заметив этого, — *исчез весь* в мгновение ока — меня вдруг не стало — настолько вдруг и молниеносно, что я даже не поймал этой секунды. Потом так же вдруг увидел и понял, что лежу в кабинете на диване, грудь облита водой, которую мне, бесчувственному, давали пить... Внезапная смерть, вероятно, то же самое.

1935

8. III.35. Grasse.

Уже пятый час, а все непрерывно идет мягкий снег — почти с утра. Бело сереющее небо (впрочем, не похоже на небо) и плавно, плавно — до головокружения, если смотреть при-

стально — текущая вниз белизна белых мух, хлопьев.

План ехать нам всем трем в Париж.

Разговор с Г. Я ей: «Наша душевная близость кончена». И ухом не повела.

6. VII.35. Grasse.

Бетховен говорил, что достиг мастерства тогда, когда перестал вкладывать в сонату содержание десяти сонат.

Вчера были в Ницце — я, Роцин, Марга и Г. Мы с Р. съездили еще в М.-Карло. Жара, поразительно прекрасно.

Без конца длится страшно тяжелое для меня время.

15. VIII.35. Grasse.

Вчера Cannes, купанье в новой купальне, — все англичане, — тучи, ветер. В кафе встретил их. Выпил 2 рюмки коньяку. В Грассе купил Тавель и еще 1/4 коньяку. За обедом 1/2 бутылки вина, хлебнул еще коньяку, после обеда был очень говорлив, но не чувствовал себя во хмелю, лег полежать — и заснул. Проспал одетый до 4 утра, пил кофе и опять

заснул до 10. Состояние странное, гибельное, но спокойное.

Так вот и умру когда-нибудь — заснув, — делаю над собой нечто непостижимое.

Успенье — весь день этот грасский звон колоколов — как на Пасху. <...>

Вчера был у Веры Маан (доктор). Ужасные мысли о ней. Если буду жив, вдруг могу остаться совсем один в мире.

Позавчера, в лунную ночь, М. устроила в саду скандал В.

У нас уже дней 5 Каллаш.

Любить значит верить.

1936

22. IV.36. Grasse.

Был в Cannes, взял билет в Париж на пятницу (нынче среда), в 10 ч. 37 утра (поезд Пульман). Шел по набережной, вдруг остановился: «да к чему же вся эта непрерывная, двухлетняя мука? все равно ничему не поможешь! К черту, распрямись, забудь и не думай!» А как не думать? «Щастья, здоровья, много лет прожить и меня любить!» Все боль, нежность. Особенно когда слушаешь радио, что-нибудь прекрасное. <...>

23. IV.36.

Заснул вчера около двух часов ночи, нынче проснулся около 8. Живу не по годам. Надо опомниться. Иначе год, два — и старость.

Первый день хорошая погода.

Когда-то в этот день — 10 апреля 1907 г. уехал с В. в Палестину, соединил с нею свою жизнь.

26. IV.36. Париж.

Приехал позавчера (в пятницу) в половине одиннадцатого. Тотчас наделал глупостей: тотчас поехал на вечер Бальмонта. Но вечер уже кончился — с rue Las-Cases помчался в café Murât, потом в Les Fontaines, 2 больших рюмки мару, ужасная ночь.

Вчера серо, яркая молодая зелень и свинцовый тон неба — мрачное впечатление.

Вечером дома. Потом Rotond de la Muette, Цетлины, Ал-данов и Керенский со своей австралийкой (не первой молодости, в хороших мехах, еврейка, кажется).

Нынче дождь. Безднадежная тоска, грусть. Верно, пора сдаваться.

Выборы. Блюм.

8. V.36. Grasse.

Вернулся из Парижа позавчера.

В Польше читать мне не разрешили: «Просили писатели других держав», — очевидно, русские, советские, — «мы не разрешили, так что разрешить Бунину было бы не куртуазно».

О чувстве божественного — ночь, звезды, ходил в саду.

9. V.36. Grasse.

Весь день дождь. Убираю вещи — может быть, из Грасса, благодаря Блюму, придется бежать.

Дай бог не сглазить — эти дни спокойнее. Может быть, потому что в Париже принимал 2 недели Rankrinol-Elixir.

Она в Берлине.

Чудовищно провел 2 года! И разорился от этой страшной и гадкой жизни.

Радио, джазы, фокстроты. Очень мучит. Вспоминаю то ужасное время в J. les-Pins, балы в Париже, — как она шла под них. Под ра-

дио все хочется простить.

10. V.36.

Заснул в 3, проснулся в 8. Дождь.

Да, что я наделал за эти 2 года. <...> агенты, которые *вечно* будут получать с меня проценты, отдача Собрания сочинений бесплатно — был вполне сумасшедший. С денег ни копейки доходу... И впереди старость, выход в тираж. <...>

7. VI.36, Grasse.

Главное — тяжкое чувство обиды, подлого оскорбления — и собственного постыдного поведения. Собственно, уже два года болен душевно, — душевно больной. <...>

Вчера Блюм начал свое правление. Забастовки, захваты заводов. <...>

14. VI.36. Grasse.

<...>. Был в Ницце — «День русской культуры». Постыдное убожество. Когда уезжал (поехал на Cannes), за казино (в Ницце) огромная толпа... Все честь честью, как у нас когда-то — плакаты, красные флаги, митинги.

В Grasse тоже «праздник». Над нашим «Бельведером», на городской площадке, тоже толпа, мальчишки, бляди, молодые хулиганы, «Марсельеза» и «Интернационал», на бархатных красных флагах (один из которых держали мальчик и девочка лет по 6, по 7) — серп и молот. <...>

Надо серьезно думать бежать отсюда. <...>

Видел в Ницце Зайцевых. <...> — грустные, подавленные тем, что происходит в Париже.

Душевно чувствую себя особенно тяжело. Все одно к одному!

1. VI 1.36. Grasse.

Все занят «Освобождением Толстого».

Ночью с 7 на 8.VII.

Изумительные белые облака над садом и из-за гор. Луна в озере барашков.

16. VIII.36.

Иногда страшно ясно сознание: до чего я пал! Чуть не каждый шаг был глупостью, унижением! И все — время полное безделие, безволие — чудовищно бездарное существование!

Опомниться, опомниться!

1. XII. Париж.

Светлая погода. И опять — решение жить здоровее, достойнее. <...>

1937

19. VIII.37. Венеция.

Вчера приехал сюда в 5 ч. вечера с Rome Express. Еду в Югославию. Остановился в Hôtel Britania.

Нынче был на Лидо. Огромно, гадко, скучно. Обедал у Бауэра. Лунная ночь, 9 часов — всюду музыкально бьют часы на башнях <...>

1938

5. XI.38. Beausoleil.

Лунная ночь. Великолепие небесной синевы, объемлющей своей куполообразностью, глубиной и высотой все — горы, море, город внизу. И таинственно, темно мерцающая над самой Собачьей Горой звезда (вправо от нас).

Лихорадочный взгляд...

1939

17. VII.39.

Вчера с Маркюсами, Верой и Лялей осмотрел виллы в Cannet La Palmeraie. Нынче еду с Г. и

М. в Juan-les-Pins смотреть другие виллы.

21 июля (записал на клочке ночью): «Еще летают лючиоли». <...>

1940

1940 г. Villa Jeannette, Grasse, a. m.

Вчера ездил в Ниццу. Как всегда, грусть — солнце, море, множество как бы праздничного народа — и ни души знакомой, нужной.

Не застал Цакни, оставил ему записку, что буду в понедельник в 2 1/2 ч. <...>

Нынче послал открытку-avion Гребенщикову, чтобы написал в американских газетах о писательской нужде в эмиграции. <...>

Погода как будто на весну, но все холодный ветер. Финнам плохо.

6. III. 40

<...> Нынче холодно, с утра было серо, туман, крупа, шел с полчаса снег. А вчера, гуляя с Верой ночью по саду, услышал первую лягушку — думал, начинается, значит, весна.

Прочел книжечку (изд. Суворина) гр. Соллогуба — «Аптекарьша», «Метель», «Неоконченные повести». Довольно ловко все, но ненужно. Герои и героини, как всегда писали

прежде, умирают от несчастной любви.

Хорошо для рассказа: донской казак *Харулин*.

Хорошо бы написать рассказ, действие которого в Бахчисарае. Татарин Осламбей. Татары говорят: «тютюн ичмен!», т. е. надо «попить дыму» (покурить). Еще: «шишлык» (а не шашлык; шиш по-татарски вертел, палочка). Хорош Бахчисарай!

Овцы Божья стада.

Темно-желтая бабочка в черных узорах на крыльях. Задние крылья — с длинными черными косицами. (Все это нынче ночью почему-то приходило в голову.) <...>

11. III.40.

<...> Все еще очень холодно — всю зиму мучение — одна из причин, почему только лежу и читаю. <...>

Читаю «Отечественные записки» за 84-й год. Там стихи Мережковского, столь опытные, что, верно, было ему тогда не меньше 20 лет, и стихи Надсона: «Горячо наше солнце безоблачным днем» — одни из немногих, которые мне нравились когда-то — семнадцати-

летнему — и теперь до чего-то чудесного воскресили всего меня той поры. Называется «В глуши». Вижу и чувствую эту «глушь» совершенно так же, как тогда — в той же картине (и теперь такой же поэтической, несмотря на то, что это Надсон).

14. III.40.

<...> Первый почти летний день. Ночью туман, слышны были лягушки.

Позавчера обварил себе правую руку кипятком. Горит, вспухла. <...>

Кончил перечитывание двух рассказов Тургенева. Мастерство изумительное, но в общем читал равнодушно — исключение некоторые страницы. Кое-что (почти все, вернее) читал как новое — так забывается Тургенев. Одно «Полесье» почти все по-настоящему прекрасно. Почти во всех рассказах, — да, кажется, даже во всех, — редкое богатство совершенно своих, удивительных по меткости определений чувств и мыслей, лиц и предметов.

17. III.40.

<...> Перечитал «Что такое искусство» — Толстого. Скучно, — кроме нескольких страниц, — неубедительно. Давно не читал, думал, что лучше. Привел сотни определений того, что такое красота и что такое искусство, — сколько прочел, какой труд проделал! — все эти определения, действительно, гроша настоящего не стоят, но сам не сказал ничего путного.

29. III.40.

Лежу, читаю, порой смотрю в солнечные окна и думаю, — о том своем я, которое живет и сознает себя уже лет 60 — и это я думаю, что лет через 5, много 10, его не будет. И не будет оно ничего видеть и думать. Странно!

30. III.40. Суббота.

Приехал из Ниццы Цакни. Почти весь день очень светлый, но холодный. Ужасная весна. Несколько дней тому назад дня два лил ледяной дождь. <...>

Стал присаживаться к письменному столу.

В Париж я уехал 29 января, вернулся в Grasse в субботу 16-го февраля.

За последние дни посмотрел за год «Отечественные записки» (1883 г.) <...> Гаршин, если бы не погиб, стал бы замечательным писателем.

1. IV.40.

Цакни ночевал 2 ночи, уехал нынче утром, когда я еще спал.

Все еще холодно, но так же светло.

Нынче послал в Париж заказным déclaration своих доходов (которых нет — надо выдумывать, чтобы не подумали, что вру. И показал 14 000).

Прочел роман Ясинского «Старый друг». Скучно. Женщина, как всегда у него, написана не плохо.

3. IV.40.

На вид из окон дни все светоснее, — кажется, что уже лето. Но еще прохладно.

Вчера Марга пела у маркизы. Человек 30 народу. <...> Мы туда и назад с англичанкой Херст из имения возле Маганьоска. На обратном пути Оля пела и кричала всю дорогу, не умолкая. Я вел себя глупо — рюмка виски и

три джинну в баре у маркизы. <...> *Нельзя пить.* <...>

Переписываю дневниковые клочки предыдущих лет. Много рву и жгу. <...>

4. IV.40.

<...> Купил 2 рубашки и белый картуз в Old England. Давно знакомый приказчик уже совсем не тот, что когда-то, — потолстел, слегка поседел. На глазах меняются, гибнут люди. А Лантельмы! Марсель толстый мужчина, а давно ли был мальчиком! Старик же прямо страшен, ногти, пальцы уже совсем гробовые. Весь как во сне, но когда садится за кассу, видно, что счастлив получать и сдавать сдачу. Думает ли, что вот-вот отвезут его страшный труп на кладбище в St. Jacques.

5. IV.40.

Ночью мистраль. Есть и днем. За Эстерелем (да и Э<стерель>) горы бархатно-синие. Расчистил воздух.

Думаю, что «Фальшивый купон» возник, может быть, у Толстого в связи с когда-то прочтенным им рассказом Даля «Серенькая» (так

назывались бумажки в 50 рублей).

Отец говорил вместо Белинский — *Белын-ский*. Прочитал у Тургенева, что многие так называли Белинского при его жизни — пустили слух, что он «полячишка».

Прежде часто писали: «возразил». Герои прежних романов не сразу понимали, что они влюблены. «И вдруг с восторгом, с ужасом сказал себе: я люблю ее!» 6. IV (суббота). 1940.

<...> Проснулся в 8 1/2. Погода все та же и тот же холодноватый ветер среди солнечного тепла, все увеличивающегося. Скоро зазеленеют деревья — уже как будто что-то начинается — смотрел из окна в сторону Марсея — у нас в саду уж зазеленел молодой каштан. Будет удивительно прекрасно. Короткая, несказанно прекрасная пора первой зелени.

Вспомнил, как я всю жизнь одинаково представлял себе год:

дек.
нояб.
окт.
сент.
авг.
июль июнь
май
апр.
февр.
март

Понедельник, 8.IV.40.

А. К. Толстой писал жене (в 55 г.): «Сипягин — хороший, добрый, благородный мальчик, который обожает свою роту и чрезвычайно ею любим...» Этот Сипягин крестил меня. Был тогда уже генералом.

10. IV.40.

Позавчера проснулся в 9, чувствуя (как всегда чувствую с паучиной чуткостью) близкое изменение погоды: после полудня день замутился, пошли облака над горами к Ницце и к вечеру пошел дождь. Вчера в газетах хвостовство — союзники «в один час!» положили мины вдоль берегов Норвегии. С утра шел дождь. После завтрака — нынче — открыл радио — ошеломляющая весть: немцы захватили Данию и ворвались в Норвегию — вот тебе и мины! <...>

12. IV.40.

Неожиданная новость: письмо Серова и Зурова — у Зурова туберкулез. <...> Вера сперва залилась розовым огнем и заплакала, потом успокоилась, — верно оттого, что я согласился на ее поездку в Париж и что теперь З. не возъ-

мут в солдаты. Ходил с ней в город, она подала просьбу о пропуске в П. Едет, вероятно, во вторник. А мне опять вынимать тысячу, полторы! Мало того, что у меня почему-то на шее Ляля с девочкой и Марга и Галина!

Особых вестей из Норвегии нынче нет. Боюсь, что опять дело замрет.

Продолжаю просматривать «Отечественные записки» за 82 г. <...> — все это читал тысячу лет тому назад в Озерках, 15, 16 лет, с Юлием — все забыл, а оказалось, что помню кое-что чуть не наизусть.

Дремучие снежные сумерки, Цвилленевская усадьба, где жил Евгений, эта девка (уже не помню ее имени)...

Весна, а все еще холодно, еще топим. Переглядываю опять письма и дневники А. К. Толстого. Совершенно очаровательный человек! Начал «Головлевых» — не плохо, но мне скучно, ненужно.

Переписываю с клочков дневниковые заметки. Много рву. А зачем кое-что оставляю и переписываю — неизвестно.

Серо, холодно, деревцо за окном на Ниццу все зазеленело ярко-светлой зеленью и все дрожит под ветром. <...>

14–15–16.IV.40.

Немцы заперты новыми минами, потеряли 1/3 флота, отдали Нарвик — разгром!

17. IV.40.

Вчера уехала Вера. Отвез ее в Cannes в такси. <...>

Часов в 10 вечера ходил с М. и Г. запирать часовню. Лунная ночь, дивился, среди чего приходится жить — эти ночи, кипарисы, чей-то английский дом, горы, долина, море... А когда-то Озерки!

Прошелся: из-за вершин пиний выглядит, перемещается, блещет огромная Венера (не высоко над горой, на северо-западе) — ярко-блестящая, неподвижная, стеклянно-золотая, совсем как те, что рисуют на мундирах. <...>

Ужасная была беллетристика в «Отечественных записках» и т. п. журналах. <...>

17. IV.40.

<...> Вот, кажется, теперь уже несомненно: никогда мне не быть, например, на Таити, в Гималаях, никогда не видеть японских роцц и храмов и никогда не увидеть вновь Нила, Фив, Карпа на, его руин, пальм, буйвола в грязи, затянутого илом пруда... Никогда! Все это будет существовать во веки веков, а для меня все это кончено *навсегда*. Непостижимо.

Пятница 18. IV.40.

Вчера весь день просидел в доме, вышел всего минут на десять вечером.

Нынче то же — вышел в 10, ходил по саду 35 м. Луна высоко (как и предыдущие месяцы), кучевые белые облака... Как страшно одиноко живу! И как дико — 3 бабы на плечах! <...>

Вчера ночью шум жаб уже несметных. Теплеет.

Кончил «Господ Головлевых». Умный, талантливый, сильный, знающий, но литератор. <...>

Что вышло из Г.! Какая тупость, какое бездушие, какая бессмысленная жизнь!

Вдруг вспомнилось — «бал писателей» в январе 27 года, приревновала к Одоевцевой. Как была трогательна, детски прелестна! Возвращались на рассвете, ушла в бальных башмачках *одна* в свой отельчик...

20. IV.40.

Проснулся в 9, зачитался до 12 1/2 «Le Rêve» Зола. <...> Ходил с Олечкой смотреть в бассейн — не лягушку — не оказалось. <...>

Вчера ночью открыл окно в ванной комнате — широкое — на площадке под ним лунный свет как бы меловой.

21. IV.40.

Прекрасный, уже совсем теплый день. Дубы возле chaumière уже сплошь в бледно-зеленых мушках. Все меняется с каждым днем. Уже распускается листва на безобразных кулаках 2 деревьев на площадке. Цветет сирень, глицинии... (Ялта, Пасха...)

Письмо of Веры.

2 1/2 ч. Ходил по саду — заросла уже высокой травой вторая (от нижней дороги) площадка. Все еще цветет бледно-розовыми, лег-

кими, нежными, очень женственными цветами какого-то особого сорта вишня, цветут 2 корявых яблонки белыми (в бутонах тоже розоватыми) цветами. Ирисы цветут, нашел ветку шиповника цветущую (легкий алый цвет с желтой пыльцой в середине), какие-то цветы, вроде мака — легчайшие, но яркого оранжевого цвета... Сидел на плетеном разрушающемся кресле, смотрел на легкие и смутные, как дым, горы за Ниццей... Райский край! И уже сколько лет я его вижу, чувствую! Одинок, неудобно, но переселиться под Париж... ничтожество природы, мерзкий климат!

Как всегда почти, точно один во всем доме.
<...>

Светлый день, праздник, в море как будто пустее — и звонят, звонят в городе... Не умею выразить, что за всем этим.

Множество мотыльков вьется вокруг цвет сирени — белых, с зеленоватым оттенком, прозрачных. И опять пчелы, шмели, мухи нарождаются...

Кончил перечитывать 12-й т. Тургенева (изд. Маркса) — «Лит. и жит. восп.», «Критиче-

ские речи и статьи» и т. д. Совершенно замечательный человек и писатель. Особенно «Казнь Тропмана», «Человек в серых очках», несколько слов о наружности Пушкина, Лермонтова, Кольцова.

Этот апрельский расцвет деревьев, трав, цветов, вообще эти первые весенние дни — более тонко-прекрасного, чистого, праздничного нет в мире.

Во многих смыслах я все-таки могу сказать, как Фауст о себе: «И псу не жить, как я живу». <...>

Вчера день рождения Гитлера. Нынче радио: Муссолини в поздравительной телеграмме желает ему «победоносно выйти из той героической борьбы, которую ведет он и германский народ». И несчастный итальянский король тоже поздравляет «горячо» — вынуждены к соучастию в дружбе. <...>

27. IV.40.

Был в Ницце — ни Цакни, ни Михайлова (а Вера писала, что он выезжает в пятницу). <...> Дождь. Возвращался через Cannes. Встретил там Г. <...> Вести из Норвегии не радуют.

28. IV.40. Светлое Воскресенье.

Завтракали у Самойлова. Взял туда такси, уехал через час. Дорогой дождь, пыльно-дымные тучи с хоботами.

Потом все потонуло в дожде и тумане. Обед у Маркюс.

Наш бедный пасхальный стол.

Был поэт Аполлон Коринфский. Точно плохим писателем в насмешку выдуманно.

30. IV.40. Вторник.

Серо, холодно, дождь.

И так всегда: спрячешь зонт, калоши — на другой день дождь. Прячу, верно, потому, что перед переменной погоды внутренне волнуюсь и от этого, например, начинаю уборку. Вчера очистил от замазки окна, содрал с их пазов войлочные ленты — и вот нынче холод и ветер, так сильно дующий в эти пазы, что вечером ходит занавес, который отделяет от моей спальни ее «фонарь» из пяти окон и на ночь задергивается.

Сейчас вспомнил почему-то Майнц (соединенный с Висбаденом, где мы жили с Мереж-

ковскими в отеле на Negro-berg). — Почему? — непостижима эта жизнь воспоминаний, это «почему-то», «ни с того ни с сего»! Поехали туда с Верой на трамвае, ходили по городу, заходили в церкви. <...> Потом вдруг вспомнил церковь на rue Daru, гроб дочери Н. В. Чайковского... До сих пор пронзает сердце, как он, со своей белой бородой, в старенькой визитке, плакал, молился на коленях. <...>

Ночь, темная полоса леса вдали и над ним звезда — смиренная, прелестная. Это где-то, когда-то на всю жизнь поразило в детстве... Боже мой, Боже мой! Было и у меня когда-то детство, *первые* дни моей жизни на земле! Просто не верится! Теперь *только* мысль, что они были. И вот идут уже последние. <...>

Убежден, что Гоголь никогда не жег «Мертвых душ».

Не знаю, кого больше ненавижу как человека — Гоголя или Достоевского.

2. V.40. Четверг. Вознесение (католическое).

<...> Вчера должен был уехать в санаторию Зуров.

4 часа. Был в полиции, заказал *sauf conduit* [31] в Париж. Все еще колеблюсь, ехать ли. Но предполагаю выехать 6-го или 7-го.

Нашел клочок из моих писем: <...> 16-X-26. Вчера Рахманинов прислал за нами свой удивительный автомобиль, мы обедали у него, и он, между прочим, рассказал об известном музыканте Танееве: был в Москве концерт Дебюсси, и вот, в антракте один музыкальный критик, по профессии учитель географии, спрашивает его: «Ну, что скажете?» Танеев отвечает, что ему не нравится. И критик ласково треплет его по плечу и говорит: «Ну, что ж, дорогой мой, вы этого просто не понимаете, не можете понять». А Танеев в ответ ему еще ласковее: «Да, да, я не знал до сих пор, что для понимания музыки не нужно быть 30 лет музыкантом, а нужно быть учителем географии».

3. V.40.

Был в Cannes, к Куку за билетом в Париж. <...>

Из Норвегии всю последнюю неделю вести почти ужасные. Тяжело читать газеты. <...>

7. V.40.

Собираюсь, *завтра еду* в Париж в 6 ч. 24 м. вечера. Как всегда, тревожно, грустно. Жаль покидать дом, комнату, сад. Вчера и нынче совсем лето. Сейчас 5, над Ниццей тучи, гремел гром.

«Жизнь Арсеньева» («Истоки дней») вся написана в Грассе. Начал 22.VI.27. Кончил 17/30.VI 1.29. «Первая книга» кончена 21.IX.27. Вторая начата 27.IX.27, кончена в феврале 28 г. Третья начата 14.VI.28, кончена 17/30.IX.28. Четвертая — начата <?>, кончена, как записано выше, 17/30.VII.29.

Вчера взял из сейфа 10 000 франков.

«Человек и его тело — двое... Когда тело желает чего-нибудь, подумай, правда ли Ты желаешь этого. Ибо Ты — Бог... Проникни в себя, чтобы найти в себе Бога... Не принимай своего тела за себя... Не поддавайся беспрестанной тревоге о мелочах, в которой многие проводят большую часть своего времени...»

«Один из тех, которым нет покоя.

От жажды счастья...»

Кажется, похоже на меня, на всю мою

жизнь (даже и доньне). <...>

Перечитал свои рассказы для новой книги. Лучшее всего «Поздний час», потом, может быть, «Степа», «Баллада».

Как-то мне, — как бывает у меня чаще всего ни с того ни с сего, — представилось: вечер после грозы и ливня на дороге к ст. Баборыкиной. И небо и земля — все уже угрюмо темнеет. Вдали над темной полосой леса еще вспыхивает. Кто-то на крыльце постоянного двора возле шоссе стоит, очищая с голенищ кнутовищем грязь. Возле него собака... Отсюда и вышла «Степа».

«Поздний час» написан после окончательного просмотра того, что я так нехорошо называл «Ликой».

«Музу» выдумал, вспоминая мои зимы в Москве на Арбате и то время, когда однажды гостил летом на даче Телешова под Москвой.

В феврале 1938 г. в Париже проснулся однажды с мыслью, что надо дать что-нибудь в «Посл. н.» в покрытие долга, вспомнил вдруг давние зимы в Васильевском и мгновенно в уме мелькнула суть «Баллады» — опять-таки ни с того ни с сего.

IV 1.40. Grasse.

Вчера был Михайлов. <...> Они приехали в Ниццу, едут в По — тревожны, как все, — вот-вот выступит Италия.

Бегство («героическое!») французов и англичан из Dup-querque продолжается.

8. VI.

Начал сборы на случай бегства из Грасса. Куда бежать? Вера и Г. и М. говорят: «На ферму Жировых — там все-таки есть убежище, между тем как найти его где-нибудь в другом месте надежд почти нет». Я не верю, что там можно жить, — ни огня, ни воды, ни постелей... Не знаю, как быть.

Страшные, решительные дни — идут на Париж, с каждым днем продвигаются. <...>

9. VI.

Мы все отступаем.

Зацвели лилии, лючиоли летают уже давно — с самых первых дней июня.

Страшно подумать — 17 лет прошло с тех пор, как мы поселились в Грассе, в этом уди-

вительном поместье Villa Montfleury, где тогда как раз вскоре расцвели лилии! Думал ли я, что в каком-то Грассе протечет чуть не четверть всей моей жизни! И как я тогда был еще молод! И вот исчезла и эта часть моей жизни — точно ее и не бывало. <...>

Не мало было французов, которые начали ждать войны чуть не 10 лет тому назад (как мировой катастрофы). И вот Франция оказалась совсем не готовой к ней!

Да, а по привычке все еще идет в голову бог знает что. Вот вдруг подумал сейчас: имена, отчества, фамилии должны звучать в рассказах очень ладно, свободно, — например: Марья Викеитьевна, Борис Петрович...

22. V 11.40, понедельник.

Ничего не записывал с отъезда в Париж в мае. Приехал туда в одиннадцатом часу вечера 9-го (выехал 8-го, ночевал в Марселе, из М. утром). Вера была в Париже уже с месяц, встретила меня на Лионском вокзале. Когда ехали с вокзала на квартиру, меня поразило то, что *по всему* черному небу непрерывно ходили перекрещивающиеся полосы прожек-

торов— «что-то будет!» — подумал я. И точно: утром Вера ушла на базар, когда я еще спал, и вернулась домой с «Paris-Midi»: немцы ворвались ночью в Люксембург, Голландию и Бельгию. Отсюда и пошло, покатилося...

Сидели в Париже, потому что молодой Гавронский работал над моими нижними передними зубами. А алерты становились все чаще и страшней (хотя не производили на меня почти никакого впечатления). Наконец, уехали — на автомобиле с Жировым, в 6 ч. вечера 22-го мая. Автомобиль был не его, а другого шофера, его приятеля Бразоля, сына полтавского губернского предводителя дворянства: это ли не изумительно! — того самого, что председательствовал на губернских земских собраниях в Полтаве, когда я служил там библиотекарем в губернской земской управе.

23. VII.40.

<...> И в Париже все поражены, не понимают, как могло это случиться (это чудовищное поражение Франции).

24. VII.40.

Утром (не выспавшись) с Г. в Ниццу. <...> Завтрак с Алдановым в Эльзасской таверне. <...> В Ниццу съезжаются кинематографички — Алданов надеется на работу у них, как консультант.

25. VII.40.

<...> Устал вчера в Ницце. Верно, старею, все слабость. <.>

С Жировым доехали 23 мая до Макона. Оттуда ночью (3 1/2) на поезде в Cannes — ехали 12 часов (от Макона до Лиона в третьем классе — влезли в темноте — стоя, среди спящих в коридоре солдат, их мешков и т. п.).

По приезде домой с неделю мучились, хлопотали, отбивая Маргу от конц. лагеря (у нее немецкий паспорт).

10 июня вечером Италия вступила в войну. Не спал до часу. В час открыл окно, высунулся — один соловей в пустоте, в неподвижности, в несуществовании никакой жизни. Нигде ни единого огня.

Дальше — неделя тревожных сборов к выезду из Грасса — думали, что, может быть, на несколько месяцев — я убрал все наше жал-

кое имущество. Боялся ехать — кинуться в море беженцев, куда-то в Вандею, в Пиренеи, куда бежит вся Франция, вшестером, с 30 местами багажа... Уехали больше всего из-за Марги — ей в жандармерии приказали уехать из Alpes Mar. «в 24 часа!». Помогли и алерты, и мысль, что, возможно, попадешь под итальянцев. (Первый алерт был у нас в воскресенье 2-го июня, в 9-ом часу утра.)

3 июня Марга мне крикнула из своего окна, прослушав радио: «Страшный налет на Париж, сброшено больше 1000 бомб». 5-го июня прочитал в «Ed.», что убитых в Париже оказалось 254 ч., раненых 652. Утром узнал и по радио, что началось огромное сражение. <...> 6-го был в Ницце у Неклюдовых для знакомства с Еленой Александровной Розен-Мейер, родной внучкой Пушкина — крепкая, невысокая женщина, на вид не больше 45, лицо, его костяк, овал — что-то напоминающее пушкинскую посмертную маску. По дороге в Н<им> — барьеры, баррикады. <...>

Выехали мы (я, Вера, М., Г., Ляля и Оля) 16-го июня, в 10 ч. утра, на наемном, из Нима, автомобиле (2000 фр. до Нима). Прекрасный

день. Завтрак в каком-то городке тотчас за Бриньодем. В Нем приехали на закате, с час ездили по отелям — нигде ни одного места! Потом вокзал <...> — думали уехать дальше на поезде — невозможно, тьма народу — а как влезть с 30 вещами! Ходили в буфет, ели. Полное отчаяние — ночевать на мостовой возле вокзала! М. и Г. пошли искать такси, чтобы ехать дальше в ночь, — и наткнулись на русского еврея таксиста. Ночевали у него. 17-го выехали опять на такси в Тулузу и дальше, в Монтобан, надеясь там ночевать, а потом опять на Lafrançaise, возле которого ферма Жирова. Думали: в крайнем случае поселимся там, хотя знали, что там ни воды, ни огня, ни постелей. Плата до Lafr., — 2300 франков. Сперва широкая дорога в платанах, тень и солнце, веселое утро. Милый городок Люпель. Остановки по дороге военными стражами, проверки документов. Море виноградников, вдали горы. Около часу в каком-то городишке остановка <...>, подошел крестьянин лет 50 и со слезами сказал: «Вы можете ехать назад-армистис!» Но назад ехать было нельзя, не имея проходного свидетельства. Завтрак

под с. Этьен (?). Опять виноградники, виноградная степь. За Нарбоном — Иудея, камни, опять виноградники, ряды кипарисов, насаженные от ветра. <...> Мерзкая Тулуза, огромная, вульгарная, множество польских офицеров... (По всему пути — сотни мчащихся в автомобиле беженцев.) В Монтобанае — ни единого места. В сумерки — Lafrançaise — тоже. И попали к Грязновым...

28. VII.40. Воскресенье.

Читаю роман Краснова «С нами Бог». Не ожидал, что он так способен, так много знает и так занятен. <...>

2 часа. Да, живу в раю. До сих пор не могу привыкнуть к таким дням, к такому виду. Нынче особенно великолепный день. Смотрел в окна своего фонаря. Все долины и горы кругом в солнечно-голубой дымке. В сторону Ниццы над горами чудесные грозовые облака. Правее, в сосновом лесу над ними, красота зноя, сухости, сквозящего в вершинах неба. Справа вдоль нашей каменной лестницы зацветают небольшими розовыми цветами два олеандра с их мелкими острыми листьями. И одиночество, как всегда! И томительное ожи-

дание разрешения судьбы Англии. По утрам боюсь раскрыть газету.

Евреям с древности предписано: всегда (и особенно в счастливые дни) думать о смерти.

«Belligérants». Можно перевести старинным русским словом: *противоборники*.

Зажгли маяки. В первый раз увидал отсюда (с «Jeannette») Антибский: взметывается и исчезает большая лучистая золотая звезда.

29. VII.40.

Вчера еще читал «Вечерние огни» Фета — в который раз! Теперь, верно, уже в последний в жизни. Почти все из рук вон плохо. Многое даже противно — его старческая любовь. То есть то, как он ее выражает. Хорошая тема: написать всю красоту и боль такой поздней любви, ее чувств и мыслей при всей гадкой внешности старика, подобного Фету, — губастого, с серо-седой бородой, с запухшими глазами, с большими холодными ушами, с брюшком, в отличном сером костюме (лето), в чудесном белье, — но чувств и мыслей *тайных*, глубоко ото всех скрытых.

А у меня все одно, одно в глубине души:

тысячу лет вот так же будут сиять эти дни, а меня не будет. Вот-вот не будет.

Был в Cannes, хотел купаться и не купался — еще только начали ставить кабинки.
<...>

30. VII.40.

Все то же — бьют друг друга авионы. И немцы все пугают, пускают слухи, что они делают «гигантские приготовления» к решительной атаке.

Весть из Лозанны — о возможности выступления Америки. Нет, не выступит!

Прочел о том опыте, который сделали несколько лет тому назад два венских студента: решили удавиться, чтобы их вынули из петли за мгновение до смерти и они могли рассказать, что. испытали. Оказалось, что испытали ослепительный свет и грохот грома.

Смерть Алексея Ивановича Пушешникова (мужа моей двоюродной сестры Софьи Николаевны Буниной) весной 1885 г. Так помню эти дни, точно в прошлом году были (написаны в «Жизни Арсеньева»). Замечательней всего то, что мне и в голову не приходило, что и

я умру. Вернее — может быть, и приходило, но все-таки ничуть не касалось меня.

Вдруг вспомнилось: Москва, Малый театр, лестницы — и то очень теплые, то ледяные сквозняки. <...>

1. VIII.40. Grasse, а. т.

<...> Carlotti прописал постоянно носить очки (для дали, для чтения оставил те, что дал Pollac) и прикладывать утром и вечером очень горячие компрессы из чая: левый глаз слезится от утомления зрения. Постоянно носить очки не могу — буду чувствовать себя неестественно, поглупевшим. <...>

7. VIII.40.

Были с Верой в Ницце в американском консульстве. В кафе Casino с Цетлиными и минуту с Алдановыми (они пришли поздно).

9. VIII.40. Пятница.

<...> Алданов с самого приезда своего все твердит, что будет «гражданская война». Твердо решил уехать в Америку <...>
Цетлины тоже собираются. <...>

Ни риса, ни макарон, ни huile[32], ни мыла для стирки.

10. VIII.40.

Продолжается разграбление Румынии — румыны должны дать что-то еще и Венгрии.

8-го была огромная битва немецких и английских авионосов над берегами Англии.

Японцы, пользуясь случаем, придираются к Англии. Сталин — к Финляндии, Испания — к Англии (отдай Гибралтар).

Все растет юдофобство — в Румынии новые меры против евреев. Начинает юдофобствовать и Франция.

Олеандры густо покрылись цветами.

15. VIII.40. Католическое Успенье.

Немцы стреляют по Англии из тяжелых орудий. Англичане бомбардировали Милан и Турин. Болгарские и венгерские требования к Румынии. Румынский король будто бы намерен отречься и скрыться в Турции. <...>

17. VIII.40.

Проснулся в 6 1/2 (значит, по-настоящему в

5 1/2). Выпил кофе, прочитал в «Вестнике Европы» (за 1881 г., взял в библиотеке каннской церкви) «Липяги» Эртеля. Ужасно. Люба должна выйти за «господина Карамышева», камер-юнкера, богача, пошляка, проповедующего «верховенство» дворянства в России над всем, его опеку над народом — «на благо народу». Лунной ночью автор подслушивает разговор его и Любы из своего окна. <...>

Все утро все долины и горы в светлом паре. Неясное, слабо пригревающее солнце, чуть слышный горьковатый запах воздуха — уже осенний.

<...> огромный налет немцев («avec une précision admirable!»[33]) на Лондон, на берега Темзы — «все в дыму, в пламени». Кажется, и впрямь начинается.

Погода разгулялась, тишина, зной, торопливо, без устали, без перерыва точат-точат цикады у нас в саду.

Сейчас около 7 вечера. Были в городе за покупками. <...> Магазины почти пусты — все раскупалось последний месяц бешено. Уже исчезло и сало (масла нет давным-давно). Мыло для стирки выдают по карточкам малень-

кими кусочками, весят, как драгоценность. Осенью, когда исчезнут овощи и фрукты, есть будет нечего.

Днем начал перечитывать «Песнь торжествующей любви» — ноябрь 1881 г., «Вестник Европы». Сейчас кончил. Удивительно написано. Но опять то же чувство: мертво, слишком «великолепно», «слишком хорошо».

Вечер тихий, прекрасный. И опять все долины и горы в дымке.

Наши летчики во время прошлой «великой» войны: синяя куртка, серебряные погоны с черными орлами, черные широкие шаровары с красным кантом, узкие щегольские сапоги. Двое таких (молодых, красивых, страшно любезных) встретили в Киеве на вокзале Каменскую, с которой я ехал весной 16-го г. из Москвы в Одессу (в маленьком отдельном купе международного вагона).

18. VIII.40. Воскресенье.

<...> Англичане сообщают, что за 2 последних дня немцы потеряли 255 авионосов. Так что «великое нападение» кончилось неважно. И вот, вчера решено покончить с Англией.

«L'Ail, veut obtenir le blocus total des îles britanniques»[34]. Так и объявил вчера Берлин — официально: «il faut terminer cette guerre!»[35] — ни более, ни менее <...>

Ночи лунные, не яркие. Вчера было полнолуние.

19. VIII.40.

Вчера после полудня немцы опять бросали бомбы с авионо́в в окрестности Лондона. Англичане сообщают, что до 7 ч. вечера немцы потеряли 36 авионо́в. <...>

Итальянцы стараются — их газеты кричат, грозят: «L'armée All<Cemane> — est prête! L'Angleterre brûlera!»[36]

Шведский министр внутренних дел произнес речь насчет притязаний России на ост<ровную> часть Финляндии — «Швеция окажет Финляндии военную помощь». Окажет ли? Не верится.

Пухлая облачность, прохладно. Ночью на меня сильно дуло из раскрывающихся полотнищ занавеса — уже недели две сплю с открытым (в сторону Марсе́ля) окном.

Ждем к завтраку Самойловых.

Разговор с Самойловыми шел точно в советской России — все насчет того, как мы будем кормиться осень и зиму.

20. VIII.40.

Проснулся в 8, читал А. — вероятно, в десятый раз — удивительно! Можно перечитывать каждый год.

Как всегда, втайне болит сердце. Молился на собор (как каждое утро) — он виден далеко внизу — Божьей Матери и Маленькой Терезе (Б. М. над порталом, Т. в соборе, недалеко от входа, справа). Развернул Библию — погадать, что выйдет; вышло: «Вот я на тебя, гордыня, говорит Господь, Господь Саваоф; ибо наступит день твой, время, когда Я посету тебя» (Иер. 50, 31).

Вчера в «Ecl. du soir»: английское официальное сообщение: вчера (в воскресенье) вечером над Англией пролетело 600 немецких авианов, мы сбили всего за воскресенье более ста. Неужели правда? Дальше <...>: блокада Англии есть наказание за ее бесчеловечное ведение войны... Англия должна быть уничтожена как можно скорее — это она одна ме-

шает установлению долгого и прочного мира в Европе...

10 ч. Принесли «Eel.». Англичане отступили из Сомалии. Речь Булита, американского посла во Франции, — говорил в Вашингтоне, — что надо оказать помощь Англии, что, после победы над ней, немцы с Японией нападут на Америку. Канада и Соединенные Штаты заключили союз для защиты Северной Америки. Утка, — думаю, что утка, — будто возможно, что Черчилля заменит этот старый неугомонный подлец Ллойд Джордж. <...>

21. VIII.40

Вчера был в Cannes, хотел купаться, но встретил вдруг Адамовича — только несколько дней как в Ницце (т. е. демобилизован) — и просидел часа 1 1/2 с ним и Кантором в café «под платанами». Пригласил их к себе на завтрак во вторник 27-го.

Сейчас один в доме — «nos dames» уехали вчера к маркизе на ночевку. <...> Вера нынче тоже в Cannes <...>

Итальянцы трубят победу в Сомалии, она, по словам «Eel.», будто бы очень важна. Черчилль вчера сказал devant les communes[37],

что Англия должна готовиться к «а une campagne 1941-42». Соглашение Рузвельта с Канадой вызвало «*inquiétude au Japon*»[38], и последствием этого соглашения будет то, что теперь американские *destroyers* будут направляться в Канаду, а из Канады — в Англию. Так что *косвенно* Америка вступила в войну против немцев? <...>

В вечерней газете: Рузвельт опровергает слухи о посылке истребителей через Канаду в Англию; известие, что Троцкий умирает — кто-то проломил ему череп брусом в его собственном доме в Мексике. Прежде был бы потрясен злым восторгом, что наконец-то эта кровавая гадина дождалась окончательного возмездия. Теперь отнесся к этому довольно безразлично.

22. VIII.40.

Ночью сильный и очень прохладный ветер. Сейчас (11 ч.) солнце, но все еще шумит. В долине под Кабризом пожар в лесах — гигантский дым серо-молочно-рыжеватый медленно идет, поднимаясь, над долинами под Эстерелем. <...>

Убийца Троцкого какой-то Jacques Morton Vandenbretsh, родился в Тегеране и натурализованный бельгиец; он арестован; череп у Троцкого так проломлен, что виден мозг; Jacques слыл другом Троцкого и часто навещал его.

12 ч. 45 м. Слушал радио. Троцкий умер.

23. VIII.40.

Газета: итальянские газеты негодуют, что газеты швейцарские непочтительны к фашизму, к Германии, к итало-немецкому союзу, — тон угрожающий: эту моду требовать к себе почтения от всех стран и обуздывания свободы их печати ввела Германия.

— Томаты, которые стоили в Ницце в прошлом году 40, 60 сантимов кило, стоят теперь от 4 до 5 франков. <...>

Некролог Троцкого (Leiba Bronstein) писал кто-то очень осведомленный — кем? немцами?

Письмо из Ниццы <...>: Цакни посадили в острог за неимением carte d'id[39] и еще за какие-то «небылицы» — просит моей помощи, как «родного» его (а какой же я ему род-

ной, разведенный с его сестрой уже чуть не 20 лет тому назад?) — поручительства за него и еще чего-то, говоря о моем «добром сердце» — очевидно, денег, которых у меня нет.

Солнечно — и уже августовская и сентябрьская сухость в этом блеске. Все еще доносится мистраль.

Прочитал Лескова «Захудалый род» — очень скучно, ненужно. В той же книге «Овцебык» — очень хорошо.

В «Вестнике Европы» еще три очерка из «Зап. Степняка» Эртеля — все очень плохи. Лучше других «Поплёшка», но и тот нудный, на вечную тему тех времен о народной нищете, о мироедах и т. д. Впервые я читал этого «Поплёшка» больше полвека тому назад и навсегда запомнил отлично начало этого рассказа. <...> Молочный блеск — особенно хорошо. <...>

Лесные пожары возле Ниццы, под Тулоном. Вчерашний, недалеко от нас, еще совсем не потух.

Да, да, а прежней Франции, которую я знал 20 лет, свободной, богатой, с Палатой, с Президентом Республики, уже нет! То и дело мель-

кает это в голове и в сердце — с болью, страхом — и удивлением: да как же это рушилось все в 2 недели! И немцы — хозяева в Париже!

24. VIII.40

Немцы стреляли в четверг (позавчера) из орудий с французских берегов по Лондону. <...>

Тело Троцкого будет сожжено и «прах» будет брошен в море — по его завещанию. <...>

25. VIII.40. Воскресенье.

<...> Французское радио все чаще за последнее время клонит к тому, что необходим блок Германия — Италия — Франция. Нынче прямо сказано: «Без канцлера Гитлера невозможно устройство новой Европы и прочного мира». Что должен чувствовать П<етен>! А может, он ничего не чувствует...

Вчерашнее письмо Алданова: «Я получил вызов к американскому консулу в Марселе и предполагаю, что получена для меня виза в Соединенные Штаты. Пока ее не было, мы плакали, что нет; теперь плачем (Т. М. — буквально), что есть...» <...>

Поехали в Cannes. Нашел Цетлину в кафе. <...> Уговаривала, чтобы я серьезно подумал об Америке — «жить тут вы все равно не сможете». Сказала, что Авксентьев уже уехал, Вишняк и Руднев тоже уже получили визы. «Почему так скоро?» — «Американские социалисты ходили к самому Рузвельту, просили за социалистов во Франции...» Итак, наш второй исход, вторая эмиграция!

Погода все та же — горячее солнце и холодный ветер в тени. Олеандры с их мелкими, острыми, бледно-зелеными листьями, сплошь осыпанные розовыми цветами, уже скоро потеряют эти цветы — они стали подсыхать, кое-где чернеть, умирать.

Весь день сижу за своими набросками, заметками. <...>

27. VIII.40. Вторник.

Вчера завтракал в Cannes с Цетлиными и Алдановым. Цетлины и Алданов приехали к нам со мною к вечеру на обед и ночевку. Нынче у нас завтракали Адамович, Кантор, Цетлины и Алдановы.

Все уехали в 5 ч.

Офицеры бежали больше всего. «Лучше Гитлер, чем Блюм».

29. VIII.40. Четверг.

Немцы бомбардируют sans répit[40] порты и заводы англичан.

Из Виши: запрещение в свободной зоне спектаклей, galas, festivals.

М. А. говорил за завтраком у нас, что читал три тома генерала De Gaul (который сейчас в Англии и заочно присужден французским правительством — нынешним — к смертной казни) и был совершенно поражен как его литературным талантом, так и знанием Германии и предсказаниями насчет будущей войны Франции с Германией.

Кофе будут выдавать тоже по карточкам — 100 грамм в месяц на человека. Похоже и это на издевательство.

Как-то на днях ахнул, вдруг подумав: в первый раз в жизни я живу в завоеванной стране!

Читал эти дни в «Северном вестнике» (1897 г.) «Дневник братьев Гонкуров». Очень хорошо — кроме последних лет, когда Эдмон

стал писать сущий вздор (например, о русской литературе) и придавать до наивности большое значение тому перевороту во французской литературе, который будто он с братом совершил.

В одном месте говорит: «Книги никогда не выходят такими, какими задуманы». Правда, правда.

Следовало бы написать мой нелепейший роман с Кат. Мих. (Лопатиной), Новодевичий монастырь, Ново-Иерусалим... Еще — историю моих стихов и рассказов.

Суббота. 31. VIII.40

<...> Вчера был в Ницце. Завтракал, как всегда, в Эльзасской таверне, с безнадежной тоской в душе: вот еще год жизни прошел, и уже далекой кажется грустная прошлая зима, и нет несчастной, всегда бодро усмехающейся Ирины, и Цакни сидит в остроге (это с ними бывал я в этой таверне). <...>

На днях в «Ecl. de Nice» было большое пустое место — зачеркнута цензурой целая статья. Оказывается, <...> в Ницце было такое событие: стояла толпа в очереди, дожидаясь

выдачи горсточки кофе, а мимо проходил итальянский офицер с денщиком (очевидно, из оккупированной части Ментоны); из толпы стали кричать злобно и насмешливо: «эй, вы, макароны!», офицер ответил толпе тоже каким-то оскорблением, а кто-то из толпы дал ему пощечину, а его денщик застрелил этого кого-то...

День облачный. К вечеру так прохладно, что я надел теплую куртку.

Александр III умер в Ливадии в 2 ч. 15 мин. 20 октября 1894 г. (старый стиль). В тот же день на площадке перед церковью Малого дворца присягнула Николаю вся царская фамилия. Думал ли он, какой смертью погибнет он сам и вся его семья! И вообще, что может быть страшней судьбы всех Романовых и особенно старой царицы, воротившейся после всего пережитого опять в Данию, старухой, почти нищей, и умершей там! И чего только не пережил на своем веку я! И вот опять переживаю.

1. IX.40. Воскресенье.

Все увеличивающаяся «воздушная дуэль»

Германии и Англии. <...> Налеты на Лондон и на Берлин, алерты и там и тут по 2, 3 часа. Немцы подводят итоги воздушной войны за год: «мы уничтожили 7000 вражеских авианов, сами потеряли всего 1050». Довольно странно! <...>

Все-таки это правда — наступают *самые* решительные дни.

В прошлом году первое сентября было в пятницу. После завтрака все внезапно полетело к черту — радио известило, что немцы ворвались в Польшу и что завтра начнется всеобщая мобилизация во Франции. Г. и М. сошли с ума, кинулись собираться в Париж, и через час мы отвезли их в такси в Cannes на вокзал.

3. IX.40.

Были с В. у М-те Жако — просили ее написать нашей хозяйке — эта старая дура надеется кому-то сдать «Jeannette», совершенно не представляет себе жизнь во Франции. Облачно, у нас почти холодно, внизу было душно, как перед грозой. Ночи совсем свежие. <...> Годовщина объявления войны!

4. IX.40

<...> Письмо от Гребенщикова об Америке.
<...>

На днях прочитал (перечитал, давным-давно не перечитывал) «Мальву» и «Озорника» Горького. Вполне лубок. И хитрый, преднамеренный.

6. IX.40.

Отличный тихий солнечный день, хорошо выспался, неплохо себя чувствую, только втайне тревожусь, как всегда утром, — жду газету.

<...> От Карамзиной уже давным-давно ни слуху ни духу — и, верно, навсегда... А Чехия, Польша, Бессарабия, Дания, Голландия, Норвегия, Бельгия, прежняя Франция? Уму непостижимо! И изо дня в день, самыми последними словами, поносят в газетах и по радио сами себя французы — эту прежнюю, вчерашнюю Францию.

Пишу и гляжу в солнечный «фонарь» своей комнаты, на его пять окон, за которыми легкий туман всего того, что с такой красотой

и пространность <ю> лежит вокруг под нами, и огромное белесо-солнечное небо. И среди всего этого — мое одинокое, вечно грустное Я.

Принесли газету. <...> Речь Черчилля devant la chambre des communes[41]. За 2 последних месяца Англия потеряла 558 авионосов. За август погибло смертью среди гражданского населения 1075 человек, 800 домов разрушено. Атаки немцев в сентябре еще усилятся <...>

Радио в 12 1/2: нынче ночью большие демонстрации в Бухаресте против евреев и с требованием отречения короля; король ночью отрекся и намерен переселиться в Швейцарию. Все теперь во власти «Железной гвардии», т. е. немецких ставленников. На престол вступил Михаил.

7. IX.40.

Вчера в три часа поехал в Cannes, — автобус, как всегда, был набит народом до ужаса, — купался на пляже Grand Hôtel'я; кабинка стоит теперь уже 8 франков! Возвратясь, поднимался пешком, — такси уже совсем исчезли, — тяжкий труд! <...>

Декреты, декреты, декреты... Вчера особенно замечательный: запрещается пить кофе в кафе с 3 ч. дня. Да, если бы не немцы, уже давным-давно все летело бы к черту — «грабь награбленное!».

Дневник братьев Гонкур: почему Тургенев «милый варвар»? Какая французская тупость, какое самомнение! <...>

Радио 12 1/2: Антонеску послал телеграммы «великому фюреру» и «великому дуче». Так прямо и адресовался. Еще одно дельце Гитлер обделал <...>

Нынче ночью проснулся с мыслью, которая со сна показалась ужасной: «Жизнь Арсеньева» может остаться не конченной! Но тотчас с облегчением подумал, что не только «Евгений Онегин», но не мало и других вещей Пушкина не кончены, и заснул.

Уже давно не могу видеть без отвращения бород и вообще волосатых людей.

За мной 70 лет. Нет, за мной ничего нет.

8. IX.40. Воскресенье.

<...> Еще раз просматриваю «Красную лилию» Франса. Нет, это редкий роман, во мно-

гих отношениях прекрасный.

9 ч. вечера. Восьмичасовое радио: <...> «гигантская битва» немцев с англичанами, — тысяча авионон над Лондоном, сброшено *миллион* пудов бомб, сотни убитых и раненых, а англичане громят Берлин и северное побережье Франции. Уже два часа идет дождь, и через каждые пять секунд тяжело, со стуком потрясает небо гром. Открывал окно: ежесекундно озаряется все небо дрожащим голубым светом, дождь летит на голову. Осенью мы будем сидеть здесь как на «Фраме» Нансена. И что будем есть? Оливкового масла осталось у нас 5 бутылок — очевидно, на всю осень, а может, и зиму. И чем будем топить?

9. IX.40. Понедельник.

И в газете то же, что вчера говорили по радио — вчера после полудня был страшный налет на Лондон. <...>

Дым от пожаров в Англии виден с северных берегов Франции.

Вечернее радио: немцы *продолжают* свое дело. Англичане три часа бомбардировали Гамбург. В какой-то американской газете го-

ворят: «Это истинный ад на земле!»

Опять думал о том *необыкновенном* одиночестве, в котором я живу уже столько лет. *Достоинно написания.*

10. IX.40. Вторник.

Вчера свежая лунная ночь (уже половина луны). Прошлись с В. по Route Nap. <...> Раздумал ехать прощаться с Алдановым. Может быть, уже уехал. Посылаю письмо.

На олеандрах еще осталось много цветов.

11. IX.40. Среда.

<...> Нынче с утра вся долина как на ладони, черная, маленькая. Но день ясный, солнечный, только очень прохладный ветер в окна (с Италии). Беспокойство, хочется ехать на море — зачем, однако? Да и очень трудны теперь поездки. В. уехала в Cannes. <...>

Вечером: в ночь со вторника на среду алерт над Лондоном длился более 8 часов; англичане в эту ночь бомбардировали Берлин. <...>

Слушали Москву в 9 1/2 вечера (по-московски в 11 1/2).

12. IX.40.

Вчера в 6 ч. вечера Черчилль говорил перед радио: немцы всячески приготовились к высадке в Англии — нападение может произойти каждую минуту — и мы готовы к нему; каждая пядь земли, каждая деревня, каждая улица будет защищаться нами. <...>

Леонардо да Винчи, переселившись в Милан, предлагал свои услуги Людвигу Моро — между прочим, в качестве скульптора и живописца: «во всем этом, светлейший государь, я могу делать все, что только можно сделать, — *по сравнению с кем угодно*». Вот это я понимаю!

Пушкин незадолго до смерти писал: «Моя душа расширилась: я чувствую, что могу творить».

16. IX.40. Понедельник.

Итальянцы, в количестве 260 000 человек, вторглись в Египет. Англо-немецкая «дуэль» продолжается с большой силой. Леон Блюм посажен в *château de Chazeron*. За что? Я его всегда терпеть не мог, но сейчас все-таки воз-

мущен чрезвычайно. Ведь он был избран и правил «волею народа».

17. IX.40.

Все то же, непрекращающееся. Вчера вечером *пятый* алерт над Лондоном за день. В ночь на понедельник алерт длился 9 1/2 часов. <...> В Риме пишут, что главное наступление на Англию *будет только* весной.

Французское правительство обращается к стране с советом есть сыры, зелень и фрукты — в них есть все нужные витамины. Беда только в том, что сыров почти нет. Чудесный день.

19. IX.40. Четверг.

Позавчера ездил с М. и Г. в Cannes, бегали по городу, там и сям накупая сыры (дают по кусочку, все бросились их покупать, прочитав в «Ее!», что в сырах много всяких витаминов).

Вчера, как и предыдущие дни, — уже дней пять теперь, — пишу заметки в серой тетради. <...>

20. IX.40. Начал «Русю».

22. IX.40. Написал «Мамин сундук» и «По улице мостовой».

27. IX.40. Дописал «Русю».

29. IX.40. Набросал «Волки».

2. X.40. Написал «Антигону».

3.X.40. Написал «Пашу» и «Смарагд».

5. X.40. Вчера и сегодня писал «Визитные карточки».

7. X.40. Переписал и исправил «Волки».

10, 11, 12, 13.X.40. Писал и кончил (в 3 ч. 15-м.) «Зойку и Валерию».

14, 17, 18, 20,-21, 22.X.40. Писал и кончил (в 5 ч.) «Таню».

25 и 26.X.40. написал «В Париже» (первые страницы — 24.X.40).

27 и 28.X.40. Написал «Галю Ганскую» (кончил в 4 часа 40 м. дня 28.X).

23. X.40. (10.X.40. по старому стилю), 11 1/2 ч. вечера.

Шум дождя по крыше, шум и постукивание капель. Иногда все сотрясающие раскаты грома. Лежал, читал «Несмертельного Голована» Лескова, потом выпил полстаканчика

водки.

70 лет тому назад *на рассвете* этого дня (по словам покойной матери) я родился в Воронеже на Дворянской улице. Сколько лет еще осталось мне? Во всяком случае немного и пройдут они очень быстро, — давно ли, например, была осень в Beausoleil, где мы жили на этой горе, в этом высоком доме (Villa Dominante)! А прошло уже 2 года.

Проснулся поздно (в 9 ч.), с утра было серо и прохладно, потом весь день шел дождь. Все-таки мое рождение немного праздновалось — баранье плечо, вино (Марга подарила Поите-Канэ). Галина переписывала «Таню», которую я кончил вчера в 5 ч. вечера.

30. X.40.

С утра солнце, но из-за Альп над Вансом дождевые облака. К полудню распогодилось, прохладно. <...> Перетащил сейчас (три часа дня) к себе письменный стол из кабинета внизу. Тотчас после того началась ужасная кровь.

Все последнее время то дожди, то хорошая погода. 14 (1 октября, на Покров) Вера ездила

в Cannes к обеду (в страшный дождь) — ее рождение. Жалко ее, больную, слабую, нервную, утешающуюся чем бог даст, — жалко нестерпимо.

С месяц почти пишу не вставая, даже иногда поздно ночью, перед сном.

18 октября ездил с Бахраком (он живет у нас) в Ниццу — прощальное свидание в кафе под Казино с Алдановым (опять вернувшимся).

26 октября получена была от Зайцева открытка: 17 октября умер Н. К. Кульман (19 похоронен в St. Gen du Bois) — кончается, кончается наша прежняя, долгая и сравнительно благополучная эмигрантская жизнь. Да, 20 лет, треть человеческой жизни мы в эмиграции.

28 октября, вечером, узнали: началась еще одна война — Италия напала на Грецию, придралась к чему-то, о чем сама солгала, и напала.

9. XI.40.

Семь лет тому назад весть о Нобелевской премии. Был счастлив — и, как ни странно

сказать, молод. Все прошло, невозвратно (и с тяжкими, тяжкими днями, месяцами, годами).

10. XI.40.

Были чудесные, солнечные дни. Липа под моим окном стояла вся уже сквозная, светло-канареечная, небо в ней было яркое, бирюзовое (другая липа все еще густая, зеленая). Нынче ливень, холод.

11. XI.40.

Вчера поздно вечером кончил «Генриха» (начал 6, писал 7 и 9). Опять хороший, теплый день. В 2 ч. ходил в город, в банк, меняю последние тысячи. <...>

«Генриха» перечитал, кое-что черкая и вставляя, нынче утром. Кажется, так удалось, что побегал в волнении по площадке перед домом, когда кончил. Одно осталось — помощи и спаси, Господи.

За прошлую неделю очень много потерял крови, слабость и боль в темени.

14. XI.40.

Позавчера был в Ницце у доктора Карлотти — все слезится левый глаз. Прописал новые капли, сказал, что зрение у меня хорошее и что все-таки я должен постоянно носить очки (для дали, а работать в прежних).

Весь день перечитывал написанные за эту осень рассказы и клал их в две папки — одну надо положить в сейф.

Молотов был два дня в Берлине: решают новое устройство Европы «на развалинах старой», — как пишут итальянцы.

Умер и похоронен, как самый обыкновенный человек, забытый уже всеми Чемберлен.

Итальянцы пока напоролись на греков.

17. XI.40.

Все добываем пропитание, <...> добыли 1/2 бутылки прованского масла, 2 кило картошек, 30 яиц — и счастливы! Серо, дождь.

Среда, 20.XI.40.

<...> Прошу устроить мне денежную помощь у богатых шведов. Ничего, конечно, из этого не выйдет.

Пятница. 22. XI.40.

Письмо от Алданова из По: умер В. В. Руднев. Рак желудка. Очень жалко. Алдановы уезжают в Америку 25-го. Кончатся, кончатся наши эмигрантские годы!

Воскресенье. 24. XI.40.

<...> После захода — там, к Марселю: внизу темнеющее оранжево-красное, выше зеленоватое, прозрачное, еще выше — бесцветная синева.

Среда. 27. XI.40.

<...> Хочется писать, но чувствую себя тревожно, мысленно хватаюсь то за одно, то за другое.

4. XII и 9. XII.40.

Написал «Три рубля».

13. XII.40. Пятница.

<...> Италия объявила о своем вступлении в войну 10 июня в 6 часов вечера — уже отлично зная, что немцы разбили Францию, спускаются в долину Роны и угрожают «de

prendre à revers»[42] французскую Альпийскую армию. <...>

Нынче сообщение англичан, что они взяли в Африке 20 тысяч итальянцев в плен.

Греки бьют их (итальянцев) все время.

Статья в «Candide» о Блюме. При выборах все эти Блюмы делали черт знает что.

Перечитываю Чехова. Очень хороша «Жена». Какая была всяческая опытность у него уже в те годы! Всегда этому дивился и опять дивлюсь. Удивительны и «Скучная история» и «Дуэль».

С 28 ноября приказали опять полное затемнение. Ночи стоят лунные, прекрасные и очень холодные.

В конце ноября зверства в Румынии.

15. XII.40. Воскресенье.

Позавчера поразила ночь, — очень мало звезд, на юге невысоко лучистый, не очень ясно видный, голубыми бриллиантами играющий (только он один) Сириус, луна очень высоко, почти над головой, как золотое солнце (шаром), высоко на западе (очень высоко) золотой Юпитер, каменная неподвижность вер-

шин деревьев.

Вчера завтракали в Carlton'е у Гукасова. Богатство вестибюля, ресторанного зала, много богатых американцев и англичан. Меню как будто нет войны. Две бутылки бордо — рара Clement. Солнечно, прекрасно. Оптимизм Гукасова.

Нынче погода портилась.

Ничего не могу писать. <...>

Разгром итальянцев в Африке и в Албании продолжается. 26 000 пленных в Африке.

Вчера был у доктора Charlet насчет глаз. И он приказывает носить очки (для дали) *постоянно*.

Живем очень холодно и очень голодно.

Нынче неожиданная новость: выкинут Лаваль. Путаное, непонятное обращение к Франции в связи с этим маршала. Что-то случилось. Что?

18. XII.40. Среда.

Дня два было сыро и очень холодно. Вчера опять солнечно, тихо, свежо. Нынче тоже. И от этого, как часто, еще грустней. Страшное одиночество.

Уехал в Ниццу Бахрак.

Англичане и греки продолжают бить итальянцев — в Албании и в Африке. Позавчера московское радио сообщало вечером, что англичане взяли в Африке в плен 50 тысяч итальянцев.

20. XII.40.

Серо, очень холодно. В доме от холода просто невыносимо. Все утро сидел, не отдергивая занавеса в фонаре, при электричестве.

Едим очень скудно. Весь день хочется есть. И нечего — что кажется очень странно: никогда еще не переживал этого. Разве только в июне, июле 19 г. в Одессе, при большевиках.

22. XII.40.

Было солнце и облака. Прочел «Исполнение желаний» Каверина («советский»). *В общем плохо.*

Письмо от Алданова из Лиссабона (послано 13 декабря). Цетлины тоже в Лиссабоне, визу в Америку еще не получили. Алдановы уезжают 28 декабря.

30. XII.40.

Почти все время солнечно и морозно. Дня три лежал снег (с полвершка), в тени до сих пор не совсем стаял. В доме страшный холод, несмотря на горячее солнце (особенно у меня в фонаре). Голодно. <...> Ничего не могу писать. <...>

Рождество было нищее, грустное, — несчастная Франция!

Читал последние дни «Василия Теркина» Боборыкина.

Скука адова, длинно, надуманно. Продолжал перечитывать Чехова. За некоторыми исключениями, все совершенно замечательно по уму и таланту. «Иванов» совершенно никуда.

31. XII.40.

Гораздо теплее, даже некоторое весеннее тепло.

1941

1.1.41. Среда.

«Встречали» Новый год: по кусочку колбаски, серо-сиреневой, мерзкой, блюдечко слюнявых грибков с луком, по два кусочка жарен-

ного, страшно жестк<ого> мяса, немножко жареного картофеля (привез от N. N.), две бутылки красного вина и бутылка самого дешевого асти. Слушали московское радио — как всегда, хвастовство всяческим счастьем и трудолюбием «Советского Союза» и танцулька без конца.

Позавчера речь Рузвельта необыкновенно решительная <...> Нынче в газетах вчерашнее новогоднее послание Гитлера: «Провидение за нас... накажем преступников, вызвавших и ддящих войну... поразим в 41-м году весь мир нашими победами...»

Небольшой мистраль. Красота гор над Ниццей.

3.1.41.

С утра дождь и туман. После завтрака проглядывало солнце. К вечеру белые туманы в проходах Эстереля, море серо-свинцового тумана в долинах и горах в сторону Марселя.

Перечитывал «Петра» А. Толстого вчера на ночь. Очень талантлив!

6.1.41. Понедельник.

Дождь, сыро, серо, холодно, опять сижу при огне — «фонарь» с закрытыми ставнями, задернутый занавеской и ширмами. <...>

Англо-немецкая война все в том же положении — бьют друг друга, как каждый день всю осень. Осточертело читать и слушать все одно и то же.

Японский министр внутренних дел произнес речь на весь мир — «41 год будет самый трагический для человечества, если продолжится война и не будет возможности для Японии, Италии и Германии организовать новый мир ко всеобщему благополучию». Последнее особенно замечательно. <...>

Были по всей Европе страшные холода, снега. У нас тоже. Холод в доме ужасный, топить вволю нельзя, нечем: запасы наши угля и дров на исходе, дальше будут давать только 100 кило в месяц — насмешка! Все время ищем что купить! Но нечего! Находим кое-где скверный, сморщенный горох (и торговец и мы врем — «для посева»), ржавые рыбки, род stet. селедочек и сардинок — и все. Питаемся скверно. <...>

Ждали, что немцы пройдут через Болга-

рию в Грецию. В Средиземном море их авиация работает уже — помогает итальянцам.

Гитлер виделся с Муссолини — «приняты важнейшие решения».

Нынче вечером советское и швейцарское радио: англичане взяли Тобрук. Междоусобная война в Румынии.

25.1.41. Суббота.

Солнечный и уже теплый день. Вчера послал ав.-гесом. Цетлиным в Америку. Нынче — открытку Тане Муравьевой. Сходил опустить ее после завтрака в ящик возле женской обители (под Helios'ом). Сидел на подъеме к «Chaumière». Припекало. Тишина и грусть на душе.

При взятии Тобрука захвачено около 20 000 пленных. Англичане идут дальше к западу. <...>

Нападения на Англию притихли. «Затишье перед бурей»?

Хитлер, верно, уже понимает, что влез в опасную историю. Муссолини усрался — чем бы там дело ни кончилось. Возможно, что и Абиссинию потеряют.

9 января были на именинах у Самойлова. Прекрасный день. «Альпийский» вечер, когда не дали автоб<уса>.

Вечер 11 января: выделились белые дома внизу, в окрестности, потемнела зелень каменного дуба у ворот, желтая луна на бесцветно-синем небе; ночью: луна очень высоко, небо пустое, огромное, на юго-востоке лучисто играет чистый голубой бриллиант Сириуса.

26.1.41. Воскресенье.

Солнечный и теплый день. Ездил в Cannes на концерт Барсукова (с оркестром). Моцарт, Метнер. Потом пили чай в английской кофейне. <...>

28.1.41.

Дождь, сыро, холодно. Вера чем свет уехала за яйцами. Был о. Николай, святил дом. Зуров подпевал при службе.

29.1.41.

Последние деньги утекают. <...>

В Норвегии голод. В Финляндии голод, во

Франции голод. Вся Европа ввержена в смертоносные битвы, голод, рабство, муки.

30.1.41.

Холод, дождь, туман. 889 франков из Швеции — там читали что-то мое для радио.

31.1.41. Пятница.

Всю ночь проливной дождь и буря. И днем дождь. Ходили в город, истратили на покупки, — на всяческую дрянь, — больше 100 франков.

Чрезвычайно бодрое английское радио вечером.

1.2.41.

Неприменно изменить жизнь, — не пить на ночь, гулять днем и перед сном — видел нынче в 2 часа, когда пошли с Бахрахом в город, тонкий серп нового месяца, будут, значит, светлые ночи и может быть теплее, а то все был мрак и холод.

С утра было сумрачно, к десяти разгулялось — солнце и тепло. Груды кремовых курчавых облаков (снизу серых), навалившихся

на собачью гору над М.-Карло.

И в Африке и в Греции продвижение англичан и греков.

Гитлер в своей речи 30 января признал «неуспехи» итальянцев. Но это не важно, — все равно, сказал он, «en 1941 l'histoire connaîtra un ordre nouveau — il n'y aura plus de privilèges, plus de tyrannie... le monde aura le dernier mot»[43].

6 4. вечера. Полчаса тому назад над М.-К., над горами, было нечто гигантское, состоящее из белых клубов, по клубам озаренное красным. Что там, в северной Италии? Сейчас завешивал окна — высоко, высоко мутный серп месяца — и «синие тучи весны на западе будут видны» (Андреевский) — синие тучи на закате. Да, это уже весна. И сердце вдруг сжалось, — молодо, нежно и грустно, — вспомнилось почему-то время моей любви, несчастной, обманутой — и все-таки *в ту пору* правильной: все-таки в ту пору было *в ней*, тогдашней, удивительная прелесть, очарование, трогательность, чистота, горячность... Впрочем, все это очень плохо говорю.

3.2.41.

Мрачно, холод, дождь, Эстерель пегий от снега.

Был в городе. Каждое возвращение оттуда с тяжелой сумой через плечо (бутылка вина, фрукты, овощи) на нашу крутую гору — великая мука.

По французскому радио из Америки: вот-вот немецкое наступление на Англию, у немцев десятки тысяч авионоов, в первый налет пойдет 10 тысяч, во второй 18...

Перенесена ко мне сверху печка угольная, а моя, дровяная, наверх. Читаю Шаховского (о. Иоанна) «Толстой и церковь». Смесь неглупого и глупого.

Часто думаю с удивлением и горем, даже ужасом (ибо — не воротишь!) о той тупости, невнимательности, что была у меня в первые годы жизни во Франции (да и раньше) к женщинам.

То дивное, несказанно-прекрасное, нечто совершенно особенное во всем земном, что есть тело женщины, *никогда* не написано *ни кем*. Да и не только тело. Надо, надо попытаться. Пытался — выходит гадость, пош-

лость. Надо найти какие-то другие слова.

23.2.41. Воскресенье.

<...> Открытки от Веры Зайцевой и Каллаш. Вера: «Jisn gavno» (жизнь говно). «Va bien».

Каллаш: «Jrem brukvou. Va bien» («Жрем брюкву»).

6 1/2 вечера. Никогда за всю жизнь не испытывал этого: нечего есть, нет нигде ничего, кроме фиников или капусты, — хоть шаром покати!

24.2.41. Понедельник.

Был в Cannes. Пошел в порт, рестораник-бистро, прославившийся своей кухней среди богатых людей. Бедно, 4 столика, за конторкой седенькая жена хозяина, седой небритый хозяин, оба жили в России, вспоминают ее с восторгом и грустью, говорили (плохенько) по-русски. Жаловались: ни провизии, ни газа. Дали мне 1/2 бутылки очень хорошего красного вина, салат из свеклы и рубленые кусочки курицы (кости главным образом) и скверного «café national». Счет 44 франка. <...>

Ждал час билета и посадки в автобус (на горячем солнце). Дома гороховый суп и по 2 ломтика колбасы, сделанной из черт его знает чего. <...>

Кончил «Даму с камелиями». Ничуть не трогает, длинно, фальшиво.

25.2.41.

Солнце, но холодно. <...>

Комментарии к речи (воскресной) Муссолини и к речи (вчерашней) Гитлера. <...> Оба вождя выразили «уверенность в их конечной победе». Гитлер говорил, что *ni le general «hiver», ni le general «Fain»*[44] не страшны Германии и что с помощью Провидения англичане будут разбиты повсюду.

26.2.41. Среда.

Проснулся в 8, недоспал, но решил встать, начать раньше ложиться и вставать раньше. Очень тосковал вчера перед сном. Дикая моя жизнь, дикие сожители. М., Г. — что-то невообразимое. Утром туман, дождь. Так холодно, что мерзнут руки. <...>

Вечером. Синяя муть (грядой) на западе,

над ней муть красно-оранжевого неба, выше небо зеленоватое.

1.3.41.

Ровно год тому назад начал записывать более или менее правильно события дней. Целый год тому назад! И мог ли думать, в каком положении буду писать через год!

Проснулся в 8, выпил ту бурду, которая называется теперь кофеем, и опять заснул часа на полтора.

Серенький, сравнительно теплый день. Больна Вера, — насморк, кашель, легкий жар, а все-таки бегала нынче на базар.

В первом часу радио: Болгария присоединилась к Германии, Италии и Японии! Очевидно, немцы пойдут через нее на Грецию.

2.3.41. Воскресенье.

<...> Присоединение Болгарии к «тройственному пакту» подписано вчера в Вене в половине второго. <...> Серьезный денек был вчера!

4.3.41.

Немцы на границе Греции. Вечером английское радио: разрыв дипломатических отношений Англии с Болгарией, объявление Англией ей войны.

Ночь, молодая луна, мистраль.

6.3.41. Четверг.

Вчера завтракал в Cannes <...> Очень глупо кое-что болтал, выпил почти бутылку красного вина. Потом в английском кафе джин за кофе, потом в кафе против вокзала Vieux port. Приехав, накупил вина, опять пил. Проснулся ночью, лежал в страхе, что могу умереть.

День был солнечный и свежий. Нынче такой же.

Опять думал, посидев минут пять в саду и слушая какую-то <?> весеннюю птичку, что иного представления о Боге, кроме толстовского (его последних лет), не выдумаешь. Божественность этой птички, ее песенки, ума, чувств.

За последние дни уже много цветущей мимозы.

8.3.41.

Вчера весь день холод, дождь, туман, вечером долго гремел гром.

Переписал кое-что с истлевших, чудом уцелевших клочков моих записей конца 1885, начала 1886 и конца 1887 гг. и с болью сердца, поцеловав, порвал и сжег их. Продолжал вспоминать и записывать дни и годы своей жизни.

Нынче с утра тоже дождь, тучи, туман, сейчас (к вечеру) распогодилось. <...>

Принца Павла вызвал к себе Гитлер. Хозяин Европы вызывает! Что-то выйдет из этого вызова?

Англию, конечно, бомбардируют, — *изо дня в день, восьмой месяц!* Англичане отвечают тем же. Быстро продвигаются в Абиссинии. <...>

9.3.41. Воскресенье.

Так холодно, что затопил с утра. Облака, тучи, просветы, иногда дождь.

В газете ничего особенного. Бьют итальянцев в Албании и в Африке. Вчера в 10 ч. 50 вечера через Ниццу провезли в Испанию гроб

Альфонса. Несколько дней тому назад бывший румынский король бежал на автомобиле из Испании в Португалию («avec M^m Loupesku»). Короли бегают!

Три раза в жизни был я тяжело болен по 2, по 3 года подряд, душевно, умственно и нервно. В молодые годы оттого так плохо и писал. А нищета, а бесприютность почти всю жизнь! А несчастные жизни отца, матери, сестры! Вообще, чего только я не пережил! Революция, война, опять революция, опять война — и все с неслыханными зверствами, несказанными низостями, чудовищной ложью и т. д.! И вот старость — и опять нищета и страшное одиночество — и что впереди!

10.3.41.

С утра ужасный холод, дождь. Сейчас (4 ч. дня) с запада расчистило, солнце. Но ветер все еще с Италии, и если не повернет, не пойдет с Марсея, не жди ничего хорошего.

Очень грустное впечатление осталось и все еще держится от переписки с клочков моих полудетских записей (1885, 86, 87 гг.). Очень жалко себя.

11.3.41.

Солнечное утро, безоблачное небо. Сейчас десять минут двенадцатого, а Г. и М. и Бахрак только что проснулись. И так почти каждый день. Замечательные мои нахлебники. Бесплатно содержу троих, четвертый, Зуров, платит в сутки 10 франков <...>

Газеты: французское правительство решило ни в коем случае не дать Англии захватить французский флот и охранять торговые корабли военными. Значит, Англия намеревается захватить флот? «Лихорадочно» укрепляется Гибралтар.

Греческий премьер заявил, что Греция не уступит ни метра своей «священной земли». Значит, немцы готовятся вторгнуться в Грецию?

Югославия подписала с Германией пакт о ненападении и экономический. Рузвельт через югославского посла обратился к принцу Павлу, чтобы тот держался, ибо он, Рузвельт, уверен в победе Англии: это последнее сказано в швейцарской газете — во французских об этом ни слова.

После завтра<ка> по саду. Довольно жаркое солнце. Две ящерицы. Птичка сладко поет, уже по-весеннему. За домом цветет большое старое миндальное дерево — издали кажется, будто бумажными бело-розоватыми цветами. Зеленые подушки из мелкой зелени в мелких ярких фиолетовых цветах. <...>

12.3.41.

Вчера вечером был с Бахраком в городе, в том синема, где не был целых 7 лет с лишком, — после того дня, когда сидел в нем с Галиной и вдруг в темноте вошел Зуров и сказал: «телефон из Стокгольма, Нобелевская премия дана вам...» Вчера там пели, играли и плясали испанцы. Заснул в час, выпив — опять! — рюмок пять водки. Нынче проснулся в 8 1/2, но довольно хорошо себя чувствую. Солнечно, неяркий день, довольно тепло — уже по-весеннему. <...>

Газета: опять о том, что Франция будет защищать французскую Африку (офиц., из Виши). От кого защищать? <...> Возобновление греческой активности в Албании.

16.3.41. Воскресенье.

Все дни почти сплошь солнечные, но с прохладным ветром. Нынче теплее всего. Все дни ничего не делал — верно, от потери крови. Читал «Русскую мысль» за 904 и 905 г. <...> Рассказы в «Русской мысли» ужасны. Даже не ожидал, что это такое было. Вера уехала к Самойловым. Насчет питания совсем скверно. Я очень похудел. Что будет с Югославией, до сих пор неизвестно.

17.3.41.

Солнечно, облака, почти совсем тепло. Утром прогулка через лес.

Греки сообщают о провале итальянского наступления в Албании. Англичане продвигаются к Аддис-Абебе. <...> Гитлер опять говорил — «в день героев» (вчера). Опять обрисовал положение Германии после Версаля, опять сказал, что Германия «все-таки» не хотела войны, что ответственность за нее падает на таких господ, как Churchill, и на масонов и на евреев, затем «выразил веру» в победу Германии, в новое, прекрасное устройство Европы после победы <...> Говорил вчера вече-

ром и Рузвельт о помощи Англии, Греции и Китаю, — с необыкновенной твердо<стью> сказал, что Америка даст им «все, все»: «корабли, авионы, продовольствие, пушки, танки и т. д.» и что эта дача уже началась.

19.3.41.

Солнечный холодный день.

Вчера перед <пропущено слово> начал писать «Натали Станкевич», писал и после обеда почти до часу, пил в то же время коньяк, спал мало, нынче еще не выходил на воздух (а сейчас уже почти пять), все писал — словом, веду себя очень глупо, но, дай бог не сглазить, чувствую себя не плохо: верно, оттого, что принимаю уже дней пять Pancreinol, по три ампулы в день.

Вечер. Обед: голый гороховый суп, по две ложки шпинату, варенного в одной воде и ничем не приправленного, по одной кудре такой же цветной капусты, по 5 фиников. <...>

В каких страстных родах двух чувств — ненависти к врагам и любви к друзьям — живу я почти непрерывно уже более четверти века, — начиная с 14-го года!

24.3.41.

Сейчас, в 10 вечера, проветривал в темноте комнату, стоял возле открытого окна — дружно орут первые лягушки. Весна. Все последние дни солнечно, но все еще прохладно не на припеке. Все дни сидел почти не вставая, писал «Натали».

4. IV.41. Пятница.

В шесть вечера кончил «Натали». Серо, холодный ветер, то и дело по стеклам дождь.

Переворот в Югославии, взошел на престол Петр II, Павел бежал в Афины. Озлобление против немцев (по газетам) — страшное. <...>

31 марта послал заказное в Виши насчет денег мне из Белграда и такое же грасскому сборщику податей о своих доходах за 40-й год — не показал, разумеется, ничего. <...>

7. IV.41. Понедельник.

Вчера в 12 1/2 дня радио: немцы ночью вторглись в Югославию и объявили войну Греции. Начало страшных событий. Сопро-

тивление сербов будет, думаю, чудовищное. И у них 7 границ и побережье!

В 4 поехал в Cannes, отвез Барсукову, едущему в Америку, пакет с рукописями всей своей новой книги — кроме «Натали», для передачи Алданову. Второй отдел кончается 185-й страницей. <...>

Забыл: вчера же другая огромная весть: англичане взяли в субботу вечером Аддис-Абебу. <...>

11. IV.41. Пятница (Католическая Страстная).

Проснувшись около 8, лежал, покорно думая: ну, что ж, если даст Бог веку, надо жить, смирившись. <.>

В 10 прошелся по Route Napoleon. Полнолуние, вся долина в тонком тумане, во впадинах полосы бело-голубого тумана.

Еще раз (кажется, окончательно) перечитал (днем) «Натали», немного почеркал, исправил конец последней главы. <...>

Пишу в первом часу ночи, очень усталый и грустный, в ожидании, что скажет английское радио (слушает Бахрак).

12. IV.41.

Солнечное утро, но не яркое, не ясное, облака.

Австрия, Чехия, Польша, Норвегия, Дания, Голландия, Бельгия, Люксембург, Франция, теперь на очереди Сербия и Греция — если Германия победит, что с ней будет при той ненависти, которой будут одержимы к ней все эти страны? А если не победит, то дальше и думать страшно за немецкий народ. В Белграде, пишут газеты, сейчас *тысячи* трупов под развалинами — простят это сербы? Да, еще Румыния, Венгрия, 13 стран!

18. IV.41.

<...> Избегаю читать газеты и слушать радио. <...> По огородам уже давно висят подушки мелких фиолетовых цветочков, зацвела сирень, иудино дерево, каштанчик весь в нежнейшей зелени, рядом деревцо все в зеленовато-коричневой листве и розовых цветах — нарядно удивительно.

В полдень радио: югославская армия сдалась «*sans conditions*»[45].

20. IV.41. Св. Христово Воскресение.

Христос Воскресе, помоги Господи!

С утра пухлые облака, солнце, сейчас (полдень) серо, тихо, неподвижно. Дубы уже дымчато засерели зеленью.

Тобрук еще держится, греческий флот тоже. <...>

23. IV.41. Среда.

<...> 34 года тому назад уехали в этот день с Верой в Палестину. Боже, как все изменилось! И жизни осталось на доньшке.

Радио, вальс, который играли в Орле на балах и в городском саду. <...>

27. IV.41. Воскресенье.

В шестом часу вернулись с Верой от Самойловых — завтракали (курица под белым соусом). С утра солнечно, но дуло холодным ветром, вроде мистралья.

Г. сказала: слушали радио — на Акрополе немецкий флаг. Вот тебе и Англия. Сейчас (около шести) тихо, слабое закатное солнце по равнине, все неподвижно. И так же непо-

движно, грустно-покорно на душе.

Слух, что умер Шмелев.

Нет больше ни Югославии, ни Греции. Все погибло в один месяц.

2. V.41.

Солнце, довольно слабое, облака.

Начал еще раз перечитывать «Темные аллеи». *Перечитал и кое-где почеркал весь первый отдел.*

В пятом часу чуть не час гроза: фиолетовое с белым полированным блеском мелькание, затем, через несколько секунд, удары с затяжкой, разрывы, тяжкий стук, дребезг стекол и раскаты с одной стороны неба на другую, отходящее шипение.

12 тысяч немцев с танками и пр. в Финляндии — это в швейцарской газете — будто бы идут на отдых из Норвегии. Предостережение Сталину? В пять минут возьмем Птб., ежели ты...?

13 мая 41.

<...> Ночью вчера английское радио: улетел, сбежал Hess, упал на парашюте в Англии,

сломаю себе ногу. Непонятная история. <...>

Был дождь и гроза. Серо, влажно. Птицы, соловей.

Мой вес 10 июня 40 г.: 72–71. <...>

Ходили в город, добывали папиросы. Очередь, хвосты Серый табак стоит уже 6 франков.

14. V.41. Среда.

<...> Вечернее русское радио: в Швеции скоро не будет мяса. Да, через полгода вся Европа — и Германия в том числе — будет оклеветать с голоду. «Nouvelle Europe»!

Америка, очевидно, вот-вот войдет в войну.

Жалкая посылка (нынче утром) из Португалии: колбаса, пакетик картофельной муки, 2 маленьких плитки шоколада, пакетик чаю — все самого дрянного качества. Но и то праздник!

16. V.41.

Был вчера с Бахраком в Cannes, сидели с Кантором в «Clarige'e», потом в кафе «Пикадилли». Съели с радостью и удивлением по 2

бутерброда — с яйцом и с сардинкой. Красавица в платье с маргаритками — маргаритки по красной блузке и маргаритки по синей юбке. <.>

17. V.41. Суббота.

Мутный день с ветром. Письмо от П. Б. Струве из Белграда — от 1 апреля. <...>

Скучно — и все дивишься: в каком небывало позорном положении и в каком голоде Франция!

22. V.41. Четверг. Католическое Вознесение.

<...> С Ривьеры высылают куда попало 2 тысячи евреев. Перед завтраком заходил к Полонским в Hôtel Victoria на Victor Hugo. Когда-то жил тут Боборыкин, жил в ту зиму, когда мы с Найденовым были в Ницце. <.> Кончил перечитывать «Madam Bovary», начал перечитывать «Былое и думы». У Герцена много очень скучно. Перечитываю, скорее всего, в последний раз в жизни — немного мне осталось лет. <...>

Почти 12 ч. ночи (по новому времени). Днем было голодно, хочется спать, но может

быть, дождусь английского полночного радио.

Лягушки, сыро, облака и звезды. Вот уже скоро 2 года — ни одного немецкого поражения!

25. V.41. Воскресенье.

Будто бы потоплено в Средиземном море много английских военных судов и в Атлантическом океане самое большое. На Крите бои еще идут.

«День матерей». Чуть не весь день этот грасский колокольный звон (как часто в мае). Погода к вечеру немного портится — ветер пошел с Италии. Множество роз у нас в саду — белых, розовых, темно-красных.

В. принесла утром кусок белого хлеба — выдавали бесплатно, по карточкам — хлеб из белой муки, подаренной Францией Америкой. Чудесный хлеб! Мы едим отвратительный, кислый, желто-серый.

5. VI.41.

<...> Слабость, сонливость, подавленность. Все гадают: что дальше? Кипр?

Маки вдоль стены тисов перед нашей часовней — яркий огненный цвет (на солнце с оранжевым), их легкость. В саду много роз: чайные (палевые), белые с зеленоватым оттенком. Палевые, высыхая, желтеют (цвет желтка).

12. VI.41

Ездил в Ниццу, завтракал с Еленой Александровной фон Розен-Мейер, рожденной Пушкиной — дочь А. А. Пушкина, родная внучка Александра Сергеевича.

15. VI.41.

Вчера у нас завтракала и пробыла до 7 вечера Е. А., эта внучка Пушкина.

Неделю тому назад англичане начали наступление на Сирию.

16. VI.41. Понедельник, вечер.

Прошлый год мы в этот вечер были в Ниме, по пути куда-то к черту на рога.

Презрение первых христиан к жизни, их отвращение от нее, от ее жестокости, грубости, животности. Потом варвары. И уход в пе-

щеры, в крипты, основание монастырей... Будет ли так и в 20, в 21 веке? <...>

21. VI.41.

Везде тревога: Германия хочет напасть на Россию? Финляндия эвакуирует из городов женщин и детей... Фронт против России от Мурманска до Черного моря? Не верю, чтобы Германия пошла на такую страшную авантюру. Хотя черт его знает. Для Германии или теперь, или никогда — Россия бешено готовится.

Послал телеграмму Алданову: «Pas nouvelles ni argent»[46]. 12 слов, 77 франков.

В городе купили швейцарские газеты: «отношения между Германией и Россией вступили в *особенно острую фазу*». Неужели дело идет всерьез?

С некоторых пор каждый день где-то в Грассе ревет корова. Вспоминается Россия, ярмарки. Что может быть скучнее коровьего рева!

Одиннадцатый час вечера: швейцарское радио о падении Дамаска.

Туманный вечер, еще не совсем стемнело

(ведь наши часы на 2 часа вперед), множество лючиолей: плывут вверх, вниз, вспыхивают желто-зеленовато, гаснут и опять вспыхивают; от них в деревьях, в тени темнее, таинственнее.

22. VI.41.

С новой страницы пишу продолжение этого дня — великое событие — *Германия нынче утром объявила войну России* — и финны и румыны уже «вторглись» в «пределы» ее.

После завтрака (голый суп из протертого гороха и салат) лег продолжать читать письма Флобера (письмо из Рима к матери от 8 апреля 1851 г.), как вдруг крик Зурова: «Иван Алексеевич, Германия объявила войну России!» Думал, шутит, но то же закричал снизу и Бахрак. Побежал в столовую к радио — да! Взволнованы мы ужасно! <...>

Тихий, мутный день, вся долина в беловатом легком тумане.

Да, теперь действительно так: или пан, или пропал.

23. VI.41. Понедельник.

В газетах новость пока одна, заявление наступающих на Россию: это «la guerre sainte pour preserver la civilisation mondiale du danger mortel di bolchevisme»[47].

Радио в 12 1/2 дня: Англия вступила в военный союз с Россией. А что же Турция? Пишут, что она останется только «зрительницей событий». <...>

Мутный, неподвижный день.

24. VI.41.

Ночью болела голова и горло. Прекрасное тихое утро. И позавчера и вчера Россию в 10 1/2 вечера уже не слышно.

Письма Флобера из Египта (1850 г.) превосходны. Вообще, совершенно замечательный был человек.

Весь день лежу и читаю. 37 и 2.

Начал читать (с конца) рассказы Левитова, прочел (вернее, просмотрел) уже страниц 300 — совершенно нестерпимо, пошло и бездарно до тошноты. Но среди всего этого «Горбун», который очаровал меня лет 55 тому назад.

«Горбуна» писал точно другой человек. И

теперь я опять испытал некоторое очарование. И замечательно: с изумлением увидел, что много мест и фраз я помню с тех пор чуть не наизусть.

Утром в газетах первое русское военное сообщение: будто бы русские уже бьют немцев. Но и немцы говорят, что бьют русских.

Опять весь день думал и чувствовал: да что же это такое — жизнь Г. и М. у нас, их злоба к нам, их вечное затворничество у себя! И вот уже третий год так живут!

29. VI. 41

Послал Олечке открытку:

*С постели рано я вскочил:
Письмо от Оли получил!
Я не читал и не молчал,
А целый день скакал, кричал:
«Как наша Оля подросла!
Переросла она осла!
А ведь не маленький осел —
Он ростом выше, чем козел.
Потом смотрите, как она
Ужасно сделалась умна!
Должно быть, очень хорошо
Сдала экзамен на башо*

*У кур и кроликов своих,
Когда зимой кормила их!»
Но оказалось, что во сне
Вся эта глупость снилась мне,—
Что я письма не получал
И не скакал и не кричал...
И так обиделся я вдруг,
Что посинел и весь распух.*

30. VI.41.

<...> И вообще становлюсь все грустнее и грустнее: все, все давит мысль о старости. <...>

Итак, пошли на войну с Россией: немцы, финны, итальянцы, словаки, венгры, албанцы (I) и румыны. И все говорят, что это священная война против коммунизма.

Швейцарские газеты уже неинтересно читать.

В двенадцатом часу полиция. Рустан с каким-то другим. Опрос насчет нас, трех мужчин, кто мы такие, т. е. какие именно мы русские. Всем трем арест при полиции на сутки — меня освободили по болезни, Зурова взяли, Бахрак в Сannes, его, верно, там арестовали. Произвели осмотр моей комнаты.

Рустан вел (себя) удивительно благородно.

Во втором часу радио: Франция прервала дипломатические отношения с Россией ввиду ее мировой коммунистической опасности.

8 часов вечера. Был др. Deville, осматривал меня, Веру и Маргу.

Часа в три приехал из Cannes Бахрак, пошел в полицию и должен провести там ночь, как и Зуров. А может быть, еще и день и ночь?

На душе гадко до тошноты.

Слухи из Парижа, что арестован Маклаков (как и все, думаю).

Радио — немцы сообщают, что взят Львов и что вообще идет *разгром* «красных».

Поздно вечером вернулись М. и Г., ходившие в полицию на свидание с З. и Б., которым отнесли кое-что из еды и для спанья. Оказалось, что всех арестованных русских (вероятно, человек 200!300) отвезли в город в казармы; М. и Г. пошли туда и видели во дворе казармы длинную вереницу несчастных, пришибленных (и в большинстве оборванных) людей под охраной жандармов. Видели Самойлова, Федорова, Тюкова, взятых с их ферм, брошенных у некоторых, несемейных, на пол-

ный произвол судьбы со всеми курами, свиньями, со всем хозяйством. Жестокое и, главное, бессмысленное дело.

1. VII.41. Вторник.

С горя вчера все тянул коньяк, ночь провел скверно, утром кровь. Вера бегала в город покупать кое-что для наших узников, потом была в казарме (это километров 5, 6 от юрода туда и назад). Видела З. и Б. Они ночевали на полу, вповалку со множеством прочих.

Вчера перед вечером и весь вечер грохотало громом. Нынче с утра солнечно, с полудня тучки, редкий дождь изредка. На душе тупая тошнота. Валяюсь и читаю Флобера (его письма 70-го года).

В Эстонии уже горят леса. Думаю, русские будут жечь леса везде.

Вечер, 9 1/2, т. е. по-настоящему 7 1/2. Мутно, серо, мягко, все впадины долины в пологах белесого дыма — очень тихо, дым от вечерних топок не поднялся.

Не запомню такой тупой, тяжелой, гадливой тоски, которая меня давит весь день. Вспомнилась весна 19-го года, Одесса, больше-

вики — очень похоже на то, что тогда давило.

Наши все еще в казарме. Г. и М. были там вечером, видели Б., З., Самойлова, Федорова — этот о своей собаке: «нынче моего сукина сына еще покормят, а завтра? Издохнет сукин сын!» Город прислал в казармы кровати, будет кормить этих узников. Большое возмущение среди французских обывателей тем, что делается.

Как нарочно, читаю самые горькие письма Флобера (1870 г., осень, и начало 1871 г.).

Страшные бои русских и немцев. Минск еще держится.

Желтоватая, уже светящаяся половина молодого месяца.

Да, опять «Окаянные дни»!

2. VII.41.

Проснулся в 6, очень плохо себя чувствуя. В. встала еще раньше и ушла — в казарму, очевидно. Заснул до 8 1/2, сладострастные сны. В 9 телеграмма М. от кого-то. Г. вошла, прося 5 франков для телеграфного мальчишки, и сказала, что сами русские только что объявили, что они сдали Ригу и Мурманск.

Верно, царству Сталина скоро конец. Киев, вероятно, возьмут через неделю, через две.

Приезд в Париж 28 марта 20 г., каштаны, новизна и прелесть всего (вплоть до колбасных лавок...). Какая была еще молодость! Праздничные дни были для всех нас.

3. VII.41.

Часов в 8 вечера вернулись из казарм Бахрак и Зуров. Там было все-таки тяжело — грязь, клопы; спали в одной камере (правда, большой) человек 30. Сидели и ждали опросов. Но никто ничего не спрашивал. А нынче вдруг приехала какая-то комиссия, на паспортах у всех поставила «Составлено пустое место» и распустила всех. Глупо и безобразно на редкость.

5. V 11.41. Суббота.

С утра довольно мутно и прохладный ветерок. Сейчас — одиннадцатый час — идет на погоду. И опять, опять, как каждое утро, ожидание почты. И за всем в душе тайная боль — ожидание неприятностей. Изумительно! Чуть не тридцать лет (за исключением десяти,

сравнительно спокойных в этом смысле) живешь в ожидании — и всегда в поражении своих надежд!

Пришла газета. Немцы: «*сотни тысяч трупов красных на полях сражений...*» Русские: «*тысячи трупов немцев на полях сражений...*»

«Блажен, кто посетил сей мир». На мою долю этого блаженства выпало немножко много! J'en ai assez![48]

6. VII.41.

Неподвижный день с пухлым облачным небом.

Вчера письмо от Andre Gide (он в Gabris'e), беспокоится за меня в связи с арестами русских. Очень меня тронул. Нынче ответил ему.

Ожидания! Жизнь вообще есть почти постоянное ожидание чего-то.

Читаю «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» Т. А. Кузминской. Очень много пустяков, интересных только ей.

Противно — ничего не знаешь *толком*, как идет война в России.

Английское радио: Идеи сказал, что через

2 недели произойдет нечто такое, что поразит весь мир.

Новая мудрая мера: высылают, — вернее, рассылают, куда попало и неизвестно зачем, англичан. М-ме Жако, прожившая в Грассе всю жизнь, должна уехать с детьми (и бросить весь свой дом) в какое-нибудь глухое место из тех шести, что ей предложили на выбор — в горах выше Грасса и еще где-то.

8. VII.41. Понедельник.

<...> Ездил один в Cannes. Купался. Жара, когда вышел из дому на автобус, страшная. На берегу песок как огонь.

Сидел в «Клэридже» — пустота, скука. Послал Олечке открытку:

*Пишу тебе два mots,
Целую за письмо,
За чудную картинку,
Где Ваня кормит свинку.*

В сумерки началась гроза, все увеличиваясь, все больше трепеща, дергаясь и вслед за тем на мгновение все открывая и заливая бледно-сиреневым светом; все усиливались и учащались удары грома, иногда совершенно

оглушительные. Так и заснул под эти удары (около 12). Уже шумел ливень, точно заливая огонь молний (необъятных полетов, при которых иногда над Cannes в полнеба сверкала, извиваясь, огненно-золотистая змея).

9. VII.41. Среда.

С утра серо и прохладно. Потом только серо, стало теплей. Сбежал в город, купил бутылку джину (французского) и 4 полбутылки коньяку. Сейчас около 5 часов. В газетах о том, как бешено, свирепо бьются русские.

11 ч. вечера. Мутная невысокая луна, кусочек розового моря вдали за Cannes. Лягушки, серо, прохладно.

13. VII.41. Воскресенье.

Прохладно, слабое солнце (утро).

Взят Витебск. Больно <...> Как взяли Витебск? В каком виде? Ничего не знаем! *Все* сообщения — с обеих сторон — довольно лживы, хвастливы, русские даются нам в извращенном и сокращенном виде.

М. и Г. были на «Казбеке». Генерал Свечин говорил, что многие из Общевойнского Союза

предложили себя на службу в оккупированные немцами места в России. Народу — полно. Страстные аплодисменты при словах о гибели большевиков.

14. VII.41. Понедельник.

Немцы говорят, что уже совсем разгромили врага, что взятие Киева — «вопрос нескольких часов». Идут и на Петербург.

Отличная погода, чувствую себя, слава богу, не плохо. В городе все закрыто — праздник, «взятие Бастилии», но ни танцев, ни процессий...

Вчера еще сообщено о подписании военного союза между Россией и Англией. В газетах об этом только нынче. Немецкие сообщения оглушительны.

17. VII.41. Четверг.

<...> купил «Ecl. du Soir»: «Смоленск пал». Правда ли?

21. VII.41. Понедельник.

<...> Кто-то писал месяца 1 1/2 тому назад, что умер В. В. Барятинский. Вспоминаю, как он приехал в Париж лет 20 тому назад. Слухи,

что арестованы Деникин и Евлогий.

24. VII.41. Четверг.

Мутный день. Ночью много спал.

Третий раз бомбардировали Москву. Это совсем ново для нее!

Газеты, радио — все брехня. Одно ясно — пока «не так склалось, як ждалось».

29. VII.41. Вторник.

Вчера купался. Зеленая, чистая, довольно крупная волна. И опять, опять изумление: ничего нигде во всем городе — куска хлеба не купишь. Выпил на голодный желудок крохотную бутылочку лимонного сока.

Вчера и сегодня все время читал первый том рассказов Алешки Толстого. Талантлив и в них, но часто городит чепуху, как пьяный.
<...>

2. VIII.41.

Серо, ветер, после полудня дождь от времени до времени. <...>

Вере, с которой вчера дошел до Грасса, после Cannes было плохо. Худеет и стареет ужас-

но.

Опять, опять перечитал за последние 2 дня 1-й том «Войны и мира». Кажется, особенно удивительна первая часть этого тома.

3. VIII.41. Воскресенье.

Был с М. и Г. у Самойловых. Очень сытный завтрак. Ел с дикарской мыслью побольше наесться.

Читал і книгу «Тихого Дона» Шолохова. Талантлив, но нет словечка в простоте. И очень груб в реализме. Очень трудно читать от этого с вывертами языка, с множеством местных слов.

С утра хмурилось. Потом солнце, но с тучами. Было душно, чувствовал себя тупым и слабым.

В газетах все то же и вся та же брехня. <...>

6. VIII.41.

Сейчас 3 часа, очень горячее солнце. Юг неба в белесой дымке, над горами на востоке кремовые, розоватые облака, красивые и неясные, тоже в мути. Там всегда моя сладкая мука. <...>

7. VIII.41. Четверг.

С утра нечто похожее на утро начала русской осени — небольшая свежесть в воздухе, горьковатый запах дыма, легкий туман в долине.

Днем совсем распогодилось, но прохладный ветер.

Немецкая большая сводка: чудовищные потери русских людьми и военным материалом. «Полная победа» немцев.

10. VIII.41

Был с Б. в J. les Pins. Взял 1000 франков у Левиана.

На солнце зной, в тени почти холодный ветер. Опять дивился красоте залива, цветистости всего.

По немецким сообщениям положение русских без меры ужасно.

Уже 2 воскресенья нет почты по утрам: воскресная доставка запрещена правительством.

3. был у Тюкова. Вернулся в восторге, в страшной бодрости. Ничего не поймешь I

Русские уже второй раз бомбардировали Берлин.

Что-то очень важное решается в Виши.

12.8.41.

Погода все последнее время все-таки неважная. Солнце, облака, ветер с востока. Печет — и прохладный ветер.

«Politique Bulgare. Mot d'ordre: lutter contre le boïchevis-me!»[49]

Страна за страной отличается в лживости, в холопстве. Двадцать четыре года не «боролись» — наконец-то продрали глаза. А когда ко мне прибежал на Belvédère сумасшедший Раскольников с беременной женой (бывший большевицкий посланник в Болгарии), она с восторгом рассказывала, как колыбель их первенца тонула в цветах от царя Бориса. <...>

Вести с русских фронтов продолжаю вырывать и собирать.

Кончил «La porte étroite» Gide'a[50]. Начало понравилось, дальше пошло что-то удивительно длинное, скучнейшее, совершенно невразумительное. <...>

«Москва под ударом» Белого:

— За сквером просером пылел тротуар... — там алашали... — Пхамакал и пхымкал... — Протух в мерзи... — Рукач и глупач... — И так написана вся книга.

Да, не оглядывайся назад — превратишься в соляной столп! Не засматривайся в прошлое!

Шестой (т. е. четвертый) час, ровно шумит дождь, сплошь серое небо уже слилось вдаль с затуманенной долиной. И будто близки сумерки.

Семь часов, за окнами уже сплошное, ровное, серое, тихо и ровно шумит дождь. Уже надо было зажечь электричество.

22.8.41. Пятница.

В прошлую пятницу (15, католическое Успенье) был в Cannes. Уже не помню, купался ли. Возвратясь, шел домой, сидел, смотрел на горы над Ниццей — был прекраснейший вечер, горы были неясны, в своей вечной неподвижности и будто бы молчаливости, задумчивости, будто бы таящей в себе сон, воспоминания всего прошлого человеческой средиземной истории.

Прочел в этот вечер русское сообщение: «мы оставили Николаев». <...>

Рузвельт сказал, что, если будет нужно, война будет и в 44 году.

Сейчас (около полудня) газета: итальянские газеты пишут, что война будет длиться 10 лет! Идиотизм или запугивание? Да, Херсон взят (по немецкому сообщению), Гомель тоже (русское сообщение).

Война в России длится уже 62-й день (нынче).

Олеандры в нынешнем году цветут у нас (да и всюду) беднее — цвет мельче, реже. И уже множество цветов почернело, пожухло и свалилось.

Как нарочно, перечитываю 3-й том «Войны и мира», — Бородино, оставление Москвы.

Ветер с востока, за горами облака, дует, довольно прохладно в приоткрытые окна. Но в общем солнечно.

24.8.41. Воскресенье.

Вчера Cannes, купался. Никого не видал.

Юбочки, легкие, коротенькие, цветистые, по-старинному простые, женственные, кото-

рые носят нынешнее лето. Стучат деревянными сандалиями.

Немцы пишут, что убили русских уже более 5 миллионов.

С неделю тому назад немцы объясняли невероятно ожесточенное сопротивление русских тем, что эта война не то что во Франции, в Бельгии и т. д., где имелось дело с людьми, имеющими «L'intelligence», — что в России война идет с дикарями, не дорожащими жизнью, бесчувственными к смерти. Румыны вчера объяснили иначе — тем, что «красные» идут на смерть «под револьверами жидов-комиссаров». Нынче румыны говорят, что, несмотря на все их победы, война будет «непредвиденно долгая и жестокая».

Днем нынче было совершенно палящее солнце — настоящий провансальский день.

28.8.41. Четверг.

Был André Gide. Очень приятное впечатление. Тонко, умен — и вдруг: Tolstoy — asiatique. В восторге от Пастернака как от человека — «это он мне открыл глаза на настоящее положение в России»; восхищался Соло-

губом.

Вечером известие, что Персия сдалась.

Вчера: ранен Лаваль (на записи волонтеров французов, идущих воевать с немцами на Россию). <...>

Gide видел Горького, но в гробу.

В Париже выдается литр вина на человека на целую неделю.

30.8.41. Суббота.

С утра солнце, потом небо замутилось, совсем прохладно. Ночью ломило темя и трепетало сердце — опять пил на ночь (самодельную водку)!

Взят Ревель. <...>

5. IX.41. Пятница.

Купался за эти дни 3 раза. В среду был в Ницце, завтракал с Пушкиной. Выпил опять лишнее. Спьяну пригласил ее к нам в среду.

У Полонских получил письмо от Алданова.

Дни в общем хорошие, уже немного осенние, но жаркие.

Контрнаступление русских. У немцев дела неважные.

Кровь, но не сильная.

Вчера ездил с М. и Г. (в Cannes), после купанья угощал их в «Пикадилли».

Китайские рассказы Pearl Buck. Прочел первый. Очень приятно, благородно. Ничего не делаю. Беспокойство, грусть.

В газетах холопство, брехня, жульничество. Япония в полном мизере — всяческом. Довоевались <...>

Нынче 76-й день войны в России.

7. IX.41. Воскресенье.

Серо и прохладно. Безвыходная скука, одиночество. Нечего читать — стал опять перечитывать Тургенева: «Часы», «Сон», «Стук, стук!», «Странная история». Все искусственно, «Часы» совершенно ненужная болтовня. <...>

Бесстыжая брехня газет и радио — все то же! Утешают свой народ. «В Петербурге мрут с голоду, болезни...» — это из Гельсингфорса. Откуда там что-нибудь знают? <...>

14. IX.41. Воскресенье.

В ночь с 10 на 11 в час с половиной проснулся от стука в дверь — очень испугал-

ся, думал, что с В. что-нибудь. Оказалось — было два страшных удара, англичане бросили бомбы между Восса и Mandelieu на что-то, где будто бы что-то делали для немцев. Я не слышал, а когда кинулся к окну, увидел нежную лунную ночь и висячий невысоко в воздухе над Восса малиновый овал — нечто жуткое, вроде явленной иконы — это освещали, чтобы видеть результаты бомбардировки. Говорят, разрушены и сожжены какие-то ангары. <...>

Опять перечитываю «Вешние воды». Так многое нехорошо, что даже тяжело.

Нынче прекрасное, солнечное, но прохладное утро.

На фронтах все то же — бесполезное дьявольское кровопролитие. Напирают на Петербург. Взяли Чернигов.

16. IX.41. Вторник.

Ждем к завтраку Левина, Адамовича и André Gide.

19. IX.41.

Во вторник все названные были. Я читал

«Русю» и «Пашу». <...>

Во время обеда радио: *взята Полтава*. В 9 часов: *взят Киев*.

Приходили ко мне М. и Г. — Галина ревет, пила у меня rosé.

Взято то, взято другое... Но — *quoi bon?* Что дальше? Россия будет завоевана? Это довольно трудно себе представить!

22. IX.41. Понедельник.

Русское радио: «мы эвакуировали Киев». Должно быть, правда, что только вчера, а не 19-го, как сообщали немцы.

Г. и М. продолжают еще раз переписывать мои осенние и зимние рассказы, а я вновь и вновь перечитывать их и кое-где править, кое-что вставлять, кое-что — самую малость — зачеркивать.

Потери немцев, вероятно, чудовищны. Что-то дальше? Уже у Азовского моря — страшный риск...

Послал (завтра утром отнесет на почту Бахрак) Олечке письмо: три маленьких открытки шведских и стихи:

Дорогая Олечка,

*Подари мне кроличка
И пришли в наш дом
Заказным письмом.
Я его затем
С косточками съем,
Ушки пополам
Марге с Галей дам,
А для прочих всех —
Лапки, хвост и мех.*

23. IX.41, 24.IX.41.

<...> Майский, русский посланник в Англии, заявил английскому правительству, что немцы потеряли людьми около трех г половиной миллионов, но что и у русских потери очень велики, что разрушены многие индустриальные центры, что Россия нуждается в английской помощи... Это английское радио. Французское радио сообщило одно: «Майский признал, что положение русских катастрофично, что потеря Киева особенно ужасна...»

Прекрасная погода.

25. IX.41.

Прекрасное утро. Проснулся в 7. Бахр. и З. поехали за картошками к Муравьевым.

М. и Г. переписывали эти дни «Натали». Я

еще чуть-чуть почеркал.

Питаемся с большим трудом и очень скудно: в городе решительно ничего нет. Страшно думать о зиме.

28. IX.41. Воскресенье.

Прекрасный день, начинался ветер, теперь стих (три часа). Как всегда, грустно-веселый, беспечный трезвон в городе. <...>

Третий день не выхожу — запухло горло, был небольшой жар, должно быть, простудился, едучи из Cannes в четверг вечером, сидя в задю автобуса возле топки.

Кончил «Обрыв». Нестерпимо длинно, устарело. Кое-что не плохо.

Очень грустно, одиноко.

30. IX.41. Вторник.

Хорошая погода. Именины Веры, завтрак с Самойловыми, они привезли жареную утку.

Кровь. Сказка про Бову продолжается — «одним махом семьсот мух побивахом». «По-летел высоко — где-то сядет?»

8. X.41. Среда.

<...> Вчера вечером вернулся из Ниццы Бахрак. A.Gide сейчас там. Какой-то швейцарский издатель, по его рекомендации, хочет издать на французском языке мою новую книгу. Вот было бы счастье!

В Сербии и Чехии заговоры, восстания и расстрелы. <...>

9. X.41. Четверг.

Проснулся в 6 1/2 (т. е. 5 1/2 — теперь часы переведены только на час вперед), выпил кофе, опять заснул до 9. Утро прекрасное, тихое, вся долина все еще (сейчас 10 1/2) в светлом белесом пару. Полчаса тому назад пришел Зуров — радио в 9 часов: взят Орел (сообщили сами русские). «Дело очень серьезно».

Позавчера М. переписала «Балладу». *Никто не верит, что я почти всегда все выдумываю — все, всё. Обидно!* Баллада выдумана вся, от слова до слова — и сразу в один час: как-то проснулся в Париже с мыслью, что непременно надо что-нибудь <послать> в «Последние новости», должен там; выпил кофе, сел за стол — и вдруг ни с того ни с сего стал писать, сам не зная, что будет дальше. А рассказ чу-

десный.

Нынче Ницца встречает Дарлана.

Как живет внучка Пушкина и чем зарабатывает себе пропитание!

11. X.41.

Самые страшные для России дни, идут страшные бои — немцы бросили, кажется, все, все свои силы. «Ничего, вот-вот русские перейдут в наступление — и тогда...» Но ведь то же самое говорили, думали и чувствовали и в прошлом году в мае, когда немцы двинулись на Францию. «Ожесточенные бои... положение серьезно, но не катастрофично...» — все это говорили и тогда.

14. X.41. Вторник.

Рождение В. Завтракали у Тюкова.

17. X.41. Пятница.

Вчера вечером радио: взяты Калуга, Тверь (г. Калинин по-«советски») и Одесса. Русские, кажется, разбиты вдребезги. Должно быть, вот-вот будет взята Москва, потом Петербург... А война, должно быть, будет длиться

всю зиму, — может быть, и дольше. Подохнем с голоду. <...>

18. X.41.

Вчера кончил перечитывать «Обломова». Длинно, но хорошо (почти все), несравненно с «Обрывом». <...>

19. X.41. Воскресенье.

Пошел пятый месяц войны.

Недели 2 тому назад перечитал три романа Мориака. Разочарование.

Нынче кончил «L'école des femmes» Gide'a. Скучно, пресно, незначительно. Зачем это написано? Умный человек, прекрасно пишет, знает жизнь — и только.

<Без даты>

Когда ехал в среду 22-го из Ниццы в Cannes в поезде, голубое вечернее море покрывалось сверху опалом.

29. X.41. Среда.

<...> В среду 22-го был в Ницце, много и очень бодро ходил, в 5 1/2 вошел на набереж-

ной в грасский автобус, чуть не всю дорогу стоял, — так было много народу, как всегда, — бодро поднялся в гору домой. Утром на другой день, — в день моего рождения, 23-го, — потерял так много крови, что с большим трудом сошел в столовую к завтраку, съел несколько ложек супу (как всегда, вода и всякая зелень, пресная, осточертевшая) и пересел в кресло к радио, чувствуя себя все хуже, с головой все больше леденеющей. Затем должен был вскочить и выбежать на крыльцо — рвота. Сунулся назад, в дом, в маленький кабинет возле салона — и упал возле дивана, потеряв сознание. Этой минуты не заметил, не помню — об этом узнал только на другой день, от Г., которая, подхватив меня с крыльца, тоже упала, вместе со мной, не удержав меня. Помню себя уже на диване, куда меня втащил Зуров, в метании от удушения и чего-то смертельно-отвратительного, режущего горло как бы новыми приступами рвоты. Лицо мое, говорят, было страшно, как у настоящего умирающего. Я и сам думал, что умру, но страха не испытывал, только твердил, что ужасно, что умру, оставив все свои рукописи в беспорядке. При-

бежавший из Heliosa (из maison de santé возле нас) доктор (очень милый венгерский еврей) был, как я видел, очень растерян. Хотел сделать впрыскивание камфары — я с удивившей его энергией послал это впрыскивание к черту, потребовав камфарных капель. Кровяного давления у меня оказалось всего 7 — доктор сказал, что меня спасло только мое сильное от природы сердце, пульс одно время был чуть ли не совсем не слышен.

Дня три я лежал после того в постели — слабость, озноб и жар: почему-то — то падала, то поднималась — температура, доходя иногда до 36,5. Может быть, была и легкая отравка — за завтраком в Ницце, где дали вместо печенки какой-то мерзкий сгусток — легкого, что ли, — черно-багровый, мягкий, текущий сукровицей — я с голоду съел половину его. Вчера и нынче уже не в постели, чувствую себя не плохо, только нынче вдруг опять сильная кровь. Читал (перечитывал) эти дни Бруссона «A. France en pantoufles» — много интересного, но много и скучной болтовни.

В Нанте и в Бордо немцы расстреляли за эти дни 100 человек заложников (по 50 на

каждый из этих городов) — за то, что и в Нанте и в Бордо в один и тот же день было убито по немцу (из высших чинов).

Как раз во время моего припадка приходила Татьяна Михайловна Львова-Толстая (дочь М их. Льв. Толстого, сына Льва Николаевича).

В среду 22-го была прекрасная, совсем почти летняя погода. В четверг было светло, но уже холодно. И начались холода — как никогда рано. Были чуть не зимние дни, пока я лежал. Нынче ледяная светлая ночь, почти 3/4 луны.

1. X 1.41. Суббота.

Завтракала у нас Татьяна Михайловна. Она гостит у своей знакомой в Sabris, живет в Марокко. Читал ей «Балладу» и «Поздний час».

6. XI.41. Четверг.

5.35 вечера. Вернулись из «Сонино» (пешком). Сижу на постели, гляжу на море и Эстерель. Долина синевато туманится. Море слабо белеет. Над ним сизо, над сизым чуть румянится. Прелестно синееет Эстерель. За ним,

правее, чуть смугло снизу, бруснично, выше чуть желтовато, еще выше зеленовато (и чем выше, тем зеленее, но все очень слабо). К Марселю горизонт в сизой мути, выше мутно-кремовато, еще выше — легкая зелень. *И все — постель.*

6 часов. Туманность долины исчезла, выделилась на темно-зеленом белизна домиков по долине. Спектр красок на западе определеннее, гуще. Над Тулоном — довольно высоко — звезда (без очков для дали) круглая, крупная, дырчатая — круг брильянтов жидких; в очках — небольшая, очень блестящая точка, золотая, с блестящими лучами. <...>

Воскресенье. 9.XI.41.

Ночь, дождь, холод. Не такая была ночь когда-то — 8 лет тому назад 9 ноября (Премия).

11. XI.41.

Мрачные тучи, дождь, иногда ливень, туман. Ночь, проснулся, страх смерти.

Липа под моим окном уже почти вся осыпалась, чуть не в один день.

Вчера в газетах речь Гитлера. Говорил, что

установит «новую Европу на тысячи лет».

В России уже снег и дожди.

Письмо к Марге от Степуна о сумасшествии их матери.

21. XI.41. Пятница.

В среду поехал с Бахраком в Ниццу (главным образом к Дмитренко — холодеет и немного мертвеет правая рука). Дм. уехал к Куталадзе и к нам. Ночевал. Утром он ко мне зашел, сказал, что рука пустяки, что у нас он осмотрел Веру, Г. и Зурова — все сравнительно слава богу — и что у нас описали мебель за долги нашей хозяйке. <...> Обедали еще и с Жидом — все в «Императоре». В четверг завтрак в Grande Bleu — опять А. Жид и прочие. Завтрак был по настоящему времени удивительный.

23. XI.41. Воскресенье.

Ночью дождь. И утром, и почти весь день дождь, ветер, туман. Уже разделись обе липы.

Весь день за письменным столом — переписывал итинерарий своей жизни и заметки к продолжению «Арсеньева». Что-то похоже

на возвращение к работе.

Сейчас 11 1/2 ночи, буря.

25. XI.41.

Вчера, позавчера солнечно. Липы возле дома уже обе разделись. На верхней площадке редкие листья на липе, желто-зеленоватые на синем небе, как на синем стекле.

Нынче был в Cannes, <...> в «Пикадилли» — сэндвич с сагой, тост, чай и два блюдечка вишневого варенья (как всегда, без карточек), — 31 франк. Потом в Казино, открытая сцена, публика за столиками — точно ничего не случилось. <...>

Большие бои в Африке и в России.

«Фюрер разорвал завещание Петра Великого, хотевшего гегемонии в Европе» (немецкие газеты).

157-й день войны с Россией.

26. XI AU

С утра прекрасный, тихий, солнечный день. К вечеру затуманилось, серо, скучно. М. получила известие о смерти своей матери. Уехала с Г. в Cannes «на 3 дня» — ходить в цер-

ковь, служить панихиды. Мне нынче ужасно <их> жаль, грусть за их несчастную жизнь.

Все вспоминается почему-то и вся моя несчастная история с Г.

5. XII.41

<...> Перечитывал «Crainqueville, Putois, Riquet» и пр. А. Франса, — все эти три вещи очень хороши, остальное скучно.

Все время стояла прекрасная погода, по утрам очень горячее солнце.

Русские бьют немцев на юге. В Африке — «то сей, то оный бок гнется». Морозы в России.

Три дня тому назад свидание «двух солдат» — Петена и Геринга. «Последствия будут весьма важны». Какие именно? И о чем говорили «два солдата»? О французской Африке?

7. XII.41. Воскресенье.

<...> Читаю собрание сочинений Бодлера «Мал. поэмы в прозе». Ничтожны, изысканны до бальмонтовщины, мелодраматичны. <...>

Кашель ужасный. Ничего не могу делать. Нет, не тот я был год тому назад!

9 ч. вечера. Радио: японцы напали на Америку. На дворе мгла. Зуров говорит, что шел снежок.

8. XII.41

Солнечно и холодно. Кашель.

Война японцев с Америкой идет уже полным ходом. Японцы, как и полагается негодьям, напали до объявления войны, без предупреждений.

К вечеру радио: есть уже тысячи 3 убитых и раненых.

В России 35 градусов мороза (по Ц.). Русские атакуют и здорово бьют.

10. XII.41 Среда.

Во время нашего «обеда», в 7 1/2 вечера, швейцарское радио: умер Мережковский.

13. XII.41

Солнечно. К вечеру замутилось. Прошелся — опустил открытку Гиппиус. Чувствую себя очень плохо. Ледяная рука. Вчера Гитлер и Муссолини объявили войну Америке.

Вечер, 11 часов. Прошли с Верой до мона-

стыря. <...> Вернулись, — Зуров: «Швейцарское радио сообщило, что немцы за последние покушения на них расстреляли в Париже 100 евреев и наложили на парижских (?) евреев 2 миллиарда контрибуции». Апокалипсис! Русские взяли назад Ефремов, Ливны и еще что-то. В Ефремове были немцы! Непостижимо! И какой теперь этот Ефремов, где был дом брата Евгения, где похоронен и он, и Настя, и наша мать!

14. XII.41. Воскресенье. (Наше 1 декабря.)

Прекрасный день, солнечный и теплый — как в России в начале сентября. К вечеру замутилось.

Не спокоен и ничего не могу делать. Много думаю о Мережковском.

Мой экспромт Шалапину (в ресторане «Петроград», против церкви на rue Daug в Париже, после панихиды по Вас. Немировичу-Данченко):

*Хорошо ты водку пьешь,
Хорошо поешь и врешь,
Только вот что, топ аті,
Сделай милость, не хами.*

Нынче правая рука не холодела.

15. XII.41. Понедельник.

Прекрасный день опять. Но прохладно.
Опять рука (утром).

Каждый вечер жутко и странно в 9 часов:
бьют часы Вестминстерского аббатства в Лон-
доне — в столовой!

*По ночам ветерок не коснется че-
ла,
На балконе свеча не мерцает.
И меж белых гардин темно-синяя
мгла
Тихо первой звезды ожидает...*

Это стихи молодого Мережковского, очень
мне понравившиеся когда-то — мне, мальчи-
ку! Боже мой, боже мой, и его нет, и я старик!
Был в городе по аптекам.

Русские бьют.

19. XII.41. 6 112 ч. вечера.

Письма от Манухиной и Веры Зайцевой:
умер В. Н. Аргутинский (накануне был на по-
хоронах Мережковского). (...)

23. XII.41. Вторник.

Все дни прекрасная погода, к вечеру в комнате очень холодно. Серп молодого месяца и Венера (уже давно) над Марселем с заката.

В Африке не плохо, японцы бьют англичан, русские — немцев. Немцы все отступают, теряя очень много людьми и военным материалом.

19-го Хитлер сместил главнокомандующего на русском фронте маршала von Brauchitsch и взял на себя все верховное командование, обратившись к армии и Германии: *откладывая наступление на Россию до весны.* <...>

Завтра Сочельник. Устраиваем несчастный «парадный» обед — выдадут завтра мясо. Делаем водку.

24. XII.41. Сочельник католический.

Вечером «праздновали»: сделали водку, нечто вроде селянки (купил капусты серой — и плохой), вымоченные рыбки, по кусочку мяса.

28. XII.41. Воскресенье.

Все дни хорошая погода, но холодно. Ветер все с Марселя. Неприятно трепещут веерные пальмочки.

Русские взяли Калугу и Белев.

Каждое утро просыпаюсь с чем-то вроде горькой тоски, конченности (для меня) всего. «Чего еще ждать мне, Господи?» Дни мои на исходе. Если бы знать, что еще хоть 10 лет впереди! Но: какие же будут эти годы? Всяческое бессилие, возможная смерть всех близких, одиночество ужасающее...

На случай внезапной смерти неохотно, вяло привожу в некоторый порядок свои записи, напечатанное в разное время... И все с мыслью: а зачем все это? Буду забыт почти тотчас после смерти.

Нынче (утро) солнце за облаками.

30. XII.41.

И вчера и нынче солнце и облака и очень холодно. Вчера особенно изумительная, волшебна прекрасная ночь — почти половина луны так высоко, как видел только в тропиках. На закате красота — и дивная Венера.

Хотим «встречать» Новый год — жалкие

приготовления, ходим в город, где нет ровно ничего. Почему-то везде много коробок с содой. А что еще?

Пальцы в трещинах от холода, не искупаться, не вымыть ног, тошнотворные супы из белой репы...

Нынче записал на бумажке: «сжечь». Сжечь меня, когда умру. Как это ни страшно, ни гадко, все лучше, чем гнить в могиле.

Заплатил за электричество почти 500 франков. Тот, кому платил, делал себе по животу нечто вроде харакири: «Rien à manger! Rien de rien!»[51] <...>

31. XII.41. Среда.

Еще год прошел. Сколько мне еще осталось!

Проснувшись в 9, чувствовал (уже не первый раз) тяжесть, некоторую боль в темени. Может быть, маленькое отравление от печки, которую вчера опять затопил на ночь? Холод правой руки.

Прекрасный солнечный день.

Русские взяли Керчь и Феодосию.

1942

1.1.42. Четверг.

Вера вчера уехала в 6 вечера к вдове Куталадзе. «Встречали» Новый год без нее. Было мясо, самодельная водка, закубочки — соленые рыбки, кусочки марю, тертая белая репа, по щепотке скверного изюма, по апельсину (местному, очень кислому), Бахрак поставил 2 бутылки Castel vert (по 20 фр., прежде стоившие по 5 фр.).

Нынче опять прекрасный день. Я вял, слаб (как всегда последние месяцы).

Гитлер вчера вечером говорил своему народу и армии: «<...> Мы одержали самые великие победы во всемирной истории... Советы будут в 42 г. раздавлены... Кровь, которая будет пролита в этом году, будет последней пролитой кровью en Europe pour des generations...»[52]

Вечера и ночи особенно удивительны по красоте. Венера над закатом очень высоко. Луна по ночам над самой головой (нынче полнолуние). <...>

2.1.42.

Довольно серо, холодно. Ездил ко вдове Ку-

таладзе, завтракал там (морковь и горошек), воротился к вечеру с В., которая ночевала 2 ночи там.

4.1.42. Воскресенье.

Серо, холодно. В комнате нестерпимо, нельзя писать от холода.

Сейчас поздний вечер, протопил у себя. Терпимо.

Немцы отступают (в России и в Африке), их бьют. У Куталадзе взял несколько книг. Читал Чехова.

Денежно продолжаю все больше разоряться. <...>

5.1.42. Понедельник.

<...> Нынче очень голодный день: месиво из тыквы с маленькой дозой картофеля и тертая сырая репа (белая) — некоторое сходство с тертой редькой, кушанье очень противное. <...>

Подумать только: 20 лет, 1/3 всей человеческой жизни прожили мы в Париже!

Барятинский, Аргутинский, Кульман, Куприн, Мережковский <...> Аминад. Все были

МОЛОДЫ, СЧАСТЛИВЫ.

18.1. Воскресенье.

Вечером во вторник встречали Новый год русский. Днем как следует шел снег. К вечеру приехали Либерманы и Ганд-шины. Либерман два раза сделал чудо — уходил за 2 комнаты, просил нас, сидевших в салоне, задумать, что он должен сделать: первый раз угадал, что нужно меня тронуть за ухо, второй — сесть на диван. <...>

Нынче прекрасный день, холод в доме легче. После заката немного прошелся — родился месяц — тонким серебряным волоском (на закатном небе) рядом с Венерой. Горы слились в темные зеленовато-синие массы. Когда вернулся через 1/2 часа, месяц-волосок стал золотой.

Вчера в Cannes свесился — 67–68. И это в одежде, в низках, в тяжелых башмаках. А прежде в самой легкой одежде — 72–73. Вот что значит «безбойное питание».

20.1.42. Вторник.

Вчера довольно теплый день, с мягким

солнцем, нынче хмуро, серо, скучно, все небо в пухлых облаках, и так холодно в комнате, что лежа читал в меховых перчатках. <...>

Пробовал читать Горького, «Вареньку Олесову», которую читал лет 40 тому назад с отвращением. Теперь осилил только страниц 30 — нестерпимо — так пошло и бездарно, несмотря на все притворство автора быть «художником». «Косые лучи солнца, пробираясь сквозь листву кустов сирени и акаций, пышно разросшихся у перил террасы, дрожали в воздухе тонкими золотыми лентами... Воздух был полон запаха липы, сирени и влажной земли...» (И липы и сирень цветут вместе.) <...>

7.2.42. Суббота.

Особенно тяжелый день. Весь день при электричестве: ставни, занавес, ширмы. Спазмы у Веры.

Холод, сырость, с утра то мелкий дождь, то снег.

«Записные книжки» Чехова. В общем, очень неприятно. Преобладающее: «N. все считали почтенным человеком, а он был сво-

лочь» — все в этом роде.

Весь день топлю.

26.2.42. Четверг.

Дней 10 тому назад В. была у Кудера. Исследование крови. Результаты не дурные. В прошлый четверг уехала в Ниццу — новые исследования и радиография желудка. В понедельник поехал к ней; опущен желудок и легкая язва в нем. Назначен режим и впрыскивание чего-то (д-ром Розановым). Вернулись с ней во вторник.

Слухи: русские нанесли большое поражение немцам, погибла будто бы их 16-я армия.
<...>

27.2.42.

Слухи были верны.

Дождь, сыро, холодно. Топлю.

Читаю Гейне. Удивительный фельетонист, памфлетист.

1.3.42. Воскресенье.

Совсем теплый день. Зацвели фиолетовым цветом подушечки и какие-то ярко-сине-ли-

ловатые цветочки в <на?> темно-зеленых стебельках. Опять пересматривал книгу «Темные аллеи». Ходил в город — с большим трудом — бросил письмо Долгополову, от которого получил вчера 4236 франков.

2.3.42.

<...> Кончил «Темные аллеи» и отложил до поры до времени. Есть еще кое-где фразы неприятные.

3.3.42.

Сильный насморк, слабость, вялость — как всегда теперь. Тоска и какое-то раскаяние по утрам.

4.3.42.

Серо, прохладно, нездоровье.

Большой английский налет на предместья Парижа, на заводы, где немцы делают танки.

Второй день без завтрака — в городе решительно ничего нет! Обедали щами из верхних капустных листьев — вода и листья!

И озверелые люди продолжают свое дьяволово дело — убийства и разрушение всего,

всего! И все это началось по воле одного человека — разрушение жизни всего земного шара — вернее, того, кто воплотил в себе волю своего народа, которому не должно быть прощения до 77 колена.

Нищета, дикое одиночество, безвыходность, голод, холод, грязь — вот последние дни моей жизни. И что впереди? Сколько мне осталось? И чего? Верно, полной гибели. Был Жорж — мило брякнул (насчет Веры), что у Куталадзе рак начался тоже с язвы желудка. И ужас при мысли о ней. Она уже и теперь скелет, старуха страшная.

Полнолуние. Битвы в России. Что-то будет? Это главное, главное — судьба всего мира зависит от этого.

13.3.42. Пятница.

Длится английская катастрофа на Дальнем Востоке. Большие битвы, наступление русских. <...>

Как горько трогательно, тиха, одинока, слаба Вера!

30.3.42.

Послал письмо Олечке: ты спрашиваешь, как мы пиروвали у наших друзей. Вот как:

*У моих друзей пируя,
Ел змеиную икру я,
Пил настойку из клопов
И вино из бураков.
Остальное тоже было
Очень вкусно, очень мило:
Суп из наба, фарш из блох
И на жареное — мох. <...>*

Все это недалеко от правды. «Новая Европа»!

31.3.42.

Хороший, почти летний день.

Марга и Г. завтра переезжают в Cannes — «на два месяца», говорят. Думаю, что навсегда. Дико, противоестественно наше сожительство.

Вчера был в Cannes с Верой у зубного врача. Было солнечно, но с прохладным ветром. «Пикадилли», чай, два тоста, два крохотных блюдечка варенья (28 фр.). Тургеневский или толстовский господин.

Все битвы и битвы в России. Немцы все

грозят весенним (вернее, летним) наступлением. А вдруг и правда расшибут вдребезги? Все кажется, что нарвутся. Теперь все дело в Турции.

Нынче в газетах: «La Japon veut la destruction complète de l'Angl. et des États-Unis» [53]. Ни более, ни менее. Бедные! Сколько работы впереди! А ведь надо еще уничтожить Россию и Китай.

1. IV.42. Среда.

С утра пухлое небо, к полудню солнце, но слегка затуманенное.

В 11/45 ушла с мелкими вещами Г. Возле лавабо[54] остановилась, положила их, согнувшись, на земле. Тут я отошел от окна. Конец. Почти 16 лет тому назад узнал ее. До чего была не похожа на теперешнюю! Против воли на душе спокойно и тяжело, грустно. Как молод был и я тогда.

2946 от шведского консула из Марселя.

Час дня. Я все еще в халате, без штанов, Все не могу привести себя в порядок. Хотел ехать в Ниццу с утра — раздумал, проснулся в 6, потом опять спал от 9 до 10.

Сейчас, в доме пусто — Бахрак в Ницце, В. и З. завтракают в городе — дома нечего. Я съел крутое яйцо и кусочек мортаделлы — все «благоприобретенное».

Очень страдал весь день от воспоминаний своей протекшей жизни.

4. IV.42.

Проспал 10 часов. Хороший день. Грусть. <...> Великая Суббота — наша и католическая.

Вечер. Обедали «роскошно»: суп из трав и рыба. Вере посчастливилось утром найти.

Пасхальный стол: 4 красных яичка, букетик гиацинтов — и все!

Тупая, тихая грусть, одиночество, безнадежность.

12 ч. 15 м. (10 ч. 15 м.). Разговелись — В., З. и я: по крохотному кусочку колбасы (дал З.) и 1/10 яйца.

Над Антибами всходит мутная луна. Значит, бывает в Пасхальную ночь!

5. IV.42.

Христос Воскресе. Сохрани, Господи.

С утра так себе, после полудня мелкий

дождь. В доме очень прохладно.

Вдруг почему-то пришло в голову: Добчинский и Бобчинский... Да: Сквозник-Дмухановский, Яичница... даже Чичиков — все очень плоско, балаганно — и сто лет все с восторгом повторяют: Добчинский и Бобчинский!

Как-то ночью, уже в постели, с книгой, в мертвой тишине дома вдруг точно очнулся, с ужасом: какое одиночество! И это последние дни и ночи жизни!

10. IV.42.

Был в Ницце. Бюффа, Пушкина. Неприятно было, что сказала, что в ней «немецкая упорная кровь». Ее жадность к моему портсигару, воровское и нищенское существование. Завтрак — 250 франков! У Полонских. Дама в картезе. Вел себя хмельно, глупо. <!..>

18. IV.42. Суббота.

Лавальские дни. Нынче вечером объявлено по радио официально: Петен — нач. государства, Лаваль — правительства. Надо ждать, думаю, как и все, чего-то очень серьезного.

День рождения З. Тюков и Жорж. «Роскошный» завтрак — по куску телятины, маслины, самодельная водка. <...>

Весенний холод, сумрачная синева гор в облаках — и все тоска, боль воспоминаний о несчастных веснах 34, 35 годов, как отравила она (Г.) мне жизнь — и до сих пор еще отравляет! 15 лет! Все еще ничего не делаю — слабость, безволие — очень подорвалось здоровье!

Перечитал «Пуншевую водку» и «Могилу воина» с большим интересом. Ловко пишет.

Всё опять цветет и зеленеет. Эти дни одевается сероватой еще мелкой зеленью дуб, цветет у нас сирень, в розовых цветах и коричневой листве деревцо возле каштана, ярко и свежо зазеленевшего, на нижней площадке. С месяц тому назад розовым и белым цвели абрикосы и миндаль.

Нынче впервые видел серп молодой луны. Чувствовал себя довольно бодро физически.

19. IV.42. Воскресенье.

<...> В 8 ч. вечера говорил Петен. Сказал несколько слов всего, призывая французов «к

мудрости и терпению», и заявил весьма загадочно: «Настоящее время столь же решительно, как в июне 1940 г.» Что это значит? Был какой-то жестокий ультиматум немецкий? Несчастный старик.

11 ч. вечера. Жабы, мелкий дождь, и от времени до времени катится гром и вспыхивают голубые молнии. Первая гроза.

23. IV.42. Четверг.

23/10 (вторник) 1907 г., 35 лет тому назад, уехали с Верой в Палестину. Вечером, с Брянского вокзала. Нынче утром она принесла мне букет цветов, удивительно красивых.

29. IV.42.

<...> Нынче изредка дождь, облачно, потолок из мрачных облаков над горами в направлении к Вене. Очень тяжкая погода. *И я тяжело, очень тяжело болен душевно — до отчаяния.* <...>

Дикое одиночество, бесцельность существования. Да всего и не скажешь.

6. IV.42. Среда.

<...> Очень грустно и скучно — погибаю в одиночестве. Ни души даже знакомой. И все воспоминания, воспоминания.

Вчера был в Cannes — зачем? Да, в синема Vox, смотрел La grande farandole — Fred Astaire и Ginger Rogers. Изумительно танцуют — опять был восхищен чрезвычайно.

Англичане захватывают (верно, уже захватили) Мадагаскар. Французское, негодование.

Читаю «La mémorial de Sainte Hélène (Comte de la Cases)». Чувствую и себя на S. Hélène. Страшно подумать, что он должен был чувствовать. А все-таки жил, диктовал, упивался прежней славой, надеялся. <...>

12. IV.42.

Все скверная погода, тучи, сумрачно, холодно, иногда дождь. Уже дней 5 кровь. Верно, поэтому, — перед кровью, — чувствовал такую тоску. Нынче спокойнее. Читаю (по-французски) — «Уединенное» Розанова. В общем ничтожно, иногда просто глупо в смысле необыкновенно высокой оценки себя. <...>

«На всякий случай» занимался пересмотром того, что должно и не должно войти в бу-

дущее «полное» (более или менее) собрание моих писаний, писал распоряжения. Мучительно! Сколько ерунды и как небрежно напечатал я когда-то! Все из-за нужды.

13. IV.42. Среда.

Весь день дождь, плывущий туман, свинцово-меловые зловещие тучи, холод. (А ночью перед этим часа два ужасная гроза.)

Будто бы взята Керчь.

23. V.42. Воскресенье.

Керчь давно взяли. Но Москва говорит, что возле Керчи еще идут бои. Страшные бои из-за Харькова — уже недели две.

Последние дни уже лето. <...> И страх и тоска за Веру — опять несколько раз были боли. И она испугана, падает духом. Господи, спаси, совсем пропадаю.

Все хочу послать письмо Т. М. Толстой — и все не решаюсь.

Опять у нас в саду множество цветущих роз — и розовых, и белых, и пунцовых, как пунцовый бархат, — и вспоминаю с грустью, что в прошлом году я в это время еще писал

(и вписал в «Натали» о такой розе).

Опять думал нынче: прекраснее цветов и птиц в мире ничего нет. Еще — бабочек.

26. V.42. Вторник.

Все кровь — уже дней десять. Чувствую себя ужасно, слабость страшная. Тоска, страх за Веру. Какая трогательная! Завтра едет в Ниццу к доктору, собирает свой чемоданчик... Мучительная нежность к ней до слез. <...>

3. VI.42.

Лето. Была дурная, беспокойная погода, теперь как будто установилась.

Май был необыкновенный — совершенно чудовищные битвы из-за Керчи и вокруг Харькова. Сейчас затишье — немцы, кажется, потерпели нечто небывалое. А из радио (сейчас почти одиннадцать вечера), как всегда, они заливаются. Удивительно — сколько блядского в этом пении, в языке! Думаю все время: что же это впереди! Если немцы не победят, полная гибель их. Если победят — как может существовать страна, ненавидимая почти всем миром? Но и в том и в другом

случае — что будет со страной, у которой по-
гибло все самое сильное чуть ли не с 15 лет до
50! А уже погибли миллионы и еще погибнут.

Французское радио — нечто поразитель-
ное. Тонем во лжи и холопстве.

Мне, верно, уже не поправиться — перело-
милось здоровье. Едва таскаю ноги. Неужели
и в прошлом году было то же? Нет, этого не
помню. Может быть, забыл?

Читал вчера и нынче стихи — Г. Иванова,
Гиппиус. Иванов все-таки поэт настоящий (в
зачатке). Г. ужасна. Мошенница.

7. VI.42. Воскресенье.

<...> Вчера письмо от дочери Анны Ник, Го-
тье — приехала в Антибы, но «маму уже похоро-
нили». Нынче все думал о тех прекрасных
лесах вокруг Рокфора, по которым старушка
спешила к автобусам. Не видеть ей их боль-
ше!

1. VII.42. Среда.

Двенадцатый час вечера. В одиннадцать
радио: *Севастополь взят.* Дорого, верно, до-
стался!

Все время полное безволие, слабость, — ничего не могу, кроме чтения лежа. Перечитал первый том «Братьев Карамазовых». Три четверти — совершенный лубок, балаган. А меж тем очень ловкий, удивительно способный писака. <...>

Разгром-англичан в Африке. Немцы уже в 100 ксилометрах от Александрии.

Чем же все это кончится? Вот впереди месяц, два самых роковых для Европы — думаю, за эти 2 месяца выяснится.

14. VII.42. Вторник.

В прошлую среду вырвал еще зуб.

Прекрасный день. Попытка начать что-нибудь делать!

Прочел (перечитал, конечно) второй том «Братьев Карамазовых». Удивительно умен, ловок — и то и дело до крайней глупости неправдоподобная чепуха. В общем скука не трогает ничуть. <...>

18. VII.42.

Скучный день, тоска.

Немцы в России все идут вперед. В Африке

начались бон «решительные»,

И все слабость, безволие, безделие! <...>

11 часов вечера, радио: «Положение Тимошенко катастрофическое». Что-то должно быть вот-вот новое, огромное. Все еще не верится, что все пропало.

19. VII.42. Воскресенье.

Видел новую луну. Холодно, тучи, перед вечером прошел дождь.

Шестого июля объявили, что взят Воронеж. Оказалось — брехня: не взят и по сегодня.

10. VIII.42. Понедельник.

Купался всего 2 раза пока — за все лето.
<...>

В России ужасно, — кажется, правда гибель нынче: взят Пятигорск. Битва морская американцев с японцами — японцы трубят большую победу. Беспорядки в Индии — арестован Ганди и весь индийский конгресс, позавчера потребовавший ухода англичан из Индии. <...>

13. VIII

Кончил перечитывать «Дневник» Башкирцевой. Вторая половина книги очень примирила меня с ней. И какая действительно несчастная судьба! <...>

1. IX.42. Вторник.

Сухое лето, сгоревшие цветы олеандра. Еврейские дни дошли и до нас. В Париже, говорят, взяли 40 000. Хватают по ночам, 10 минут на сборы. И мужчинам и женщинам бреют головы — и затем человек исчезает без следа. Детей отнимают, рвут их документы, номеруют — будет без роду-племени, где-то воспитают по-своему. Молодых евреек — в бардаки, для солдат. У нас взяли, говорят, уже человек 700–800.

2. IX.42.

Евреям (взятым) не дают пить.

Все грусть — о прошлой моей жизни здесь. Лоренские острова.

Перечитал Лоти «Fantôme d'Orient». Скучно, длинно.

7. IX.42.

<...> Перечитываю «Любовь в жизни Толстого» Жданова. Гадко — до чего обнажили себя и муж и жена насчет своей крайней интимности!

Взят Новороссийск. И все-таки думаю — вот-вот будет большое и плохое для немцев.

Расстреляли 5 православных священников в Праге — будто бы участвовали в убийстве какого-то немца и «укрывали у себя русских парашютистов».

16. IX.42. Среда.

Все прекрасные дни. И все мука — тянет ехать в Cannes, Ниццу, видеть море, женщин, кого-то встретить — одиночество страшное! — и все мысль: все это напрасно, будет только мука с автобусами — и мука воспоминаний моих прежних лет тут.

Ночи спокойные, теплые, с бледными звездами, с непрерывным журчаньем сверчков и ночных цикад.

Нынче ездил в Cannes, купался — всего четвертый раз за все лето} И уже кончено лето — может быть, последнее мое. Довольно

большая волна, вода приятная.

Немцы к Царицыну все «продвигаются», и все атаки русских неизменно «отбиты». День и ночь идут уже с полмесяца чудовищные бои — и, конечно, чудовищные потери у немцев. К концу войны в Германии останутся только мальчишки и старики. Полное сумасшествие! Только сумасшедший кретин может думать, что он будет царствовать над Америкой, Бразилией, Норвегией, Францией, Бельгией, Голландией, Данией, Польшей, Чехией, Австрией, Сербией, Албанией, Россией, Китаем — 16 странами, из которых все, не считая евреев, ненавидят Германию и будут ее ненавидеть небывалой ненавистью чуть не столетие. Но какая сказочная сила — пока.

12. IX.42.

Переписывал свои заметки, наброски рассказов. <...>

18. IX.

Был в Ницце. Привез «Новый журнал».

Истратил последнее. Какой позор — в Америке за все время собрали мне долларов 500!

20. IX.

Очень жаркий день. Безволие, вялость, уборка.

Перечитываю стихи Полонского — и, как часто теперь, мысль: перечитываю в последний раз.

В «Нов. журнале» (вторая книга) — «Натали». И опять, опять: никто не хочет верить, что в ней *все от слова до слова* выдуманно, как и во всех почти моих рассказах, и прежних и теперешних. Да и сам на себя дивлюсь — как все это выдумалось — ну, хоть в «Натали». И кажется, что уж больше не смогу так выдумывать и писать.

Девять вечера. Золотой полумесяц, на него нашел белый оренбургский платок.

22. IX.42.

С утра туман, дождь и такая свежая сырость, что оделся по-осеннему. После полудня солнце, тепло. В. уехала завтракать к М. Ив.

Мой отец, моя мать, братья, Маша пока в некотором роде существуют — в моей памяти. Когда умру, им полный конец.

Все живее, становится для меня мое прошлое. Вот вспомнил Петербург времени моего пребывания там в декабре 1896 г., Ольхину и т. д. — Боже, как все вижу, чувствую!

Все убираюсь, все надеюсь сесть за работу. Напрасная, должно быть, надежда!

В газетах — «La situation désespérée de l'U.R.S.S.», «Désillusions et inquiétudes»[55] в Англии... И говорят, что с Царицыном, собственно, дело кончено и пора подумать о том, что дальше предпримут немцы после него и Кавказа. <...>

Радио — кошмар. Не лжет только, который час.

23. IX.42. Среда.

В час поехал в Ниццу. Теснота удивительная, сидел на железной приступке за креслом шофера, жгло левый бок от танка, лицо и книгу Лоти (Pays basque), которую читал, все время покрывала то одна, то другая цветистая юбочка каких-то двух крупных девок. Вернулся с каром в 7.30 вечера. <...> В каре дурацки сел у незакрывающегося окна, мучился от холодного сильного ветра. Вечера уже осенние,

нельзя не брать с собой пальто в поездки. (Ездил опять к зубному врачу.)

День был прекрасный, чувствовал себя все время бодро и легко. Свесился: 66–65 кило. А прежде всегда бывало 72–73.

И с Царицыном и с Кавказом немцы все-таки жестоко нарвались. Последние дни им просто нечего сказать: «берем дом за домом...» Перебили их русские, конечно, в ужасающем количестве. И то хлеб.

Из того, что делается на свете, знаем одну сотую. «Journal de Genève» получаем в особом издании — для Франции. Но и то нередко издание это не доходит к нам. За всю свою историю Франция никогда не была в такой погибели.

24. IX.42. Четверг.

Солнечно, крас, облака. Над горами над Вансом их потолки — прекрасные. Потом пошли хуже — серые. Дочитывал 1-й т. стихов Полонского, вспоминал, как читал в Beausoleil. Теперь в последний раз в жизни? Вероятно. Вспоминал те чувства, что были в ранней молодости, в Озерках, при чтении

некоторых стихов. 9/10 — скука, риторика, и часто просто непонятная. Зато 1/10 превосходно.

Полнолуние. Удивительная лунная ночь. Клубы и груды великолепных белых облаков к западу, на юге и на востоке; на севере, неприятная белая туча из-за горы. Середина неба, огромная, глубокая, чиста, ясный месяц. Прошелся в одиннадцатом часу по обычной дороге — к плато Наполеон. Моя черная тень впереди. Страшные мысли — вдруг останусь один. Куда деваться? Как жить? Самоубийство?

Потом стал думать об этой кухарке на постоялом дворе. Еще вообразил с страшной живостью. Возбуждение — и до того, что уже почувствовал все, что бывает перед концом. Мурашки, стеснение во всей грудной клетке. <...>

1. X.42. Четверг.

<...> Вчера именины Веры. Роскошный обед — с колбасой «собачья радость». <...>

14.(1).X.42.

<...> Рождение В. Ездил в Васса в церковь, причащалась. Обед праздничный — по 3 порченных вареных картошки. Но — чай с настоящим вареньем — подарок Али («довоенное»).

Покров Пресвятой Богородицы. Защити, Мать Божия.

Дела немецкие неважны. 76-й день берут Царицын.

23. X.42. Пятница.

<...> Страшный день: мне 72!

Нынче радио о Царицыне: «все атаки большевиков отбиты». Скоро 3 месяца, как берут его!

27. X.42. Вторник.

Третий день дождь, иногда ливень и грозы. В доме уже порядочно холодно.

Большие бои в Африке. Царицын все еще держится.

Чувствую себя плохо, особенно с утра. Верно, конец моим писаниям. Избавь, Господи.

9. XI.42. Понедельник.

Девятая годовщина Нобелевской премии!

Вчера большое событие: высадка американцев в Северной Африке.

12. XI.42. Четверг.

Вчера в 12 1/2 роковая весть: немцы занимают наше побережье. Ницца занята вчера днем, Cannes поздно вечером — итальянцами.

В Grasse вошло нынче вечером 2000 итальянцев.

25. XI.42.

Утром думал, что умираю, — отлив крови от головы.

27. XI.42. Пятница.

Вечером — швейцарское радио — Тулон. Кончил «На постоялом дворе».

28. XI.42.

Страшные вести о Тулоне — почти весь флот потопился.

Взрывы арсенала. Тряслись дома. Пожары. Моряков погребло очень много.

Все время прекрасные солнечные дни. Но уже страдаю от холода.

3. XII.42. Четверг.

Вчера в полдень Cannes. Потом Певзнеры и ресторан «Паскаль». 3/4 красного тяжелого вина — опьянел. Зашел к Гукасову — не застал. Поехал на извозчике с набережной в русскую церковь <...> ходил по церковному двору, обошел церковь — где вход в гробовое подземелье, куда меня в некий день внесут? Холодная, хорошая погода, предвечернее время. Грустно, тупо, безнадежно. От искания этого входа — гадкое впечатление — глупо — зачем? Не дождавшись библии, ушел, доехал в автобусе до Cannes. На набережной, возле табачной лавки, встретил Легранд. Бар. <...> Две рюмки коньяку. Потом бар в Карлтоне. Гукасов и те же. Два бокала белого вина.

Нынче кровь.

25. XII.42. Католическое Рождество. Пятница.

Вчера ужин с Бродскими в ресторане «Потиньер». Он приехал из Монте-Карло. Ужин больше 2 1/2 тысяч. Мы — на чужой счет! Вот тебе и слава!

Нынче холод, дождь. Убили Дарлана.

Перечитываю «Гардениных» — как когда-то на Montfleury чуть не 20 лет тому назад! Много не хорошо.

Все грустен. В жизни мне, в сущности, не осталось *ничего!* <...>

27. XII.42. Воскресенье.

Месяц тому назад, 27 ноября, умер Осоргин.

Холодно, серо. Топлю.

Писал заметки о России.

Тем, что я не уехал с Цетлиным и Алдановым в Америку, я подписал себе смертный приговор. Кончить дни в Грассе, в нищете, в холоде, в собачьем голоде!

31. XII.42. Четверг.

Грустил ужасно.

«Встречали» Новый год втроем (Б. уехал куда-то): во время боя часов выпили по стакану белого вина и «поужинали»: по 5 соленых ржавых рыбок, по несколько кружков картошки и по три кружочка, очень тоненьких, колбасы, воняющей дохлой собакой.

Холодно, но довольно хорошая погода.
Ноябрь, декабрь были почти сплошь солнечны.

Еще год прожит из маленькой человеческой жизни!

1943

1.1.43. Пятница.

Господи, спаси и помоги.

3.1.43. Воскресенье..

Письмо от Н. И. Кульман: умерли Бальмонт и проф. Оман. Исчез из мира и из моей жизни Бальмонт! А живо вижу знакомство с ним, в Москве, в номерах «Мадрид» на Тверской! Был рыжий, стрижен ежиком, налит силой кровью, шея, щеки в крупных нарывах...

Солнечно, довольно тепло, но налеты мистраля.

1.2. Понедельник.

Ночь была сырая, с мгой. Проснулся в 4, не спал до 6. Заснул и проснулся в 9. Чувствую себя, однако, сносно.

Паулис, произведенный вчера Хитлером в маршалы, сдался в Царицыне, с ним еще 17

генералов. Царицын почти полностью свободен. Погибло в нем будто бы тысяч 300. Но в Берлине речи — 10-летие власти Хитлера.

2.2. Вторник.

Сдались последние. Царицын свободен вполне.

8.2. Понедельник.

Взяли русские Курск, идут на Белгород. Не сорвутся ли?

17.2. Среда.

Во сне ломило темя. Утром кровь.

Опять, слава богу, солнце. Чувствую себя мутно и слабо.

Нездоровится, повышена температура.

Солнечно.

Я был умен и еще умен, талантлив, непостижим чем-то божественным, что есть моя жизнь, своей индивидуальностью, мыслями, чувствами — как же может быть, чтобы это исчезло? Не может быть!

28.3. Воскресенье.

Вечер. Часы переведены еще на час вперед — сейчас уже 12 1/2, т. е. по-настоящему 10 1/2.

Радио: умер Рахманинов.

2.4. Пятница.

Послал «Le Village»[56] в Португалию.

Продолжаю читать французский перевод дневников С. А. Толстой (2 тома). Одержимая!

Читаю записки Порошина, воспитателя Павла I. Обожествление мальчишки, часто очень гадкого и наглого.

Часто думаю о возвращении домой. Доживу ли? И что там встречу?

3.4.43. Суббота.

Летний день. Деревцо на нижней площадке — розовые цветы, коричневые листья. Зацвело грушевое дерево, яблоня — самое прелестное. <...> Цветут левкой. Букет у меня на столе. Несказанно очароват. благоухание.

Мучительная медленность войны — наступление в Африке, выдохшееся наступление русских да и немцев в России. <...>

11.4. Воскресенье.

<...> 31 марта умер (очень тихо) Милюков. Кончена долгая — т. е., в сущности, очень короткая — жизнь, Даже не верится. Давно ли — и т. д.

14.4. Среда.

<...> Ночью разбудил крик Зурова и быстрый, бешеный стук — думал, что это он в стену, — оказалось, стрельба по английскому авиону. Был алерт.

Все дни солнечные, но с холодным ветерком. Нынче день совсем хороший. Может быть, от погоды мне лучше?

1. V. Суббота.

Перечитываю жизнь Гете (по-французски).

2. V.

Уже не помню, что вчера было (кроме того, что бешено убирался — могут выселить).

Весь день дождь, туман густым дымом.

С прошлой среды у нас с 11 вечера «couvre-feu» — из дому ни шагу.

4.5.

Прекрасный день и прекрасные облака над горами за Ниццей, — вечные, а наши жизни... Скоро, скоро и меня не будет, а они все будут. И вся моя жизнь здесь — как молод был, когда сюда приехал! <...>

7. V. Пятница.

Полночь с 1 /4. Дождь, лягушки. Час тому назад англичане вошли в Тунис, американцы — в Бизерту.

Не было утром газет — не вышли вовремя (для?) автоб. из Ниццы. Там аресты (среди французов), берут заложников.

Второй день дождь и холодно.

Завтра надеюсь поехать в Ниццу. Поеду ли?

Наступление русских на Кубань. Вчера взята Крымская.

9. V. Воскресенье.

Вчера был в Ницце. Солнечно, бело, слепит, почти жарко. «Гастроном».

Вечером, вернувшись, узнал о письме Г. к Вере (уже из Марсели): «Покидаем Францию».

Бросилась в пропасть с головой. <...>

26.5. Среда.

Письма от В. Зайцевой и Михайлова: умер Нилус (в ночь с субботы на воскресенье). Бесчувственность. <...>

29. V.

Слабость, сонливость. Вот тебе и стрихнин!
Письмо от П. Б. Струве: умерла его жена, Нина Александровна.

14. VI.

Надо начать хоть что-нибудь делать. Надо бодриться — господи, помоги.
Слабое солнце, туманно.
Полдень. Дождь. <...>

15. VI.

Скука и все ожидание, чтобы война, наконец, двинулась.
Перечитал «Le baiser au l'épreux», Mauriac'a. Поэтично, благородно, тонко, но в общем слабо, неубедительно. <...>
Очень прохладный вечер, гадкая окраска

гор и облаков.

18. VI. Пятница.

Прекрасный день, но все то же — слабость, лень.

Перечитывал стихи А. К. Толстого — многое удивительно хорошо, — и свои «Избранные стихи». Не постигаю, как они могли быть не оценены!

В безделье провожу свои *истинно последние дни*. Но ничего не могу!

6. VII.

Большие бои в России. Немцы говорят о страшных потерях у русских, русские — о таких же у немцев. Те и другие о своих ни слова.

8. VII. Четверг.

И вчера и нынче громадный пожар в Эстерели. Очень горячее солнце и холодные налеты мистралья.

10. VII. Суббота.

Началась высадка в Сицилии. Удастся ли?

Очень сомневаюсь. Дело большое!

25. VII. Воскресенье.

Утром квартирмейстер итальянцев — осматривал дом, чтобы, может быть, занять у нас несколько комнат.

Завтрак с Верой у Клягиных.

В 11 1/2 вечера: итальянский король принял отставку Муссолини! Пока еще ничего не понимаю. Но событие гигантское! Конец «цезаря», которому уже чуть не ставили золотые статуи!

25. VII

День серенький.

Как дико! 23 года был царь и бог — и вдруг «подал в отставку»! Исчез, не сказав на прощание ни слова Италии!

Ясно — Италия выйдет из войны, и у нас будут немцы.

2.8.43. Понедельник.

Уже несколько дней очень жарко. Небо мутно от зноя. Ходил в 6 ч. к Клягину — все горячо и сладко пахнет — цветы, хвоя.

Сейчас 8 (солнце еще не село), и долина, и горы, и невидное море смутно, в жаркой дымке.

Все еще неизвестно, где Муссолини.

Бои в Сицилии продолжаются — англичане, очевидно, не хотят спешить, ждут сдачи.

Да, какой позор свалился вдруг на Муссолини!

5.8. Четверг.

Был в Ницце. Тотчас узнал, что взяли Орел. В третьем часу — Катанью. <...>

В Ницце множество немцев, много мальчишек; одеты все тяжело и неопрятно, сапоги пудовые.

6.8.

Два-три последних дня сносно, ветерок. А до того нестерпимая жара и духота, неподвижность. Не запомню таких жаров — очень давно не было. И все пожары, пожары — то там, то тут. Нынче огненное солнце в дыму. Огромные пожары в сторону Тулона и возле Cagnes. Говорят о поджогах.

Чувствую себя последнее время сносно. По-

года?

Вечер. Пожары от Antibes до Cagnes.

«Великий Дуче» исчез как иголка. <...>

23.8. Воскресенье.

В понедельник 16-го ходили с Верой страшно жарким утром к Brès'у. Чудесный, старый дом, огромное поместье. Одинокий, за 60 или больше, сухой, худой, умный. Нашел мое здоровье не плохим.

Все дни жара редкая — тяжкая, душная, ходил почти голый, спал последние три ночи внизу, в маленьком кабинете.

Записать о дневниках Гиппиус — верно, все пишет — и воображаю, что только не напишет про всех, про всех, про меня в частности! <...>

30.8. Понедельник.

Вчера завтрак с Верой у Клягина. Он читал 2 рассказа. Второго я совсем не слышал — выпил за завтраком рюмку мару и стакана 3 вина, за кофе 2 рюмки коньяку и 1/2 рюмки ликеру — и сидя спал. Придя домой, спал от 6 до 10.

В 11 лег и проспал еще часов 10. Переутомление. Нельзя мне так пить.

2. IX. Четверг.

Пришел Бахрак и сказал, что в Grasse приходят немцы.

3. IX

Все хорошие дни, а все слабость.

Нынче на рассвете высадка англичан в Италии, утром ужасная бомбардировка Парижа. <...>

7. IX. Вторник.

Нынче ночью письмо из Ниццы: Елена Александровна Пушкина (фон Розен-Мейер) умерла 14 августа после второй операции. Еще одна бедная человеческая жизнь исчезла из Ниццы — и чья же! — родной внучки Александра Сергеевича! И может быть, только потому, что по нищете своей таскала тяжести, которые продавала и перепродавала ради того, чтобы не умереть с голоду! А Ницца с ее солнцем и морем все будет жить и жить! Весь день грусть. <...> *Оргия* нажив в Париже.

8. IX. Среда.

Огромная весть: в 6 1/2 ч. вечера узнали, что Италия вышла из войны, капитулировала — и никто в мире, кроме Рузвельта, Черчилля и Сталина, не знал, что сговорились

Об этом еще 3 сентября (августа?). Что же с нами-то теперь будет?

12 1/2 ночи. Молодая луна за домом, ни одного огня в сумрачно видной долине, выстрелы. Итальянцы бегут.

9./X.

Ночью разоружали и арестовывали итальянцев. Из Parc Palace Hôtel бежали высшие чины, но пойманы на дороге в Ниццу. Souv'reigneté у нас с нынешнего вечера с 8 вечера до 7 утра.

17. IX.

Опять поэтическая грусть — о той, первой осени в Париже. Как уже давно, давно это было!

Бомбят Париж, Нант, Montmollison — сотни убитых.

Сейчас, к вечеру, все замутилось, серо, похоже на близкий дождь.

Ночью (прошлой) была где-то, близко от нас, бомбардировка.

25. IX. Суббота.

Дождь, прохладно, — кажется, повернуло на осень.

Все последние дни чувствовал себя не плохо, пишу по целым дням. (Принимаю уже дней 10 фитин.)

Русские берут город за городом. Нынче — *Рославль и Смоленск.* <...>

13. X. Четверг.

<...> Час ночи, мелкий дождь, луна за облаками. Весь день чувствовал себя удивительно скверно; лежал пластом, засыпал. Вечером кровь.

В 3 ч. дня Италия в лице короля и Бодольо объявила войну Германии.

17. X.

Пил чай у Клягина. Какой очаровательно живой. человек!

Бои в Мелитополе — берут дом за домом.
Все последние дни холод — необычайный
в эту пору.

Сейчас 11 вечера (т. е. 10 по-настоящему) —
мрак, холод, дождь.

21. X. Четверг.

Письмо Олечке:

*Милая Олечка, как поживаешь?
В школе бываешь иль просто гу-
ляешь,
Дома же в куклы и с Котькой иг-
раешь,
А вечерами, под ручку с мама,
Ходишь то в гости, а то в сине-
ма?
Я вас обеих целую и жду
Вскоре иметь от тебя *billet-doux*.
P. S. Очень жалею, что Котьки
тут нет:
Аля сварил бы его на обед.*

23/10 октября. Суббота.

Господи, сохрани и помилуй. День моего
рождения.

Спал мало, часов 7 (а мне всегда нужно 8
1/2 или 9), но чувствую себя сносно.

Дописал рассказик «Начало».

Вечер: взяли Мелитополь.

29. X. Пятница.

Вчера в полночь дописал последнюю страницу «Речного ресторана». Все эти дни писал не вставая и без усталости, очень напряженно, хотя недосыпал, терял кровь и были дожди. Нынче падение. День был тихий, милый, на душе тихо и грустно, воспоминания.

Взяты за эти дни Екатеринослав, Лоцманская Каменка (когда-то я там был перед проходом по порогам). Теперь это, верно, город, гнусно называемый «Днепродзержинск».

1. XI.43. Понедельник.

«День всех святых», завтра самый страшный праздник — «день всех мертвых». Су-мрачно, холодно. Сейчас час ночи, совершенно непроглядная тьма, ни *единого* огня и мелкий дождь. Вечером писал начало «Иволги» — не знаю, что напишу дальше, пишу наугад. Нынче переписаны «Дубки», написанные 29-го и 30-го.

Вечером — взят Перекоп.

5. XI. Пятница.

Был у Клягина, он читал начало своего «Дяди Пети».

6. XI.

12 1/2 ночи. Туман, сыро, темно, полумесяц уже зашел.

Скверная погода к вечеру, сонливость, разбитость, но, одолевая себя, продолжал «Иволгу».

Взят Киев. В Грассе много русских в солдатской немецкой форме. Ходят из бара в бар.

11. XI. Четверг.

В одиннадцатом часу, в чудесную лунную ночь, началась бомбардировка Восса и продолжалась минут 40. Смотрели с заднего балкона и из окон. Редкое, дивное зрелище. Наш дом весь дрожал.

10. XII. Пятница.

10 лет тому назад стал в этот вечер почти миллионером. Банкет, кронпринц, Ингрид. Нынче у нас за обедом голые щи и по 3 варе-

ных картошки. Зато завтракали у Клягина —
жигу, рис, все плавает в жиру.

Взята Знаменка.

16. XII. Суббота.

Прекрасная погода.

Все думаю о краткости и ужасах жизни.

Слушал радио — провансальская музыка
и пение — девушки — и опять: как скоро
пройдет их молодость, начнется увядание,
болезни, потом старость, смерть... До чего
несчастливы люди! И никто еще до сих пор не
написал этого как следует!

1944

1.1.44. Новый год.

Господи, спаси и сохрани.

День опять солнечный и очень холодный.

Ничего не делал. Бесплодно тревожно.

Сейчас 11 1/2 ночи, первая треть луны, ле-
дяная ночь. Ходил бросить письмо Долгополо-
ву — как всегда, резкий свет электрического
фонарика в лицо возле клиники — ходят два
немецких солдата с 6 часов возле нее. <...>

2.1.44.

Солнце только что село. Очень высоко белый, чуть зеленоватый почти полумесяц (над Клягиным). Пять часов. Сажу у окна на запад — впереди все в фиолетовой дымке.

Пять часов 5 м. Уже все фиолетовое исчезло — стало темнеть под зеленоватой дымкой: День был чудесный. Было 2 алерта — после второго где-то бухало, дым где-то за Cagnes.

1 ч. 35 м. вечера — опять алерт!

3.1.

Заснул вчера, несмотря на алерт, раньше 12. Спал не плохо и долго, от 9 до 10 в полусне. И опять около 9 алерт.

В 12 — опять.

Прекрасный день, тишина, солнце. На солнце совсем горячо. Чувствую себя совсем не плохо.

Опять удивительный закат.

Нынче утром опять страшно били Берлин.

Вчера взяты Новгород, Волынск и Олевск.

Вот-вот будут страшные дни!

4.1. Вторник.

Опять прекрасный день. В 2 — алерт.

Ездил на вокзал Р. Л. М. — посылка от Шведского Красного Креста.

Взяли Белую Церковь, перешли в нескольких местах польскую границу.

6.1. Четверг.

«Праздновали» русский сочельник. <...> Грибной суп с кусочками сальца, котлеты, картофельное пюре!

В 12-м часу ночи (ледяной, лунной) вышли с В. погулять в сад — с дороги два резких огня фонариков, крики — дозора возле «Helios». Пospешили в дом.

7.1. Наше Рождество.

<...> Было 2 алерта.

Нынче и вчера читал рассказы Зоценко 37 г. Плохо, однообразно. Только одно выносишь — мысль, до чего мелка и пошла там жизнь. И недаром всегда пишет он столь убогим, полудикарским языком — это язык его несметных героев, той России, которой она стала.

8.1. Суббота.

<...> Вся Европа разрушена чудовищно. Прошлая «великая война» была совершенные пустяки. И Германия, помимо того, как страшно сдерут с нее шкуру, потеряла уже 3/4 своего самого сильного населения. А что ждет Болгарию, Венгрию, Румынию и несчастную Италию, зарезанную этим быком!

17.1. Понедельник.

Солнце (порой горячее), облака.

Сейчас 12 ночи (т. е. 11) — луна еще не взошла.

Война все тянется., И конца этому не видно! Когда же, Господи, что-нибудь решительное?

19.7. Среда.

Серо, холодно. Ничего не делал, тоска.

Взяты Красное Село, Петергоф, Ропша, большая добыча. Убито тысяч 20.

20.1.

Опять прекрасный день. Был у Клягина.

Взят Новгород.

Ночи звездные, чистые, холодные. Что ни

вспомнишь (а обрывки воспоминаний поминутно), все больно, грустно. Иногда сплю по 9 и больше часов. И почти каждое утро, как только откроешь глаза, какая-то грусть — бесцельность, *конченность всего* (для меня).

Просмотрел свои заметки о прежней России. Все думаю, если бы дожить, попасть в Россию! А зачем? Старость уцелевших (и женщин, с которыми когда-то), кладбище всего, чем жил когда-то...

25.1.

<...> Вдруг вспомнил Гагаринский переулок, свою молодость, выдуманную влюбленность в Лопатину, — которая лежит теперь почему-то (в 5 километрах от меня) в могиле в какой-то Валбоне. Это ли не дико!

27.1.

Без 1/4 6. Сижу у окна на запад. На горизонте небо зеленое — только что село солнце, — ближе вся часть неба (передо мной) в сплошном облаке, испод которого (мохнат?) как рупно и окрашен оранжево-медным.

Теперь цвет его все краснее, лесная долина

к Драгиньяну в фиолетовом пару.

Кругом, — к Ницце, к Cannes, — все не в меру, грубовато цветисто, — верно, завтра будет непогода.

Нынче, после завтрака, большая бодрость — бифштекс с кэри, настоящий кофе и лимон?

Получил 2 шведских посылки. <...>

28.1. Пятница.

<...> Нынче утром С. Маковский читал свои стихи «Из Апокалипсиса».

Солнечно, совсем тепло.

Немец осматривал дом.

Был у Клягина. Он читал.

Взяли Любань. Били Берлин.

30.1.

Гулял в одной куртке. Зацветают фиолетовые подушечки.

Чудовищно били Бруншвик и Франкфурт.

31.1.44.

Вчера письмо от Зайцева — Г. и М. в Дрездене, Г. «ведет хозяйство» (у Степунов, конечно)

но), «М. готовится к весеннему концерту».

Да, хорошо я выдумал слова мужика в «Весеннем вечере»: «Жизнь нам Господь Бог дает, а отнимает всякая гадина». <...>

4.2.

<...> Прочел две книжки К. Федина — «Братья» и «Похищение Европы». Очень много знает, очень неглуп — и наряду с этим сумбур, выдумки.

8.2. *Вторник.*

Взят Никополь и огромное количество военного материала, взято пленных тысячи 2, убито тысяч 15.

Погода все та же. Ночи удивительные. Луна над самой головой. Небо пустое — только Юпитер (к востоку) и Орион (к западу, над нашими террасами).

15.2.

Немцами взяты у нас 2 комнаты наверху.

Нынче 1-й день *полной* немецкой оккупации Alpes Maritimes.

18.3.44. Суббота.

<...> Разметал площадку перед домом, жег сухую листву, было совсем тепло. Вечером опять прохладно.

2.4.44. Воскресенье.

В 12 ч. ночи часы переведены еще на час вперед.

5.4.44.

Туман, к вечеру легкий дождь. Закричали как следует лягушки — с опозданием против обыкновенного чуть не два месяца.

С 8 на 9.V.44.

Час ночи. Встал из-за стола — осталось дописать несколько строк «Чистого понедельника». Погасил свет, открыл окно проветрить комнату — ни малейшего движения воздуха; полнолуние, ночь неяркая, вся долина в тончайшем тумане, далеко на горизонте неясный розоватый блеск моря, тишина, мягкая свежесть молодой древесной зелени, кое-где целкание первых соловьев... Господи, продли мои силы для моей одинокой, бедной жизни

в этой красоте и в работе!

14.5.44.

2 1/2 часа ночи (значит, уже не 14, а 15 мая).

За вечер написал «Пароход „Саратов“». Открыл окно, тьма, тишина, кое-где звезды, сырая свежесть.

23.5.44.

Вечером написал «Камарг». Очень холодная ночь, хоть бы зимой.

4. VI. 44. Вечер.

Взят Рим! Вчера вечером вошли в него.

6. VI. 44. Вторник.

В 5 1/2 утра началась высадка в Нормандии. Наконец-то!

Полнолуние. <...>

21.6. Среда. Взят Выборг.

3 года тому назад, в ночь с 21 на 22, Гитлер, как он любил выражаться, «упал как молния в ночи» на Россию. Ах, не следовало!

22.6.

В 3 ночи алертс Стояло что-то красное, большое в стороне Ниццы, сверкали вспышки — узнали нынче, что били Вентимилью.

Уже почти час ночи, а хочется писать.

26.6.

Началось русское наступление. Вчера молодой месяц, видал с правой стороны. Взят Шербург.

27.6.

Взяты Витебск и Жлобин. Погода все скверная. Взята *Одесса*. Радуюсь. Как все перевернулось!

28.6.

У Клягина (меня) осматривал д-р Brès. Нашел не в плохом состоянии, лучше прошлогоднего; и аорта и сердце хороши, кроводавление 8 и 14. <...>

1.7.44. Суббота.

Погода хорошая, хотя холодный бриз, но

все слабость. Нынче весь день буйное веселье немцев в «Гелиосе». Немцы в Грассе! И почему-то во всем этом Я! <...>

3.7.

Погода плоха, все слабость. Читал Стендаля. Бесконечная болтовня. Но человек умный, хорошо знающий жизнь, людей. — Взят Минск.

16.7. Воскресенье.

<...> татарин Федя, другой татарин и самарский солдат. Вообще русские пленные у нас часто все лето. Взято Гродно. 20.7.44.

Покушение на Хитлера. Пухлые облака, все неприятная погода. Вялость.

Дико! Уже 5 лет живу в какой-то английской вилле! Привык как к своему дому.

Русские идут, идут.

21.7.

Облака, прохладно. К вечеру стал чувствовать себя бодрее.

Опять перечитал «Отца Сергия» и «Декабристов». Сколько замечательного в «Сергии»!

В «Декабристах» кое-что ненужное, например обращения к читателю. <...>

22.7.44.

Сон про свою смерть. Сумерки, церковь, я выбирал себе могильное место.

Прекрасный день, но мистраль. Самочувствие весь день лучше.

Перечитал «Смерть Ивана Ильича». Конец невразумителен. Все лживые, кроме самого Ивана Ильича — он слова, литература; все верно насчет него, но живого образа нет.

23.7.

Взят Псков. Освобождена уже вся *Россия!* Совершенно истинно гигантское дело! <...>

Звездные ночи. Млечный Путь фосфорически-дымный, будто студенистый. В его конце, почти над Зстерелем, мутные крупные звезды. И миллионы, миллионы звезд!

Под Брадами убито 30 т. немцев.

27.7.44. Четверг.

Взяты Белосток, Станиславов, Львов, Двинск, Шавли и Режица. <...>

1.8.44. Вторник.

<...> 3/4 луны. Ходили бросать письмо о Киприану — послал ему «Балладу».

Возле «Helios» на часах немец и русский пленный, «студент» Колесников. Поговорили. На прощанье немец крепко пожал мне руку.

3.8.

5 алертов за день. Полнолуние.

Черчилль вчера сказал, что война кончится не позднее октября. Посмотрим.

10.8.44. Четверг.

<...> Вчера перечитывал (давно не читал) «Восточные повести» Лермонтова: «Измаил Бей», «Ангел смерти» и т. д. Совершенно детский, убогий вздор, но с замечательными проблесками. <...>

12.8.44. Суббота.

Два алерта. Первый в 11 ч. утра. Испытал впервые настоящий страх — ударили близко, в Mollose'e, потом на холмы против Жоржа — и тотчас начались пожары,

Прекрасный, уже очень жаркий день.

15.8.44. Вторник. Успение.

Спал с перерывами, тревожно — все гудели авионы. С седьмого часа утра началось ужасающее буханье за Эстерелем, длившееся до полдня и после. В первом часу радио: началась высадка союзников возле Фрежюса. Неописуемое волнение!

15.8.44. Пятница.

Взяли La Napoul (возле Cannes). Все время можно различить в море 6 больших судов. То и дело глухой грохот орудий.

25.8.44. Пятница.

Все та же погода — жарко, сухо, жаркий ветер с востока, море все время в светлом белесом тумане.

День 23-го был удивительный: радио в 2 часа восторженно орало, что 50 тысяч партизан вместе с населением Парижа *взяли Париж*.

Вечером немцы <стали> взрывать что-то свое (снаряды?) в Грассе, потом на холмах

против Жоржа начались взрывы в мелком лесу — треск, пальба, взлеты бенгальских огней — и продолжались часа полтора. Сумерки были сумрачные, мы долго, долго смотрели на это страшное и великолепное зрелище с замиранием сердца <нрзб>. Ясно, что немцы бегут из Грасса!

На рассвете 24-го вошли в Грасс американцы. Необыкновенное утро! Свобода после стольких лет каторги!

Днем ходил в город — ликование неопишное. Множество американцев.

Взяты Cannes.

Нынче опять ходил в город. Толпа, везде пьют (уже все, что угодно), пляски, музыка — видел в «Эстерели» нечто отчаянное — наши девчонки с американскими солдатами (все больше летчики).

В Париже опять были битвы — наконец, совсем освобожден. Туда прибыл Де Голль.

Румыния сдалась и объявила войну Германии. Анто-неску арестован. Болгария просит мира.

«Федя» бежал от немцев за двое суток до прихода американца, все время лежал в ку-

стах, недалеко от пекарни, где он работал (по дороге в St. Jacques).

26.8.44. Суббота.

Все та же погода. Вчера весь вечер и нынче ночью грохот где-то возле Cannes.

3 часа. Все небо над Ниццей в густом желтоватом дыму — должно быть, горят Cagnes St. Laurent.

27.8. Воскресенье.

Жарко. Гул авионо́в над нами.

30.8. Среда.

Был у Клягина. Там сказали, что взята Ницца. То же сказал Бахрак, вернувшийся из города. «Говорят, Ницца сошла с ума от радости, тонет в шампанском».

31.8. Четверг.

Все дни так жарко, что хожу полуголый. Очень душно по ночам.

Перечитываю Гоголя — том, где «Рим», «Портрет»... Нестерпимое «плетение словес», бесконечные периоды. «Портрет» нечто со-

вершено мертвое, головное. Начало «Носа» патологически гадко — нос в горячем хлебе! «Рим» — задыхаешься от литературности и напыщенности...

А может быть, я еще побываю в Риме до смерти? Господи, если бы!

3.9.44. Воскресенье.

Союзники уже в Бельгии. Финны сдаются. Прекрасный день, райские виды. И опять — та осень!

4.9.

<...> Нынче в 8 утра прекращены военные действия между финнами и русскими. Взят Брюссель. Вошли в Голландию.

5.9. Вечер.

Россия объявила войну Болгарии. День был прохладный.

7.10.44. Суббота.

Сентябрь был плохой. Вчера и нынче буря, ливни, холод, да такой, что нынче вечером повесил на окна занавески.

Уже давно, давно все мои бывшие радости стали для меня мукой воспоминаний!

Пошлый Леон Доде — еще раз пересмотрел его романы.

Полночь с 22 на 23 окт. 44.

Роковой день мой — уже 75-й год пойдет мне завтра. Спаси, Господи.

Завтра в 8 утра уезжает Бахрак, проживший у нас 4 года. 4 года прошло!

Холодная ночь, блеск синего Ориона. И скоро я никогда уже не буду этого видеть. Приговоренный к казни.

1. XII. 44. Пятница.

<...> Спаси, Господи. Боюсь болезни, все хочу начать здоровее жить.

По ночам кричат филины. Точно раненый, которого перевязывают или которому запускают что-нибудь в рану:

— Уу! (тоска и боль). И залиvistо, гулко:

— У-у-у!

Русские все стали вдруг красней красного. У одних страх, у других холопство, у третьих — стадность. «Горе рака красит!»

1945

1.1.1945. Понедельник.

Сохрани, Господи. — Новый год.

Уже с месяц болевая точка в конце печени при некоторых движениях. Был долгий кашель, насморк, грипп.

Топлю по вечерам, Вера сидит у меня, переписывает на машинке некоторые мои вещи, чтобы были дубликаты. И еще, еще правлю некоторые слова.

Очень самого трогает «Холодная осень». Да, «великая октябрьская», Белая армия, эмиграция... Как далеко все! И сколько было надежд! Эмиграция, новая жизнь — и, как ни странно, еще *молодость* была! В сущности, удивительно счастливые были дни. И вот уже далекие и никому не нужные. «Патриоты», «Amis de la patrie soviétique»... (необыкновенно глупо: «Советское отечество»! Уж не говоря о том, что никто там ни с кем не советуется). <...>

12.2.45. 12 1/2 ночи.

Бедная, трогательная посылочка от Н. И. Кульман — совершенно необыкновенная

женщина! Вечером прошелся, бросил ей открытку — благодарность. Холодно, мириады бледных белых точек, звезд; выделяются яркой, крупной белизной звезды Ориона.

Все перечитываю Пушкина. Всю мою долгую жизнь, с отрочества не могу примириться с его дикой гибелью! Лет 15 тому назад я обедал у какой-то герцогини в Париже, на обеде был Henri de Renier в широком старомодном фраке с гальскими усами. Когда мы после обеда стоя курили с ним, он мне сказал, что Дантес приходится ему каким-то дальним родственником — и: «que voulez-vous?[57] Дантес защищал свою жизнь!» Мог бы и не говорить мне этого.

23.2.45.

Кажется, началось большое наступление союзников на Кельн.

Взята Познань <...>

Чудовищное разрушение Германии авионами продолжается. Зачем немцы хотят, чтобы от нее не осталось камня на камне, непостижимо!

Турция объявила войну ей и Японии.

24.2.45. Суббота.

В 10 вечера пришла Вера и сказала, что Зуров слушал Москву: умер Толстой. Боже мой, давно ли все это было — наши первые парижские годы и он, сильный, как бык, почти молодой!

25.2.45.

Вчера в 6 ч. вечера его уже сожгли. Исчез из мира совершенно! Прожил всего 62 года. Мог бы еще 20 прожить.

26.2.45.

Урну с его прахом закопали в Новодевичьем.

24.3.45. Суббота.

Полночь. Пишу под радио из Москвы — под «советский» гимн. Только что говорили Лондон и Америка о нынешнем дне, как об историческом — «о последней битве с Германией», о громадном наступлении на нее, о переправе через Рейн, о решительном последнем шаге к победе. Помогите, Бог! Даже жутко!

Берлин били прошлую ночь, 32-ю ночь подряд.

Вчера были именины Г. Как-то отпраздновала, боже мой!

14. IV.45.

Вчера: взятие Вены.

Смерть Рузвельта.

16. IV.45. Понедельник.

Вышел вечером, в 10-м часу — совсем золотой рог молодого месяца над пиниями возле часовни. Ходил на дорогу, немного дальше спуска в город.

1946

14/1 октября 46 г. Покров. Рождение Веры.

Все думаю, какой чудовищный день послезавтра в Нюрнберге. Чудовищно преступны, достойны виселицы — и все-таки душа не принимает того, что послезавтра будет сделано людьми. И совершенно невозможно представить себе, как могут все те, которые послезавтра будут удушены, как собаки, ждать этого часа, пить, есть, ходить в нужник, спать эти две их последние ночи на земле...

1949

(В ночь с 2 на 3 октября.)

Все одни и те же думы, воспоминания. И все то же отчаяние: как невозвратно, неоправдимо! Много было тяжелого, было и оскорбительное — как допустил себя до этого! И сколько прекрасного, счастливого — и все кажется, что не ценил его. И как много пропустил, прозевал — тупо, идиотски! Ах, если бы воротить! А теперь уже ничего впереди — каляка, и смерть почти на пороге.

1953

(В ночь с 27 на 28 января.)

— Замечательно! Все о прошлом, о прошлом думаешь, и чаще всего *все об одном и том же в прошлом*: об утерянном, пропущенном, счастливом, неоцененном, о непоправимых поступках своих, глупых и даже безумных, об оскорблениях, испытанных по причине своих слабостей, своей бесхарактерности, недалёковидности, и о неотмщенности за эти оскорбления, о том, что слишком многое, многое прощал, не был злопамятен, да и до сих пор таков. А ведь вот-вот все, все поглотит могила!

23 февраля 53.

Вчера Алданов рассказал, что сам Алешка Толстой говорил ему, что он, Толстой, до 16 лет носил фамилию Бострэм, а потом поехал к своему мнимому отцу графу Ник. Толстому и упросил узаконить его — графом Толстым.

2 мая 53 г.

Это все-таки поразительно до столбняка! Через некоторое очень малое время меня не будет — и дела и судьбы *всего, всего* будут мне неизвестны! И я приобщусь к Финикову, Роговскому, Шмелеву, Пантелеймонову!.. И я только тупо, умом *стараюсь* изумиться, устраситься!

Автобиографические заметки*

Из предисловия к французскому изданию «Господина из Сан- Франциско»*

Я происхожу из старого дворянского рода, давшего России немало видных деятелей, как на поприще государственном, так и в области искусства, где особенно известны два поэта начала прошлого века: Анна Бунина и Василий Жуковский, один из корифеев русской литературы, сын Афанасия Бунина и пленной турчанки Сальмы.

Все предки мои всегда были связаны с народом и с землей, были помещиками. Помещиками были и деды и отцы мои, владевшие именьями в средней России, в том плодородном подстепье, где древние московские цари, с целями защиты государства от набегов южных татар, создавали заслоны из поселенцев различных русских областей, где, благодаря этому, образовался богатейший русский язык

и откуда вышли чуть не все величайшие русские писатели во главе с Тургеневым и Толстым.

Я родился 10 октября 1870 года, в городе Воронеже. Детство и юность почти целиком провел в деревне. Писать начал рано. Рано появился и в печати.

Критика обратила на меня внимание довольно скоро. Затем мои книги не раз были отмечены высшей наградой Российской Академии наук — премией имени Пушкина. В 1909 году эта Академия избрала меня в число двенадцати почетных Академиков.

Однако известности более или менее широкой я не имел долго: я несколько лет, после появления в печати моих первых рассказов, не писал и не печатал ничего, кроме стихов; я не касался в своих произведениях политической и общественной злободневности; я не принадлежал ни к одной литературной школе, не называл себя ни декадентом, ни символистом, ни романтиком, ни реалистом; а между тем судьба русского писателя за последние десятилетия часто зависела от того, находится ли он в борьбе с существующим государственным

ным строем, вышел ли он из «народа», был ли он в тюрьме, в ссылке, или же от его участия в той «литературной революции», которая, — в большой мере из-за подражания Западной Европе, — столь шумно проделывалась в эти годы среди быстро развивавшейся в России городской жизни, ее новых критиков и новых читателей из молодой буржуазии и молодого пролетариата. Кроме того, я мало вращался в литературной среде. Я много жил в деревне, много путешествовал по России и за границей: в Италии, в Турции, на Балканах, в Греции, в Палестине, в Египте, в Алжирии, в Тунисии, в тропиках. Я, как сказал Саади, «стремился обозреть лицо мира и оставить в нем чекан души своей», меня занимали вопросы психологические, религиозные, исторические.

Двенадцать лет тому назад я напечатал «Деревню». Это было начало целого ряда произведений, резко рисовавших русскую душу, ее своеобразные сплетения, ее светлые и темные, но почти всегда трагические основы. В русской критике и в среде русской интеллигенции, где, в силу многих своеобразных

условий, а за последнее время и просто в силу незнания народа или политических соображений, народ почти всегда идеализировался, эти «беспощадные» произведения вызвали очень страстные отклики и в конечном итоге принесли мне то, что называется успехом, который еще более укрепили мои последующие работы.

В эти годы, я чувствовал, как с каждым днем все более крепнет моя рука, как горячо и уверенно требуют исхода накопившиеся во мне силы. Но тут разразилась война, а затем русская революция. <...>

Я покинул Москву в мае 1918 года, жил на юге России, переходившем из рук в руки «белых» и «красных», а в феврале 1920 года, испив чашу несказанных душевных страданий, эмигрировал за границу, — сперва на Балканы, потом во Францию.

Париж, 1921

P.S. Во Франции я жил первое время в Париже, с лета 1923 года переселился в Приморские Альпы, возвращаясь в Париж только на некоторые зимние месяцы.

В эмиграции мною написано шесть новых книг.

Париж, 1934

Автобиографическая заметка*

Просьбу дать для «Русской литературы XX века» сведения о моей жизни и литературной деятельности могу в настоящее время исполнить только частично — кратко сообщить только кое-что.

Я родился 10 октября 1870 года. Отца моего звали Алексеем Николаевичем, мать — Людмилой Александровной 9 в девичестве Чубаровой).

О роде Буниных я кое-что знаю. Род этот дал замечательную женщину прошлого века, поэтессу А. П. Бунину, и поэта В. А. Жуковского (незаконного сына А. И. Бунина); в некотором родстве мы с бр<атьями> Киреевскими, Гротами, Юшковыми, Воейковыми, Булгаковыми, Соймоновыми; о начале нашем в «Гербовнике дворянских родов» сказано, между прочим, следующее: «Род Буниных происходит от Симеона Бунковского, мужа знатного, выехавшего в XV в. из Польши в великому

князю Василию Васильевичу. Правнук его Алекснадр Лаврентьев сын Бунин служил по Владимиру и убит под Казанью. Стольник Козьма Леонтьев Бунин жалован за службу и храбрость на поместья грамотой. Равным образом и другие многие Бунины служили воеводами и в иных чинах и владели деревнями. Все сие доказывается бумагами Воронежского дворянского депутатского собрания о внесении рода Буниных в родословную книгу в VI часть, в число древнего дворянства...»

Род (тоже древнедворянский) Чубаровых мне почти неведом. Знаю только, что Чубаровы — дворяне Костромской, Московской, Орловской и Тамбовской губерний и что были у деда и у отца матери имения в Орловском и Трубчевском уездах. Да и сами Чубаровы знали о себе, вероятно, не больше: с полным пренебрежением к сохранению свидетельств о родовых связях жили наши дворяне. Я же чуть не с отрочества был «вольнодумец», вполне равнодушный не только к своей голубой крови, но и к полной утрате всего того, что было связано с нею: исключительно поэтическими были мои юношеские, да и позд-

нейшие «дворянские элегии», которых, кстати сказать, у меня гораздо меньше, чем видели некоторые мои критики, часто находившие черты личной жизни и личных чувств даже в тех моих писаниях, где почти и следа нет их, и вообще многое навязавшие мне.

Прадед мой по отцу был богат. У деда была земля в Орловской губернии (в Елецком уезде), в Тамбовской и Воронежской, но, кажется, понемногу. Деда братья его обделили. Он был не совсем нормальный, «тронувшийся» человек. Наследство осталось от него не бог весть какое, отец же и того не пощадил. Беспечен и расточителен он был необыкновенно. А Крымская кампания, в которой он участвовал «охотником», как тогда выражались, и переезд в семидесятом году в Воронеж для воспитания детей, моих старших братьев Юлия и Евгения, способствовали нашему разорению особенно. В Воронеже-то и родился я. Там прошли первые три года моей жизни. (Очень слабо, но все-таки помню кое-что из того времени.) Но расти в городе мне не пришлось. Страсть к клубу, к вину и картам заставила отца через три с половиной года возвратить-

ся в Елецкий уезд, где он поселился на своем хуторе Бутырки. Тут, в глубочайшей поле тишине, летом среди хлебов, подступавших к самым нашим порогам, а зимой среди сугробов, и прошло все детство, полное поэзии печальной и своеобразной.

Отец, человек необыкновенно сильный и здоровый физически, был до самого конца своей долгой жизни и духом почти столь же здоров и бодр. Уныние овладело им в самых тяжелых положениях на минуту, гнев — был очень вспыльчив — и того меньше. До тридцати лет, до похода в Крым, он не знал вкуса вина. Затем стал пить и пил временами ужасно, хотя не имел, кажется, ни одной типической черты алкоголика, совсем не пил иногда по несколько лет (я рожден как раз в один из таких светлых промежутков) и не соединял с этой страстью никаких других дурных страстей. Учился он недолго (в Орловской гимназии), ученья терпеть не мог, но читал все, что попадало под руку, с большой охотой. Ум его, живой и образный, — он и говорил всегда удивительно энергическим и картинным языком, — не переносил логики, характер —

порывистый, решительный, открытый и великодушный — преград. Все его существо было столь естественно и наивно пропитано ощущением своего барского происхождения, что я не представляю себе круга, в котором он смутился бы. Но даже его крепостные говорили, что «во всем свете нет проще и добрей» его. То, что было у матери, он тоже прожил, частью даже раздарил, ибо у него была какая-то неутолимая жажда раздавать.

Постоянная охота, постоянная жизнь на воздухе много помогли тому, что этот хороший, интересный и по натуре даровитый человек умер восьмидесяти лет легко и спокойно.

Мать ни в чем не походила на него, кроме разве доброты и здоровья, в силу которого она прожила тоже долго, несмотря на все горести своей жизни, на астму, изнурявшую ее в течение последних двадцати лет, и на тяжкий пост, который она, по своей горячей религиозности, возложила на себя и с редкой стойкостью переносила лет двадцать пять, вплоть до самой кончины. Отец ее тоже пил, но по-иному, культурнее, если можно так вы-

разиться; послужив в военной службе, побывав за границей, пожив в Варшаве, он вообще выделялся среди помещиков, и воспитана была Людмила Александровна тоньше, чем Алексей Николаевич. Характер у нее был нежный, — что не исключало большой твердости при некоторых обстоятельствах, — самоотверженный, склонный к грустным предчувствиям, к слезам и печали. Преданность ее семье, детям, которых у нее было девять человек и из которых она пятерых потеряла, была изумительна, разлука с ними — невыносима. В пору же моего детства старшие мои братья были вдали от нее, отец все отлучался в тамбовское имение, пропадал на охоте, жил не по средствам, и, значит, немало было и существенных поводов для ее слез.

Неизменная бодрость отца и вообще некоторые его черты стали действовать на меня, в противовес ее влиянию, и сказываться во мне наследственно лишь позднее. Редко, повторяю, и бывал он с нами. А «дворня» наша невелика была, с соседями и родственниками мы в ту пору виделись мало, сверстников я не имел, — сестра Маша была еще совсем ребен-

нок, — игрушек, развлечений и склонности к ним — тоже, впечатлителен был чрезвычайно. Все, помню, действовало на меня — новое лицо, какое-нибудь событие, песня в поле, рассказ странника, таинственные лощины за хутором, легенда о каком-то беглом солдате, едва живом от страха и голода и скрывавшемся в наших хлебах, ворон, все прилетавший к нам на ограду и поразивший мое воображение особенно тем, что жил он, как сказала мне мать, еще, может, при Иване Грозном, предвечернее солнце в тех комнатах, что глядели за вишневый сад на запад... Мать и дворовые любили рассказывать, — от них я много наслушался и песен, и рассказов, слышал, между прочим, «Аленький цветочек», «О трех старцах», — то, что потом читал. Им же я обязан и первыми познаниями в языке, — нашем богатейшем языке, в котором, благодаря географическим и историческим условиям, слилось и претворилось столько наречий и говоров чуть не со всех концов Руси.

Лет с семи началась для меня жизнь, тесно связанная в моих воспоминаниях с полем, с мужицкими избами, а потом и с ними и с мо-

им воспитателем. Чуть не все свободное от учения время я, вплоть до поступления в гимназию, да и приезжая из гимназии на каникулы, провел в ближайших от Бутырок деревушках, у наших бывших крепостных и у одноподворцев. Явились друзья, и порой я по целым дням стерег с ними в поле скотину... А воспитателем моим был престранный человек — сын предводителя дворянства, учившийся в Лазаревском институте восточных языков, одно время бывший преподавателем в Осташкове, Тамбове и Кирсанове, но затем спившийся, порвавший все связи родственные и общественные и превратившийся в скитальца по деревням и усадьбам. Он неожиданно привязался ко всем нам, а ко мне особенно, и этой привязанностью и своими бесконечными рассказами, — он немало нагляделся, бродя по свету, и был довольно начитан, владея тремя языками, — вызвал и во мне горячую любовь к себе. Он мгновенно выучил меня читать (по «Одиссее» Гомера), распалял мое воображение, рассказывая то о медвежьих осташковских лесах, то о Дон-Кихоте, — и я положительно бредил рыцар-

ством! — поминутно будил мою мысль своими оригинальными, порой даже не совсем понятными мне разговорами о жизни, о людях. Он играл на скрипке, рисовал акварелью, а с ним вместе иногда по целым дням не разгибался и я, до тошноты насасываясь с кисточки водой, смешанной с красками, и на всю жизнь запомнил то несказанное счастье, которое принес мне первый коробок этих красок: на мечте стать художником, на разглядывании неба, земли, освещения у меня было довольно долгое помешательство. Он писал стихи, — сатирические вирши на злобы дня, — и вот написал стихотворение и я, но совсем не злободневное, а о каких-то духах в горной долине, в лунную полночь. Мне было тогда лет восемь, но я до сих пор так ясно помню рту долину, точно вчера видел ее наяву. Вообще я много представлял себе тогда чрезвычайно живо и точно.

Учил меня мой воспитатель, однако, очень плохо, чему попало и как попало. Из языков он больше всего налегал почему-то на латынь, и немало тяжелых дней провел я в зубрежке латинской грамматики.

Года за два до поступления в гимназию (поступил я туда на одиннадцатом году) я испытал еще одну страсть — к житиям святых, и начал поститься, молиться... Страсть эта, вначале сладостная, превратилась затем, благодаря смерти моей маленькой сестры Нади, в мучительную, в тоску, длившуюся целую зиму, в постоянную мысль о том, что за гробом. Излечила меня, помню, весна. Отзвуком этого осталось то упоение, с каким отдавался я иногда печали всенощных бдений в елецких церквах, куда водило нас, гимназистов, наше начальство, хотя вообще церковных служб я не любил. (Теперь люблю — в древних русских церквах и иноверческие, то есть католические, мусульманские, буддийские, — хотя никакой ортодоксальной веры не держусь.)

Гимназия и жизнь в Ельце оставили мне впечатления далеко не радостные, — известно, что такое русская, да еще уездная гимназия, и что такое уездный русский город! Резок был и переход от совершенно свободной жизни, от забот матери к жизни в городе, к нелепым строгостям в гимназии и к тяжкому быту

тех мещанских и купеческих домов, где мне пришлось жить нахлебником. Учился я сперва хорошо, воспринимал почти все легко, потом хуже: новая жизнь сделала то, что я стал хворать, таять, стал чрезмерно нервен, да еще на беду влюбился, а влюбленность моя в ту пору, как, впрочем, и позднее, в молодости, была хотя и чужда нечистых помыслов, но восторженна. Дело кончилось тем, что я вышел из гимназии.

Читал я в детстве мало и не скажу, чтобы уж так жаждал книг, но, вероятно, прочитал почти все, что было у нас в доме и что еще не пошло на сигарки тем приживальщикам, прежним слугам-друзьям отца, что иногда гостили у нас, и до сих пор еще помню, как читал я «Английских поэтов» Гербеля, «Робинзона», затасканный том «Живописного обозрения», кажется, за 1878 год, чью-то книгу с картинками под заглавием «Земля и люди»... Суть того чувства, что вызывали во мне эти книги, и до сих пор жива во мне, но ее трудно выразить. Главное заключалось в том, что я *видел* то, что читал, — впоследствии даже слишком остро, — и это давало какое-то осо-

бое наслаждение.

В гимназии много из того, что обычно читается в такие годы, мне совсем не нравилось. (Из того, что произвело на меня в первые гимназические годы особенно поэтическое и восторженное впечатление, вспоминается сейчас «Колокол» Андерсена). И стихов в гимназии я почти не писал, хотя до чужих был жаден и отличался способностью запоминать наизусть чуть не целую страницу даже гекзаметра, только раз пробежав ее. (Память у меня вообще хорошая, — то, что интересуется, запоминаю крепко, — но насилия не терпит: убедился в этом еще в ранней молодости, когда, по гоголевской манере, пытался упражняться в наблюдательности.)

Зато необыкновенно много исписал я бумаги и прочел за те четыре года, что прожил после гимназии в елецкой деревне Озерках, в имении, перешедшем к нам от умершей бабки Чубаровой. Дома я снова быстро окреп, сразу возмужал, развился, исполнился радостного ощущения все растущей молодости и сил. Тут как раз на целых три года выслали к нам брата Юлия, уже кончившего универси-

тет и пробывшего год в тюрьме по политическим делам, и он прошел со мной весь гимназический курс, занимался со мной языками, читал мне начатки психологии, философии, общественных и естественных наук; кроме того, мы без конца вели с ним разговоры о литературе. И помню, что в ту пору мне все казалось очаровательно: и люди, и природа, и старинный с цветными окнами дом бабки, и соседние усадьбы, и охота, и книги, один вид которых давал мне почти физическое наслаждение, и каждый цвет, каждый запах...

Писал я в отрочестве сперва легко, так как подражал то одному, то другому, — больше всего Лермонтову, отчасти Пушкину, которому подражал даже в почерке, потом, в силу потребности высказать уже кое-что свое, — чаще всего любовное, — труднее. Читал я тогда что попало: и старые и новые журналы, и Лермонтова, и Жуковского, и Шиллера, и Веневитинова, и Тургенева, и Маколея, и Шекспира, и Белинского... Потом пришла настоящая любовь к Пушкину, но наряду с этим увлечение, хотя и недолгое, Надсоном, чему, впрочем, много способствовала его смерть.

Вообще о писателях я с детства, да и впоследствии довольно долго, мыслил как о существах высшего порядка. (Помню, как поразил меня рассказ моего воспитателя о Гоголе, — он однажды видел его, — вскоре после того, как я впервые прочел «Страшную месть», самый ритм которой всегда волновал меня необыкновенно.) Самому мне, кажется, и в голову не приходило быть меньше Пушкина, Лермонтова, — благо лермонтовское Кропотково было в двадцати пяти верстах от нас, да и вообще чуть не все большие писатели родились поблизости, — и не от самомнения, а просто в силу какого-то ощущения, что иначе и быть не может. Но это не исключало страстного интереса вообще к писателям, даже к таким, каким был, например, некто Назаров. Озерский кабатчик как-то сказал мне, что в Ельце появился «автор». И я тотчас же поехал в Елец и с восторгом познакомился в базарном трактире с этим Назаровым, самоучкой-стихотворцем из мещан. Из новых писателей мне очень нравился тогда Гаршин (самоубийство которого ужасно поразило меня). Нравился и Эртель, хотя я и тогда чувствовал

его литературность, непростоту, копировку Тургенева, даже эту неприятную изысканность знаков препинания, обилие многоточий. В Чехове (его юмористических рассказов я тогда не знал) тоже кое-что задевало меня — то, что он писал бегло, жидко...

В апреле 1887 года я отправил в петербургский еженедельный журнал «Родина» стихотворение, которое и появилось в одном из майских номеров. Утра, когда я шел с этим номером с почты в Озерки, рвал по лесам росистые ландыши и поминутно перечитывал свое произведение, никогда не забуду. Писал и читал я в то лето особенно много, а чтобы ничто не мешало мне в этом и с целью «наблюдения таинственной ночной жизни», месяца на два прекратил ночной сон, спал только днем.

В сентябре 1888 года мои стихи появились в «Книжках Недели» (издаваемой П. А. Гайдебуровым), где часто печатались вещи Щедрина, Глеба Успенского, Л. Толстого, Полонского. Гайдебуров отнесся ко мне крайне внимательно и запретил сотрудничать в других изданиях, — взял меня под свое исключитель-

ное руководство.

Между тем благосостояние наше, по милости отца, снова ухудшилось. Брат Юлий переселился в Харьков. Весной 1889 года отправился и я туда и попал в кружки самых завзятых «радикалов», как выражались тогда, а пожив в Харькове, побывал в Крыму, о котором у меня еще в детстве составилось самое поэтическое представление, благодаря рассказам отца, и нашел, что ходить верст по сорок в сутки, загорать от солнца и от морского ветра и быть очень легким от голода и молодости — превосходно. С осени стал работать при «Орловском вестнике», то бросая работу и уезжая в Озерки или Харьков, то опять возвращаясь к ней, и был всем, чем придется, — и корректором, и передовиком, и театральным критиком, что, к счастью, совсем не приставало ко мне. Тут опять сразила меня, к великому моему несчастью, долгая любовь.

К более нормальной жизни, к более правильной работе литературной и образовательной я возвратился только через два года, переселившись в Полтаву, где брат Юлий заведовал статистическим бюро губернского

земства. В Полтаве я был библиотекарем земской управы, затем тоже статистиком, много корреспондировал в газеты о земских делах; усердно учился, писал, ездил и ходил по Малороссии, — служба у меня была легкая и свободная, — затем, увлеченный толстовской проповедью, стал навещать «братьев», живших под Полтавой и в Сумском уезде, прилаживаться к бондарному ремеслу, торговать изданиями «Посредника». Но сам же Толстой, к которому я ездил с А. А. Волкенштейном, и созерцание которого произвело на меня истинно потрясающее впечатление, и отклонил меня опрощаться до конца. (Как к художнику я относился к нему и тогда уже с не меньшим восторгом. Но к этому же времени относится и мое увлечение Флобером, а наряду с этим — «Словом о полку Игореве», малорусскими «думами», — теми, что наиболее величавы и торжественны, — некоторыми вещами Мицкевича, особенно его крымскими сонетами, балладами, страницами из «Пана Тадеуша»: ради Мицкевича я даже учился по-польски.)

За работой при «Орловском вестнике» я писал урывками, печатаясь в «Северном вест-

нике», «Наблюдателе» и иллюстрированных журналах, и издал первую книжку стихов, чисто юношеских, не в меру интимных. Первая рецензия на нее появилась в «Артисте» и заключала в себе странный упрек в подражании Фету и совет заняться лучше прозой. Остальные отзывы были весьма сочувственны. В Полтаве я впервые приступил более или менее серьезно к беллетристике, и первый же рассказ (без заглавия) послал в «Русское богатство», руководимое тогда Кривенко и Михайловским. Михайловский написал, что из меня выйдет «большой писатель», и рассказ, под чьим-то заглавием — «Деревенский эскиз», — был напечатан в апреле 1894 года. В то же время редкое участие принял во мне А. М. Жемчужников, вступивший со мной в переписку и проводивший меня в «Вестник Европы»: сам Стасюлевич был чересчур строг и порой несправедлив. (Вот пустяк, но характерный. Было у меня в стихотворении: «Ржи наливают и цветут». Стасюлевич изумился: «Кого наливают?» — и написал «наливаются». Жемчужников горячо вступился за меня.)

В январе 1895 года, бросив службу, я впервые попал в Петербург, видел некоторых писателей, Михайловского, Кривенко, который отнесся ко мне с истинно-отеческой нежностью. В этом же году я познакомился в Москве с Чеховым, с Бальмонтом, с Эртелем, с Брюсовым, тогда еще студентом. Позднее я мельком видал Коневского и Добролюбова. Они произвели на меня впечатление больных мальчиков с полным сумбуром в голове и в душе, благодаря и болезненности своей, и кое-чему прочитанному. Видал я и некоего поэта, славившегося тогда по Москве своей книжкой, посвященной «самому себе и египетской царице Клеопатре», и тем, что он ходил, как говорили, в папахе, в бурке, в нижнем белье, привязывал себе к пальцам когти и производил перевероты в стихотворной форме. Он, впрочем, раньше других бросил все эти «дерзания» и «переоценки ценностей» и, увы, не попал в историю «новой русской литературы», хотя именно ему долго приписывали многие все эти «закрой свои бледные ноги» и т. п.

В октябре 1895 года в «Новом слове», кото-

рое редактировал Кривенко, разошедшийся с «Русским богатством», а издавала О. Н. Попова, появился мой рассказ «На край света», встреченный очень хорошо (особенно Скабичевским, слову которого придавали тогда большой вес). Следующей осенью я с удовольствием согласился на предложение Поповой издать свои рассказы. Вышли они в свет (в январе 1897 г.) среди почти единодушных похвал. Но тут я внезапно надолго исчез из Петербурга, да не только исчез, а и замолчал на несколько лет. Два года затем я жил особенно скитальчески и разнообразно, — то в Орловской губернии, то в Малороссии, снова был в Крыму, бывал в Москве, все чаще встречался и со старыми и с молодыми писателями, посещал «Посредник», куда заезживал Толстой... Сам чувствуя свой рост и в силу многих душевных переломов, уничтожал я тогда то небольшое, что писал прозой, беспощадно; из стихов кое-что (то, что было менее интимно, преимущественно картины природы) печатал; довольно много переводил — чужое было легче передавать.

С этой поры собственно и начинается моя

более или менее зрелая жизнь, сложная и внутренне и внешне и столь еще близкая мне, что говорить о ней подробно — задача долгая и трудная. Поэтому кончу эти беглые заметки еще более бегло.

В 1898 году я женился на А. Н. Цакни, гречанке, дочери известного революционера и эмигранта Н. П. Цакни. Женившись, года полтора прожил в Одессе (где сблизился с кружком южно-русских художников). Затем разошелся с женой и установил в своих скитаниях, уже не мешавших мне работать в известной мере правильно, некоторый порядок: зимой столицы и деревня, иногда поездка за границу, весной юг России, летом преимущественно деревня. За это время я был, между прочим, ближайшим участником известного литературного кружка «Среда», душой которого был Н. Д. Телешов, а постоянными посетителями — Горький, Андреев, Куприн и т. д. Революция, прокатившаяся над всеми нами, надолго рассеяла этот кружок. С 1907 года жизнь со мной делит В. Н. Муромцева. С этих пор жажда странствовать и работать овладела мною с особенной силой. За последние во-

семь лет я написал две трети всего изданного мною. Видел же за эти годы особенно много. Неизменно проводя лето в деревне, мы почти все остальное время отдали чужим краям. Я не раз бывал в Турции, по берегам Малой Азии, в Греции, в Египте вплоть до Нубии, странствовал по Сирии, Палестине, был в Ороне, Алжире, Константине, Тунисе и на окраинах Сахары, плавал на Цейлон, изъездил почти всю Европу, особенно Сицилию и Италию (где три последних зимы мы провели на Капри), был в некоторых городах Румынии, Сербии — и, говоря словами Боратынского, отовсюду — «к вам приходил, родные степи, моя начальная любовь» — и снова «по свету бродил и наблюдал людское племя...».

Что же до литературной моей деятельности за эти годы, то ход и развитие ее известны. В конце 1898 года вышел мой перевод «Песни о Гайавате», давший повод некоторым моим критикам, при их обычной поспешности суждений и любви (или необходимости), повторять друг друга, записать меня в число идилликов и каких-то «созерцателей». В 1900 году издал первую книгу моих стихов

«Скорпион», с которым я, однако, очень скоро разошелся, не возымев никакой охоты играть с моими новыми сотоварищами в аргонавтов, в демонов, в магов и нести высокопарный вздор, хотя некоторые критики уже заговорили было о моем «увлечении декадентами» и усердно цитировали мой сонет «В Альпах», мысль которого, в сущности, была совсем не нова, — подобна мысли того самого сонета Пушкина, где сказано: «услышишь суд глупца», — меж тем как другие одобряли меня за то, что я держусь каких-то «заветов», «традиций», хотя любить талант, самостоятельность, ум, вкус вовсе не значит держаться каких-то традиций. В 1902 году «Знание», ближайшим сотрудником которого я был после этого почти все время его деятельного существования, издало первый том моих сочинений. Какие книги следовали за этими тремя, говорить нет нужды. Известно также, что от Академии наук я получал Пушкинские премии, что в 1909 году я был избран ею в число почетных академиков, в 1912 году — почетным членом Общества любителей российской словесности, коего я состою теперь

временным председателем, и т. д. Добавлю еще, что в текущем году книгоиздательство Маркса выпускает приложением к «Ниве» редактированное мною собрание моих сочинений, куда входит все, что я считаю более или менее достойным печати.

В общем, жизненный путь мой был довольно необычен, и о нем и вообще обо мне долго существовало довольно превратное представление. Взять хотя бы первое десятилетие моей литературной деятельности: большинство тех, что писали о моих первых книгах, не только спешили уложить меня на какую-нибудь полочку, не только старались раз навсегда установить размеры моего дарования, не замечая, что им же самим уже приходилось менять свои приговоры, но характеризовали и мою натуру. И выходило так, что нет писателя более тишайшего («певец осени, грусти, дворянских гнезд» и т. п.) и человека, более определившегося и умиротворенного, чем я.

А между тем человек-то был я как раз не тишайший и очень далекий от какой бы то ни было определенности: напротив, во мне

было самое резкое смешение и печали, и радости, и личных чувств, и страстного интереса к жизни, и вообще стократ сложнее и острее жил я, чем это выразилось в том немногом, что я печатал тогда. Бросив через некоторое время прежние клички, некоторые из писавших обо мне обратились, как я уже говорил, к диаметрально противоположным — сперва «декадент», потом «парнасец», «холодный мастер», — в то время как прочие все еще твердили: «певец осени, изящное дарование, прекрасный русский язык, любовь к природе, любовь к человеку... есть что-то тургеневское, есть что-то чеховское» (хотя решительно ничего чеховского у меня никогда не было). Впрочем, в литературе стоял тогда невероятный шум.

А второе десятилетие моей литературной деятельности еще у всех в памяти. Тут отношение ко мне, как известно, изменилось, во внимании ко мне за это время недостатка не было. Отмечу только один факт, уже не раз, к сожалению, повторявшийся в русской литературе, — то, как некоторые отнеслись к моей «Деревне», к «Ночному разговору», к «Суходо-

лу». На первых порах чего только, наряду с похвалами моему художеству, не наслушался я! Иные унижались даже до того, что говорили, что я был просто испуган революцией, как помещик (каковым на самом деле я отроду не был), корили меня моим происхождением, — точно я был первый и единственный «дворянин» в русской литературе, — уверяли, что я для деревни только «пришлый интеллигент», приплетали некстати мои «поездки в Индию», хотя поездки эти могли принести мне, конечно, только пользу, ибо справедливо сказал Шекспир, что «недалеко ушла от глупости домоседная мудрость». По шаблону, в угоду традициям и благодаря круглому незнанию жизни, некоторые неизменно прибавляли, говоря о моих произведениях, касавшихся русского народа: «А все-таки это не так», — и, никогда не приводя никаких доказательств, отделялись фразами о «искрах божьих», «отрадными» частностями, ссылками на Достоевского, Тютчева или Глеба Успенского и Чехова, хотя этих «искр» я никогда не отрицал, хотя не о частностях, а об общем, типическом говорил я, хотя Достоевский

и Тютчев для меня ничуть не обязательны, хотя Успенского тоже упрекали в «хмуром и желчном пессимизме» и «полном незнании народа», хотя, укоряя меня Чеховым, почти слово в слово повторяли то самое, что говорили Чехову, укоряя его предшественниками его. Все это, конечно, в порядке вещей. Судьба «Горя от ума» всем известна. О «Мертвых душах» и о «Ревизоре» в один голос кричали: «Это клевета, это невозможность». Гончарову, по свидетельству А. Ф. Кони, «пришлось выслушать, что он совершенно не понимает и не знает русского народа». «Преступление и наказание» Достоевского называли (и не где-нибудь, а в «Современнике») «клеветой на молодое поколение», «дребеденью», «позорным измышлением», «произведением самым жалким»... А ведь теперь дела стали еще хуже: литература наша изовралась невероятно, критика пала донельзя, провал между народом и городом образовался огромный, о дворянах теперешний городской интеллигент знает уже только по книжкам, о мужиках — по извозчикам и дворникам, о солдатах — только одно: «так что, ваше благородие», го-

ворить с народом он не умеет, изобразители сусальной Руси, сидя за старыми книжками и сочиняя какой-то никогда не бывалый, утрированно-русский и потому необыкновенно противный и неудобочитаемый язык, врут ему не судом, вкусы его все понижаются... Но все же не раз думал я: доколе же так вот и будет писаться история? Не ужасно ли, что, покричав: «Это клевета, это невозможность», — мы всегда тем скорее успокаивались, что не проходило и нескольких лет, как то, что называлось «невозможностью», признавалось «классическим» и поступало уже в полное ведение учителей словесности?

За всем тем на критику серьезную жаловаться я и тогда не мог.

Москва, 10.IV.15

Из записей*

Рассказ моего гувернера о Гоголе:

— Я его однажды видел. Это было в одном московском литературном доме. Когда мне его показали, я был так поражен, точно увидел что-то сверхъестественное. Подумать только: Гоголь! Я смотрел на него с неопишуемой жадностью, но запомнил только то, что он стоял в толпе, тесно окружавшей его, что голова у него была как-то театрально закинута назад и что панталоны на нем были необыкновенно широки, а фрак очень узок. Он что-то говорил, и все его почтительно и внимательно слушали. Я же слышал только одну его фразу — очень закругленное изречение о законах фантастического в искусстве. Точно этой фразы не помню. Но смысл ее был таков, что, мол, можно писать о яблоне с золотыми яблоками, но не о грушах на вербе.

* * *

Помню жуткие, необыкновенные чувства, которые испытал однажды (в молодости), стоя в церкви Страстного монастыря возле сына Пушкина, не сводя глаз с его небольшой

и очень сухой, легкой старческой фигуры в нарядной гусарской генеральской форме, с его белой курчавой головы, резко-белых, чрезвычайно худых рук с костлявыми, тонкими пальцами и длинными, острыми ногтями.

* * *

Чьи-то замечательные слова:

— В литературе существует тот же обычай, что у жителей Огненной Земли: молодые, подрастая, убивают и съедают стариков. То же и в языке. Поглощается один другим. Много уже исчезло на моей памяти.

Мой отец обычно говорил прекрасным русским языком, простым и правильным. Но иногда вдруг начинал говорить в таком роде:

— Я не червонец, чтобы быть любезну всем.

— Я в тот вечер был монтирован, играл отчаянно.

— Мы с ним встретились на охоте. Он сам рекомендовал себя в мое знакомство.

В этом же роде пели наши бывшие дворовые:

— Вздыхаешь о другой: должна ли я то зреть? Досады таковой должна ли я стерпеть?

— Я часто наслаждаюсь

Любовных слов твоих...

— Уж сколько дён все *мышлю* о тебе...

— Любовь сердцам угодна,

Страсть нежная природна,

Нельзя спастись любви...

Старые дворовые употребляли много церковнославянских слов. Они говорили:

— Ливан (ладан), Краниево Место (Голгофа), дщица (малая дощечка), орлий (орлиный), седатый (седой), пядница (маленькая иконка, в пядь), кампан (колокол), село (в смысле: поле)...

Они употребляли вообще много странных и старинных слов: не надобе (так писалось еще в Русской Правде: «не надобе делать того»), Египет-град, младшие (меньшие) колокола, стоячие образа (писанные во весь рост), оплечные образа, многоградный край; средидневный вар (зной), водовод (водопровод), паучина (паутина), безлетно (вечно), дивий (дикий, лесной), лжа (ложь), присельник пришлец, иноземец)...

Было это и в крестьянском языке. Мужика-лентяя и нищего называли:

— Пустой малый! Изгой, неудельный!

Изгоем же, как известно, назывался безместный удельный князь.

А не то кто-нибудь, бывало, говорит:

— Хочу в *Кыев* сходить, богу помолиться...

И невольно вспоминаешь: «Бяше возле града *Кыева* лес и бор велик...»

— Ведь что ж, она мне не чужая, а жена *водимая*...

Или (когда нанимались в работники):

— Ну, когда такое дело, давайте, барин, рядиться...

Опять как в Удельной Руси:

«Зачали рядиться, кому пригоже на большом княжении быти...»

Потом — рядиться в смысле наряжаться:

— Тебе теперь нечего рядиться, ты вдова божья, носить тебе надо одни смиренные (темные) цвета...

И еще вспоминаю:

— К нам так-то одна странненький (странствующий) старичок приходил. Смотреть любо! В ручке костылик, за плечиком — дерюжное влагалище (сума, кошель)...

А какая нелепая и чудесная образность бы-

да в языке деревни!

Идет босая девка — подтянуто-стройно, виляя только кострецами: на правом плече тяжелое коромысло, по концам которого лежит мокрое белье.

— Куда-й-то ты?

— На речку, белье полоскать.

— Да ведь нынче праздник, грех работать.

— Конечно, грех, кабы я дома была. А то какой же грех, когда я тут у родных гощу?

— Тебя, говорят, просватали. Что ж, хорош твой жених?

— Какой там черт хорош! *Рот толстый, в нос гудит...*

* * *

То, что я стал писателем, вышло как-то само собой, определилось так рано и незаметно, как это бывает только у тех, кому что-нибудь «на роду написано». «Человек делается тем, о чем он думает». Но все-таки: почему один думает об одном, а другой о другом? От некоторых писателей я не раз слышал, что они стали писателями случайно. Не думаю, что это совсем так, но все-таки могу представить себе их и не писателями, а вот самого себя не пред-

ставляю. Были во мне с детства большие склонности к музыке, к живописи, к ваянию. Мой гувернер играл на скрипке, рисовал акварелью — и я и до сих пор помню то особенное волнение, с которым я брал в руки его скрипку или пачкал бумагу красками. В Ельце, гимназистом, я одно время жил у ваятеля всего того, что требуется для кладбищенских памятников, — и целую зиму, каждую свободную минуту мял глину, лепил из нее то лик Христа, то череп Адама и достиг таких успехов, что хозяин иногда пользовался моими черепами, и они попадали на чугунные кресты в изножья распятий, где, верно, и теперь еще пребывают, — где-то там, на монастырском кладбище в Ельце! Почему же все-таки не стал я ни музыкантом, ни ваятелем, ни живописцем?

Кстати: в старину из нашего рода вышло два знаменитых гравера.

* * *

Из писателей-«народников» во времена моей ранней молодости еще были живы Николай Успенский, Глеб Успенский, Златовратский, Засодимский, Наумов, Нефедов. Все они

еще пользовались большой известностью и очень читались, — особенно Глеб Успенский и Златовратский; питались и некоторые из более ранних, уже умерших — Оммулевский, Левитов... Большого различия между ними их почитатели не делали. А меж тем различие было огромное: Левитов и оба Успенских были столь талантливо, что можно и теперь перечитывать их. Прочие «народники» были бездарны и забыты вполне справедливо.

Некоторые из рассказов Левитова поразили меня в ту пору, — особенно «Горбун», — поразили тем более, что связывались с его несчастным образом. Теперь о Левитове никто не знает, не помнит, а он был когда-то в первых рядах русской литературы и был не случайно, а с полным основанием, хотя талант его не развился даже и в десятой доле должной меры, душа с детства была надломлена всяческим убожеством той среды, в которой он родился и рос, — он был сын сельского дьячка, — потом бродяжничеством, пьянством. Участь его была участью многих его современников из числа писателей — «разночинцев»: в ранней молодости пешком

ушел из своей Тамбовской губернии в Петербург, чтобы учиться и писать, «жить в центре умственных интересов», а в Петербурге жил только жизнью нищей и пьяной богемы, писал наспех, как попало, впал в пьянство уже беспробудное, в бродяжничество и босячество постоянное, полное душевного ожесточения, едкой сердечной горечи, и погиб в конце концов от белой горячки. Как многих, подобных ему, не раз пытались хорошие люди спасти его, устроить — и, конечно, напрасно. Я знал одного из этих людей, и он мне рассказывал:

— Я однажды подобрал Левитова в такой грязи, в такой нищете, которой вы и представить себе не можете. Он у меня отдышался, отъелся, я его одел, обул, предоставил ему прекрасную комнату, снабдил карманными деньгами, — мол, живи, сколько хочешь, поправляйся, работай. И чем же он отплатил мне за все это? Выхожу раз утром, а он ходит по гостиной, куда только что поставили новую шелковую мебель, и мочится на кресла, на диваны: «Вот вам, говорит, полюбуйтесь, благодетель, на свою мещанскую роскошь!» А затем вышел в прихожую, взял картуз и пал-

ку — и исчез... Настоящий русский человек был!

Увлекался я в молодости и Николаем Успенским, и опять не только в силу его дарования, но в силу и личной судьбы его, во многом схожей с судьбой Левитова: страшные загадки русской души уже волновали, возбуждали мое внимание.

Он тоже когда-то занимал в литературе одно из самых видных мест. Однако он тоже сделал, кажется, все возможное, чтобы погубить и свою известность, и талант. Он бросил работать, стал пьяницей и бродягой и кончил свое существование еще хуже, чем Левитов: умер в Москве на улице, перерезал себе горло бритвой. Существование его было ужасное и позорное. Я, еще будучи почти мальчиком, много о нем наслышался в Ефремове, а потом кое-что узнал от его тестя и тещи. Эти последние (духовного звания) жили от нас верстах в тридцати. Узнав о смерти Успенского, я, с мальчишеской горячностью, тотчас же поскакал к ним. Батюшка принял меня ласково, но от разговоров о зяте уклонился, поспешил уйти на пасеку. Зато матушка, — очень необыч-

ная матушка, — проявила полную откровенность, даже призналась, что была несколько лет в связи с Успенским.

— Да, сказала она, это все правда, что говорят и говорили о Николае Васильевиче. Несколько лет тому назад он явился к нам босяком, поселился у нас, жил как член семьи, а затем увлек и обесчестил мою дочь, — назло мне, как сам он выразился. Назло за что? Затем он на ней женился, быстро свел ее в гроб, а девочку, прижитую с ней, увел с собой, уходя от нас. Жил он тем, что потешал купцов, мещан и мужиков всяким шутовством, игрой на гармонике, тем, что заставлял своего несчастного ребенка плясать и приговаривать похабщину. Он иногда даже брал ее, как щенка, за шиворот и, на забаву мужикам, бросал в реку, в пруд. Вот, говорил он, вы сейчас увидите, православные, образец рационального воспитания, — и трах ребенка в воду! Бог ему судья, замечательный, но ужасный был человек. Тургенев, желая его спасти, целое имение ему подарил. Так нет — он и имение бросил. Оскорбил ни за что ни про что, изругал самыми последними словами

Тургенева и опять ушел шататься. А чем кончилось все это — вы знаете: зарезался в Москве на Кузнецком Мосту. А какой ум, какой талант был! Знаете ли вы, что некоторые страницы Глеба Успенского написаны не самим Глебом, а им? Ведь Глеб (его двоюродный брат) очень высоко ценил его и не раз просил: «Помоги-ка мне вот такой-то или такой-то мужицкий или мещанский разговор написать — ты это гораздо лучше сделаешь, чем я...»

* * *

Первое литературное разочарование — первое литературное знакомство: с писательницей Шабельской.

Мне было семнадцать лет, когда я впервые приехал в Харьков. Там я бывал у жены писателя Нефедова. Я уже читал тогда этого писателя и хорошо понимал, сколь он скучен и бездарен. Но все равно — он был все-таки «настоящий» и очень известный в то время писатель, и вот я даже на жену его смотрел чуть не с восторгом. Легко представить себе после этого, что я почувствовал, узнав однажды, что в Харькове живет писательница Шабельская,

та самая, которая когда-то сотрудничала в «Отечественных записках»! Я из всех ее произведений читал только одно: «Наброски углем и карандашом». Произведение это было скучнее даже Нефедова и, казалось бы, уж никак не могло воспламенить желанием знакомиться с его автором. Но я воспламенился: тотчас решил бежать хоть на дом к Шабельской взглянуть, и так и сделал: в тот же день пробежал несколько раз взад и вперед мимо этого замечательного дома на Сумской улице. Дом был как дом — каких сколько угодно в каждом русском губернском городе.

Брат смеялся, узнав о моем намерении нанести визит в этот дом:

— Не советую, — она совершенно неинтересна. И притом необыкновенно бестолкова. Познакомившись со мной, стала хвалить твои стихи в «Неделе», приписывая их мне. Я говорю: «Покорно благодарю, но только это не мои стихи, а моего младшего брата». Не понимает: «Да, да, а все-таки вы не скромничайте, — стихи ваши мне очень понравились...» Я еще раз говорю, что это не мои стихи, а твои, — опять не понимает!

Я, конечно, все-таки пошел. Пришел, робко позвонил, попросил горничную доложить, стою и с трепетом жду в прихожей, примут ли? Прихожая большая, сумрачная, тихая. Вышел рыжий господин в толстых золотых очках, — профессор, муж писательницы, — строго и недоуменно взглянул на меня, надел пальто, шляпу, взял трость с серебряным набалдашником и молча вышел. А затем появилась горничная и почему-то очень поспешно и даже как будто радостно пригласила меня войти в гостиную, а из гостиной раздался еще более поспешный и радостный, слегка шепелявый голос какой-то маленькой старушки:

— Милости прошу, милости прошу!

Точно ли она была старушка? Ничуть — ей было, я думаю, лет сорок пять, не более. Помню, однако, именно старушку, очень милую, с испуганным взором, видимо, чрезвычайно польщенную, что к ней явился поклонник. Уж на что я был смущен, а все-таки не мог не заметить, что она смущена еще более. Она даже не могла удержать счастливой и растерянной улыбки.

— Так, так, — бормотала она. — Так вы,

значит, читали меня? Как это приятно, как мило с вашей стороны! А я вот читала стихи вашего брата...

Я мягко, но очень настойчиво повторил то самое, что уже говорил ей брат: это *не его* стихи. Но бестолковость ее, видимо, не имела предела. Она нежно улыбнулась и опять закивала головой:

— Да, да, ваш брат прекрасно пишет! И какая удача: уже попал в «Неделю»!

Мы в молодости были вообще очень скромны. <...>

* * *

Лет двадцати я в первый раз попал в Москву и решил воспользоваться случаем хоть на минуту заглянуть в литературный мир. Заглянуть было трудно, — пойти к кому-нибудь из известных писателей я стеснялся; спросят: что вам угодно, молодой человек? — и что я тогда отвечу? Подумав, я решил ограничиться посещением редакции «Русской мысли». Но и тут мне не повезло. Шел я, конечно, не очень спокойно, однако вошел в прихожую довольно смело и даже излишне громко предложил слуге передать мою визитную карточку «гос-

подину редактору», как вдруг из приемной почти выбежал прямо на меня какой-то бородастый, плотный господин: в поднятой руке у него торчало перо, поднятые ноздри зияли, очки блестели грозно и в то же время испуганно.

— Стихи? — крикнул он, не давши мне даже слова вымолвить, — и замотал на меня своими обеими короткими руками, точно лапами: — Нет, нет, у нас запас стихов на целых девять лет!

Почему запаслась тогда «Русская мысль» стихами на девять лет, а не на десять, например, до сих пор не понимаю.

* * *

В Москве была лавка горбатого старика-букиниста. Помню: зима, лавка ледяная, пар от дыхания. Сидя на корточках в углу, перед грудой сваленных на полу книг, неловко роюсь в них, чувствуя на своей спине острый взгляд хозяина, сидящего в старом кресле и отрывисто отхлебывающего из стакана кипятков, жидкий чай.

— А вы что ж, тоже, значит, пишете, молодой человек?

— Пишу...

— И что ж, уж печатались?

— Да, немного...

— А где именно, позвольте спросить?

— В «Книжках Недели»... в «Вестнике Европы»...

— Стихи, разумеется?

— Да, стихи...

— Что ж, и стихи неплохо. Но только и тут надо порядочно головой поработать. Надо, собственно говоря, в жертву себя принести. Читали ли вы «Тюлистан» Саади? Я вам эту книжечку подарю на память. В ней есть истинно золотые слова. Вы же должны особенно запомнить следующие: «У всякого клада лежит стерегущий оный клад стоглавый змей». Это надо хорошенько понять. И пусть это и будет вам моим напутствием на литературном поприще. Писатель пошел теперь ничтожный. А почему? Он думает, что клады берутся голыми руками и с превеликой легкостью. Ан нет. Тут борьба не на живот, а на смерть. Вечная и бесконечная, до гробовой доски. И знаете, кто высказал эту мысль и именно в связи с вышеприведенными слова-

ми Саади? Сам Александр Сергеевич Пушкин. Слышал же я это все от букиниста Богомолова, его современника и приятеля. Торговал с ларька у Лубянской стены...

* * *

В первый свой приезд в Москву я познакомился только с московскими поэтами-«самочками».

Это был жалкий трогательный народ. Бедность и редкая одержимость в смысле любви к литературе. Воспевали они, конечно, больше всего эту бедность, горько оплакивали свою долю, несправедливость, царящую в мире... Один с горечью восклицал:

*Дурак катается в карете,
А ты летишь на ломовом!*

Таких поэтов было несметное количество, и о других, кажется, и слуху не было. Потом сразу разразилась революция: Брюсов, Коневской, Александр Добролюбов...

Справедливость требует упомянуть еще Емельянова-Коханского. Это он первый поразил Москву: выпустил в один прекрасный день книгу своих стихов, посвященных само-

му себе и Клеопатре, — так на ней и было напечатано: «Посвящается Мне и египетской царице Клеопатре» — а затем самолично появился на Тверском бульваре: в подштанниках, в бурке и папахе, в черных очках и с длинными собачьими когтями, привязанными к пальцам правой руки. Конечно, его сейчас же убрали с бульвара, увели в полицию, но все равно: дело было сделано, слава первого русского символиста прогремела по всей Москве. Все прочие пришли уже позднее — так сказать, на готовое. <...>

* * *

До девяносто четвертого года я не видел ни одного настоящего писателя. Зато начались мои встречи с ними не более, не менее, как с Толстого. Я увидел его впервые в январе девяносто четвертого года. И с того времени литературные знакомства мои стали быстро увеличиваться. Через год после того я поехал в Петербург и познакомился там с Михайловским, Кривенко, то есть с редакцией «Русского богатства», уже печатавшего тогда мои первые рассказы, побывал у поэта Жемчужникова и даже видел живого Григоровича, а

приехав из Петербурга в Москву, сделал еще много знакомств: с Златовратским, Эртелем, Чеховым, Бальмонтом, Брюсовым, Емельяновым-Коханским, Коневским, Добролюбовым, Лохвицкой... Смесь вышла удивительная. Я увидел сразу целых четыре литературных эпохи: с одной стороны — Григорович, Жемчужников, Толстой; с другой — редакция «Русского богатства», Златовратский; с третьей — Эртель, Чехов; а с четвертой — те, которые, по слову Мережковского, уже «преступали все законы, нарушали все черты».

Все это повело к тому, что как-то сразу связалась с тех пор моя жизнь с жизнью литературной среды, а вскоре — во второй приезд в Петербург — эта связь еще более упрочилась, круг моих литературных знакомств и впечатлений еще более расширился. Тут я узнал еще много новых лиц: познакомился с некоторыми молодыми поэтами из плеяды Фофанова, с Сологубом, с редакцией «Современного мира», иначе говоря, с домом А. А. Давыдовой, издательницы этого журнала, у которой когда-то говеем своими людьми были и многие знаменитые писатели, — в числе их сам Гон-

чаров, — и некоторые либеральные великие князья, и Крамской, и Рубинштейн, потом с ее зятем Туган-Барановским, входившим тогда в большую славу, с Маминым-Сибиряком, с Немировичем-Данченко, со столпом народничества Воронцовым, ведшим тогда ожесточенную борьбу со Струве, и с Туган-Барановским, которого Воронцов в своих статьях неизменно называл с самой язвительной вежливостью: «Господин Туган», с тощим и удивительно страстным Волынским, ярим врагом Михайловского, как раз в эту пору возвестившим нарождение в мире «новых мозговых линий», над которыми Михайловский всячески и жестоко издевался... Среди всех этих лиц, кажется, один неутомимо-жизнерадостный Немирович-Данченко не принадлежал ни к какой партии, на всех и на все поглядывал любезно и благодушно. Уж на что был спокоен, не склонен к спорам вечно сосавший свою трубочку Мамин, а и тот не чужд был некоторых пристрастий и довольно ядовито пускал иногда про Волынского:

— Что с него взять, — это, мне кажется, именно про него говорит одна купчиха у Лей-

кина: миазма млекопитающая...

Или про всю редакцию «Северного вестника»:

*Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей...*

Один Немирович не язвил, не беспокоился. — Все вздор, — сказал он мне однажды. — Одно не вздор: надо писать и еще писать. Вот вы, молодые писатели, — на вас просто смотреть жалко: прикасаетесь к бумаге с такой робостью, точно кошка перебегает дорогу после дождя. А надо так: купил четыреста восемьдесят листов, то есть полную десть этой самой бумаги, сел — и ни с места, пока не исписал до единого.

* * *

Первое мое выступление на литературных вечерах было в начале зимы девяносто пятого года, в Петербурге, в знаменитом зале «Кредитного общества».

Незадолго перед этим, в первой книжке народнического журнала «Новое слово» под редакцией С. Н. Кривенко, одного из бывших столпов «Отечественных записок», я напеча-

тал рассказ «На край света», — о переселенцах. Рассказ этот критики так единодушно расхвалили, что прочие журналы стали приглашать меня сотрудничать, а петербургское «Общество попечения о переселенцах» даже обратилось ко мне с просьбой приехать в Петербург и выступить на литературном вечере в пользу какого-то переселенческого фонда. И вот я в Петербурге, — в первый раз в жизни, — и отправляюсь на этот вечер. Беру почему-то лихача и несусь среди огней и блеска великолепного морозного Невского. Возле огромного дома «Кредитного общества» блеск еще пуще: ослепительный электрический свет подъезда, конные городовые с седыми от мороза усами, кареты и несметная толпа студентов и курсисток. Пробираюсь какими-то особыми лестницами куда-то наверх, где-то раздеваюсь — и сразу попадаю в общество знаменитостей, прочих участников вечера, уже собравшихся в артистической: «сам» Михайловский, «сам» Потапенко. — он тогда гремел на всю Россию, — затем Засодимский, Мамин, Минский, Баранцевич, — он славился как отличный чтец, — и «сам» Петр Исаевич

Вейнберг, душа всех литературных вечеров Петербурга, в старомодном фраке, в белом галстуке, с острым и голым сияющим черепом, с юношескими глазами и душистой серебряной бородой, столь длинной и узкой, что его звали Черномором. Когда я вошел, он держал к присутствующим какую-то торжественно-комическую речь, воздев руки над большим столом, загроможденным цветами, фруктами и винами, — и вдруг повернулся и с воздетыми руками с размаху упал на одно колено: в артистическую, мерно и томно прихрамывая, шурша серым шелковым платьем, в сопровождении двух франтов-студентов из числа распорядителей вечера вплыла М. Г. Савина, а за нею, не в меру щурясь, медленно вошло как бы некое райское видение, удивительной худобы ангел в белоснежном одеянии и с золотистыми распущенными волосами, вдоль обнаженных рук которого падало до самого полу что-то вроде не то рукавов, не то крыльев: З. Н. Гиппиус, сопровождаемая сзади Мережковским.

— Божественная! — воскликнул все с тем же торжественно-комическим жаром Вейн-

берг, возводя глаза к потолку и целуя руку Савиной. — А мы уж тут с ног до головы трепетали: а вдруг вы не пожалуете!

И тотчас же вслед за тем начался вечер, и тут я впервые увидел всю бездну человеческого честолюбия и самолюбия. В тишине, сразу наступившей после третьего звонка, и в артистической и в зале, почти все участники вечера, при всей своей славе и привычке к публичным выступлениям, вдруг побледнели от волнения, от близости своего выхода на эстраду, — даже Михайловский стал как-то не в меру строг и серьезен, — и многие тотчас же стали, шепотом и вполголоса, наизусть и по книжкам, твердить то, что надо было читать, — особенно большеголовый Минский: тот побледнел как смерть и затвердил со страстностью полоумного. Не проявили никакого видимого волнения только Вейнберг да Баранцевич, бодро пошедший на эстраду первым.

Я, конечно, читал «На край света» и опять, благодаря этим несчастным переселенцам (да и новизне своего имени), имел большой успех. Баранцевич, как человек многоопыт-

ный, этот успех заранее предвидел и потому «по-товарищески» предупредил меня:

— Не читайте, дорогой Иван Васильевич, громко. Эта зала странная: громкий голос гудит в ней, как в бочке. Читайте ровно и ничуть не поднимая голоса.

Но я, к счастью, тотчас же понял, выйдя на эстраду, цену этой товарищеской заботливости: в зале было тысячи три человек, она была набита сверху донизу, читать в ней «ровно и ничуть не поднимая голоса» значило осрамить себя до девятой пуговицы, — никто бы и звука не слышал.

Про успех прочих и говорить нечего — они хорошо знали свое дело.

Вейнберг потрясал залу своим громовым, театрально-вдохновенным голосом, читая то, что читал, как я узнал впоследствии, неизменно на каждом таком вечере, — свои стихи «К морю», которое, конечно, втайне означало всякие конституционные свободы:

*Бесконечной пеленою
Развернулось предо мною
Старый друг мой, — море!
Сколько мощи необъятной,*

*Сколько воли благодатной
В царственном просторе!*

Засодимский, страшный заика, отрывисто выпаливал тоже свое неизменное — из Некрасова:

*Жизни вольным впечатлениям
Душу вольную отдай!
Человеческим стремлениям
В ней проснуться не мешай!*

Что читал Потапенко, не помню. Да и не важно было, что именно он читает, — для публики было вполне достаточно того, что это Потапенко, автор знаменитой повести «На действительной службе». Кроме того, был он тогда кумиром еще и потому, что был красив — красотой немного дурного тона, но весьма яркой и лихой какой-то.

А Гиппиус вызвала целую бурю и негодующих криков и рукоплесканий: она читала стихи о том, что она любит себя «как бога».

* * *

Я видел однажды Григоровича: был как-то в магазине Суворина, разглядывал новые книжки — и вдруг услышал возле себя свежий

и крепкий запах чудесного одеколона, поднял голову — и обомлел: Григорович!

Это было незадолго до его смерти, он был уже очень стар. Но свеж и бодр, как этот запах. Глаза веселые, живые и ласковые. Очень высок и довольно худощав. Маленькая, породистая, несколько гордо откинутаая назад серебряная голова. Белоснежные бакенбарды. Белоснежное кашне и превосходная енотовая шуба до пят... Не было предела моему страху, радости и удивлению: «Антон Горемыка»!

Жемчужников был не менее Григоровича изящен, душист, свеж и бодр, несмотря на всю слабость здоровья. Я бывал у него довольно часто, и меня поражала его неизменная ласковость ко мне, чисто отеческая заботливость к каждому стихотворению, которое я печатал при его содействии в «Вестнике Европы».

Он подарил мне «Кузьму Пруткова» и рассказал происхождение этой книги:

— Мы — я и Алексей Константинович Толстой — были тогда молоды и непристойно проказливы. Жили вместе и каждый день сочиняли по какой-нибудь глупости в стихах.

Потом решили собрать и издать эти глупости, приписав их нашему камердинеру Кузьме Пруткову, и так и сделали, и что же вышло? Обидели старика так, что он не мог простить нам этой шутки до самой смерти! Хотели мило пошутить, а обидели кровно.

Однажды он сказал:

— Я поэт не бог весть какой, а все-таки, думаю, не хуже, например, Надсона или Минского. Кроме того, могу смело сказать, я достаточно своеобразен, — даже более: совершенно оригинален, что ведь что-нибудь да значит и само по себе, силен в стихе... А вот подите же, почти никто и знать меня не хочет, а если и хочет, то только как Кузьму Пруткова. В чем тут причина, мой молодой друг? Думаю, что уж очень я разных кровей со многими теперешними. Ведь это совсем недаром говорят мужики о том, что даже у людей существуют разные «кровя», и ведь что такое кровь, как не душа?

Я вспомнил это недавно, прочтя о том, что теперь научные работы насчет переливания с точностью установили, что многочисленные неудачи смертельные случаи, сплошь и ря-

дом происходящие при этом переливании, чаще всего зависят от «индивидуальной несовместимости кровей кроводателя и получателя»: оказывается, далеко не у всех людей одинаковая кровь, что «человечество разделяется по крови на целых четыре группы и что каждой из этих групп можно безнаказанно переливать лишь кровь группы соответствующей».

Так что Жемчужников был прав. В самом деле, как пенять на равнодушного читателя, на враждебного критика! Что с него взять, когда у него даже кровь, может быть, совсем другая, чем у тебя?

Жемчужников был светски очарователен в обращении, говорлив, как говорливы многие красивые старики высшего круга, привыкшие блистать в гостиных и неизменно бодрящиеся на людях.

— Вот все теперь говорят о новой поэзии, — сказал он однажды с заигравшимися вдруг глазами.

— Теперь все стараются писать как-то по-новому. Вас, по вашей молодости, это, вероятно, тревожит, искушает. Что ж, тревога полез-

ная. Я ничего не имею против нового, избавь бог переписывать сто раз написанное. Но вот все-таки позвольте Рассказать вам один старинный немецкий анекдот, — может быть, вы его не знаете.

Студент приходит к своему профессору и говорит:

«Господин профессор, я хочу создать новое солнце».

«Что же может быть лучше, мой дорогой друг? — отвечает профессор. — От души радуюсь за вас и желаю успеха».

«Да, но мне, господин профессор, необходимо знать, что именно нужно знать для этого?» — говорит студент.

«О, пустяки! — отвечает профессор. — Прежде всего необходимо изучить солнечные пятна».

«Пятна? Зачем?»

«А затем, мой друг, чтобы обойтись без них».

* * *

Мои впечатления от петербургских встреч были разнообразны, резки. Какие крайности! От Григоровича и Жемчужникова до Сологу-

ба, например! И то же было и в Москве, где я встречал то Гольцева и прочих членов редакции «Русской мысли», то Златовратского, то декадентов и символистов. Когда я заходил к Златовратскому, он, по-толстовски хмуря свои косматые брови, — он вообще играл немного под Толстого, благодаря своему некоторому сходству с ним, — с шутливой ворчливостью говорил порой: «Мир-то, друзья мои, все-таки спасается только лаптем, что бы там ни говорили господа марксисты!» Златовратский из года в год жил в Гиршах в маленькой квартирке с неизменными портретами Белинского, Чернышевского; он ходил, по-медвежьи покачиваясь, по своему прокуренному кабинету, в стоптанных войлочных туфлях, в ситцевой косоворотке, в низко спустившихся толстых штанах, на ходу делал машинкой папиросы, втыкая ее в грудь себе, и бормотал:

— Да, вот мечтаю нынешним летом опять поехать в Апрелевку, — знаете, это по Брянской дороге, всего час езды от Москвы, а благодать... Бог даст, опять рыбки половлю, по душам поговорю со старыми приятелями, — там у меня есть чудеснейшие мужики-сосе-

ди... Все эти марксисты, декаденты какие-то, все это, милый, эфемериды, накипь!

А «декаденты» бредили альбатросами, Явой, Шотландией, гордо скандировали:

*Мы — путники ночи беззвездной,
Искатели смутного рая!*

В Москве они появились особенно внезапно и скандализировали публику гораздо резче, чем в Петербурге. Москву поразили первый Емельянов-Коханский. После него Брюсов, — «О, закрой свои бледные ноги!» Емельянов-Коханский вскоре добровольно сошел со сцены: женился на купеческой дочери и сказал: «Довольно дурака валять!» Это был рослый, плотный малый, рыжий, в веснушках, с очень неглупым и наглым лицом. Дурака валял он совсем не так уж плохо, как это имел на начинающего Брюсова значительное влияние. А впоследствии ближайшими соратниками Брюсова были Коневской и Добролюбов. Коневской так и остался никому не известен, Брюсов иначе не называл его, как гением. А на деле это был просто больной и несчастный юноша. Вытертая студенческая тужурка, ху-

дые и совершенно деревянные плечи, испытанное лицо, стоячие белесые глаза, рыжеватые слабые волосы. Говорил он мало и крайне невразумительно. Писал что-то очень напряженное, но еще более невразумительное. Не знаю, что из него вышло бы, — он внезапно умер от разрыва сердца, купаясь.

Так же внезапно погиб для литературы и Добролюбов. Но о нем некоторые помнят и до сих пор. Блок писал о нем:

*Из неживого тумана
Вышло больное дитя...*

Но что за «туман неживой» был в Москве в ту пору? Да и на дитя Добролюбов был непохож. Это был сутулый и широкоплечий молодой человек с большим лицом, имевшим совершенное сходство с белой маской, которой жутко чернели какие-то сказочно-восточные глаза. Один из друзей его учились в Варшаве. По матери был полу-поляк, полу-француз. В детстве был помешан играх в индейцев, был необыкновенно жив, страстен. Юношей страшно изменился: стал какой-то мертвый, худой. Злоупотреблял наркотиками — курил

опиум, жевал гашиш, прыскался каким-то острым индийским бальзамом. Основал «кружок декадентов», издал книгу своих стихов: «Из книги Невидимой, или Натура Натуранс» с совершенно нечеловеческими строками какого-то четвертого измерения... На меня Добролюбов сразу произвел вполне определенное впечатление: помешанный. Достаточно было взглянуть на него, когда он шел по улице: опасливо пробирается возле самой стены, глядит вкось, вся фигура тоже перекошенная, руки в черных перчатках, выставлены вперед... Как известно, он куда-то скрылся, — ушел странствовать по России, в армяке, в лаптях, — и навсегда где-то пропал. Брюсов и его называл гениальным. Блок тоже. Почему? Брюсов, со свойственной ему жаждой архива, описей, сделал опись всех его изданных и неизданных сочинений. Опись вышла очень невелика. Но в числе этих сочинений есть, например, такое: «Опровержение Шопенгауэра и всех философов».

* * *

Брюсова я узнал еще в студенческой тужурке. Поехал к нему в первый раз с Баль-

монтом. Он жил на Цветном бульваре, в доме своего отца, торговца пробками. Дом был небольшой, двухэтажный, толстостенный, — настоящий уездный, третьей гильдии купеческий, с высокими и всегда запертыми на замок воротами, с калиткой, с собакой на цепи во дворе. Мы Брюсова в тот день не застали. Но на другой день Бальмонт получил от него записку: «Очень буду рад видеть Вас и Бунина, — он настоящий поэт, хотя и не символист». Поехали скова — и я увидел молодого человека с довольно толстой и тугой гостинодворческой (и широкоскуло-азиатской) физиономией. Говорил этот гостинодворец, однако, очень изысканно, высокопарно, с отрывистой и гнусавой четкостью, точно лаял в свой дудкообразный нос, и все время сентенциями, тоном поучительным, не допускающим возражений. Все было в его словах крайне революционно (в смысле искусства), — да здравствует только новое и долой все старое! Он даже предлагал все старые книги дотла сжечь на кострах, «вот как Омар сжег Александрийскую библиотеку!» — воскликнул он. Но вместе с тем для всего нового у него уже

были жесточайшие, непоколебимые правила, уставы, узаконения, малейшие отступления от которых он, видимо, готов был тоже жечь на кострах. И аккуратность у него, в его низкой комнате на антресолях, была удивительная. Я попросил у него на несколько дней какую-то книгу. Он странно сверкнул на меня из своих твердых скул своими раскосыми, бессмысленно блестящими, как у птицы, черными глазами и с чрезвычайной галантностью, но и весьма резко отчеканил:

— Никогда и никому не даю ни одной из своих книг даже на час!

* * *

Первая встреча моя с Тетерниковым (Сологубом) была в декабре девяносто шестого года (в Петербурге). Зашел однажды утром к одному молодому писателю и увидел за чайным столом хозяина и какого-то незнакомого господина в учительском фраке. Хозяин, человек от природы очень живой, что-то громко и весело говорил. Господин сидел молча, с мертвой важностью подняв ничего не выражающее лицо, тупо глядя сквозь пенсне и полуоткрыв рот. Хозяин познакомил нас — он молча

подал мне большую и очень бледную руку, довольно продолжительно и бесцеремонно поглядел на меня с тем же тупым вниманием. Лет он был неопределенных, хотя уже почти лыс. Фрак, панталоны, сапоги — все было у него провинциальное, бедно-чиновничье. Общий вид тоже довольно захолустный, свидетельствующий о скудных достоинствах простом происхождении: песочно-рыжеватые усы и такая же бородка, нечистый цвет желто-серого, слегка одутловатого и удлинённого лица, удлинённая картофелина носа и большая бородавка возле него, выражение лишено осмысленности. Это и был Сологуб. И вот что произошло при этой первой нашей встрече: уходя, он вдруг задержал мою руку в своей и неожиданно ухмыльнулся, на мой же вопрос о причине этого смеха глухо ответил:

— Я тому смеюсь, что все гадаю: любите ли вы мальчиков?

Последний раз я видел его в шестнадцатом году, у него на дому, на большом званом вечере. Он уже давно был славен, жил в достатке и, кажется, нередко устраивал такие вечера — собирал у себя литературных знамени-

гостей. В этот вечер знаменитостей собралось много, были Горький, Андреев. Но хозяин почему-то долго не выходил, предоставив принимать гостей Чеботаревской. Когда же вышел, то я глазам своим не поверил: на нем был смокинг, смятые и вытянутые в коленках панталоны, зеленые шерстяные носки и лакированные туфли со сбитыми каблуками.

* * *

Одно из самых приятных литературных воспоминаний — о Мирре Александровне Лохвицкой.

Она умерла еще молодой и вскоре после смерти была забыта. Но при жизни пользовалась известностью, слыла «русской Сафо» (как, впрочем, многие русские поэтессы). Воспевала она любовь, страсть, и все поэтому воображали ее себе чуть не вакханкой, совсем не подозревая, что она, при всей своей молодости, уже давно замужем, — муж ее был один из московских французов, по фамилии Жибер, — что она мать нескольких детей, большая домоседка, по-восточному ленива: часто даже гостей принимает, лежа на софе в капоте, и никогда не говорит с ними с поэти-

ческой томностью, а напротив, болтает очень здраво, просто, с большим остроумием, наблюдательностью и чудесной насмешливостью, — все, очевидно, родовые черты, столь блестяще развившиеся у ее сестры, Н. А. Тэффи. Такой, по крайней мере, знал ее я, а я знал ее довольно долго, посещал ее дом нередко, был с ней в приятельстве, — мы даже называли друг друга уменьшительными именами, хотя всегда как будто иронически, с шутками друг над другом.

— Миррочка, дорогая, опять лежите?

— Опять.

— А где ваша лира, тирс, тимпан?

Она заливалась смехом:

— Лира где-то там, не знаю, а тирс и тимпан куда-то затащили дети...

С особенным удовольствием вспоминаю нашу первую встречу. Мы случайно сошлись в редакции «Русской мысли» — оба принесли туда стихи, — познакомились и вместе и вышли. Все было очень бело, валил крупный снег, впереди ничего не было видно, — только очаровательная белизна. Она тотчас же весело начала;

— Послушайте, а про мужиков это тоже вы пишете?

— Я не про одних мужиков пишу.

— Но все-таки — вы?

— Я.

— Зачем?

— А почему же не писать и про мужиков?

— Ну вот! Пусть себе живут и пашут, нам-то что до них? Удивительнее всего то, что за них тоже, говорят, платят. Вам сколько платят?

— Рублей семьдесят пять, восемьдесят за лист.

— Боже мой! А за стихи сколько?

— Полтинник за строчку.

Она даже приостановилась:

— Как? А почему же мне всего четвертак?

— Не знаю.

— Значит, я хуже вас?

— Помилуй бог, что вы!

— Но в чем же тогда дело? Вам сколько лет?

— Двадцать четыре.

— Ну тогда, очевидно, только потому, что я по сравнению с вами еще ребенок...

И все в ней было прелестно — звук голоса, живость речи, блеск глаз, эта милая, легкая шутливость... Она и правда, была тогда совсем молоденькая и очень хорошенькая. Особенно прекрасен был цвет ее лица, — матовый, ровный, подобный цвету крымского яблока. На ней было что-то нарядное, из серого меха, шляпка тоже меховая. И все это было в снегу, в крупных белых хлопьях, которые валяли, свежо тая на ее щеках, на губах, на ресницах...

* * *

Первую книгу рассказов я издал в конце 1896 года у Поповой (известной в то время петербургской издательницы).

Первый сборник стихов — в «Скорпионе», в девяносто девятом году. «Скорпион» существовал (под редакцией Брюсова) на деньги некоего Полякова, богатого московского купчика, из тех, что уже кончали университеты и тянулись ко всяким искусствам, человека еще молодого, но истрепанного, лысеющего, с желтыми и почему-то всегда мокрыми усами. Кутил этот Поляков чуть не каждую ночь напропалую и весьма сытно кормил-поил по ре-

сторонам и Брюсова, и всю прочую братию московских декадентов, символистов, «магов», «аргонавтов», искателей «золотого руна». Однако со мной он оказался скупее Плюшкина: пришел ко мне с Брюсовым для переговоров чуть не утром, а ушел только вечером — все торговался, все сбивал цену и таки добился того, что я махнул рукой и отдал ему книгу всего за триста рублей. А потом вынул из кармана и стал показывать жемчужное ожерелье, которое только что купил в подарок своей невесте:

— Правда, хорошо? По случаю купил и совсем за грош — за двадцать пять тысяч...

«Скорпион» вообще не баловал своих сотрудников гонорарами. Помню, как однажды горестно пел Вячеслав Иванов:

— Знаете, сколько получил я от Полякова за свою последнюю книгу? Увы, всего пятьдесят рублей!

Зато издавал Поляков великолепно. И, конечно, поступал умно. Издания «Скорпиона» расходились весьма скромно — «Весы», например, достигли (на четвертый год своего существования) тиража всего-навсего в триста

экземпляров — но внешнестью весьма много способствовали своей славе. А потом — названия поляковских изданий: «Скорпион», «Весы» или, например, название первого альманаха, выпущенного «Скорпионом»: «Северные цветы, альманах первый, ассирийский». Все недоумевали: почему «Скорпион»? И что за «Скорпион» — гад или созвездие? И отчего эти «Северные цветы» вдруг оказались ассирийскими? Однако это недоумение вскоре сменилось у многих почтением, восхищением. Так что, когда вскоре после того Брюсов даже и самого себя объявил ассирийским магом, все уже свято верили, что он маг. Это ведь не шутка — ярлык. «Чем себя наречешь, тем и прослывешь».

А как обмеривали, как обвешивали эти «Весы»! Вес «своих» всегда оказывался огромный, вес чужих — смехотворный. Например, все участники «Знания» назывались в «Вессах» неизменно «всероссийскими бездарностями». Про меня — я вскоре почел за благо удалиться из этого литературного лабаза — было однажды сказано так: «Произведения Бунина подобны солдатским сапогам, постав-

ляемым интендантствами, — сапогам с бумажными подошвами». Это написал молодой поэт Сергей Соловьев, который, впрочем, вскоре после того вдруг прислал мне письмо: «Простите мне, ради бога, мою низость — я написал о Вас по приказу, то, что буквально продиктовали мне...»

* * *

О Горьком, как это ни удивительно, до сих пор никто не имеет точного представления. Сказочна вообще судьба этого человека. Вот уже целых сорок лет мировой славы, основанной на беспримерно счастливом для ее носителя стечении не только политических, но и весьма многих других обстоятельств. Конечно, талант, но вот до сих пор не нашлось никого, кто сказал бы наконец о том, какого рода этот талант, создавший, например, такую вещь, как «Песня о соколе» — песня о том, как «высоко в горы вполз уж и лег там», а затем, ничуть не будучи от природы смертоносным гадом, все-таки ухитрился насмерть ужалить за что-то сокола, тоже почему-то очутившегося в горах. Молва твердит: «Босяк, поднялся со дна моря народного...» А в словаре Брокгауза

другое: «Горький-Пешков, Алексей Максимович. Родился в шестьдесят девятом году, в среде вполне буржуазной: отец — управляющий большой паровой конторы, мать — дочь богатого купца-красильщика...» Дальнейшее основано, только на автобиографии Горького. «Грамоте учился я у деда, по псалтырю, потом, будучи поваренком на пароходе, у повара Смурого, человека сказочной силы и грубости и — нежности... Смурый привил мне, до толе люто ненавидевшему всякую печатную бумагу, свирепую страсть к чтению, и я до безумия стал зачитываться Некрасовым, журналом „Искра“, Успенским, Дюма... Из повара попал я в садовники, поглощал классиков и литературу лубочную. В пятнадцать лет возымел свирепое желание учиться, поехал в Казань, простодушно полагая, что науки желающим даром преподаются. Но оказалось, что оно не принято, вследствие чего и поступил в крендельное заведение. Работая там, свел знакомство со студентами... А в девятнадцать лет пустил в себя пулю и, похворав, сколько полагается, ожил, дабы приняться за коммерцию яблоками... В свое время был

призван к отбыванию воинской повинности, но, когда обнаружилось, что дырявых не берут, поступил в письмоводители к адвокату Ланину, однако же вскоре почувствовал себя среди интеллигенции совсем не на своем месте и ушел бродить по югу России...»

В девяносто втором году Горький напечатал в газете «Кавказ» свой первый рассказ «Макар Чудра», который начинается так: «Ветер разносил по степи задумчивую мелодию плеска набегавшей на берег волны... Мгла осенней ночи пугливо вздрагивала и пугливо отодвигалась от нас при вспышках костра, над которым возвышалась массивная фигура Макара Чудры, старого цыгана. Полулежа в красивой, свободной и сильной позе, методически потягивал он из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма и говорил: — Ведома ли рабу воля широкая? Ширь степная понятна ли? Говор морской волны веселит ли ему сердце? Эге! Он, парень, раб!» А через три года после того появился знаменитый «Челкаш». Уже давно шла о Горьком молва, уже многие зачитывались и «Макаром», и последующими создани-

ями: «Емельян Пиляй», «Дед Архип и Ленька»... Уже славился, кроме того, Горький сатирами — например, «О чиже, любителе истины, и о дятле, который лгал», — был известен как фельетонист, ибо писал и фельетоны (в «Самарской газете»), подписываясь: Иегудиил Хламида. По вот появился «Челкаш»...

Как раз к этой поре и относятся мои первые сведения о нем. В Полтаве прошел вдруг слух: «Под Кобеляками поселился молодой писатель Горький. Фигура удивительно красочная. Ражий детина в широчайшей крылатке, в шляпе вот с такими полями и с суковатой дубинкой в руке...» А познакомились мы весной девяносто девятого года. <...>

У него был тогда брат. Я видел его в Ялте той же весной. Он работал при каком-то винном складе, мыл бутылки. У него была чахотка, ему нужен был южный климат. И вот он добрался откуда-то с Волги в Ялту. Он был очень худой, высокий, темноликий — типичный пожилой мастеровой и по виду, и по одежде, из тех, что страдают запоями, как это и было на самом деле, очень молчаливый, как бы всегда стыдящийся своих разбитых са-

пог и своей слабости насчет спиртного искушения. <...>

* * *

Заглавие пьесы «На дне» принадлежит Андрееву. Авторское заглавие было хуже: «На дне жизни». Однажды, выпивши, Андреев говорил мне, усмехаясь, как всегда в подобных случаях, гордо, весело и мрачно, ставя точки между короткими фразами твердо и настойчиво:

— Заглавие — все. Понимаешь? Публику надо бить в лоб и без промаху. Вот написал человек пьесу. Показывает мне. Вижу: «На дне жизни». Глупо, говорю. Плоско. Пиши просто: «На дне». И все. Понимаешь? Спас человека. Заглавие штука тонкая. Что было бы, например, если бы я вместо «Жизнь человека» брякнул: «Человеческая жизнь»? Ерунда была бы. Пошлость. А я написал: «Жизнь человека». Что, неправду я говорю? Я люблю, когда ты мне говоришь, что я «хитрый на голову». Конечно, хитрый. А вот что ты похвалил мою самую элементарную вещь «Дни нашей жизни», никогда тебе не прошу. Почему похвалил? Хотел унижить мои прочие вещи. Но

и тут: плохо разве придумано заглавие? На пять с плюсом. <...>

* * *

Одно время, особенно на Капри, где я прожил три зимы, мы с Горьким дружили. Лично ко мне он всегда выказывал большое расположение, внимание, даже нежность. Я не мог на это не отзываться. Кроме того, был в нем и другой человек, иногда чрезвычайно милый. И расстались мы с ним дружески — в Петербурге семнадцатого года — расцеловались на прощанье — навсегда, как оказалось...

* * *

Чехов говорил про Найденова:

— Какие мы драматурги! Единственный настоящий драматург — Найденов: прирожденный драматург, с самой что ни на есть драматической пружиной внутри! Он должен теперь, после «Детей Ванюшина», еще десять пьес написать и девять раз с треском провалиться, а на десятый опять такой успех сорвать, что только ахнешь!

Предсказание его не сбылось. После «Детей Ванюшина» Найденов написал еще несколько пьес, которые шли и в Малом теат-

ре, и в Художественном, но успеха не имел и через некоторое время как-то затерялся: новых пьес больше не ставил, — да, может быть, и не писал их, — из литературных кругов исчез, жить стал где-то под Москвой, потом переселился в Крым, безвыездно сидел там несколько лет, дождался революции, большевиков — и умер, пережив все, что полагается, сокрушенный пережитым, в нищете, в забвении и, насколько мне известно, в высоком религиозном подъеме... Странная судьба и странный был человек, истинно российское порождение!

Мы познакомились с ним вскоре после того, как на него свалилась слава — именно свалилась, — быстро стали приятелями, часто виделись, часто вместе ездили — то в Петербург, то на юг, то за границу... В нем была смесь чрезвычайной скрытности и чисто детской откровенности, простоты и даже наивности, и вот что слышал я от него в такие откровенные минуты.

— Кто я? — мрачно, басом начинал он, зверски двигая челюстью, неловко запуская тонкие пальцы в черные волосы, закидывая

их назад, поправляя криво висящее на тонком восточном носу пенсне, набирая в грудь воздуху, надуваясь, высоко и с усилием поднимая правое плечо, и, надувшись, приняв эту нелепую, напряженную позу, став похожим на злого ворона, медленно выпускал воздух и понемногу менял зверское выражение на удивленное, отклонял голову назад и долго глядел через пенсне пристально и бессмысленно своими карими рачьими глазами. — Кто я? — спрашивал он с удивлением, и вдруг лицо его начинало все больше и больше озаряться радостью, милой и наивной улыбкой. — Да сам черт не разберет, кто я! — говорил он уже тонким голосом, уже смеясь и детски-вопросительно глядя на меня. — Я ведь сам из «Детей Ванюшина»! Татарская кровь? Да, конечно, она во мне есть, мы ведь казанские, хотя и была наша семья ух какая русская, старозаветная! Учиться я, конечно, не доучился, торговал образами... Тут мне выделили некоторую часть, я поехал по делам на Кавказ — и вдруг встретил на пароходе одну особу... Встретил — и, конечно, все полетело к черту. Связались мы с ней, и через недолгое

время не осталось у меня в кармане буквально ни гроша. А что было потом — долго рассказывать. Было, между прочим, то, что достучался я до приказчика в паршивой московской лавчонке готового платья. Жил в мерзком номеришке на Тверской, вставал в седьмом часу, пил чай, просматривал «Московский листок», шел на службу. По вечерам иногда писал и, написав этих самых «Детей Ванюшина», вдруг взял да и послал их в Петербург, на конкурс, объявленный Суворинским театром, послал, конечно, совершенно так, ни с того ни с сего, без всяких надежд, как какой-нибудь пьяный, вдруг вздумавший позвонить в богатый подъезд. Послал — и забыл. А в один прекрасный день развернул «Московский листок» и вдруг вижу: премия в тысячу рублей присуждена в Суворинском театре автору «Детей Ванюшина»! Что ж мне оставалось после этого делать? Покидал в чемодан свой убогий скарб — и в Петербург. Даже и не зашел в магазин, не сказал, что, мол, место бросаю. А через некоторое время — слава и куча денег. Недурно? — спрашивал он, заливаясь радостным смехом и удивленно и

вопросительно выпучивая свои рачьи глаза.

* * *

За Горьким пришел Скиталец, Андреев. А там, в другом лагере, появился Блок, Белый, расцвел Бальмонт... Скиталец — некое подобие соборного певчего «выпивахом» — притворялся гусяром, ушкуйником, рычал на интеллигенцию: «Вы жабы в гнилом болоте!» — упивался своей нежданной, негаданной славой и все позировал перед фотоаппаратами: то с гусями, — «ой ты гой, еси, ты дети-нушка, вор-разбойничек!» — то обнявшись с Горьким, то сидя на одном стуле с Шаляпиным; однажды, после литературного вечера в Благородном собрании, где он имел совершенно бешеный успех именно за этих «жаб», он спросил себе в Большом Московском щей и тарелку зернистой икры, зачерпнул по ложке того и другого и бросил салфетку в щи: «Нет, и есть не хочу! Больно велик аплодисмент сорвал!» Андреев все крепче и все мрачнее бледнел во хмелю, стискивал зубы и от своих тоже головокружительных успехов, и тех идейных бездн и высот, пребывание среди которых он счел своей специальностью. И

все ходили в поддевках, в шелковых рубашках навывпуск, в ременных поясах с серебряным набором, в длинных сапогах — я однажды встретил их всех сразу и фойе Художественного театра во время антракта и не удержался, спросил дурацким тоном Коко из «Плодов просвещения», увидавшего на кухне мужиков:

— Э-э-э... Вы охотники?

А там, в другом лагере, рисовался образ кудрявого Блока, его классическое мертвое лицо, тяжелый подбородок, мутно-сонный взор. Там Белый «запускал в небеса ананасом», вопил о наставшем преображении мира, весь дергался, приседал, подбегал, отбегал, бессмысленно-весело озирался по сторонам с какими-то странно вкрадчивыми ужимками, ярко, блаженно-радостно блестел глазами и все сыпал новыми и новыми мыслями... Недавно он выпустил в Москве книгу: «Ритм как диалектика», в которой говорит о Пушкине так: «„Медный всадник“ написан как бы октябрём 1917 года. Перед смертью Пушкин слетал в люмпен-пролетариат...»

В одном лагере рвали издания «Знания»;

были книги «Знания», в месяц, в два расхो-
дившиеся в ста тысячах экземпляров, как го-
ворил Горький. А там тоже одна ударная кни-
га сменяла другую, — Гамсун, Пшибышев-
ский, Верхарн, «Urbi et Orbi». «Будем как Солн-
це», «Кормчие звезды», один журнал следовал
за другим: за «Весами» — «Перевал», за «Ми-
ром искусства» — «Аполлон», «Золотое ру-
но», — следовал триумф за триумфом Художе-
ственного театра, на сцене которого были то
древние кремлевские палаты, то кабинет «дя-
ди Вани», то Норвегия, то «Дно», то метерлин-
ковский остров, на котором грудями лежали
какие-то тела, глухо стонавшие: «Нам стра-
шно!» — то тульская изба из «Власти тьмы»,
вся загроможденная телегами, дугами, коле-
сами, хомутами, вожжами, корытами и мис-
ками, то самые настоящие римские улицы с
настоящим голоногим плебсом.

Потом начались триумфы «Шиповника». Ему и Художественному театру суждено было много способствовать объединению этих двух лагерей. «Шиповник» стал печатать Се-
рафимовича, «Знание» — Бальмонта, Верхар-
на.

Художественный театр соединил Ибсена с Гамсуном, царя Федора с «Дном», «Чайку» с «Детьми солнца». Много способствовал этому объединению и конец девятьсот пятого года, когда в газете «Борьба» появился рядом с Горьким Брюсов, рядом с Лениным Бальмонт... Потом запел Игорь Северянин.

В сирень, шофер, в сирень...

Дальше возникли мистический анархизм, мистический реализм, адамизм, акмеизм, футуризм:

*О засмейтесь усмехательно
Смехом смейным, смехачи...*

И пир всех искусств шел и по домам, и по редакциям, и у «Яра» в Москве, и в петербургской «Башне» Вячеслава Иванова, и в ресторане «Вена», и в подвале «Бродячей собаки»:

Все мы бражники здесь, блудницы...

Об этом времени писал Блок (вполне серьезно):

«Мятеж лиловых миров стихает. Скрипки, хвалившие призрак, обнаруживают свою ис-

тинную природу. Лиловый сумрак рассеивается... И в разреженном воздухе горький запах миндаля... В лиловом сумраке необъятного мира качается огромный катафалк, а на нем лежит мертвая кукла с лицом, смутно напоминающим то, которое сквозило среди небесных роз...»

Париж, 1927.

Статьи и выступления

Памяти сильного человека*

*(По поводу 70-летней годовщины со дня
рождения И. С. Никитина — 21 сентября
1824 г.)*

Однажды, пробуя свою силу, Никитин поднял громадную тяжесть... «что-то оборвалось у него внутри»... Это надломило его здоровье. Новая же неосторожность — ранней весной он бросился купаться в реку — доконала его совсем: сперва была горячка, а потом пришлось надолго лишиться ног и лежать в постели. Но редкая физическая мощь, удивительная сила духа долгие годы боролись с недугами. Не слабея, он выбивался из них с ранней юности... Наконец уступил... Последние дни в глубоком молчании он читал Евангелие...

Да, это был сын своего отца, первого бойца на кулачных боях в Воронеже, сын своего оригинального сословия. Какая полнота его

лучших типических черт сохранилась в великом поэте! Всмотритесь в его лицо на портрете: и посадка, и черты лица, и эти немного приподнятые брови, и этот взгляд прекрасных скорбных глаз — взгляд искоса — все типично! Откройте его книгу — в языке поэта много своеобразных выражений, оборотов именно того говора, которым отличается его сословие. Вспомните его жизнь — это не жизнь легкомысленного интеллигентного пролетария, не беспечность артиста — сына дворянского поколения, «лишнего человека», поэта Михалевича, неудачника-мечтателя.

В его жизни — «дело идет своим чередом». К нему приучила его нужда и крепость и серьезность отцов и дедов. Оно «шею ему перелезло» (все выражения самого поэта), но он не бросает его. Более десяти лет был он хозяином и дворником своего постоянного двора. Целый день он хлопочет и переносит бесконечные разговоры с кухаркой о горшках, щах, солонине и пр., галдит с мужиками, размещая их телеги под навесом, отпускает овес, торгуется. «А утомившись порядочно за день, — читаем мы дальше в его письмах, — в сумерки

я зажигаю свечу, читаю какой-нибудь журнал... берусь за Шиллера и копаюсь в лексиконе, покамест зарябит в глазах. Часов в двенадцать засыпаю и просыпаюсь в четыре, иногда в три часа. Рассвет застает меня уже за чаем». Да небось и этот короткий сон приходилось прерывать каждую ночь, вскакивать, заслыша стук кнутовищем в окно, накидывать полушубок, совать босые ноги в валенки, еще не высохшие на загнетке, и выбегать на мороз отворять ворота обозу, который, скрипя полозьями, пришел оттуда, где

*Белеет снег в степи глухой,
Стоит на ней ковыль сухой;
Ковыль сухой и стар и сед,
Блестит на нем мороза след...
Простор и сон, могильный сон,
Туман, что дым, со всех сторон,
А глубь небес в огнях горит,
Вкруг месяца кольцо лежит...*

Да и разве тому, кто написал это, не случилось самому лежать в такую ночь на возу, завейном ночью поземкой, блестящем при месяце снежной пылью? Не случилось разве кружиться в бешеной вьюге степной ночи,

ходить искать дорогу, утопать по пояс в сугробах, измокнуть в снегу и промерзнуть на морозе?.. Верно, не многие из нынешних поэтов, поющих «челн томленья, челн тревог», знают, какое это ощущение, когда полушубок станет «как кол» да сапоги задеревенеют («выскочил, как на грех, в нагольных сапожонках!») да в лицо, в глаза, в уши, в волосы набивает мокрым снегом, захватывает ветром дыхание!

Все это Никитин испытал, все видел и все-таки был крепок телом и бодр духом. Тоска его звучала в стихах энергией великого народного духа, силой энергичных *своих* слов, пережитых всем сердцем.

*Мне доставались нелегко
Моей души больные звуки, —*

говорила его многострадальная душа; но разве не он же восклицал в песне:

*Оробей, загорюй —
Курица обидит!*

Народный быт Никитин изображал неподражаемо... Посмотрите хоть на изображение природы!

В словах его, передающих ее картины, была та *неуловимая* художественная точность и свобода, та даже расстановка слов, тот выбор их, которыми руководствуется невольно только художник, знающий природу всем существом своим:

*Весело сияет месяц над селом,
Белый снег сверкает синим огоньком...*

.....
*И бог весть отколе с песней удалой
Вдруг промчался в поле песенник
лихой.
И в морозной дали тихо потонул
И напев печали, и тоски разгул!*

Красота ранней зари передавалась им так, что все стихотворение было как бы напоено ее росами, крепкой утренней свежестью, всеми запахами мокрых камышей.: холодком дымящейся алой реки, горячим блеском солнца... и вместе с стихотворением звенела веселым кличем:

Не боли ты, душа, отдохни от забот, —

Здравствуй, солнце да утро веселое!

Вечер, летний вечер в поле... как дышит
им каждое стихотворение поэта!

*В чистом поле тень шагает...
Песня из леса несется,
Лист зеленый задевает,
Желтый колос окликает,
За курганом отдается.
За курганом, за холмами
Дым-туман стоит над нивой,
Свет мигает полосами,
Зорька тучек рукавами
Закрывается стыдливо.*

*Рожь да лес, зари сиянье, —
Дума, бог весть, где летает...*

Живою, почти осязаемой картиной встает
перед вами его изображение степного простора,
степного хутора, осеннего свежего утра:

*Что за утро! Серебряный иней
На зелени луга лежит;
Камыш пожелтевший над речкою
синей
Сквозною оградой стоит... —*

или ноябрьского хмурого дня у большой реки:

*Одеты серые луга туманом;
То дождь польет, то снег летит,
И глушь и дичь. На берегу песчаном
Угрюмо темный лес стоит...*

И какую задушевностью, силой и простотой благородного чистого сердца звучало его заветное чувство:

*...Тишина — не слышно звука,
Не горит огня в селе.
Беспробудно скорбь и мука
Спит в кормилице-земле...
Мир вам, старые невзгоды!
Память вечная слезам!
Веет воздухом свободы
По трущобам и лесам!*

Я не знаю, что называется хорошим человеком. Верно, хорош тот, у кого есть душа, есть горячее чувство, безотчетно рвущееся из глубины сердца.

Я не знаю, что называется искусством, красотой в искусстве, его правилами. Верно, в том заключается оно, чтобы человек, какими

бы словами, в какой бы форме ни говорил мне, но заставлял бы меня видеть перед собою живых людей, чувствовать веяние живой природы, заставлял трепетать лучшие струны моего сердца.

Все это умел делать Никитин, этот сильный человек духом и телом. Он в числе тех великих, кем создан весь своеобразный склад русской литературы, ее свежесть, ее великая в простоте художественность, ее сильный простой язык, ее реализм в самом лучшем смысле этого слова. Все гениальные ее представители — люди, крепко связанные с своей почвой, с своею землею, получающие от нее свою мощь и крепость. Так был связан с нею и Никитин, и от нее был силен в жизни и творчестве.

Кажется, переводятся такие люди. Подумайте над теперешней литературой: главная ее черта та, что в ней уже утрачивается этот особый склад и характер именно *русской* литературы. Многие новейшие произведения можно приписать какому угодно автору — французу, немцу, англичанину. А поэты? Они пишут триолеты, сонеты, рондо, на средневе-

ковые, на декадентские темы — и все выходит бедно, безжизненно, мелко... выдумывают феноменальные рифмы, высиживают нелепые образы с претензией па поэтичность, нелепые выражения. Да, мы маленькие, слабые, бедные люди!

Они сознательно уходят от своего народа, от природы, от солнца. Но природа жестоко мстит за это. Это твердо помнить!

1894

Е.А. Баратынский*
**(По поводу столетия со дня
рождения)**

*Взгляни на звезды: много звезд
В безмолвии ночном
Горит, блестит кругом луны
На небе голубом.
Ту назови своей звездой,
Что с думою глядит
И взору шлет ответный взор,
И нежностью горит.
Е. Баратынский*

Имя Баратынского принадлежит к числу очень почетных имен нашей литературы. Всякому хорошо известно, что он занимал одно из первых мест в так называемой Пушкинской плеяде поэтов. Всякий еще со школьной скамьи помнит его классические описания могучей и суровой природы Финляндии, знает его величавую элегию на смерть Гете, а его стихотворения, положенные на музыку, и до сего времени производят глубокое и сильное впечатление. Но, к сожалению, этим по большей части и ограничивается знакомство русской публики с Баратынским, хотя его талант далеко не сконцентрировался лишь в этих произведениях и заслуживает лучшей участи, требует всестороннего изучения уже хотя бы потому, что поэзия Баратынского никогда не имела временного, текущего интереса, а сосредоточивалась с первых моментов своих на так называемых «вечных» вопросах, а если иногда и являлась откликом своей эпохи, то и в таких случаях была полна тех настроений, которые нельзя отнести к числу пережитых и уже сданных в архив. Меланхолия Баратынского, его раздвоенность, искание ответа на

тревожившие его вопросы о смысле жизни, о смерти, наконец, его скорбный пессимизм, переходивший иногда даже в отчаяние, — все это такие мотивы поэзии, которые находили и до сих пор находят отклик в нашем обществе; если же к этому прибавить еще то, что душевная жизнь Баратынского постоянно была обвеяна дымкой поэзии, что картины его были сильны и классически рельефны, что стих его отличался редкою красотой и изяществом, то важность ознакомления с Баратынским станет вполне очевидна. В предлагаемой статье я постараюсь показать, что изучение его избранных стихотворений и поэм может иметь серьезное воспитательное и развивающее значение как для молодежи, так и для всякого мыслящего человека. В настоящее время пришла уже, кажется, пора, когда эстетическому воспитанию начинают отводить солидное место если не на практике, то, по крайней мере, в теории, и вполне понятно, что в этом деле на первый план выдвигается изучение отечественной литературы, так как эта отрасль знания не только способна выработать изящество и тонкость вкуса, но и со-

действует расширению умственного кругозора и развитию нравственных чувств, не говоря уже о том, что изучение родной литературы может наилучшим образом способствовать пробуждению и укреплению национального самосознания. При изучении же русской литературы нельзя, конечно, миновать и поэзию Баратынского.

До некоторой степени это делается и теперь, когда ознакомление молодежи с отечественной поэзией стоит еще в нашей школе на весьма низком уровне. Многие из стихотворений Баратынского составляют необходимую принадлежность всякой хрестоматии, а при изучении Пушкинского периода дается представление и о его поэзии. Но всем известно, как скудно делается это, и, разумеется, такого ознакомления с Баратынским крайне недостаточно: Баратынский, повторяю, заслуживает более серьезного внимания.

Не будучи по профессии педагогом, я не решаюсь излагать плана и программы изучения его поэзии, но полагаю, что настоящая статья будет нелишним напоминанием родителям и воспитателям относительно значе-

ния Баратынского в деле воспитания нашего юношества. Мне хотелось бы посильным выяснением сущности и характера поэзии Баратынского содействовать построению плана изучения ее. Но если я и не решаюсь говорить о самом плане, то все же считаю необходимым отметить, что, на мой взгляд, поэзия Баратынского, если не считать некоторых его описаний природы, может быть доступна лишь старшему возрасту воспитанников, так как она, по своему содержанию, касается серьезных и глубоких вопросов жизни и духа. Проникнутая тем настроением, которое может быть охарактеризовано словами самого поэта, приведенными мною в эпиграфе, она, несомненно, должна затронуть очень многие струны юной души в ту пору, когда она начинает тревожиться высшими вопросами, когда является жажда найти ответ на вопросы о сущности бытия, о назначении человека на земле, о его роли в людской безграничной толпе. А кто из нас не переживал такого периода?

Прежде чем приступить к характеристике поэзии Баратынского, считаю полезным оста-

новиться на оценке ее со стороны наиболее крупных представителей нашей литературы, — оценке, свидетельствующей о том, что изучение Баратынского действительно заслуживает серьезного внимания. И вот что читаем мы у Пушкина и Белинского относительно Баратынского.

«Баратынский, — говорит Пушкин, — принадлежит к числу отличных наших поэтов. Он у нас оригинален — ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко. Гармония его стихов, свежесть слога, живость и точность выражения должны поразить всякого, хоть несколько одаренного вкусом и чувством. Кроме прелестных элегий и мелких стихотворений, знаемых всеми наизусть и столь неудачно поминутно подражаемых, Баратынский написал две повести, которые в Европе доставили бы ему славу, а у нас были замечены одними знатоками».

Каковы же причины того, что поэзия Баратынского встречалась в обществе довольно холодно? По мнению Пушкина, таких причин

было три. Во-первых, Баратынский, ранние произведения которого встречались с восторгом, в позднейших своих трудах перерос современное ему общество: «Песни его уже не те, а читатели все те же, и разве только сделались холоднее сердцем и равнодушнее к поэзии жизни». Вторую причиной было отсутствие настоящей критики: «Класс читателей ограничен, и им управляют журналы, которые судят о литературе, как о политической экономии, о политической экономии, как о музыке, т. е. наобум, понаслышке, без всяких основательных правил и сведений, а большею частью по личным расчетам». В-третьих, играли роль «Эпиграммы Баратынского: сии мастерские образцовые эпиграммы не щадили правителей русского Парнаса». Говоря таким образом, Пушкин полагал, что Баратынскому «время занять степень, ему принадлежащую, и стать подле Жуковского и выше певца Пенатов и Тавриды» (т. е. Батюшкова).

Пушкин, как известно, был в очень близких и дружеских отношениях с Баратынским, — значит, ценил его не только как поэта, но как и человека. Он часто вспоминал

Баратынского в своих поэтических произведениях. Так, например, живя в Бессарабии и говоря, что он бродит там с тенью Овидия, он так заключает свое стихотворение:

*Но, друг, обнять милее мне
В тебе Овидия живого.*

В другом стихотворении он пишет:

*Стих каждый повести твоей
Звучит и блещет, как червонец,*

Описывая в пятой главе «Евгения Онегина» зиму, Пушкин свое описание ставит ниже описания Баратынского:

*Согретый вдохновенья богом,
Другой порт роскошным слогом
Живописал нам первый снег
И все оттенки зимних нег...
Но я бороться не намерен
Ни с ним покамест, ни с тобой,
Певец финляндки молодой.*

Кроме Пушкина, с большим уважением относились к Баратынскому и многие другие видные представители современной литературы и критики, как, например, кн. Вяземский, Галахов, Плетнев и т. д. Последний су-

лил ему даже славу Анакреона и Петrarки. Я не буду, однако, останавливаться на этих отзывах, а приведу еще только мнение Белинского о Баратынском.

Белинский в начале литературно-критической деятельности отнесся к поэзии Баратынского строго. В 1835 году в статье «О стихотворениях г. Баратынского», помещенной в «Телескопе», Белинский хотя и признавал в поэзии Баратынского ум, литературную ловкость, умение, навык, щегольскую отделку, но замечательными стихотворениями считал только немногие и полагал, что и они оставляют в душе читателя очень слабое впечатление. Спустя десять лет после этого Белинский писал о Баратынском уже совершенно иначе, хотя в некоторых отношениях сохранил на него свой прежний взгляд. Вот что мы читаем в статье Белинского «Русская литература 1844 г.», помещенной в «Отечественных записках»: «Баратынский мыслил стихами... *Дума* (курсив автора) всегда преобладала в них над непосредственным творчеством... Эта мысль или, лучше сказать, *дума*, всегда так тепла, так задушевна в стихах Баратынского;

она обращается к голове читателя, но доходит до нее через его сердце». Дума Баратынского, по словам Белинского, полна страдания, в ней постоянно слышится вопрос, ответом является лишь одна скорбь поэта. «Читая стихи Баратынского, забываешь о поэте, и тем более видишь перед собой человека, с которым можешь не соглашаться, но которому не можешь отказать в своей симпатии, потому что этот человек, сильно чувствуя, много думал, следовательно, жил, как не всем дано жить, но только избранным... Мыслящий человек всегда перечтет с удовольствием стихотворения Баратынского, потому что всегда найдет в них человека — предмет вечно интересный для человека».

Так характеризовал Баратынского наш знаменитый критик и, говоря о его ранней кончине, замечал: «Оплакивая его преждевременную смерть, мы скорбим не только о потере поэта, но и человека: в Баратынском оба эти имени слились нераздельно».

* * *

*«Wer den Dicher will verstehen
Muss in Dichters Lande gehen»[58]*

сказал Гете и в этих двух строках выразил мысль, которая впоследствии была развита в целую теорию, по которой понимание произведений искусства вообще и поэзии в частности оказывается возможным только тогда, когда изучены условия среды, породившие творческую деятельность того или иного художника. Теория эта, как известно, нашла между прочим своего блестящего истолкователя в Ипполите Тэне, хотя он придавал, может быть, излишне большое значение географическим условиям страны и расовым особенностям представителей искусства. Понятие среды в этом случае должно быть, по-моему, взято в самом широком смысле слова, и только тогда мы не впадем в односторонность, объясняя характер художественного творчества. Здесь должны иметь место и влияния природы на художника, и принадлежность его к тому или иному обществу, и условия политической и социальной атмосферы данного времени, и, наконец, тот цикл идей, чувств и настроений, которые господствуют в изучаемую эпоху.

Однако одного изучения среды, понимаемой даже в таком широком смысле слова, недостаточно; необходимо еще изучить индивидуальные особенности художника, черты его характера, темперамента и умственных наклонностей, ибо самые условия среды в одном индивидууме преломляются так, в другом — иначе.

Что же мы видим при изучении характера Баратынского и среды, окружавшей его?

Баратынский родился и провел свое детство в Тамбовской губ., то есть в такой местности, которая, подобно всей остальной полосе средней России, не может своими природными условиями производить какого-либо сильного впечатления: все тихо, мирно, скромно; здесь чаще всего могут под влиянием природы возникать или элегические, или идиллические настроения. Элегический оттенок, несомненно, присущ очень многим русским поэтам, а в Баратынском он сказался особенно сильно. Но ему не чуждо и мирное идиллическое настроение. Вот, например, описание одного помещичьего имения в средней России, сделанное нашим поэтом:

*Я помню ясный, чистый пруд,
Под сению берез ветвистых,
Средь мирных вод его три остро-
ва цветут.
Светлея нивами меж роц своих
волнистых,
За ним встает гора, пред ним в
кустах шумит
И брызжет мельница. Деревня,
луг широкий,
А там счастливый дом... туда ду-
ша летит.*

Не правда ли, как патриархально-мирна эта картина, какой идиллией веет от нее? Но в этой простой и незатейливой природе есть время года, которое вливает жизнерадостность в душу человека и смягчает его элегически-грустное настроение. Это время — весна, которая бывает особенно хороша в средней России, и у Баратынского мы находим превосходные описания ее.

*Весна, весна! Как воздух чист!
Как ясен небосклон!
Своей лазурию живой
Слепит мне очи он.*

*Весна, весна! Как высоко
На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным лучам,
Летают облака!*

*Шумят ручьи, блестят ручьи!
Взревев, река несет
На торжествующем хребте
Поднятый ею лед.*

*...Что с нею, что с моей душой?
С ручьем — она ручей
И с птичкой — птичка! С ним
журчит,
Летает в небе с ней!*

Однако Баратынскому пришлось испытать на себе влияние и другой, более могучей и дикой природы: в течение шести лет ему пришлось прожить, состоя на военной службе, в Финляндии (Нейшлотский полк, в котором он служил, стоял в Кюмени). Природа эта прямо поразила его, приковала к себе его внимание и, несомненно, наложила глубокую печать на его душу. К этому надо прибавить, что в Финляндии Баратынский жил очень уединенно, и поэтому вполне понятно, что мрачное вели-

чие северной природы внесло в его душу много меланхолии и наполнило ее романтическим настроением, в особенности если принять во внимание, что скандинавские саги и сказания еще более упрочивали это настроение. Вот дивные строки из поэмы Баратынского «Эда», где он описывает Финляндию:

*Суровый край! Его красам,
Пугался, дивятся взоры;[59]
На горы каменные там
Поверглись каменные горы;
Синея, всходят до небес
Их своенравные громады;
На них шумит сосновым лес;
С них бурно льются водопады;
Там дол очей не веселит;
Гранитной лавой он облит;
Главу одевши в мох печальный,
Огромным сторожем стоит
На нем гранит пирамидальный;
По дряхлым скалам бродит
взгляд;
Пришлец исполнен смутной ду-
мы...*

Суровая финляндская природа, если и придала романтический характер поэзии Бара-

тынского, описана им с такою реалистиче-
скою правдою (черта, вообще, свойственная
русским поэтам), что его описания поистине
являются и считаются классическими. Тако-
вы, например, его знаменитые стихотворе-
ния: «Финляндия» («В свои расселины вы при-
няли певца...»), «Водопад» («Шуми, шуми с
крутой вершины...») и мн. др.

Под конец жизни Баратынскому удалось
побывать и за границей и между прочим ис-
пытать на себе влияние природы Италии, ку-
да его тянуло еще с детства, так как любовь к
этой стране рано возбудил в нем его гувернер,
итальянец Боргезе, руководивший воспита-
нием поэта. И в более зрелом возрасте Бара-
тынский мечтал об Италии:

*Небо Италии, небо Торквато,
Прах поэтический древнего Рима,
Родина неги, славой богата,
Будешь ли некогда мною ты зри-
ма?..*

Италия пленила Баратынского. В одном из
писем к Путяте из Неаполя он пишет: «На ко-
рабле ночью я написал несколько стихотво-
рений», а про Италию вообще говорит так:

«Понимаю художников, которым нужна Италия... Здесь, только здесь может образоваться и рисовальщик, и живописец».

Итак, мы видим, что условия природы выработывали в Баратынском главным образом элегическое и меланхолическое настроение. Воспитание его сложилось также неудачно, если не считать раннего детства. Будучи еще совсем ребенком, Баратынский был отдан в один из петербургских пансионов, о котором он писал своей матери: *Je croyais trouver l'amitie, mais je ne trouvais qu'une politesse froide et affectee, une amitie interessee*[60]. Затем он поступил в пажеский корпус, где пребывание его закончилось плачевно: он был исключен без права поступления на службу (лишь благодаря ходатайству Жуковского он имел возможность поступить в военную службу), и это обстоятельство так сильно повлияло на него, что он, по собственному свидетельству, несколько раз решался покончить самоубийством.

Следовательно, и воспитание не могло создать в Баратынском жизнерадостного настроения.

Посмотрим теперь, как отразилась на нем его принадлежность к богатому аристократическому кругу[61]. Мне кажется, что это обстоятельство имело, как и по отношению ко многим другим русским писателям, и свои положительные, и свои отрицательные стороны, а в разбираемом нами случае сводилось, между прочим, к следующему.

Богатство дало Баратынскому, во-первых, возможность получить если не официально, то фактически хорошее по тому времени образование и знакомство с новыми языками, позволившее читать европейских авторов в оригинале; богатство и аристократический склад жизни создавали, сверх того, эстетическую обстановку, с раннего детства развивавшую вкус к изящному. Затем та же материальная обеспеченность устраняла Баратынского, как и многих других людей его класса, от непосредственной борьбы за существование, вследствие чего он на литературу не мог смотреть, как это часто теперь бывает, как на средство к жизни, и не мог поэтому спуститься до ремесленничества в искусстве. На искусство Баратынский смотрел очень возвышен-

но, в нем он видел и счастье, и горе своей жизни:

*Природа, каждого дара особой
страстью,
Нам разные пути прокладывает к
счастью:
Кто блеском почестей пленен в
душе своей,
Кто создан для войны и любит
стук мечей;
Любезны музы мне. Когда-то для
забавы
Я, праздный, посетил Парнасские
дубравы
И воды светлые Кастальского ру-
чья;
Там к хорам чистых дев прислу-
шивался я,
Там, очарованный, влюбился я в
искусство
Другим передавать в согласных
звуках чувство,
И, не страшась толпы взыска-
тельных судей,
Я умереть хочу с любовью моей...
[62]*

Я, конечно, далек от мысли объяснить

страстность Баратынского к поэзии его состоятельностью и аристократическим происхождением; я говорю только, что эти обстоятельства создавали благоприятную почву для культивирования его преклонения пред искусством. Эти обстоятельства имели, однако, и свои вредные стороны. Будучи от природы человеком пассивного, чисто созерцательного характера, Баратынский еще более укреплял в себе эти черты, живя в довольстве помещичьей жизни (с 25 лет он оставил службу и жил то в Москве, то в деревне). Образ этой жизни не создавал для него никаких импульсов к проявлению активности, общественные же вопросы, в узком смысле этого слова, обыкновенно были чужды нашему поэту. Поэтому он главным образом сосредоточивался в своем внутреннем мире, мучительно ища и не находя ответа на вопросы этического и философского характера, и в этом-то и заключался трагизм всей его жизни.

К числу благоприятных условия развития Баратынского надо отнести то, что он имел возможность сойтись и подружиться с лучшими писателями того времени. Я уже гово-

рил об этом: упоминало его дружбе с Пушкиным, отмечал также, что он находил заботливое к себе отношение в лице Жуковского. Он был, кроме того, близок с Дельвигом, с Гнедичем, Плетневым, а во время своего пребывания за границей познакомился с представителями и европейской литературы, как Мериме, Сент-Бёв, Виньи, Тьерри, Нодье. В молодости Баратынский был знаком и с некоторыми из декабристов, и если не разделял их политической программы, то вполне сочувственно относился к их этическим идеалам и стремлению к свободе, о которой он говорил:

*С неба чистая, золотистая
К нам слетела ты;
Все прекрасное, все опасное
Нам пропела ты!*

По складу своего характера и умонастроения Баратынский и не мог даже принадлежать к политической партии, требовавшей и активности и энергии, столь чуждых рефлексирующему строю души его. Его стремления были направлены в иную сторону: поэзия, этика и метафизические вопросы — вот что занимало нашего поэта, и он в этом отноше-

нии сильно выделялся в толпе своего времени, в той умственной атмосфере, которая окружала людей двадцатых и тридцатых годов и которая может быть охарактеризована словом «романтизм». Романтизм царил тогда, как известно, и в Западной Европе и в России, и едва ли это было у нас только эфемерным веянием. Не буду останавливаться на характеристике этого, всем известного, умственного течения, — отмечу только, что оно, с его отрицательным отношением к современной прозе жизни, с его полетом в мир прошлого или в туманную область грез и видений отражалось различно на различных духовных организациях. У одних, как, например, у Байрона, у Лермонтова, романтизм создавал дух протеста; у других, как, например, у Жуковского, он облекался в мечтательность и сентиментализм; наконец, у третьих он окрашивался мрачным колоритом и содействовал развитию пессимистического взгляда на жизнь и человека.

Мрачное настроение, помимо всего этого, создавалось у Баратынского и всею тою общественною атмосферой, которая царила тогда в

России. Всякому известно, какое время переживало русское общество в эпоху двадцатых к тридцатым годов нашего столетия, — в ту пору, когда пришлось жить и действовать Баратынскому. Правда, он, как я только что говорил, был чужд общественных стремлений (в узком значении этого слова) и не принимал в них участия; но все же он не мог не испытывать на себе духа той реакции, которая была тогда разлита в воздухе и мертвила всякое деятельное проявление жизни, чем у таких личностей, как Баратынский, еще более усиливала мрачное настроение.

Вот каковы в общих чертах были влияния среды, окружавшей Баратынского. Интересно взглянуть теперь, на какую почву падали эти влияния, какими индивидуальными особенностями отличался Баратынский в своем духовном облике.

* * *

К числу особенно характерных черт, свойственных от природы Баратынскому, надо прежде всего отнести его *искренность и прямоту*, то есть именно черты, без которых немислима истинная поэзия. Баратынский

был искренен и прям как в жизни, так и в творчестве. Эта прямота, по мнению Пушкина, даже вредила его популярности, как это было указано мною выше. В поэзии Баратынского никогда не было ни ходульности, ни ложного пафоса, ни желания позировать:

*Я правды красоту даю стихам
моим...[63]
Что мыслю, то пишу...*

Кроме того, у Баратынского была еще драгоценная черта, опять-таки необходимая для настоящего художественного творчества: он был человеком очень *самобытным* и *врагом подражательности*. Он говорил:

*Не подражай: своеобразен гений
И собственным величием велик.*

Строгое отношение к подражательности заставляло Баратынского произносить иногда резкие приговоры разным писателям: так, например, о французских романтиках он писал Пушкину: «Мне жалки эти новейшие романтики: мне кажется, что они садятся не в свои сани».

Натура Баратынского, как я уже отмечал,

была по существу вдумчивая, созерцательная и сосредоточенная в своем внутреннем мире. Борьба и активность были совершенно ему несвойственны. Хотя в дни своей юности он не был чужд шумной жизни и разгула, столь распространенного тогда в его кругу, хотя он пытался даже воспевать военные доблести, но все это было у него наносным и временным. Будучи еще юношей двадцати одного года, он писал:

*Пускай летит к шатрам бестрепетный герой,
Пускай кровавых битв любовник молодой
С волненьем учится, губя часы золотые,
Науке измерять окопы боевые:
Я с детства люблю сладчайшие труды.
Прилежный, мирный плуг, взрывающий бразды,
Почтеннее меча; полезный в скромной доле,
Хочу возделывать отеческое поле.*

По тем же свойствам своей природы Баратынский дорожил тихим семейным счастьем,

которое выпало на его долю. И само собой разумеется, что человек подобного склада не мог иначе, как с душевной скорбью и ненавистью, смотреть на шумевшую вокруг него жизнь с ее прозаическими заботами и меркантильными интересами. Но пассивность и созерцательность Баратынского не делали, однако, из него сухого педанта и резонера; он чувствовал и радости жизни и даже осуждал тех, кто чужд увлечений, не в меру рассудителен и хладнокровен:

*Всем этим хвастать не спеши:
Не редкий ум на это нужен —
Довольно дюжинной души.*

Из тех же черт характера проистекала у Баратынского его нелюбовь к сатире, чел он сильно отличается от многих русских писателей. Если в поэзии Баратынского мы и встречаемся с эпиграммами, то это лишь исключения, а общий дух его поэзии совершенно чужд сатире, о чем он сам говорил и в своих письмах, и стихотворных посланиях. Так, в одном из писем к Н.В. Путьяте он говорил: «На Руси много смешного, но я не расположен

смеяться. Во мне веселость — усилие гордого ума, а не дитя сердца». В стихотворении Гнедичу он хотя и признает значение сатиры, говоря, что

*Полезен обществу сатирик бес-
пристрастный, —*

но о себе пишет так:

*Но ты ли мне велишь оставить
мирный слог
И, едкой желчью напитывая
строки,
Сатирой восставать на глупость
и пороки?
Миролюбивый нрав дала судьбина
мне,
И счастья моего искал я в тиши-
не;
Зачем я удалюсь от столь разум-
ной цели?*

Однако нелюбовь к сатире не означала у Баратынского примирения с условиями современной жизни; он лишь мало верил в могущество слова вообще, говоря, что «разумный муж» не может пытаться «изменить людское естество», ибо

*Из нас, я думаю, не скажет ни
единый:*

*Осина — дубом будь, а дубу — будь
осиной.*

Такой взгляд на непреложный ход вещей в жизни людей служил для Баратынского не успокоением, не приводил его к квиетизму, а, напротив, мучил его душу; говоря в одном из своих очень сильных стихотворений, что мы принуждены, подобно всем другим предметам мироздания, быть покорными своему уделу, он заканчивает это стихотворение такими поистине патетическими словами:

О, тягостна для нас...

*Жизнь, в сердце бьющая могучею
волною*

*И в грани узкие втесненная судь-
бою!..*

И действительно, жизнь поэта была полна муки, несмотря на внешнее довольство и счастье. У Баратынского бывали моменты, когда он как бы примирялся с жизнью, он говорит:

Не ропщите: все проходит,

И ко счастью иногда

Неожиданно приводит

Нас суровая беда... —

а в другом стихотворении даже оправдывает необходимость страданий:

*Поверь, мой милый друг, страда-
нье нужно нам,
Не испытав его, нельзя понять и
счастья...*

*Одни ли радости отрадны и пре-
лестны?*

*Одно ль веселье веселит?
Бездейственность души счаст-
ливцев тяготит!*

Им силы жизни неизвестны...

Но такие рассуждения поэта, будучи также окрашены меланхолией, были, повторяю, лишь преходящими моментами в его жизни и не вносили гармонии в его страдающую душу. В счастье, понимаемое в самом высоком и благородном смысле, он не верил:

*...в искре небесной прияли мы
жизнь,
Нам памятно небо родное,
В желании счастья мы вечно к
нему
Стремимся неясным желаньем...*

*...Вотще! Мы надолго отвержены
им!*

*Сияя красую над нами,
На бренную землю беспечно оно
Торжественный свод опирает,
Но нам недоступно! Как алчный
Тантал*

*Сгорает средь влаги прохладной,
Так, сердцем постигнув блажен-
нейший мир,
Томимся мы жаждою счастья...*

Отрицая таким образом возможность счастья вообще, Баратынский еще более не верил в истинное и прочное счастье для самого себя, и это неверие росло у него с годами по мере того, как он все более отдавался своим горьким думам о суетности жизни:

*Страдаю я! Из-за дубравы дальней
Взойдет заря,
Мир озарит, души моей печальной
Не озаря...*

Тяжелая скорбь настолько овладела душою порта, что он начинал утрачивать веру в красоту и поэзию:

Что красоты, почти всегда лука-

*вой,
Мне долгий взор!
Обманчив он! Знаком с его отра-
вой
Я с давних пор.*

Однако отказаться от веры в красоту и поэзию было для Баратынского равносильно утрате жизни, ибо на поэзию он смотрел как на возвышенное и благородное проявление человеческого духа, как на отблеск того света, который ярко озаряет мир идеалов. Томясь под бременем своих дум, он начинал терять веру даже в силу и могущество человеческого разума:

*О, человек! Уверься наконец:
Не для тебя ни мудрость, ни все-
знанья.*

Но и этого мало: когда лучшие стороны человеческой жизни стали казаться поэту одними лишь миражами и когда он не находил себе ни в чем успокоения, он стал даже прославлять смерть:

*О, дочь верховного Эфира!
О светозарная краса!*

*В руке твоей олива мира,
А не губящая коса!*

И только в смерти поэт нашел действительное успокоение...

* * *

Такова была скорбная внутренняя жизнь и поэзия Баратынского. Будучи от природы человеком нежной и хрупкой организации, неспособной на борьбу, и будучи подавлен многими крайне тяжелыми условиями личной и ударов и нередко впадал в настоящее отчаяние, между тем как перед его духовными взорами рисовался чистый и лучезарный мир поэзии и идеалов.

Многим может, пожалуй, показаться, что ознакомление с такого рода личностью и с такой поэзией приведет лишь к пессимизму, который и без того овладевает в наше время многими умами. Могут сказать, что нам нужны другие поэты и другие песни, вдохновляющие на борьбу за жизнь. Но как ни кажутся с первого взгляда такие мнения справедливыми, они, по-моему, являются все же чрезвычайно односторонними. Душа человеческая очень сложна и требует ответа на самые раз-

нообразные запросы. Если этого ответа не да-
ется, она замыкается в узкие рамки и не полу-
чает возможности развиться во всей своей си-
ле и полноте. Я говорю, конечно, только о тех
сторонах духовной жизни, которые могут
быть оправданы с нравственной точки зре-
ния, а к таковым, несомненно, принадлежат
те психические движения, которые направле-
ны на разрешение *вечных вопросов бытия и
смысла человеческой жизни*, то есть тех во-
просов, над разрешением которых и мучился
наш поэт.

Задача истинного воспитания не может
сводиться к тому, чтобы отстранить человека
от восприятия тяжелых впечатлений: истин-
ное воспитание должно, напротив, пользо-
ваться и этой стороной дела, лишь бы в ре-
зультате получилось гармоническое разви-
тие всех душевных способностей, а это дости-
жимо только в том случае, когда человек бу-
дет ознакомляться с жизнью *всесторонне*, ко-
гда он будет в состоянии понять и почувство-
вать, какие идеи и настроения волнуют те-
перь наше общество и какие волновали поко-
ления, создавшие нашу современную культу-

ру. К числу таких умственных веяний принадлежит и философия пессимизма. Руководители юношества должны лишь озаботиться тем, чтобы этому течению философской мысли отвести надлежащее место, сопоставить его с другими течениями и создать для человека такой синтез взглядов в его мирозерцании, который бы обеспечивал для него возможность искреннего и разумного служения лучшим заветам человечества. Одними из средств к достижению такой воспитательной цели может служить изучение выдающихся образцов истинной поэзии в ее разнообразных направлениях и разветвлениях. Наша отечественная литература богата такими образцами. Она, как всякое живое и органическое целое, отражала в себе все главные веяния нашей общественной мысли, которая принимала самые разнообразные оттенки. Едва ли нужно доказывать, насколько богата эта литература Пушкинского периода. Если в лице самого Пушкина мы имеем удивительную ясность души и стройность мирозерцания, то другие представители этой эпохи с поразительной тонкостью и изяществом выра-

жали, хотя и более односторонние, но несомненно глубокие движения человеческой души. Так, например, в поэзии Лермонтова мы встречаем бурный и яркий протест как против несовершенства человеческой жизни вообще, так и против того общественного строя, в котором пришлось жить поэту. В нежной и пассивно-созерцательной натуре Баратынского этот протест принял совершенно иную форму: не будучи способен на борьбу, этот поэт, как мы видим, лишь с тяжкою думой останавливался перед суровыми вопросами жизни, которая в конце концов задавила эту хрупкую душевную организацию. Но скорбная жизнь Баратынского была не только трогательна, но и поучительна: в его лице мы видим искреннего и страстного искателя, истины, и он был в полном праве сказать о себе:

*...Я живу, и на земле мое
Кому-нибудь любезно бытие.
Его найдет далекий мой потомок
В моих стихах. Как знать? Душа
моя
Окажется с душой его в сношенье,
И, как нашел я друга в поколенье,*

<1900>

Речь на юбилее «Русских Ведомостей»*

Приветствую «Русские ведомости» с благодарностью за то, что дали они русской литературе, и за их отношение к ней. Не останавливаюсь на том, что непосредственно прошло через «Русские ведомости» и осталось в литературе: столбцы их украшались именами бесспорными — именами Толстого, Чернышевского, Салтыкова, Глеба Успенского, Чехова, Короленко. Отмечу только то, что имена эти были не случайными на этих столбцах, что они не терялись в пестром списке других имен, что до последнего времени окружены они были именами если и меньшими, то всегда приблизительно того же порядка и ценности определенной, устойчивой, а не созданной теми или иными обстоятельствами. Другая заслуга «Русских ведомостей» не менее, если не более важна: это — позиция, которую занимали они по отноше-

нию к литературе за последние пятнадцать, двадцать лет, и воздействие их на нее, прямое и косвенное. Трудно учесть это воздействие, каждодневное воздействие всякой газеты; но несомненно, что оно огромно, а у нас и за последнее время — особенно.

Наша читающая масса еще малокультурна; газета для нее еще в новинку и действует на умы резко. А потребность в газете растет с каждым днем; растет и число газет и распространение их. А мы — еще далеко не европейцы; мы еще не чувствуем в той мере, как европеец, грани между печатным словом истинно литературным и так называемым бульварным; да у нас еще и не обозначилась как следует эта грань. «Нам печатный лист все еще кажется святым», — сказал Пушкин, и мы еще должны помнить эти слова. У нас не редкость, что еще не только газета, претендующая быть литературным органом, но и журнал уделяет столько же места и столько же серьезности при разборе «Хаджи-Мурата», как при разборе произведения, недалеко ушедшего от какого-нибудь «Разбойника Чуркина». Мы еще не совсем понимаем, что та-

кое реклама, — мы как провинциал: видим вывеску — «центральный магазин» — и полагаем, что этот магазин и впрямь центральный. Подумайте же, что значит для нас газета в то время, когда мы с такой быстротой европеизируемся, порождаем буржуазию, пролетариат, выходим на улицу, начинаем жить сложной, пестрой жизнью и все более входим во вкус газеты, подпадаем под ее влияние! А ведь писатель испытывает влияние двойное, — власть и газеты и толпы. Много ли тех, что могут противиться этой власти, жажде нравиться толпе, жажде вырвать у нее славу, даже хотя бы скандальную? Таких стойких всегда было мало, а у нас, теперь, особенно мало, да иначе и быть не может: ведь и писатель наш мало культурен, он не менее нервирован сменой событий и настроений и столь же мало подготовлен к нашей новой, ломающейся, жизни, не говоря уже о том, что русская действительность сделала все возможное, чтобы искалечить нас, что она дала нам такие ужасающие контрасты, как шестидесятые, семидесятые годы, а вслед за ними — восьмидесятые, дала девяностые — и начало

девятисотых!

Вы, господа, слишком хорошо знаете, чем была русская жизнь за последние двадцать лет, знаете все радостные и все уродливые или ужасные явления, ее. Чем же была русская литература за эти годы? По необходимости отвечая на этот вопрос кратко, в самых общих чертах, я должен твердо сказать, что уродливых, отрицательных явлений было в ней во сто крат более, чем положительных, что литература эта находилась в периоде во всяком случае болезненном, в упадке, в судорогах и метаниях из стороны в сторону. И тысячу раз был прав Толстой, когда говорил: «На моей памяти совершилось поразительное понижение литературы, понижение вкуса и здравого смысла читающей публики». Толстой причину этого видит в развитии рекламы, в приспособлении писателей и вообще печатного слова ко вкусам и интересам наибольшего числа потребителей, ко вкусам «всегда грубым и низким», по его определению.

Но у нас в России есть и другие причины этого падения художественных произведений

и вообще печатного слова. Каковы они, эти причины? На мой взгляд, вот одна из них. Был известный уклад в русской жизни, тяжелый во многих отношениях, но — уклад. Он должен был разрушиться, исчезнуть — и почти исчез. Была известная культура, не глубокая, не имевшая крепких, вековых корней; она тоже осуждена была на исчезновение еще в те дни, когда «порвалась цепь великая». Успела ли эта культура создать себе преемницу, основать прочные культурные традиции? Вы знаете, что нет. Писатель-«разночинец» шестидесятых, семидесятых годов еще дышал этой культурой, да и само время определяло его путь, направляло его. Этот «разночинец» странствовал, спивался, страдал, болел, но это была другая болезнь, это были муки совести, сердца, — и вы знаете, что это сердце бывало порою истинно «золотым сердцем».

Теперь в литературу пришел новый «разночинец», духовный разночинец, уже совсем почти традиций лишенный, сбитый с толку годами восьмидесятыми, девяностыми, а кроме того, и тем, что должно было встретиться с ним, — европейскими влияниями. Я говорю

не о всех представителях современной литературы. Я говорю о типе писателя, еще так недавно преобладавшем. Каков же этот писатель? Он мало культурный, чуть не подросток во многих отношениях, и начал и жил эксцессами, крайностями и — подражанием, чужим добром. Он нахватался лишь верхушек кое-каких знаний и культуры, а возгордился чрезмерно. Он попал в струю тех течений, что шли с Запада, — и охмелел от них и внезапно заявил, что и он «декадент», «символист», что и он требует самой коренной ломки всего существующего в искусстве и самых новейших форм его (как будто форма отделима от содержания, как будто форма не есть следствие, порождение индивидуальности таланта и того, что он хочет сказать). Конечно, все это было бы совсем смешно, когда бы не было грустно: грустно потому, что нет действий без причин, а на причины — и горестные — я уже указывал; смешно же потому, что разве не нелепо было это требование баррикад и битв за свободу в литературе русской, одной из самых молодых, одной из свободнейших и разностороннейших литератур в мире? Понятны

были литературные революции в Европе, эти битвы классицизма с романтизмом, романтизма с реализмом там, где были долголетние твердыни их. А во имя чего начался наш бунт? Разве не у нас был Пушкин и почти рядом с ним — Лермонтов, Лев Толстой — и Достоевский, Фет — и Некрасов, Алексей Толстой — и Майков? Разве не с чужого голоса закричали мы и продолжаем кричать?

Да, так вот каково было, господа, начало. Нужно ли мне напоминать дальнейшее? Здесь не место и не время Для этого. Я только напомню вам, какое невероятное количество школ, направлений, настроений, призывов, буйных слов и падений видели мы за последние годы! Послушайте писателя нового типа: он, на своем пошлом жаргоне, своими устами или устами своего критика — и чаще всего газетного, — скажет вам, что он создал несметное количество новых ценностей, преобразовал прозаический язык, возвел на высоту и обогатил стихотворный, затронул глубочайшие вопросы духа, «выявил» новую психику, поставил себе великие «задания», стремится к великим «достижениям» и «возможно-

стям», он, не стыдясь, назовет себя «мудрым», «многогранным», «дерзновенным», «солнечным»... А меж тем, за немногими исключениями, не только не создано за последние годы никаких новых ценностей, а, напротив, произошло невероятное обнищание, оглушение и омертвление русской литературы:

*Не многое исчезло: совесть, чувство,
Такт, вера, ум... Растет словесный блуд...*

Исчезли драгоценнейшие черты русской литературы: глубина, серьезность, простота, непосредственность, благородство, прямота — и морем разлилась вульгарность, надуманность, лукавство, хвастовство, фатовство, дурной тон, напыщенный и неизменно фальшивый. Испорчен русский язык (в тесном содружестве писателя и газеты), утеряно чутье к ритму и органическим особенностям русской прозаической речи, опошлен или доведен до пошлейшей легкости — называемой «виртуозностью» — стих, опошлено все, вплоть до самого солнца, которое неизменно пишется теперь с большой буквы, к которому

можно чувствовать теперь уже ненависть, ибо ведь «все можно опошлить высоким стилем», как сказал Достоевский. Вы вспомните, господа, чего только не проделывали мы с нашей литературой за последние годы, чему только не подражали мы, чего только не имитировали, каких стилей и эпох не брали, каким богам не поклонялись! Буквально каждая зима приносила нам нового кумира. Мы пережили и декаданс, и символизм, и неонатурализм, и порнографию, называвшуюся разрешением «проблемы пола», и богоборчество, и мифотворчество, и какой-то мистический анархизм, и Диониса, и Аполлона, и «пролеты в вечность», и садизм, и снобизм, и «приятие мира», и «неприятие мира», и лубочные подделки под русский стиль, и аданизм, и акмеизм — и дошли до самого плоского хулиганства, называемого нелепым словом «футуризм». Это ли не Вальпургиева ночь! И сколько скандалов было в этой ночи! Чуть не все наши кумиры начинали свою карьеру со скандала! И какую поистине огромную роль играла во всем этом газета!

«Русские ведомости» не есть эта газета.

«Русские ведомости» одна из тех немногих газет, которые никого не рекламировали, не гонялись за сенсацией, не создавали скороспелых репутаций, со спокойствием отмечали плюсы и минусы писателей и перворазрядных и второстепенных. «Русские ведомости» проявляли отношение неизменно беспристрастное даже и к тем, которые после шумной «славы» падали и подвергались в других изданиях, ранее превозносивших их, издевательству. «Русские ведомости» отмечали, — конечно, с своей точки зрения, с которой можно и не соглашаться, — все ценное даже и у тех, которые по общему своему направлению совсем не подходили к ним. «Русские ведомости» замалчивали нелепости литературы последних лет, справедливо полагая, что то внимание, которое, в угоду толпе, обращалось на них, лишь содействует их развитию, их популярности, хотя бы и скандальной. «Русские ведомости» протестовали против тех течений в литературе, которые задавались целью совершенно устранить из литературы этический элемент, проповедовать полную разнузданность все себе позволяющей

личности, прославлять под видом утонченности самый простой и старый, как мир, разврат, искоренить идеи общественности, разрушить веру в силу разума и нагонять мистические туманы, шаткие метафизические построения, часто нарочито соединенные, собственного изделия и весьма слабо продуманные, прославлять смерть, квиетизм и даже самоубийство. «Русские ведомости» порою указывали и на происхождение того, чем жила наша литература за последние годы: на общую расшатанность, неустойчивость нашей общественной мысли и неорганизованность общественного мнения, на нашу подражательность Европе, большею частью жалкую, ученическую, — очень нередко сводившуюся даже к плагиатам, — на низкие стремления выделиться не оригинальностью, а оригинальничаньем, на что имелся особо бойкий спрос со стороны нашей уродливо формирующейся буржуазии и всех праздных слоев общества, на увлечения некоторых из писателей, хотя и искренних, но неспособных вследствие отсутствия истинной культурности разобратся в явлениях жизни, в различных

теориях, смешивающих движение вперед с чисто дикарским отрицанием заслуг всех своих предшественников, несовершенство научных методов с крахом науки, дерзновенные полеты мысли с дерзостью, рост и разносторонность индивидуальности с развращенностью ее...

Толстой в статье, которую я цитировал, особенно упирает на те *подделки* под художественные произведения, которые в таком огромном количестве появляются в наше время, и на роль газеты, журнала, критики, проводящих в жизнь эти подделки. «От газет, журналов, критики, — говорит он, — зависит вся будущность просвещения европейского мира». Господа, за «Русские ведомости» вы могли быть спокойны. «Русские ведомости» — один из самых благородных органов печати во всей Европе. Поклонимся же им за это благородство.

Москва, 6.X.1913

На поучение молодым писателям*

Опять и опять прочел недавно, — на этот раз в статье Адамовича, — о разнице между французской и русской душой, о французском умении писать, и о русской в этом смысле отсталости, о ненужности изобразительности (или, как любят теперь говорить, «описательства»), и о том, что многие молодые наши писатели «тратят свои силы попусту, бьются в кругу, в котором после Толстого, собственно, делать нечего»...

«Французские писатели, — говорит Адамович, — уже не прельщаются ни натурализмом, ни „бытовизмом“, которые многим из наших писателей представляются сейчас не только средством, но и целью...»

Правда ли, что так-таки уж все французские писатели не прельщаются «бытовизмом»? Думаю, что неправда, советую хорошенько вспомнить кое-что из появившегося даже за самое последнее время. Правда ли, что многим русским натурализм и «бытовизм» представляются не только средством, но и целью? Опять неправда: большинство

зарубежных произведений даже о годах гражданской войны, о беженстве, об эмиграции не «бытовизмом», конечно, продиктованы. Произведения эти могут быть для Адамовича скучны, могут быть отчасти однообразны, — как всюду и всегда однообразны произведения известного времени, будь то время романтическое, символическое, «декадентское» или какое другое, — но ведь это уж другой вопрос; во всяком случае, «бытовизм» даже для советских писателей не представляется целью.

«Французы поняли, что нельзя без конца ставить ставку на внешнюю изобразительность...» Когда именно поняли? «В конце прошлого столетия, когда уже был достигнут в ней некоторый максимум...» Странно, как поздно поняли! Это можно было понять не только после Мопассана, Флобера, Бальзака, но и после Гомера, Данте, изобразительностью, как известно, весьма не брезговавших. Но все равно, — пусть поняли и пусть именно в конце прошлого столетия, когда будто бы вообще «мир преобразился» и пришла всяческая и уже последняя мудрость, без всякого,

будто бы, «возврата к прошлому». Дело не в этом. Дело в том, что цитированную фразу надо понимать, очевидно, как самое главное поучение статьи: «Поймите же, наконец, и вы, русские!» Но ах, как старо это поучение! Лет тридцать, по крайней мере, на все и всяческие лады твердят его. Все начало нынешнего столетия твердили — и не без пользы: вспомните-ка тип поэта и прозаика, преобладавший за эти тридцать лет в России. Адамович может сказать: что ж делать, теперь, видно, опять надо начинать сначала! Но, повторяю, я все-таки особой надобности в этом не усматриваю.

Адамович прибавил к слову «изобразительность» слово — «внешняя». Но зачем? Хотел, думаю, только смягчить свою нелюбовь к изобразительности, к «описательству». Но люби, не люби, как все-таки обойтись без этой изобразительности? Нелюбовь эта в моде теперь (в некоторых, разумеется, кружках, особенно среди тех, которые знают свою собственную слабую изобразительность и стараются отделаться «мудростью»). Но как же все-таки обойтись в музыке без звуков, в живописи

си без красок и без изображения (хотя бы и самого новейшего, нелепейшего) предметов, а в словесности без слова, вещи, как известно, не совсем бесплотной? Это очень старо, но, право, не так уж глупо: «Писатель мыслит образами». Да, и всегда изображает. Разве не изображает даже Достоевский? «Князь весь трясся, он был весь как в лихорадке... Настасья Филипповна вся дрожала, она вся была как в горячке...» Не велика, конечно, изобразительность, а все-таки что же это? Блок писал, что в какой-то «голубой далекой спальне» какой-то «карлик маленький часы остановил», Белый — что кто-то «хохотал хриплым басом, в небеса запустил ананасом». Уж чего, кажись, новей и независимей от Толстого! А все-таки опять изобразительность.

Адамович в горестном недоумении. «Ну, еще раз будет описана лунная ночь, а дальше что?» Я бы тоже мог недоумевать: ну, еще раз будет сказано про то, что Петербург «призрачный город», или про Медного всадника, или про усталость от бессонных ночей в «Бродячей собаке», а дальше что? Да что толку в нашем недоумении? Ах, ах, еще раз весна и еще

один молодой человек на свете, а дальше что? А дальше то, что этому молодому человеку будут в высокой степени безразличны и наши вздохи, и то, что «еще раз» пришла в мир весна и его молодость. Если лунная ночь описана скверно или банально, не будет, конечно, ровно ничего «дальше». А если хорошо, то есть настоящим художником, который, конечно, не фотографией лунной ночи занимается и всегда говорит прежде всего о своей душе, эту ночь так и или иначе воспринимающей, то уж «дальше» непременно что-нибудь будет. Адамовичу, кажется, хочется, чтобы души наши вращались в какой-то чудесной пустоте, где нет ни дня, ни ночи, ни улиц, ни полей, а так только — одни изысканные души.

«Рядом с внешним миром, — говорит Адамович, — есть еще мир внутренний, вполне и безоговорочно бесконечный, вечно меняющийся и вечно новый». Это очень приятно слышать, но кто же это когда отрицал? А потом — что же делать и с этим внутренним миром, без изобразительности, если хочешь его как-то показать, рассказать? Как его описать

без описательства? Одними восклицаниями? Нечленораздельными звуками?

Пора бросить идти по следам Толстого? А по чьим же следам надо идти? Например, Достоевского? Но ведь тоже немало шли и идут. Кроме того: неужто уж так беден Толстой и насчет этого самого мира внутреннего? «На Толстом, — говорит Адамович, — не кончается литература — есть и другие выходы...» Это как нельзя более верно, но откуда взял Адамович, будто существует теперь уж такое ужасное засилье Толстого?

Дальше речь идет почему-то обо мне. «Крайне интересно в этом отношении творчество даровитейшего и убежденнейшего из толстовцев, Бунина, особенно поздние его вещи, после „Господина из Сан-Франциско“, все-таки куда-то дальше рвущиеся, как бы изнывающие под тяжестью собственного совершенства...»

Странная речь. Я весьма люблю Толстого, но при чем тут «убежденнейший толстовец»? Что это значит? Я употребляю только его «выходы»? Не больше, чем «выходы» прочих создателей не только русской, но и мировой ли-

температуры, имея, впрочем, и некоторые свои собственные, к счастью. Я подражаю ему? Нет, конечно. Похож на него? Ни в малейшей степени. Я «рвусь» куда-то после «Господина из Сан-Франциско»? Конечно, «рвусь», но «рвался» не только после, но и прежде него.

«Внутренний мир, — говорит в конце концов Адамович, — через видимое постигается, но лишь в том случае, когда это видимое не поглощает внимания...» Вот это наконец уже совсем бесспорно. И не лучше ли было бы лишь одно это и сказать, вместо всего прочего? Только даже и это давно всем ведомо. Не ведомо молодым писателям, которых все-таки не мешает поучить?

Но их, по-моему, уж чересчур много учат. Просто задергали. Над ними денно и нощно стонут, подобно чеховской няньке: «Пропали ваши головушки!» И Адамович их за *одно* журит, а, например, Осоргин за *другое*, — один за «бытовизм», другой за отсутствие оногo:

— Русский язык вы вот-вот забудете...

— Русского быта не знаете...

— «Сюжетная теснота» у вас ужасная...

— Прошли вы все по одной и той же доро-

ге...

— Бедные жертвы безвременья!

— То ли дело было прежде!

А что, собственно, такое было прежде, если говорить о писателях новейшей формации?

По Волге иногда плавали? С извозчиками порой разговаривали? Но неужели все «ледяные походы», все Балканы и вся Европа ничего не значат перед Волгой и извозчиком? Неужели Шекспир неправ был, сказавши, что «домоседная мудрость не далеко ушла от глупости»?

Какой такой особый быт, какую такую особенную Русь познавали прежние молодые писатели в ресторанах «Вена» или «Большой Московский», в «Бродячей Собаке» или в редакции «Русского богатства»?

«Сюжетная теснота»! А вспомните, какая теснота была в «Русских богатствах» — в одном роде, а в «Скорпионах» и «Аполлонах» — в другом!

<1928>

Думая о Пушкине*

«Просьба ответить: 1) Каково ваше отношение к Пушкину, 2) прошли ли вы через подражание ему и 3) каково было вообще его воздействие на вас?» <...>

Вообще давно дивлюсь: откуда такой интерес к Пушкину в последние десятилетия, что общего с Пушкиным у «новой» русской литературы, — можно ли представить себе что-нибудь более противоположное, чем она — и Пушкин, то есть воплощение простоты, благородства, свободы, здоровья, ума, такта, меры, вкуса? Дивлюсь и сейчас, глядя на этот анкетный листок. А потом — какой характерный вопрос: «Каково ваше отношение к Пушкину?»

В одном моем рассказе семинарист спрашивает мужика:

— Ну, а скажи, пожалуйста, как относятся твои односельчане к тебе?

И мужик отвечает:

— Никак они не смеют относиться ко мне.

Вот вроде этого и я мог бы ответить:

— Никак я не смею относиться к нему...

<...>

И все-таки долго сидел, вспоминал, думал. И о Пушкине, и о былой, пушкинской России, и о себе, о своем прошлом...

* * *

Подражал ли я ему? Но кто же из нас не подражал? Конечно, подражал и я, — в самой ранней молодости подражал даже в почерке. Потом явно, сознательно согрешил, кажется, только раз. Помню, однажды ночью перечитывал (в который раз?) «Песни западных славян» и пришел в какой-то особенный восторг. Потушив огонь, вспомнил, как год тому назад был в Белграде, как плыл по Дунаю, — и стали складываться стихи «Молодой король»:

*То не красный голубь метнулся
<...>*

Затем что еще? Вспоминаю уже не подражания, а просто желание, которое страстно испытывал много, много раз в жизни, желание написать что-нибудь по-пушкински, что-нибудь прекрасное, свободное, стройное, желание, проистекавшее от любви, от чувства родства к нему, от тех светлых (пушкинских

каких-то) настроений, что бог порою давал в жизни. Вот, например, прекрасный весенний день, а мы под Неаполем, на гробнице Вергилия, и почему-то я вспоминаю Пушкина, душа полна его веянием — и я пишу:

Дикий лавр, и плющ, и розы <...>

А вот другая весна, и опять счастливые, прекрасные дни, а мы странствуем по Сицилии... При чем тут Пушкин? Однако я живо помню, что в какой-то именно связи с ним, с Пушкиным, написал я:

*Монастыри в предгориях глухих
<...>*

А вот Помпея, и опять почему-то со мной он, и я пишу в воспоминание не только о Помпее, но как-то и о нем:

*Помпея! Сколько раз я проходил
<...>*

А вот лето в псковских лесах, и присутствие Пушкина не оставляет меня ни днем, ни ночью, и я пишу стихи с утра до ночи, с таким чувством, точно все написанное я смиренно слагаю к его стопам, в страхе своей

недостойности и перед ним, и перед всем тем, что породило нас:

Вдали темно и чащи строги <...>

А вот изумительно чудесный летний день дома, в орловской усадьбе. Помню так, точно это было вчера. Весь день пишу стихи. После завтрака перечитываю «Повести Белкина» и так волнуюсь от их прелести и желания тотчас же написать что-нибудь старинное, пушкинских времен, что не могу больше читать. Бросаю книгу, прыгаю в окно, в сад и долго, долго лежу в траве, в страхе и радости ожидая того, что должно выйти из той напряженной, беспорядочной, нелепой и восторженной работы, которой полно сердце и воображение, и чувствуя бесконечное счастье от принадлежности всего моего существа к этому летнему деревенскому дню, к этому саду, ко всему этому родному миру моих отцов и дедов и всех их далеких дней, пушкинских дней... Вышли стихи: «Дедушка в молодости»:

Вот этот дом, сто лет тому назад <...>

«Каково было вообще его воздействие на

вас?» Да как же это учесть, как рассказать? Когда он вошел в меня, когда я узнал и полюбил его? Но когда вошла в меня Россия? Когда я узнал и полюбил ее небо, воздух, солнце, родных, близких? Ведь он со мной — и так *особенно* — с самого начала моей жизни. Имя его я слышал с младенчества, узнал его не от учителя, не в школе: в той среде, из которой я вышел, тогда говорили о нем, повторяли его стихи постоянно. Говорили и у нас, — отец, мать, братья. И вот одно из самых ранних моих воспоминаний: медлительное, по-старинному несколько манерное, томное и ласковое чтение матушки: «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том...», «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной...» В необыкновенном обожании Пушкина прошла вся ее молодость, — ее и ее сверстниц. Они тайком переписывали в свои заветные тетрадки «Руслана и Людмилу», и она читала мне наизусть целые страницы оттуда, а ее самое звали Людмилой (Людмилой Александровной), и я смешивал ее, молодую, — то есть воображаемую молодую, — с Людмилой из Пушкина. Ничего для моих детских, отро-

ческих мечтаний не могло быть прекрасней, поэтичней ее молодости и того мира, где росла она, где в усадьбах было столько чудесных альбомов с пушкинскими стихами, и как же было не обожать и мне Пушкина и обожать не просто, как поэта, а как бы еще и своего, нашего?

— «Вчера за чашей пуншевою с гусаром я сидел...» — с ласковой и грустной улыбкой читала она, и я спрашивал:

— С каким гусаром, мама? Дядя Иван Александрович тоже был гусар?

— «Цветок засохший, безуханный, забытый в книге вижу я...» — читала она, и опять это чаровало меня *вдвойне*: ведь я видел такой же цветок и в альбоме бабушки Анны Ивановны...

А потом — первые блаженные дни юности, первые любовные и поэтические мечты, первые сознательные восторги от чтения тех очаровательных томиков, которые я брал ведь не из «публичной библиотеки», а из дедовских шкапов и среди которых надо всем царили — «Сочинения А. Пушкина». И вся моя молодость прошла с ним. И то он рождал

во мне те или иные чувства, то я неизменно сопровождал рождавшиеся во мне чувства его стихами, больше всего его. Вот я радостно просыпаюсь в морозный день, и как же мне не повторить его стихов, когда в них как раз то, что я вижу: «Мороз и солнце, день чудесный...» Вот я собираюсь на охоту — «и встречаю слугу, несущего мне утром чашку чаю, вопросами: утихла ли метель?». Вот зимний вечер, вьюга — и разве «буря мглою небо кроет» звучит для меня так, как это звучало, например, для какого-нибудь Брюсова, росшего на Трубе в Москве? Вот я сижу в весенние сумерки у раскрытого окна темной гостиной, и опять он со мной, выражает мою мечту, мою мольбу: «О, Делия драгая, спеши, моя краса, звезда любви золотая взошла на небеса...» Вот уже совсем темно, и на весь сад томится и цокает соловей, а он спрашивает: «Слыхали ль вы за рощей в чае ночной певца любви, певца своей печали?» Вот я в постели, и горит «близ ложа моего печальная свеча», — а не электрическая лампочка, — и опять его словами изливаю я свою выдуманную юношескую любовь: «Морфей, до утра дай отраду моей му-

чительной любви!» А наутро чудесный майский день, и весь я переполнен безотчетной радостью жизни, лежу в роще, в пятнах солнечного света, под сладкое пенье птиц, — и читаю строки, как будто для меня и именно обо мне написанные:

*В роще сумрачной, тенистой,
Где, журча в траве душистой,
Светлый бродит ручеек...*

А там опять «роняет лес багряный свой убор и страждут озими от бешеной забавы» — от той самой забавы, которой с такой страстью предаюсь и я. А вот осенняя, величаво-печальная осенняя ночь и тихо восходит из-за нашего старого сада большая, красновато-мглистая луна: «Как привидение, за рощею сосновой луна туманная взошла», — говорю я его словами, страстно мечтая о той, которая где-то там, в иной, далекой стране, идет в этот час «к берегам, потопленным шумящими волнами» — и как я могу определить теперь: бог посылал мне мою тогдашнюю муку по какому-то прекрасному и печальному женскому образу или он, Пушкин?

А потом первые поездки на Кавказ, в Крым, где он — или я? — «среди зеленых волн, лобзающих Тавриду», видел Нереиду на утренней заре, видел «деву на скале, в одежде белой над волнами, когда, бушующая, в бурной мгле, играло море с берегами» — и незабвенные воспоминания о том, как когда-то и *мой* конь бежал «в горах, дорогою прибрежной», в тот «безмятежный» утренний час, когда «все чувство путника манит» —

*И зеленеющая влага
Пред ним и плещет и шумит
Вокруг утесов Аю-Дага...*

<1926>

Публицистика — дневники — критика

Мемуарно-философская и литературно-критическая публицистика, а также дневники Бунина являются продолжением его художественной прозы.

Именно к сфере художественной прозы — только особого рода — следует отнести книгу «Освобождение Толстого», это необыкновенное произведение о великом писателе и мыслителе, сплав воспоминаний, философских исканий, художественных наблюдений, не имеющее аналогов в мировой толстовиане, с его строгой, можно сказать, музыкальной композицией, которое развивает идеи, знакомые нам по путевым поэмам «Тень Птицы» (см. т. 3 наст. собр. соч.) или по рассказам «Темир-Аксак-Хан», «Ночь», «Город Царя Царей» (см. т. 4 наст. собр. соч.). Как высокая художественная проза (при всей утрированности многих бунинских характеристик) воспринимается и книга «Воспоминания». В ней проявляется величайший изобразительный дар Бу-

нина — мастера словесного портрета, под пером которого оживают люди с их неповторимой индивидуальностью, особенностями характера и психологии, с их жестами, мимикой, лепкой лица, мельчайшими подробностями, ускользающими от «обычного» взгляда (в уловлении которых и заключается знаменитое «чуть-чуть» подлинного искусства, о чем сказал некогда Л. Н. Толстой). Совершенно особое и уникальное значение имеют дневники Бунина, публикуемые на его родине впервые. Он вел их в течение своей долгой жизни (многие записи были, к сожалению, утрачены, другие, например дневники второй половины 20-х годов, уничтожены им самим) и именно в этом жанре видел будущее литературы. 23 февраля 1916 года Бунин записал: «...дневник одна из самых прекрасных литературных форм. Думаю, что в недалеком будущем эта форма вытеснит все прочие». Закрытый, можно даже сказать, всю жизнь одинокий, редко и трудно допускавший кого-либо в свое «святая святых» — внутренний мир, Бунин в дневниках с предельной искренностью и исповедальной силой раскры-

вает свое «я» как человек и художник; доверяет дневникам самые заветные, заповедные мысли и переживания. Он выражает в них свою преданность творчеству, выявляет высочайшую степень своей слиянности с природой, до боли чувствуя ее, ее красоту, увядание, возрождение, говорит о муках искусства, о предназначении человека, тайне его жизни, выражает собственное страстное жизнелюбие и протест против неизбежности смерти. Это и замечательный, с контрастными светотенями, автопортрет, и «философский камень», погружающий читателя в глубины творчества, и свидетельства зоркого пристрастного очевидца исторических событий (переданных в резко субъективных тонах) на протяжении почти семи десятилетий, и целая стройная эстетическая программа.

Дневники дают нам — с невозможной ранее полнотой и достоверностью — полученное «из первых рук» представление о цельном мироощущении Бунина, доносят некий непрерывный, слитый воедино «восторг и ужас бытия», наполненного для него постоянными «думами об уходящей жизни» (запись

от 21 августа 1914 года). Его возмущает отношение к жизни и смерти на уровне спасительного эгоистического инстинкта, которым в большинстве своем довольствуется, в своих трудах и днях человек, его «тупое отношение» к смерти. «А ведь кто не ценит жизни, — пишет он там же, — животное, грош ему цена». Очень многие записи, по сути своей, — отдельные и законченные художественные произведения, со своим сюжетом, композицией и глубочайшим внутренним смысловым наполнением, в непривычной для литературы, крайне обнаженной форме. Например, запись от 27 июля 1917 года. Она открывается опорной фразой: «Счастливый прекрасный день». Кажется, именно об этом — о счастье, о красоте бытия и пойдет речь. Но то лишь вступительный мажорный аккорд. Вся же запись — словно небольшое симфоническое произведение, как и полагается этому жанру, трехчастное. Лирическая, спокойная — *первая часть* (adaĵio), — умиротворяющий, простой старинный быт, смирение с неизбежностью ухода из жизни, подобно сонму предшествующих, ставших «только смутными образами,

только моим воображением», которые, однако, «всегда со мною, близки и дороги, всегда волнуют меня очарованием прошлого». Затем картины роскошной летней природы, радостный и яркий солнечный свет, густота сада, отдаленные крики петухов, — все, что заставляет Бунина еще острее ощутить краткость и бедность человеческой жизни вообще (лейтмотив всех дневниковых записей). Слышна *песенка девочки* — трогательной в своей малости кухаркиной дочки, которая «все бродит под моими окнами в надежде найти что-нибудь, дающее непонятную, но великую радость ее бедному существованию в этом никому из нас непонятном, а все-таки очаровательном земном мире: какой-нибудь пузырек, спичечную коробку с картинкой». Эта, *вторая часть*, идет весело, оживленно (*alegretto, leggero*), хотя уже подступают мерно торжественные звуки вечности — все проходит: «Я слушаю эту песенку, а думаю о том, как вырастет эта девочка и узнает в свой срок все то, что когда-то и у меня было, — молодость, любовь, надежды». И вдруг мрачно, торжественно-тяжело (*maestoso, grave*) — пе-

реход к Тиверии, жестокому и страшному тирану, Цезарю («Почему о Тиверии? Очень странно, но мы невольны в своих думах»). Какой перелет воображения! Тиверий близок и понятен Бунину, как вот эта бедная девочка, ибо жил он, «в сущности, очень недавно, — назад всего сорок моих жизней, — и очень, очень немногим отличался от меня...» Под окном бродит, напевая, кухаркина дочь, а Бунин пишет: «Вижу, как сидит он в легкой белой одежде, с крупными голыми ногами в зеленоватой шерсти, высокий, рыжий, только что выбритый, и щурится, глядя на блестящий под солнцем, — горячий мозаичный пол атрия, на котором лежит, дремлет и порой встряхивает головой, сгоняя с острых ушей мух, его любимая собака...» Вступает *третья часть*, тема человеческой истории, далекого, и вдруг очень близкого прошлого. Тема эта, тема Тиверия, жила в Бунине, кстати, еще тридцать лет, пока в рассказе «Возвращаясь в Рим...» он не поставил точку: «Перед смертью-он отправился в Рим. По пути остановился в Тускулуме, — испугался: любимая змея, которую он всегда возил с собою, была съеде-

на муравьями... Цезарь очнулся, спросил косноязычно: „Где перстень?“ Калигула трясся от страха. Макрон, бросил на лицо Цезаря одеяло и быстро задушил его». Но это будет написано в лапидарной пушкинской стилистике, в 1936 году, а в дневниковой записи Бунин от Тиверия вновь возвращается к тому, с чего он начал: красота летней природы. — перед дождем; начало ливня; дождь до утра, внезапно напомнивший «детство, свежесть и радость первых дней жизни». Это выглядит умиротворяющим эпилогом, несущим пусть временное, но забвение жгущих мыслей о происходящем *там*, в Петрограде семнадцатого года, да и по всей вздыбленной России, которую очень скоро один советский. писатель, уже с другого берега огненной реки, назовет: «Россия, кровью умытая». И подчеркнуто холодная концовка: «Опять прошел день. Как быстро и как опять бесплодно!» Скрытая сюжетная пружина сжимает начало и конец — два полюса: счастливо, прекрасно — и без-возвратно утеряно, бесплодно. Разве не законченное произведение? Но что перед нами? Рассказ? Нет, нечто большее, объяввшее мно-

гое, что рассказу недоступно уже в силу условности сложившейся литературной формы (вспомним, как резко протестует).

Бунин против этой условности, например, в этюде-размышлении 1924 года «Книга»), и нашедшее неожиданные смелые связи. Свобода переходов, доступная, пожалуй, только сновидению, но, в отличие от него, несущая генеральную, скрепляющую идею. — Тут и стихотворения в прозе, и философские ламентации, и неожиданно вписывающаяся в контекст грозного времени тень тирана Тиверия, и песенка маленькой девочки, — все вместе. А ведь меньше трех страничек машинописного текста! Что касается пейзажных картин в дневниках, то они подчас не уступают в изобразительной силе лучшим бунинским рассказам. Только, пожалуй, еще более. настойчиво, чем в «чистой» прозе, проводится (на протяжении десятилетий!) контраст между величием и красотой природы и убожеством, грязью, нищетой, жестокостью, даже дикостью деревенского человека, глубоко прячущего и стесняющегося своих добрых чувств как чего-то потаенного, запретного. Навестив 108-

летнего Таганка, живущего в богатой крестьянской семье, Бунин с горечью отмечает: «И чего тут выдумывать рассказы — достаточно написать хоть одну нашу прогулку». И вправду, «невыдуманное» страшнее написанного. В выросшем из этой «прогулки» прекрасном рассказе «Древний человек» (законченном уже через три дня — 8 июля 1911 года) трагизм все-таки смягчен «формой» — пространными диалогами, художественными подробностями, тюканьем сверчка, появлением «дымчатой кошки» («сбежала на землю — и стала невидима»). Здесь же, в дневнике, ничто не отвлекает от главного, все обнажено до степени телеграфной строки, извещающей о человеческой беде: сам Таганок — «милый, трогательный, детски простой» и — «Ему не дают есть, не дают чаю — „ничтожности жалеют“...». В прекрасном мире, на прекрасной земле живут доведенные или доведшие себя до отчаянного положения люди — Лопата, оголтело пропивающий землю и мельницу, себя; отец бессмысленно убитого Ваньки Цыпляева («Шея клетчатая, пробковая. Рот — спеченная дыра, ноздри тоже, в углах глаз бе-

лый гной») или тот мальчишка-идиот у Рогулина, который бьет конфоркой от самовара об стену «и с радостно-жуткой улыбкой к уху ее». И тут же: «Бор от дождя стал лохматый, мох на соснах разбух, местами висит, как волосы, местами бледно-зеленый, местами коралловый. К верхушкам сосны краснеют, стволами, — точно озаренные предвечерним солнцем (которого на самом деле нет). Молодые сосенки прелестного болотно-зеленого цвета, а самые маленькие — точно паникадила в кисее с блестками (капля дождя). Бронзовые, спаленные солнцем веточки на земле. Калина. Фиолетовый вереск. Черная ольха. Туманно-сизые ягоды на можжевельнике». И вот еще одно, и немаловажное, значение дневников. Оказывается, в них откладывались не только сюжеты, материал, подробности будущих рассказов и повестей, но и выкристаллизовываются, отливаются почти готовые формулы для будущих стихотворных строк. Через одиннадцать дней после этой записи, 23 июля 1912 года, появляется стихотворение «Псковский бор», с его эффектной и уже знакомой нам концовкой:

*И ягоды туманно-сини
На можжевельнике сухом.*

Возвращаясь к одной из главных тем дневников Бунина — теме смысла жизни перед неизбежным приходом смерти, следует сказать, что русский человек, русский крестьянин воспринимается им, однако, не просто через «тупое отношение» к тайнам бытия (см. такие рассказы, как «Худая трава», «Веселый двор»). Все было, конечно, гораздо сложнее и достойнее огромного бунинского таланта. Как отмечал один из зарубежных исследователей, «Бунин неоднократно, с какой-то нарочитой настойчивостью обращается к теме смерти в применении к русскому простому православному человеку — и останавливается перед ней в недоумении. Это как бы двузначное недоумение. Он останавливается перед общечеловеческой тайной смерти, не смея в нее проникнуть — но одновременно перед ним встает и другая тайна: тайна отношения к смерти русского человека. Что это — величие, недоступное его, писателя, пониманию, или это варварство, дикость, язычество?» Ответа на этот вопрос Бунин, кажется, так и не нахо-

дит. Впрочем, вероятно, рационального, логического ответа и не может быть найдено. Однако жалкость человеческого прозябания вообще, несправедливость такой жизни, которая просто недостойна породившей ее природы, неотступно волнует его. Отсюда мысль его распространяется дальше и выше, достигая размахов диалога со Вселенной, Космосом, в трагическом, неразрешимом противоречии между вечной красотой земного мира и краткостью «гощения» в этом мире человека. Из одиноких, горестных и с годами, в изгнании, все обостряющихся размышлений, доверяемых дневникам, это прорывается в творчество, прорастает в такие шедевры, как, например, пронзительно исповедальный рассказ «Мистраль». Дневники — и это главное — дают нам как бы «нового» Бунина — укрупняют личность художника. В то же время Дневники органично, как часть в целое, входят в корпус других автобиографических и публицистических материалов.

Собранные все вместе, в одном томе, автобиографические материалы, дневники, воспоминания, литературная критика объясняют

нам многое как в творчестве, так и в личности Бунина и одновременно дают широкую панораму литературной жизни начала века. Они красноречиво свидетельствуют о необычайной цельности, последовательности личности Бунина, упорно, если не сказать — упрямо, выражавшей себя, те излюбленные идеи, которым писатель не изменил за свою долгую жизнь.

Как критик Бунин впервые выступил в 1888 году (статья «Поэт-самоучка» (по поводу стихотворений Е. И. Назарова) и «Недостатки современной поэзии» — в № 24 и 28 журнала «Родина»), и от этих юношеских опытов — к выступлениям середины 900-х годов, а затем к эмигрантской публицистике — прямая магистраль. Понятно, исход за рубеж, резкая перемена обстановки, неприятие новой России — все это сказалось раньше и сильнее всего как раз на общественно-литературных оценках Бунина, ожесточило его перо, привнесло особенную, демонстративную страстность в подходе к современности и к истории. Однако почти в каждом случае это была преувеличенно выраженная или просто

очищенная прежняя тенденция. И если «отжать» прямолинейные выпады Бунина-эмигранта против рабоче-крестьянского государства и советской культуры, то и в основе его позднейших мемуарно-критических работы обнаружим изначальные его принципы, те же, что и прежде, требования к литературе, сохраняющие свое значение и по сей час. На протяжении всей жизни Бунина они, конечно, не оставались тождественными себе, приобретали новые оттенки и даже акценты, но в главном с удивительным постоянством были себе верны в безоговорочной поддержке здорового, реалистического искусства; в выявлении его ценности в соотношении с великанами русской литературы XIX века — А. С. Пушкиным или Л. Н. Толстым; в непрекращающейся борьбе с декадансом и модернизмом, включая, правда, в общие скобки и болезненные явления, и та действительно новое, что Бунин, с его цельностью мышления, не мог принять (скажем, творчество А. Блока или В. Маяковского).

Юность Бунина, формирование его личности, прошедшей на Орловщине, в нищающей

усадыбе, отмечены известной двойственностью тяготений — сословно-дворянских и простонародно-демократических. Показателен уже самый перечень статей молодого Бунина: «Талант, выброшенный на улицу. По поводу самоубийства Н. В. Успенского». (1889), «К будущей биографии Н. В. Успенского» (1890), «Памяти Т. Г. Шевченко» (1891), «Памяти сильного человека (По поводу 70-летней годовщины со дня рождения. И. С. Никитина)» (1894) и т. д. Он ищет объяснения подлинности, первичности литературы в близости писателя к национальному «корню»: «Все гениальные ее представители — люди, крепко связанные с своею почвой, с своею землею» («Памяти сильного человека»).

Однако наиболее глубинным и мощным было воздействие на Бунина, на его «жизненный состав» иных имен и иных книг. Уже в пору отрочества возымел он непреклонное желание стать не кем-нибудь, а «вторым Пушкиным и Лермонтовым». И перед своей кончиной, как вспоминала В. Н. Муромцева-Бунина, «очень мучился смертями Пушкина и Лермонтова и бесконечно говорил об

этом»[64]. Бунин всю жизнь чувствовал в себе как бы особое «право» на них. В эмиграции, в далеком от России Грассе, с юношеской горячностью восклицал: «Это я должен был бы написать „роман“ о Пушкине! Разве кто-нибудь другой может так почувствовать? Вот это, наше, мое, родное, вот это, когда Александр Сергеевич, рыжеватый, быстрый, соскакивает с коня, на котором он ездил к Смирновым или к Вульффу, входит в сени, где спит на ларе какой-нибудь Сенька и где такая вонь, что вздохнуть трудно, проходит в свою комнату, распахивает окно, за которым золотистая луна среди облаков, и сразу переходит в какое-нибудь испанское настроение... Но ведь этим надо жить, родиться в этом!»[65] Пушкин (как и позднее Лев Толстой) — для него часть России, живая и от нее неотделимая. Отвечая на вопрос, каково было воздействие на него Пушкина, Бунин размышлял: «Когда он вошел в меня, когда я узнал и полюбил его? Но когда вошла в меня Россия? Когда, я узнал и полюбил ее небо, воздух, солнце, родных, близких? Ведь он со мной — и так особенно — с самого начала моей жизни» («Ду-

мая о Пушкине»). Происходит возвращение к национальным истокам, русскому «корню», только безмерно обогащенное духовностью, огромной культурой, какую вобрали в себя великие художники XIX века. И когда, позднее, в автобиографических заметках, Бунин не без гордости заявляет: «Все предки мои были связаны с народом и с землей...» — он почти дословно повторяет слова своей юношеской статьи о «сильном человеке» И. С. Никитине.

Сам Бунин, восхищавшийся в молодости писателями-самоучками, просвещенными «без наук природою» (поразившая его безграмотная надпись на могиле А. В. Кольцова в Воронеже), не был похож на них. (Правда, его возможности были резко ограничены скудными впечатлениями детства и юности, на что он всю жизнь сетовал, например, в дневниковой записи от 26 мая 1909 года в беседе с племянником Н. А. Пушешниковым: «Говорили о том, как бедно было наше детство — ни музыки, ни знакомых, ни путешествий...») Однако его устремленность к знаниям, к новым духовным горизонтам имела не прямую,

утилитарную направленность, а особую, не сразу обнаружившую себя цель. Как и бунинское творчество, она несла попытку осмыслить «вечные», первородные проблемы, назначение человека, несла поиски гармонического бытия. Кажется, что искания эти оставили свой чекан на всем, к чему бы ни прикасался Бунин, определили самый ритм, строй его жизни. Он, дворянин с многовековой родословной, любивший вспоминать, что делали его предки в XVIII, а что — в XVII столетии, — вечный странник, не имеющий своего угла. Как ушел из родного дома девятнадцати лет, так и мыкал «гостем» всю жизнь: то в Орле, то в Харькове у брата Юлия, то в Полтаве среди толстовцев, то в Москве и Петербурге — по гостиницам, то близ Чехова в Ялте, то у брата Евгения в Васильевском, то у Федорова в Одессе, то на Капри с Горьким, то в длительных, месяцами продолжавшихся путешествиях по белу свету (особенно влекомый к истокам древних цивилизаций или даже на мифическую прародину человечества), наконец, в эмиграции, с ее уже «узаконенной бездомностью», с уже повторяющимся трагическим

рефреном: «Ах, если бы перестать странствовать с квартиры на квартиру! Когда всю жизнь ведешь так, как я, особенно чувствуешь эту жизнь, это земное существование как временное пребывание на какой-то узловой станции!» (запись в дневнике от 9 сентября 1924 года). А как много и упорно искал Бунин ответа на мучившие его мысли — в крестьянском труде и быту вослед брату Евгению; в попытке опрощения у толстовцев; среди народников под влиянием Ю. А. Бунина — «и все в радикальных кружках» (по собственному признанию); позднее — в философии Л. Н. Толстого, в буддизме и, конечно, в христианском учении.

Для Бунина характерно раннее самоопределение, выбор пути, устойчивый круг интересов, но его взгляды как некая цельная система сложились окончательно лишь где-то в середине десятых годов, после «Деревни», «Суходола», путевых поэм «Тень Птицы». Собственной философской системы он не создал. Однако, отличаясь от многих современников, собратьев по перу (беззаботных по части «умствования»), тяготением к загадкам бытия,

Бунин порой обнаруживал поразительные по оригинальности и глубине мысли прозрения. При этом он не обладал абстрагирующей, «генерализующей» способностью мысли, нуждался постоянно в путеводном, идущем извне обобщении (и не потому ли так много искал и отвергал учителей?). Пожалуй, лишь Л. Н. Толстой на протяжении всей сознательной жизни Бунина оставался для него создателем абсолютных ценностей — в сфере искусства и мысли.

«Мечтать о счастье видеть его я начал очень рано» — эта тональность восхищения определяет бунинские размышления о Толстом. Тут соединилось все: и непогрешимый авторитет Толстого-художника, и его «учение», подвигнувшее юношу Бунина на попытку «опроститься», и близость к народу, «корню», и нравственная высота, и его происхождение, и, конечно, философия, взгляды на назначение человека, на жизнь и на смерть. В семье он с детства слышал о Толстом: всемирно известный писатель и — земляк, «сосед», да еще и знакомый Буниных (с ним встречался отец во время обороны Севастополя). Тол-

стой так занимал воображение мальчика, что однажды он «закатился» верхом в сторону Ясной Поляны, до которой было около сотни верст. Отзывы юного Бунина о толстовском творчестве выдержаны в восторженном тоне: «Великое мастерство! Просто благоговение какое-то чувствую к Толстому!»[66] Пережив увлечение утопическими идеями опрощения, переболев толстовством, Бунин с годами все больше осознавал, что значил Толстой для России, ее литературы, ее духовного движения. Подобно Чехову, подобно Блоку, он видит залог успешного преодоления русской культурой всех трудностей и нездоровых уклонений в самом факте, что вот где-то рядом живет Толстой, при котором не может быть совершенно непоправимых ошибок. Кончину его Бунин воспринял как величайшее личное несчастье и как утрату, последствия которой скажутся на всей общественной жизни страны. «Хотел наутро ответить Вам, — писал он М. Горькому 13 ноября 1910 года, — но утром профессор Гусаков, у которого мы с Верой гостим, вошел и сказал (о Толстом): „Конец“. И несколько дней прошло для меня в бо-

лезненном сне. Беря в руки газету, ничего не видел от слез»[67]. Смерть Толстого, очевидно, заставила Бунина с особенной остротой ощутить всю громадность его духовного наследия. И чем дальше, тем глубже и значительнее было воздействие на него Толстого, толстовских эстетических и нравственно-религиозных принципов. Это было отмечено критикой. Уже в сборнике «Чаша жизни» (1915), по словам Ф. Д. Батюшкова, разобравшего рассказы «Весенний вечер» и «Братья», Бунин «подошел к философии Толстого»... «Страшись идти вразрез с велениями совести... Думай о тайнах жизни и смерти, ощущай страх перед величием неведомого, стремись проникнуть в эти тайны. Бунин все более утверждает на пути стать не только наблюдателем жизни, но и мыслителем о жизни...»[68] Еще более определенно о влиянии Толстого на Бунина говорилось в критике после появления «Господина из Сан-Франциско». А. Дерман, в частности, обратил внимание на то, что в рассказе «проявилось сходство взглядов на смысл жизни перед лицом неминуемой смерти человека. Художник недвусмысленно

намекает на то, что необходимо помнить прежде всего про неизбежность конца и затем сообщать своей жизни тот смысл, который не может быть смертью уничтожен... Силой Толстого и нравственным смыслом его художественных творений веет... от замечательного рассказа Бунина»[69].

Как видно, — перед нами не просто пример влияния великого писателя на своего младшего современника, не одна близость чисто художественных приемов изображения. Для Бунина Толстой — один из немногих во всей истории человечества, кто задумался над тем, над чем большинство людей не умеет или не успевает подумать: над смыслом жизни. И не просто «задумался», а подчинил выношенным философско-нравственным идеям все свое существование, встав, по мысли Бунина, в ряду пророков, святых, мудрецов: «Во всем и всегда удивительный, удивителен он был и той настойчивостью, с которой он начал говорить „об этом“ с самых ранних лет, а впоследствии говорил с той одержимостью однообразия, которую можно видеть или в житиях святых, или в историях ду-

шевнобольных... Однообразие, с которым говорил Толстой одно и то же во всех своих последних писаниях и записях, подобно тому однообразию, которое свойственно древним священным книгам Индии, книгам иудейских пророков, поучениям Будды, сурам Корана...» («Освобождение Толстого»).

Сам Бунин не имел в себе такой силы — силы пророка, был гораздо более «обычным» и, мучаясь загадками бытия, стремился решать их в сфере «слова», а не «дела». Его духовный мир не ведал той остроты, какая трагически, до последнего ухода из дома, сопровождала всю жизнь Толстого. С очевидной, излишней резкостью на это указал Б. К. Зайцев автору этих строк в своем письме от 17 апреля 1959 года: «Настаивая на связи Бунина с Толстым, Вы правы, связь есть, конечно, даже в самом складе описания, но есть и огромная разница, о которой Вы не упоминаете: духовный мир — совесть, человеколюбие, сочувствие обездоленным, сострадание, чувство греха и ответственности перед Богом — этого у Бунина почти нет, а у Толстого, в его душе, как раз и занимало громадное место <...>. Потому Тол-

стого и раздражали бунинские „дождики“» [70]. Бунин сознавал эту дистанцию, о чем, в частности, свидетельствуют его слова, сказанные Г. Кузнецовой: «От Будды перешли к жизни вообще и к тому, нужно ли вообще жить и из каких существ состоит человек. И<ван> А<лексеевич> говорил, что дивное уже в том, что человек знает, что он не знает... и что мысли эти в нем давно и что жаль ему, что он не положил всю свою жизнь „на костер труда“, а отдал ее дьяволу жизненного соблазна. „Если бы я сделал так — я был бы одним из тех, имя которых помнят“. Но... Ананде было сказано Буддой: „Истинно, истинно говорю тебе, ты еще много раз отречешься от меня в эту ночь земных рождений...“» [71] Подвиг Толстого, по Бунину, как раз и состоит в преодолении себя, в обретении полной внутренней свободы, в «освобождении», позволившем встать вровень с великими мудрецами и проповедниками.

О Толстом Бунин принимался писать не раз. Однако только в 1937 году, в Париже, им была выпущена книга, обобщившая размышления многих лет. «Освобождение Толстого»

не свод воспоминаний. Собственные немногочисленные впечатления, равно как и обильно приводимые свидетельства Софьи Андреевны и ее детей, московской знакомой Толстых Лопатиной, друзей писателя — А. Б. Гольденвейзера, доктора Д. П. Маковицкого, секретаря Н. Н. Гусева и т. д. — приводятся им для подтверждения давно выношенной концепции о смысле бытия. Это одновременно и религиозно-моралистический трактат о Толстом, и подведение итогов собственной жизни, и художественное произведение, своего рода реквием, с незаурядной силой выразивший трагедию стареющего на чужбине художника.

Бунина не столь волнует общественное значение творчества Л. Н. Толстого, подвергнутого сокрушительной критике все социальные институты царской России. Он проходит мимо «кричащих противоречий» писателя, которые были вскрыты в известных ленинских статьях. Марксистская точка зрения на Толстого отвергается им мимоходом, бездоказательно и безоговорочно. Мысль Бунина течет в ином — внеисторическом, внесоциаль-

ном — русле, в контексте «общечеловеческом», — даже — космическом, подкрепляемая постулатами индуcской философии, суждениями христианских пророков, записями самого Толстого.

Бунин пытается вывести законы единой человеческой цепи, ничтожно малой частицей которой предстает отдельная личность в мириадах бывших, сущих и будущих людей. Но все ли звенья этой цепи одинаковы в степени осознания себя, своего места, назначения? Каково же происхождение во все времена истории «великих» — художников, мыслителей, пророков?

Во всем — в чертах характера Толстого (в незаурядной смелости, самоуверенности), в лепке лица, с его огромными бровными дугами, оттопыренными ушами и слегка выступающей вперед нижней челюстью, в походке, в долголети и исключительной природной силе, даже в том, как Толстой, здороваясь, «забирает» руку в свою и как он держит перо — «горсточкой», — во всем этом Бунин видит частные проявления «зоологической» личности гения. «Для того же, чтобы быть в числе

таких людей, — считает он, — надо быть особью, прошедшей в цепи своих предков долгий путь многих, многих существований и вдруг явившей в себе особенно полный образ своего дикого пращура со всей свежестью его ощущений, со всей образностью его мышления и с его огромной подсознательностью, а вместе с тем особью, безмерно обогащенной за свой долгий путь и уже с огромной сознательностью».

В этом наблюдении немало автобиографического. Сам Бунин обладал необычайной способностью свежо и остро воспринимать мир, природу, людей. «Нет, мучительно для меня жить на свете! — повторял он. — Все мучает меня своей прелестью!» Или: «Нет, в моей натуре есть гениальное. Я, например, всю жизнь отстранялся от любви к цветам. Чувствовал, что если поддамся, буду мучеником. Ведь я вот просто взгляну на них и уже страдаю: что мне делать с их нежной, прелестной красотой? Что сказать о них? Ничего ведь все равно не выразишь!»[72] Он был от природы прежде всего художником, мучеником словесного искусства, истинно страдал от красок

и запахов, от пейзажей, от промелькнувшего женского лица или встреченного человека «с особинкой» — все тотчас просилось «в рассказ». Слух, обоняние, зрение были у Бунина намного острее, чем у «обычных» людей. И в этой непрестанной жажде «эстетического», художественных впечатлений, в писательском эгоцентризме таилось еще одно отличие Бунина от Толстого.

«Все в нем земное, в некоем смысле языческое, — отмечал, характеризуя Бунина, Б. К. Зайцев. — Мережковский сказал о Толстом: „Тайновидец плоти“ — верно. Бунин Толстого обожал. Ему нравилась даже форма лба его. „Ты подумай, ведь как у зверя дуги надбровные...“ В юности, как это ни странно, Иван был даже одно время „толстовцем“ (о чем сам написал). С годами это ушло, преклонение же перед Толстым, толстовской зоркостью, изобразительностью осталось.

У самого Ивана внешней изобразительности чуть ли не больше, чем у Толстого. Почти звериный глаз, нюх, осязание. Не хочу сказать, что был для него закрыт высший мир — чувство Бога, вселенной, любви, смерти — он

это все тоже чувствовал, особенно в расцветную свою полосу, и чувствовал с неким азиатско-буддийским оттенком... В общем же „тайновидец плоти“ был ему ближе Будды» [73].

Наблюдение это, сделанное человеком, который на протяжении полувека знал и долгие годы дружил с Буниным, подтверждается и собственными бунинскими признаниями. В дневнике за 9/22[74] января 1922 года читаем: «„Я как-то физически чувствую людей“ (Толстой). Я все физически чувствую. Я настоящего художественного естества. Я всегда мир воспринимал через запахи, краски, свет, ветер, вино, еду — и как остро, боже мой, до чего остро, даже больно!»

Острота эта, эта боль — от яркости ощущений — были во многом следствием пронзительного бунинского жизнелюбия, страстности натуры, его огромного темперамента. «Люди совсем неодинаково чувствительны к смерти, — говорится в романе „Жизнь Арсеньева“. — Есть люди, что весь век живут под ее знаком, с младенчества имеют обостренное чувство смерти (чаще всего в силу столь

же обостренного чувства жизни)... Вот к подобным людям принадлежу и я». И в своей книге о Толстом, прославляя уход, «освобождение Толстого», стремившегося встать над всем, что связывало его с «суетой» жизни, в том числе и с собственной семьей, с «земными» привязанностями, щедро цитируя толстовские слова о смерти — разрешительнице всех противоречий («Хорошо думал о безумии личной жизни — не только личной жизни своей, но и жизни общей, временной»; «Что я? Отчего я?»; «Пора проснуться, то есть умереть» и т. п.), сам Бунин внутренне все-таки не приемлет этого исхода. Все естество его восстает против физического конца.

Следует, очевидно, согласиться с Б. К. Зайцевым, что натуре Бунина присуще было в высокой степени нечто языческое: чувство слиянности с природой, с вещественным, телесным миром и страстный протест против неизбежности смерти, конца «земного» существования, гибели «я». Как отмечает В. Н. Муромцева-Бунина (дневниковая запись от 9 марта 1939 года), «он верит в божественное начало в нас, а Бога вне нас не признает еще».

Тот же Б. К. Зайцев рассказывает: «Средиземное море! Море Улисса — но мы об Улиссе не думаем. Иван не купается. Просто сидит на берегу, у самой воды, любит море это и солнечный свет. Набегает, набегает волна, мягкими пузырьками рассыпается у его ног — он босой теперь. Ноги маленькие, отличные. Вообще тело почти юношеское. Засучивает совсем рукава рубашки.

— Вот она, рука. Видишь? Кожа чистая, никаких жил. А сгниет, братец ты мой, сгниет... Ничего не поделаешь.

И на руку свою смотрит с сожалением. Тоска во взоре. Жалко ему, но покорности нет. Не в его характере. Хватает камешек, запускает в море — ловко скользит галька эта по поверхности, но пущена протестующе. Ответ кому-то. „Не могу принять, что прахом стану, не могу! Не вмещаю“. Он и действительно не принимал изнутри: головой знал, что с рукой этой будет, душой же не принимал».[75] Здесь скрытое богоборчество его, языческая стихия. Он и у Толстого внутренне (не рассудком, сердцем) принимал нечто себе близкое. Записал в дневнике 6 марта 1941 года: «Опять ду-

мал, посидев минут пять в саду и слушая какую-то весеннюю птичку, что иного представления о Боге, кроме толстовского (его последних лет), не выдумаешь. Божественность этой птички, ее песенки, ума, чувств». Но где здесь Толстой «последних лет»? Это, конечно, скорее Толстой «Казачков», Оленина, Ерошки или уж «полуденный» — «Войны и мира», в расцвете художественного гения.

Конечно, и у позднего Толстого, среди аскезы и борьбы с «греховностью» бытия, было немало мощных прорывов к восхищению красотой земной жизни. Как, например, в записи от 14 июня 1894 года в дневнике: «...смотрел, подходя к Овсянникову, на прелестный солнечный закат <...> Радостно. И подумал: нет, этот мир не шутка, не юдоль испытаний только и перехода в мир лучший, вечный, а это один из вечных миров, который прекрасен, радостен и который мы не только можем, но должны сделать прекраснее, радостнее для живущих с нами и для тех, кто после нас будет жить в нем»[76].

Казалось бы, совершенно «бунинская» запись. Но нет, есть одна принципиально важ-

ная черта, разделяющая двух мыслителей. Толстой не просто восхищается миром — он хочет его улучшить, чтобы оставить тем, кто будет жить после нас («строителем мира» назвал его Стефан Цвейг). А Бунин? Восхищение красотой жизни! Оно, кажется, не покидало Бунина никогда. «Лежал, читал, потом посмотрел на Эстерель, на его хребты в солнечной дымке... Боже мой, ведь буквально, буквально было все это и при римлянах! Для этого Эстереля и еще тысячу лет ровно ничего, а для меня еще год долой со счета — истинный ужас». И далее — главное для Бунина: «И чувство это еще ужаснее от того, что я так бесконечно счастлив, что Бог дал мне жить среди этой красоты. Кто же знает, не последнее ли это мое лето-не только здесь, но и вообще на земле!» Бунин — художник, преображающий жизнь в слове и замороженно следящий за неизбежным, роковым ходом времени; Толстой же еще — и великий подвижник и проповедник переустройства жизни.

Осознавая жизнь Толстого как великий подвиг, где главным было расширение личности, отказ от эгоистического существования,

все усиливающаяся способность откликаться на людские несчастья, социальные и вечные, Бунин и создает свою книгу «Освобождение Толстого». В его восприятии фигура Толстого столь громадна, что сопоставима лишь с мифическими создателями религий, подчинивших себе миллионные массы — с Буддой и Христом.

В литературной жизни имя это оставалось для Бунина прежде — всего той высшей ценностью, которая позволяет безошибочно определить, как согласуется с заветами Толстого «новое искусство», а следовательно, чего оно стоит. Свое программное выступление на юбилее газеты «Русские ведомости» в октябре 1913 года он начинает и заканчивает ссылками на Толстого, на его оценки и прогнозы. Через, полтора десятилетия, в споре с поэтом Г. Адамовичем, заявившим, что традиционные реалистические средства и способы изображения устарели, Бунин решительно возражал: «Пора бросить идти по следам Толстого? А по чьим же следам надо идти?.. Кроме того: неужто уж так беден Толстой и на счет этого самого мира внутреннего?» («На

поучение молодым писателям»), По воспоминаниям современников, единственным человеком, перед которым он благоговел, был Лев Толстой; даже любимый им Чехов вызывал иные чувства. — нежность и «нечто вроде соперничества в хорошем смысле этого слова» [77].

Оно и понятно. Чехов для Бунина не только последний классик, но и первый писатель «нового» времени, у которого можно многим восхищаться, но что-то очень существенное (скажем, театр) и не принимать. Толстой же никакой критике не подлежал. Высоко оценивая несравненный художественный талант Чехова, Бунин в короткую пору 1899–1904 годов сближается с ним, навсегда подпадает под обаяние его личности и его творчества. Та очень важная роль, какую сыграли в бунинской жизни дружественные отношения с Чеховым, объясняется разнообразными причинами. Не последним здесь было то, что Чехов, крупнейший после Толстого художник-реалист, увидел в Бунине нечто такое, чего (за исключением, быть может, М. Горького, да и то с существенными оговорка-

ми) в нем тогда еще никто не почувствовал, — ни критика, ни читатели, — большого писателя. Чехов незадолго до смерти говорил Н. Д. Телешову: «А Бунину передайте, чтобы писал и писал. Из него большой писатель выйдет. Так и скажите ему это от меня. Не забудьте» [78]. Все это было сказано тогда, когда многие литературные авторитеты усматривали не только в А. Андрееве или А. Куприне, но подчас даже в Е. Чирикове и С. Скитальце художников, превосходивших Бунина своим талантом. Болезненно самолюбивый, Бунин в ту пору (когда ему, например, приходилось выслушивать «сочувственные» реплики: «Вам, конечно, очень тяжело здесь среди таких знаменитостей» — «О Чехове») особенно остро ощущал некую литературную несправедливость по отношению к себе, к своему творчеству. Ясно, как много значили для него чеховские отзывы.

Но прочность возникших дружественных отношений объяснялась главным образом близостью взглядов на литературу, общностью литературных оценок и пристрастий, совпадавших у Чехова и Бунина во многом —

вплоть до их обоюдного преклонения перед Толстым и нелюбви к Достоевскому, вплоть до категорического отрицания «нового», декадентского искусства. Проистекала взаимная приязнь обоих писателей и из яркой литературной одаренности каждого, вкуса к слову, любви к наблюдательности и художественному домыслу. Сам Бунин вспоминает: «Выдумывание художественных подробностей и сближало нас, может быть, больше всего» («О Чехове»).

Обычно очень сдержанный, суховатый «на людях», вблизи Чехова Бунин преображался: становился душой компании, был неистощим на выдумки, шутки, раскрывался естественно и непринужденно. Очевидно, самой чеховской натуре были присущи такие черты, которые покорили Бунина, заставили полюбить в Чехове не только писателя, но и человека.

Личность Чехова раскрывается бережно и подробно в мемуарно-публицистической книге Бунина, вышедшей уже посмертно, в 1955 году. Этой книге предшествовал ряд очерков, первый из которых был написан в сентябре 1904 года, вскоре после кончины Чехова. И

уже там ярко запечатлен живой Чехов, «большой и сильный человек». В проницательном бунинском толковании Чехов никак не похож на пессимиста, «певца серых сумерек», каким он представлялся тогдашней критике, это натура жизнерадостная, волевая, обладающая исключительным духовным здоровьем. «Хорошо Вы написали об Ан<тоне> Пав<ловиче> — нежно, как женщина, и мужественно, как друг», — писал Бунину М. Горький, прочитав его мемуарный очерк[79]. Для Бунина много значило то, что он нашел в Чехове, помимо его огромного литературного таланта, удивительное прямодушие, искренность, отсутствие позы, всяческого актерства и игры — то есть того, что с избытком встречалось ему в писательской среде. Размышляя, уже на склоне своих дней, о Чехове, он подытоживал: «Это был человек редкого душевного благородства, воспитанности и изящества в самом лучшем значении этих слов, мягкости и деликатности при необыкновенной искренности и простоте, чуткости и нежности при редкой правдивости» («О Чехове»). Эта естественность во всем и чувство личной свободы

были особенно дороги Бунину, столь чуткому к фальши, позерству, двоедушию и изломанности.

Видя в современной ему литературе лишь коллективное «оглушение и кривляние», Бунин, как и в случае с Л. Н. Толстым, обращался к имени Чехова как к авторитету, способному противостоять декадентскому поветрию. «Часто думалось мне за эти годы: будь жив Чехов, может быть, не дошла бы русская литература до такой пошлости, до такого падения», — писал он в очерке «О Чехове» в 1914 году.[80] Когда газета «Одесские новости» обратилась к ряду писателей с вопросом: «Что наиболее ценного для вас в Чехове?..» — он отвечал: «Да в нем все ценно. Огромная художественная изобразительность, своеобразность — это черта всякого большого художника, благородство простоты, отсутствие литературщины, книжности, чудесная форма, стройность, гармоничность — все это чрезвычайно ценно. Дорог его ясный, необыкновенно яркий и трезвый ум».[81] Однако, восхищаясь чеховским творчеством, его последовательным реализмом, Бунин, настойчиво воз-

ражал против многочисленных в тогдашней критике попыток найти в его собственных произведениях воздействие Чехова, увидеть в нем «одного из многих, замороженных, зачарованных, увлеченных Чеховым»[82]. «Имели на меня, как на писателя, Чехов влияние? — отвечал он на вопрос газеты „Одесские новости“. — Нет. Я был поглощен, восхищен им, но не испытывал желаний: вот бы так именно написать, как написал Чехов. Для меня был богом Л. Толстой»[83].

И в самом деле, трудно встретить художников. более далеких друг другу — кругом изблюбленных тем, характером изобразительности, манерой, стилем, — чем Чехов и Бунин. Само отношение к жизни, понимание трагического, обращение к стихии юмора, мера человечности и трактовка любви — все это обнаруживало резкое несходство, различие двух писателей. Начать с того, что Бунин вообще не принимал у Чехова значительную часть его творчества — пьесы (за исключением «Чайки»). Здесь он следовал за Толстым, не находившим в чеховском театре ни драматургического действия, ни значительного со-

держания. Но даже в прозе Чехова Бунин выделяет те произведения, которые резкостью и «беспоощадностью» реалистических подробностей ближе его методу. Так, характерно, что в составленном им списке «лучших» чеховских произведений не названа «Невеста», но приведены «Архиерей» и «В овраге». Эта цельность, последовательность Бунина (и отсюда же проистекающая парадоксальность взглядов) проявляются во всех оценках литературных явлений.

Обращаясь к писателям-современникам, Бунин как бы соизмеряет их мысленно с Толстым и Чеховым, следствием чего является такая высота требовательности, когда даже о талантливом прозаике-реалисте А. И. Куприне говорится в тонах сочувственно-снисходительных. Столь беспощадная бунинская выскательность не была позднейшим, эмигрантским приобретением, она оттачивалась одновременно с ростом художественных завоеваний Бунина в собственном творчестве. Требуя от искусства глубины жизненного содержания, естественности и простоты, он, не колеблясь, отвергает любые имена, коль скоро в их

произведениях (как ему кажется) серьезная попытка осмыслить мир подменяется игрою в глубокомыслие, следованием моде, формалистическими ухищрениями. Внутренне далекий в 900-е годы и горьковскому «Знанию», и символистскому «Скорпиону», он кажется современникам чопорным и почти старомодным в своей верности классическому реализму, по крайней мере — одиноким. Наезжая в Москву, он регулярно появляется на заседаниях основанного Н. Д. Телешовым литературного содружества «Среда». Сообщая М. Горькому о московских событиях, он, например, пишет: «На „Среде“ я два раза сделал скандал — изругал последними словами Серафимовича, начавшего писать à la Ценский»[84]. (Напомним, что в начале десятых годов С. Сергеев-Ценский усиленно увлекался «модерном».) А вот свидетельство члена «Среды» Б. К. Зайцева: «Бунин именно „стеснял“. И тогда уже была в нем строгость и зоркость художника, острое чувство слова, острая ненависть к излишеству. А время, обстановка как раз подталкивали писателя начинающего „запускать в небеса ананасом“ (Белый). Но когда Бунин

слушал, иные фразы застревали в горле»[85].

Размышляя о судьбах русской литературы после смерти Чехова и Толстого, Бунин стремится защитить позиции реализма в ту пору, когда декаданс широкой волной надвинулся на искусство. Самый строй жизни, облик героя, отношение к нравственным ценностям, к чувству любви, к природе — буквально все, что проповедовала и как изображала «новая» литература, было ему глубоко враждебно. Речь шла, стало быть, не только об эстетике. Подобно героине его позднейшего рассказа «Чистый понедельник», Бунин видит в окружающей его действительности, — в том числе и в произведениях искусства, — пору безвременья. Однако, отвергая упадническое искусство, он неправомерно распространяет свое отрицание и на таких крупных писателей XX века, как А. Блок, В. Брюсов, молодой В. Маяковский, творчество которых было так или иначе связано с модернизмом. Верный своему изначально сложившемуся взгляду на литературу, ее задачи и назначение, он не понимает и не принимает их. У Бунина и «новых» писателей как бы «разные группы кро-

ви». Признавая их литературную одаренность, он отказывает им в естественности и духовном здоровье. «Они сознательно уходят от своего народа, от природы, от солнца» — эти слова двадцатичетырехлетнего Бунина (см. статью «Памяти сильного человека») раз и навсегда определили его отношение к модернизму. Так проявляется до прямолинейности, на редкость цельная натура Бунина, безжалостно отвергавшего все, что казалось ему надуманным, «книжным», «городским».

Политические пристрастия Бунина-эмигранта, жизнь вдали от родины, от широкой читательской аудитории («„широкая публика“... где она, кто она? — спрашивал он, живя во Франции. — Может быть, она была в России. Здесь же все в каких-то семейных размерах. Кто-то сказал: литературный курятник» [86]) только усилили это отрицание. В своих последних, итоговых книгах («Освобождение Толстого», «Воспоминания», «О Чехове») он огульно отвергает современную ему литературу: «Силы (да и литературные способности) у „декадентов“ времени Чехова и у тех, что увеличили их число и славились впослед-

ствии, называясь уже не декадентами и не символистами, а футуристами, мистическими анархистами, аргонавтами... — были и впрямь велики, но таковы, какими обладают истерики, юроды, помешанные: ибо кто же из них мог называться здоровым в обычном смысле слова?..» и т. д. Именно скоплением больных, падких на сенсацию талантов, привлекающих любыми средствами расположение публики, объясняет Бунин, в частности, то, что ему самому не нашлось в литературе, как он считал, достойного его дарования места. В живописной, красочной и пристрастной характеристике своего времени Бунин через сорок лет устраивает своего рода Варфоломеевскую ночь собратьям по литературному цеху, рассчитываясь с ними поименно. В разряд декадентов он готов зачислить теперь и Горького. Его ирония распространяется широким фронтом на все — от символистов до «знаниевцев», которые, в позднейших его описаниях, выглядят статистами из аляповатой боярской оперы («В поддевках, в шелковых рубахах навывпуск, в ременных поясах с серебряным набором, в длинных сапогах»).

Подчас здесь очевидна уже явная ревизия собственных прежних общественных тяготений, здесь против Бунина свидетельствуют и многочисленные интервью десятих годов, в которых он говорит о своих демократических симпатиях и даже заявляет, что тяготеет «больше всего к социал-демократии») («Голос Москвы», 1912, 24 октября, № 245), и его обширная дружеская переписка с Горьким. Правда, предвидя все это, Бунин в своем литературном завещании специально оговорился, что «писал письма... не всегда в соответствии с тем, что я чувствовал, — в силу разных обстоятельств. (Один из многих примеров — письма к Горькому)»[87]. Некоторые, и существенные, основания для этого имелись. Отношение к Горькому (даже в пору их наибольшего сближения), как показывают некоторые документы, например дневник 910-х годов племянника Бунина Н. А. Пушешникова, были непростыми, «двуцветными», где многое писатель хранил «про себя», открываясь только самым ближним. Но все это приобрело качественно иной оттенок за огненной стеной революции и гражданской войны. И

здесь снова есть надобность вернуться к бунинским дневникам, к тому жанру, о котором сам Бунин повторял: «Тут жизнь, как она есть — всего насовано. Нет ничего лучше дневников — все остальное, брехня!»[88]

С помощью дневников мы можем проследить, как с юношеских лет Бунин вырабатывал в себе художника. Он непрерывно наблюдал, впитывал, и все увиденное, кажется, готово было превратиться у него в «литературу» — луна на ночном небе, пашня под солнцем, старый сад, внутренность крестьянской избы. Но начиная с «германской», с 1914 года («Теперь все пропало», — сказал ему брат Юлий, едва услышал об убийстве эрцгерцога Фердинанда, что и послужило поводом для развязывания мировой войны), впечатления словно прорвали оболочку творчества, стали терзать его человечески, как утрата близких. И чем дальше, тем больше. В его дневниках мы читаем о лживо пафосных речах и тостах, разнузданном веселье «господ-интеллигентов» в столичных ресторанах — и о горе, унынии в деревне, об осиротевших детях и вдовах, обезлюдевших избах, о сгущении мрака.

Только природа, в своем вечном великолепии, способна на время успокоить душевную боль, и в дневниках 1915–1917 годов можно наблюдать постоянный контраст в изображении красоты первозданной природы и бедности, скудости, мучений народа. Буржуазная революция 1917 года, падение империи только усиливают пессимизм Бунина в отношении будущего России как национального целого. В охваченной брожением деревне Глото-во, в августе 1917 года, он горестно размышляет: «Разговор, начатый мною, опять о русском народе. Какой ужас! В такое небывалое время не выделил из себя никого, управляется Гоццами, Данами, каким-то Авксентьевым, каким-то Керенским и т. д.». Проследивая тему эту в бунинских дневниках, идя против течения времени, вспять, видишь, что занимала она писателя задолго до наступления революционного 1917 года. Бунин много и настойчиво размышлял о том, что же такое народ как данность, кого включать и почему в это безграничное понятие. Порой он даже сердился: «Хвостов, Горемыкин, городской это не народ. Почему? А все эти начальники станций, теле-

графисты, купцы, которые сейчас так безбожно грабят и разбойничают, что же это — тоже не народ? Народ-то это одни мужики? Нет. Народ сам создает правительство и нечего все валить на самодержавие». Запись эта сделана за год с лишним до предыдущей, 22 марта 1916 года, задолго до прихода к власти Гоцев и Керенских. Но еще раньше, в самом начале 1910-х годов, наблюдая каждодневно за «мужиками», т. е. всеми и официально признаваемым «народом», Бунин ощущает прежде всего там огромный резервуар спящих и, по его мнению, еще совсем диких, разрушительных сил. И — пока еще, как видение, как страшный сон, — чудится ему пора, когда произойдет то, о чем «орет», едва войдя в избу и не глядя ни на кого, некий странник:

*Придет время,
Потрясется земля и небо,
Все камушки распадутся,
Престолы Господни нарушатся,
Солнце с месяцем примеркнут
И пропустит Господь огненную
реку.*

Эту «огненную реку» Бунин вполне ожи-

дал.

Октябрь Бунин встретил враждебно. Но, разделив с другими «хождение по мукам» — путь эмигранта, он сохранил свою, и совершенно особенную, судьбу. Потеряв родину, эмигранты в большинстве своем могли впасть (и впали) лишь в отчаяние, неверие и злобу. Но не Бунин. Именно на расстоянии с наибольшей полнотой ощутил он то, что потаенно и глубоко жило в нем: Россию. Ранее, занятый литературой, поглощавшей главные его заботы, он испытывал надобность — как художник — в постижении некоей чужой трагедии. Ни крах первой, самой страстной любви, ни смерть маленького сына, отнятого у него красавицей женой, ни даже кончина матери еще не потрясли и не перевернули его так, не помешали упорному и самозабвенному усовершенствованию мастерства, стиля, формы. Теперь словно гарпун пронзил его насквозь, боль объяла его всего: «Вдруг я совсем очнулся, вдруг меня озарило: да, так вот оно что — я в Черном море, я на чужом пароходе, я зачем-то плыву в Константинополь, России — конец...» (рассказ 1921 года «Конец»),

«Конец» и «погибель» — любимые слова в записях этих лет: «Уже три недели со дня нашей гибели» (дневник от 12 апреля 1919 года). Но странно: он повторял о России с мрачной убежденностью: «конец», а Россия наступала его всюду. Даже посреди веселой ярмарки в Грассе — толпа французов, мычание коров — «и вдруг страшное чувство России» (запись в дневнике 3 марта 1932 года). Оно не отпускало его и в конечном счете помогло выстоять вопреки всему, написать великие книги: «Жизнь Арсеньева», «Освобождение Толстого», «Темные аллеи». Это «страшное чувство России» понудило его в мае 1941 года отправить два послания — Н. Д. Телешову и А. Н. Толстому — со словами: «Очень хочу домой». Дневники отражают все сомнения и колебания Бунина, вплоть до желания, при вступлении немцев во Францию, уехать, как это сделала меценатка Цетлин или Марк Алданов, в Соединенные Штаты. Но ведь не уехал! Остался в Грассе, с волнением следил за событиями на советских фронтах, думал о возвращении в Россию и с необыкновенной, молодой жадностью писал в дни творческих

озарений, которые сменяли отчаяние:

«20.IX.40. Начал «Русю». 22.IX.40. Написал «Мамин сундук» и «По улице мостовой». 27.IX.40. Дописал «Русю». 29.IX.40. Набросал «Волки». 2.X.40. Написал «Антигону». 3.X.40. Написал «Пашу» и «Смарагд». 5.X.40. Вчера и сегодня писал «Визитные карточки». 7.X.40. Переписал и исправил «Волки». 10, 11, 12, 13. X.40. Писал и кончил (в 3 ч. 15 м.) «Зойку и Валерию». 14, 17, 18, 20, 21, 22.X.40. Писал и кончил (в 5 ч.) «Таню». 25 и 26.X.40 написал «В Париже» <...> 27 и 28.X.40. Написал «Галю Ганскую» <...> 23.X.43. <...> Дописал рассказик «Начало» <...> 29.X. Вчера в полночь дописал последнюю страницу «Речного ресторана». Все эти дни писал не вставая и без усталости, очень напряженно, хотя недосыпал, терял кровь и были дожди <...> 1.XI. Вечером писал начало «Иволги» <...> Нынче переписаны «Дубки», написанные 29-го и 30-го», и т. д. Приветствуя нашу победу над гитлеровскими полчищами, торжествуя, занес в дневник 23 июля 1944 года: «Освобождена уже вся Россия! Совершенно истинно гигантское дело!»

В сомнениях и твердости своей, в отчаянье

и надежде, в окаянном одиночестве, какое надвигалось на него — вместе с болезнями, старостью, бедностью, — «страшное чувство» России только и спасало Бунина. Эти последние годы его жизни были и самыми трагическими. Он был жестоко обманут в своей последней любви, о чем оставил в дневниках горькие свидетельства; вынужденно делил кров с тяжелым, по-видимому, психически нездоровым нахлебником; наконец, познал на исходе жизни и враждебность эмиграции, которая в большинстве своем отвернулась от него, а иные из прежних друзей (например, М. С. Цетлина) прямо осыпали его бранью, обвиняя в том, что он «продался Советам». (После того, как руководство союза русских писателей и журналистов в Париже исключило из числа своих членов всех, кто принял советское подданство, Бунин в знак солидарности с исключенными вышел из его состава. Ответом был бойкот.) Друг его жизни, В. Н. Муромцева-Бунина, как могла, старалась облегчить последние дни. Но жажда жизни, ощущение, что он еще не свершил всего, не покидали умирающего писателя. В год своей кончины,

в ночь с 27 на 28 января 1953 года, уже изменившимся почерком Бунин заносит в дневник:

«Замечательно! Все о прошлом, о прошлом думаешь, и чаще всего все об одном и том же в прошлом: об утерянном, пропущенном, счастливом, неоцененном, о непоправимых поступках своих, глупых и даже безумных, об оскорблениях, испытанных по причине своих слабостей, своей бесхарактерности, недалеко-видности и неотмщенности за эти оскорбления, о том, что слишком многое, многое прощал, не был злопамятен, да и до сих пор таков. А ведь вот-вот все, все поглотит могила!»

Героико-трагический автопортрет Бунина, возникающий в его мемуарно-публицистической прозе, завершается этим последним, драматическим откровением.

Комментарии

Шестой том настоящего Собрания сочинений объединяет литературно-публицистические произведения и дневники Бунина разных лет. В нем представлены основные, наиболее значительные литературно-критические работы Бунина. Тексты печатаются по изданию: Бунин И. А. Собрание сочинений в 9-ти томах, т. 9. М., Художественная литература, 1967. Исключение составляют дневники, тексты которых даются в основном по изданию: «Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы, под редакцией Милицы Грин». В 3-х томах. Т. 1–3. Франкфурт-на-Майне, 1977–1982. Дневники с 1 августа по 18 января 1918 г. включительно, а также с 16/29 апреля по 14 мая 1918 года подготовлены А. К. Бабореко по автографам, хранящимся в Отделе рукописей ГБЛ (фонд 622, Н. П. Смирнова-Сокольского, картон № 3, ед. хр. 33). Отдельные фрагменты включены из бунинских дневников 1918–1919 годов («Окаянные дни». Лондон — Канада, 1984) с вкраплением фраг-

ментов из других источников. В отдельных случаях, когда предоставлялась возможность, восстанавливаются купюры, сделанные составителем трехтомника «Устами Буниных» по книге В. Н. Муромцевой-Буниной.

К числу исключений относится также речь Бунина на юбилее газеты «Русские ведомости», текст которой дается по *ЛН*. В связи с публикацией большого массива дневников пришлось отказаться от ряда ценных автобиографических и литературно-критических материалов, которые были помещены в 9-м томе предыдущего собрания сочинений Бунина (в их числе записи, заметки, цикл «Происхождение моих рассказов», некоторые статьи, рецензии, а также интервью).

Построение данного тома принципиально отличается от 9-го тома Собрания сочинений Бунина в девяти томах (1965–1967). Первый раздел составляют крупные философско-публицистические и мемуарные книги: «Освобождение Толстого», «О Чехове» и главы из книги «Воспоминания»; во втором помещены бунинские дневники 1881–1953 годов; третий объединяет статьи и выступления.

Список условных сокращений

Бабореко — И. А. Бунин. Материалы для биографии. Изд. 2. М., Художественная литература, 1983.

Воспоминания — Бунин И. А. Воспоминания. Париж, 1950.

ГБЛ — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина.

Горьковские чтения — «Горьковские чтения 1958–1959». М., 1961.

Грасский дневник — Кузнецова Галина. Грасский дневник. Вашингтон, 1967.

«Жизнь Бунина» — Муромцева-Бунина В. Н. Жизнь Бунина. Париж, 1958.

ЛН — Литературное наследство, т. 68, Чехов. М., Наука, 1960; т. 84, кн. 1–2. Иван Бунин. М., Наука, 1973.

«Освобождение Толстого» — Бунин И. А. Освобождение Толстого. Париж, 1937.

«О Чехове» — Бунин И. А. О Чехове. Неоконченная рукопись. Нью-Йорк, 1955.

Полное собрание сочинений — Бунин И. А. Полн. собр. соч., т. 1–6. Пг., изд. т-ва А. Ф. Маркса, 1915 (приложение к журналу «Нива»).

Собрание сочинений — Бунин И. Собрание сочинений, т. I–XI. Берлин, изд-во «Петрополис», 1934–1936.

Собрание сочинений в 9-ти томах — Бунин И. А. Собрание сочинений в 9-ти томах. М., Художественная литература, 1965–1967.

Толстой — Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. и писем в 90-та томах. М.-Л., 1928–1958..

«Устами Буниных» — Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы, под редакцией Милицы Грин. В 3-х томах. Т. 1–3. Франкфурт-на-Майне, 1977–1982.

Чехов — Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти томах. М., Наука, 1974–1983.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР.

Освобождение Толстого*

Впервые: Париж, 1937.

Созданию этой книги предшествовали длительные, многолетние размышления Бунина над личностью, творчеством и философией Л. Н. Толстого, человека, перед которым

он «благоговел» (этим словом характеризуют отношение Бунина к Толстому и писатели-современники — Б. К. Зайцев, Ант. Ладинский, Марк Алданов и сам Бунин — в юношеском письме к брату Юлию, 22 июля 1890 г.). Книга эта необычна по форме: Бунин зачастую уходит от «прямой», авторской характеристики звеньев жизни великого писателя, передоверяя эту характеристику искусно подобранным многочисленным свидетельствам самого Толстого, его близких и друзей, сближая мысли Толстого с суждениями из Библии, «поучений» Будды, античных мыслителей. Так создается — ненавязчиво и словно бы помимо воли автора — определенное настроение книги, ее «тема» — в музыкальном понимании этого слова. Бунин славит жизнь Толстого, которая предстает в его изображении не просто как путь разочарования в «мирском», но как безмерное расширение личности, обретение полной внутренней свободы, приведшее к отказу от всего корыстного, суетного, временного, к мучительным и настойчивым усилиям решить «самое главное» — смысл существования.

Можно даже сказать, что Толстой был «темой жизни» Бунина, — к его имени, авторитету, оценкам Бунин обращается непрестанно, от юношеской поры до конца дней. Первым подступом к самой книге можно считать необширные воспоминания, вошедшие в шестой, заключительный том Полного собрания сочинений Бунина (в книге «Освобождение Толстого» они помещены в VI главе).

Дополнения начали публиковаться с 20-х годов (так, в парижской газете «Возрождение» 20 июня 1926 года появился очерк «К воспоминаниям о Толстом»; в журнале «Современные записки», 1927, кн. 32, напечатана заметка «О Толстом»). Отрывок из «Освобождения Толстого» появился в № 1 журнала «Русские записки» за 1937 год, а также в газете «Последние новости» за 1937 год: № 5833, 14 марта; № 5840, 21 марта; № 5847, 28 марта; № 5861, 11 апреля. В работе над своей книгой (как о том свидетельствуют многочисленные и пространные цитаты) Бунин широко пользовался материалами вышедших тогда томов советского 90-томного Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, в том числе — днев-

никами и записными книжками, а также ознакомился с обширнейшей толстоведческой литературой, не только зарубежной, но и советской.

Ознакомился Бунин со статьями В. И. Ленина о Толстом. Однако сформулированный Лениным взгляд на Толстого как на выразителя идей и настроений патриархального наивного крестьянства Бунин, верный своему идеалистическому взгляду на исторический процесс, не приемлет категорически. Но, идя от конкретных фактов, от изучения свойств живой личности Толстого и черт его творчества, Бунин приходит в некоторых случаях к выводам, уже знакомым нам по марксистским работам. Такова выявленная Лениным связь между учением Толстого и «строем жизни восточных народов»: «Вот именно идеологией восточного строя, азиатского строя и является толстовщина в ее реальном историческом содержании. Отсюда и аскетизм, и непротивление злу насилием, и глубокие нотки пессимизма, и убеждение, что „все — ничто, все — материальное ничто“ („О смысле жизни“, с. 52), и вера в „Дух“, „начало всего“, по отноше-

нию к каковому началу человек есть лишь „работник“, „приставленный к делу спасения души“ и т. д.» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 102). Сравним эти слова хотя бы с первыми же строками книги Бунина, — начиная с цитаты из «поучений» Будды, Бунин проводит глобальную параллель между философией Толстого и «неподвижными» восточными религиями. Разумеется, оценки этому явлению Ленин и Бунин дают противоположные. «Толстой смешон, как пророк, открывший новые рецепты спасения человечества», — отмечает Ленин, разбирая взгляды и противоречия великого писателя (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 17, с. 210). Бунин же всей своей книгой стремится доказать, что философские и религиозные искания Толстого, подчинившие себе всю жизнь, превратили ее в подвиг, одновременно придав особую ценность и смысл творчеству, напитав его духовностью и придав ему особую нравственную остроту.

С огромной любовью и тщательностью воссоздавая многогранную личность Толстого, Бунин ясно понимал, что книга его не вызовет должного внимания в литературных

кругах эмиграции. С понятной горечью писал он профессору Софийского университета П. М. Бицилли: «...кому нужно то, что в ней говорится? Равнодушному ко всему на свете Адамовичу? На все на свете кисло взирающему Ходасевичу? Всему на свете едко улыбающемуся внутренне Алданову?» (письмо от 16 августа 1937 г., журн. «Русская литература», 1961, № 4, с. 156). Бунин, несомненно, сознавал, что место ее издания — на родине Толстого, в России. 8 января 1947 года в письме к Н. Д. Телешову он просил его передать государственному издательству: «Можно издать еще в сокращенном виде мою книгу „Освобождение Толстого“» (сб. «Литературный Смоленск», 1956, № 15, с. 325).

В своей книге Бунин приводит много цитат из произведений и дневников Л. Н. Толстого, из воспоминаний А. Л. Толстой и др. В комментарии отмечены лишь точные цитаты (даваемые Буниным в кавычках).

«Совершенный, монахи, не живет в довольстве...» — Бунин приводит слова из «Поучений Будды», мифического основателя индусской религии, очевидно, по одному из зару-

бежных источников.

Пифагор Самосский (ок. 580–500 гг. до н. э.) — греческий математик и философ.

Марк Аврелий (121–180 гг. н. э.) — римский император (с 161 г. н. э.), философ школы стоиков, автор книги «Наедине с собой», проникнутой идеями смирения, покорности судьбе. Толстой приводит высказывания Пифагора в своем «Круге чтения»: «Убедись, что нет у тебя иной собственности, кроме твоей души» (Толстой, т. 45, с. 461).

Христос тоже звал «с родины на чужбину»... — Евангелие от Матфея, глава 10: «И враги человеку домашние его... Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня...»

Царевич Готами — Сидхатра Готами Провосветленный, то есть Будда. *Юлиан Милостивый* — герой средневековой легенды, отказавшийся от мирских соблазнов во имя праведной жизни. *Франциск из Ассизи* (1182–1226) — католический святой, основатель монашеского ордена францисканцев.

Бирюков П. И. (1860–1931) — биограф Л. Н. Толстого, пользовавшийся при составлении

первой, обширной четырехтомной биографии писателя его указаниями и советами

...в Казань к бабушке по отцу... — не к бабушке, а к тетке, сестре отца — Пелагее Ильиничне Юшковой (1798–1875).

«Что вынесем мы с вами из университета...» (примеч.) — Бунин цитирует высказывание Толстого, записанное его товарищем по Казанскому университету В. Н. Назарьевым (см.: Назарьев В. Н. Жизнь и люди былого времени. — В сб.: «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», М., 1960, т. 1).

...судебная деятельность... — В начале шестидесятых годов Толстой был мировым посредником, что не является судебной должностью.

«От Черткова письмо с упреками и обличением»... — Чертков В. Г. (1854–1936) — один из ближайших друзей Толстого и издатель его сочинений. Последние месяцы жизни Толстого проходили в обстановке жестокой борьбы двух группировок — сторонников Черткова и Софьи Андреевны. Раздраженный тем, что Толстой обещал своей жене: 1) не видеться с Чертковым, 2) не передавать ему свои днев-

ники, 3) не разрешать снимать с себя фотографий, Чертков в письме от 24 сентября 1910 г. упрекнул Толстого, что тот дал втянуть себя «в двусмысленное и даже не совсем правдивое положение». В ответном письме (от 25 сентября) Толстой с горечью писал: «Меня разрывают на две стороны» (Толстой, т. 88–89, с. 217–218).

«Мы возвращались с отцом домой...» — Здесь и далее Бунин приводит воспоминания Александры Львовны Толстой (1884–1978) — дочери Толстого. Уехав за границу, А. Л. Толстая выступила с мемуарами «Из воспоминаний». Цитируемый Буниным отрывок взят из XVIII главы «Прогулка» — журн. «Современные записки», Париж, 1932, кн. 48. В дальнейшем все цитаты из мемуаров А. Л. Толстой даются Буниным по журнальной публикации в «Современных записках».

Рихтер Жан-Поль (1763–1825) — немецкий писатель.

...запись, поражающая всех... — Бунин приводит лишь первую часть разговора о Евангелии, отчего смысл сказанного Толстым существенно меняется. В действительности В. Ф.

Булгаков записал следующее: «Лев Николаевич высказался против обязательности евангельских текстов, которые извращены.

— Не хочется мне этого говорить, но уж скажу: как раньше я любил Евангелие, так теперь я его разлюбил.

Потом прочли одно прекрасное место из Евангелия по изложению Льва Николаевича.

— Я опять полюбил Евангелие, — произнес он, улыбаясь» (запись от 22 июня 1910 г. — Булгаков В. Ф. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. М., 1960, с. 275). Булгаков В. Ф. (1886–1966) — мемуарист и писатель, в 1910 г. личный секретарь Толстого. Впервые дневник Булгакова «У Толстого в последний год его жизни» был опубликован в 1911 г.

Мария Николаевна — Толстая М. Н. (1830–1912), сестра Л. Н. Толстого.

Лопатина Е. М. (1865–1935) — писательница (псевдоним — К. Ельцова), роман которой «В чужом гнезде» редактировал Бунин.

Как вспоминает В. Н. Муромцева-Бунина, «самая большая дружба конца этого года и первой половины 1898 была у него (то есть Бунина. — О. М.) с Катериной Михайловной

Лопатиной, В журнале „Новое слово“ начал печататься ее роман, и они вместе читали корректуру... У нее был несомненно художественный талант, только она не умела в полной мере им овладеть... Они никогда не соглашались в оценке Льва Николаевича как человека, как учителя, — она была проникнута философией Соловьева, а известно, что эти два больших мыслителя друг друга не выносили. Как художника она с детства оценила Толстого, ставила его выше всех... Она рассказывала: „Бывало, идем по Арбату, он в высоких ботиках, в потрепанном пальто с барашковым воротником, в высокой барашковой шапке и говорит: „Вот вы всё смеетесь, не верите, а вот увидите, я буду знаменит на весь мир!“ Какой смешной, — думала я...“

Вспоминала она об этом, гостя у нас на Бельведере в Грассе, после получения Иваном Алексеевичем Нобелевской премии» («Жизнь Бунина», с. 105, 107).

Брат Лопатиной, о котором упоминает Бунин (известный философ), — Лев Михайлович (1855–1920), профессор философии.

...которым написал следующее письмо... —

См.: Толстой, т. 82, с. 221.

Оболенская Е. В. (урожденная Толстая; 1852–1935) — дочь М. Н. Толстой.

...примирение умирающего с церковью. — Как известно, Толстой был отлучен от церкви 24 февраля 1901 г. Игумен Оп-тиной пустыни Варсонофий с иеродиаконом Пантелеймоном приехали в Астапово 5 ноября 1910 г. по заданию синода увещевать Толстого вернуться в лоно православной церкви, но не были допущены к умирающему. Предположение Бунина о том, что в результате свидания с ними Толстой мог примириться с церковью, вряд ли основательно. Вся общественно-публицистическая деятельность Толстого носила резко антицерковный характер. В статьях «В чем моя вера?», «Церковь и государство», «К духовенству» и т. д. Толстой обрушился с обвинениями на церковь, на ее князей, найдя в ней лишь «ряд лжей, жестокостей, обманов». Разрыв Толстого с церковью был закономерным следствием этой борьбы. В ответе на определение синода, составленное Победоносцевым, Толстой писал: «То, что я отрекся от церкви, называющей себя православной, это совер-

шенно справедливо... Прежде чем отречься от церкви... я, по некоторым причинам усумнившись в правоте церкви, посвятил несколько лет на то, чтобы исследовать теоретически и практически учение церкви... И я убедился, что учение церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающего совершенно весь смысл христианского учения» (Толстой, т. 34, с. 247).

Был человек в земле Уц, Иов имя его... — 1-я глава Книги Иова (Ветхий завет). По библейскому преданию, непорочного и справедливового Иова искушал сатана, уничтожив его дом и сыновей, а самого поразил «проказою лютой». Иов остался верен Богу со словами: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?»

Екклезиаст — одна из канонических книг Ветхого завета. Екклезиаст выражает скорбь от сознания человеческого бессилия и невозможности преобразить природу мира и вещей. Приписывается иудейскому царю Соломону.

Роца Уравеллы — место, где, по преданию,

Будда обращался к ученикам и народу с поучениями.

...у одного семь сыновей, три дочери, сотни рабов и рабынь... — Имеется в виду библейский Иов;

...у другого — в жилах царская кровь, высшая родовитость... — Речь идет об индийском царевиче Готами, то есть Будде;

...третий — сын Давидов, царь над Израилем... — Соломон Мудрый.

Толстая А. А. (1817–1904) — двоюродная тетка Толстого, с которой его связывали дружеские отношения.

Сестра Софьи Андреевны рассказывает в своих воспоминаниях... — Т. А. Кузминская (урожденная Берг 1846–1925); приводится отрывок из ее воспоминаний «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» (ч. III, гл. 20).

открытый на дне его смерти «Круг чтения». — На самом деле приводимая Буниным фраза Монтеня вошла в сборник «На каждый день», под датой: 30 августа. См.: Толстой, т. 44, с. 128.

И кое-что из того, что думал и чувствовал... впоследствии написал... — Далее (со

слов «Некоторый род людей обладает способностью...» и до «Возвратись ко мне!») следуют обширные выписки из рассказа 1925 г. «Ночь» («Цикады») в ранней его редакций.

Ригведа — древнейшие индийские тексты религиозных гимнов (конец II тысячелетия до н. э.).

Брама-Атман — религиозное понятие в индийской философии, включающее в себя два составных: «брахма», что означает высшее божество, а также абсолют, совершенство; «атман» — «я». Понятие «Брама-Атман» выражает единство божественного и человеческого, внешнего и внутреннего, множественного и единичного.

Мечтать о счастье видеть его я начал очень рано. — В этой, VI главе даются, в несколько переработанном виде, самые ранние воспоминания Бунина о Толстом.

...сказала про какого-то революционера... — Речь идет о бывшем революционере, а затем толстовце А. С. Буткевиче, неоднократно бывавшем в Ясной Поляне.

Клопский (Клобский) И. М. (1852–1898) — окончил Ярославскую духовную семинарию,

учился в Московском и Петербургском университетах, жил в толстовских земельных общинах. В 1892 г. был арестован. Эмигрировал в Америку.

Каронин (псевдоним Н. Е. Петропавловского; 1853–1892) — писатель-разночинец, в повести которого «Учитель жизни» (1891) в лице Дениса Чехлова показаны поиски русского интеллигента, пытающегося найти смысл жизни в толстовском учении.

Волкеништейн А. А. (1852–1925) — земский врач, жил в Полтаве и помогал Толстому в закупке продовольствия для голодающих.

Братья Д. — Дудченко М. С. (1867–1946), разделял взгляды Толстого. С 1887 г. занимался земледельческим трудом, сперва в Харьковской, а с 1891 г. — в Полтавской губернии; Дудченко Т. С. (1853–1920), бывший студент юридического факультета Петербургского университета, занимался земледельческим трудом; в 1892 г. административно выслан из Полтавской губернии.

Леонтьев Б. Н. (1866–1909) — в 1891 г. работал в устроенной И. Б. Файнерманом в Полтаве столярной мастерской; затем отошел от

толстовства в сторону революционного народничества.

Хилков Д. А., князь (1857–1914) — друг и единомышленник Толстого.

«Книжный магазин Бунина». — Увлечшись идеями Толстого, Бунин взялся за распространение его изданий и с этой целью открыл в конце зимы 1894 г. книжный магазин в Полтаве.

...умер его семилетний Ваня. — Сын Толстого Ваня скончался в 1895 г.

...писал... поэт Брюсов... — Бунин цитирует с мелкими неточностями статью В. Я. Брюсова «На похоронах Л. Н. Толстого», которая была напечатана не в газете «Русские ведомости», а в журнале «Русская мысль» (СПб., 1910, № 12).

Попов И. И. — журналист. В траурные дни выступил на страницах «Русских ведомостей» со статьей «Л. Н. Толстой и Сибирь» (СПб., 1910, № 261, 12 ноября).

Мертвого А. П. (1856 — ок. 1917) — журналист.

Соловьев В. С. (1853–1900) — религиозный философ, поэт и критик. Религиозно-философ-

ское учение Соловьева, с его признанием государства, официальной религии, догматов церкви, было резко враждебно Толстому. Сам Соловьев весьма критически относился к Толстому и его учению, упрекал его в стремлении извратить смысл религии, подчинив ее суду разума. Близкая толстовскому учению евангельская заповедь непротивления злу не признавалась Соловьевым. Он даже написал специальную статью «Смысл войны», оправдывающую войну с религиозной точки зрения и вызвавшую резкий отзыв Толстого. Последняя работа Соловьева «Три разговора» прямо направлена против Толстого, он выведен в ней под видом «князя» как приспешник «Антихриста».

Кареев Н. И. (1850–1931) — историк и публицист.

Страхов Н. Н. (1828–1896) — литературный критик и философ-идеалист, друг Толстого. Консерватор, сторонник «самобытного» развития России, Страхов видел в творчестве Толстого и Достоевского высшее проявление русского национального и религиозного духа.

Сулержицкий Л. А. (1872–1916) — режиссер

Московского Художественного театра, последователь Толстого.

Соловьев М. С. (1862–1903) — педагог и переводчик, брат Вл. Соловьева.

Олсуфьев А. В. (1833–1901) — старый знакомый Толстых.

Усов С. А. (1827–1886) — профессор, зоолог и археолог.

Толстой С. Н. (1826–1904) — брат Л. Н. Толстого.

Эдуард VII (1841–1910) — король английский;

Абдул-Глмид. II (1842–1918) — 31-й султан Турции.

Его секретарь Булгаков говорит... — Бунин цитирует с мелкими неточностями воспоминания Булгакова о Толстом (см.: Булгаков В. Ф. О Толстом. Тула, 1964, с. 17–18).

...брата Володю... — Лопатин В. М. (1861–1935), юрист, позднее артист МХАТа, оставил воспоминания о Толстом.

«Дух отрицанья, дух сомненья»... — слова из стихотворения А. С. Пушкина «Ангел» (1827).

Но есть портрет следующей поры... —

неизвестно ни одного портрета Толстого времени его первой заграничной поездки (1857 г.).

В этом дневнике... — Бунин приводит отрывки из дневника 1857 г. («Путевые заметки по Швейцарии». — Толстой, т. 5, с. 193–194).

Коль скоро надобность в понятиях случится... — Бунин цитирует четвертую сцену I части трагедии Гете «Фауст».

Гольденвейзер А. Б. (1875–1961) — пианист, друг и единомышленник Толстого. Бунин пересказывает его наблюдения по мемуарам Гольденвейзера «Вблизи Толстого». Этот фрагмент представляет собой часть очерка Бунина «К воспоминаниям о Толстом» (газ. «Возрождение», Париж, 1926, № 383, 20 июня).

Если бы вся наша цивилизация полетела к чертовой матери... — «Вся эта цивилизация... Пускай она пропадет к чертовой матери, только... музыку жалко!» (Булгаков В. Ф. О Толстом, с. 9).

...совсем недавняя статья Амфитеатрова... — Амфитеатров А. В. (1862–1938) — поэт, прозаик, фельетонист.

Чинелли Дельфино (1889–1942) — итальян-

ский писатель, романист, а также автор книг о литературе и театре. На мой вопрос, читал ли Бунин, работая над «Освобождением Толстого», Чинелли, Ф. Зуров отвечал 22 марта 1967 года: «По-итальянски Иван Алексеевич не читал. Он знал несколько обиходных фраз и словечек. Материал для своей книги „Освобождение Толстого“ он собирал долгие годы. О книге Чинелли (я никогда ее не видел) были, возможно, рецензии (Иван Алексеевич читал французские литературные газеты и внимательно следил за зарубежной печатью). Переписывался Иван Алексеевич и с проживавшим в Италии писателем Александром Амфитеатовым. Тот мог ему кратко изложить в письме содержание книги Чинелли, прислать ряд выдержек».

Буланже П. А. (1865–1925) — служащий правлений Московско-Курской железной дороги, знакомый Толстого с 1886 г., автор ряда статей о Толстом. Бунин приводит строки из воспоминаний Буланже «Болезнь Л. Н. Толстого в 1901–1902 гг.» (см. сб.: «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. II. М., 1960, с. 157). Фразы цитируются с мелкими

неточностями.

...в своей книге... — В двухтомном исследовании Д. С. Мережковского «Толстой и Достоевский» дана попытка религиозного осмысления личности и творчества двух великих писателей в метафизическом противопоставлении «одухотворенной плоти» и «воплощения духа». Упомянутые Буниным

«наизные страницы» — напр.: «Вот символ, вот соединение: под крестьянским, христианским полушубком — белье, надушенное сладострастным шипром или девственной Пармскою фиалкою... Различные инструменты — лопата, коса, пила, щипцы, напилки — придают убранству наивную, напоминающую детство, свежую прелесть Робинзоновского жилища» (Мережковский Д. С. Полн. собр. соч., т. IX. М., 1914, с. 65, 61 и т. д.). Франческо — святой Франциск Ассизский, см. о нем наст. т., с. 651.

...Софья Андреевна писала: «Влюблен, как никогда!» — Софья Андреевна говорила не от своего имени, а цитировала слова Толстого из его дневника от 13 мая 1858 г. (Толстой, т. 48, с. 15).

...у него были зачатки туберкулеза... — Ошибочное утверждение Бунина.

Об отце известно... что у него был тик (подергивание головы). — Не у отца, а у брата Льва Николаевича Дмитрия.

«Первые воспоминания». — Здесь и далее Бунин цитирует «Воспоминания» Толстого, включенные частями П. И. Бирюковым в составленную им «Биографию Л. Н. Толстого». Целиком опубликованы в 34-м томе Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого.

. Энтелехия — нематериальное жизненное начало, якобы управляющее развитием организма.

Аксаков говорил о Гоголе... — Воспоминания С. Т. Аксакова «История моего знакомства с Гоголем» (опубликованы в 1890 г.).

...известный русский писатель, насмешливо заявлявший, что философия Толстого — это «восемьдесят тысяч верст вокруг себя», — Глеб Успенский.

...говорил Мережковский в столетнюю годовщину его рождения... — Неточность. Речь идет о статье Д. С. Мережковского «Поденщик Христов» (газ. «Возрождение», Париж, 1935,

№ 3822, 20 ноября).

Шестов Лев (Шварцман Л. И.; 1866–1938) — литературный критик и философ-идеалист, представитель русского экзистенциализма. Религиозный смысл философии Шестова, заключающийся в примате откровения над разумом, близок позднему Бунину, не имевшему, однако, склонности теоретизировать. В своей книге здесь и дальше Бунин цитирует статью Л. Шестова «Преодоление самоочевидностей (К столетию со дня рождения Ф. М. Достоевского)» (жури. «Современные записки», Париж, 1921, кн. 8, 9, 10).

Алданов (Ландау М. А.; 1889–1957) — русский писатель, автор исторических романов и романов о революции. Бунин цитирует книгу Ал да нова «Загадка Толстого». Откликаясь на появление «Освобождения Толстого», Алданов писал: «Не вполне ясно и существо спора с В. А. Маклаковым, со мной... Но по существу, думаю, между нами большого разномыслия нет... Прав или не прав Бунин в своем понимании освобождения Толстого, чрезвычайно ценно и интересно его освещение жизни и мысли величайшего из всех писателей» (жу-

ри. «Современные записки», Париж, 1937, кн. 64, с. 466–467).

Маклаков В. А. (1870–1957) — адвокат, старый знакомый Толстых, член Государственной думы. В эмиграции написал ряд работ о Толстом. Бунин полемизирует, в частности, с его суждениями, высказанными в речи, произнесенной в Праге 15 ноября 1928 г. (Маклаков В. А. Толстой как мировое явление. — Журн. «Современные записки», Париж, 1929, кн. 38).

«Молчи, скрывайся и таи...» — Бунин цитирует стихотворение Тютчева «Silentium!».

Альтшуллер И. Н. (1870–1943) — ялтинский врач, лечивший Толстого.

О Чехове*

Впервые в кн.: «О Чехове».

Первым подходом к воспоминаниям о Чехове был отклик на смерть писателя, потрясшую Бунина. 9 июля 1904 года он писал сестре Чехова Марии Павловне: «Дорогой, горячо любимый друг, я буквально как громом поражен... Прошу вас только помнить, что все ваши страдания в эти дни я переживаю с вами с

невыразимой болью. Посылаю самый сердечный и горячий привет всем вашим и прошу вас — если будете в состоянии — напишите мне хоть слово о себе. Преданный вам всей душой И. Бунин» (*ЛН*, т. 68, с. 400–401). В эти же дни к Бунину обращается М. Горький с предложением участвовать в сборнике памяти Чехова. «...В Москве Куприн, Пятницкий задумали издать в память Ан<тона> Пав<ло-вича> книгу, доход с которой — в части или целом, это потом решим — употребить на памятник ему или на что-нибудь в этом роде. Нам кажется, что будет вполне достаточно и очень хорошо, если в этой книге примут участие только четверо — Куприн, Вы, Андреев и я. Каждый из нас напишет что-нибудь лично о Чехове — разговор с ним, первое знакомство, воспоминание о каком-нибудь дне, совместно прожитом, и, кроме того, — даст рассказ... Дорогой друг — очень прошу Вас принять участие в этом деле, на мой взгляд, и важном и нужном. Нужно же создать противовес пошлости газетных „воспоминаний“, нужно по мере сил постараться показать Чехова без фольги — чистого, ясного, милого,

умного» (*Горьковские чтения*, с. 29, письмо от 11 июля 1904 г.). В другом письме (25–26 июля) Горький повторял: «Очень прошу, напишите Вы об Антоне Павловиче — право же, это необходимо, как противовес той пошлости, которой залепили глаза и уши публики г.г. газетчики и надмогильные языкоблуды» (там же, с. 29). В конце октября он торопит Бунина, замечая, что «очень хотелось бы начать сборник памяти Ан<тона> Пав<ловича> именно Вашими воспоминаниями о нем» (там же, с. 33). К этому времени Бунин закончил работу над очерком «Памяти Чехова» и 24 октября прочитал его в Обществе любителей российской словесности, на торжественном заседании, посвященном скончавшемуся писателю. 14 ноября он извещал Горького (из Киева): «Дорогой Алексей Максимович, рукопись о Чехове высылаю Вам завтра...» (там же, с. 34). Около 20 ноября, получив воспоминания, Горький отвечал Бунину: «Хорошо Вы написали об Ан<тоне> Пав<ловиче> — нежно, как женщина, и мужественно, как друг. Захотелось сказать Вам это тотчас же, как прочитал. А теперь — читает Куприн, он сидит рядом со

мною, хвалит Вас и радуется, что его воспоминания совпадают с Вашими» (там же, с. 35). Посвященный памяти Чехова 3-й сборник товарищества «Знание» за 1904 год вышел в 1905 году. В нем были опубликованы воспоминания Скитальца, А. Куприна, И. Бунина — под общим заглавием «Памяти Чехова», а также «Дачники» М. Горького и «Красный смех» Л. Андреева. 17 января 1910 года Бунин, по просьбе В. И. Немировича-Данченко, выступил с чтением этих воспоминаний в Художественном театре, торжественно отметившим пятидесятилетие со дня рождения А. П. Чехова.

Следующим дополнением к воспоминаниям о Чехове были бунинские заметки «Из записной книжки», опубликованные в «Русском слове» (1914, № 151, 2 июля), а также интервью, данное газете «Одесские новости» (1914, № 9398, 2 июля). Готовя свое Полное собрание сочинений в приложении к журналу «Нива» (1915), Бунин объединил оба очерка, одновременно исключив из текста заметок «О Чехове. Из записной книжки» наиболее резкие характеристики современной ему об-

щественной и литературной жизни.

Для зарубежных изданий, в частности для X тома Собрания сочинений, Бунин переработал и объединил оба мемуарных очерка, озаглавив свои воспоминания просто: «Чехов». В таком виде очерк о Чехове стал главой его книги «Воспоминания». Но одновременно он думал о большой работе, воссоздающей облик Чехова — человека и писателя. Еще в 1904 году, ведя переговоры с Марией Павловной и О. Л. Книппер о публикации чеховских писем в издательстве «Знание», Бунин видел в них богатый материал для создания портрета Чехова. В сентябре 1911 года, в ответ на предложение Марии Павловны написать предисловие к первому тому выходящего в Книгоиздательстве писателей в Москве шеститомника писем Чехова, Бунин писал: «Письма Антона Павловича брал у Сытина и, мгновенно перечитав, снова ему возвратил для набора. Письма восхитительны и могли бы дать материала на целую огромную статью. Но тем более берет меня сомнение: нужно ли мне писать вступление к ним? Крепко подумавши, прихожу к заключению, что не нужно. Ибо что я

могу сказать во вступлении? Похвалить их? Но они не нуждаются в этом. Они — драгоценный материал для биографии, для характеристики Антона Павловича, для создания портрета его. Но уж если создавать портрет, так надо использовать не один том их, а все, да многое почерпнуть и из других источников. А какой смысл во вступительной заметке?» (ЛН, т. 68, с. 403). Сама Мария Павловна видела в Бунине едва ли не единственного, кто мог бы воссоздать облик Чехова. 10 мая 1911 года она писала П. В. Быкову: «Вы просили меня указать вам кого-нибудь, кто бы мог написать биографию покойного моего брата, и, если вы помните, я советовала вам Ив. Ал. Бунина. И теперь советую его же и даже прошу. Лучше его никто не напишет, он очень хорошо знал покойного, понимал его и может беспристрастно к этому делу приступить... Повторяю, мне бы очень хотелось, чтобы биография соответствовала действительности и была бы написана И. А. Бунинным» (там же, с. 640). Но время для обширной работы о Чехове, чувствовал Бунин, тогда еще не пришло. Недаром, много позднее, в Париже, перечитывая

свой ранний очерк, он написал на «Сборнике памяти Чехова»: «Написано сторяча, плохо и кое-где совсем неверно, благодаря Марье Павловне, давшей мне, по мещанской стыдливости, это неверное» («Жизнь Бунина», с. 156). В начале 50-х годов, в Париже, Бунин познакомился с письмами Чехова по Полному собранию сочинений и писем, выпущенных Гослитиздатом, а также со сборником «Чехов в воспоминаниях современников» (М., 1947), и это побудило его приступить к обширной работе, посвященной любимому писателю. «В 1953 году, — вспоминает В. Н. Муромцева-Бунина во вступлении к книге „О Чехове“, — нам наконец удалось приобрести советское издание „Письма А. П. Чехова“ (кроме двух первых томов). Мы их перечитывали. Иван Алексеевич, указывая мне, что нужно выписать, испестрил книги своими надписями и пометками. Перечитал он в те времена все, что можно было достать в Париже... В бессонные ночи Иван Алексеевич, — в последний год жизни он почти лишился сна, — делал заметки на обрывках бумаги, иногда даже на папиросных коробках, — вспоминал беседы с Чеховым» («О

Чехове»).

Книга осталась незаконченной и была издана женой писателя посмертно. Ее специфической особенностью являются многочисленные цитации из воспоминаний современников, в частности Авиловой, Тихонова-Сереброва, а также чеховских писем, рассказов и т. д. Так как этот материал хорошо известен советскому читателю, в настоящем издании он опущен. Опущены и немногочисленные тенденциозные оценки трудов некоторых советских литературоведов (см. также ст. А. Бабореко — «Чехов и Бунин», ЛН, т. 68, с. 395–406).

Разница в датах? — Имеется еще второе письмо, дающее основание предполагать, что днем рождения Чехова следует считать не 17, а 16 января 1860 г. 16 января 1898 г. Чехов писал М. П. Чеховой: «Мне стукнуло уже 38 лет» (ЛН, т. 68, с. 677). Рассказа «Святые горы» у Чехова нет, Бунин, очевидно, имел в виду рассказ «Перекати-поле».

«*Кичеевщиной*» Чехов назвал среду газетчиков мелкой прессы в письме к Ал. П. Чехову от 20-х чисел февраля 1883 г. (Чехов, т. XIII,

с. 51). *Киселева М. В.* (ум. в 1921 г.) — детская писательница.

Бегичев В. П. (1838–1892) — директор императорских театров в Москве.

Россолимо Г. И. (1860–1928) — профессор-невропатолог, товарищ Чехова по Московскому университету. «Ничтожество свое сознаешь?» — См. письмо М. П. Чехову от 6–8 апреля 1879 г. (*Чехов*, т. XIII, с. 29).

Я не грешен против четвертой заповеди... — О почитании родителей говорит пятая заповедь.

«Передо мной моя не литературная работа...» — письмо Чехова Лейкину от 21–24 августа 1883 г. (*Чехов*, т. XIII, с. 74).

Плевако Ф. Н. (1843–1908) — известный московский адвокат.

«Скопинское дело» — дело Скопинского банка, слушавшееся в Москве, в окружном суде, на всех заседаниях которого присутствовал Чехов, писавший в «Петербургскую газету» корреспонденции «из зала суда» за подписью Рувер.

Суворин А. С. (1834–1912) — издатель и журналист, в молодости радикальный публи-

цист, редактор «Нового времени».

Буренин В. П. (1841–1926) — критик, поэт и фельетонист «Нового времени». Чехов ездил в Петербург в декабре 1885 г.

Шехтель Ф. О. (1859–1926) — архитектор, академик, знакомый Чехова.

Двадцатого марта восемьдесят шестого года... — Чехов ответил Григоровичу 28 марта 1886 г.

Я познакомился с ним в Москве... — Бунин познакомился с Чеховым 12 декабря 1895 г. Встреча с Чеховым в Ялте произошла в начале апреля 1899 г.

Сергеенко П. А. (1854–1930) — беллетрист и публицист, учился в таганрогской гимназии одновременно с Чеховым. Бунин имеет в виду воспоминания Сергеенко, напечатанные в «Ежемесячных приложениях» к «Ниве» (СПб., 1904, кн. X).

«Искусственное разведение ежей...» — Речь идет о юмористической «Библиографии», напечатанной Чеховым в журнале «Мирской толк» (1883, № 2) под псевдонимом «Гайка № 9».

«Зайцы и китайцы, басня для детей». — Эту

басню Чехов написал в альбом Саше Киселевой 19 июня 1887 г.

Мне один критик пророчил... — Чехов имел в виду рецензию А. М. Скабичевского на его книгу «Пестрые рассказы», напечатанную в журнале «Северный вестник» (СПб., 1886, кн. VI).

Рассказ «*В море*» напечатан в альманахе «Северные цветы» с исправлениями, под новым заглавием — «Ночью».

«...выражение счастья появилось на его сразу помолодевшем лице». — Из письма берлинского корреспондента «Русских ведомостей» Г. Б. Иоллоса редактору газеты В. М. Соболевскому. Письмо это (о последних днях и смерти Чехова) от 4 июля 1904 г., написанное в Баденвейлере, было опубликовано в выдержках в «Русских ведомостях» (СПб., 1904, № 189, 9 июля).

Татаринова Ф. К. (1863–1923) — ялтинская знакомая Чехова, впоследствии преподавала пение в Московском Художественном театре.

Теперь, когда для меня многое выяснилось... — То есть когда Бунин познакомился с воспоминаниями о Чехове Авиловой. *Мизино-*

ва Л. С. (1870–1937) — учительница гимназии, близкая знакомая семьи Чеховых.

Березина (О. М. Соловьева) — ялтинская знакомая Чехова, владелица имения Су-ук-Су в Крыму.

Рассказ «*Ворона*» (первоначальное заглавие — «Павлин в вороньих перьях») написан в 1885 г.

Дорошевич В. М. (1864–1922) — журналист, фельетонист;

Орленев П. Н. (Орлов; 1869–1932) — артист. Дорошевич и Орленев были в Ялте в августе 1901 г.

Семенов С. Т. (1868–1922) — писатель, автор произведений из крестьянской жизни.

...шли разговоры о постройке нового театра... — Новое здание Художественного театра было отстроено к сезону 1902/1903 года.

Веселовский А. Н. (1838–1906) — академик, историк литературы.

Кондаков Н. П. (1844–1925) — историк искусства, византолог, академик.

Морозов С. Т. (1862–1905) — крупный фабрикант и меценат, близко стоял к Московскому Художественному театру, оказывая ему

большую материальную помощь.

«Милый Жан! Укрой свои бледные ноги!» — перифраз однострочного стихотворения В. Я. Брюсова, служившего предметом насмешек противников символизма.

Остроумов А. А. (1844–1908) — профессор, врач-терапевт.

Ковалевский М. М. (1851–1916) — юрист, историк и социолог, профессор государственного права. После вынужденного оставления кафедры в Московском университете уехал в Париж, где основал Высшую русскую школу социальных наук. Был хорошо знаком с Чеховым, написал о нем воспоминания.

Юрасов Н. Н. — русский консул в Ментоне.

...Амфитеатрову... о моем рассказе «Чернозем»... — В письме от 13 апреля 1904 г.: «...прочел и великолепный рассказ Бунина „Чернозем“. Это в самом деле превосходный рассказ, есть места просто на удивление, и я рекомендую его вашему вниманию» (Чехов, т. XX, с. 280).

Чехов М. А. (1891–1955) — выдающийся актер театра и кино, режиссер 2-го МХТ, племянник А. П. Чехова, автор «Воспоминаний»,

широко рисующих общественно-культурную жизнь России начала XX в.

Гольцев В. А. (1850–1906) — публицист и журналист, редактор журнала «Русская мысль».

Чехов И. П. (1861–1922) — педагог, брат А. П. Чехова.

Южин (Сумбатов) А. И. (1857–1927) — артист и драматург, народный артист РСФСР. Режиссер и управляющий труппой, а после Октябрьской революции — директор Малого театра.

...стихами в «Русском богатстве»... — Речь идет о стихотворении Н. Ведкова «В ожидании утра» (журн. «Русское богатство», СПб., 1899, № 5).

Андреевский С. А. (1847–1919) — поэт и литературный критик.

Авилова Л. А. (1865–1942) — друг Чехова и, по утверждению ряда исследователей, его главная потаенная любовь. Писательница, автор воспоминаний о Чехове. Переписывалась с Чеховым с 1892 г. и до конца его жизни. Письма Авиловой Чехову были возвращены ей, по ее просьбе, после смерти Чехова и оста-

лись неизвестными. Воспоминания о Чехове были опубликованы уже после смерти Авиловой в сборнике «А. П. Чехов в воспоминаниях современников» (М., 1947).

Бунин был знаком с Авиловой и неизменно ценил ее, видя в ней редкостную натуру с глубокой внутренней духовной жизнью. В мае 1917 г. он охарактеризовал Авилову в беседе со своим племянником Н. А. Пушешниковым: «Она принадлежит к той породе людей, к которой относятся Тургеневы, Чеховы. Я говорю не о талантах, — конечно, она не отдала писательству своей жизни, она не сумела завязать тот крепкий узел, какой необходим писателю, она не сумела претерпеть все муки, связанные с литературным искусством, но в ней есть та сложная таинственная жизнь» (ЛН, т. 68, с. 402).

...о ком сказал Саади... — Бунин цитирует главу 8 («Об искусстве обращения с людьми») книги персидского поэта Саади «Гулистан» («Цветник роз»).

Комиссаржевская В. Ф. (1864–1910) — артистка; в 1904 г. основала свой театр в Петербурге.

...стоит всего Брюсова и Урениуса... — Возможно, Чехов имеет в виду поэта-символиста Коневского (Ивана Ивановича Ореуса; 1877–1901).

Гиляровский В. А. (1853–1935) — поэт, беллетрист и журналист, оставивший воспоминания о Чехове.

...которое так хорошо назвал... Толстой. — Отзыв Л. Н. Толстого приведен секретарем писателя Н. Н. Гусевым («...это новое искусство, новая поэзия, как стихи Бальмонта, — какая-то пересоленная карикатура на глупость. Я в них ничего не понимаю». — Гусев Н. Н. Два года с Л. Н. Толстым. М., Посредник, 1912).

Книжечка с пышным заглавием — сборник рассказов и стихотворений Л. Н. Андреева и И. А. Бунина (Одесса, 1903).

...отчитал он Лику Мизинову... — Имеется в виду письмо Л. С. Мизиновой от 27 июля 1892 г. (Чехов, т. XV, с. 412).

Соловцов (Федоров) Н. Н. (1856–1902) — артист театра Корша, впоследствии антрепренер Киевского театра. С успехом играл в водевиле Чехова «Медведь», который посвящен ему автором.

Из книги «Воспоминания»*

Впервые — *Воспоминания*. Париж, 1950 г. До выхода книги ряд отрывков печатался под рубрикой «Автобиографические заметки» в нью-йоркской газете «Новое русское слово».

Тональность этой книги, в привычном толковании, определяют резкие, порой несправедливые и субъективные оценки, которые Бунин дал многим писателям-современникам — А. Блоку, К. Бальмонту, В. Брюсову, Ф. Сологубу, В. Маяковскому, Н. Гумилеву, З. Гиппиус, В. Хлебникову, М. Волошину и т. д. Все это объясняет сложное отношение к бунинским воспоминаниям со стороны эмигрантских кругов. Близко знавший Бунина журналист Андрей Седых вспоминает: «Летом сорок девятого года мы гостили в Париже и несколько раз бывали у Буниных, — главным образом на литературных „четвергах“... На одном из „четвергов“ Бунин прочел нам главу из своих „Воспоминаний“. Был он превосходным чтецом, но на этот раз быстро устал, — он был уже совсем болен, вышел к гостям в халате и весь вечер сидел в кресле, прикры-

тый пледом. Когда он кончил читать, в комнате наступило неловкое молчание... Н. А. Тэффи принялась что-то торопливо искать в своей сумочке. Г. В. Адамович сидел с красным от волнения лицом, — многих из тех, о ком говорил Бунин, он знал лично и расценивал совсем иначе. Иван Алексеевич поглядел вокруг, понял и обиделся.

— Что же вы молчите?

Чтобы выйти из неловкого положения, я шутиливо сказал:

— Ну и добрый же вы человек, Иван Алексеевич! Всех обласкали» (Седых Андрей. Далекие, близкие. Нью-Йорк, 1967, с. 228–229).

По словам Г. Адамовича, подробно разобравшего книгу, Бунин «отнесся к своему времени с высокомерием наполовину основательным, наполовину ошибочным, и оттого, читая его „Воспоминания“, хочется воскликнуть: как верно и до чего неверно!» (Адамович Г. Одиночество и свобода. Нью-Йорк, 1955, с. 110).

И все же будет справедливо внести в эту ставшую традиционной оценку некоторые новые акценты. За действительно односто-

ронными характеристиками, которые нередко давал автор современникам, терялось то позитивное начало, под знаком которого написан ряд принципиально важных для понимания Бунина глав. Это прежде всего воспоминания о Л. Толстом и Чехове, выдержанные в тонах глубокого пиетета (они вошли составной частью соответственно в книги «Освобождение Толстого», «О Чехове» и поэтому в данном томе публикуются в других разделах), а также о Рахманинове, Шаляпине, Эрте. Немало добрых слов сказано Буниным о реалистическом таланте Куприна, которого он высоко ценил. В исключительно уважительном духе выдержаны главы «Семеновы и Бунины», «Его высочество», «Джером Джером». Все это, кажется, позволяет не соглашаться с эмигрантской критикой, которая подчас за «деревьями» не видела «леса». Да, в оценках Бунина несправедливого очень много. Но ведь нельзя подходить к ним (и к нему) как к литературоведению, нельзя не учитывать особенностей необыкновенно эмоциональной, «взрывчатой» его художественной натуры. Это отмечали не раз и В. Н. Муромце-

ва-Бунина, и племянник писателя Н. А. Пущешников (в дневнике своем свидетельствующий, что среди «своих» прозвище у Бунина было «Судорожный»), и Г. Н. Кузнецова, записавшая, к примеру, в «Грасском дневнике»: «Конечно, многое надо отнести за счет обычной страстности И. А. Он кричал, например, вчера о Блоке: „лакей с лютней, выйди вон!“, чем заставил меня искренне расхохотаться, после чего стал смеяться и сам». И вот эта-то страстность, а также производная от нее пристрастность резко сказались на бунинских оценках — в дневниках, воспоминаниях, публицистике. Однако, быть может, именно в этой-то «страстности», даже и включая несправедливые крайности, и заключена некая ценность — только его, «бунинского» взгляда на искусство, литературу, современников...

И еще одно обстоятельство. Как и во многих его художественных произведениях, главным положительным героем и здесь выступает сам Бунин, с его мерой требовательности и высоким духовным, нравственным началом.

Автобиографические заметки*

«*Дома косые двухэтажные...*» — Бунин цитирует стихотворение Н. С. Гумилева «Старые усадьбы».

...*один из видных советских поэтов...* — Бунин имеет в виду советского поэта Кедрина Д. Б. (1907–1945) и его стихотворение «Подмосковная осень» (1937).

Старик ловко притворился... — Бунин неточно приводит фразу из воспоминаний К. Д. Бальмонта о Л. Н. Толстом (Апостолов Н. Н. Живой Толстой, М., 1928, с. 421).

Федоров А. М. (1868–1949) — поэт, беллетрист, драматург; приятель Бунина.

«*Бальмонт — один из вождей русского символизма...*» — Бунин цитирует с мелкими неточностями статью Г. Лелевича о Бальмонте (Литературная энциклопедия, т. 1, 1930).

Рахманинов*

Об отношении С. В. Рахманинова к Бунину рассказала в беседе с Л. Зуровым дочь композитора Татьяна Сергеевна: «Он, по-моему, прекрасно относился, очень любил Ивана Алексеевича... любил его стихотворения, рассказы,

говорил, что Иван Алексеевич все по-особенному слышит, рассказал даже, как он поправил какое-то слово, когда отец читал, и научил его, как его произносить нужно, — и о внутренней музыкальности его стихов говорил, и о том, как Иван Алексеевич читал вслух... Не было большего удовольствия для отца, как подарить ему хорошую книгу. А Ивана Алексеевича он читал часто, написал два романа на его стихотворения[89], жаль, что так редко их исполняют» (Зуров Л. Воспоминания. — «Новый журнал», Нью-Йорк, 1962, кн. 69). В предреволюционные годы Бунин и Рахманинов встречались и переписывались мало. В 1912 году, в бунинский юбилей, Рахманинов прислал телеграмму: «Примите душевный привет от суходольского музыканта. *Рахманинов*». После того как Бунин послал в 1915 году книгу рассказов и стихов «Чаша жизни» Рахманинову, тот отвечал: «Дорогой Иван Алексеевич! И я Вас неизменно люблю и вспоминаю часто наши давнишние с Вами встречи. Грустно, что они теперь не повторяются. Очень благодарю Вас за присылку Вашей последней книги. Был тронут.

27 апреля 1915 года. С. Рахманинов» (*Баборе-ко*, с. 227).

Бунин цитирует стихи А. Н. Майкова (1821–1897) «*Я в гроте ждал тебя...*». Известен также романс Н. Римского-Корсакова на эти стихи.

Джером Джером*

Джером Клапка (1859–1927) — английский писатель-юморист. В 1899 году посетил Россию, описав свои впечатления в статье «Русские, какими я их знаю».

Шаляпин*

Бунин познакомился с Ф. И. Шаляпиным в ноябре 1901 года, в Подольске, куда выехала группа литераторов и деятелей искусства, чтобы встретить Горького, отправившегося из Нижнего Новгорода в Крым и не получившего разрешения властей заехать в Москву. 13/26 ноября 1901 года Бунин пригласил Шаляпина на вечер литературного кружка «Среда»: «Дорогой Федор Иванович, позволь тебе напомнить, по общей просьбе моих товарищей, к которой, конечно, от всей души присо-

единяюсь и я, — о твоём обещании посетить наш *завтрашний* вечер. Мы, то есть небольшая компания пишущих, собираемся так еженедельно (по средам) на квартире Ник<олая> Дмитриевича Телешова (Чистые пруды, дом Терехова) для небольших чтений, разговоров и скромной выпивки и все будем чрезвычайно рады тебе. Если ты свободен. весь вечер, поедem часу в 9-м. Могу заехать за тобой, или заезжай ты ко мне в Большую Московскую гостиницу (№ 177). Если не свободен, — приезжай хоть попозднее, хоть на часок. Искренне уважающий тебя Ив. Бунин» («Федор Шаляпин». — *ЛН*, т. 1, 1957, с. 711–712). В дальнейшем Ф. И. Шаляпин стал частым гостем «Среды» (см. также: Телешов Н. Д. Записки писателя. М., Московский рабочий, 1966, с. 306–307).

...Шаляпин стал на колени перед царем! — 6 января 1911 г. на премьере «Бориса Годунова» в Мариинском театре растерявшийся Шаляпин невольно принял участие в манифестации хора, просившего увеличения жалованья. Весной того же года М. Горький писал Бунину с Капри: «Милый мой, славный мой друг, — поистине надо иметь душу каменную,

чтобы жить в эти проклятые черные дни, когда торгуют Толстым и Федор Шаляпин, гений народный, становится на колени перед Николаем Романовым, бездарнейшим из людей» (*Горьковские чтения*, с. 58). Инцидент с Шаляпиным получил широкую огласку и вызвал осуждение в демократических кругах.

...на торжественном сборище в Михайловском театре... — Бунин имеет в виду учреждение под председательством Стеклова «Свободной ассоциации для развития и распространения свободных наук». Горький, будучи членом Совета ассоциации, выступил с речами 9 и 16 апреля 1917 г.

...«бранил Шекспира, Бетховена». — Отрицательное отношение Л. Н. Толстого ко многим выдающимся деятелям искусства, в том числе к Шекспиру и Бетховену, было связано с его позднейшими воззрениями на задачи и сущность искусства. В своих работах «Что такое искусство?» (1897), «О Шекспире и драме» (1904) и др. он упрекал «господское» искусство в том, что оно непонятно народу. Особенно непримиримо Л. Н. Толстой относился к творчеству Шекспира, считая его пьесы безнрав-

ственными и художественно неправдоподобными.

Баттистини Маттиа (1857–1928) — итальянский певец, баритон. С 1893 г. неоднократно гастролировал в России. Бунин ошибается, говоря, что Баттистини пел в Одессе, когда ему было 74 года.

Его высочество*

Ольденбургский П. А. (1868–1923) — принц, принадлежал к младшей ветви Гольштейн-Готторнской линии Ольденбургского дома, ведущей начало от двоюродного дяди Петра III Георга-Людвига.

...один из Ольденбургских, Эгильмар... — Эгильмар правил в XII веке, документ 1108 года называет его «могущественным графом земель, пограничных между Саксонией и Фризией».

Родзянко М. В. (1859–1924) — один из лидеров партии октябристов, крупный помещик, в 1911–1917 гг. председатель 3-й и 4-й Государственной думы, а в 1917 — Временного комитета Государственной думы. Эмигрант.

...Филиппа Эгалите. — Филипп, герцог

Шартрский (1747–1793), во время французской революции перешел на сторону третьего сословия, голосовал в Конвенте за смертную казнь короля Людовика XVI и был назван парижской коммуной «Эгалите» — «Равенство». Казнен революционным судом.

...по соседству со своим отцом... — отец П. А. Ольденбургского А. П. Ольденбургский (1844–1926) — боевой генерал, отличившийся в кампании 1877–1878 гг., с 1896 — член Государственного совета.

Куприн*

Эта глава, в переработанном виде, объединила две статьи о Куприне — «А. И. Куприн» (газ. «Последние новости», Париж, 1937, № 5915, 5 июня) и «Перечитывая Куприна» (журн. «Современные записки», Париж, 1938, кн. 67).

Отец А. И. Куприна — Куприн И. И. (1834–1871) происходил из «детей лекарских учеников», служил письмоводителем у мирового посредника в Наровчате Фалина. Отмечая бунинскую тягу подчеркивать свое дворянское происхождение, М. К. Куприна-Иор-

данская вспоминает: «Однажды у нас за столом, когда разговор шел о родovitости, Александр Иванович сказал, что и у него мать княжна Куланчакова. На это Бунин ответил остротой:

— Да, но ты, Александр Иванович, дворянин по матушке. — Куприн побледнел, взял со стола чайную серебряную ложку и молча сжимал ее в руках до тех пор, пока она не превратилась в бесформенный комок, который он бросил в противоположный угол комнаты. Забыть это Бунину Александр Иванович не мог» (Куприна-Иорданская М. К. Годы молодости. М., 1966, с. 223). Мать Куприна Любовь Алексеевна (урожденная княжна Куланчакова, ок. 1840–1910) происходила из древнего рода татарских князей, игравших видную роль в жизни так называемого Касимовского царства, основанного Василием III для борьбы против Казанского ханства.

Киплинг Редиард (1865–1936) — английский писатель, которому Куприн посвятил статью (1908).

...приехал писатель Куприн... — Бунин гостил у Федорова в Люстдорфе, в мае 1897 г.,

где и познакомился с Куприным. Рассказ «Ночная смена» был напечатан в журнале «Мир божий» (СПб., 1899, № 2).

...его второй женой... — Вторая жена Куприна — свояченица Мамина-Сибиряка Е. М. Гейнрих (1882–1942).

...опровергается его же собственными автобиографическими признаниями в «Юнкерах»... — В автобиографическом романе «Юнкера» (1933) рассказано, в частности, о пробуждении в главном герое тяги к «писательству»: «Это была очень давнишняя мечта Александрова — сделаться поэтом или романистом» (Куприн А. И. Собр. соч., т. 6. М., 1958, с. 221).

Пильский П. М. (1876–1942) — критик и журналист.

Семеновы и Бунины*

Семенов Тянь-Шанский П. П. (до 1906 г. — Семенов; 1827–1914) — русский географ, статистик, ботаник и энтомолог; государственный деятель. Совершил ряд путешествий в Закаспий, Туркестан, на Тянь-Шань, руководил и организовывал экспедиции Н. М. Пржеваль-

ского, П. К. Козлова и т. д. Возглавлял работу по первой всеобщей переписи в России. Мемуары П. П. Семенова-Тян-Шанского изданы (второй том вышел в Москве в 1946 г.). Бунин тенденциозно пересказывает содержание первого тома мемуаров (опубликованного до революции), в частности главы о видном деятеле освободительного движения М. В. Петрашевском-Бутаевиче (1821–1866) и его кружке.

Данилевский Н. Я. (1822–1885) — участник кружка петрашевцев, впоследствии теоретик славянофильства и естествоиспытатель.

Эртель*

...семь томов собрания его сочинений... — Бунин имеет в виду Собрание сочинений А. И. Эртеля в семи томах с критико-биографической статьей Ф. Д. Батюшкова (Московское книгоиздательство, 1909; 5 и 6 тома — роман «Гарденины» с предисловием Л. Н. Толстого).

...один том писем. — «Письма А. И. Эртеля», под редакцией и с предисловием М. О. Гершензона. М., 1909.

Автобиография Эртеля дается Буниным в

пересказе (отрывки начинаются с тире). В вольном пересказе дана и вступительная статья к «Письмам А. И. Эртеля» историка литературы, философа и публициста М. О. Гершензона (1869–1925).

...посидеть в Петропавловской крепости, а потом пожить в ссылке в Твери... — Приехав в 1878 г. в Петербург, Эртель установил связи с революционерами-народниками, за что в начале 1884 г. был арестован и посажен в Петропавловскую крепость, где пробыл четыре месяца. Освобожден по состоянию здоровья, но с запрещением жить в Петербурге и Москве. Под гласным надзором Эртель находился в Твери до 1888 г.

Христа, «который костью стал в горле господ Михайловских»... — Михайловский Н. К. (1842–1904) — публицист и литературный критик, редактор журнала «Русское богатство». Свой социальный идеал Михайловский строил на основе биологического анализа сущности природы и человека. Крайний сторонник позитивизма, он воспринимал христианское учение, равно как и телстовское «непротивление злу» как явление обществен-

ной реакции.

Волошин*

Впервые — газ. «Последние новости», Париж, 1932, № 4187, 8 сентября.

«Борьба» — ежедневная большевистская газета, выходившая в Москве с 27 ноября (10 декабря) и по 6/19 декабря 1905 г. Официальным редактором-издателем был С. А. Скирмута (1863–1932), а Горький входил лишь в состав обширной редакционной коллегии. За публикацию воззвания Московского совета рабочих депутатов с призывом ко всеобщей стачке и вооруженному восстанию газета была закрыта; Скирмута приговорили к заключению в крепости на три года, но он эмигрировал.

Бунин цитирует автобиографию Волошина по «Книге о русских поэтах последнего десятилетия», под редакцией М. Гофмана (СПб. — М., 1909).

Потом было слышно, что он участвует в построении где-то в Швейцарии какою-то антропософского храма... — Увлечшись мистическим учением Рудольфа Штейнера

(1861–1925), Волошин участвовал в построении религиозного храма в швейцарском городе Дорнахе.

«Третий Толстой»*

В отношении к А. Н. Толстому, его творчеству и его личности особенно резко сказалась двойственность бунинской позиции, глубоко субъективное и пристрастное восприятие советской действительности в целом. Бунин исключительно высоко ценил огромный художественный дар А. Толстого («редкая талантливость всей его натуры, наделенной к тому же большим художественным даром», «все русское знал и чувствовал как очень немногие», «работник он был первоклассный» и т. д.). Но одновременно он находил в нем ряд неизвинительных человеческих слабостей, будто бы определивших судьбу Толстого. Немалую роль в этих оценках сыграл, конечно, и отъезд А. Толстого в Советскую Россию (1923 г.), обретение там признания и популярности уже в качестве одного из ведущих советских писателей, автора трилогии о революции и гражданской войне «Хождение по

мукам», повести «Хлеб» и т. д. Встречавшийся с Буниным в 1946 году в Париже К. Симонов приводит его слова о А. Толстом: «После <...> предварительного злого пассажа в адрес Толстого Бунин много и долго говорил о нем. И за этими воспоминаниями чувствовалось все вместе: и давняя любовь, и нежность к Толстому, и ревность, зависть к иначе и счастливей сложившейся судьбе, и отстаивание правильности своего собственного пути» (Симонов К. Об Иване Алексеевиче Бунине. — Литературная Россия, 1966, № 30, 22 июля).

Тенденциозность, ощутимая в этих воспоминаниях, была подогрета и некоторыми частными обстоятельствами. После описанной Буниным встречи с А. Толстым в 1936 году в Париже последний, вернувшись в Москву, также откликнулся на нее в статье «Зарубежные впечатления»: «Случайно в одном из кафе в Париже я встретился с Буниным. Он был взволнован, увидев меня... Я прочел три последних книги Бунина — два сборника мелких рассказов и роман „Жизнь Арсеньева“. Я был удручен глубоким и безнадежным падением этого мастера. От Бунина осталась толь-

ко оболочка внешнего мастерства» (Толстой А. Н. Полн. собр. соч., т. 13. М., 1949, с. 518). Вряд ли А. Толстой был до конца искренен, когда писал это. Как бы то ни было, отзыв этот стал известен Бунину и, бесспорно, обострил его неприязненное отношение к А. Толстому и его писательской судьбе. Впрочем, сложные отношения — дружба-вражда — не мешали Бунину по-прежнему высоко ценить талант А. Толстого. А. Седых вспоминает: «Бунин прочел „Петра I“ Алексея Толстого и пришел в восторг. Не долго думая, сел за стол и послал на имя Алексея Толстого, в редакцию „Известий“, такую открытку: „Алеша! Хоть ты и ..., но талантливый писатель. Продолжай в том же духе. И. Бунин“» (Седых Андрей. Далекие, близкие, с. 207). К этому роману Бунин возвращался не раз. 3 января 1941 года записал в дневнике: «Перечитывал „Петра“ А. Толстого вчера на ночь. Очень талантлив!» Примечательно, что накануне Отечественной войны Бунин писал именно А. Толстому (а также старому Другу Н. Д. Телешову) о своем желании вернуться домой. Письмо Толстому затерялось, открытка Телешову

кончалась словами: «Я сед, сух, но еще ядовит. Очень хочу домой». Очевидно, под влиянием полученного письма А. Толстой 17 июня 1941 года обращается к Сталину с обширным письмом, где дает высокую оценку бунинскому таланту и говорит о его значении как писателя: «Мастерство Бунина для нашей литературы чрезвычайно важный пример — как нужно обращаться с русским языком, как нужно видеть предмет и пластически изображать его. Мы учимся у него мастерству слова, образности и реализму» (*ЛН*, кн. 2, с. 396). В архиве А. Толстого сохранилось три черновых варианта письма Сталину с обширными и очень высокими По оценкам характеристиками Бунина-писателя. Начавшаяся Великая Отечественная война нарушила все планы. Известие о кончине А. Толстого настолько потрясло Бунина, что он в течение трех дней в дневниках за 24, 25 и 26 февраля 1945 года возвращается к этому событию (см. наст, т., с. 539). В письме к Я. Б. Полонскому от 9 марта 1945 года он говорит о Толстом, «смертью которого <...> действительно огорчен ужасно — талант его, при всей своей пестроте, был все-

таки редкий!» (Архив В. В. Лаврова).

Очерк «Третий Толстой» был напечатан в нью-йоркской газете «Новое русское слово», вслед за другими «Автобиографическими заметками». После того как ряд литераторов-эмигрантов выступили против тенденциозности бунинских воспоминаний, сам Бунин стал тревожиться за судьбу посланного в редакцию очерка об А. Толстом. Он писал Андрею Седых 20 января 1949 года: «Целую и за то, что защищаете Вы меня от клянущих меня за мои „Автобиографические заметки“, — за то, что не расплакался я в них насчет Блока, Есенина... Вскоре я пошлю в „Нов<ое> р<усское> слово“ мои заметки об Алешке Толстом...» (Седых Андрей. Далекие, близкие, с. 231). И еще, в апреле 1949 года: «Есть у меня зернистая вещь „Третий Толстой“ — об Алешке Толстом — с большими похвалами его таланту писательскому и меньшими — таланту житейскому» (там же, с. 231).

...«*декадентскую книжку стихов*»... — Речь идет о книге А. Толстого «Лирика» (изд. автора; СПб., 1907).

...*Соней Дымшиц*... — Речь идет о второй

жене А. Толстого С. И. Дымшиц.

Львов Г. Е., князь (1861–1925) — председатель совета министров и министр внутренних дел Временного правительства, после Октября — эмигрант.

Журнал «Грядущая Россия» — начал выходить в Париже в 1920 г., состав редакции: гр. А. Н. Толстой, М. А. Алданов, Н. В. Чайковский, В. А. Анри.

«Все это время работаю над романом листов в 18–20...» — Речь идет о первой части «Хождения по мукам» («Сестры»), появившейся в I–IV книгах парижского журнала «Современные записки» (1920–1921).

Наташа — Крандиевская Н. В. (1889–1963), третья жена А. Толстого, поэтесса.

Нобелевские дни*

Воспоминания посвящены обстоятельствам, связанным с присуждением и вручением Бунину премии Нобеля в области литературы за 1933 год. Бунин был отмечен Шведской академией после Кнута Гамсуна (1920), Анатоля Франса (1921), Бернарда Шоу (1925), Томаса Манна (1929), Синклера Льюиса (1930),

Джона Голсуорси (1932) и др. В официальном решении о присуждении Бунину премии говорилось: «Решением Шведской академии от 9 ноября 1933 года Нобелевская премия за этот год присуждается Ивану Бунину за правдивый артистический талант, с которым он воссоздал в художественной прозе типичный русский характер» (цит. по кн.: *Бабореко*, с. 283). На вопрос корреспондента французской газеты «Матэн», за какое именно произведение он получил, по его мнению, премию, Бунин ответил: «Возможно, что за совокупность моих произведений... Я, однако, думаю, что Шведская академия хотела увенчать мой последний роман „Жизнь Арсеньева“» (там же, с. 283). Из своей премии значительную часть (120 000 франков) Бунин выделил в пользу нуждающихся литераторов, но распределение этих сумм вызвало в эмигрантских кругах обиды. В ту пору, кстати, резко ухудшились — и без того неважные — отношения Бунина с Гиппиус и Мережковским (чья кандидатура также рассматривалась в 1933 году в Стокгольме, так что он даже предлагал Бунину «поделить» будущую премию, на что тот

ответил решительным отказом). Очень значительная сумма Нобелевской премии (почти 800 тысяч франков) в результате непрактичности, щедрости и доверчивости Бунина быстро стала таять. 10 мая 1936 года он заносил в дневник: «Да, что я наделал за эти 2 года <...> агенты, которые вечно будут получать с меня проценты, отдача Собрания сочинений бесплатно (речь идет о Собрании сочинений, выходявшем в 1934–1936 годах в Берлине, в издательстве „Петрополис“. — О. М.) — был вполне сумасшедший. С денег ни копейки доходу... И впереди старость, выход в тираж» (см. наст. том). «Бунин не купил ни клочка земли, ни дома. Единственное „недвижимое“ имущество — по весу и габаритам, которое приобрел Иван Алексеевич, стал большой радиоприемник. (Именно он в годы войны помогал ему ловить сводки Совинформбюро.)» (Лавров В. «Кличут и меня воспомина- нья...» — В журн. «Прометей», т. 14, М., 1987, с. 195). Уже к началу войны существование Бунина и его домочадцев поддерживалось во многом усилиями благотворительности (ср. в письме Н. Д. Телешову от 8 мая 1941 года:

«Был я „богат“, а теперь, волею судеб, вдруг стал нищ, как Иов» — *ЛН*, кн. 1, с. 623).

Киса Куприна — К. А. Куприна (1908–1980), дочь А. И. Куприна от второго брака, киноактриса и драматическая артистка, автор книги «Куприн — мой отец».

Телефон из Стокгольма... — В отсутствие Бунина, смотревшего фильм вместе с Г. Н. Кузнецовой, известие о присуждении ему премии получила его жена — В. Н. Муромцева, пославшая за Буниным жившего с ним в Грассе писателя Л. Ф. Зурова. Она вспоминала: «...я даю впервые по телефону в Данию интервью на французском языке — это волнует меня больше, чем сама премия. Спрашивают, давно ли во Франции? Когда покинули Россию? Приедем ли в Стокгольм и поеду ли я?

Слышу голоса внизу... и бросаюсь к лестнице, по которой поднимается Ян.

— Поздравляю тебя, — говорю я, целуя, — иди к телефону.

— Я еще не верю...

Он вернулся с Леней, Галя пошла к сапожнику, вспомнив, что я без башмаков, не могу выйти. Леня мне рассказал: „Вошел в зритель-

ный зал, пропустили даром. Галя обернулась и замерла. И<ван> А<лексеевич>“ смотрел на сцену. Я подошел. Наклонился, поцеловали сказал: „Поздравляю. Нобелевская премия ваша!..“ Дорогой я ему все рассказал. Он был спокоен» (Муромцева-Бунина В. Н. То, что я запомнила о Нобелевской премии. — «Новый журнал», Нью-Йорк, 1962, № 67).

...когда-то предлагали Льву Толстому... — Бунин ошибается, отрицая этот факт. Выходец из России, шведский инженер и изобретатель динамита, пацифист Альфред Нобель (1833–1896), как известно, оставил завещание, согласно которому проценты с его капитала должны были составить денежные премии: за лучшие произведения искусства, посвященные идее мира; за труды, направленные к осуществлению мира и сближению народов; за лучшие труды в области точных наук. Первая же премия (1897 г.) должна была быть присуждена Л. Н. Толстому. Узнав об этом, Толстой обратился с открытым письмом в газету «Стокгольм Тагеблат», отказываясь от премии, предлагая присудить ее не ему, а преследуемым царским правительством ду-

хоборам. В 1902 г., в связи с присуждением Нобелевской премии французскому поэту Сюлли-Прюдому, группа шведских писателей, художников и ученых (в том числе Август Стриндберг, Сельма Лагерлеф и т. д.) прислали Толстому адрес, выражая протест по поводу неприсуждения этой премии Толстому. Наконец, в 1906 г. в Стокгольме снова рассматривалась его кандидатура. Получив об этом известие, Толстой обратился к одному из своих шведских знакомых — А. А. Эрнефельту: «...по словам Кони, может случиться, что премию Нобеля присудят мне. Если бы это случилось, мне было бы очень неприятно отказываться, и поэтому я очень прошу вас, если у вас есть — как я думаю — какие-либо связи в Швеции, постараться сделать так, чтобы мне не присуждали этой премии. Может быть, вы знаете кого-либо из членов, может быть, можете написать председателю, прося его не разглашать этого, чтобы не делали» (Толстой, т. 76, с. 201–202). Эрнефельд выполнил просьбу Толстого, переслав в Швецию дословный перевод его письма.

...лишь один раз ездил в Англию. — Бунин

ездил в Англию по приглашению известной писательской организации — Пенклуба в 1925 г. (см. в наст. томе очерк «Джером Джером»).

Гальстрем (Хальстрем) *Пер* (1866–1960) — шведский писатель, с 1908 г. член Шведской королевской академии.

Дневники*

Бунин вел дневники в течение всей своей долгой жизни. О некоторых ранних своих записях сам он заметил: «Переписано с истлевших и неполных моих заметок того времени» («Жизнь Бунина», с. 27).

...это была барышня маленького роста с светлыми волосами... — В «Записях» Бунина о 1885 г. читаем: «На Рождество приехал домой через Васильевское, Эмилия Васильевна Фехнер, гувернантка Туббе. Тотчас влюбился. В гимназию больше не вернулся» (цит. по кн.: *Бабореко*, с. 12). Раннее увлечение Фехнер оставило след в душе Бунина. В. Н. Муромцева-Бунина рассказывает: «В 1937 году, когда Иван Алексеевич был в Ревеле, столице Эстонской республики, после вечера, где он вы-

ступал, подошла к нему полная, небольшого роста дама. Это была Эмилия!.. Они долго-говорили... Обо всех расспрашивала подробно. Иван Алексеевич взволнованно рассказал мне об этой встрече. Вспоминал он Эмилию и их неожиданную встречу и незадолго до смерти» («Жизнь Бунина», с. 41–42).

Жуковский В. А. (1783–1852) — поэт, один из основоположников русского романтизма. Внебрачный сын помещика А. И. Бунина и пленной турчанки Сальхи; получил отчество и фамилию от крестного отца — помещика А. Г. Жуковского.

...стихом размерным и словом ледяным не передашь... — Бунин неточно цитирует стихотворение М. Ю. Лермонтова «Не верь себе».

...приехала в Огневку В. — Очевидно, речь идет о В. В. Пащенко (1870–1918), мучительный роман с которой, закончившийся в 1894 г. разрывом, оставил неизгладимый отпечаток в душе Бунина; вызвал к жизни позднейший рассказ «В ночном море» (1924) и образ Лики в романе «Жизнь Арсеньева».

...с Волкенштейном в Москву к Толстому. — См. примеч. к наст, т., с. 655.

...бегство В. — 4 ноября 1894 г. В. В. Пащенко уехала из Полтавы, где они жили с Буниным, оставив записку: «Уезжаю, Ваня, не поминай меня лихом» (Бабореко, с. 45). В следующем году она вышла замуж за друга Бунина А. Н. Бибикова. *Евгений* — Е. А. Бунин (1858–1935), брат Бунина. *Юлий* — Ю. А. Бунин (1857–1921), старший брат Бунина.

...в первый раз приехал в П<е>т<ер>б<ург>... — См. «Автобиографическую заметку» в наст. т.

Кривенко С. Н. (1847–1907) — публицист либерально-народнического направления, член редакции журнала «Русское богатство».

Жемчужников А. М. (1821–1908) — поэт. Бунин высоко ценил его творчество и посвятил 50-летию литературной деятельности Жемчужникова статью «Поэт-гуманист» (журн. «Вестник воспитания», 1900, № 3). В книге В. Н. Муромцевой-Буниной читаем: «Нанес он визит и поэту Жемчужникову, с которым несколько лет состоял в переписке. Жемчужников сразу оценил его стихи и помогал на первых порах устраивать их в „Вестнике Европы“. Старший собрат принял молодого по-

эта с распростертыми объятиями, пригласил обедать и много рассказывал о прошлом» («Жизнь Бунина», с. 91).

Будищев А. Н. (1867–1916) — беллетрист, писавший под сильным влиянием Чехова и Достоевского.

Ладыженский В. Н. (1859–1932) — беллетрист, был близок с Чеховым и оставил о нем воспоминания. *Михеев В. М.* (1859–1908) — поэт и беллетрист, бытописатель Сибири.

Потапенко И. Н. (1856–1929) — беллетрист, получивший широкую известность после появления повести «На действительной службе» (1890), где выведен «идеальный» священник о. Кирилл Обновленский, ведущий в народе широкую филантропическую деятельность.

Баранцевич К. С. (1851–1927) — второстепенный беллетрист.

Мережковский Д. С. (1865–1940) — поэт, исторический романист, критик и теоретик символизма; представитель так называемого «старшего поколения» символистов.

Минский (Виленкин) Н. М. (1855–1937) — поэт-символист.

Савина М. Г. (1854–1915) — русская актриса.

Елпатьевский С. Я. (1854–1933) — писатель, публицист, представитель народнической литературы.

Давыдова А. А. (урожд. Горжанская; 1848–1902) — издательница журнала «Мир божий».

Муся — дочь Давыдовой М. К., в первом замужестве Куприна, во втором — Иорданская (1881–1966), издательница журнала «Мир божий» после смерти матери.

Попова О. Н. — издательница журнала «Новое слово». «В этот приезд у него (т. е. Бунина. — О. М.) заводятся знакомства среди молодых писателей: Федоров, поэт, романист, впоследствии и драматург, очень в себе уверенный сангвиник, подвижный, любящий путешествия; поэт и левый земский деятель Ладыженский, — милый наш Володя, человек редкой души. Он был маленького роста, владел крупным имением в Пензенской губернии; Михеев, необыкновенной толщины... знаток иностранной литературы, очень образованный и умный сибиряк; Будищев... Потапенко, — с ним я познакомилась в каком-то пе-

тербургском ресторане, куда мы однажды поздно ночью заехали с Иваном Алексеевичем. Он сидел один и пил красное вино. Меня поразило его странный синеватый цвет лица. А в пору их первых встреч он был красив, молод, хорошо пел, имел большой успех в литературе и у женщин...

Младшая дочь Давыдовой, еще совсем молоденькая, с горячими глазами, живая брюнетка, очень остроумная, вечно хохотавшая Муся, Бунину понравилась, и они подружились „на всю жизнь“. У них или в редакции „Русского богатства“ они познакомились с Елпатьевским, писателем, врачом и политическим борцом, побывавшим в сибирской ссылке, человеком большой привлекательности. Его дочь Леда, или Людмилочка, подруга Муси, в первый год знакомства с Буниным еще была гимназисткой. И они тоже „подружились на всю жизнь“» («Жизнь Бунина», с. 95–96).

М. В. — «Вера Николаевна не могла раскрыть эти инициалы» («Устами Буниных», т. 1, с. 350, примеч.). Отзвук на это мы находим в записи Г. Кузнецовой: «И. А. вчера вечером

рассказывал измену Арсеньева Лике в Кременчуге с некоей Марьей Васильевной, женой члена суда» (*Грасский дневник*, с. 294).

Станюкович К. М. (1843–1903) — писатель, оставшийся в литературе главным образом своими «Морскими рассказами». *Миров* — сценический псевдоним оперного певца В. С. Миролюбова (1860–1939), ставшего затем редактором-издателем популярного «Журнала для всех».

Думал о Святополке Окаянном... — Святополк I Окаянный (ок. 980-1019) — князь туровский (с 988 г.), киевский (1015–1019), старший сын Владимира I. В борьбе за киевский стол убил трех своих братьев Бориса, Глеба и Святослава. Изгнан Ярославом Мудрым; в 1018 г. с помощью поляков и печенегов вновь завладел Киевом, но был разбит.

Карташев А. В. (1875–1960) — министр религий во Временном правительстве (1917), профессор Духовной академии, историк русской церкви и общественный деятель.

Цакни Н. П. — владелец и фактический редактор газеты «Южное обозрение», в которой сотрудничал Бунин;

Цакни А. Н. (1879–1963) — его дочь, первая жена Бунина, с которой он обвенчался 23 сентября 1898 г. Брак оказался неудачным и окончательно распался в 1900 году.

...играла «В убежище сюда...». — Речь идет о романсе Бенжамена-Луи-Поля Годара (1849–1895), французского композитора и скрипача, «В убежище сюда направил нас господь...».

Беба... — Б. Н. Цакни, брат Анны Николаевны.

Доктор Рот — «специалист по нервным болезням, убедивший Бунина отдохнуть в деревне» («Устами Бунинных», т. 1, с. 351).

Поссе В. А. (1864–1940) — литератор и издатель, редактор журнала «Жизнь».

Куровский В. П. (1869–1915) — художник, хранитель Одесского музея. По воспоминаниям Муромцевой-Буниной, «Иван Алексеевич очень ценил Куровского и „несколько лет был просто влюблен в него“. После его самоубийства, во время первой мировой войны, он посвятил ему стихотворение „Памяти друга“, где поэт объясняет, чем Куровский был ему так близок...» («Жизнь Бунина», с. 113).

Стихотворение «Памяти друга» см. в т. 1 наст. собр. соч.

...умер Соловцев... Оч<ень> болен Толстой...
— Соловцев Н. Н. (1856–1902) — артист, в 70-х годах играл в Таганрогском театре, где с ним познакомился Чехов; позднее играл в театре Корша и театре Абрамовой. Чехов посвятил ему водевиль «Медведь». О смерти Соловцева Чехов сообщает в письме жене О. Л. Книппер от 15 января 1902 г.; о тяжелом заболевании Толстого («Т<олстой> очень плох... Вероятно, о смерти его услышишь раньше, чем получишь это письмо») в письме ей же, от 27 января 1902 г. — Чехов, т. XIX, с. 232)

...«Осенью» Бунина... — В письме О. Л. Книппер от 31 января 1902 г. Чехов сообщает: «„Осенью“ Бунина сделано несвободной, напряженной рукой, во всяком случае купринские „В цирке“ гораздо выше» (там же, с. 234). О приезде Горького в Крым Чехов извещает О. Л. Книппер в письме от 12 ноября 1901 г.

...приезжают Бунин и Нилус... — Нилус П. А. (1869–1943) — художник и писатель, приятель Бунина. См. о нем статью Бунина «Памяти Нилуса» (Собр. соч. в 9-ти томах, т. 9, с.

475–476).

Ярцев Г. Ф. (ум. в 1918) — врач, художник-любитель; в его доме в Крыму первое время жил Чехов.

Кульман Н. К. (1871–1940) — философ-идеалист и критик. Близкий знакомый Буниных в эмиграции.

Найденов (Алексеев С. А.; 1868–1922) — драматург, приобрел широкую популярность пьесой «Дети Ванюшина», показывающей конфликт «отцов и детей» в купеческой среде. Так, служивший приказчиком в магазине готового платья Алексеев получил Грибоедовскую премию за «Детей Ванюшина» и стал драматургом Найденовым.

Лиза Дитерихс — приятельница Федорова.

«*Бунин почему-то в Новочеркасске*». — В Новочеркасске жила в это время сестра Бунина М. А. Ласкаржевская, у которой находилась их мать.

Голоушева Е. И. — певица, жена писателя С. С. Голоушева (Сергея Глаголя).

Софья Павловна — Бонье С. П. (ум. в 1921 г.), ялтинская знакомая Чеховых.

Буковецкий Е. И. (1866–1948) — художник,

приятель Бунина.

Уточкин С. И. (1876–1916) — спортсмен и один из первых русских авиаторов.

...отъезд с Верой в Палестину. — В 1906 г. Бунин познакомился с В. Н. Муромцевой (1881–1961), которая стала его женой. Вместе с ней в 1907 г. он совершил путешествие в «святую землю». Впечатления от этой поездки легли в основу написанных позднее рассказов и очерков о Востоке, объединенных затем в сборник «Тень Птицы» (Париж, 1931). См. наст. собр. соч., т. 3.

...сверг Христос в озеро стадо бесноватых свиней. — Согласно Евангелию, Христос повелел бесам, овладевшим человеком, выйти из него и войти в стадо свиней: «и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло» (Евангелие от Луки, гл. 8).

...мы с Колей... — Пушешников Н. А. (1882–1939), племянник Бунина, переводчик Тагора, Киплинга, Голсуорси, Джека Лондона.

Таганок милый, трогательный... — В это время (3–8 июля 1911 г.) Бунин работает над рассказом «Сто восемь» (позднее названным «Древний человек»), в котором отразились

впечатления от встреч с Таганком (см. наст. собр. соч., т. 3).

Николай Осипович — Н. О. Ромашков, домашний учитель Бунина. См. о нем в наст. т. «Автобиографическая заметка», с. 545.

Конфуций (ок. 551–479 гг. до н. э.) — древнекитайский мыслитель, основатель этико-политического учения конфуцианства.

Придет время... — Как и следующий «стих» («Три сестры жили, три Марии Египетские были...»), использован Буниным в рассказе 1913 г. «Я все молчу» (см. наст. собр. соч., т. 3).

Читал биографию Киреевского. — Очевидно, биографию братьев Киреевских — И. В. Киреевского (1806–1856), философа, публициста, литературного критика, и П. В. Киреевского (1808–1856), фольклориста, археолога, археографа, переводчика и публициста; см.: Лясковский В. Братья Киреевские. СПб., 1899; Князев Г. Братья Киреевские. СПб., 1898.

Что за прелестный человек Яков... — Некоторые черты Якова отразились затем в герое рассказа «Божье древо» (1927) Якова Нечаева.

Перебирали с Юлием... «тронувшихся» в на-

шем роду... — Здесь обнажается автобиографическая основа повести Бунина «Суходол» и ее героев, в которых течет «бунинская кровь», с их «странностями» выморочного «рыцарского» сословия.

Начал «Человека»... — по всей вероятности, рассказ «Братья».

...никаких муратовских сатиров... — Речь идет о книге «Образы Италии», т. II (Рим — Неаполь и Сицилия) (М., 1912) искусствоведа П. П. Муратова (1881–1951).

...рассказ «Неизвестный». — Речь идет о замысле рассказа «Казимир Станиславович» (1916) — см. наст. собр. соч., т. 4.

...в Марфо-Мариинской обители на Ордынке... В Грибоедовском переулке дома Грибоедова никто не мог указать. — Впечатления от посещения московских уголков, церквей и соборов, в том числе и Марфо-Мариинской обители, позднее отобразились в рассказе «Чистый понедельник» (1944).

Занатьевский монастырь — женский монастырь XVI в. в Москве, между ул. Остоженкой и берегом реки Москвы. В 30-х годах частично разобран.

Вифания — Спасо-Вифанский мужской монастырь; основан в 1783 г. Находился в 3-х верстах от Троице-Сергиевской лавры.

Читал свое воззвание о евреях. — Обращение в защиту евреев было написано М. Горьким при участии Леонида Андреева и Федора Сологуба в связи с обвинениями евреев, живших в приграничных областях, в шпионаже и напечатано в газете «Биржевые ведомости» (1917, № 146448). Позднее М. Горький выступил с Обращением в защиту евреев в сборнике «Щит» (Пг., 1916).

Тихонов (Н. Серебров) А. Н. (1880–1956) — горный инженер, литератор, принимавший участие во многих литературно-издательских мероприятиях Горького.

...с Ильей Толстым... — Толстой И. Л. (1866–1933), второй сын Л. Н. Толстого.

Корил Ф. А. (1852–1915) — основатель и владелец драматического театра в Москве.

Шкляр Н. Г. — участник Книгоиздательства писателей в Москве, беллетрист. *Зилов* Л. Н. (1883–1937) — поэт и детский писатель.

Аяшко (Лященко) Н. Н. (1884–1953) — русский советский писатель, в 1910-е годы член

«Молодой Среды».

«*Всенощное бдение*» — написано Рахманиновым в 1915 г. и посвящено исследователю и издателю православной музыки С. Смоленскому.

Дмитрий (Димитрий) Туптало, митрополит Ростовский (1651–1709) — русский церковный деятель и духовный писатель, борец против раскола, активный сторонник преобразований Петра I; канонизирован православной церковью.

Серафим Саровский (1760–1833) — монах Саровской пустыни, чья беспорочная жизнь описана в ряде церковных работ («Сказания о жизни и подвигах блаженной памяти о. Серафима». М., 1931; «Сказание о старце Серафиме» архимандрита Сергия, 1858, и др.).

Записки Дашковой... — Дашкова Е. Р. (1743–1810) — княгиня, президент Российской академии. «Записки» Дашковой (впервые на русском языке — в 1859 г. в Лондоне), при крайней субъективности, содержат множество исторических фактов о времени царствования Екатерины II.

Коринфский А. А. (1868–1937) — поэт. В эми-

грации оставил воспоминания литературно-политического характера. Запись Бунина от 23 февраля 1916 г. дается по кн. «Жизнь Бунина», с. 67–68. В книге «Устами Буниных» произведено сокращение составителем.

Лебедев В. П. — поэт, секретарь редакции Журнала «Север» (1892–1895).

Михеев — см. примеч. к наст. т.

Случевский К. К. (1837–1904) — поэт и прозаик, один из предшественников символизма.

Чириков Е. Н. (1864–1932) — прозаик и драматург.

Тальников Д. Л. (1882–1961) — литературный критик.

Хвостов А. Н. (1872–1918) — министр внутренних дел России (1915–1916), председатель фракции правых 4-й Государственной думы; расстрелян органами ВЧК.

Горемыкин И. Л. (1839–1917) — министр внутренних дел (1895–1899), председатель совета министров (1906 и 1914–1916); противник 4-й Государственной думы и «прогрессивного блока»; ставленник Г. Е. Распутина.

Бёклин Арнольд (1827–1901) — швейцар-

ский живописец, представитель символизма и стиля «модерн». В фантастических сценах сочетал символику с натуралистической достоверностью.

...и *Фра Беато и Анджелико, и Барыбой Городецкого*. — Анджелико (собств. Фра Джованни да Фьезоле, прозвище Беато Анджелико; ок. 1400–1455) — итальянский живописец, представитель Раннего Возрождения. Барыба — персонаж произведения не Городецкого, а повести «Уездное» (1912) Е. И. Замятина (1884–1937).

...книгу *Н. В. Давыдова...* — «Воспоминания» Н. В. Давыдова (1826–1916), сына декабриста В. Л. Давыдова.

«Дневник» *Башкирцевой М. К.*, художницы (1860–1884), напечатан в 1887 г. Близ Полтавы находилось имение ее родителей, и Бунин, находясь в Полтаве, встречался с ее братом.

Дневник с августа 1917 г. до мая 1918 г. включительно — автограф, две тетради. Рукопись принадлежала Павлу Николаевичу Муромцеву, брату жены Бунина, Веры Николаевны, после кончины П. Н. Муромцева — его жене, Марии Федотовне Муромцевой. Во время

второй мировой войны дневник, по ее словам, был похищен вместе с целой корзиной других рукописей Бунина. Его купил у какого-то литератора артист Н. П. Смирнов-Сокольский; впоследствии его наследники передали рукопись в ГБЛ. Некоторые отрывки Смирнов-Сокольский опубликовал в журнале «Новый мир» (1965, № 10). Рукопись, местами бегло написанную, нелегко разбирать, и те, кто для него переписывали на машинке, допустили много неточностей и ошибок. Кроме того, Смирнов-Сокольский вольно обращался с текстом и, сокращая, не обозначал пропуски отточием. Эта публикация изобилует большим количеством искажений текста, есть ошибки в датах, неверно прочитаны некоторые собственные наименования.[90]

Стр. 369. *Маня... Лидя Лозинская.* — В с. Глодове, Орловской губ., бывали у Бунина Лидия Алексеевна Лозинская и ее сестры Маня и Зина, дочери местного лавочника. Маня была замужем за П. А. Пушешниковым (?-1945), зубным врачом, братом Н. А. Пушешникова. Матери Пушешниковых, С. Н. Пушешниковой (?-1942), двоюродной сестре Бунина, принадле-

жалю в Глотове имение Васильевское, где он обычно проводил лето и многое здесь написал.

Отослал книгу Нилуса Клестову. — Рукопись книги рассказов П. А. Нилуса «На берегу моря» была послана Буниным Н. С. Клестову (псевд. Ангарский; 1879–1943), заведовавшему практическими делами Книгоиздательства писателей в Москве. Бунин редактировал рукопись этой книги и держал корректуру. Вышла в феврале 1918 г.

Письмо Нилусу — 30 июля 1917 г., см.: «Письма Бунина Нилусу» в журн. «Русская литература», 1979, № 2.

Архаламеевская ночь — искаж. Варфоломеевская ночь, массовые убийства гугенотов, приверженцев кальвинизма, католиками в ночь на 24 августа 1572 г. (день св. Варфоломея) в Париже.

Колонтаевка — имение глотовских помещиков Бахтеяровых. Изображено Буниным в «Митиной любви» под именем Шаховское. О Колонтаевке — стихи Бунина «Рыжими иголками...».

Предтечево — село, где было имение А. А.

Муромцева, двоюродного дяди В. Н. Муромцевой-Буниной. Он является прототипом улана Черкасова в рассказе «Натали».

Ф<едор> Д<митриевич> — лесник, охотник, бывший дворовый Пушешниковых; жил в избушке в лесу; мужики считали его колдуном.

Скородное — соседний лес; принадлежал помещикам Победы — мовым.

Гоц А. Р. (1882–1940) — эсер. В 1917 г. председатель ВЦИК. После Октябрьской революции организовал антисоветский мятеж. *Дан* (Гурвич) *Ф. И.* (1871–1947) — один из лидеров меньшевиков. В 1917 г. член исполкома Петроградского совета, ВЦИК. В 1922 г. выслан за границу.

Авксентьев Н. Д. (1878–1943) — один из лидеров эсеров; министр внутренних дел во втором коалиционном Временном правительстве Керенского. Позднее эмигрировал.

Керенский А. Ф. (1881–1970) — один из лидеров партии эсеров, премьер-министр Временного правительства и верховный главнокомандующий. Эмигрировал в Париж, где издавал газету «Дни», в которой печатался Бунин.

Женя — Е. И. Ласка ржевский (1899–1919),

сын сестры Бунина, Марии Алексеевны.

«Новая жизнь». — Организатором, редактором и пайщиком этой газеты был Горький. Он просил Бунина сотрудничать в ней. Издавалась в Петрограде с 18 апреля (1 мая) 1917 г. по июль 1918 г.; с июня 1918 г. выходила в двух изданиях — в Петрограде и в Москве.

Шмелевы лгут, лгут про русский народ! — Шмелев Иван Сергеевич (1873–1950). Н. А. Пушешников пишет в дневнике 21 апреля 1918 г. о споре на собрании Книгоиздательства писателей: «Шмелев говорил чепуху о религии и русском народе. Иван Алексеевич потом сказал <...> „Ты слышал, что он несет? Что это? Бред сумасшедшего? И в какое время! В какое страшное время. И ведь кто это говорит? Это говорит не какой-нибудь захолустный сельский учитель, а знаменитый писатель, якобы понимающий свою страну, знающий свой народ!“» (Здесь и в дальнейшем цитирую дневники Пушешникова по рукописи, хранящейся в Музее И. С. Тургенева в Орле. Н. А. Пушешников, литературно одаренный человек, был близок ему: на многое в литературе и в жизни они смотрели одинаково. Днев-

ники Пушешникова достоверны, и Бунин отдельные его записи включал в свой дневник.)

«*Раннее утро*». Прочел первый день московского совещания. — Газ. «Раннее утро» (М., 1917, № 185, 13 августа) сообщала о «Всероссийском государственном совещании», проходившем в Большом театре под председательством Керенского. Газ. «Русская воля» оценивала совещание как столкновение «буржуазии с революционной демократией». Делегаты большевиков получили на конференции наказ огласить свою декларацию и демонстративно покинуть совещание.

Элефантина — остров на Ниле.

Статья Кусковой. — Кускова Е. Д. (1869–1958) — публицист. В 1922 г. выслана за границу. О ней Бунин сказал: «Эта вечная нестерпимая резонерша мадам Кускова». По его мнению, она принадлежала к той интеллигенции, которая не знала русской деревни и русского народа. Критическое изображение крестьянства, — как в его «Деревне», например, — казалось людям этой среды чрезмерным сгущением красок. Он говорил Пушешникову 15 августа 1917 г.: «Вообще у нас ни о

чем нельзя писать отрицательно. Про интеллигенцию нельзя. Про молодежь, про студенчество нельзя, про мужиков тоже нельзя. Разве это не цензура? У нас существует, собственно говоря, цензура так называемого общественного мнения. Самая ужасная! Можно отрицательно писать только про правительство, про жандарма, городского, офицера и проч. Лесков попробовал написать „На ножах“ и „Некуда“ и погубил всю свою карьеру; навеки погубил. Ему этого до сих пор простить не могут. А ведь он написал много поистине замечательных вещей».

Читал... Масперо о Египте... о путешествии Бауку... — В книге французского ученого Масперо «Древняя история. Египет, Ассирия» Бунина захватило повествование о царском конюшом Бауку, посланном по приказу фараона Рамзеса II во вражеский стан к Тиру и Сидону.

Верной Ли (1856–1935) — английская писательница, автор романов, комедий, трудов по истории искусства и культуры.

Кресты. — В. Н. Муромцева-Бунина вспоминает: «Одной из наших частых прогулок

была прогулка к так называемым Крестам, то есть к перекрестку дорог по направлению к синеющему вдали лесу, мимо ветряной мельницы, где жил очень странный лохматый мельник со своей любовницей, некогда богатый, а теперь все бедневший и бедневший, все ниже и ниже падавший человек, отчасти послуживший прототипом к Шаше („Я все молчу“).

Перечитываю «Федона» — то есть сочинение древнегреческого философа Платона (ок. 427 — ок. 347 до н. э.) о Сократе, написанное в форме диалога. Бунина необычайно волновала смерть Сократа, осужденного на казнь (принял яд) за его учение, которое он излагал устно; записано учениками Ксенофонтом и Платоном. Сократ стремился к нравственному возрождению общества в борьбе с софистами, пришедшими к скепсису и к утверждению относительности нравственных понятий, отстаивавшими прагматические воззрения на жизнь в противоположность поискам абсолютной истины. Нравственные идеи Сократа находят выражение в творчестве Бунина, в частности в рассказах «Возвращаясь в

Рим» и «Бернар» (см. комментарий к рассказу «Бернар» в 5-м т. наст. изд.).

Мартов (Цедербаум Ю. О.) (1873–1923) — меньшевик, с 1919 г. член ВЦИК. Эмигрировал в 1920 г.

Деревья... точно бёклиновские — то есть чем-то, красками, схожие с живописью швейцарского художника Бёклина. Бунин говорил, что «поэты не умеют описывать осень, потому что они не описывают красок и неба. Французы: Эредиа, Леконт де Лиль достигли необычайного совершенства в описаниях».

Начал читать Н. Львову. — Львова Н. Г. (1891–1913) — автор сборника стихов «Старая сказка», с предисловием В. Я. Брюсова, который посвятил ей книгу «Стихи Нелли»; двадцати двух лет покончила самоубийством. О ней писали Эренбург и Ахматова.

Вилье де Лиль-Адан (1838–1889) — французский писатель. Принадлежал к группе поэтов «Парнас», затем примкнул к символизму. Брюсов предсказывал, что «Жестокие рассказы» станут произведениями классическими для многих поколений.

«Стихи духовные», СПб., 1912.

Аресты великих князей. — Газ. «Русское слово» (1917, № 192, 23 августа) писала: «В ночь на 22 августа во дворцы, занимаемые великим князем Михаилом Александровичем, в Гатчине, и великим князем Павлом Александровичем, в Царском Селе, прибыли в автобусах следственные власти, а также комиссар над петроградским градоначальством. По распоряжению Временного правительства были подвергнуты домашнему аресту великие князья <...> Как выяснилось, во время арестов великих князей присутствовал А. Ф. Керенский».

Книга Полевого Н. А. (1796–1846) — «История народа русского» (т. 1–6).

Дочитал Гиппиус... ни одного живого слова... — Гиппиус З. Н. (1869–1945) (псевдоним — Антон Крайний) — писательница, критик, жена Д. С. Мережковского. Отношение Бунина к ней было сложным. Есть немало его резких высказываний о ней в дневниках и письмах; но при всем при том в эмиграции они часто бывали друг у друга, читали стихи, спорили о литературе. Вера Николаевна пишет 22 августа (4 сентября) 1921 г.:

«Вечером Ян и Зинаида Николаевна долго спорили о Толстом и Достоевском. Они спорили хорошо, давали друг другу говорить. Ян доказывал, что у Толстого такие же глубины, как у Достоевского, и что он тоже всего касался. Зинаида Николаевна утверждала, что Толстой гармоничен, а Достоевский нет, и поэтому Достоевский сумел коснуться тех темных сторон человека, которых Толстой не касался, и привела пример щигалевщины. Ян говорил, что Толстой всегда думал о смерти, а Достоевский нигде не писал о ней. Зинаида Николаевна возразила на это, что Достоевский как бы перешагнул смерть и думал о том, что дальше, пример: Зосима. Затем Зинаида Николаевна доказывала, что Толстой, отрицая государство, не дал форму, тогда как Достоевский дал, сказав, что государство должно превратиться в церковь. Ян временами очень хорошо говорил, он возражал и на гармоничность Толстого, приводя в пример отношение его к половому вопросу („Дьявол“, „Крейцера соната“ и т. д.)» (журн. «Даугава», Рига, 1980, № 10, с. 121–122).

Иногда ошибочно пишут в зарубежной ли-

температуре, будто между Буниным и Гиппиус лежала такая пропасть, что он, когда Зинаида Николаевна скончалась, не захотел прийти на похороны. А вот что пишет Вера Николаевна в дневнике 9 сентября 1945 г.:

«Через минуту опять звонок, и я увидела белое пальто — дождевик Яна. Я немного испугалась. Он всегда боялся покойников, никогда не ходил ни на панихиды, ни на отпевания. Он вошел, очень бледный, приблизился к сомье, на котором она лежала, постоял минуту, вышел в столовую, сел в кресло, закрыл лицо левой рукой и плакал. Когда началась панихида, он вошел в салон <...> Ян усердно молился, вставал на колени. По окончании подошел к покойнице, поклонился ей земно и приложился к руке. Он был бледен и очень подтянут» (журн. «Даугава», Рига, 1980, № 10, с. 121),

Митя — Пушешников Д. А. (?—1954), юрист, брат Н. А. Пушешникова.

...*Объявление Керенского...* — «Русское слово» (1917, № 196, 28 августа) опубликовало воззвание «От министра-председателя» Керенского: «26 августа генерал Корнилов при-

слал ко мне члена Государственной думы В. Н. Львова с требованием Временному правительству передать генералу Корнилову всю полноту власти» Керенский, сообщалось далее в воззвании, уволил Корнилова от должности верховного главнокомандующего, объявил Петроград на военном положении.

Арсик — Бибиков А. Н. (1873–1927), актер и киноактер, друг Бунина; автор стихотворений и рассказов, печатавшихся в журналах «Юная Россия», «Наш журнал», член Московского литературно-художественного кружка.

Рышковы — соседи Буниных по имению в Озерках, дальние родственники.

Каледин А. М. (1861–1918) — атаман войска Донского. В октябре 1917 г. возглавил антисоветский мятеж.

3-го сентября. — Бунин читал в журн. «Летопись» «Воспоминания» Ф. Шаляпина; по его мнению, «есть лживые и безвкусные места (сцена с горничной)». Он говорил, — пишет Пушешников, — что «Горький исправлял эти записки. Это чувствуется».

«Русское слово» от 31-го и 1-го. — 31 августа напечатана заметка «Капитуляция ген.

Корнилова»; а 1 сентября — заголовок во всю страницу: «Ликвидация Корниловского мятежа»; большая часть его войск перешла на сторону Временного правительства.

Каменев Л. Б. (1883–1936) — член ЦК партии большевиков, был представителем партии в Петроградском совете и в его исполкоме, ВЦИК. Редактор газ. «Правда».

Стеклов (Нахимкис) Ю. М. (1873–1941) — в 1917 г. член исполкома Петроградского совета.

Газеты... переворот. — «Русское слово» сообщило 3-го августа: «Кризис власти. — Провозглашена республика. — Арест ген. Корнилова... Отставка... Авксентьева...»

Либер (Гольдман) М. И. (1880–1937) — в 1917 г. член исполкома Петроградского совета, ВЦИК.

Кишкин Н. М. (1864–1930) — кадет, в 1917 г. входил в состав Временного правительства.

Жемчужников А. М. (1821–1908) — поэт, один из создателей Козьмы Пруткова. Много позднее, вспоминая свои начальные литературные успехи, Бунин о нем сказал: «Жемчужников, проводивший меня в „Вестник Ев-

ропы“».

Савинков Б. В. (Ропшин) (1879–1925) — эсер, во Временном правительстве — товарищ военного министра; писатель.

...письмо Кусковой. — Бунин писал ей: «С величайшим удовольствием увидел сегодня, что из списков сотрудников „Власти народа“ внезапно исчезло мое имя. Вам хорошо известно, сколь мало заинтересован я числиться в нем, но ведь это нарушение самой элементарной пристойности, дерзость, на которую я впервые натываюсь в редакционном мире. Совершенно уверенный, что это сделано без вашего ведома, пишу все же вам, так как приглашали меня во „Власть народа“ вы» (Музей Тургенева). Позднее Бунин сообщал брату Юлию Алексеевичу, что Кускова прислала письмо, «вывертывается. Я ответил ей очень ласково» (там же). Пятого октября 1917 г. он также писал Ю. А. Бунину: «Из „Новой жизни“ меня, слава Богу, вычеркнули».

Декларация правительства... — Опубликовано за подписью А. Керенского в газ. «Русское слово», 1917, № 220, 27 сентября, под заглавием «Новая власть».

Брешко-Брешковская Е. К. (1844–1934) («Бабушка») — один из лидеров партии эсеров, в 1917 г. поддерживала Временное правительство. В 1919 г. эмигрировала.

Логофетова усадьба... Наше родовое. — Имение принадлежало когда-то матери Бунина, потом помещику Логофету и, наконец, его нищему сыну, пьянице. В этой усадьбе над ним совершилось возмездие. Брат Бунина, Юлий Алексеевич, участник народнической подпольной работы, скрывался от полиции у родителей. Его арестовали по доносу. «...На следующий день, — пишет В. Н. Муромцева-Бунина, — как Логофет донес на Юлия, его убило дерево, которое рубили в саду» («Жизнь Бунина», с. 24). Об этом — в «Жизни Арсеньева», где имена вымышленные. Усадьбу Логофета Бунин также взял для рассказа «Муза» (см. коммент., т. 5 наст. изд.).

Эрфуртская программа — принята социал-демократической партией Германии на съезде в Эрфурте в 1891 г.

Милюков П. Н. (1859–1943) — историк, публицист; министр иностранных дел Временного правительства. В эмиграции, в Париже, из-

давал газету «Последние новости», в которой часто печатался Бунин.

Бурцев В. Л. (1862–1942) — публицист.

Маша — Бунина М. А. (1873 — нач. 1930-х гг.).

Софья — С. Н. Пушешникова.

...Спустить *шкуру... со всех этих Венгеровых*. — Венгеров С. А. (1855–1920) — историк литературы, библиограф; возглавлял много-томное издание «Русская литература XX века». Для Бунина неприемлемо было освещение декадентской литературы в этом издании. Н. А. Пушешников пишет: Иван Алексеевич читал биографию А. Белого в «Истории русской литературы» Венгерова, написанную Ивановым-Разумником. «Он кричал, кусал кулаки, бросался на свой малиновый диван вниз лицом.

— Я теряюсь! У меня нет сил выразить то, что я испытал, читая эту биографию А. Белого — это какое-то исчадие книжности!» Белый, продолжал Бунин, «не может сказать ни единого простого человеческого слова! Все у него надуманное, мертвое, книжное!.. Ни одного живого слова. И главное: об этом никто

не кричит, никто не говорит, точно во всем этом нет ничего показательного, страшного даже».

Подобные высказывания дают повод иным критикам утверждать, будто бы Бунин совершенно отвергал, по его определению, «новую литературу» — модернистские течения двадцатого века, — в своих стихах и в прозе лишь продолжал и развивал традицию реализма девятнадцатого века. На деле он видел в современной ему литературе обновляющие начала и говорил, что модернисты внесли новые темы, новые мотивы. А его собственная проза в последних книгах стала более легкой, прозрачной, лирической, и он ощущал даже общность своего творчества с творчеством импрессиониста Марселя Пруста. В 1951 году Бунин писал Л. Д. Ржевскому: «„Естественно, — пишете вы, — что реалист Бунин не приемлет символизма Блока“! Называть меня реалистом значит... не знать меня как художника. „Реалист“ Бунин очень и очень приемлет многое в подлинной символической мировой литературе». Ржевский обращал Бунина целиком в прошлое, безоговорочно привя-

зывал его творчество к «традиции». В. Н. Муромцева-Бунина говорит в одном из писем, возражая на суждения, аналогичные тому, что писал Ржевский, — несомненно, повторяя мысль самого Бунина: Иван Алексеевич, когда писал, никогда не думал о традиции.

«Село Степанчиково» — повесть Достоевского.

Всю жизнь... «о подленьком». — Бунин иногда резко критически высказывался о Достоевском, но все же, несмотря ни на что, для него Достоевский — гениальный писатель (см.: *Бабореко*, с. 317).

Арсик — сын Е. А. Бунина; род. в 1917 г. В. Н. Муромцева-Бунина писала Ю. А. Бунину 18 октября 1917 г.: «Наши из Ефремова приехали, на Яна это подействовало хорошо. Он очень полюбил Арсика, все плюется и говорит, „как бы не сглазить этого ангела“».

...хутор Лукьян Степанова. — По-видимому, этот хутор и его владелец дали впечатления Бунину для изображения Лукьяна Степанова в рассказе «Князь во князьях», жившего с семьей в землянке, хотя по своим средствам мог бы жить в хорошем доме.

Убирался, запаковывал черный сундук. — О сборах к отъезду в Москву, которые были начаты несколько раньше, Н. А. Пушешников записал в дневнике: «Бунин складывал в громадный железный сундук охотничье ружье, фотоаппарат, тропические белые шлемы, в которых он путешествовал на Цейлон и в Африке <...> Потом мы убирали книги дедовской библиотеки: первые издания Карамзина, Баратынского, Веневитинова, „Аббаддонну“ Полевого, „Камчадалку“ Калашникова и пр. („Кота Мурра“ <Гофмана> в переводе Кетчера, Лажечникова). Была также, в числе прочих, книга, подаренная Бунину Чеховым, с надписью: „Милый Иван Алексеевич, я тоже когда-то писал стихи, и написал два стихотворения“ <...> „И он, — пишет Бунин, — сказал мне, даря эту книгу и смеясь: честное слово, это мои стихи, написанные в Таганроге, когда мне было восемь лет“. Книжка эта вместе с множеством других книг, среди которых было немало просто драгоценных, погибла после нашего бегства из Васильевского, в конце октября 1917 года». (Письмо Бунина Г. В. Адамовичу. — В сб.: «А. П. Чехов. Сборник статей

и материалов». Симферополь, 1962, с. 27–28.)

...выборы в Учредительное собрание. — Эти выборы интересовали Бунина. Он писал Ю. А. Бунину: «Пропал, кажется, мой голос на выборах в Учредительное собрание! Надеюсь быть в Москве во время выборов, но внесен ли я по Москве в списки?» (Музей Тургенева). Позднее Бунин сказал: «Учредительное собрание, которое погубило страну!»

Лида — Л. А. Лозинская.

Зилов Л. Н. (1883–1937) — писатель, автор стихов и рассказов.

Пишбышевский Станислав (1868–1927) — польский писатель, популярный в России в 1900–1910 гг. Усвоил некоторые идеи Ницше.

Альтенберг Петр (1859–1919) — австрийский писатель-импрессионист.

Фофанов К. М. (1862–1911) — русский поэт; бедствовал и умер в нищете.

Поварская, 26. — В кв. № 2 Бунин и Вера Николаевна жили у ее родителей, Муромцевых, в этот приезд в Москву.

Катерина Павловна — Пешкова, жена Горького.

Приютили нас Барченко. — Н. А. Пушешни-

ков записал в дневнике: «В Ельце остановились у Б<арченко>. Вечером К. играл нам Лорелею и Кампанеллу Листа». Барченко — присяжный поверенный Елецкого окружного суда, а затем владелец нотариальной конторы, жил он во дворе этой конторы, в двухэтажном бревенчатом доме. У Барченко Бунин, приезжая в Елец, попадал в общество местной интеллигенции: это — мировой судья Архангельский Николай Петрович, окончивший Казанский университет и завершивший юридическое образование в Варшаве; харьковский певец-бас Горшкович, подолгу гостивший в Ельце; Соколова, дочь священника, консерваторка, обладавшая прекрасным колоратурным сопрано; Кишкйн, судебный деятель, отличный пианист. В этом кругу часто устраивались домашние концерты. По-видимому, Кишкин — тот самый К., игру которого слушал Бунин. (За эти сведения о елецких знакомых Бунина я признателен доценту Елецкого педагогического института С. В. Красновой.)

Объявление в «Русских ведомостях» от 22 октября... Читал «Русские ведомости» за 21,

22, 24, 25. *Сплошной ужас!* — Объявление — о выпуске новых денег. Газета сообщала о беспорядках, погромах и грабежах. В местечке Полонном Волынской губернии «солдаты производят повальные обыски и грабежи жителей <...> В Житомирском уезде с целью грабежа вырезана еврейская семья». Буйствующие солдаты, бежавшие с фронта, в различных губерниях громили винные заводы и магазины.

В № 243, 24 октября (6 ноября) Бунин прочитал письмо в редакцию известного толстовца, руководившего издательством «Посредник», которое основал Толстой, — И. И. Горбунова-Посадова: «Истребление усадьбы брата Льва Толстого». Горбунов-Посадов получил из села Пирогово Тульской губ. «от сотрудницы „Посредника“, дочери покойного брата Л. Н. Толстого, Сергея Николаевича, Веры Сергеевны Толстой, следующую записку: „Милые, нас совершенно разграбили. Сидим, в чем вышли, у священника. Дом будут жечь. После помещиков будут громить священников. Все усадьбы по соседству уничтожены. Елена Владимировна и Зина (жена и дочь

брата Веры Сергеевны) куда-то скрылись. Будем пытаться в ночь ехать до Лазарево (ближайшая станция в 15 верстах от Пирогова. — И. Г.), если кто-нибудь решится нас туда везти. Коров, лошадей, — все свели. Ломают сейчас железо...“

На этой фразе, говорящей об окончательном уничтожении их дома, записка обрывается <...> Имение Пирогово принадлежало еще отцу Льва Николаевича и являлось, как и Ясная Поляна, родовым толстовским гнездом. Лев Николаевич провел много дней своей жизни в Пирогове, где все полно воспоминаниями о нем и где за несколько лет до своей смерти он схоронил останки старика-брата на местном кладбище <...> Вере Сергеевне Толстой мы обязаны целой серией прекраснейших книг для народного чтения (изложение Диккенса и Эллиота...»).

В № 244, 25 октября (7 ноября) — «Постановление г.г. офицеров л. — гв. Петроградского полка». В нем говорится, что солдаты «жаждут только мира, не хотят воевать». «Войска, как такового, нет. Мы, офицеры, как начальники, не существуем. Армия в тепе-

решнем составе и управляемая по теперешней системе, защищать государство не может».

Буренин В. П. (1841–1926) — поэт и фельетонист газеты «Новое время».

Малиновская Е. К. (1875–1942) — была директором Большого театра в 1920–1924, 1930–1935 гг.

Старк Л. Н. (1889–?) — поэт.

Духонин Н. Н. (1876–1917) — генерал, с 1 ноября 1917 г. был Верховным главнокомандующим, 9 ноября — отстранен от должности.

Крыленко Н. В. (1885–1938) — в 1917 г. член Петроградского военно-революционного комитета. С 9 ноября 1917 г. — Верховный главнокомандующий.

Яворская Л. Б. (по мужу княгиня Барятинская; 1872–1921) — драматическая актриса; в 1901 г. основала в Петербурге «Новый театр».

Алексеев М. В. (1857–1918) — русский военачальник, генерал от инфантерии, начальник штаба ставки главноверха (1917); один из главных руководителей российской контрреволюции; с 31 августа 1918 г. верховный руководитель Добровольческой армии и председа-

тель «Особого совещания».

«...Я приведу на народ сей пагубу...» — Бунин цитирует Книгу пророка Иеремии, глава 6, 19. ...горьковского книгоиздательства «Парус»... — Издательство «Парус» (1915–1917) было основано Горьким и Серебровым-Тихоновым в Петрограде. Горький намечал для начала издать полные собрания сочинений Бунина и Брюсова. 28 июня 1917 г. Бунин в письме к З. И. Гржебину, ведавшему делами издательства, составил план собрания своих сочинений в десяти томах. До конца ноября 1917 г., однако, он ровно ничего не знал о судьбе собрания сочинений. О том, что «Парус» издал к концу 1917 г. десятый том («Произведения 1915–1916 гг. Стихотворения») и приступил к набору девятого тома, Бунин узнал из письма к нему Тихонова от 8 декабря 1917 г. 28 декабря Бунин написал ответ, в котором прорывается его отношение к происходящему в стране и недобрые чувства по отношению к издателям: «Многоуважаемый Александр Николаевич, для альманаха „Парус“ сейчас, к сожалению, ничего не могу дать, кроме стихов, — я ничего не писал ни

летом, ни осенью, у меня вся голова посерела от свободы, равенства и братства <...> О том, что мой X т. уже напечатан и IX печатается, я узнал только из вашего письма от 8 декабря и известием этим не мог быть очень обрадован: согласитесь, что напечатать за 6 месяцев одну книгу, давши обязательство „выпустить к 31 декабря 1917 г. все собрание сочинений“, т. е. 10 книг, — очень немного, а не дать автору ни одной корректуры, не дать ему даже глазком взглянуть на эту книгу — изумительно» (ЛН, кн. 2, с. 53).

Хозяин умер, дом забит... — Стихотворение «Канун» — см. наст. собр. соч., т. 1.

Ауслендер С. А. (1888–1943) — беллетрист и драматург, детский писатель.

Скобелев М. Д. (1843–1882) — генерал от инфантерии, отличился в войне с Турцией в 1877–1878 гг. под Плевной и в сражении при Шейново. Памятник находился на Скобелевской площади (ныне — Советская).

Цетлин М. О. (Амари; 1882–1945) — поэт и прозаик; в эмиграции был фактическим редактором отдела поэзии парижского журнала «Современные записки», в котором печатался

Бунин. Редакторами были Фоидаминский (Бунаков) И. И. (1880–1942) и Вишняк М. В. (1883–1976), журналист.

Гершензон М. О. (1869–1925) — историк литературы и общественной мысли; автор книги (совместно с Вяч. Ивановым) «Переписка из двух углов», Пг., 1921.

Фриче В. М. (1870–1929) — комиссар по иностранным делам при Моссовете до переезда в Москву Совнаркома и Наркоминдела; литературовед.

Рейснеры. — Рейснер Л. М. (1895–1926) — писательница, дочь профессора права Томского университета; сотрудничала в газете «Новая жизнь»; работала в посольстве в Афганистане и написала книгу «Афганистан» (1925).

Коган П. С. (1872–1932) — критик.

Меня назвали «чиновником старого режима»... — Угроза со стороны анархистов была реальна. По чьему-то навету в 1918 г. был арестован Юлий Бунин. Н. А. Пушешников записал в дневнике: «Выпущен Юлий Алексеевич. Был у нас и рассказывал, что в ЧК отношение к нему было очень хорошее. В Бутырской

тюрьме <...> разрешено было встречаться с другими заключенными. Было много книг, играли в шахматы, так что было лучше, чем дома, так как не надо было заботиться о продовольствии. Кормили хорошо». Революционер-народник находился под арестом недолго.

Немцы мордуют раду. — Центральная рада украинская — буржуазно-националистическая организация, возникла в Киеве в марте 1917 г. Ею руководили М. Грушевский, В. Винниченко, С. Петлюра и др. С июля 1917 г. центральная рада создала «правительство». В декабре 1917 г. была провозглашена Украинская республика советов и центральная рада была разгромлена, бежала из Киева за границу; возвратилась на Украину с помощью австро-германских войск, которые в феврале 1918 г. оккупировали почти всю Украину.

На курьей ношке. — Ношка, старинное — межа.

Толстой А. Н. (1883–1945). — В это время Бунин резко расходился с Толстым, в особенности после спора при обсуждении поэмы Блока «Двенадцать», которую Бунин оценивал как

вещь слабую, с псевдонародными мотивами:

Думаю о народе, о разбойниках мужицких, убийцах Духонина, Кокошкина... — Кокошкин Ф. Ф. (1871–1918) — публицист, лидер партии кадетов; государственный контролер Временного правительства. Бунин говорил Н. А. Пушешникову: «Я вот писатель. Какую-нибудь цену я все же имею, а между тем кто станет на мою защиту. Если будут знать, что это пройдет безнаказанно, меня пришибут как самую последнюю собаку! Эти люди живут так же, как они жили в пятнадцатом веке. Я опять стал читать Ключевского — и ничего не могу себе представить. Там есть все, что угодно, но нет главного, — каков был русский народ, как он жил, каков был его нравственный уклад и т. д.».

В лекции, прочитанной в Одессе в 1919 г., Бунин, как пишет корреспондент «Одесского листка», говорил: «Левитов, Н. Успенский, Григорович, Решетников, Златовратский, Горький и даже Достоевский писали о русском народе односторонне и предвзято, а он <Бунин>, вослед Радищеву говорил о нем голую, неприкрытую правду. Бездарные крити-

ки не понимали Бунина, — продолжает корреспондент газеты, — и писали о нем непозволительную чушь». «Он сам признается, что и он, вместе с другими, в распутинское время жаждал революции!» («Одесский листок», 1919, № 127, 25 сентября/8 октября).

Зоя — Шрейдер З. Е., жена художника Шрейдера.

Каменские. — По-видимому, Каменский А. П. (1876–1941) и Каменская О. А., с которыми Бунин встречался на Капри в 1910 г.

Чулковы. — Чулков Г. И. (1879–1939) — писатель; в 1917 г. издавал газету «Народоправство».

Койранские. — Койранский Александр, художник и поэт. Бунин встречался с ним также в Одессе, в частности в редакции газеты «Южное слово», они оба были ее сотрудниками.

Щепкина-Куперник Т. Л. (1874–1952) — писательница, переводчица.

Переворот на Украине. — Немецкие оккупанты разогнали центральную раду, 29 апреля 1918 г. создали «правительство» марионеточной «Украинской державы» во главе с ге-

нералом П. П. Скоропадским, которого они объявили гетманом Украины.

Мирбах Вильгельм (1871–1918) — с апреля 1918 г. посол в Москве.

Тирпиц, Альфред фон (1849–1930) — германский гросс-адмирал.

Лидин В. Г. (1894–1979) — писатель.

Ходасевич В. Ф. (1886–1939) — поэт, критик.

Копылова Л. Ф. (1885–1936) — писательница.

Шкляр Н. Г. (1876–1952) — писатель, участник литературного кружка «Среда».

Арсик — *плачет...* — 1 мая ст. ст. 1918 г. скончалась Варвара Владимировна Пащенко, в которую в юности был страстно влюблен Бунин; она вышла замуж за Арсения Николаевича Бибикова. В. В. Пащенко похоронена на Новодевичьем кладбище. Она является прототипом Лики в романе «Жизнь Арсеньева».

Катаев В. П. (1897–1986) — советский писатель. Познакомился с Буниным в Одессе в июле 1914 г., а четыре года спустя, после приезда Буниных в Одессу, регулярно навещал их, приносил свои произведения. В дальнейшем разошелся с Буниным по политическим

мотивам (см. очерк «Волошин» в наст. т.). Об отношении Бунина к Катаеву рассказывает Г. Кузнецова: «Заговорили о Катаеве, рассказ которого „Отец“ читали в газете „Сегодня“.

— Нет, все-таки какая-то в нем дикая смесь меня и Роци на. Потом, такая масса утомительных подробностей! Прешь через них и ничего не понимаешь! Многого я так и не понял. Что он, например, делает с обрывком газеты у следователя? Конечно, это из его жизни.

— А разве он сидел в тюрьме?

— Думаю, да.

— Он красивый, — сказала В<ера> Н<иколаевна>. — Помнишь его в Одессе у нас на даче?

— Да, помню, как он первый раз пришел. Вошел ко мне на балкон, представился: «Я — Валя Катаев. Пишу. Вы мне очень нравитесь, подражаю вам». И так это смело, с почтительностью, но на границе дерзости. Ну, тетрадка, конечно. Потом, когда он стал большевиком, я ему такие вещи говорил, что он раз сказал: «Я только от вас могу выслушивать подобные вещи» (*Грасский дневник*, с. 168). О близости

их отношений говорит сохранившееся в архиве Бунина письмо В. Катаева, офицера Добровольческой армии, от 15 октября (год написан неразборчиво): «Дорогой учитель Иван Алексеевич, вот уже месяц, как я на фронте, на бронепоезде „Новороссии“. Каждый день мы в боях и под довольно сильным артиллерийским обстрелом. Но Бог пока нас хранит. Я на командной должности — орудийный начальник и команду башней. Я исполняю свой долг честно и довольно хладнокровно и счастлив, что Ваши слова о том, что я не годюсь для войны — не оправдались. Работаю от всего сердца. Верьте мне. Пока мы захватили 5 станций. Это значительный успех. Часто думаю о Вас. Несколько раз читал Ваши стихи в „Южном слове“. Они прекрасны. С каждым новым Вашим стихотворением я утверждаюсь во мнении, что Вы настоящий и очень большой поэт. Завтра напишу Вам большое письмо с приложением своих стихов, которые прошу пристроить в Одессе куда-нибудь, напр., в „Россию“. Привет Вере Николаевне. Ваш Валентин Катаев» («Устами Буниных», т. II, с. 221–222).

Сергий Радонежский (ок. 1321–1391) — основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря, вдохновитель Дмитрия Донского в борьбе против татарского ига и за объединение Руси.

Скабичевский А. М. (1838–1910) — литературный критик и историк литературы, выступавший в духе либерального народничества.

Галлен-Каллела Аксели (1865–1931) — финский живописец и график, сочетавший реализм в изображении народной жизни с символикой и стилизацией в духе стиля «модерн».

На гривастых конях на косматых... — Бунин приводит свое стихотворение «Святогор и Илья», см. наст. собр. соч., т. 1.

Клюев Н. А. (1887–1937) — поэт, глава так называемого «новокрестьянского направления» (С. Есенин, С. Клычков, П. Орешин).

Гучков А. И. (1862–1936) — промышленник, буржуазный политический деятель, военный и морской министр Временного правительства.

Полежаев А. И. (1805–1838) — поэт, отданный за поэму «Сашка» по приказу Николая I в солдаты и проживший короткую и трагиче-

скую жизнь. Умер от чахотки, после наказания розгами за третий побег из полка. Единственный биографический очерк о Полежаеве до революции принадлежит П. А. Ефремову (в изд.: «Стихотворения Полежаева». СПб., 1889). См. также: Витберг Ф. А. А. И. Полежаев. — Русский биографический словарь. СПб., 1905. Почти четыре года Полежаев пробыл на Кавказе (1829–1833), участвуя в боях в Дагестане и Чечне.

Кази-Мулла (Мулла-Магомет) — первый имам на Кавказе, предшественник Гамзат-Бека и Шамиля. С 1824 по 1832 г. был вдохновителем восставших горцев, руководил их выступлениями. Погиб в рукопашном бою при штурме отрядом Розена аула Гимры.

Кокошкин Ф. Ф. (1871–1918) — юрист, публицист, лидер партии кадетов, депутат 1-й Государственной думы; в 1917 г. государственный контролер Временного правительства. Убит анархистами.

«*Сатирикон*» (1908–1914; в 1913–1918 гг. часть сотрудников издавала «Новый сатирикон») — журнал юмора и сатиры, в котором участвовали А. Аверченко, Н. Тэффи, Саша

Черный, молодой Маяковский и др.

Гвоздев К. А. (1883—?) — из рабочих, меньшевик, председатель рабочей секции военно-промышленного комитета, министр труда после Февральской революции. После 1918 г. отошел от политической деятельности.

...не вышла наша близость. — О сложных отношениях в эмиграции А. И. Куприна и Бунина рассказывает К. А. Куприна: «Когда я вернулась из Домре ми, мои родители при содействии Бунина поселились в меблированной квартире в одном доме и на одном с ним этаже. Квартиры были четырехкомнатные, стандартные и очень похожие одна на другую, на улице Жака Оффенбаха в квартале Пасси, почему-то облюбованном русскими эмигрантами...

В своей совершенно новой жизни в эмиграции Бунин и Куприн вели себя по-разному. Бунин завел в Париже много знакомств, любил наносить визиты. На европейский манер он заказал себе визитные карточки с дворянским „де“ — „м-сье де Бунин“, щегольски оделся по последней моде и сбрил бородку русского интеллигента. Отец подтрунивал

над ним; Бунин воспринимал это болезненно
<...>

Отношения между нашими семьями постепенно охладились. Близкое соседство усугубляло разногласия, которые бывали между Иваном Алексеевичем и Александром Ивановичем, а когда мы переехали в Sevrés-Ville d'Ivray, пригород Парижа, отношения наши стали еще более далекими. Постепенно столько накопилось неприязни, что имя Бунина в нашей семье стало нарицательным» (Куприна К. А. Куприн — мой отец. М., 1979, с. 128–129). *Савинков* Б. В. (литературный псевдоним В. Ропшин; 1879–1925) — один из лидеров партии эсеров, писатель. До 1906 г. — в числе руководителей «Боевой организации эсеров». Был комиссаром Временного правительства при ставке главковерха. После Октябрьской революции участвовал в контрреволюционном выступлении Керенского — Краснова. В 1921–1923 гг. руководил диверсионной деятельностью против Советского государства. После ареста при попытке нелегально перейти советскую границу (1924 г.) и суда погиб в заключении

...о своей деятельности у Чайковского... — Чайковский Н. В. (1850–1926) — участник народнического движения, с 1904 г. примкнул к эсерам, после Февральской революции — член ЦК партии народных социалистов. В 1918 г. участвовал в создании в Москве подпольного антисоветского «Союза возрождения России», который участвовал в подготовке антисоветских мятежей на Севере России, в Поволжье и Сибири. «Союз возрождения России» блокировался с организованным в Москве Савинковым «Союзом защиты родины и свободы». В ходе интервенции Антанты на Севере России Чайковский — председатель и управляющий отделом иностранных дел «Верховного управления Северной области». С марта 1920 г. — член Южнорусского правительства.

Кедрин Е. И. (1851–1921) — один из организаторов партии кадетов.

Кривошей А. В. (1857–1921) — государственный деятель, министр земледелия Российской империи (1908–1915), управляющий Дворянским и Крестьянским банками; в 1920 г. глава «Правительства Юга России».

Бласко Ибаньес Винсенте (1867–1928) — испанский писатель.

Ллойд Джордж Дэвид (1863–1945) — премьер-министр Великобритании (1916–1922), один из крупнейших лидеров либеральной партии.

Прево Эжен Марсель (1862–1941) — французский писатель, автор любовно-психологических романов, моралист, с 1921 г. редактировал журнал «Французское обозрение».

Пуанкаре Раймон (1860–1934) — президент Франции (1913–1920), один из организаторов антисоветской интервенции в годы гражданской войны.

Цетлина М. С. (1882—?) — в первом браке жена Н. Д. Авксентьева, меценатка, жена М. О. Цетлина. В 1947 г., после выхода Бунина из парижского Союза русских писателей и журналистов, выступила с нападками на Бунина и заявила о своем с ним разрыве.

И все мысли о Юлии... — Ю. А. Бунин умер в Москве в июле 1921 г. от истощения в больнице имени Семашко. Известие от Бунина долго скрывали. В. Н. Муромцева-Бунина записывает в дневнике от 21 сентября /4 октября:

«Письмо от Федорова, где он сообщает о кончине Юл. Ал. Яну письма не передала. Очень тяжело. Бесконечно жаль Юлия Алексеевича. Страшно подумать, как Ян переживет это известие». 24 сентября/7 октября: «Когда я вошла в семью Буниных, Юлию было 48 лет. Он был в то время еще совсем молодым человеком, очень жизнерадостным, но быстро теряющимся при всяком несчастье <...>

Общественная деятельность, журнал, газетная работа — все это у него было как бы служение долгу, но тяга душевная у него была к литературе. Я думаю, что мало найдется русских, кто бы так хорошо знал всю русскую литературу. <...> Он обладал необыкновенно правильным литературным чутьем. Сам ничего не писавший из художественных вещей, он превосходно разбирался во всех вопросах, касавшихся сферы этого творчества. Это свойство его ценили и понимали все знавшие его писатели, а потому он был бессменным председателем „Старой Среды“, также и председателем „Молодой Среды“. Был он и председателем вторичной комиссии в Литературно-художественном кружке, а в последние годы он

был одним из редакторов в Книгоиздательстве писателей в Москве.

В нем было редкое сочетание пессимистически настроенного ума с необыкновенно жизнерадостной натурой. Он был добр, умел возбуждать к себе добрые чувства людей. К нему шли за советом, за помощью, с просьбой выручить из беды». 27 октября /9 ноября: «Ян все еще ничего не знает, хотя удивляется, что он нам ничего не пишет». 7/20 декабря: «Ян из газеты узнал о смерти Юлия Алексеевича. <...> После завтрака он пошел отдохнуть, развернул газету и прочел, как он потом рассказывал, „Концерт Юл. Бунина“. Перечел, секунду подумал и решил, что концерт в пользу Юл. Бунина. Подумал: кто такой Юл. Бунин? Наконец понял то, чего он так боялся. Сильно вскрикнул. Стал ходить по комнате и говорить: „зачем уехал, если бы я там был, то спас бы его“.

<...> Он говорит, что не хочет знать подробностей. Он сразу же похудел. Дома сидеть не может... Ян очень растерян. Он говорил вечером, что вся его жизнь кончилась: ни писать, ни вообще что-либо делать он уже не будет в

состоянии» («Устами Буниных», т. 2, с. 64–69).

Бенеш Эдуард (1884–1948) — государственный и политический деятель Чехословакии. В 1915–1918 гг. — член Чехословацкого национального совета, в 1918–1935 гг. — министр иностранных дел, в 1921–1922 гг. — председатель правительства. В 1935–1938 и 1946–1948 гг. — президент Чехословакии.

Злобин В. А. (1894–1968) — секретарь Мережковских (1916–1945), поэт и критик.

Бакст (наст. фамилия Розенберг) *Л. С.* (1866–1924) — живописец, график, театральный художник, член «Мира искусств».

...лекция *Жида* о *Достоевском*... — *Жид Андре* (1869–1951) — французский писатель, лауреат Нобелевской премии, высоко ценивший бунинское творчество («Прочел „Деревню“ Бунина, — заметил он в „Дневнике“. — Это превосходно»). Как вспоминает *А. Бахрах*, *Андре Жид* при упоминании Бунина сказал: «Да вы не отдаете себе отчета в том, какой у вас крупный современник» (*Бахрах Александр. Бунин в халате. Нью-Йорк, 1979, с. 5*). С конца 1910-х годов творчество *А. Жида* развивается под сильным влиянием Достоевско-

го, которому он посвятил цикл статей 1908–1922 гг., объединенных в книгу (1923 г.).

Тэффи Н. А. (урожд. Лохвицкая; 1872–1952) — автор рассказов и поэтесса, близкая знакомая Буниных в конце 20-40-х годах. «Он любит Тэффи», — записала Г. Кузнецова (*Грасский дневник*, с. 71).

Роман Андрея Белого «*Петербург*» (1913–1914, переработанное издание — 1922). В нем дана сатира на сановно-бюрократический Петербург и одновременно развенчивается, по словам Д. Лихачева, «терроризм государственный и терроризм индивидуальный» (Белый Андрей. *Петербург*. Л., 1981, с. 5). Однако, написанный, говоря словами самого Белого, «искусственно себе сфабрикованным языком» и перегруженный символистской образностью, роман вызвал резкое неприятие Бунина, как и другие значительные художественные явления того же ряда (например, «Мелкий бес» Федора Сологуба).

Шестов Лев. — См. комментарий на с. 658 наст. т. В русле идей Б. Паскаля, С. Кьеркегора, Ф. М. Достоевского, Ф. Ницше полемизировал с традиционной рационалистической фило-

софией.

Гершензон М. О. (1869–1925) — историк русской литературы и общественной мысли.

Иванов В. И. (1866–1949) — поэт-символист, автор философско-теоретических работ о символизме. В 1921 г., проживая в одной комнате, Гершензон и В. Иванов написали в эпистолярной форме небольшую книжку, в которой отразилось их отношение к событиям «внешнего» мира и глубоко устойчивое религиозно-идеалистическое мирозерцание.

Зилоти А. И. (1863–1945) — пианист и дирижер, организатор (1903) симфонических и камерных концертов в Петербурге, профессор Московской консерватории, Джульярдской музыкальной школы (США).

Пикассо Пабло (1881–1973) — французский живописец, испанец по происхождению.

...чувство все... Все умозрения, милый друг... — цитата из трагедии Гете «Фауст», ч. I, сц. IV.

Лао-цзы (IV в. до н. э.) — автор древнекитайского трактата «Дао дэ дзинь», где «дао» означает «путь», а «дэ» — добродетель. С течением времени о жизни и деятельности Лао-

цзы создались легенды: по одной из них, он родился из левой подмышки матери; по другой — мать зачала его, проглотивши жемчужину, спустившуюся с неба; желая объяснить имя Лао (старый) цзы (учитель), легенды говорят, что он родился на 81-м году, седым.

...читал «Письма» Мансфильд... — Мансфильд Кэтрин (наст, имя — Кэтлин Биген; 1888–1923) — английская и новозеландская писательница; письма и дневники Мансфильд были подготовлены к печати ее мужем, критиком Джоном Мидлтоном (1928).

...на коленях у Г... — Речь идет о Кузнецовой Г. Н. (1900–1976); писательница, последняя любовь Бунина.

Познакомившись с Буниным летом 1926 года, Кузнецова вскоре оставила своего мужа и оказалась затем среди «подопечных» Бунина, молодых литераторов (Н. Рощин, а позднее Л. Ф. Зуров, 1902–1971). Ее появление, безусловно, нарушило семейное равновесие Буниных; атмосфера нервности, скрытой напряженности надолго воцарилась в их доме. Но на творчестве, работе над «Жизнью Арсеньева» позднее чувство писателя к Кузнецовой

сказалось плодотворно. «Счастлива и тем, — запишет она потом в дневнике, — что каждая глава его романа — несомненно лучшего из всего, что он написал, — была предварительно как бы пережита нами обоими в долгих беседах» (*Грасский дневник*, с. 31). Постепенно чувство Кузнецовой к Бунину менялось, восхищенное отношение к замечательному писателю нарастало, но человеческое, женское — таяло. Однажды, когда Бунин получил очередную хвалебную статью о себе, она записала: «Странно, что когда Иван Алексеевич читал это вслух, мне под конец стало как-то тяжело, точно он стал при жизни каким-то монументом, а не тем существом, которое я люблю и которое может быть таким же простым, нежным, капризным, непоследовательным, как все простые смертные. Как и всегда, высказанное, это кажется, плоским. А между тем тут есть глубокая и большая правда. Мы теряем тех, кого любим, когда из них еще при жизни начинают воздвигать какие-то пирамиды. Вес этих пирамид давит простое нежное родное сердце» (*Грасский дневник*, с. 95). Слова эти оказались провидческими. Кузне-

цова покинула Бунина в зените его славы, после присуждения ему Нобелевской премии. Она наезжала в Грасс вместе с близкой подругой Маргой Степун и даже прожила там — вынужденно — часть военной поры. Добрая и самоотверженная, до забвения себя, В. Н. Муромцева-Бунина записывает 11 июля 1934 года: «Гаяля того и гляди улетит <...> Если бы у Яна была выдержка, то он в это время не стал бы даже с Галей разговаривать. А он не может скрыть обиды, удивления, и поэтому выходят у них неприятные разговоры, во время которых они, как это бывает, говорят друг другу лишнее» («Устами Буниных», т. 3, с. 11). Сам Бунин, как это видно по дневниковым записям, долгие годы глубоко переживал этот разрыв. 18 апреля 1942 года записал: «Весенний холод, сумрачная синева гор в облаках — и все тоска, боль воспоминаний о несчастных веснах 34, 35 годов, как отравила она (Г.) мне жизнь — и до сих пор отравляет! 15 лет!»

Бальмонт прислал мне сонет... — В архиве Бунина сохранилась страничка с сонетом, написанным рукой Бальмонта:

ДВА ПОЭТА

Ив. Бунину

Мы — тигр и лев, мы — два царя
земные.

Кто лев, кто тигр, не знаю, право,
я.

В обоих — блеск и роскошь бытия,
И наш наряд — узоры расписные.

Мы оба пред врагом не склоним
выи,

И в нас не кровь, а пламенной
струя.

Пусть в львиной гриве молвь, —
вся власть моя,—

В прыжке тигрином метче ког-
ти злые.

Не тигр и лев. Любой то лев, то
тигр.

Но розны, от начала дней донине,
Державы наши, царские пустыни.

И лучше, чем весь блеск звериных
игр,—

Что оба слышим зов мы благо-
стыни,

Призыв Звезды Единой в бездне си-
ней.

Клеилар, 1933, 5 июня. К. Бальмонт.

Бунин так вспоминает об этом: «А еще

позднее, в мои нобелевские дни, сравнил меня на одном собрании в Париже уже не с ручейком, а со львом: прочел сонет в мою честь, в котором, конечно, и себя не забыл...»

Роцин (Федоров) Н. Я. (1896–1956) — писатель; прожил в доме Буниных с перерывами около двадцати пяти лет; в 1941–1945 гг. — участник французского Сопротивления; в 1946 г. вернулся в СССР. Автор воспоминаний о Бунине.

...в письме из Москвы о смерти Настии... — Речь идет о невестке Бунина, жене его брата Евгения Алексеевича Настасье Карловне, урожденной Гольдман.

Полонский Я.Б. (1892–1957) — литератор, участник французского Сопротивления, знакомый Буниных.

Роцин Л.Ф. — см. о нем выше.

О сложных отношениях, которые возникли постепенно в семье Буниных с появлением, а затем и постоянным проживанием Зурова, писатель сообщал в письме от 10 февраля 1945 г. Я. Б. Полонскому: «Дальше — на счет Зурова: тут тоже горячая просьба — ни слова не пишите мне на счет того, что я пишу Вам о

нем — избавь бог попадет Ваше письмо в руки В<еры> Н<иколаевны>, архистрастной защитницы Зурова во всем, во всем, внушившей себе любовь к нему как к родному и будто бы архинесчастному сыну, больному, одинокому сироте и т. д... Зуров сидит на моей шее 15 лет, не слезая с меня, шантажируя мной великой жалостью к В<ере> Н<иколаевне>, из-за которой я не могу выгнать его, несмотря на то, что Зуров обращается со мной *сказочно* грубо, раз даже орал на весь дом, ругая меня при В. Н. последними *матерными* словами, называя меня „старой сволочью“ (как однажды орал *на нее*: „свинья, свинья, старая дура“) — и что теперь, ставши „другом советского отечества“, уже совсем распоясался, орет, что „теперь все общее“, почему он живет на „рension“, что он будто бы имеет какие-то „исключительные полномочия“ ревизировать для себя какую угодно квартиру, грозит на меня *доносом* за мою якобы малую любовь к России и т. д. <...> Главное же <...> я не могу теперь содержать Зурова, я сам нищ, болен, слаб так, что задыхаюсь, взойдя в доме на лестницу, а Зуров может 15 километров прой-

ти без устали, жрет за пятерых, ходит на собрания, демонстрации и т. д.» (Архив В. Лаврова).

Зайцев К. И. — писатель, автор книги «И. А. Бунин. Жизнь и творчество» (Берлин, 1934).

...благодаря Блюму, придется бежать... — Блюм Леон (1872–1950) — лидер и теоретик Французской социалистической партии. В 1936–1938 гг. глава правительства Народного фронта, объединившего левые партии. При всей непоследовательности политики правительства Блюма, Народный фронт заявил о себе в Париже мощными демонстрациями и забастовками, напомнившими, очевидно, Бунину предреволюционные события в России.

Видел в Нице Зайцевых... — Зайцев Б. К. (1881–1972) — писатель, близкий знакомый Буниных. В. А. Зайцева (урожденная Орешникова; 1878–1965) — жена Б. К. Зайцева, подруга юности В. Н. Муромцевой-Буниной.

Не застал Цакни... — брата А. Н. Цакни, первой жены Бунина.

Ясинский И. И. (1850–1931) — писатель, журналист, автор многочисленных романов бытового характера, окрашенных в неглубо-

кие обличительные тона. Редактор журналов «Ежемесячные сочинения», «Беседа», «Новое слово».

...Оля пела и кричала... — Оля Жирова (1933–1963), дочь жившей у Буниных Е. Н. Жировой (ум. в 1960 г.), жены Н. Я. Рощина. Бунин очень привязался к шестилетней Оле, писал ей шуточные стихи, называл «совершенно очаровательной» (письмо М. В. Карамзиной от 10 апреля 1939 г. — см. *ЛН*, кн. 1, с. 681).

Одоевцева И. В. (род. в 1901 г.; наст. имя — И. Г. Гейнике) — поэтесса, автор мемуарных книг «На берегах Невы» и «На берегах Сены». В 1987 г. вернулась из эмиграции на родину.

Танеев С. И. (1856–1915) — композитор, пианист, музыкально-общественный деятель; профессор Московской консерватории (в 1885–1889 гг. — директор).

Дебюсси Клод (1862–1918) — французский композитор, основоположник музыкального импрессионизма.

Краснов П. Н. (1869–1947) — один из главных организаторов контрреволюции в гражданскую войну, генерал-лейтенант. В 1918 г.

атаман Войска Донского и командующий белоказачьей армией. В эмиграции выступил как беллетрист, автор многотомного повествования «От двуглавого орла до красного знамени». Во время Великой Отечественной войны сотрудничал с гитлеровцами. По приговору советского суда казнен.

«*Вечерние огни*» — четыре выпуска последних прижизненных сборников стихов А. А. Фета, вышедших под общим названием «Вечерние огни» в 1883, 1885, 1889 и 1891 гг.

...«*Липяги*» *Эртеля. Ужасно.* — Об отношении Бунина к Эртелю и его творчеству см. в наст. т. очерк «Эр-тель».

Что должен чувствовать П<етен>! — Очевидно, речь идет о Петене Анри Филиппе (1856–1951) — французском маршале, главнокомандующем французской армией (в 1917 г.) в первую мировую войну. В 1940–1944 гг., во время оккупации Франции немецко-фашистскими войсками, Петен возглавил капитулянтское правительство, а затем коллаборационистский режим. В 1945 г. приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением.

Авксентьев Н. Д. — См. комментарий к с. 370 наст. т. В 1917 г. — член исполкома Петроградского совета, председатель Всероссийского совета крестьянских депутатов, в июле — августе — министр внутренних дел во Временном правительстве. В 1918 г. в руководстве «Союза возрождения России», председатель Уфимской директории. Во время колчаковского переворота (1918 г.) арестован белогвардейцами и выслан за границу.

Вишняк М. В. (1883–1976) — член партии эсеров, секретарь Учредительного собрания. В эмиграции — один из редакторов журнала «Современные записки». С 1940 г. — в Нью-Йорке, входил в редакцию «Нового журнала».

Руднев В. В. (1879–1940) — член партии эсеров, городской голова Москвы в 1917 г. Член редколлегии журнала «Современные записки».

Голь Шарль де (1890–1970) — основал в 1940 году патриотическое движение «Свободная Франция», с 1942 г. — «Сопrotивляющаяся Франция». В 1941 г. стал руководителем Французского национального комитета, в 1943-м — Французского комитета национального

освобождения. Премьер-министр в 1944–1946 и в 1958 г., президент Франции в 1958–1969 гг.

Гонкур де, братья Эдмон (1822–1896) и Жюль (1830–1870) — французские писатели, авторы романов, пьес, исторических и искусствоведческих исследований. Братья Гонкуры вели «Дневник», который до 1895 г. продолжал Эдмон и в котором нашла отражение литературная жизнь эпохи, эстетические взгляды братьев Гонкуров и их современников.

Антонеску Йон (1882–1946) — военно-фашистский диктатор Румынии в 1940–1944 гг. В 1946 г. казнен по приговору народного трибунала.

Гребенщиков (псевд. Сибиряк) Г. Д. (1883–1964) — писатель, автор романа «Чураевы» (1913–1936).

Герцог миланский *Людвик Моро* Сфорца захватил власть после смерти Галеаццо-Марии (1476 г.), отравив своего племянника Джованни-Галеаццо. Изгнан из Милана французским королем Людовиком XII (1499 г.), а затем попал к нему в плен (1500 г.).

Леонардо да Винчи был вызван Людовиком

Сфорца в Милан в 1480 г. в качестве музыканта и импровизатора, но вскоре ему было поручено основать в Милане Академию художеств.

Чемберлен Невил (1869–1940) — премьер-министр Великобритании в 1937–1940 гг. Сторонник политики умиротворения фашистских держав. В обстановке военных неудач Великобритании в мае 1940 г. вышел в отставку.

Лукасов А. О. — нефтепромышленник, меценат, издатель русской парижской газеты «Возрождение».

Каверин В. А. (род. 1902) — советский писатель. Роман «*Исполнение желаний*» (1934–1936) посвящен научной деятельности и житейскому обиходу ученых, посвятивших себя историко-литературным разысканиям.

Боборыкин П. Д. (1836–1921) — прозаик и драматург, писатель-натуралист. Роман «*Василий Теркин*» (1892) рисует выходца из недр крестьянства, ставшего фабрикантом, в идеализированных тонах.

Бунин цитирует стихотворение поэта и литературного критика *Андреевского* С. А.

(1847–1919).

Читаю Шаховского... — Шаховской Д. А. (р. 1901), князь, в монашестве о. Иоанн, архиепископ Сан-Францисский. Бунин имеет в виду его книгу «Л. Н. Толстой и церковь» (Берлин, 1939).

«*Дама с камелиями*» (1848) — роман французского писателя Дюма-сына (1824–1895), по мотивам которого была написана одноименная драма (1852 г.), ставшая сюжетом оперы Дж. Верди «Травиата».

...улетел, сбежал Гесс... — Гесс Рудольф (1894–1987) — с 1925 г. личный секретарь Гитлера, с 1933 г. его заместитель по партии. В 1941 г. прилетел в Великобританию с предложением мира; был интернирован. На Нюрнбергском процессе приговорен к пожизненному заключению. Покончил с собой в 1987 г. в Шпандау (Западный Берлин).

Струве П. Б. (1870–1944) — экономист, философ, историк, публицист. Теоретик «легального марксизма», один из лидеров кадетов. В эмиграции редактировал газету «Возрождение».

Левитов А. И. (1835–1877) — автор очерков

и рассказов, проникнутых демократическими мотивами в изображении народного быта.

Иден Антони, лорд Эйвон (1897–1977) — премьер-министр Великобритании в 1955–1957 гг., консерватор. В 1935–1938, 1940–1945, 1951–1955 гг. — министр иностранных дел.

Бяратинский В. В., князь (1874–1941) — драматург и публицист. Муж актрисы Л. Б. Яворской.

Деникин А. И. (1872–1947) — один из главных руководителей российской контрреволюции, генерал-лейтенант. Был в числе организаторов Добровольческой армии, с 13 апреля 1918 г. ее командующий, а с 8 октября — главком. С 8 января 1919 г. главком «вооруженных сил Юга России». Летом — осенью 1919 г. предпринял поход на Москву. С 1920 г. — в эмиграции. В начале второй мировой войны переехал в городок Мимкзан под Бордо. В конце 1942 г. Деникину от имени немецкого командования было предложено перебраться «на самых лестных условиях» в Берлин, «но, в противоположность многим генералам, он весьма решительно и с риском для себя от-

клонил всякую мысль о сотрудничестве с врагами России» (газ. «Русские новости», Париж, 1947, 15 августа).

Митрополит Евлогий (ум. в 1948 г.) — глава над западноевропейскими русскими православными приходами, с 1930 г. на церковном соборе в Париже был в числе тех, кто отделился от Московской патриархии и перешел в юрисдикцию Константинопольского патриарха. Во время второй мировой войны занимал патриотические позиции.

Раскольников Ф. Ф. (1892–1939) — политический и военный советский деятель, заместитель наркома по морским делам (1917 г.), член Реввоенсовета республики (1918 г.), командующий Балтийским флотом (1920 г.). В 1921–1923 гг. — полномочный представитель РСФСР в Афганистане, в 1930–1938 гг. — полпред СССР в Эстонии, Дании и Болгарии. 17 августа 1939 г. обратился с письмом к И. В. Сталину, обвиняя его в массовых репрессиях. *Борис III* (1894–1943) — царь Болгарии. Содействовал фашистскому перевороту (1923 г.) А. Цанкова. Проводил прогерманскую внешнюю политику. Убит по приказу Гитлера в Берли-

не.

«*Москва под ударом*» (1926) — вторая часть исторической эпопеи Андрея Белого «*Москва*», где он оставался верен символистской поэтике, отвергаемой Буниным.

Лаваль Пьер (1883–1945) — премьер-министр Франции. в 1931–1932 и 1935–1936 гг.; в 1934–1935 гг. министр иностранных дел, сторонник «умиротворения» фашистских агрессоров. В 1942–1944 гг. глава коллаборационистского правительства «Виши». Казнен как изменник.

Бак Перль (Сайденстрикер; 1892–1973) — американская писательница, провела детство и юность в Китае. Автор романов и рассказов, правдиво изображающих страдания народа в дореволюционном Китае, трагическое положение китайской женщины.

Майский И. М. (1884–1975) — советский дипломат, историк, академик ЛН СССР (1946 г.). В 1929–1932 гг. — полпред в Финляндии, в 1932–1943 гг. — посол в Великобритании, в 1943–1946 гг. — заместитель наркома иностранных дел.

Дарлан Жан Луи (1881–1942) — француз-

ский адмирал флота, во второй мировой войне — главнокомандующий военно-морским флотом. В 1941–1942 гг. — министр в правительстве «Виши». Вступил в соглашение с союзниками, высадившимися в ноябре 1942 г. в Северной Африке. Был убит французским националистом.

Мориак Франсуа (1885–1970) — французский писатель-реалист, автор романов «Тереза Декейру», «Клубок змей», «Дорога в никуда» и др.

Бодлер Шарль (1821–1867) — французский поэт, глашатай декадентства. «Маленькие поэмы в прозе» написаны в 60-е годы, изданы посмертно (1869 г.). Русский перевод — «Стихотворения в прозе» (1909).

Аргутинский В. Н. (ум. в 1941) — князь Аргутинский-Долгоруков.

Аминад — Дон-Аминадо (Шполянский А. П.; 1888–1941), поэт-юморист и сатирик.

Читаю «La mémorial»... — Речь идет о кн.: Le comte de-Las-Casas. Memorial de St.-Hélène (Париж, 1823; 8-е изд. — 1895).

Розанов В. В. (1856–1919) — писатель, критик, публицист, философ, близкий экзистен-

циальной ветви «философии жизни». В исповедально-документальных записках «Уединенное» (1912) религиозно-философская и литературно-критическая проблематика слита с «потокотом души» Розанова, его затаенными мыслями. В 80-х годах Розанов преподавал географию в елецкой гимназии, где учился Бунин.

Иванов Г. В. (1894–1958) — поэт-акмеист, после 1922 г. — эмигрант.

Перечитываю «Любовь в жизни Толстого»... — Жданов В. А. *Любовь в жизни Льва Толстого*, кн. 1–2. М., 1928.

Порошин С. А. (1741–1770) — воспитатель малолетнего Павла I. Оставил «Записки, служащие к истории его императорского высочества... Павла Петровича» (СПб., 1844).

Милуков П. Н. (1859–1943) — политический деятель, историк, публицист. Один из организаторов партии кадетов, член ее ЦК, редактор газеты «Речь». В 1917 г. — министр иностранных дел Временного правительства. Автор трудов по истории России XVIII–XIX вв., Февральской и Октябрьской революций. Незадолго до смерти, в 1943 г. выступил со статьей

«Правда большевизма», где заявил о безусловной поддержке русским народом советского правительства.

Нилус П. А. (1869–1943) — художник и писатель, приятель Бунина. См. бунинскую статью «Памяти Нилуса» (*Собр. соч. в 9-ти томах*, т. 9).

Струве П. Б. (1870–1944) — русский экономист, философ, историк, публицист. Теоретик «легального марксизма», один из лидеров кадетов, редактор журналов «Освобождение», «Русская мысль». В эмиграции редактировал парижскую газету «Возрождение».

...итальянский король принял отставку Муссолини. — *Муссолини Бенито* (1883–1945) — глава итальянской фашистской партии и фашистского правительства в Италии в 1922–1943 гг. Стал главой правительства в результате государственного переворота (1922 г.). Формально Италия оставалась монархией — номинальным главой государства был последний (1900–1946 гг.) король Италии

Виктор Эммануил III (1869–1947). Поражение немецко-фашистских и итальянских войск в войне против стран антифашистской

коалиции и усиление антифашистского движения в Италии привели к падению диктатуры Муссолини (25 июля 1943 г.). В 1943–1945 гг. Муссолини возглавлял марионеточное правительство так называемой республики Сало на оккупированной немецко-фашистскими войсками территории Италии. Был захвачен партизанами и казнен по приговору военного трибунала Комитета национального освобождения Северной Италии.

Клягин А. — инженер, промышленник, литератор. Бунин написал предисловие к книге А. Клягина о Сибири «Страна возможностей необычайных» (Париж, 1947). См.: *Собр. соч. в 9-ти томах*, т. 9.

...сговорились об этом еще 3 сентября (августа?). — Декларация об Италии была принята на Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, которая проходила 19–30. X. 1943 г.

Зощенко М. М. (1894–1958) — советский писатель. Речь идет о кн.: *Зощенко М. Рассказы. 1937–1938. Л., 1938.*

Доде Леон (Альфонс Мари Леон;

1867–1942) — французский писатель, журналист и политический деятель. Сын Альфонса Доде. Повести и романы Леона Доде малохудожественны, наполнены эротикой, вульгарно натуралистичны.

Ренье Анри Франсуа Жозеф (псевдоним — Гюг Виньи; 1864–1936) — французский поэт и романист, близкий декадентскому эстетству, декоративности, элегическому нравственному безразличию.

...чудовищный день послезавтра в Нюрнберге. — Речь идет о судебном процессе над главными нацистскими военными преступниками, который состоялся в Нюрнберге 20.XI.1945–I.X.1946 гг. Трибунал приговорил Г. Геринга, И. Риббентропа, В. Кейтеля, Э. Кальтенбруннера, А. Розенберга, Г. Франка, В. Фрика, Ю. Штрейхера, Ф. Заукеля, А. Йодля, А. Зейсс-Инкварта и М. Бормана (заочно) к смертной казни через повешение. В ночь на 16. X. 1946 г. осужденные (за исключением Геринга, который покончил жизнь самоубийством) были казнены.

...Толстой, до 16 лет носил фамилию Бострэм... — Бытовавшая легенда, согласно ко-

горой А. Н. Толстой был сыном не графа Н. А. Толстого, а отчима — А. А. Бострома, к которому ушла от мужа мать писателя А. Л. Толстая (урожденная Тургенева). Опровергается позднейшими работами (см., например: Петелин В. Заволжье, М., 1982).

Через некоторое очень малое время меня не будет... — Впечатляющее свидетельство о последних часах жизни Бунина оставил близко знавший его А. Бахрах: «7 ноября 1953 года был последним днем в жизни Бунина, и так случилось, что вторую половину этого дня почти всю я провел с ним с глазу на глаз <...> Когда я пришел, шторы в его комнате были спущены и в ней царил полумрак. От массы лекарственных скляночек и коробочек, нагромодившихся на его ночном столике, как мне почудилось, шел дурманящий больничный запах. Он лежал, полузакрыв глаза, еще более отощавший за ту неделю, что я его не видел, еще более подавленный, еще более измученный. Его красивое лицо, еще совсем недавно напоминавшее лицо римского патриция, сильно заросло щетиной и было пепельного цвета.

При моем появлении он приоткрыл веки, поворочался, хотя было заметно, что малейшее движение стоит ему больших усилий, откашлялся и затем сразу же — с нараставшей постепенно взволнованностью — стал говорить о бессмысленности смерти, о том, что он не может ни уразуметь, ни принять, как это может стать, что вот был человек и вот его больше не стало. Где граница между этими двумя состояниями? Кто ее определяет? Все он мог, по его словам, вообразить, все понять, все почувствовать, даже все оправдать, кроме одного — „несуществования“ <...> Несмотря на то, что вслед Толстому он любил цитировать крылатую фразу Марка Аврелия о том, что „высшее наше назначение — готовиться к смерти“, он явно был к ней не подготовлен. Я вспомнил, при этом, один обеденный „обмен мнений“, происходивший еще в Грассе, когда Бунин категорически отрицал возможность загробной жизни, утверждая, что противоречило бы высшей логике, если бы после „минутного“ пребывания на этой планете (иногда по отношению к этой планете он изменял эпитет „мерзкая“, иногда „прекрасная“)

предстояли мириады, зоны лет какого-то непонятного, нерасшифруемого существования, поскольку ничего не было до рождения. Раз есть начало, значит, должен быть и конец, — говорил он, споря с Верой Николаевной, которую его „неверие“ бросало то в жар, то в холод.

Я присел около его постели. На его измятой простыне лежал растрепанный томик Толстого, и, когда я спросил его, что он теперь читает, он, как мне показалось, чуть приободрился и ответил, что хотел бы еще раз перечитать „Воскресение“, но тут же добавил, что читать ему уже трудно, еще труднее сосредоточиться, когда ему читают вслух, и особенно тяжело держать книгу в руках.

А потом почти вскипел, и в тот момент меня особенно поразило, что в его вскрике еще ощущались гневные интонации:

— Ах, какой во всех отношениях замечательный был человек, какой писатель... Но только до сей минуты не могу понять, для чего ему понадобилось включить в „Воскресенье“ такие ненужные, такие нехудожественные страницы...

Он, конечно, имел в виду описание службы в тюремной церкви и совершение таинства евхаристии, которое Толстой отрицал.

Эти последние слова Бунин произнес уже почти с запальчивостью, но вместе с тем с каким-то глубоким внутренним страданием. Не знаю, соответствует ли моя догадка истине, но в тот момент мне было совершенно очевидно, что в чем-то упрекать Толстого, порицать его — причиняло ему физическую боль <...>

Мне приходится еще раз подчеркнуть, что в глазах Бунина Толстой был не только одним из самых необыкновенных людей, когда-либо живших на свете, — он был „божеством“. А можно ли, допустимо ли в отношении божества высказывать какой-либо упрек, какое-либо порицание? А тут — я не могу категорически утверждать, но мне представляется — ослабевший телом и духом Иван Алексеевич неожиданно для себя натолкнулся на страницы, которые окончательно нарушили его душевный покой и мимо которых он не мог пройти в молчании, — натолкнулся, как я думаю, впервые, потому что вполне возмож-

но, что до того ему не попадался экземпляр „Воскресения“, с восстановленными купюрами, сделанными в свое время цензурой.

Последовавшая внутренняя борьба и физическое усилие, необходимое, чтобы высказаться, не только взволновали его, но и утомили. Он снова закрыл глаза, повернулся к стене и попросил меня на некоторое время оставить его одного — „авось я сумею заснуть“, — прошептал он.

Я вышел в соседнюю комнату, оставив двери открытыми, и я слышал, как он продолжал ворочаться и что-то вполголоса бормотать. Как мне послышалось, он повторял по несколько раз те же два-три слова: „Как он мог, как он мог?“

И может быть, в эту минуту, одну из последних своих минут, он под влиянием прочитанного припомнил встречу с Толстым, как в черную мартовскую ночь они шли по Девичью полю и как Толстой, переживавший тогда одну из самых горьких и болезненных своих утрат — смерть любимого семилетнего сына, Ванюшки, — резко и отрывисто твердил: „Смерти нет, смерти нет“. Все это Бунин дав-

ным-давно описал в своей книге, посвященной Толстому, но вот теперь, когда какие-то толстовские строки вызывали у него отталкивание, он вопреки своей воле, даже, вероятно, нехотя, брал под сомнение запавшие в душу толстовские слова, которые пронес сквозь всю свою жизнь и за которые именно в эти минуты ему больше всего хотелось зацепиться.

„Как он мог?“ — это доносившееся из соседней комнаты трагическое в своем односложии и полное глубокого смысла восклицание оказалось последним, слышанным мной из уст Бунина. Вскоре он заснул, и я покинул его, зная, что Вера Николаевна должна вернуться с минуты на минуту.

А на следующее утро, чуть ли не на рассвете, она позвонила мне по телефону и с рыданиями в голосе сообщила, что „Ивана Алексеевича больше нет“.

И когда я тотчас же пришел в знакомую, но сразу же опустевшую, точно оголившуюся, комнату, Иван Алексеевич, или, точнее, то, что было Иваном Алексеевичем, лежал уже в столовой на кушетке, с головой, закутанной в

толстую белую простыню. Недаром в своем завещании он строго-настрого потребовал, чтобы лицо его было сразу же закрыто. „Никто не должен видеть моего смертного безобразия“, — писал он, запретив фотографировать его посмертно или снимать с его лица или рук какие-либо маски. Он непременно хотел, чтобы его уложили в цинковый гроб и поставили в склеп.

Через несколько дней при огромном стечении народа его хоронили на пригородном русском кладбище в Сент-Женевьев-дю-Буа» (Бахрах Александр. Бунин в халате. Нью-Йорк, 1979, с. 160–163).

Автобиографические заметки*

Впервые собраны в таком порядке в кн.: Бунин И. А. Собр. соч., т. 1, Берлин, Петрополис, 1936. В заметке «От автора», в частности, сказано: «В этом собрании окончательно установлен текст всего его содержания (и я очень прошу читателей, критиков и переводчиков пользоваться только этим текстом)».

Из предисловия к французскому изда-

нию «Господина из Сан-Франциско»*

...как сказал Саади... — Бунин цитирует книгу персидского поэта Саади (между 1203 и 1210–1292) «Гулистан» («Цветник роз»).

Автобиографическая заметка*

Булнина А. П. (1774–1829) — русская поэтесса (см. о ней в наст, томе «Семеновы и Бунины»).

Гербель Н. В. (1827–1883) — поэт, переводчик, составивший собрания сочинений Шекспира, Байрона, Шиллера, Шевченко, а также хрестоматии английских, немецких, славянских поэтов. Упоминаемая Буниным книга — «Английские поэты» (СПб., 1875).

«Живописное обозрение» — еженедельный иллюстрированный журнал, издававшийся в Петербурге с 1872 г.

«Колокол» — сказка датского писателя Ганса Христиана Андерсена (1805–1870).

...на целых три года выслали к нам брата Юлия... — Старший брат Бунина Юлий Алексеевич, поступив на физико-математический факультет Московского университета, сблизился с революционерами-народниками и в 1881 г. за участие в подпольных кружках из

университета был исключен, а в 1884 г. арестован в имении Буниных Озерки Елецкого уезда по доносу помещика Логофета. Пробыв год в тюрьме, Ю. А. Бунин был отправлен в 1885 г. на три года в родительское имение под надзор полиции. В декабре того же года И. А. Бунин бросает гимназию в Ельце и занимается самостоятельно, с помощью брата Юлия.

Маколей Томас Бабингтон (1800–1859) — английский историк, политический деятель и оратор.

...лермонтовское Кропотово... — Сельцо Кропотово, в Тульской губернии, было приобретено дедом поэта Петром Юрьевичем Лермонтовым.

...некто Назаров. — Е. И. Назарову (1849?–1900) Бунин посвятил специальную статью: «Поэт-самоучка (По поводу стихотворений Е. И. Назарова)» (журн. «Родина», СПб., 1888, № 24). См. публикацию и комментарий к этой статье: *ЛН*, кн. 1, с. 287–296.

...отправил в журнал «Родина» стихотворение... — Речь идет о стихотворении «Деревенский нищий» (журн. «Родика», СПб., 1887, № 20, 17 мая).

В сентябре 1888 года мои стихи появились в «Книжках Недели»... — Бунин имеет в виду стихотворение без заглавия (позднее названное «Затишье»), напечатанное в журнале «Книжки Недели» (СПб., 1888, № 9, сентябрь; см. т. 1 наст. собр. соч.).

Гайдебуров П. А. (1841–1893) — редактор журнала «Книжки Недели».

Волкенштейн А. А. — толстовец. См. о нем примеч. на с. 655 наст. тома и в книге «Освобождение Толстого».

...издал первую книжку стихов... — Бунин И. А. Стихотворения 1887–1891 гг. Орел, 1891. Речь идет о рецензии в журнале «Артист» (М., 1892, № 20, кн. 2, с. 106): «...Лучше, по-нашему, совсем не писать стихов, чем облекать в них голую прозу... Быть может, г. Бунин — прекрасный прозаик. В таком случае пусть он скорее покидает занятие поэзией». Бунин неточен, говоря, что «остальные отзывы были весьма сочувственны» (например, журн. «Наблюдатель», М., 1892, № 3, с. 28–31). Рассказ «Танька», посланный Буниным в «Русское богатство», был напечатан в № 4 журнала за 1893 г. (под названием «Деревенский эскиз»).

Попова О. Н. (1856–1907) — издательница.

Скабичевский А. М. (1838–1910) — литературный критик и публицист, выступил с хвалебной рецензией на книгу Бунина «„На край света“ и другие рассказы» (заметки «Текущая литература» в газ. «Сын отечества», СПб., 1897, № 138, 22 мая).

Боратынский (Баратынский) Е. А. (1800–1844) — русский поэт, которому Бунин посвятил обширную статью. Строки, неточно цитируемые Буниным, взяты из стихотворения Боратынского «Родина».

...как некоторые отнеслись к моей «Деревне», к «Ночному разговору», к «Суходолу». — Начиная с появления этих произведений творчество Бунина вызывает полемические и разноречивые отклики критики (см. коммент. к т. 3 наст. собр. соч.).

Судьба «Горя от ума» всем известна. — Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума» была отвергнута цензурой и при жизни автора полностью свет не увидела.

Из записей*

Частично, под заглавием «Заметки», опубли-

ликовано в газ. «Последние новости», Париж, 1932, № 3942, 7 января.

Бунин с большим вниманием и симпатией относился к творчеству Н. В. Успенского (1837–1889). См. его статью «К будущей биографии Н. В. Успенского» в кн.: *Собр. соч. в 9-ти томах*, т. 9.

Успенский Г. И. (1843–1902) — писатель-реалист, двоюродный брат Н. В. Успенского. Произведения Глеба Успенского, его взгляды на народ, на крестьянство оказали известное влияние на молодого Бунина.

Златовратский Н. Н. (1843–1912), *Наумов Н. И.* (1838–1901), *Нефедов Ф. Д.* (1848–1902), *Омулевский (И. В. Федоров; 1836–1883)*, *Левитов А. И.* (1835–1877) — писатели-разночинцы.

Шабельская (урожденная Монтвиц) *А. С.* (1845–1921) — писательница.

...по слову Мережковского, уже «переступали все законы, нарушали все черты». — Бунин неточно цитирует стихотворение Д. С. Мережковского «Дети ночи».

...во второй приезд в Петербург... — Вторично Бунин приехал в Петербург в декабре

1896 г.

Фофанов К. М. (1862–1911) — поэт, лирика которого отдельными чертами родственна символизму, в то же время сохраняет близость классическим традициям. «Очень часто испытываю ощущение, которое охарактеризовал Фофанов: „Он мрачен, он угрюм, душа его полна каких-то смутных слов и ноющей печали и плачет, как струна...“» — писал, например, Бунин брату Юлию 22 июля 1890 г. («Литературный Смоленск», Смоленск, 1956, кн. 15, с. 288). Показательно также, что в юношеской статье «Недостатки современной поэзии» он упоминает в числе «современных поэтов» раньше всего Фофанова (см.: *Собр. соч. в 9-ти томах*, т. 9, с. 487).

Туган-Барановский М. И. (1865–1919) — профессор политэкономии, один из вождей «легального марксизма», зять издательницы журнала «Современный мир» («Мир божий») А. А. Давыдовой.

Воронцов В. П. (1847–1918) — по профессии врач, экономист и публицист, теоретик народничества.

Немирович-Данченко В. И. (1848–1927) —

плодовитый беллетрист, журналист.

...Волынским, ярым врагом Михайловского... — Волынский (Флексер) А. Л. (1863–1926) — критик и искусствовед, постоянный сотрудник, а затем фактический руководитель петербургского журнала «Северный вестник» (1885–1898), на страницах которого в 1890–1895 гг. выступил со статьями о «русских критиках», восстав против материалистических основ в критике Белинского и Чернышевского, в защиту идеалистической эстетики. Н. К. Михайловский, считавший себя продолжателем разно-чинно-демократической критики, отозвался на статьи Волынского рядом полемических выступлений («О новых мозговых линиях», «О Г. Волынском и скандалах вообще» и т. д.).

Лейкин Н. А. (1841–1906) — писатель-юморист, редактор-издатель журнала «Осколки».

Вейнберг П. И. (1831–1908) — поэт и переводчик, автор популярных сатирических стихотворений («Он был титулярный советник...») и стихотворений с общественной символикой («К морю»).

...она читала стихи... — Бунин приводит

слова из стихотворения З. Гиппиус: «Но люблю я себя, как бога, — любовь мою душу спасет...»

«Из неживого тумана...» — Бунин неточно цитирует стихотворение А. Блока «А. М. Добролюбов».

Чеботаревская А. Н. (1876–1921) — писательница и переводчица, жена Ф. Сологуба.

Поляков С. А. (1874–1948) — математик и переводчик, владелец издательства символистов «Скорпион» и редактор журнала «Весы».

Иванов В. И. (1866–1949) — поэт, филолог, теоретик символизма.

...Брюсов даже и самого себя объявил ассирийским магом... — Бунин, очевидно, имеет в виду «ассирийскую надпись» Брюсова «Ассаргадон» из цикла «Любимцы веков»: «Я, вождь земных царей и царь — Ассаргадон».

Соловьев С. М. (1885–1941) — поэт и литературный критик, впоследствии священник. Бунин имеет в виду рецензию С. Соловьева, напечатанную в журнале «Весы» (М., 1908, № 8) на IV том Собр. соч. Бунина.

...Белый «запускал в небеса ананасом»... — Речь идет о стихотворении Андрея Белого «На

горах» (1903). Книга А. Белого «Ритм как диалектика и „Медный всадник“», упоминаемая Буниным, вышла в Москве в 1929 г. Гамсун (Педерсен) Кнут (1859–1952) — норвежский писатель.

Пишибышевский Станислав (1868–1927) — польский писатель-модернист и драматург.

Верхарн Эмиль (1855–1916) — бельгийский поэт. «*Urbi et Orbi*» («Граду и миру». — лат.) — книга стихов 1900–1903 гг. В. Я. Брюсова (М., 1903).

«*Будем как Солнце*» — сборник стихов К. Д. Бальмонта (М., 1903).

«*Кормчие звезды*» — первый сборник стихов Вяч. Иванова. Здесь и в других местах Бунин тенденциозно сближает разнохарактерные явления современного ему искусства с целью показать ширящийся упадок, «оглупление» и «повальное сумасшествие» литературы, поэзии, театра.

Игорь Северянин (Лотарев И. В.; 1887–1941) — поэт, эгофутурист.

«О, засмейтесь усмехательно...» — Бунин неточно цитирует стихотворение поэта-футуриста Велимира Хлебникова (Виктора Влади-

мировича; 1885–1922) «Заклятие смехом».

«Все мы бражники здесь, блудницы...» — Бунин приводит начало одноименного стихотворения А. А. Ахматовой (Горенко; 1889–1966).

«Мятеж лиловых миров стихает...» — Приводятся две цитаты из статьи А. Блока «О современном состоянии русского символизма» (1910).

Памяти сильного человека*

Впервые: газ. «Полтавские губернские ведомости», 1894, № 72. В примечаниях цитаты из стихотворений И. С. Никитина не оговариваются.

Е.А. Баратынский (По поводу столетия со дня рождения)*

Впервые: журн. «Вестник воспитания», М., 1900, № 6. Цитаты из произведений Е. А. Баратынского не оговариваются.

Бунин приводит слова из «Наброска статьи о Баратынском» А. С. Пушкина.

...сказал Гете... — Знаменитый девиз Гете к его примечаниям к «Западно-восточному

дивану» (1819).

Тэн Ипполит (1828–1893) — французский историк культуры, создатель так называемого культурно-исторического метода, по которому произведения литературы обуславливаются тремя «первичными силами»: расой, средой и моментом.

Речь на юбилее «Русских Ведомостей»*

Печатаются по кн.: *ЛН*, кн. 1, с. 316–322.

Осенью 1913 года газета «Русские ведомости» отмечала свой полувековой юбилей. Как отмечает комментатор публикации бунинской речи в *ЛН* А. Н. Дубовиков, «юбилей „Русских ведомостей“ был использован буржуазно-кадетскими кругами для открытой демонстрации своей политической программы. На юбилейном заседании, проходившем 6 октября в помещении Литературно-художественного кружка, и на банкете в ресторане „Славянский базар“ вечером того же дня с политическими речами, содержащими требования введения конституции, обеспечения буржуазных свобод, приобщения России к капиталистическим порядкам Запада, выступили М. М.

Ковалевский, П. Н. Милюков, А. А. Мануйлов, П. Д. Долгоруков и др. Не случайно, что и официальное заседание, и торжественный банкет, в котором приняло участие более 600 человек, были насильственно прерваны по требованию полиции.

Среди произнесенных на юбилейном заседании речей речь Бунина была одной из наиболее острых, хотя он и сосредоточил свое внимание не на политических проблемах, а на вопросе о состоянии современной русской литературы <...> Речь Бунина прозвучала не как бесстрастное академическое обозрение — это было резкое полемическое выступление. Он подверг суровому и безоговорочному осуждению все антиреалистические течения, которые возникали в русской литературе за последние 20 лет, включая и те эфемерные группы, которые в великом множестве расплодились на рубеже 1900-х и 1910-х годов. <...>

По резкости суждений и оценок речь Бунина нарушала все принятые нормы юбилейных выступлений. Именно поэтому она привлекла всеобщее внимание и вызвала самые

различные отклики как со стороны тех, кто слышал ее непосредственно, так и тех, кто мог судить о ней лишь по газетным отчетам, кстати сказать, не всегда достаточно объективным (полный текст речи был опубликован только двумя годами позднее, в 1915 г.). Против Бунина восстали прежде всего литераторы, прямо или косвенно задетые им, либо те, кто был шокирован страстностью и непримиримостью его речи. По мнению кадетской „Речи“, Бунин „омрачил почтенный юбилей неуместной речью, полной нападков на современную литературу“ <...> Зинаида Гиппиус назвала выступление Бунина „неожиданной и бестактной выходкой“, „Московская газета“ обвиняла его в „сердитом недовольстве современностью, ее вкусами, привычками и симпатиями“.

Редакция газеты „Голос Москвы“ организовала опрос ряда современных писателей и начала публикацию их ответов под заголовком: „Прав ли Бунин? Наша анкета“. В первой же подборке, появившейся 13 октября, были напечатаны отклики Бальмонта, Балтрушайтиса, Брюсова, Арцыбашева и Зайцева. В следу-

ющем номере, 15 октября, газета поместила „Ответ И. А. Бунина“ на эти отклики. Он решительно отвергал направленные против него упреки, указывая, в частности, что многие из его оппонентов самой речи не слышали. При этом особое внимание Бунин уделил наиболее задевшему его обвинению в дворянском высокомерии, с каким он якобы говорил о роли разночинцев в русской литературе. Отводя упрек в сословном пренебрежении к разночинцам вообще, он проводил резкое различие между разночинцами-шестидесятниками и теми „духовными разночинцами“, с появлением которых в литературе он связывал начало декадентства...» (ЛН, кн. 1, с. 314–315).

«Нам печатный лист все еще кажется святым»... — Неточная цитата из статьи Пушкина «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений».

(Пастухов Н. И.) *Разбойник Чуркин*. Народное сказание «Старого знакомого». В двух частях. М., 1883–1884. Один из типичных образов псевдонародной литературы.

И тысячу раз был прав Толстой, когда говорил... — Неточная цитата из предисловия Л.

Н. Толстого к роману фон Поленца «Крестьянин».

...когда «порвалась цепь великая». — Цитата из поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (глава «Помещик»).

...солнца, которое неизменно пишется теперь с большой буквы... — Выпад против Бальмонта, автора стихотворения «Будем как Солнце»

...«все можно опошлить высоким стилем»... — Цитата из «Зимних и летних впечатлений» Ф. М. Достоевского.

Толстой, в статье, которую я цитировал... — См. коммент. к с. 610.

На поучение молодым писателям*

Впервые: газ. «Последние новости», Париж, 1928, № 2829, 20 декабря.

Выступление Бунина явилось откликом на статью поэта и критика Г. В. Адамовича «О французской „inquietude“ и русской тревоге» [91], появившуюся в той же газете в № 2822 от 13 декабря 1928 г. Адамович, с которым у Бунина на протяжении многих лет складывались добрые, можно сказать, дружеские отно-

шения (см. его воспоминания о Бунине — «Знамя», 1988, № 4), в этой статье попытался подвести итоги эстетических исканий русского зарубежья. «Мы засиделись в Европе — дольше, чем думали, дольше, чем надеялись, — писал он. — Во всяком случае слишком долго, чтобы можно было вернуться домой ни с чем — ничего здесь не приобретаю и ничему не научившись. „Пора домой“ — это как бы лейтмотив, повторяющийся во всех наших здешних беседах. Пора — хоть и невозможно еще. Не удивительно ли, что в беседы эти редко вплетается другой мотив, казалось бы, столь естественный: что мы с собой в Россию привезем: „учености плоды, вольнолюбивые мечты“, как Ленский, или что-нибудь иное?»

Далее Адамович размышлял о путях развития русской литературы, сравнивая ее с французской, и говорил о необходимости поисков обновления, обогащения, в частности, за счет опыта французской культуры. Бунина, конечно, не могло не задеть упоминание его имени в этом контексте, а также утверждение, будто бы «традиционный», толстовский реализм,

по сути, исчерпал себя, свои возможности. «В общем, в среднем французы пишут лучше нас, — утверждал Адамович, — острее, яснее, тоньше, гибче. Писательская техника их несравненно богаче, опыт разнообразнее. Французские романисты уже не прельщаются ни натурализмом, ни „бытовизмом“ (советское словечко), которые многим из наших писателей представляются сейчас не только средством, но и целью. В частности, они поняли, что нельзя без конца делать ставку на внешнюю изобразительность и что здесь уже в конце прошлого столетия был достигнут некий „максимум“... Все это французы уже поняли или чутьем почувствовали. У нас же еще многие молодые писатели тратят свои силы попусту и бьются в кругу, в котором после Толстого, собственно, делать нечего... „Показать“ что-либо яснее Толстого нельзя, и всякие надежды на этот счет надо оставить. Надо вообще оставить этот путь. На Толстом не кончается литература (и не в приемах же и не в методах Толстого его величие!) — есть и другие выходы. Крайне интересно в этом отношении творчество даровитейшего и убеж-

деннейшего из „толстовцев“ Бунина, особенно поздние его вещи, после „Господина из Сан-Франциско“, — исключительно четкие, безошибочно выразительные по внешности и все-таки куда-то дальше рвущиеся, как бы изнывающие под тяжестью собственного совершенства».

27 декабря в № 2836 «Последних новостей» уже после публикации бунинского ответа Адамович напечатал продолжение своей статьи, где говорит преимущественно о французском эстетическом опыте и религиозной морали.

Думая о Пушкине*

Впервые: газ. «Возрождение», Париж, 1926, № 373, 10 июня.

Отрывок из статьи «Думая о Пушкине» в переработанном виде стал 8-й главой третьей книги «Жизнь Арсеньева».

Выходные данные

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН

Собрание сочинений

Том 6

Освобождение Толстого; О Чехове; Воспоминания; Дневники; Статьи.

Редкол.: Ю. Бондарев, О. Михайлов, В. Рынкевич;

Подгот. текста, статья-послел. и коммент. О. Михайлова.

Редактор *В. Фридлянд*

Художественный редактор *Г. Масляненко*

Технический редактор *А. Синуцына*

Корректор *Н. Усольцева*

ИБ № 5072

Сдано в набор 01.10.87. Подписано к печати 09.03.88.

Формат 84x108/32. Бумага типогр. № 1.

Гарнитура «Академическая». Печать высокая.

Усл. печ. л. 37,8. Усл. кр. отт. 38, 22. Уч. изд.

л. 42,74.

Тираж 400 000 экз. (1-й завод 1-200 000 экз.)
Изд. № 11 2564. Заказ № 1196. Цена 3 р. 60 к.

Ордена Трудового Красного Знамени изда-
тельство «Художественная литература».

107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная,
19

Ордена Октябрьской Революции, ордена
Трудового Красного Знамени Ленинградское
производственно-техническое объединение
«Печатный Двор» имени А. М. Горького Союз-
полиграфпрома при Государственном коми-
тете СССР по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли.

197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр.,
15

Примечания

1

Даты везде по старому стилю. (Прим. И. А. Бунина).

[^^^]

Этим малым успехам много способствовала та светская жизнь, которую вел тогда юноша Толстой. Он поступил в университет сперва на факультет арабско-турецкой словесности, когда же, из-за своей светской праздности, не был переведен с 1-го курса на 2-ой, перешел на факультет юридический. Но и этот факультет не вызвал в нем охоты к университетскому образованию. Что вынесем мы с вами из университета? спрашивал он однажды одного своего товарища. Что вынесем мы из этого святилища, возвратившись восвояси, в деревню? На что будем пригодны, кому нужны? Смерть князя Игоря, змея, ужалившая Олега, что же это, как не сказки, и кому нужно знать, что второй брак Иоанна на дочери Темрюка совершился 21 августа 1562 года, а четвертый на Анне Колтовской в 1572 году? А как пишется история? Грозный царь Иоанн вдруг с 1560 года из добродетельного и мудрого превращается в бессмысленного, свирепого тирана. Как и почему? Об этом и не спрашивается! Так уже и тогда стала обнаруживаться

одна из самых главных черт его вызывающее презрение к *общепринятому*, тоже идущее из жажды освобождения, борьбы с подчинением. (Прим. И. А. Бунина).

[^^^]

3

Всюду, где это не оговорено, курсив мой.
(Прим. И. А. Бунина).

[^^^]

4

Доктор Душан Маковицкий, домашний врач,
друг и последователь. (*Прим. И. А. Бунина*).

[^^^]

5

О колониях толстовцев он всегда говорил неприязненно: Жить святым вместе нельзя. Они все помрут. Одним святым жить нельзя. (Прим. И. А. Бунина).

[^^^]

Умиравший кн. Андрей, Пьер в плену у французов, о. Сергей, сам Толстой... Наиболее заветной художественной идеей его было, думается, это: взять человека на его высшей мирской ступени (или возвести его на такую ступень) и, поставив его перед лицом смерти или какого-либо великого несчастья, показать ему ничтожество всего земного, разоблачить его собственную мнимую высоту, его гордыню, самоуверенность... Отсюда и постоянное стремление его видеть и развенчивать то, что таится в душе человека под всеми формами блестящей внешности. Почему так преклонялся он перед народом? Потому, что видел его простоту, смирение; потому что миллионы его, этого простого, вечно работающего народа, жили и живут смиренной, нерассуждающей верой в Хозяина, пославшего их в мир с целью, недоступной нашему пониманию. (Прим. И. А. Бунина).

«Чем больше он думал в те часы страдальческого уединения и бреда, которые он провел после своей раны, тем более, сам не чувствуя того, отрекался от земной жизни. Все, всех любить, всегда жертвовать собой для любви значило — никого не любить, значило — не жить этой земной жизнью...» (Прим. И. А. Бунина).

[^^^]

«Ну, хорошо, у тебя будет шесть тысяч десятин в Самарской губернии, триста голов лошадей. Ну и что же из этого? Что потом? Ну, хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире — ну и что ж? Что потом?» («Исповедь»). *(Прим. И. А. Бунина).*

[^^^]

«Разве не тогда приобретал я все то, чем я живу теперь?» Приобретал и тогда, но сколь бесконечно мало в сравнении с тем, что приобретал на этом пути! (*Прим. И. А. Бунина*).

[^^^]

«Тогда не было ни смерти, ни бессмертия».
Ригведа. (Прим. И. А. Бунина).

[^^^]

«Пусти, пусти меня!» Это и значит: «Вон из Цепи!» Но что там, за Цепью? «Пойди, посмотри, чем *это* кончится? Надо, надо думать!»
(Прим. И. А. Бунина).

[^^^]

Гордость кн. Н. С. Волконского, деда Толстого по матери, тоже была достойна поговорки.
(Прим. И. А. Бунина).

[^^^]

Одна из важных черт его характера: он был очень застенчив. *(Прим. И. А. Бунина).*

[^^^]

Однажды он едва не погиб на медвежьей охоте. Правила такой охоты требуют отоптать вокруг себя снег на том месте, где стоишь, чтобы дать свободу движениям. Он и тут пренебрегает обычным: «Вздор, в медведя надо стрелять, а не ратоборствовать с ним» — и становится по пояс в снегу. Из лесу на него выскакивает громадная медведица, он стреляет в нее и промахивается, стреляет еще, в упор, но пуля застревает у нее в зубах, и она наваливается на него, — глубокий снег не дал ему возможности отскочить в сторону, — начинает грызть ему лоб; спасло его только то, что подбежал другой охотник и застрелил ее. (Прим. И. А. Бунина).

[^^^]

На кумыс в Башкирию он ездил не только для поправления своих легких и отдыха от всяких своих работ, но и хотя бы временного освобождения от того мучительного бремени, которым всегда была для него городская жизнь: «от времени до времени он испытывал особенную тягу к природе и к *первобытному существованию*». И в Башкирии воскресал и душевно и телесно с необыкновенной быстротой. (Прим. И. А. Бунина).

[^^^]

Он сам виноват, между прочим, и в том совершенно нелепом мнении, которое утвердилось за ним как о художественном критике: «Ни в грош не ставил Шекспира и восхищался бездарным писателем из народа Семеновым!» Семенов стал знаменит в этом смысле. Но вот несколько строк из одних воспоминаний насчет этого Семенова: «Однажды Л. Н. неожиданно вошел в залу, где читали вслух рассказ Семенова. — Как фальшиво! Ах, как фальшиво! — сказал он, морщась. Но, дослушав до конца, где говорилось о развращающем влиянии города на чистую деревенскую душу, он вдруг с особым жаром стал расхваливать рассказ: заставил себя расхваливать». (Прим. И. А. Бунина).

[^^^]

пушечное мясо (*франц.*).

[^^^]

Вы законченное маленькое животное
(франц.).

[^^^]

Какая прекрасная смерть (*франц.*).

[^^^]

Курсив Толстого. (Прим. И. А. Бунина).

[^^^]

Курсив Толстого. (Прим. И. А. Бунина).

[^^^]

вечно единственное (нем.).

[^^^]

Вечное молчание бесконечных пространств пугает меня (*франц.*).

[^^^]

Здесь и далее курсив И. А. Бунина.

[^^^]

Далее следуют выписки из рассказов «Дама с собачкой», «Ионыч», «Невеста».

[^^^]

«ОЧЕНЬ МИЛ» (англ.).

[^^^]

ни прекрасна юность, Все же она убегает; Кто хочет радоваться, пусть радуется, В завтрашнем дне нет уверенности (*ит.*). (Перевод С. Ошерова.)

[^^^]

Воспоминания о Глотове перемежаются впечатлениями от орудийных ударов в момент записи в дневник (А. Б.).

[^^^]

«Внемлите, прошло еще четверть часа вашей жизни» (*ит.*).

[^^^]

Все умозрения, милый друг, серы, Но вечно
зелено златое Древо Жизни *(нем.)*. *(Перевод И.
А. Бунина)*.

[^^^]

пропуск (*φp.*).

[^^^]

масло (*фр.*).

[^^^]

с великолепной точностью! (фр.)

[^^^]

Германия хочет добиться полной блокады британских островов (*фр.*).

[^^^]

надо кончать эту войну! (фр.)

[^^^]

Немецкая армия превратит в пепел Англию!
(фр.)

[^^^]

публично (фр.).

[^^^]

тревогу в Японии (*фр.*).

[^^^]

вид на жительство (*фр.*).

[^^^]

без перерыва (*фр.*).

[^^^]

в парламенте (*фр.*)

[^^^]

ударить с тыла (*фр.*).

[^^^]

в 1941 история обрела новый порядок— никаких преимуществ, никакой тирании — это последнее слово миру (*фр.*).

[^^^]

ни генерал «зима», ни генерал «голод» (*фр.*).

[^^^]

безоговорочно (фр.).

[^^^]

Ни новостей, ни денег (*фр.*).

[^^^]

святая война во имя спасения мировой цивилизации от смертельной угрозы большевизма (*фр.*).

[^^^]

С меня довольно! (*фр.*)

[^^^]

Политика Болгарии. Лозунг: бороться против большевизма! (фр.)

[^^^]

«За закрытой дверью» Жида (*фр.*)

[^^^]

Нечего есть! Абсолютно нечего! (*фр.*)

[^^^]

в Европе для поколений (*фр.*).

[^^^]

Япония стремится к полному уничтожению
Англии и США (*фр.*).

[^^^]

туалет (*фр.*).

[^^^]

«Безнадежная ситуация в СССР», «Разочарование и беспокойство» (фр.).

[^^^]

«Деревню» (*фр.*).

[^^^]

ЧТО ВЫ ХОТИТЕ? (фр.)

[^^^]

Кто хочет понять поэта, тот должен отправиться в его страну (*нем.*)

[^^^]

Курсивы мои. (Прим. И. А. Бунина.)

[^^^]

Я думал найти дружбу, но нахожу только холодную и подчеркнутую вежливость и небескорыстное внимание (*франц.*)

[^^^]

Род Баратынских древний и ведет свое происхождение от древнего польского рода герба Корчек. В словаре Брокгауза и Эфрона говорится, что правильнее писать «Боратынский», а не «Баратынский». (Прим. И. А. Бунина.)

[^^^]

Курсивы мои. (Прим. И. А. Бунина.)

[^^^]

Курсив мой. (Прим. И. А. Бунина.)

[^^^]

Письмо В. Н. Буниной Н. П. Смирнову от 9 марта 1959 г. — Журн. «Новый мир», 1969, № 3, с. 215.

[^^^]

Кузнецова Галина. Грасский дневник. Вашингтон, 1967, с. 89.

[^^^]

Письмо И. А. Бунина Ю. А. Бунину 22 июля 1890 года. — Литературный Смоленск, кн. 15, 1956, с. 288.

[^^^]

«Горьковские чтения 1958–1959». М., 1961, с. 51.

[^^^]

«Русская литература XX века», ч. 1 (окончание), т. II. М., 1915, с. 363–364.

[^^^]

Дерман А. Победа художника. — Журн. «Русская мысль», кн. V. М.-Пг., 1916, с. 25–26.

[^^^]

Речь идет об отзыве Л. Н. Толстого о рассказе «Заря всю иочь» («Счастье»), записанном А. Б. Гольденвейзером, где Толстой упрекает Бунина в самоцельности изображения природы.

[^^^]

Кузнецова Галина. Грасский дневник, с. 275.

[^^^]

Кузнецова Галина. Грасский дневник, с. 42, 41.

[^^^]

Зайцев Бор. Дни. Тринадцать лет. — Газ. «Русская мысль», Париж, 1966, 8 ноября.

[^^^]

«Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы под редакцией Милицы Грин». В 3-х томах, т. 3. Франкфурт-на-Майне, 1982, с. 28.

[^^^]

Зайцев Бор. Дни. Тринадцать лет. — Газ. «Русская мысль», 1966, 8 ноября.

[^^^]

Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. и писем в 90-та
томах, т. 52, с. 120–121.

[^^^]

Ладинский Ант. Последние годы И. А. Бунина. — Литературная газета, 1955, 22 октября.

[^^^]

Телешов Н. Д. Записки писателя. М., 1948, с. 86.

[^^^]

Письмо около 20 ноября 1904 г. — «Горьковские чтения 1958–1959». М., 1961, с. 35.

[^^^]

Бунин И. А. О Чехове. Из записной книжки. — Газ. «Русское слово», 1914, 2 июля.

[^^^]

Газ. «Одесские новости», 1914, 4 июля.

[^^^]

Измайлов А. И. А. Бунин и Н. И. Златовратский. — Газ. «Русское слово», 1909, № 252, 3 ноября.

[^^^]

Газ. «Одесские новости», 1914, 18 июня.

[^^^]

«Горьковские чтения 1958–1959». М., 1961, с. 72.

[^^^]

Зайцев Б. К. «Москва». Мюнхен, 1960, с. 44–45.

[^^^]

Кузнецова Галина. Грасский дневник, с. 38–39.

[^^^]

Бунин И. А. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 9, с. 480.

[^^^]

Кузнецова Галина. Грасский дневник, с. 92.

[^^^]

«Я опять одинок...» и «Ночь печальна...».

[^^^]

Публикация дневниковых записей с 6 февраля по 22 марта 1918 г. включительно и комментариев к ним — О. Н. Михайлова.

[^^^]

Inquiétude (*фр.*) — беспокойство, тревога.

[^^^]